ГЕННАДИЙ ГУСЕВ

Странствия великой мечты











ГЕННАДИЙ ГУСЕВ

Странствия великой мечты



Москва
«Молодая гвардия»
1982

Художник ЮРИЙ ИВАНОВ

Г $\frac{4701000000-140}{078(02)-82}$ 242—81

ОГЛАВЛЕНИЕ

Надо мечтать!

В. И. ЛЕНИН



ВСТУПЛЕНИЕ

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Бессмертна Великая Мечта о справедливом, разумном, свободном и счастливом жизнеустройстве — и о Человеке, гармонически сочетающем в себе духовную мощь, нравственную красоту и физическое совершенство.

Путь Великой Мечты — это бесконечная цепь поисков, иллюзий, разочарований, новых и новых попыток прорвать завесу времени, угадать грядущее. Битва за будущее бушует на земле с той самой поры, как впервые затеплился в людских сердцах робкий огонек надежды на иную, более светлую жизнь. Осколки всевозможных утопий рассеяны во всех областях человеческой культуры — в истории, философии, политических учениях, искусстве.

В настоящей книге предпринята попытка проследить долгие странствия человеческой Мечты о лучшем будущем преимущественно на материале художественной литературы. Ведь литература — самое полное отражение жизни, литература питает соками все области духовной жизни человечества и, в свою очередь, испытывает их воздействие. Непереходимой грани между литературой и, скажем, философией, социальными учениями, публицистикой нет и никогда не было. В предлагаемой книге автор стремится по мере возможности показать взаимосвязь литературы с другими областями духовной культуры, осветить с той или иной степенью полноты деятельность выдающихся представителей философии, общественной мысли. И все же автора главным образом увлекла, захватила стихия знаний о природе и человеке. Литература бесстрашно врывалась в грядущее на крыльях фантазии, интуиции, воображения, создавая художественный о б р а з б у д у щ е г о то расплывчато-неопределенный, то обманчиво-конкретный, но непременно целостный, воплощенный в неповторимых характерах и обстоятельствах. Его отличительной особенностью всегда была огромная эмоциональная сила, прожигающая броню веков, воспламеняющая в людях жажду перемен и великую надежду.

На протяжении всей истории литература аккумулировала драгоценный социальный и нравственный опыт бесчисленных поколений людей. В ее необъятной памяти хранятся имена и деяния героев, воителей за народ и человечество, страстных поборников добра и справедливости. Она пробуждала и пробуждает в людях чувства добрые, стремления благородные, в ней запечатлены величие и низость человека — в назидание потомкам. Ничто великое в мире не совершалось без страсти, справедливо утверждал Гегель. Подлинная литература всегда была страстью, исканием, мукой совести, неукротимым стремлением к гармонии.

Изучать сложную историю Великой Мечты с помощью литературы — это еще и огромное эстетическое наслаждение. Ведь произведения истинных поэтов, говоря словами А. С. Пушкина, всегда остаются свежими и вечно юными. Вот почему под своды светлого храма Мечты мы зовем из прошлого всех, кто был наделен даром «вечной юности», всех, в ком светился дух совершенства.

Зовем и потому, что во все века подлинно великие художники непременно опережали время, преодолевали узкие рамки своей эпохи, ставили важнейшие, всечеловеческие вопросы, предлагали свои, пусть противоречивые, ограниченные, подчас иллюзорные, ответы и этим вносили драгоценную лепту в формирование идеала общества и человека. Их мечты и труды, их страдания, их нравственные подвиги органически включались в живую плоть этого идеала.

Большие писатели всех времен всегда сеяли разумное, доброе, вечное, хотя сами не надеялись увидеть всходы. Но, даже если столетия отделяют посев от жатвы, дело первосеятеля навсегда продолжает жечь сердца людей огнем любви и ненависти, озаряет нашу жизнь светом неистребимой веры в Человека, его творческое предназначение, его бессмертие. В самые мрачные, самые гнилые и реакционные эпохи сохранялась вера в Мечту. Она не позволяла застыть, очерстветь, закаменеть лучшему в человеке — нравственному чувству, бескорыстию, достоинству личности.

Намерения тех, кто создавал Идеал будущего, были чисты и благородны. Не вина их, а беда, что иными из этих намерений была вымощена дорога не в рай, а в ад собственничества и угнетения. Однако справедливость истории состоит и в том, что наступают времена, когда намерения, мечты искренних друзей человечества становятся важнее преходящих временных итогов. Старая формула нуждается в уточнении: благие намерения могут служить отличным материалом для строительства дороги к счастью.

Разумеется, коммунизм предполагает отрицание, преодоление всех односторонних, искаженных, неполных, утопически несбыточных форм гуманизма. Но это отрицание особого рода, отрицание

диалектическое. Слово В. И. Ленину: «Не голое отрицание, не зряшное отрицание, не скептическое отрицание... характерно и существенно в диалектике,— которая, несомненно, содержит в себе элемент отрицания и притом как важнейший свой элемент,— нет, а отрицание как момент связи, как момент развития, с удержанием положительного...»

«...С удержанием положительного!» Таков фундаментальный принцип подлинно коммунистического, марксистско-ленинского отношения к культурному наследию. Он положен в основу и настоящей книги.

Мы будем судить о героях нашего повествования, руководствуясь еще одним принципом. Он заключается в том, что «исторические заслуги судятся не по тому, чего не дали исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно с своими предшественниками» (В. И. Ленин).

Вместе с тем автор хотел бы напомнить читателю, что перед ним не теоретическое исследование по истории человеческой культуры. Предлагаемая книга не может дать полной и всесторонней картины духовного развития общества. Для того, чтобы осветить это развитие, далеко не достаточно было бы сконцентрировать внимание только на положительных моментах в наследии прошлого. Колесо истории крутится, времена меняются, и задача сегодняшнего дня, задача нашей книги — не потерять за историческими наслоениями любые драгоценные блестки прекрасного и человечного.

В. И. Ленин неустанно учил умению смотреть на развитие общества, в том числе и на духовные и нравственные ценности, которые выработало человечество, не только с точки зрения прошлого и настоящего, но и с точки зрения будущего. Такой взгляд, с одной стороны, позволяет избежать некритического отношения к классике, а с другой — надежно защищает от размашистого, поспешного списания в архив истории всего того, что может и должно служить духовному, нравственному и эстетическому подъему народных масс. Именно так попытался автор вглядеться в «литературное зеркало» светлой Мечты.

...Сплавляя бренное и бессмертное, неповторимое и общее, литература и искусство с ходом времени все полнее выявляют для потомков гармонию разума и труда, красоты и нравственности. За тысячу лет до нас герои труда были героями литературы. «Красота спасет мир»,— говорили художники. Наивно? Да! Но если она в одиночку и не спасает мир, то активно помогает спасти его, очистить человека от скверны пороков, слабостей, предрассудков.

Только для этого нужно, чтобы красота обручилась с освобожденным трудом, а не была Золушкой в услужении наглых и бессердечных дочерей буржуазного Молоха.

Красота прошлых эпох неустанно работает на коммунизм. Она — для каждого из нас; она — в каждом, чье сердце наполнено жаждой добра, любовью к человеку и тревогой за него. Надо ли подробно и специально говорить о том, что отнюдь не в прошлом и не для прошлого великие творения великих художников! Они вечно актуальны; они — вспомним Пушкина! — вечно юны.

Приобщение к творчеству великих мастеров, к их мечтам и нравственным исканиям необычайно нужно современному человеку для выработки исторического чувства и подлинного интереса к будущему. Без усвоения «всего богатства достигнутого развития» (К. Маркс), без удержания положительного в наследии прошлого человек может остаться этически глухим и эстетически малограмотным, невзирая на ультрасовременную специализацию. Общество рискует тогда получить в его лице не гражданина с высокоразвитым чувством общественности, а расчетливого рационалиста, этакого «мерзавца на правильной стезе»...

Работая над этой книгой, и автор и редакция отдавали себе отчет в том, что невозможно «объять необъятное». Увы, многое и многие остались даже не упомянуты... Но читатель наверняка найдет близкие ему имена в безбрежном океане мировой художественной литературы, а главное — увидит трудные странствия Мечты — пусть пунктиром, эскизно — по дорогам истории.

Итак, читатель, отправимся в путешествие «вниз по лестнице, ведущей вверх» — по ступеням каменных и письменных летописей, запечатлевших дерзновенный полет человеческого духа, страстный порыв Мечты. И на каждой ступени, то есть в конце каждой главы, мы будем иметь возможность прикоснуться к первоисточникам мудрости и красоты, услышать голоса бессмертных художников и мыслителей.




Глава I
СВЕТ ИЗ ТЬМЫ

Народная Утопия служит мерилом для оценки всех своих преемников.

А. МОРТОН

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Мы с детства привыкли к страшным и грустным, наивным и смешным, но неизменно добрым сказкам. Как бы трудно и горько ни приходилось в них хорошему человеку, правда в конце концов всегда оказывается на его стороне. Как бы ни ухмылялось самодовольное Зло — будь то волк или Синяя Борода, и даже сам Кощей Бессмертный,— оно неминуемо терпит сокрушительное поражение.

Что это? Примитивный «хэппи энд»?

Дело обстоит куда сложнее. Попытка человека, пусть пока в воображении своем, одолеть могучие, враждебные стихии природы несла в себе зародыши непокорности, дерзкого вызова — в том числе самому себе, своим страхам, обессиливающему соблазну жить «по воле волн», а не по собственной, разбуженной для созидания и счастья воле.

«Сказка — ложь, да в ней намек...» Первые робкие шаги мечты о лучшей доле, о достатке, о согласии людей друг с другом и природой мы находим в многовековых толщах первобытного общества, когда простое пользование природными благами постепенно сменялось умением сознательно добывать самые необходимые для продолжения рода, для обогащения его знания, умения, навыки, идеи.

Приручение огня было огромной победой человека на его многотрудном историческом пути. Огонь костра согревал, оберегал от диких зверей, помогал готовить здоровую пищу, освещал мрак первобытных пещер. В пламени его пращурам нашим грезились смутные, захватывающие видéния светлой жизни. И запылал яркий, неугасимый огонь человеческой мечты о лучшем будущем! И уже не казался себе человек песчинкой в яростном вихре природных сил. Первый шаг к свету из хаоса дикости, «животности», унылой неподвижности бытия был сделан.

...И вот дерзит всемогущим богам гордый Прометей, и торжествует Правда над Кривдой, и побивает злых ворогов могучий справедливый богатырь — крестьянский сын. Сказки исподволь, незаметно, естественно питают дух приходящих поколений «материнским молоком» добросердечия, жизнерадостной уверенности в торжестве мира и счастья. Они учат любить природу, хороших людей, бороться за победу добра.

А теперь спросим себя: разве не созвучна эта любовь к жизни, эта жажда счастья для всех — с идеалами, которые провозглашаем и отстаиваем мы, коммунисты?

Уже на первых шагах человечества

выявились, обозначились и легли в основу его «генетической памяти» такие необходимые для выживания и развития рода чисто человеческие качества, как взаимопомощь в труде, альтруизм, добросердечие,— качества, получившие затем свое наиболее отчетливое выражение в нормах трудовой коллективистской морали.

Между прочим, именно здесь обнаруживается «тайна» того сказочного счастливого финала, с которого началась наша беседа об истоках Великой Мечты. Вовсе не случайно и не в одном лишь воображении Добро побеждает Зло! Теперь благодаря нашим познаниям о генезисе первобытного общества уже считается доказанным «примат добра», превосходство человеческой солидарности, единения над эгоизмом, человеконенавистничеством. Доказано, что коллективизм есть начало начал, благодатный источник нравственной жизни человечества.

Природа сурова: она безжалостно мстила одиночкам, преступавшим высшие интересы рода. В борьбе за жизнь многих человекоподобных победителем вышел тот вид, в котором было сильнее развито чувство взаимной поддержки, тот, где чувство коллективного самосохранения брало верх над чувством самосохранения личного.

Сюда, в бездонные глубины веков, не раз будет потом спускаться взыскующая истины человеческая мысль. Здесь, в кладовых первобытного коммунизма, в его метафорах, символах, аллегориях, будут искать люди новых времен заветную, магическую «формулу счастья». Одни будут тяжко вздыхать о невозвратности былого, другие — изобретать всяческие микстуры, коктейли из первобытности и современности. Это будут утопии — то прогрессивные, то реакционные в зависимости от того, какими классами, на каком «витке» социальной эволюции они будут рождены на свет и подхвачены различными общественными силами.

Все еще впереди. Но уже завертелось колесо истории, двинулось неудержимо навстречу разделению труда и «расщеплению» — во имя прогресса — общества. Двинулся естественноисторический процесс, на разных полюсах которого накапливались «молекулы» добра и зла, зерна людских надежд и плевелы жесткого эгоизма; элементы морали трудящихся и морали будущих господ. Накапливались и силы разума, побуждаемые самою жизнью рискнуть поставить и поискать ответ на жгучий вопрос: что будет впереди, завтра, потом, то есть в будущем?

Человеческий разум постепенно преодолевал первобытное представление об одинаковости прошлого, настоящего и будущего, представление о монотонности, унылой повторяемости дней, лет, веков и уносился мысленно в иные края, иные миры. Раздумья человека о будущем, пускай самые примитивные, самые нескладные, были первыми робкими шагами Великой Мечты.

О, сколько еще предстоит пройти тропинок, дорог, сколько встретится преград, сколько будет впереди обманщиков, тиранов и убийц! Однако первые шаги сделаны. Вызов брошен; попробуй останови!

НАКОПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Мечта о будущем родилась в стихии народного творчества, мифологии, затем искусства. В художественной сфере естественно и непосредственно выявлялась созидательная сущность человека; фантазия, интуиция творили поистине иной (пока еще иллюзорный, насквозь вымышленный) мир.

Подобно геологическим срезам, культурные напластования эпох выразительно рассказывают об истории возвышения человека, его разума над грубой животностью. Уже в примитивных орудиях труда, где сквозь утилитарность глухо пробивались законы красоты, таилось искусство.

Однако единое представление о мире постепенно распадается, расщепляется неумолимым ходом общественного разделения труда. Истоки первоначальной слитности теряются во мгле тысячелетий, дольше всего сохраняясь в языке народа и памяти народа — фольклоре. Но как бы далеко друг от друга ни разбежались искусства, науки, общим стволом, прафундаментом их является активно-преобразующая деятельность Человека.

Об этом прекрасно сказал Максим Горький: «Наиболее глубокие и яркие, художественно совершенные типы героев созданы фольклором, устным творчеством трудового народа. Совершенство таких обра-

зов, как Геркулес, Прометей, Микула Селянинович, Святогор, далее — доктор Фауст, Василиса Премудрая, иронический удачник Иван-дурак и, наконец, Петрушка...— все это образы, в создании которых гармонически сочетались рацио и интуицио, мысль и чувство. Такое сочетание возможно лишь при непосредственном участии создателя в творчестве действительности, в борьбе за обновление жизни».

У каждого народа — свой фольклор, свои песни, мифы и сказки. Но общими для всех людей, то есть общечеловеческими, испокон веков являются чувства трудовой солидарности, радости бытия и созидания, любви и гнева. Общим стремлением к миру, справедливости и добру отмечены их душевные движения. А первооснову этих чувств мы находим опять-таки в коллективной трудовой деятельности людей, объединяющихся для того, чтобы сделать жизнь хоть чуточку добрее, чище, светлее и краше.

Основу зарождавшегося самосознания общественного человека составляла вера в победу над темными силами зла, нашедшая выражение в освобождении титанов — носителей лучших, истинно человеческих начал, борцов за интересы племени, рода, а то (как в легенде о Прометее) и всего человечества. Древние завещали нам устойчивое представление о героической природе человеческой личности. Человек рожден для дерзания, борьбы и победы; таков первый «прорыв» к будущему.

В мире волшебной сказки открылся простор человеческому воображению, мысль и интуиция устремились на поиски сокрытой сути вещей и явлений. Сказка снарядила в долгий путь по дорогам истории любимое чадо свое — добрую, светлую Мечту. Рассветные часы человечества озарены яркими сполохами Мечты, покоряющей пространство (семимильные сапоги), высоту (ковер-самолет). Герои сказок и мифов посягают на земное тяготение (Святогор) и даже на самую смерть! Сказочная «живая вода», символ неувядающей жизни, становилась поистине живой водой рождающихся литературы и искусства. Ведь она питала мысль о з е м н о м счастье и бессмертии, она положила начало линии исторического оптимизма. Символы человеческого могущества возвысили искусство над религией, сумевшей, да и то значительно позже, выработать лишь чахлую, ханжескую имитацию мечты — бесплотное «царствие небесное».

...Пройдут века, труд человека, его воля сотворят «дивные дивы», куда более необыкновенные и сильные, нежели создания сказочной фантазии. И на всем этом пути рядом с «живой водой» пытливой, бесстрашной человеческой Мечты будет течь «мертвая река» эгоистической иллюзии о личном благополучии и личном бессмертии — любой ценой, во что бы то ни стало.

Вместе с разделением труда, вместе с глубочайшими классовыми разломами гибнущего первобытнообщинного строя — вместе с этим и вследствие этого — обозначился водораздел, с которого началось противоборство гуманизма и антигуманизма, веры в человека и неверия в его созидательные силы, устремленности ко всеобщему счастью и попыток консервации, увековечения счастья лишь для «элиты», господ. Тогда же, на стыке первобытного коммунизма с идущим ему на смену рабовладельческим способом производства, впервые наметилось разделение и противостояние культуры трудящихся масс и культуры эксплуататоров.

Отнюдь не случайны эти осторожные «обозначился»... «наметилось»... Понадобится еще много времени, чтобы полюсы культур и этических систем отдалились друг от друга до полной противоположности и враждебности. Более того: лишь в сформировавшихся нациях эпохи капитализма мы с полным основанием говорим о двух культурах. Значительно раньше расходятся пути трудовой морали народа и тунеядческой по сути своей морали господ. Но и здесь опасны и неплодотворны прямолинейные, лобовые оценки по шкале «хорошо — плохо». Все обстоит гораздо сложнее.

Мысль, совесть, историческая память народа аккумулировались в преданиях, песнях, легендах, эпосе. И это, без сомнения, был и есть золотой фонд человеческой нравственности, социального идеала. Люди труда передавали от поколения к поколению мораль взаимопомощи и взаимовыручки, чувство гордости за сотворенное, сработанное своими руками, прочное чувство неприязни к «захребетникам», тунеядцам. Все это были «кирпичики», из которых складывалось осознанное представление о высоком назначении и счастье человека

в дружественном, а не враждебном ему сообществе.

Вместе с тем разделение труда, этот величайший двигатель исторического прогресса, сыграло свою благотворную роль и в деле накопления сокровищ мировой культуры. Часть людей, освобожденная от повседневной, изнуряющей борьбы за хлеб насущный, смогла полностью посвятить себя духовной деятельности, взращиванию цветов разума и искусства. Тут важно только не впасть — ненароком! — в апологию духовной «элиты», в восхваление владык, воздвигавших на костях миллионов людей каменные громады пирамид и висячие сады Семирамиды.

Прислушаемся к голосу египетских пирамид.

«...Своими грандиозными архитектурными творениями Египет обязан не столько численности своего населения, сколько возмо́жности обратить довольно значительную часть его на исполнение работ непроизводительного характера» (К. Маркс). Деспотия, безраздельное господство правящей верхушки во главе с фараоном над огромной массой людей — вот корень этой возможности. Реализация ее в циклопических сооружениях, «гигантомания» строительства обусловливалась стремлением к материальному воплощению «сверхвласти» над жизнью и смертью подданных. И эти «работы непроизводительного характера» лишь оттеняли бедность, порабощенность, безгласие и ничтожество большинства. Историк древности Диодор Сицилийский с удивлением и жалостью писал о египтянах: «Трудно поверить, как мало усилий и затрат им стоит вырастить детей. Они варят для них простую пищу, все, что придется...»

Все подвиги, все успехи в борьбе человечества с природой в те времена, на заре цивилизации, приписывались царям, фараонам, титанам. И это была исторически неизбежная форма отражения общечеловеческого в искусстве — несправедливая, как само классовое общество, но в то время единственно возможная. Деспот вырастал до размеров богочеловека; ведь загадочная сила его абсолютной власти была сродни могуществу природных стихий...

И что же? Прошумели века, рухнули троны, истлели «богоравные» мумии. Но остались памятники культуры: пирамиды, папирусы, украшения, предметы быта. Памятники — по высшей справедливости истории — не фараонам и жрецам, но гению народному, умению и терпению человека-труженика.

Медленно скрипела арба истории на огромных просторах от Нила до Хуанхэ, от устья Днепра до жарких аравийских пустынь. Глубокий сон мысли... Обезличка трудящихся людей и обожествление владык...

Все так! Но даже там, где по прихоти завоевателей строились пирамиды из черепов, там, под толщей каменного великолепия, под гримом божественных обрядов и царственных поклонений пульсировала тоненькая, теплая жилка человеческой Мечты. Она пробивалась в любовном вздохе, в крике белых лебедей, в воспоминании о былых «добрых временах», в похвальном слове дружбе, справедливости, миру. Эта жизнетворная жилка пульсировала в творениях либо анонимных, либо дошедших до нас по имени лучших сынов народа.

...Вспомним длинные очереди в наш Пушкинский музей к привезенным из Египта сокровищам Тутанхамона. Конечно же, не сам мальчик-фараон и его короткая невзрачная биография волнуют миллионы людей спустя много тысяч лет. Непреходящий восторг вызывают красота, воплощенная в этих сокровищах; совершенство утилитарности, вышедшей за свои пределы и ставшей подлинным искусством; высокая способность освоения природных материалов по законам красоты. Но это и есть истинная народность искусства, лишь внешне, «протокольно» связанного с конкретным царским именем и судьбой. А Нефертити, покоряющая сердца! Земной поклон художнику, сумевшему поймать и остановить «чудное мгновенье», а потом передать его через тысячелетия людям.

А какой многоцветный, сложный и умный человеческий мир открывается нам в древнеегипетской поэзии! Жарким пламенем обжигают сердце человека XX столетия восторженные слова любви, произнесенные немыслимо давно египетской девушкой своему возлюбленному:

Ты — само здоровье, жизнь сама!
Ты живешь — о, счастье!
Ты здоров — о, радость
Для души, стремящейся к тебе!

Пройдет не очень много веков, и ханжи в сутанах и рясах проклянут любовь — эту «языческую страсть», мешающую душевному слиянию человека с богом. Они даже библейскую «Песнь песней» переиначат на свой лад — в некий «зашифрованный» псалом... во славу матушки-церкви. Какое кощунство! А ведь в нем была своя логика: любовь движет человека к человеку, пробуждает высокие чувства и земные — в этом-то все дело! — помыслы и устремления. Но чем ближе к земному, тем дальше от небесного...

Великий дар любви, «что движет солнца и светила» (Данте),— это возвышающее чувство мы, коммунисты, наследуем как могучую силу, помогающую дотянуться до звезд, порождающую неодолимую тягу к совершенству, благородству и самоотверженности. Великий дар любви — это дар мечты о лучшем будущем для людей.

Почти одновременно с культурой Нильской долины возникла шумерская цивилизация в междуречье Тигра и Евфрата. Глиняные таблички шумеров сохранили для человечества древнейший эпос о Гильгамеше. Чем же может быть интересен этот рассказ о юном властелине города Урука для нашей книги? Думается, прежде всего бесстрашием духа, силою дружбы, поисками бессмертия, мечтой о всемогущем и вечном счастье Человека на земле.

Гильгамеш богоподобен: достаточно вспомнить его ссоры с богами и победу над чудовищным Быком — творением Ану и Иштар. Но вот умирает богатырь Энкиду, и Гильгамеш мучительно сознает свое бессилие... Движимый любовью к другу, он ищет тайну вечной жизни, более того,— вечной молодости. Коварная змея похитила у Гильгамеша добытый им цветок бессмертия. И тогда благородный юноша просит богов, как о высшей милости, о свидании с тенью верного Энкиду...

Гильгамеш старше пирамид, старше всех пророков Ветхого и Нового заветов. Он на много столетий старше своих «собратьев» из эпоса других народов и стран. Но всегда и повсюду, сквозь причудливые узоры географических, психологических, языковых и иных особенностей, в любом эпосе просвечивает нечто общее, для нас в данном случае особенно важное. Заключается оно, это общее, в том, что творцами эпоса, его героями, его «сквозной темой» являются народ и душа народная.

Необходимо точно зафиксировать и социальные параметры древнего эпоса. Он является как бы зеркалом жизни народа в условиях общинно-родовых отношений либо уже на стадии их разложения. И пусть, повторяем, тысячелетия отделяют Гильгамеша от исландской «Эдды», германской «Поэмы о Беовульфе» или от киргизского «Манаса»,— повсюду встречаемся мы с прославлением доблести, мужества, везде обнаруживаем персонификацию сущностных сил народа в «культурных героях». Эпические произведения древности — хранилища несметных «золотых россыпей» человечности и добра!

У нас нет возможности даже просто перечислить эти хранилища. Скажем только, что все они, тщательно, по строчке, по словечку собранные, занесенные в реестры, каталоги, словари, все еще ждут новых исследователей, которые придут к ним не за диковинными метафорами или экзотическими обычаями, но за россыпями доброты и мудрости народной, за неумирающей человеческой Мечтой!

...В серии «Библиотека всемирной литературы» внушительным тиражом были изданы «Махабхарата» и «Рамаяна» — великие эпические поэмы Древней Индии. Поистине тысячу лет создавал народ свой эпос: если устный канон «Махабхараты» сложился в VI—V веках до н. э., то лишь к V веку н. э. относится ее завершенная литературная редакция.

Любой эпос многослоен; в нем воплощен поэтический труд многих поколений людей. И потому он подчас приходит к потомкам с заметными следами позднейшей обработки, разумеется, в пользу «сильных мира». Правители, их духовные прислужники великолепно понимали: искусство вечно, только оно может пронести их имена сквозь века. Цари по-своему посягали и на будущее!

Так, и в «Махабхарате» и «Рамаяне» сквозь причудливые и скорбные узоры песен о кровавых междоусобных, братоубийственных сражениях, сквозь преувеличенно громкие хвалы вождям и воинам пробивается живой голос простого народа, ощущается его кодекс чести, его представление о благородстве, о смысле жизни.

Безымянные авторы грандиозного —

в 100 тысяч шлок (двустиший) — поэтического здания «Махабхараты» оставили нам пронизанные глубокой мудростью размышления о предназначении человека, о жестокости и бессмысленности войн, о неотвратимости возмездия Злу. Лучшие умы человечества высоко оценивали «Махабхарату», в особенности поэму «Сожжение змей» и «Бхагавадгиту» — «Божественную песнь».

Особо обращают на себя внимание прославление в «Махабхарате» бескорыстных деяний на благо людей, обоснование необходимости жертвовать личным во имя общего блага. Кришна проклинает эгоистические вожделения, «алчное пламя в обличье желанья», славит человека, сознающего свой долг. И пусть каждому предопределен его путь, пусть неизбежна смерть; человек всесилен в своем нравственном выборе, в определении того, как прожить отпущенные годы: по-орлиному или по-слизнячьи. Не правда ли, как во многом созвучны эти мысли проблематике сегодняшних художественных и этических поисков человечества?!

«Родоначальница книжной литературы» (М. Горький), устная народная поэзия, охватывала все основные события в жизни человека — от рождения до самой смерти. Песня празднично и ярко воспевала труд, мир, любовь, радость коллективного преодоления трудностей, переполнялась болью и надеждой простых людей. И если эпос — это хранилище «самородков» добра, то песни — целое море народное: ни вычерпать, ни, тем более, иссушить невозможно!

Море это плещется о берега книжной литературы на протяжении всей истории классовых обществ. Случалось, его отгораживали высокими дамбами «изящной словесности» (то ли рыцарской, то ли дворянской, то ли мещанской) во вред этой самой словесности. Бывало и так: «бесовское» пение (или — языческое, говорилось разно) беспощадно каралось огнем и дыбой. Тогда море уходило в породившую его почву — в народ, и уже не было сил ни у кого на свете «море высечь» или «море спалить»!

Из песни народной родилась красавица лирика, словно Афродита из пены морской. Родилась постепенно, по мере того как человек осознавал себя в рамках коллектива неповторимой личностью. Именно лирика, это нежное, чуточку капризное создание, взвалила на свои хрупкие плечи атлантово бремя человеческих страданий, сомнений, горестей, страстей. Она пронесла этот груз сквозь века, не расплескав ни капли благородных чувств, не разменяв ни карата драгоценных высоких дум и устремлений. Вот почему ничем не измерить облагораживающего и возвышающего воздействия лирики.

Век за веком, капля по капле, зернышко к зернышку, одно доброе слово к другому — шел в толще народной подспудный процесс «накопления человечности», накопления неисчерпаемого морального ресурса гуманизма. Мы благодарны предкам за чистоту их мыслей и переживаний. Благодарны за то, что даже в те жестокие века они, придавленные каменными жерновами всесильной власти, опутанные плотной паутиной суеверий, все-таки берегли в себе человеческое, мечтали о гармонии и тем самым приближали день и час осуществления Великой Мечты!

НА ЗЕМЛЕ ИЛИ В НЕБЕСАХ?

Сказка и миф, древние эпос и лирика несут в себе зародыши Мечты о совершенном, счастливом состоянии рода человеческого. Первые шаги ее связаны прежде всего с дерзким стремлением человека преодолеть враждебные стихийные силы природы. Фантазия и ее порождения распрямляли людей, закаляли волю к борьбе, помогали наращивать силу разума и организованности.

Долго-долго работало волшебное увеличительное стекло народного воображения. Однако оно стало собирать в единый пучок рассеянные частицы Мечты лишь тогда, когда совершилось «пришествие зла» — когда появилась частная собственность на орудия и средства производства, когда утвердилось охраняющее ее государство; стало собирать вопреки злу. Строго говоря, с этих пор и ведет свое начало анонимная социальная утопия — исходный пункт и внутренняя потенция утопической и революционной мысли вообще.

Ядром народной утопии становится мечта о таком общественном устройстве, которое обеспечивает счастье для всех и каж-

дого. Эта мысль никогда не покидала человечество. Она вдохновляла его на борьбу с тем, что препятствует достижению достойной человека жизни.

Адрес народной мечты — планета Земля, простые труженики. Она нередко улетала на крыльях воображения и в небеса, но в конечном счете всегда в поисках з е м н о й радости, земного счастья для человека-труженика. И потому-то она была действенным оружием в борьбе против эксплуататоров на всем пути развития классового общества.

В тумане веков теряются истоки одной из самых живучих народных легенд, сыгравших немалую роль в социальных битвах минувших эпох, в генезисе утопически-коммунистической мысли. Это утопия «земного рая», «счастливых островов», которые где-то существуют. Нашедшему их обеспечено блаженство и счастье. Лишь потом, значительно позже, утопия эта раздвоится, и земной ее вариант обретет дубликат в форме «рая небесного».

Первая литературная версия «райской» утопии была обнаружена в древних вавилонских таблицах, описывающих «первочеловека» и его путешествие в сады верховного бога за райскими овощами. Выглядит рай вполне по-земному, а как же иначе? Ярко светит солнце, гнутся под тяжестью сочных плодов пышные деревья, в воздухе разлито дивное пение птиц...

Но добраться до рая проще, нежели заполучить тамошние овощи и фрукты. Для этого нужны сила, отвага, хитрость и, разумеется, милость богов. Однако «бог-то бог, да сам не будь плох»! Потому что препятствуют достижению рая и пользованию его плодами силы Зла: змеи, коварные волшебники, хищные грифы... С этими силами надо драться. Так обычная сказка о рае превращалась из ожидания чуда, из воспоминания о прошлом чуде (мол, когда-то был рай для всех!) в концепцию активной борьбы за будущее. И поднимались в бой герои, титаны — бесстрашные, презирающие смерть, могучие правотой своей силы и силой своей правоты.

Это нерасщепляемое ядро вековечной легенды обрастало потом самыми причудливыми покровами, толковалось совершенно по-разному. Одной из версий, ветвей «райской» утопии была, в частности, легенда о «золотом веке», который остался далеко позади, в невозвратном прошлом. Тоска по минувшему была рождена идеализированной памятью о первобытном коммунизме, о коллективизме натуральной крестьянской общины, уничтоженном классовым расслоением общества.

Мы еще много раз встретимся с утопией «золотого века». Разные социальные группы в разные времена тяготели к ней. В социально-экономическом смысле эта идея таила в себе реакционный оттенок призыва к увековечению примитивных хозяйственных и духовных форм бытия. Но с точки зрения нравственной она выражала хотя и неосуществимое на протяжении тысячелетий, но неодолимое тяготение людей к разрушению собственнического мира, расколотого на враждующие группы, на богатых и бедных, угнетателей и угнетенных. С точки зрения эстетической идея «золотого века» выражала тоску по гармонии, целостности бытия и потому содержала в себе возможности развития взглядов на прекрасное в человеке и в жизни.

По мере расширения пропасти между имущими и неимущими преодоление этой пропасти все более мыслилось трудящимися как переворот сущего, как полная «перемена декораций», когда образ жизни немногих становится образом жизни всех. И вот уже сказочные «молочные реки — кисельные берега» (образы торжества человека над голодом и лишениями) трансформируются в «реки, полные вина», в стаи летающих жареных гусей, в резвящихся поросят с вилкой в боку — как говорится, режь да ешь!

Да, наслаждение едой долгое-долгое время было едва ли не синонимом человеческого счастья. Сытость была доступна лишь богатым. Простолюдинам оставалось глотать слюнки, считать дни и месяцы до праздника, когда, может быть, удастся поесть вволю и всласть... Вот бы перевернуть все вверх ногами! Вот бы такую жизнь, чтобы всего вдосталь и для всех! Так в глуби веков рождаются разные варианты «страны всеобщего счастья» — сытости, праздности, приязни, здоровья и благополучия. В Англии ее позже назовут страной Кокейн, во Франции — Кокань; ее будут называть Рай бедняка, Леденцовая гора, страна Юности, таинственные «счастливые острова». Для каждой из них характерны сказочно-шутей-

ные преувеличения, гротеск, «выворачивание» наизнанку нормального порядка вещей.

Подобные мечты о сытом и благополучном будущем выглядят на первый взгляд как химеры ленивых завистников, обжор и тунеядцев. Но лишь на первый взгляд. Ведь уделом подавляющего большинства был изнурительный, подневольный труд почти без вознаграждения. Такой труд был не радостью, не потребностью, а проклятием, и потому отдых и изобилие для всех становятся непременными элементами народного идеала подлинного счастья. Изобилие и отдых — всего лишь плата за мученическую работу, за нечеловеческие усилия, создающие блага, увы, для немногих!

В первых народных утопиях нашла фантастическое воплощение и еще одна древняя мечта труженика — переложить на природу заботы в достижении изобилия. Ведь трудом оно никак не осуществлялось (да и не могло тогда осуществиться). Вот откуда падающие с неба блины. Не врожденное тунеядство, не тупая праздность составляют основу этой мечты, но стремление к *освобождению* человека для веселья, здоровья, товарищеского общения.

Разумеется, было бы непростительной (даже для популярной книги) натяжкой ставить в один ряд «реки меда, масла и вина» с Марксовым прогнозом «широкого потока» общественных богатств как непременного условия коммунизма. И все-таки рискнем сказать, что именно с первых народных утопий начинается установка на изобилие, на «богатство для всех» в истории утопической мысли. Установка, постепенно вызревшая в передовых учениях до уровня подлинно научного, коммунистического. «Счастливые острова» народной утопии были фантастическими предтечами гуманизма, ибо создатели их были преисполнены веры в возможность преобразования мира в соответствии с желаниями и потребностями людей. И это главное в народной утопии.

Что же касается однобокости, непритязательности содержания идеала, так это вполне объясняется неразвитостью социально-экономических условий, убогостью культурного и нравственного уровня трудящихся. Напротив, достойно удивления, как классовое чутье и трудовая мораль возвышали этих людей над мерзостью и мраком реального бытия, над «сплошным бытом», не позволяли им духовно замереть на века, уныло упершись в корыто с чечевичной похлебкой.

Было бы несправедливо, наконец, не обратить внимание на бунтарскую суть народного идеала. Его плебейский дух, его необычность во всем противостоят миру «нормальному», то есть реально существующему. Но не все сущее истинно! И это был негасимый, жаркий уголек ереси, сопротивления злу. От него потом зажигались дерзкие огоньки народных празднеств, «непристойных» песен, пословиц, новых и новых сказок, в которых человек труда неизменно побеждал попа, дворянина, царя и даже костлявую старуху смерть. От него возгоралось яркое пламя стихийных бунтов. В народных утопиях содержался огромный заряд оптимизма, земной, житейской веры в будущее — важнейший моральный ресурс, глубинный базис грядущих социальных потрясений.

В толще народного сознания, в древнейших представлениях об «иных мирах» находим мы зародыши всех будущих социальных утопий: здесь и счастливые острова (найти трудно, но возможно!), и диковинные дальние страны (не там ли сохранился еще благословенный «золотой век»?), и, наконец, различные варианты будущего земного «царства божия».

«Народ,— писал М. Горький,— не только сила, создающая все материальные ценности; он единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них — историю всемирной культуры».

Утопия была прорывом человека из царства жестокой необходимости в царство желанной свободы — прорывом фантастическим, воображаемым. Однако вовсе не фантастичны, не эфемерны результаты такого прорыва в будущее. Народная утопия помогала человечеству уберечься от безверия, отчаяния, подавленности, обреченности. Сколь бы мучительно безобразна и горька ни была жизнь, лучшие из сынов народа находили в себе силы верить: так вечно длиться не может! Где-то люди живут

иначе! Когда-то наверняка жили иначе! В конце концов, будут жить иначе — дружно, счастливо, справедливо!

ЗНАМЯ ПРАВДЫ

Итак, люди будут жить иначе! Благая, светлая вера — но отчего бы не попробовать переиначить и уже существующую, унылую и безысходную жизнь? Народная утопия побуждала к социальному действию, к практике, рождала самые разнообразные попытки реального осуществления идеала.

Рассмотрим в этой связи утопическую модель, рожденную в своеобразных социально-исторических условиях. Речь пойдет сейчас об идеале народной Правды, возникшем в эпоху Древней Руси. В нем запечатлелись не одна только стихия народного поверья, не одна только «чистая мечта». Этот идеал с самого начала был активно включен в массовые движения, спаян с практикой борьбы социальных низов. Он содержал в себе мощный потенциал неприятия эксплуататорского строя, «оружие критики» этого строя, которое на крутых виражах истории нередко оборачивалось «критикой оружием»: возмущением, бунтом, восстанием.

История нашей страны учит, что любой стихийный протест масс против угнетателей озарялся пускай смутно-расплывчатым, но приметным светом стремления к Правде, сопровождался попыткой осознать: «За что кладем животы своя?»

А вот за что. Изначально, от возникновения человечества надлежало людям жить в мире и согласии, во взаимном уважении и дружбе. Царили на земле в стародавние времена людское богатство и достаток, и никто не помышлял нарушить равенство и справедливость. Однако это блаженно-совершенное состояние общества удалось затем разрушить силам Зла и Кривды. А посему надо восстановить Правду во всех ее неотъемлемых правах, дабы не хирел, не иссыхал, но расцветал и радовался род человеческий!

Таковы — конспективно — основные слагаемые идеала Правды. Они весьма общи, но оттого, вероятно, и оказались жизнестойкими и долговечными. Они послужили материалом для всех будущих ересей, плотно окутанных уже в религиозную фразеологию и символику. Но всегда сквозь оболочку отчаянных, кровавых споров вокруг христианских догматов явственно проступал каркас идеала, яростное стремление еретиков вернуть людям истину жизни по Правде.

Диапазон здесь широчайший — от уравнительных иллюзий до добровольного ухода из «кривого», «вывихнутого» мира. Борьба за Правду была борьбой против эксплуатации человека человеком, борьбой за социальную справедливость. Идеал Правды, перефразируя известную формулу Маркса, был громадной материальной силой, поскольку он на протяжении жизни многих поколений властвовал над умами и чувствами угнетенных масс.

Исходные предпосылки, слагаемые идеала Правды корнями уходят в русские языческие легенды, былины, сказки, песни. В них идеализированы некоторые принципиальные обретения первобытного «коммунизма» и племенной демократии. В видоизмененной форме многие из этих первоэлементов органически входят затем в собирательное понятие Правды.

До чрезвычайности важно подчеркнуть сейчас трудовую основу этого понятия. Оно зиждется на плодотворной, созидательной идее общего труда на общей земле. Труженик-пахарь Микула Селянинович — вот кто по праву может считаться «праотцем» Правды народной. Свободный труд придавал ему великую физическую и моральную силу, то есть сознание собственного достоинства, уверенности, дружелюбия, готовности помочь собрату-труженику. Такой и перед князем — при полном, так сказать, уважении к власти — шапку ломать не станет, унижения своего не потерпит.

Заметим также, что уже в первоистоках идеала — былинах, поверьях, сказках — заложена идея крепкой и справедливой государственной власти. Одной из сквозных, дошедших от Киевской Руси до XX века, версий народной Правды была мечта о «справедливом князе». Позднее угнетенные низы выдвинут лозунг «царя от нищеты», который в конце XVIII века реально воплотится в «мужицком царе» Емельяне Пугачеве. Кстати сказать, в самом этом словосочетании ярко выявляется присущее всем без исключения народным утопиям

стремление перевернуть существующий порядок вещей, превратить «нормальное» (сущее), но не истинное, в «ненормальное», но соответствующее божьим установлениям. Не царский мужик, а мужицкий царь — вот идеал!

Воцарение феодализма внесло свои коррективы в представления трудящихся о том, как надо жить, чтобы всем было хорошо. На воспоминания об общинном коллективизме наслаивались упования на сильную, надежную верховную власть-заступницу. С утверждением христианства понятие Правды постепенно наполняется религиозно-мистической символикой. Но при этом вовсе не «выталкивается» нравственно-трудовое ядро идеала! Напротив, происходит переосмысление, переработка христианства в духе народного миропонимания.

Одним из важных письменных источников наших знаний о вызревании идеала народной Правды в его взаимоотношениях с комплексом религиозных идей являются так называемые «отреченные книги», находившиеся в обиходе народной культуры.

Заглянем, к примеру, в один из древних (V—VI вв.) апокрифов* «Беседа трех святителей». Там нас встречает такая загадка: «Что есть: стоит белый щит, а на нем сидит сокол, и прилетела сова и отогнала сокола?» Ответ гласит: «Белый щит — свет сей, а на нем сидит сокол, то есть правда, а прилетела злая сова, то есть кривда, и отогнала правду, а лжа-кривда осталась».

Итак, согласно этой версии когда-то зло и неправда воцарились на земле. Но Правда не погибла: она «пошла к богу на небо», стала «божьей правдой», неуязвимой и недоступной для Зла. Придет время — и она вернется на землю!

Как вернется, когда? Случалось, люди уповали на пришествие господа с небес с хоругвями сияющей солнцем Правды. Или уходили в скиты, за темные леса, дабы отринуть грязную, липкую, жадную кривду. Или брались за топоры да вилы, пускали к поднебесью «красного петуха» — гонца за долгожданной Правдой!

Обратимся теперь непосредственно к «народным версиям христианства» в том виде, как они сложились в фольклорный период развития общественного сознания. В них, этих версиях, бог на стороне трудящихся в битве за Правду, потому что и сам он оратай (пахарь). Таким он предстает, например, в апокрифе «Как Христос плугом орал». И не просто «орал», но и завещал людям братство во труде как наивысшую святыню! Когда же вернется на землю ясный сокол Правды — взойдет на престол «царь от нищеты», который «нищих богатыми сотворит», освободит людей от страха войны, от беззакония и обид, «перекует мечи на орала» и установит порядок, где всем будет привольно и счастливо жить.

Развернутая картина торжества общественного равенства, братства и справедливости сменяется в ряде апокрифов мрачными видéниями «конца света». Верить в нескончаемое земное блаженство у наших предков не всегда хватало смелости и фантазии. В самом деле, откуда все возьмется «у царя от нищеты», чтобы благодетельствовать вечно? Крайне низкий уровень развития производительных сил, реальное господство несправедливости — все это объективно ставило предел Мечте. И все же какие ослепительные горизонты Надежды!

«Царь от нищеты» обещал Правду тем, кто ищет и заслуживает ее, кто не склонил головы перед кривдой и ее погаными слугами (обещал то ли ненадолго, то ли на целых тысячу лет). «Ищущий да обрящет!» Но и в том и в другом случае речь шла о грядущем, а это давало утопии протяженность во времени, открывало определенный простор для активного действия. Человеку надлежало всячески содействовать приходу носителя Правды, «царя от нищеты», всячески противостоять, сопротивляться демоническим силам Зла.

Наряду с утопией возвращения Правды с небес (при активной поддержке земных праведников) была распространена уже известная нам утопия «земного рая», счастливых островов как преддверия этого рая. В ней особое внимание уделялось детальной разработке образа желанного счастливого человеческого общежития.

На русской почве уже в средние века мы встречаемся с подробным описанием «блаженной страны». Например, в «Слове о рахманах и предивном их житии» инока Ефросина сказочные мотивы — строительный материал любой утопии — сфокусиро-

* Апокрифы — произведения ранней христианской литературы, не признанные официальной церковью.

ваны на изображении бесклассового общества. У этих счастливых людей нет ни царей, ни вельмож, нет также и таких явлений, как купля, продажа, свара, зависть, татьба (кража) и разбой, нет, наконец, необходимых атрибутов церкви — храмов и риз. Нам представляется важным подчеркнуть внутреннюю глубинную связь этой письменной утопии с фольклорной традицией русской народной сказки.

Различные варианты поиска и утверждения Правды были внутренне заряжены динамитом сопротивления злу. В то же время они чаще тешили воображение, нежели звали на битву. Нередко они служили нарастанию пассивности, непротивления, тихой мечтательности. В конечном счете все зависело от эпохи, от температуры в «социальном котле».

Можно было сложа руки пассивно ждать пришествия «царя от нищеты» или утешаться иллюзорными картинами счастливых островов. Можно было без устали искать их по свету, ходить, как Афанасий Никитин, «за три моря» в поисках образцов для благоустроения России. Но можно было и попытаться создать свой, рукотворный остров по образу и подобию «рахманского». Во всяком случае, оба типа утопии теснейшим образом вплетались в многообразную, противоречивую, но всегда удивительно интересную социальную практику народных низов.

Народ — творец истории. Эта абсолютная истина научного коммунизма поворачивается к нам новыми своими гранями, когда мы прослеживаем предысторию человеческой культуры. Народ — творец будущего, но не только как созидатель всех достижений и благ цивилизации. Он и первотворец Великой Мечты о совершенном обществе и совершенном человеке. Он верный хранитель этой Мечты и самый храбрый воитель за ее торжество на земле.

Говорят: народ не ошибается. И это справедливо во всемирно-историческом смысле. На каждом же конкретном витке социального развития ему свойственны были и сладкие иллюзии, и горькие, как полынь, разочарования, и длительные блуждания в потемках. И все же народ сумел — не уронив, не запятнав, не предав под всеми адскими пытками — пронести, и сберечь, и взлелеять заветную Мечту о счастье! О счастье не для нынешних «близких», сомучениках и сотружениках, а для будущих поколений, для Человечества, которое будет достойно этой Мечты! И только те умы, которые, по Марксу, «связаны невидимыми нитями с телом народа», могли сказать миру свое слово, свою мысль, ибо это были слово, мысль, глас народа!

Мы завершаем свое первое путешествие к истокам, к первым родничкам и ручейкам народного Идеала. Впереди — горные вершины человеческого духа, впереди — величавые реки разума. Но не будем ни на минуту забывать, с чего начинаются реки, на чем покоятся горы. Согласимся, читатель, с безвестными авторами бессмертной «Махабхараты»:

Как масло жирнее всей пищи молочной,
Как море сильнее всей влаги проточной...
Так слово предания — лучшее слово,
Источник познания, правды основа.

Согласимся в главном с древними мудрецами: «слово предания», фольклор, памятники древней литературы и искусства являются корневой системой последующего духовного творчества народа, глубинным источником гуманистической культуры, ткущей живую нить человеческой мечты и надежды.

ИСТОЧНИКИ
ФРАГМЕНТЫ
СТИХИ



К. МАРКС

О НАЧАЛЕ МИФОЛОГИИ И ЭПОСА

Период дикости и низшая ступень периода варварства — эти два этнических периода обнимают, по крайней мере, 4/5 всей жизни человечества на земле.

На низшей ступени варварства начали развиваться высшие свойства человека. Личное достоинство, красноречие, религиозное чувство, прямота, мужество, храбрость стали теперь общими чертами характера, но вместе с ними появились жестокость, предательство и фанатизм. В области религии имеет место почитание стихий с смутным представлением о личных божествах и о великом духе; примитивное стихосложение, общие дома и хлеб из маиса — все это относится к этому периоду... Воображение, этот великий дар, так много содействовавший развитию человечества, начало теперь создавать неписаную литературу мифов, легенд и преданий, оказывая уже могущественное влияние на человеческий род.

М а р к с К. Конспект книги Льюиса Г. Моргана «Древнее общество».— Архив Маркса и Энгельса, т. IX.

Из поэзии Древнего Египта



СИЛА ЛЮБВИ

Отрывки

1

Любовь к тебе вошла мне в плоть и кровь
И с ними, как вино с водой, смешалась,
Как с пряною приправой — померанец
Иль с молоком — душистый мед.

О, поспеши к Сестре своей,
Как на ристалище — летящий конь.
Как бык,
Стремглав бегущий к яслям.

Твоя любовь — небесный дар,
Огонь, воспламеняющий солому,
Добычу бьющий с лету ловчий сокол.

3

...Твоей любви отвергнуть я не в силах.
Будь верен упоенью своему!..

Не отступлюсь от милого, хоть бейте!
Хоть продержите целый день в болоте!

Хоть в Сирию меня плетьми гоните.
Хоть в Нубию — дубьем,
Хоть пальмовыми розгами — в пустыню
Иль тумаками — к устью Нила.
...На увещанья ваши не поддамся.
Я не хочу противиться любви.

СПОР РАЗОЧАРОВАННОГО СО СВОЕЙ ДУШОЙ*

Отрывки

ВТОРАЯ ЖАЛОБА

...Кому мне открыться сегодня?
Братья бесчестны,
Друзья охладели.

Кому мне открыться сегодня?
Алчны сердца,
На чужое зарится каждый.

Кому мне открыться сегодня?
Раздолье насильнику,
Вывелись добрые люди.

Кому мне открыться сегодня?
Худу мирволят повсюду,
Благу везде поруганье.

Кому мне открыться сегодня?
Над жертвой глумится наглец,
А людям потеха — и только!

Кому мне открыться сегодня?
У ближнего рады
Последний кусок заграбастать!

Кому мне открыться сегодня?
Злодею — доверие,
Брата врагом почитают.

Кому мне открыться сегодня?
Не помнит былого никто.
Добра за добро не дождешься.

Кому мне открыться сегодня?
Друзья очерствели,
Ищи у чужих сострраданья!

Кому мне открыться сегодня?
Потуплены взоры,
От братьев отвернуты лица.

Кому мне открыться сегодня?
В сердцах воцарилась корысть.
Что толку — искать в них опоры?

Кому мне открыться сегодня?
Нет справедливых,
Земля отдана криводушным.

Кому мне открыться сегодня?
Нет закадычных друзей,
С незнакомцами душу отводят.

Кому мне открыться сегодня?
Нету счастливых,
Нет и того, с кем дружбу водили.

Кому мне открыться сегодня?
Бремя беды на плечах,
И нет задушевного друга.

Кому мне открыться сегодня?
Зло наводнило землю,
Нет ему ни конца ни края...

* «Спор разочарованного со своей душой» — яркий образец светской литературы конца Древнего царства (III тыс. до н. э.). Отрывок интересен своим неприятием зла. Сквозь пессимистически-безнадежную тональность произведения просвечивает тоска по тем временам, когда жили добрые люди, царили братство, честь, бескорыстие; другими словами, это своеобразно выраженная тоска по «добрым старым временам».

Из шумерского эпоса



СКАЗАНИЕ О ГИЛЬГАМЕШЕ*

Отрывки

1

...Энкиду, младший мой брат, гонитель онагров
горных, пантер на просторах,
С кем мы, встретившись вместе, подымались в горы,
Вместе схвативши, Быка убили,
В кедровом лесу погубили Хумбабу**,
Друг мой, которого так любил я,
С которым мы все труды делили,
Энкиду, друг мой, которого так любил я,
С которым мы все труды делили,—
Его постигла судьба человека!
Шесть дней миновало, семь ночей миновало,
Пока в его нос не проникли черви.
Устрашился я смерти, не найти мне жизни:
Мысль о герое не дает мне покоя!
Дальней дорогой бегу в пустыне:
Мысль об Энкиду, герое, не дает мне покоя —
Дальним путем скитаюсь в пустыне!
Как же смолчу я, как успокоюсь?
Друг мой любимый стал землею!
Энкиду, друг мой любимый, стал землею!

---

* Древнейший эпос шумеров — легенда о Гильгамеше — был переработан во II тысячелетии до н. э. вавилонянами в единую стройную поэму. Богатырь Гильгамеш, гуляка, повеса, под влиянием дружбы с простолюдином Энкиду принимает решение: «Все, что есть злого, уничтожить на свете».

В первом из отрывков приводится плач Гильгамеша по умершему Энкиду; во втором — единственный из бессмертных людей, любимец богов Утнапишти (предшественник библейского Ноя) открывает герою тайну бессмертия, но змея уносит «цветок молодости».

** Хумбаба — чудовище, подосланное к друзьям разгневанными богами.

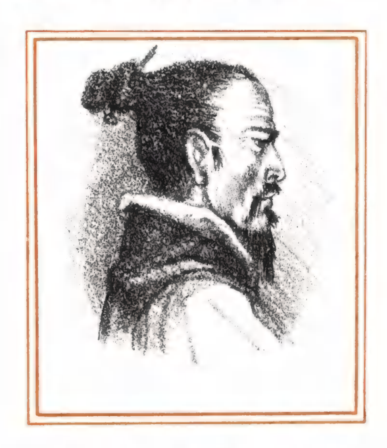
2

...Утнапишти ему вещает, Гильгамешу:
«Гильгамеш, ты ходил, уставал и трудился,—
Что ж мне дать тебе, в свою страну да вернешься?
Я открою, Гильгамеш, сокровенное слово,
И тайну цветка тебе расскажу я:
Этот цветок — как терн на дне моря,
Шипы его, как у розы, твою руку уколют.
Если этот цветок твоя рука достанет,—
Будешь всегда ты молод».
Когда Гильгамеш услышал это,
Открыл он крышку колодца,
Привязал *к ногам* тяжелые камни,
Утянули они его *в глубь* Океана.
Он схватил цветок, уколов свою руку;
От ног отрезал тяжелые камни,
Вынесло море его на берег.

Гильгамеш ему вещает, корабельщику Уршанаби*:
«Уршана́би, цветок тот — цветок знаменитый,
Ибо им человек достигает жизни.
Принесу его я в Урук огражденный,
Накормлю *народ мой,* цветок испытаю:
Если старый от него человек молодеет,
Я поем от него — возвратится моя юность».
Через двадцать поприщ отломили ломтик,
Через тридцать поприщ на привал остановились.
Увидал Гильгамеш водоем, чьи холодны воды,
Спустился в него, окунулся в воду.
Змея цветочный учуяла запах,
Из норы поднялась, цветок утащила,
Назад возвращаясь, сбросила кожу.
Между тем Гильгамеш сидит и плачет,
По щекам его побежали слезы...

* Уршана́би — перевозчик через «воды смерти» в подземном царстве; он переправил Гильгамеша к Утнапишти бессмертному.

Из поэзии Древнего Китая



ИЗ «КНИГИ ПЕСЕН»*

(Отрывки)

МЕСЯЦЕСЛОВ**

1

...Непогода в первом месяце страшна.
Холод лютый будет в месяце втором.
Без одежды теплой мы не проживем.
В третьем месяце пахать уже пора.
На четвертый месяц в поле мы с утра.
Пашем южные поля мы допоздна.
В поле пахарю обед несет жена.
Нам весной смотритель спуску не дает,
И на пахоту выходит весь народ.

2

Никнет в месяце седьмом звезда огня.
На девятый месяц шуба нам нужна.
Всей земле тепло, когда придет весна.
Иволга поет весною там и тут.
Девушки с корзинками по тропе идут.
Листья с шелковицы дружно рвут они.
Все длиннее эти солнечные дни.
Белизною на ветру полынь блестит.
Растревоженная девушка грустит.
Видно, скоро в дом чужой войдет она,
Молодому господину отдана.

7

...В месяце девятом трамбуем огород.
На току хорошем целее умолот.
Урожай в десятом принесут поля.
Рис, бобы, пшеница, просо, конопля...
Много всяких злаков нам дает земля.
Урожай собрали. Близится зима.
Приводить в порядок надо нам дома.
Травы рвать придется нам теперь с утра.
На витье веревок остаются вечера.
Залатать бы нашу крышу поскорей!
Только снег растает — вновь паши да сей!

8

В месяце втором колоть мы будем лед.
Йонг-йонг-йонг,— звенит он,
Йонг-йонг-йонг,— поет,
А на третий заготовим лед мы впрок.
На четвертый месяц наступает срок
В жертву принести барана и чеснок.
В месяце девятом лист уже поблек.
В месяце десятом расчищаем ток.
И на празднике вином наполнен рог.
Пьем вино из рога за глотком глоток,
Чтобы нам не ведать горестей и бед,
Чтобы жить на свете десять тысяч лет.

---

* «Книга песен», или «Шицзин»,— древний (XI—VII вв. до н. э.) поэтический свод, ярко воссоздающий атмосферу жизни, верования, обычаи китайского народа в стародавние времена. В «Шицзине» явственно ощущаются приметы патриархальных взглядов, быта, морали.

** «Месяцеслов» — одно из стихотворений «Книги песен», в котором с прелестной непосредственностью переданы заботы земледельцев, их мечты о мирной и беспечальной жизни.

ОДА МАНДАРИНОВОМУ ДЕРЕВУ*

...Я любуюсь тобой —
мандариновым деревом гордым.
О, как пышен убор твой —
блестящие листья и ветви.
Высоко поднимаешься ты,
никогда не сгибаясь,
На прекрасной земле,
где раскинуты южные царства.
Корни в землю вросли,
и никто тебя с места не сдвинет,
Никому не сломить
вековое твое постоянство.
Благовонные листья
цветов белизну оттеняют,
Густотою и пышностью
радуя глаз человека.
Сотни острых шипов
покрывают тяжелые ветви,
Сотни крупных плодов
среди зелени свежей повисли,
Изумрудный их цвет
постепенно становится желтым,
Ярким цветом горят они
и пламенеют на солнце.
А разрежешь плоды —
так чиста и прозрачна их мякоть,
Что сравню я ее
с чистотою души благородной.
Но для нежности дивной
тончайшего их аромата,
Для нее, признаюсь,
не могу отыскать я сравненья.

Я любуюсь тобою,
о, юноша, смелый и стройный,
Ты стоишь — одинок —
среди тех, кто тебя окружает.
Высоко ты возвысился
и, никогда не сгибаясь,
Восхищаешь людей,
с мандариновым деревом схожий.
Глубоко твои корни
уходят в родимую землю,
И стремлений твоих
охватить нам почти невозможно.
Среди мира живого
стоишь независим и крепок
И, преград не страшась,
никогда не плывешь по теченью.

Непреклонна душа твоя,
но осторожны поступки,
Ты себя ограждаешь
от промахов или ошибок.
Добродетель твою
я сравню лишь с твоим бескорыстьем,
И, живя на земле,
как луна и как солнце, ты светел.

Все года моей жизни,
отпущенные судьбою,
Я хочу быть твоим
неизменным и преданным другом!
Ты пленяешь невольно
своим целомудрием строгим,
Но за правду святую
сражаешься стойко и гордо...
Пусть ты молод годами
и опытом не умудрен ты,—
У тебя поучиться
не стыдно и старцу седому...

* * *

Человеческий век**
не вмещает и ста годов,
Но содержит всегда
он на тысячу лет забот.

Когда краток твой день
и досадно, что ночь длинна,
Почему бы тебе
со свечою не побродить?

Если радость пришла,
не теряй ее ни на миг:
Разве можешь ты знать,
что наступит будущий год?

Безрассудный глупец —
кто дрожит над своим добром.
Ожидает его
непочтительных внуков смех.

Как преданье гласит,
вечной жизни Цяо достиг.
Очень мало притом
на бессмертье надежд у нас.

---

* «Ода...» принадлежит перу Цюй Юаня (340—278 гг. до н. э.), первого древнекитайского поэта, чье имя дошло до наших дней. Человек горькой судьбы (он был оклеветан, изгнан из родных пределов), Цюй Юань славил любовь к родине, воспевал мужество, гордость, человеческое достоинство.

** Один из шедевров древнекитайской лирики (I—II вв. н. э.) посвящен раздумьям о быстротечности человеческой жизни, об умении прожить ее интересно и достойно.



ИЗ КНИГИ «ЧЖУАН-ЦЗЫ»*

...Природа людей постоянна: они ткут и одеваются, пашут и едят — это можно назвать общими их свойствами. Единство и равенство — естественное их состояние. Вот почему во времена Высшей Добродетели их поступь была степенна, а взгляд — сосредоточен. В те времена в горах не было дорог и тропинок, а на реке — лодок и мостов; все живое держалось вместе, не зная границ; птицы и звери бродили стаями, а трава и деревья росли как им вздумается. Зверя и птицу можно было водить на веревочке, можно было, взобравшись на дерево, заглянуть в гнездо к вороне или сороке. Тогда люди жили вместе с птицами и зверями, были родней всему живому — где уж им было знать о низких и о благородных! Все были равно невежественны, и добродетель их не оставляла; в равной мере не знали желаний — и были просты и естественны. Так, живя в простоте и естественности, народ сохранял свою природу.

Но вот явились мудрецы, выдавая свои потуги за «добро», свои ухищрения за «долг», и в Поднебесной родились сомнения. Беспутство и неистовство стали выдавать за музыку, а мелочные правила за обряды, и в Поднебесной начались раздоры. Разве можно вырезать жертвенный кубок, не калеча дерева? Разве можно выточить скипетр, не губя белой яшмы? Как научить «добру» и «долгу», если не отрешиться от Пути и Добродетели? Как научить обрядам и музыке, если не поступиться естественными чувствами? Разве можно создать узор, не перемешав пяти цветов? Разве можно построить шесть ладов, не смешав пяти звуков? Когда ради утвари калечат дерево — в этом повинен плотник; когда ради «добра» и «долга» забывают о Пути и Добродетели — в этом повинны мудрецы...

* Чжуан-Цзы — классик древнекитайской философии (IV в. до н. э.). Публикуемый отрывок чрезвычайно интересен изложением восточного варианта утопии о «золотом веке» (здесь — «времена Высшей Добродетели») в далеком прошлом, когда якобы не была нарушена гармония взаимоотношений человека и природы. Чжуан-Цзы — явный противник «прометеевой» цивилизации, прогресса науки, искусства, ремесел.



СУТТА О ДРУЖЕСТВЕННОСТИ*

Что должно делать узревшему благо,
Тому, кто ступил на стезю покоя?
Он должен быть сильным, прямым и честным,
Сдержанным в речи, негордым, кротким.

Всегда довольным и недерзким,
Нетребовательным и несуетливым,
Благоразумным и спокойным,
Не жадным, довольствующимся немногим;

И он не должен делать такого,
Что мудрецы осудить должны бы.
Пусть будут в радости и покое,
Пусть все существа счастливыми будут!

Какие ни есть существа живые —
Сильные, слабые — все без остатка;
Длинные, средние и короткие,
Огромные, маленькие и большие,

Те, что видимы, и те, что незримы,
Те, что живут далеко, и те, что близко,
Те, что уже родились, и те, что родятся,—
Пусть все существа счастливыми будут!

И пусть один не унижает другого,
Пусть никто никого нисколько не презирает!
В гневе или чувствуя нерасположенье,
Да не возжелает один другому несчастья!

---

* Сутта — небольшая поэма. Публикуемая нами сутта в доходчивой и яркой поэтической форме формулирует основные положения буддийской этики. Однако в поэме просвечивают и элементы общечеловеческой гуманной морали («пусть все существа счастливыми будут» и т. д.).

И, как мать, не жалея собственной жизни,
Заботится о своем единственном сыне,
Так ко всем живым существам должно
Воспитывать в себе безмерное чувство.

Дружественность ко всему живому
Должно в себе растить, чувство,
Свободное от вражды, недоверия, злости,
Вверх, вниз, вширь не знающее предела.

И когда ты стоишь, сидишь или ходишь,
И когда ты лежишь без сна — все время
Сосредоточенно думай об этом,
Ибо это высшее состояние в жизни...

Отрывки приводятся по книге «Поэзия и проза Древнего Востока». М., «Художественная литература», 1973.



МАХАБХАРАТА

Фрагменты из поэмы

СОЖЖЕНИЕ ЗМЕЙ

...Сгорел мой отец, повелитель державы*,
Сожгло его пламя змеиной отравы.

Врагам уготовлю такую ж кончину:
Я в пламя змеиное племя низрину.

Теперь совершу я земли очищенье,
Теперь принесу я огню приношенье,

Согласно заветам, что мира древнее,
Огню будут преданы злобные змеи.

---

* Картина сожжения змей символизирует гибель сил Зла.

Сказал он жрецам: «Для такого обряда
Все то, что потребно, устроить нам надо».

Тогда-то пришли, как велел повелитель,
И жрец-охранитель, и жрец-исполнитель.

Избрали равнину под радостным небом,
Обильную солнцем, плодами и хлебом.

Воздвигли, чтоб род уничтожить змеиный,
Огромный алтарь посредине равнины.

Затем, после долгих трудов и усилий
Они Джанамеджаю благословили:

«Да будет угодно твое приношенье —
Змеиного, злобного рода сожженье...»

* * *

...«Летите, как ветер, ползите, как тучи,
Как яркие молнии, станьте летучи,

Сюда, на алтарь, устремитесь быстрее,
О, злобные змеи, кусливые змеи!

Спешите лесами, полями, лугами,
Сегодня сожрет вас великое пламя.

Вы будете пожраны Агни-владыкой,
Он — бог семипламенный, семиязыкий!»

В садах, где возвысился жертвенник дымный,
Тогда зазвенели молитвы и гимны.

Жрецы повторяли свои заклинанья,
Подняв в государстве змеином стенанья,

Заставив спокойно дремавших проснуться,
А самых жестоких и злых — содрогнуться.

И змеи, своим побужденные роком,
На гибель, на смерть устремились потоком.

Ползли, не желая, ползли они в страхе,
Вельможи, ученые, стражи, монахи,

Врачи, палачи, песнопевцы, гуляки,
Творившие зло на свету и во мраке.

Единые в счастье, различные в горе,
Добычею пламени сделались вскоре.

Одни, умирая, тоскливо взвывали,
Иные друг друга хвостом обвивали,

Одни извивались и падали с треском,
Другие исполнились молнийным блеском.

Там с телом сплеталось горячее тело,
Казалось, что в пламени пламя горело...

* * *

...Их множество было — усердных и праздных,
С красивой наружностью и безобразных,

Но сильных и слабых друг с другом сближало
С губительным ядом смертельное жало!

Ползли, и ползли, и ползли миллионы,—
Поток бесконечный, огнем поглощенный.

Они, материнскою прокляты властью,
Ползли, пожираемы огненной пастью.

Что было для чистого сердца страшнее,
Чем гнусные змеи, коварные змеи?

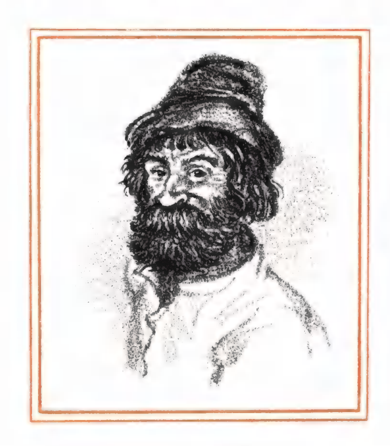
А ныне смотрели живые творенья,
Как топливом стали они для горенья.

Те самые змеи, сообщество злое,
Что ужас на все наводило живое,—

Бессильны, безвольны, покорны, трусливы,
Теперь устремились в огонь справедливый...

«Махабхарата. Рамаяна». М., «Художественная литература», 1974.

Из русского народного творчества



РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ

Лучше малое имущество, добытое правдой, чем много богатства — без правды.

Лучше овощная пища, предложенная с любовью и расположением, чем теленок — с враждой.

Уменье коня узнается на войне, а верный друг — в беде.

Муж обличающий лучше льстящего.

Дурно и огорчительно, когда злые над добрым властвуют, а глупые над умным.

Безумная власть бывает причиной зла.

Не богатый благоразумен, а тот, кто богатства не требует.

Уча, учи поступками, а не словами.

Ученье имеет корень горький, а плод сладкий.

Ум — большое богатство для человека.

Лучше ум копить, чем богатство лукавое.

Нет никакого имущества дороже друга.

Не радуйся, видя других в беде.

Человеческому уму время — учитель.

Получив добро — помни, а сделав — забудь.

Мать зла — лень.

Послушать умного человека, как при жажде холодной воды напиться.

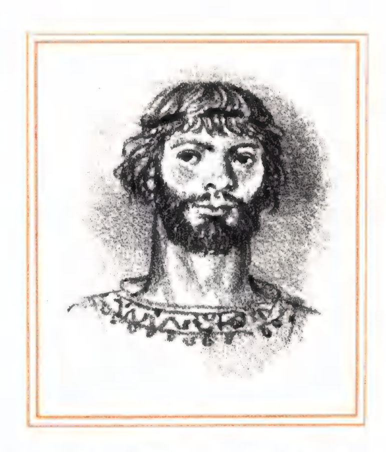
Хорошая смерть человеку лучше дурной жизни.

Лучше на родине костьми лечь, чем на чужбине быть в почете.

Лучше добрая война, чем худой мир.

Не в силе бог, а в правде.

«Изборник». Сборник произведений литературы Древней Руси. М. «Художественная литература», 1969.



ВОЛЬГА И МИКУЛА СЕЛЯНИНОВИЧ

Когда воссияло солнце красное
На тое ли на небушко на ясное,
Тогда зарождался молодой Вольга,
Молодой Вольга Святославович.

Как стал тут Вольга растеть-матереть,
Собирал себе дружинушку хоробрую:
Тридцать молодцов да без единого,
А сам-то был Вольга во тридцатыих.

Собирал себе жеребчиков темно-кариих.
Вот посели на добры́х коней, поехали,
Поехали к городам да за получкою.

Повыехали в раздольице чисто́ поле,
Услыхали во чисто́м поле ора́тая,
Как о́рет в поле оратай, посвистывает,
Сошка у оратая поскрипливает,
Оме́шки по камешкам почиркивают.

Ехали-то день ведь с утра до вечера,
Не могли до оратая доехати.
Они ехали да ведь и дру́гой день,
Дру́гой день ведь с утра до вечера,
Не могли до оратая доехати.
Как орет в поле оратай, посвистывает,
Сошка у оратая поскрипливает,
А оме́шки по камешкам почиркивают.
Тут ехали они третий день,
А третий день еще до па́бедья,
А наехали в чистом поле ора́тая.

Как орет в поле ора́тай, посвистывает,
А бороздочки он да пометывает,
А пенье-коренье вывертывает,
А большие-то каменья в борозду валит.

У оратая кобыла соло́вая,
Гужики у него да шелко́вые,
Сошка у оратая кленовая,
Омешики на сошке булатные,
Присошечек у сошки серебряный,
А рогачик-то у сошки красна золота...

Говорит-то Вольга таковы слова:
— Божья помочь тебе, оратай-оратáюшко,
Орать да пахать, да крестьянствовати,
А бороздочки тебе да пометывати,
А пенья-коренья вывертывати,
А большие-то каменья в борозду валить!

Говорит оратай таковы слова:
— Поди-ко ты, Вольга Святославович,
Мне-ко надобна божья помочь
крестьянствовати.
А куда ты, Вольга, едешь,
куда путь держи́шь?

Тут проговорил Вольга Святославович:
— Как пожаловал меня да ро́дной дядюшка,
Родной дядюшка да крестный батюшка,
Ласковый Владимир стольно-киевский,
Тремя ли городами со крестьянами:
Первым городом Курцевцем,
Другим городом Ореховцем,
Третьим городом Крестьяновцем.
Теперь еду к городам да за получкою.

Тут прого́ворил оратай-оратáюшко:
— Ай же ты, Вольга Святославович!
Там живут-то мужички да все разбойнички,
Они подрубят-то сляги калиновы
Да потопят тебя в реке да во Смородине.
Я недавно там был в городе, третьего дня,

Закупил я соли цело три меха́,
Каждый мех-то был ведь по́ сто пуд.
А тут стали мужички с меня грошей просить,
Я ведь стал-то им грошей делить,
А грошей-то стало мало ставиться,
Мужичков-то ведь больше ставится.
Потом стал-то я их ведь отталкивать,
Стал отталкивать да кулаком грозить.
Положил тут их я ведь до тысячи:
Который стоя стоит, тот сидя сидит,
Который сидя сидит, тот и лежа лежит.

Тут проговорил ведь Вольга Святославович:
— Ай же ты, оратай-оратаюшко,
Ты поедем-ко со мной во товарищах.

А тут ли оратай-оратаюшко
Гужики шелковые повыстегнул,
Кобылу из сошки повывернул,
Они сели на добры́х коней, поехали,
Как хвост-то у ней расстилается,
А грива-то с нее да завивается...

Говорит оратай таковы слова:
— Я оставил сошку во бороздочке
Не для-ради прохожего-проезжего:
Маломощный-то наедет — взять нечего,
А богатый-то наедет — не позарится,—
А для-ради мужичка да деревенщины.
Как бы сошку из земельки повыдернути,
Из омешиков бы земельку повытряхнути
Да бросить сошку за ракитов куст.

Тут молодой Вольга Святославович
Посылает он дружинушку хоробрую,
Пять молодцов да ведь могучиих,
Как бы сошку из земли да повыдернули,
Из омешиков земельку повытряхнули,
Бросили бы сошку за ракитов куст.

Приезжает дружинушка хоробрая,
Пять молодцов да могучиих,
К той ли ко сошке кленовенькой.
Они сошку за обо́ри вокруг вертя́т,
А не могут сошки из земли поднять,
Из омешиков земельку повытряхнуть,
Бросить сошку за ракитов куст.

Тут молодой Вольга Святославович
Посылает он дружинушку хоробрую
Целым он да ведь десяточком.
Они сошку за обо́ри вокруг вертят,
А не могут сошки из земли выдернуть,
Из омешиков земельку повытряхнуть,
Бросить сошку за ракитов куст.

И тут ведь Вольга Святославович
Посылает всю свою дружинушку хоробрую.
Чтобы сошку из земли повыдернули,
Из омешиков земельку повытряхнули,
Бросили бы сошку за ракитов куст.

Они сошку за обо́ри вокруг вертя́т,
А не могут сошки из земли повыдернуть,
Из омешиков земельку повытряхнуть,
Бросить сошку за ракитов куст.

Тут оратай-оратаюшко
На своей ли кобыле соловенькой
Приехал ко сошке кленовенькой.
Он брал-то ведь сошку одной рукой,
Сошку из земли он повыдернул,
Из омешиков земельку повытряхнул,
Бросил сошку за ракитов куст.

А тут сели на добры́х коней, поехали.
Как хвост-то у нее расстилается,
А грива-то у нее да завивается.
У оратая кобыла сту́пью пошла,
А Вольгин конь да ведь поскакивает.
У оратая кобыла грудью пошла,
А Вольгин конь да оставается.

Тут Вольга стал да он покрикивать,
Колпаком он стал да ведь помахивать:
— Ты постой-ко ведь, оратай-оратаюшко!
Кабы этая кобыла коньком бы была,
За этую кобылу пятьсот бы дали́.
Тут проговорил оратай-оратаюшко:
— Ай же глупый ты, Вольга Святославович!
Я купил эту кобылу жеребеночком,
Жеребеночком да из-под матушки,
Заплатил за кобылу пятьсот рублей.
Кабы этая кобыла коньком бы была,
За этую кобылу цены не́ было бы.

Тут прого́ворил Вольга Святославович:—
Ай же ты, оратай-оратаюшко,
Как-то тебя да именем зовут,
Называют тебя да по отечеству?

Тут прого́ворил оратай-оратаюшко:
— Ай же ты, Вольга Святославович!
Я как ржи-то напашу да во ски́рды сложу,
Я во скирды сложу да домой выволочу,
Домой выволочу да дома вымолочу,
А я пива наварю да мужичков напою,
А тут станут мужички меня похваливати:
«Молодой Микула Селянинович!»

«Былины». М., ГИХЛ, 1955.



Глава II

БЕССМЕРТНОЕ ДЕТСТВО




Гомер
Эсхил
Софокл
Еврипид
Аристофан



Сократ
Платон
Аристотель
Овидий
Вергилий
Лукреций

Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего.

Н. К. РЕРИХ

«ВСЕ ТЕЧЕТ!»

...Если бы можно было «прокрутить» обратно, как видеопленку, историю мировой науки, философии, литературы и искусства, то на отметке 25—26 веков до нас мы увидели бы яркую картину древнегреческой культуры.

Как только не называли Древнюю Грецию: колыбель цивилизации; неиссякаемый родник прекрасного; отечество демократии; греческое чудо...

Древняя Греция была «нормальным детством человечества» (К. Маркс). И как радует нас наивность ребенка, так историческое детство человечества обладает для нас вечной прелестью. В Элладе впервые возникла хрупкая, несовершенная, недолговечная, но тем не менее сияюще прекрасная модель человеческого жизнеустройства. Достигнута она была за счет тысяч и тысяч рабов — «говорящих орудий», ценою их нещадной эксплуатации, ценою постепенной моральной деградации свободных тружеников. Такова, увы, искупительная жестокость прогресса... «Чудо» несло в себе самом вирусы вырождения и распада; однако был, был он, чудесный миг, когда все сошлось, совпало в пользу и на благо разума, добра и красоты!

Трудно объяснить причины и благоприятствующие обстоятельства древнегреческого, воистину дедаловского «взлета к звездам». Трудно, но не невозможно. Лучшие умы человечества не зря на протяжении веков бились над разгадкой сладостной тайны.

Мысль и творчество греков опирались на достижения других древних цивилизаций. Есть немалый смысл в иронических стихах Ф. Геббеля, немецкого поэта конца XVIII века:

Вы, греки, племя хитрое: другие
Для вас напряли, вы ж из этой пряжи
Свою творите золотую ткань...

Вспомним, что именно в Афинах пышным цветом расцвела демократия. Да, ущербная, рабовладельческая; да, противоречивая; но все же она впервые помогла человеку развернуть свои способности и таланты.

Вспомним, что в силу самого своего географического положения — на мировых перекрестках — ионийские и малоазиатские полисы (города-государства) оказались в эпицентре развития торговли. Это расширяло кругозор свободных граждан, будило мысль, стимулировало предприимчивость, инициативу.

Закономерный ход истории в сочетании с благоприятными географическими, климатическими и иными факторами сделал возможным неповторимое явление, кото-

рое затем, вплоть до наших дней, оказывало мощное воздействие на духовное и художественное развитие человечества.

Философия, литература и искусство Афин VI—V веков до н. э. выработали греческий идеал гуманизма, свой идеал гармонически развитой личности. Искусство Эллады, по словам В. Г. Белинского, облагородило, просветило и одухотворило все естественные склонности человека, которые дотоле являлись в «отвратительном безобразии своей животности».

Интересно попытаться осмыслить духовное наследие Древней Греции и Рима как «прометеево наследие», как завещание будущему, как попытку провидеть грядущее. Необходимо «прочесть по-социалистически» (Ленин) мудрую книгу древнегреческой культуры. Разумеется, в данном сборнике можно лишь обозначить контуры проблемы, определить некоторые подходы к ней.

«Homo sum et nihil humani a me alienum puto».

«Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо» — такова формула эллинского гуманизма как полнокровной радости бытия, свободной игры физических и интеллектуальных сил человека. Формула, принадлежащая римлянину Теренцию — духовному наследнику Эллады. Формула, любимая Марксом.

Мечту о грядущей человеческой гармонии, ее таинственную силу и притягательность греки смутно ощущали, но не могли ни разгадать, ни раскрепостить. Однако они совершили поистине Гераклов подвиг — сумели в ы р а з и т ь эту Мечту (пусть приблизительно и неполно) в своих творениях, исполненных величия, мудрости и простоты.

Эллада — это вызов, и уже не только богам, но и тиранам, деспотам, это вызов всякой бесчеловечности, всему низменному, дурному, эгоистичному в самом человеке;

Эллада — это кипение разума, всесокрушающий критицизм как орудие поиска меры, формы, смысла, гармонии; гордым «Все течет!» греки отринули гипнотическую идею унылого вечного круговорота и застоя;

Эллада — это дерзкий прорыв в неизведанность, к свободе, к полноте бытия и деяния как смыслу жизни;

Эллада — это первое «очеловечивание» человека, взгляд на него человечески добрым взором (вплоть до протагоровского вызывающего: «Человек — мера всех вещей»);

Эллада — это радостное нетерпение первопроходца, жажда познания, борение духа, неукротимая потребность творчества.

...Лучезарная улыбка Эллады запечатлелась навеки в памяти человечества, накрепко «зашифровалась» в его духовном и моральном генетическом фонде. «Нам никогда не следовало бы забывать,— отмечал Ф. Энгельс,— что все наше экономическое, политическое и интеллектуальное развитие имеет своей предпосылкой такой строй, в котором рабство было в той же мере необходимо, в какой и общепризнано. В этом смысле мы вправе сказать: без античного рабства не было бы и современного социализма».

...Тысяча триста лет — таковы рамки античности во времени. У истоков ее, как начало начал,— эпос ГОМЕРА, озаряющий ярким светом человечности всю огромную эпоху, давший и почву и пищу ее великой духовной культуре. «Его художественный гений был плавильною печью, через которую грубая руда народных преданий и поэтических песен и отрывков вышла чистым золотом» (В. Белинский).

Природа у Гомера — живая, светящаяся всеми своими чудесными красками.

> Вышла из мрака младая, с перстами пурпурными, Эос...

Так и по сей день восходит наше пурпурное светило, бессмертное еще и потому, что когда-то Гомер увидел и услышал его в созвучии, согласии с внутренним миром личности, то есть по-человечески: молодо и прекрасно.

Гомеровские герои поражают нас своею отвагой, глубоким чувством достоинства и чести, своею нераздвоенностью, цельностью. Нравственная вершина эпоса — Гектор, сын троянского царя Приама. Сколько внутренней силы и убежденности, благородной гордости и достоинства в его ответе брату, предостерегающему Гектора о «дурных предзнаменованиях» в канун битвы с ахейцами:

> Зна́менье лучшее всех — за отечество храбро сражаться!

И далее:

Но не без дела погибну,— во прах я паду не без славы:
Нечто великое сделаю, что и потомки услышат...

Поэт утверждает могущество человеческой воли, величие человеческого призвания: сделать то, «что и потомки услышат», во имя отечества, его свободы и славы.

Нашим верным союзником в борьбе за нового человека делает Гомера его органичное жизнелюбие, земной, полнокровный оптимизм.

У Маркса в его наброске о тайне бессмертия греческого искусства (он приводится в хрестоматийном разделе главы) есть такое замечание: «Египетская мифология никогда не могла бы быть почвой или материнским лоном греческого искусства». Действительно, мрачное величие пирамид было овеществлением идеи деспотизма, возвеличивания земного человека до высоты божества. У греков, и прежде всего у Гомера, наоборот, боги низводятся до уровня людей. Боги «Илиады» и «Одиссеи» «подозрительно» человечны — и в добрых поступках, и в дурных своих наклонностях. Самое главное — они не подменяют людей, оставляя им широкое поле инициативы, самостоятельных действий, выбора. Они не подминают людей ни своим всемогуществом, ни своим бессмертием. Более того, они могут даже подарить бессмертие людям, но только лучшим из лучших, достойнейшим из достойных.

Светлый, мажорный мир гомеровских поэм во все века был на стороне разума и прогресса. К великому слепцу за аргументами в пользу человечности, против уродующей человека погони за богатством обращались Руссо и Дидро; А. Н. Радищев был убежден, что люди будут читать Гомера, «доколе не истребится род человеческий».

...Прикоснись же сердцем, читатель, вслушайся в неторопливые торжественные ритмы волшебных гекзаметров «Илиады» и «Одиссеи» — и ты приобщишься к вечности, почерпнешь мудрости, восхитишься красотой, преисполнишься гордости за человечество!

Приметной вехой на пути человеческой мечты в эпоху античности является поэма «Труды и дни» ГЕСИОДА (конец VIII — начало VII в. до н. э.). В ней мы находим первую (на древнегреческой почве) литературную версию мифа о «золотом веке», отражающую процессы социального расслоения. Согласно этой версии общество движется к худшему, от века золотого — к железному. Так впервые столкнулись общинно-демократическая мораль с ее приверженностью традициям, обычаям старины — и идея материального прогресса, который нес труженику разрыв семейных и дружественных уз, нужду и горе... Сетования по поводу мрачной действительности «железного века» мы будем слышать на протяжении всей последующей истории мысли и искусства, причем также и на другом, аристократическом, полюсе. Но это будут жалобы от богатства, от страха потерять привилегии «красивой» жизни.

Поэтом и гражданином, впервые обосновавшим в стихах и юридических законах моральный кодекс демократического греческого полиса, явился СОЛОН (640—560 гг. до н. э.) — «рыцарь справедливости», человек неподкупной честности. Солон в лирике выступает идеологом имущественной умеренности и равенства. Яростно обрушивался он на богачей, которые

...Не щадят ничего: ни из сокровищ святых,
Ни из народных богатств; они грабят, откуда придется,
И не боятся совсем Правды уставов святых.

Правда с большой буквы, так же как и Справедливость,— вот боги, которым поклонялся суровый Солон; его идеал — честная и безбедная, скромная жизнь рядового гражданина, храброго патриота, ревнителя справедливых законов полиса. И еще одно примечательно в идеологии и лирике Солона: не будучи аскетом, он призывает к соблюдению меры; он всячески подчеркивает идею личной ответственности человека за совершенные им деяния.

Имя Солона стало у греков нарицательным именем идеального эллина, носителя ясного, цельного, оптимистического мировоззрения, человека, сознательно ставящего общественные интересы выше личных. Нетрудно увидеть здесь элементы, стороны, «зерна» будущего представления о гармонической личности.

ВПЕРЕД, К ГАРМОНИИ!

Жизнь древнегреческого полиса, клокочущая страстями и спорами, изобилующая яркими людьми, политическими катаклизмами, войнами, путешествиями, была полна брожения и обновления. Сам «дух эпохи», говоря словами Гегеля, непрестанно ковал новое; причем внимание философии и искусства было сосредоточено прежде всего на человеческой личности, на установлении (или разрушении) границ ее воздействия на природу и общество. Свободный человек — главный объект философского и художественного исследования в Древней Греции.

Начиная с Фалеса Милетского философское сознание отделяется, а затем и все более отдаляется от религиозно-мифологического, оказывая, в свою очередь, всевозрастающее влияние на поэтически-художественное сознание, то есть на литературу и искусство. Именно — и только! — в Греции сложилось удивительно гармоничное содружество философии и искусства.

Философия взыскует истины, упрямо ищет первооснову (вода? огонь? атом?) всего сущего. Она — в лице Ксенофана — впервые дерзает поднять руку на небожителей-олимпийцев. Ксенофан заявляет, что боги — лишь порождение ограниченной человеческой фантазии. Не случайно, а глубоко обусловлено социальными и духовными обстоятельствами времени поразительное сходство (и в величии, и в консервативной ограниченности) между философскими взглядами Демокрита и драматургией Эсхила и Софокла.

Пафос целого, всеобщей взаимосвязи, мировой и человеческой гармонии пронизывает философию и искусство Греции. Человек Эллады необычайно раздвинул духовные горизонты, дерзнул постичь мироздание, сокровенные тайны гармонии и красоты. Титанический замах, равный разве только дерзости Прометея!

«Раскованный Прометей» — сам Человек поднялся мыслью к звездам, бросил вызов не богам даже, а самой Судьбе, железной Необходимости бытия. Искусство обожествляло человека; философия очеловечивала богов!

Скульптура и архитектура Древней Греции были пластическим гимном разуму, ясности, соразмерности духа и тела, воплощали идеал распрямленного, спокойного и гордого человека. А. Боннар, крупный исследователь Эллады, очень точно сказал, что в скульптурах Фидия, изображавших богов, нет ничего сверхъестественного, «кроме человечности, вознесенной на высшую ступень совершенства».

Духу кипучей, меняющейся, динамичной и напряженной общественной жизни Эллады V века до н. э. наиболее соответствовала «движущаяся поэзия» — трагедия, сделавшая поступки и размышления индивидов достоянием всей гражданской общины. Развитие трагедии на протяжении столетия отразило, как в зеркале, становление, расцвет и кризис афинской демократии и полисного мировоззрения.

Известно, что одним из самых любимых писателей К. Маркса был древнегреческий драматург ЭСХИЛ (525—456 гг. до н. э.). По мнению Маркса, Эсхил и Шекспир остаются величайшими драматическими гениями, каких только рождало человечество.

Время жизни Эсхила совпадает с периодом подъема и победы афинской демократии. Зрелым мужем участвует Эсхил в знаменитых сражениях при Марафоне, Саламине и Платеях. Между прочим, сам великий драматург всегда ставил свои военно-гражданские заслуги выше поэтических.

Что же, кроме ослепительного таланта, предопределило творческое бессмертие Эсхила, признанного еще при жизни отцом трагедии?

В его трагедиях содержится эстетически сформулированная философия гармонии человека и природы, философия борьбы за человеческое счастье и благо, согласия высокой цели и нравственных способов ее достижения. Герои его вступают в спор с богами, вплоть до всемогущего громовержца Зевса.

Мир Эсхила — это мир цельных и благородных, смелых и деятельных натур. И первое место среди них по праву — «Прометею прикованному». «Самый благородный святой и мученик в философском календаре» (К. Маркс) стал общечеловеческим символом прогресса на началах разума и революционной борьбы за будущее.

Будучи титаном, Прометей обладал волшебной способностью предвидения и знал заранее, какие страшные кары падут на него, если он дерзнет пойти против воли

самого верховного владыки Олимпа. И тем не менее чувство сострадания людям, осознанной ответственности за судьбы «малых сих», за достойное их существование на земле неотвратимо приводят Прометея к непреклонному нравственному решению — вопреки жалкой «логике» личного благополучия.

...Итак, подручные Зевса, Сила и Власть, передают богу Гефесту приказ «отца» — приковать Прометея к горным кручам «нерасторжимых уз железной цепью».

Цветок твой яркий — творческий огонь —
Украв, он смертным в дар принес
и должен
За этот грех наказан быть богами,
Чтоб научился Зевса власть любить,
Свое оставив человеколюбье...

Так с первых слов трагедии определенно формулируется вина Прометея: человеколюбие. Разве не дерзостно было — для самого Эсхила — изобразить верховного бога злым, своенравным, жестоким существом? И не была ли это «проекция на небо» демократической ненависти к тиранам и деспотам?

Гордый Прометей гневно и брезгливо отметает мысль, поданную ему Океаном,— купить избавление от мук ценою выдачи Зевсу тайны его грядущего низвержения. Почему? Только ли гордыня мешает пойти на поклон к истязателю? Да, и гордость тоже; но главное в непреклонности Прометея — это сознание своей правоты, сознание неумолимости хода событий, который мог бы быть нарушен малодушным раскрытием роковой тайны Зевса. Тем самым Прометей, безмерно страдая, все-таки одерживает победу над своим мучителем. И этот путь страданий — единственный путь к полной победе.

Эсхила нередко упрекают в фатализме, в преувеличении предопределенности судеб человека и мира. Однако в тогдашних конкретных социальных условиях фатализм таил немалый демократический и богоборческий потенциал. Когда Прометей говорит о Зевсе: «Ему своей не избежать судьбы», такие слова воспринимались и воспринимаются как бунт против сильных мира, распоряжающихся людьми по своему капризу. А вот и прямая насмешка — пророческая!

Вы думаете, новые цари,
Что вечно вам блаженствовать в твердынях?

А чуточку далее Прометей заявляет Гермесу, посланцу и прислужнику Зевса:

Уверен будь, что я б не променял
Моих скорбей на рабское служенье...

Эти слова — подлинная формула поведения свободного человека. Они были особенно близки Марксу.

Эсхилом был зажжен благородный факел очищающего страдания за человечество, который затем пронесли сквозь сумерки истории герои и мученики социальной мысли, революционной борьбы с угнетением и насилием. Притягательный образ титана-богоборца будет вдохновлять художников и мыслителей — гуманистов, демократов, народолюбцев. Мятежный Байрон посвящает Прометею свои жгучие стихи; его прославляет великий Гёте; Шелли, любимец английского пролетариата, создает глубокую философскую драму «Освобожденный Прометей». В России образ Прометея — воителя за человечность, поборника прогресса — вдохновлял Огарева и Шевченко. Гордый титан, давший людям огонь и вместе с ним крылья мечты, зоркость взгляда, обеспечил себе не мифическое, но истинное бессмертие в лагере Добра, созидания, творчества, в стане борцов за будущее, сбивавших оковы небесных и земных угнетателей.

Античный идеал гармонии, сочетающий благородную простоту и спокойное величие, гениально воплотил в своей поэзии и драматургии СОФОКЛ (ок. 496—406 гг. до н. э.).

Подобно своему современнику, философу-материалисту Демокриту, он был проповедником владычества над людьми и мирами железной природной Необходимости. Есть удивительное, порой пугающее сходство между трагедиями Софокла и величайшей философской системой Эллады, созданной Демокритом.

Главный «узел» Софокловой драматургии — это неразрешимое противоречие между величием разума и подавляющим могуществом стихийных природных и социальных сил, это столкновение активного свободного субъекта с Ананке — мировой Необходимостью, это обреченность на поражение...

Так что же, значит, «смирись, гордый человек»?

Преданный сын демократии, не сомневающийся в примате общественного (прежде всего нравственных норм полиса) над личным (своевольным, капризным, волюнтаристским), Софокл с огромной силой изобразил гибельность такой свободы личности, которая не считается с порядком вещей, с «мерой мира».

Ужасна и поучительна судьба узурпатора и себялюбца Креонта (трагедия «Антигона»). Смертью единственного сына и любимой жены платит высокомерный царь за попытку произвольно нарушить священные традиции и моральные законы человеческого общения. Креонт жесток, спесив, аморален; именно поэтому его крах неизбежен. И напротив, скорбная Антигона, бестрепетно идущая на смерть во имя чести и долга, одерживает безусловную победу. Своею смертью она заслонила, защитила божественную Правду и веру в Добро — за такое не жаль пожертвовать жизнью!

Софокл оставил нам первую поэтическую формулу гуманизма: «Много есть чудес на свете; Человек — их всех чудесней»!

И уже не милостью Прометея, а собственным трудом и разуменьем строит человек города, возделывает землю, бороздит моря. Однако, предупреждает Софокл, нельзя только умиляться силой и мудростью человека, они могут быть направлены «то ко благим, то к позорным деяньям». Посему превыше человека, его личной свободы, превыше самого мудрого ума — законы мирозданья, законы полиса, законы совести.

Вершиной творчества Софокла по праву считается трагедия «Царь Эдип». В ней видится печальное прозрение заката афинской демократии, угадывается падение веры в богов и божественную мудрость. В богов, но не в человека! Напротив, человек сам определяет меру своей вины и ответственности, постигая неведомое. Эдип с ужасом и отвращением узнает о своих страшных злодеяниях: отцеубийство... кровосмесительство... И не было в том его вины: так было предначертано судьбой. Но не смирился, не сломился человек! Своею мудростью и волей Эдип торжествует над Необходимостью, над ее кровавой жестокостью. Судьба испытывала его, толкая на слепые, бессмысленные, аморальные поступки. А он отвергает, выражаясь посовременному, ссылки на всемогущество «объективных обстоятельств» и остается до конца верным нравственной добродетели. Да, он несчастен; да, его невольные злодеяния были неизбежны, но ничто в мире не заставит его усомниться в величии Добра. Постигнув слепую необходимость, Эдип ослепляет себя, сам выносит себе приговор. Он одинок, слеп, но не раздавлен, он свободен! Так Софоклов Эдип становится рядом, локоть к локтю, с могучим Эсхиловым Прометеем.

Софокл, как и другие рыцари афинской демократии, презирал богатство как самоцель, не связывал счастье человека с одним лишь благополучием, или сытостью, или удачливостью:

> Копи себе богатство; если хочешь —
> Живи, как царь; но если счастья нет —
> То не отдам я даже тени дыма
> За это все, со счастием сравнив.

Но тогда в чем же оно, счастье?

Оно — в познании, в наслаждении искусством, в мужестве и доблести, в скромности и доброте. У Демокрита читаем: «Мужество делает ничтожными удары судьбы». В этом афоризме — суть и смысл драматургии Софокла.

...Никто не знает, суждено ли ему счастье. Но истинный гражданин обязан знать, без чего невозможно счастье. А оно немыслимо, если человек поступается честью, достоинством и совестью, если ради шкуры своей он готов «на рабское служение», если он изменяет принципам. Греки придали — впервые, как почти во всем! — гуманизму не только содержание, но и «вертикальный», распрямленный, активный характер. Человек лишь тогда достоин зваться Человеком, если никакие муки и беды не превратят его в труса, в раба, в слизняка. «Сим победиши!» Мы по праву прочерчиваем прямую линию мужества от Прометея, Эдипа, Антигоны к гордому лозунгу коммунистов XX века: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».

Эпоха расцвета афинской рабовладельческой демократии неразрывно связана с именем ПЕРИКЛА (ок. 490—429 гг. до н. э.).

Благодаря древнегреческому историку Фукидиду и в его изложении до нас дошла одна из пламенных речей Перикла, которая может и должна быть признана своего рода «катехизисом» афинской демократии. Как в зеркале отражены в ней и огромные (в том числе нравственные и гражданские) достижения этой демократии, и неискоренимые ее слабости, ведущие к распаду, к гибели...

Итак, слово Периклу.

«Наш государственный строй не подражает чужим учреждениям — мы скорее служим образцом для некоторых. Называется этот строй демократическим, потому что основывается на интересах не меньшинства, а большинства. По отношению к частным интересам законы наши предоставляют равные права всем. Что же касается политического значения, то каждый получает преимущество не потому, что его поддерживает та или иная партия, а в зависимости от собственной доблести. Равным образом ничтожность положения бедняка не лишает его возможности оказать услугу государству.

Мы живем свободной политической жизнью и в повседневных отношениях не питаем недоверия друг к другу, не раздражаемся, если кто-нибудь поступает так, как ему хочется. В общественных же делах мы не нарушаем законов прежде всего из чувства страха перед ними.

Ежегодными состязаниями и жертвоприношениями мы даем возможность душе отдохнуть от трудов, равно как и благопристойностью обстановки, повседневное наслаждение которой прогоняет уныние.

Сверх того, благодаря обширности нашего государства к нам стекается отовсюду решительно все, и мы можем с одинаковым удобством пользоваться как теми богатствами, которые производятся у нас здесь, так и теми, что производят другие народы.

Мы любим красоту без прихотливости и мудрость без изнеженности. Мы пользуемся богатством для деятельности, а не для хвастовства на словах, и признаваться в бедности у нас не постыдно; напротив, гораздо позорней не выбиваться из нее трудом. Одним и тем же лицам можно у нас заботиться о своих домашних делах и заниматься делами государственными. Только мы одни считаем человека, уклоняющегося от участия в государственной деятельности, не скромным, а пустым.

Мы сами обсуждаем наши действия и стараемся правильно оценить их, не считая, что речи мешают делу. Больше вреда, по нашему мнению, бывает, если действовать без предварительного обсуждения. У других же, наоборот, неведение рождает отвагу, а размышление— нерешительность.

Я утверждаю: наше государство — школа Эллады, и каждый в отдельности, мне кажется, может у нас проявить себя полноценной и самостоятельной личностью в самых разнообразных видах деятельности».

Блистательные слова! Но в них, несмотря на восхваление существовавшего тогда политического строя, проглядывает скорее мечта об идеальном гражданине и обществе; Периклова речь (сомнений в этом нет) создает идеализированный портрет афинской демократии. И в этой идеализации уже видны пороки восхваляемой реальности, которые погубят ее впоследствии. «Благопристойность обстановки»; «к нам стекается отовсюду решительно все» — ведь это признание «естественным» делом эксплуатации не только рабов (что разумелось само собой), но и соседних народов. Общество, в котором рабство и праздность, война и грабежи были нормой, не могло сохранять себя бесконечно долго. Рабство, деньги, порабощение других народов — три неизбежных спутника афинской демократии — в конце концов отравили и погубили ту среду, в которой расцвели когда-то яркие цветы ее великих духовных свершений.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

Противоречивая эпоха рабовладельческих Афин бросает багровые отсветы на громадную и трагическую фигуру ЕВРИПИДА (ок. 480—406 гг. до н. э.). Друг Сократа, ученик Протагора, он оставил нам в наследство щемящую боль и грусть по уходящей, распадающейся гармонии бытия. «Философ сцены» — так звали афиняне великого трагика. Его сочинения несут на себе горестную печать унылых предчувствий, скепсиса, неверия в счастье человека. Увы, окружавшая поэта действительность изобиловала реальными поводами для разочарований...

Вместе с тем Еврипид, мастер проникновения в тончайшие движения человеческой души, остается гуманистом — вопреки всему. Он выдвигает на первый план проблему нравственных достоинств личности — не «врожденных», не дарованных небесами, а воспитанных человеком в самом себе. Еврипид — гневный противник индивидуализма, моральной распущенности, «вседозволенности».

Особого нашего внимания заслуживает творчество первого и крупнейшего комедиографа Древней Греции АРИСТОФАНА (445—ок. 385 гг. до н. э.). Особого потому, что в ряде произведений этого, по словам Ф. Энгельса, ярко выраженного тенденциозного художника мы обнаруживаем элементы утопических представлений о справедливом социальном устройстве.

Предавая анафеме безделье и праздность, Аристофан рисует идиллическую картину общества тружеников, в котором все работают, чтут мораль полиса и получают соответственно по своим заслугам. Однако и ему — таково проклятье века! — никак не удается совместить праведность, коллективизм, материальное благополучие и равенство с существованием рабства, без которого (а ведь так оно и было!) невозможны все добродетели афинской демократии.

Аристофан был противником войн и разрушения. В 421 году до н. э. он создает комедию под красноречивым названием «Мир». Волею автора земледельцы всей Греции забираются на Олимп с кирками, лопатами, веревками и своими мозолистыми руками вызволяют из заточения богиню мира, плененную жестоким богом войны. Идеи противодействия войне, защиты права народов на свободу и независимость лежат в основе замечательной комедии «Лисистрата» («Распускающая войска»).

«Отец комедии» почитал себя духовным воспреемником Эсхила. Он дрался за идеал яростно и весело. Но уже необратимо изменились и времена и люди. Высокие патриотические страсти, гармония личного и общего, взлет творческого гения народа — все просверкнуло на небосводе античности ослепительной звездой... На смену шли иные идеи, иные лозунги, иные люди.

Один из последних идеологов рабовладельческой демократии, Аристофан в комедии «Облака» создал отталкивающий образ философа — распутника, лжеца, безбожника, циника по имени Сократ. Но этот Сократ целиком и полностью был плодом воображения драматурга и публициста, борющегося за «староотеческие» идеалы, против нашествия торгашества, равнодушия к общественным интересам, использования силы разума во зло человеку.

В отличие от образа, созданного Аристофаном, реальный исторический СОКРАТ (ок. 469—399 гг. до н. э.) всю жизнь терзался (и терзал других, прежде всего своих учеников) сомнениями: как следует жить человеку, чтобы быть подлинно нравственным? Его не удовлетворяли ответы консервативной морали — они слишком расходились с объективной действительностью Афин второй половины V века. И Сократ в отличие от своих коллег и предшественников по философскому «цеху» сосредоточился не на проблемах первоначал устройства мироздания и его законов, а на самом человеке, круге его знаний и духовных возможностей. Это была установка на самоусовершенствование личности, на органическое слияние в ней знания и добродетели. Сократ не просто верил в силу разума, знания; он остро отточил лезвие философской полемики и направил его против заблуждений, догм, ошибок обыденного, ленивого сознания.

Человек по природе своей добр; дурные поступки порождаются лишь незнанием. Наращивание знаний, преодоление косности и предрассудков — вот путь к счастью и блаженству. «Познай самого себя», не трать время и силы понапрасну в попытках постичь физическую природу вещей, строение мира — они непознаваемы. Ключ к счастью внутри человека, в его разуме, в его понятиях об истине и добродетели. «Все есть знание,— учил Сократ,— и справедливость, и рассудительность, и мужество».

Главная особенность Сократа как философа и человека — цельность, почти идеальное соответствие во всем его образе жизни провозглашаемых принципов и совершаемых поступков, единство слова и дела. Сократ, по меткому выражению К. Маркса, был «воплощенная философия». Преданность Сократа своим философским принципам особенно потрясла людей — на века! — в последнем его подвиге. Этот подвиг— приятие им смерти за верность идее.

...Отцом философа был скульптор, матерью — повивальная бабка. В истории осталось имя его сварливой, занудной жены Ксантиппы, вечно бранящей своего мужа за потрясающую непрактичность, за легкомыслие в житейских делах, за какую-то непостижимую и неутолимую жажду спора.

«Живи и жить давай другим» — это было не для него. Он не давал прозябать, он беспокоил, жалил, будил сонную мысль, тормошил сограждан: очнитесь! задумайтесь! не так живете! «Бог и послал меня в этот город,— с гордостью говорил Сократ,— чтобы я, целый день носясь повсюду, каждого из вас будил, уговаривал, упрекал непрестанно».

Ну а в награду — одни неприятности. Однако никогда на курносом лице Сократа не видели обиды, раздражения, злобы, усталости, мины «непризнанного гения». Он весь — доброжелательность, юмор, тонкая ирония, страсть к выяснению истины. Все поступки органичны, естественны; их не могло не быть.

Такова и последняя чаша с ядом, выпитая Сократом по приговору афинского суда. К кубку с цикутой привела Сократа огромная и деятельная любовь к людям, жажда помочь им стать лучше. Не только самому постичь истину и насладиться ее созерцанием в хорошем расположении духа — об этом мечтали многие до Сократа. Нет! Сын повивальной бабки хотел (и помогал) высвободить истину из чрева заблуждений не для себя — для всех любезных сердцу сограждан.

Он умер как противник афинской демократии (но в конкретном тогдашнем ее обличье, со всеми отталкивающими «прелестями» распада). Он остался верен духу свободы, идее улучшения людей и их сообщества в соответствии с истиной закона и морали. Величайший этик учит нас великому и трудному искусству жить достойно, учит главному в этом искусстве — единству слова и дела, превосходству общего, гражданского, социального — над личным.

Умирая, он знал, что остается жить в сердцах честных людей, и потому бестрепетной была его рука, когда подносила смертную чашу к улыбающимся добрым губам... Это была не смерть, а победа; смертью, гибелью, тленом было бы отступничество, предательство по отношению к своему учению и совести.

...Через много веков образ диалектики как «повивальной бабки» воскреснет в новом, истинном качестве, переосмысленный Карлом Марксом применительно к пролетарской революции, высвобождающей человечество из недр «старого общества, когда оно беременно новым». От Сократа долетел до наших дней и образ неугомонного овода, не дающего людям погрязнуть в заблуждениях и пошлости.

Перешагивая через все высохшее, омертвелое в Сократе, мы наследуем его пытливую бесстрашную мысль, его веру в торжество разума, совести и бескорыстия. Вслед за Сократом, вместе с Сократом мы говорим: «Главное не в том, чтобы жить, но в том, чтобы честно жить».

Афинский «овод» продолжился в словах и творениях своих учеников, самым выдающимся из которых был ПЛАТОН (ок. 427—347 гг. до н. э.), основоположник философского идеализма.

«Он не был праздным мечтателем,— говорил о Платоне Н. Г. Чернышевский,— думал не о звездных мирах, а о земле, не о призраках, а о человеке. И прежде всего Платон думал о том, что человек должен быть гражданином государства...»

Мыслитель подвергал самой острой критике общество своего времени, главным двигателем которого к тому времени стали деньги, эгоистические материальные интересы. Он вздыхает о золотом веке, существовавшем будто бы в мифический век правления Хроноса; но те времена, увы, невозвратны... К тому же их не только нельзя вернуть, но и не нужно возвращать: человечество ушло далеко вперед, многое достигнуто, немало завоевано — зачем же снова забираться в пещеры?

При мысленном столкновении «идеального типа» общежития («золотой век») с отрицательными реальными типами у Платона зарождается, а затем оформляется в стройную систему замысел нового — для настоящего и будущего — социального организма. Согласно Платону в любом существующем государстве «всегда есть два государства, враждебных друг другу: одно— государство бедных, другое— богатых». Чтобы преодолеть вражду между ними, нужно построить такое государство, в котором должны царить мудрость и спра-

ведливость. Мысль философа движется от критики сущего к конструированию должного; таковой будет на все века методология социальной утопии.

Платон замахивается на создание государства разума, в котором слито в органическое целое все лучшее от олигархии и демократии. Вершина этой пирамиды — правители-философы; ее основание — работники (разумеется, свободные) различных сфер общественного производства.

«Внизу» каждый занят своим конкретным делом: ремесленники, торговцы обеспечивают государство всем необходимым. «Наверху» воины защищают мирный труд людей и рубежи державы, а правители проводят в жизнь «идеальную» политику гармонии и общего блага.

«Пока в городах...— заявляет Платон,— не будут или философы царствовать, или нынешние цари и властители искренне и удовлетворительно философствовать, пока государственная сила и философия не совпадут в одно... дотоле ни города, ни даже, думаю, человеческий род не жди конца злу».

Платоновская концепция государства вся пронизана, словно стержнем, единой нравственной идеей в четырех ипостасях: мудрость (эта доблесть свойственна лишь философам), мужество (привилегия воинов), сдерживающая мера (доблесть, равно принадлежащая всем свободным) и, наконец, справедливость, понимаемая как соблюдение каждым своих функций в государстве.

Платоновское «государство философов» явило людям обманчивый образ устойчивого «социального равновесия». Его республика, по выражению К. Маркса, представляет собой лишь афинскую идеализацию египетского кастового строя. Все разделено четко и навсегда; каждому — свое...

Право же, все это не имеет ничего общего с идеей бесконечного гармонического развития общества и личности! Высокомерный, аскетический, неподвижный политический строй Платона не заслуживает того, чтобы зваться «гармоничным» даже в самых жирных кавычках.

Но, с другой стороны, как бы не выплеснуть «младенца вместе с водой»! Поищем все-таки зерна будущего в этой утопии. Они, самые жизнеспособные, вопреки воле создателя теории затаились в «щелях» среди его многочисленных заблуждений. Разве, например, можно с порога отметать блестящую, яростную платоновскую критику эгоизма и стяжательства? Или взять отношение к женщине. В «Государстве» Платона смутно просвечивает мысль о возможности ее эмансипации, об уравнивании ее в правах с воинами-стражами. «Силы природы равно разлиты в обоих живых существах: по природе всем делам причастна и женщина, всем и мужчина». Надо знать ситуацию в античном обществе, где женщина, по словам Ф. Энгельса, была лишь вещью по присмотру за хозяйством, чтобы по достоинству оценить подход Платона.

Немало любопытных мыслей находим мы у Платона и по поводу общественного воспитания юношества (их отзвук услышим мы потом в «Утопии» Томаса Мора). Здесь он многое позаимствовал у спартанцев. Закованное в боевые доспехи военно-аристократическое государство, антипод Афин, многим привлекало Платона. И опять-таки было бы ошибкой с порога отметать эти симпатии великого философа. В пору угасания, разложения древней демократии он мечтал о взращивании поколения безупречных рыцарей чести, горячих патриотов, гармонически развитых в физическом, нравственном и умственном отошениях. Поэтическая душа философа рвалась к идеалу богоравного человека, беззаветно и бескорыстно преданного людям, общественному долгу. Таков Платон!

Обратимся в этой связи к центральной и самой живучей идее утопии Платона — ликвидации всякой собственности и даже семьи (которые, по мнению философа, неизбежно разрушают гармонию общественного и личного) на вершине пирамиды, у правителей и стражей. «Все общее среди друзей; никаких соблазнов, кроме любви к делу справедливости»,— говорил Платон. Необходимо вырвать из сердца служителей государства два самых прочных корня эгоизма: любовь к собственности и любовь к семье. Эти-то идеи и стали для многих будущих утопистов своего рода исходным материалом для конструирования самых дерзостных моделей иного жизнеустройства. В том числе и очень далеких от платоновского «Государства».

Отстаивая право на прочтение сочинений Платона «с точки зрения будущего»,

конечно же, нельзя забывать, что в целом утопия Платона — утопия аристократическая. От ученика мудрого Сократа началась линия философского идеализма. От него же идет и антидемократическая линия в социально-утопической общественной мысли. Многие будущие проекты спасения господства «элиты» восходят к неподвижной, жесткой и жестокой социальной конструкции Платона. Но вместе с тем именно он дерзко поднял руку на частную собственность, восславил и обосновал величие подчинения личного общественному. Обосновал порабовладельчески, но и поэтически; здесь-то и сокрыто непреходящее.

...Ширина плеч (platos — широкоплечий) определила, по преданию, имя Платона. Необъятная широта ума и таланта «приговорила» его к тому, что он и поныне остается одним из вечных спутников человечества.

НАЗАД! — В БУДУЩЕЕ!

Через несколько лет после смерти Платона наступает новый период античности — эпоха крупных (начиная с Александра Македонского) империй, подъема науки, географических открытий, взаимодействия культур Греции и Востока.

Бурное, противоречивое, смутное время! О нем, не боясь ошибиться, можно сказать словами великого русского поэта: «Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний!» В сфере искусства оно породило тенденцию к пышности и масштабности, привело к своеобразной мании величия в архитектуре и скульптуре. Что же касается литературы, то она, словно корабль от берега, все дальше уходит от политики и философии в тихие заводи пейзажно-буколической лирики или бытовых комедий. Гражданский пафос греческой литературы постепенно угасает...

Исключение — впрочем, весьма своеобразное и для нас особенно интересное — составляли разве романы-путешествия, в изобилии появлявшиеся в то время. Из этого некогда широкого потока рекою времени прибиты к берегам современности и представляют немалый историко-теоретический интерес два «осколка» литературных утопий, два фрагмента о будущем. Речь идет о фрагментах Эвгемера и Ямбула, в которых содержатся вполне связные представления об идеальном общественном устройстве у народов «диковинных стран» (этот мотив неведомых островов счастья уже встречался нам в народной социальной утопии. Он станет сквозным для большинства утопических теорий вплоть до XIX века). Чудесные острова с общностью производства и потребления находились вне и позади цивилизации; они были модификацией идеи «золотого века». Они были вместе с тем способом бегства от раздираемой противоречиями действительности в царство бессильной мечты, но мечты еще эллинской, гуманистической, согретой теплом заботы о свободном человеке...

На пороге этой эпохи могучим «Геркулесовым столбом» возвышается величественная фигура АРИСТОТЕЛЯ (384—322 гг. до н. э.) — непосредственного ученика, а впоследствии блестящего критика учения Платона, подлинного энциклопедиста древности. Необозримо и многомудро творческое наследие Аристотеля. Мы, естественно, попытаемся выявить в нем лишь те «струны», которые звучат на волне темы человеческой Мечты о счастье.

Двадцать лет он пробыл рядом с Платоном, в его Академии. В течение нескольких лет был воспитателем и наставником Александра Македонского. Все время на вершинах и мысли и власти. Необъятные познания позволили Аристотелю в одиночку систематизировать все сколько-нибудь ценные тогдашние сведения о природе и человеке. Огромный, титанический труд! Систематизация проводилась на базе собственной философской концепции, в которой много места было отведено и человеку, и страстям, и мечте. Правда, эта мечта мало похожа на мечту его учителя об идеальном государстве; у Аристотеля в отличие от Платона все свободные обладают частной собственностью, все — эгоисты, и потому естественно, что государство не налагает на них тяжкие вериги ограничений и предписаний в частной, личной жизни (об общности жен и детей, к примеру, вообще не может быть и речи: противоестественно, кощунственно!).

Есть сходство во всем этом с будущей (из XVIII века нашей эры) теорией «разумного эгоизма», выработанной идеологами восходящей буржуазии. Однако сходство не есть тождество. Аристотель принадле-

жит другому миру, и его эгоизм из другого теста.

Он выдвигает на первый план как главный элемент личного (а значит, и общества в целом) счастья досуг граждан, свободное время для совершенствования разума, души и тела. Разумеется, речь идет только о свободных гражданах: Аристотель — не просто сторонник рабовладения, но его апологет, автор печально известной формулы: «Раб — одушевленный инструмент, а инструмент — раб без души».

Досуг открывает возможности для развития всех творческих способностей человека. Маркс в «Капитале» по этому поводу проницательно заметил: «Если они (т. е. древние греки) оправдывали рабство одних, то как средство для полного человеческого развития других». В этом именно и величие и ограниченность греков. Ведь потом, после них, в эпоху позднего Рима, человечество узнает, ради какой мерзости может «оправдываться» рабство...

Идеал Аристотеля созерцателен и аристократичен. Он принципиально несовместим с трудовой, производительной деятельностью. Но он несовместим и с жаждой приобретательства. «Стремление к наживе — образ жизни неестественной и насильственной, так как богатство всегда есть средство, а не цель»,— подчеркивал философ.

Назначение человека — в разумной деятельности, утверждал Аристотель. А разум неотделим от меры, «середины» во всех деяниях и душевных движениях. Мужество есть середина страха и отважности, бескорыстия и пользы. Щедрость — это середина скупости и расточительности. «Надо жить согласно мере щедро». Чувство меры, «золотой середины» образует благородный человеческий тип, стремящийся к совершенству.

В этическом идеале Аристотеля нашел свое завершенное выражение социальный портрет свободного эллина — изящного, храброго, умеренного, щедрого и великодушного. В нем нет жесткого платоновского аскетизма, спартанской военизированной «гражданственности», как нет и корыстолюбия, узкого прагматизма; главным нервом его являются теоретическое созерцание истины (для себя) и щедрая мера (для других).

Будучи тонким и дальновидным мыслителем, Аристотель задумывался и над возможностями упразднения рабовладения. Оно жгло ему разум, оно наполняло страхом сердце: ведь бедность и рабство всегда содержат внутри себя возможность социального взрыва. Решение проблемы великий грек видел в развитии техники.

«Если бы каждое орудие по приказанию или по предугадыванию могло исполнять предназначенную ему работу подобно тому, как творения Дедала двигались сами собой или как треножники Гефеста по собственному побуждению приступали к священной работе, если бы таким же образом ткацкие челноки ткали сами, то не потребовалось бы ни мастеру помощников, ни господину рабов».

Аристотель не случайно сопрягает мечту об обществе без рабов с мифологическими образами волшебного мастера Дедала и бога Гефеста: сама возможность «самотрудящихся» орудий (т. е. машин) казалась невероятной и потому не более чем сказочной... Но, как часто бывало в истории, самая «безумная» идея Аристотеля оказалась в дальней перспективе цивилизации самой истинной. Правда, не машина освободила людей, но без нее — тут Аристотель прав — немыслимо, невозможно было реальное освобождение человечества.

Почти через триста лет после Аристотеля его «Дедалову» мечту поэтически сформулировал греческий поэт времен Цицерона Антипатр. Свежо и сильно приветствовал он как «восстановительницу золотого века» (К. Маркс) изобретенную тогда водяную мельницу:

Дайте рукам отдохнуть, мукомолки; спокойно дремлите,
Хоть бы про близкий рассвет громко петух голосил:
Нимфам пучины речной ваш труд поручила Деметра*;
Как зарезвились они, обод крутя колеса!
Видите? Ось завертелась, а оси крученые спицы
С рокотом движут глухим тяжесть двух пар жерновов.
Снова нам век наступил золотой: без труда и усилий
Начали снова вкушать дар мы Деметры святой...

Мечты Аристотеля, смутное предчувствие будущей технической мощи челове-

* Деметра (греч.)— богиня плодородия.

чества отзовутся позже в «Буре» В. Шекспира, в «Новой Атлантиде» Ф. Бэкона, в фантасмагориях Ш. Фурье. Упоение этой мощью и страх перед нею, когда она в руках зла, мы увидим в творчестве Жюля Верна.

Последней великой фигурой афинской культуры, человеком, бросившим, словно Прометей, вызов богам и судьбе, был ЭПИКУР (341—270 гг. до н. э.) — «подлинный радикальный просветитель древности» (К. Маркс). Чем же интересен для нас этот мудрец, чьи творения и мысли властно привлекли к себе молодого Маркса (вспомним его знаменитую докторскую диссертацию «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура»)?

...Поверженные Афины конца IV века. Поляризация богатства и нищеты, вырождение слоя свободных тружеников, раковая опухоль люмпенства — таково время Эпикура. Неуверенность и страх, меч и насилие, жажда выжить любой ценой — таково время Эпикура. В этой тревожной и зыбкой социальной атмосфере философия откачнулась от, казалось бы, незыблемых своих принципов: Логос, Гармония уступают трон Случаю, Сиюминутности.

Эпикур отказывается от поисков спасения общества, государства. Слишком поздно, слишком скверно... Речь может идти только о спасении личности. Шаг назад от греческой философии и культурной традиции? Да, безусловно. Но он с лихвой компенсируется человекоутверждающим призывом к земному, а не потустороннему личному счастью. Это был этический подвиг безбожного философа-мечтателя, одним из первых принявшего потом удары религиозного мракобесия. Заметим: труды Эпикура почти все уничтожены так же, как и сочинения его учителя Демокрита. О подлая месть боящихся Разума!

Путь к счастью Эпикур видит в избавлении людей от страха, и прежде всего от страха перед смертью, перед богами и загробным миром. Но для этого нужно разъяснить людям, что такое вселенная, доказать им, что в ней нет места для богов. Эпикур поселяет богов в «междумирие», где они пребывают в покое и блаженстве. Боги Эпикура — это «пластические боги греческого искусства» (К. Маркс), идеал, к которому устремлена душа. Не богами, а человеком объясняется — и вершится! — история.

Человек — творец собственной судьбы. В деянии, в размышлениях, в творчестве, в преодолении страданий и печали — и подлинное счастье, и подлинное бессмертие. Эпикур категорически заявляет: «Когда мы существуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем». Глупо и неплодотворно бояться смерти. Правда, она почти всегда несет с собой физические муки. Но не поддаться им помогают воля, мужество и достоинство.

Самое, самое главное — это здоровье, отсутствие страданий души и тела, то есть голода, холода, болезней, страха. Но это лишь часть условий для счастья. И посему Эпикур вовсе не призывает людей предаваться любому виду удовольствия. Это потом ханжи и лицемеры мстили ему, облыжно обвиняя в проповеди обжорства, эгоизма, разврата. Все эти лживые немилости за то, что философ признавал чувственные земные удовольствия необходимым исходным пунктом счастья и радости.

В противовес естественным желаниям существуют желания пустые, вздорные. Таково прежде всего тщеславие. Основное правило, формулируемое Эпикуром — «живи незаметно»,— вполне объясняется отношением автора к окружающей его мерзкой действительности. Но это отношение вместе с тем насквозь гуманно: «Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо».

Примат личного у Эпикура вовсе не означает ухода в плотную скорлупу эгоизма. Истинные добродетели, учит философ,— мужество, знание, дружба. «Из всего того, что мудрость доставляет себе для счастья всей жизни, самое важное есть обладание дружбой»,— говорил Эпикур. И не случайно он в своем знаменитом «Саду» был окружен плотным кольцом друзей и единомышленников. Он источал яркий свет человечности, благородства и братства, к нему устремлялись все жаждущие добра, справедливости, свободы.

Да, свободы вопреки всему! Здесь сокровенный смысл Эпикуровой этики, его взгляда в будущее. Рок, фатум, судьба, предопределение столь же ложны, как мифы и боги. Свобода человеческой воли

имеет своим основанием спонтанное, то есть самопроизвольное, отклонение атомов. К Эпикуру восходят многие этические и литературные утопии, противостоящие религиям и вероучениям, унижающим человеческое достоинство. К Эпикуру восходят и пассивные воздыхания аристократов грядущих эпох, укрывающихся от житейских бурь в «башнях из слоновой кости», жаждущих «атараксии» (у Эпикура — состояние полной невозмутимости, безмятежности).

Эпикур многолик и неравноценен. Но он учил жить с гордо поднятой головой, жить по-земному, смело смотреть в будущее. Ведь, проповедуя бесстрашие перед смертью и богами, он высвобождал духовные силы человека для земных дел. Он проповедовал атараксию, но в учении о свободе содержалась завязь мысли о созидании будущего. «Надо помнить,— говорил Эпикур,— что будущее — не наше, но, с другой стороны, и не вполне не наше,— для того, чтобы мы не ждали непременно, что оно наступит, но и не теряли надежды, будто оно вовсе не наступит».

ДРЕВНЕРИМСКИЙ ВАРИАНТ

Культура Древнего Рима... Греческий элемент в ней ярко ощутим, всепроникающ; благодаря Риму человечество со временем сумело возродить античность, безжалостно перемолотую в жерновах религиозного фанатизма и бесконечных войн.

Суровый, сумрачный, лицемерный Рим... Почти тысячу лет продержался он на мотыгах рабов и мечах легионеров. Закованный в корсет официальных идеологий, возносящий многоголосые хвалы героическому прошлому и помпезно-роскошному настоящему, Рим не сумел (и не мог) явить миру такой же «миг гармонии», какой мы видим в Древней Греции.

Но Рим вовсе не бездуховная просека в истории человеческой культуры. Он породил мужей великих, поэтов гениальных, ораторов непревзойденных; лучшие из римлян унаследовали от греков величайшую из доблестей: humanitas (человечность).

Рим, его кричащие противоречия выдвинули на историческую арену сонмище беспощадных цезарей и их прислужников, создали толпу люмпенов, бездельников, орущих: «Хлеба и зрелищ!» Но они же вызвали к жизни «нового Прометея» — революционного вождя восставших рабов Спартака, которого К. Маркс назвал самым великолепным парнем во всей античной истории, истинным представителем античного пролетариата, а в знаменитой «Исповеди» — и своим любимым героем. Мужество Спартака, его беззаветная любовь к свободе, ненависть к тиранам сделали этого «великолепного парня» символом борьбы за новый мир, за освобождение труда.

...В скрежете мечей, в змеином шелесте проскрипций*, в гортанных криках ораторов и плебса выковался и закалился талант такого «свежего, смелого, поэтического властителя мира» (К. Маркс), каким был ТИТ ЛУКРЕЦИЙ КАР (99—55 гг. до н. э.), современник Спартака, единомышленник Эпикура, блистательный поэт и глубочайший философ. Его поэма «О природе вещей» стала пиком античного материализма. До сих пор потрясает гениальное пересотворение Лукрецием эпикуровского учения (во всем его объеме) из системы абстракций в художественные образы.

Лукреций восхищает нас своею боевитостью, беззаветностью и бесстрашием в отстаивании истины, в сокрушении врагов разума. От Лукреция — прямая нить ко всем воинствующим безбожникам будущих веков.

В хрестоматийной части главы читатель ознакомится (в отрывках) с гекзаметрами Лукреция, с его концепцией «золотого века». Она, кстати, во многом сходна с гесиодовской периодизацией веков. Но разница есть, и принципиальная: Лукреций видит движение цивилизации от низшего к высшему, «схватывает» (разумеется, интуитивно и наивно) идею общественного развития. В конечном счете происходит — в масштабе вселенной — круговорот атомов; но в этом бескрайнем круговороте человек не просто пылинка, но существо свободное и деятельное, постигающее разумом и чувствами прекрасную симфонию мироздания.

Из глубины веков доносятся до нас громовые раскаты патриотических речей ЦИЦЕРОНА (106—43 гг. до н. э.) — человека,

---

* П р о с к р и п ц и и *(латин.)* — списки лиц, объявленных вне закона.

само имя которого стало синонимом ораторского искусства, поставленного на службу отечеству. Цицерона — защитника собственности никак не причислить к лику предтеч или проповедников социального равенства. Но поставим вопрос так: кто пошел бы на битву «за убежденья, за любовь» без внутреннего пламени гражданственности и свободолюбия?! В этом (отнюдь не второстепенном!) смысле уроки республиканца Цицерона весьма важны и поучительны — они восходят к Эсхилу и Периклу, они утверждают высокую человечность превосходства общественного над узколичным. По убеждению Цицерона, родина рождает нас как достойных своих сынов для того, чтобы мы «приносили ей в дар самое ценное и важное из наших духовных талантов и только с ее разрешения тратили бы избыток наших душевных сил на частную жизнь и досуг». Поистине великие слова!

«Культурным взрывом», целым созвездием ярких талантов отмечена эпоха первого римского императора Октавиана Августа (конец I в. до н. э.— первые годы н. э.). У этого взрыва совсем иные причины, параметры, итоги, нежели у славного «мига гармонии» Перикловых Афин. Но одно — и немаловажное — общее качество было: истерзанная классовыми битвами, междоусобицами, войнами страна получила при Августе возможность перевести дух, поразмышлять, помечтать в условиях мира.

Спокойствие недолговечное, неустойчивое, во многом иллюзорное; но оно было невероятным благом после многих десятилетий распрей, разлада, социальной «качки». Оно, это спокойствие, в отличие от Афин напрямую связывалось с личностью императора. Отсюда — помпезность и античный «культ личности»; отсюда — массовый отход граждан Рима от политики, отток интеллекта и таланта в сферу индивидуальности, демонстративной слиянности с природой, в мечту о полной безмятежности.

Наиболее мощно эти мотивы выражены в поэзии духовного последователя Лукреция, великого ВЕРГИЛИЯ (70—19 гг. до н. э.).

По его собственному признанию, он «воспел пастбища, села, вождей». Воспел не от аристократической пресыщенности, а в силу искренней любви к земле, к людям, к миру для своего народа. Потому пастушеские «идиллии» Вергилия имеют куда более значительное, общечеловеческое содержание. Они пронизаны человечностью и поэтической мощью.

В эпоху Возрождения и далее, в XVII—XVIII веках, развилась своеобразная ветвь литературы и драматургии, выражающая мечту о благословенной и беспечальной жизни в согласии с природой. Античные буколики, изображающие грациозных пастушков и пастушек, преобразуются в декоративные беспечальные картинки, которыми будут забавляться богатые бездельники. Такой — невыносимо фальшивой, извращенной, слащавой — станет потом мечта о согласии с природой. Мечта, присвоенная и прирученная сытыми...

Но к Вергилию это не имеет никакого отношения. Приверженец учения Эпикура, воздыхатель о «золотом веке», он, пожалуй, впервые после Гесиода искал модель счастья для мудрого и совершенного человека в жизни и нравах простолюдинов. В конкретных исторических условиях Рима это было всплеском духовного демократизма. Так что тропка от Вергилия ведет не только к фарфоровым пастушкам королевского Версаля, но прежде всего (мы в этом убедимся чуть позже) к Руссо и Дидро, к пламенному «крестьянскому коммунисту» Мелье.

И еще одним интересен Вергилий. В его «Буколиках» есть весьма загадочная, до сих пор волнующая воображение не только специалистов-литературоведов IV эклога (глава). В ней речь идет о предстоящем, причем в самом близком будущем, возврате «золотого века» — возврате, который связан с рождением некоего таинственного, не названного по имени младенца. На землю снова придут вечный мир, правда и равенство, обновление природы.

Мимо этой пророческой, поразительной по силе картины не могли пройти все, кого мучили предчувствия грядущих перемен. IV эклогу постарались прибрать к рукам христиане, толковавшие ее как языческое «прорицание» пришествия Христа. Для нас же важно понять движение мысли Вергилия к будущему — движение, в котором оживают вековечные народные мечты о «земном рае», которое находит опору в непоколебимой вере в светлое будущее. Не случайно любимым афоризмом Вергилия были слова: «Labor omnia vincit» («Труд побеждает все»).

Последователями философского учения

Эпикура, добрыми учениками мечтателя Вергилия были замечательные лирики ГОРАЦИЙ (65—8 гг. до н. э.) и ОВИДИЙ (43 г. до н. э.— 18 г. н. э.). Уступая творцу «Энеиды» и «Буколик» в масштабности мысли и творчества, они, пожалуй, превзошли его поэтичностью, чистотой лиризма.

Зрелый Гораций приходит к завету Эпикура: «Живи незаметно». Он погружается во вневременную первозданную утопию, где царят бескорыстие, свобода и душевное спокойствие. Как и у Вергилия, душу героя Горациевой лирики врачуют нетронутая природа, патриархальный быт, крестьянский труд. В прилагаемом к главе отрывке из Горация читатель услышит чистые земные звуки и запахи сельского рая, услышит радостную хвалу природе, миру и мирному труду.

Овидий, несчастный изгнанник, величайший фантазер, создал феерические «Метаморфозы» — своего рода поэтическую историю античной философии. Подобно Гесиоду, он писал в «Метаморфозах», не скрывая горечи невозвратимой утраты:

Первым посеян был век золотой, не знавший возмездья,
Сам соблюдавший всегда, без законов, и правду и верность...

Увы, теперь, вздыхает Овидий, «все живет грабежом».

Этот образ частной собственности как кражи всплывет в XVIII веке у Руссо, а позднее у мелкобуржуазного утописта Прудона.

Овидий был одним из любимых поэтов К. Маркса. В юности основоположник научного коммунизма даже перевел несколько элегий великого римлянина на немецкий язык. Овидий остался в истории культуры величайшим лириком-патриотом; пронзительно чистые стихи его всегда будут звать к добру и свободе.

После «светлейшего мироносца» Августа Рим начинает неудержимо клониться к закату. Буквально все — и в политике, и в быту, и в философии, и в искусстве — отмечено печатью вырождения, измельчания, безысходности.

Рабство когда-то вскормило, но в конце концов окончательно сломало плодоносящую ветвь, на которой созрели прекрасные плоды античной культуры. Искусство позднего Рима — это стихия эпигонства, фатовства, античного «модернизма» и сюсюканья. Стихия, пришедшая на смену красоте и соразмерности, заглушившая мужественный голос разума, торжествующего победу над первобытным хаосом.

Измельчала, померкла, зашла в тупик и языческая мечта о полнокровном, гармоничном, изящном человеке-гражданине. Распутные рабовладельцы и свора их «свободных» нахлебников судорожно прожигали свою бесполезную жизнь, устраивали дикие оргии и, пресытившись, слушали лепетанье продажных поэтов о беспечальной жизни под сенью шелестящих листьев, в кругу милых друзей. Так неумолимо вырождался светлый эллинский идеал человека и его счастья.

На рубеже новой эры еще пытаются утвердить старые — в сущности уже мертвые — ценности и добродетели древней демократии представители римской философской школы стоицизма. Эпикуровской свободе личности они противопоставляют неумолимый Рок, предначертания судьбы, железную надмирную Необходимость. Все в жизни расписано от века, и мудрецу надлежит лишь добровольно следовать предопределению — в этом якобы только и возможна свобода человека... Похоже будто бы на Софокла; но какая непреодолимая, в сущности, пропасть!

Однако у стоиков одна нравственная идея давала (пусть и иллюзорный в то время) выход из тупика. Это была идея равенства всех людей как братьев и детей всемирного Логоса, то есть Бога. Идея довольно взрывчатая: она подрубала старый греко-римский догмат о «природном превосходстве» эллинов и римлян над варварами, она давала какую-то надежду огромной массе угнетенных и обездоленных...

Всемогущество Рока и ничтожество человека в мире утверждал крупнейший из стоиков Древнего Рима, моралист и писатель ЛУЦИЙ АННЕЙ СЕНЕКА (ок. 4 г. до н. э.— 65 г. н. э.), воспитатель императора Нерона, приговоренный позже своим неблагодарным учеником к самоубийству.

Ф. Энгельс называл Сенеку «дядей христианства». Мудрый римлянин, и тому эпоха объяснением, внес свою лепту в философскую разработку грустного мифа об

изначальной греховности и слабости людской, о теле как темнице души, стремящейся к богу, к непорочной, блаженной и безмолвной жизни на небе. Ну а на земле истинный мудрец должен всячески помогать душе постигать божественную мудрость мира, проявлять непреклонную невозмутимость и стойкость во всех житейских бурях и треволнениях...

Однако «дядя» не был прямой родней христианства. Лучшее в Сенеке (этим он для нас и интересен) от светлого мажорного греческого прошлого. Вот почему его этика прямо-таки пропитана необъятной тоской по этому прошлому, увы, невозвратимому и недостижимому более. «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет...» Эти горькие пушкинские слова невольно всплывают в памяти, когда читаешь «Письма к Луцилию» — то язычески светлые, то омраченные мистикой, смятением духа, неверием в человеческое счастье на земле.

Вслед за Овидием Сенека вздыхает о патриархально-сладостном «золотом веке». Вот бы назад — и в будущее! Но уже ничего нельзя переиграть: опухоль собственничества, раздробления и вражды людей неустранима. Единственное, что возможно, предполагает Сенека,— это некоторое ограничение частной собственности. Идея ненова: к этому же, каждый на свой манер, призывали и Эпикур и Аристотель. У Сенеки еще меньше надежды, а потому больше горечи и мистики...

И в то же время именно Сенеке принадлежат гордые слова: «Нет рабства более позорного, чем рабство духа». Он проклинает рабство денег, похоти, лести, гордыни. Он утверждает равенство всех людей, в том числе и рабов, по их духовной природе. И равенство это достижимо, но только не на земле, а на небе... Он был растерян, смятен, подавлен, но не сломлен — как не помнить, как не любить его?!

Эллинская мечта о жизнерадостном, гармоничном и счастливом человеке, во всем руководствующемся взаимополезной нормой общества, бросает последний яркий луч света в сгустившуюся тьму разложения и мистицизма трудами и мыслями крупнейшего древнеримского историка ТАЦИТА (ок. 58—ок. 117 гг.). Ему принадлежит пальма первенства в документальном разрушении мифа о «золотом веке» патриархальности. Тацит как бы зеркально противопоставляет культуру Рима и мрачную, грубую, полуживотную стихию жизни и быта германских племен. Страшен и отвратителен этот варварский мир социального застоя. И хотя много бед,страданий несет человеку цивилизация (цивилизация ущербная, эксплуататорская, скажем мы), но, по Тациту, только борьба с природой, только труд и воля человека, преобразующие мир, только активность разума способны обеспечить, подготовить наступление новых, лучших времен. Когда они наступят, как будут жить люди будущего, Тацит не знал и, как истинный ученый, не позволял себе предаваться фантазиям. Однако само восхищение динамичным очеловеченным миром, яркие образы подчинения диких сил природы разуму и труду людей были у великих римлян — от Вергилия до Тацита — крупным плодотворным шагом вперед в процессе вызревания идеала общественного прогресса.

...Разлагающийся римский мир, этот огромный «котел» наций и верований, кипящий горем, унижением, отчаянием огромных людских масс, все больше погружается в ядовитый желтый туман мистики и суеверий. Мечта о равенстве и справедливости мечется в поисках выхода. Она покидает прогнившие верхи и уходит в народную толщу, порождая новые формы сопротивления социальному злу.

Жить безропотно или роптать? Аппиева дорога, символ мученической гибели соратников Спартака, тех, кто поднял оружие на всемогущий Рим (по обеим сторонам дороги — распятья, кресты, кресты и сухое карканье жирных ворон...), еще не изгладилась из памяти. И социальные низы, бессильные свергнуть рабство и владычество Рима, отторгают мораль господ, вырабатывают мораль неприятия враждебного, злобного мира.

Это по преимуществу *мораль непротивления*. Но ее составными элементами становятся вместе с тем и нормы трудовой морали: честность, трудолюбие, милосердие, бескорыстие, солидарность бедняков. Конечно, не последнее место в мировоззрении низов занимают кротость, терпение, всепрощение. Ведь это наиболее «верные» дороги к небесному блаженству...

Но когда-то и на земле должна воцариться Правда! Ее приход все больше связывался с чудесным избавлением от зла, которое наступит с появлением Спасите-

ля — мессии, божьего сына. Идея мессианизма все больше определяла духовную атмосферу Римской империи — идея, тысячелетиями дремавшая, словно грибная спора, в древнейших религиях. С нею тесно связана эсхатология — мистическое учение о конце мира за грехи его. Но конец мира вместе с тем положит якобы начало новому циклу истории, тысячелетнему царству божию на земле, «золотому веку» блаженной жизни, которую устроит мессия. Хилиазм (от греческого «хилион» — тысяча) более, чем мессианство и эсхатология, определял настроения угнетенных масс в конце господства Рима. Хилиазм составил ядро первохристианских учений, затем, после официального признания христианства господствующей религией, объявляется ересью.

...Но это уже другая тема для другого разговора, ибо мечта в одеянии мессианства и хилиазма — бесплотном, мистическом — свидетельствовала о полном исчерпании рабовладельческим миром земных творческих потенций. Христианство продлило политическую агонию Рима, но стало и его духовным приговором.

МЕЖДУ ДВУМЯ БЕЗДНАМИ

Античное общество подвергло человека первому великому испытанию — отчуждению от производительного труда. Свободные (с определенного момента — свободные от труда) граждане Эллады и Рима в конечном счете выродились либо в богатых бездельников, либо в презираемых люмпенов; стрелки прогресса зашли в исторический тупик... Соответственно раздвоились литература, искусство и общественная мысль: они либо становились предметом услады сытых, либо обреченно взлетали бессильной, лишенной духовной энергии мечтой к небесам, к вечному блаженству — опять-таки без труда, забот и борьбы.

Культура Эллады опиралась на свободное ремесленничество с присущим ему чувством красоты, свободный человек был целью производства и искусства. Высокий идеал этой культуры — гармония личности и общества, человека и природы. «Миг гармонии» был кратким, словно вспышка молнии между тучами, когда еще не стали господствующими грубые силы разделения труда, разрывающие духовное и физическое, но когда уже отступила порабощенность голодом и стихиями. Человек выпрямился и с восторгом увидел, сколь он силен и прекрасен!

«Миг гармонии» — это ажурный мост между двумя безднами, между хаосом первобытности, стадности и хаосом индивидуализма, разобщенности, праздности, неизбежно возникшим в результате действия слепых экономических сил в условиях рабовладения.

Идеал Эллады был недостижим реально; но он, как «немая утопия этого мира» (К. Маркс), был воплощен художественно в пластических богах, героях и философских концепциях классического периода Древней Греции. Он, этот идеал полноты развертывания совокупной творческой силы человека, был как бы спроецирован самой историей в далекое будущее. Воистину: зерно, пролежавшее тысячи лет, не утратило плодоносности!

...«Будущее отбрасывает свои тени»,— говорит английская пословица. Эллада, ее титаны — не мифические, а земные — отбрасывают тень в сегодня, тень светлую, живую, активную. Греческий идеал гуманизма органически вошел в миросозерцание основоположников научного коммунизма. «Миг гармонии» помог им одухотворить мечту о свободном и неограниченном развитии человека-творца, помог миновать рифы мелкобуржуазной уравниловки, грубого аскетизма, не соблазниться идеей консервации прогресса на одном каком-то достигнутом или заданном социально-экономическом уровне (вспомним Спарту; вспомним утопию Платона).

Греки вдохновляли Маркса и Энгельса эстетически. «Из сумерек Востока выявилось светлое, свободное эллинское сознание»,— писал молодой Энгельс. Суровый (с точки зрения трудности его осуществления) идеал научного коммунизма согрет теплотой и благородством, красотой мечты о гармоническом человеке. Миг, догадка, мимолетный взлет духа стали фактом культуры, оставаясь при этом с самого начала социальной утопией. Такова ирония истории: она безжалостно топит в Лете реально существующее, но эфемерное, бесперспективное и сохраняет в огне и воде нереальную в тот момент времени, «пред-

существующую», живущую в совокупной памяти человечества Мечту об истинно человеческом бытии. Культура Эллады, как никакое другое явление, подтверждает громадную силу обратного воздействия явлений духовной жизни на производство, экономику, политику, общественную и научную мысль многих последующих поколений.

В Европе периода Ренессанса, затем века Просвещения (особенно в Германии — у Винкельмана, Лессинга, отчасти у Гёте) мы обнаруживаем очевидную идеализацию «духа Эллады». Тогда уже Афины Перикла выступили в качестве исторической модели «золотого века» человечества. Лучшие умы восходящей буржуазии зажглись надеждой на повторение «греческого чуда». Это тоже была красивая утопия, еще более неосуществимая — ни нравственно, ни эстетически — в эпоху железных дорог и механических конвейеров. Но утопия, тоже принесшая изумительные плоды культуры.

У классиков марксизма-ленинизма мы не обнаруживаем ни капли тоски по утраченному навсегда чуду, ни тени романтической восторженности, никакого: «Назад, к грекам!» Вера Маркса, Энгельса, Ленина в неисчерпаемые творческие возможности человечества неизмеримо превосходит их искреннюю любовь к древнегреческому искусству. Вспомним Маркса: «Они всё еще доставляют нам художественное наслаждение и в известном отношении признаются нормой и недосягаемым образцом».

В высшей степени характерно: «еще», «в известном отношении»... Тем самым обозначены пределы восхищения и преклонения: мысль, искусство неминуемо пойдут дальше, но обязательно удерживая в себе момент совершенства, гармонии, нормы, достигнутый греками.

«Гефестов молот» искусства и мысли греков дробил камни косности, первобытности, безликости; с его помощью в мир пришел Человек во всей своей неповторимой особости, мощи и красоте. Однако постепенно выветривалась идея совокупной общественной силы, идея объединенного разумного человечества, идея «очеловечивания» природы трудом. Точнее, она, эта идея, успела обозначиться лишь в наивно мифологической форме, но затем ушла в холодные выси философии, а позднее — в миражи христианства. Она была изуродована изъятием из нее души живой — труда как единственного орудия победоносного борения с природой и согласия с ней. «Распалась цепь времен...»

Из песни слова не выкинешь! Однако лишь благодаря грекам с их времени человечество мучается «приступами человечности», не позволившими ему застыть, окостенеть в мертвящем, дремотном оцепенении дикости. По сей день искусство Эллады несет благороднейшую службу просвещения, «выпрямления» человека — и в этом его непреходящее гуманистическое значение.

Лейтмотив древнегреческого искусства, главная его фигура, субъект деяния и объект поклонения — свободный человек среди свободных людей, преобразующий себя и землю наперекор богам и судьбе. Эпиграфом ко всему эллинскому периоду развития культуры, апофеозом любви к земной жизни могут служить слова, сказанные еще Гомером на заре цивилизации:

Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь* над бездушными мертвыми царствовать...

...Великую книгу греков читали и читают по-разному. Идеологи богачей в разные эпохи пытались очистить древнегреческую культуру от общечеловеческого содержания, втиснуть ее духовные ценности в рамки замкнутой культуры элиты, «верхних десяти тысяч». В. Белинский одним из первых глубоко вскрыл подлинный демократизм философии, морали и искусства греков, высоко оценил предвосхищение ими (пускай сокрытое от самих творцов) будущих истин борьбы за светлое, доброе, разумное в человеке.

...2500 лет назад был совершен первый прорыв в будущее. Потом были новые витки исторической спирали, и движения вспять, и войны, и жертвы, и заблуждения... Но уже не могло быть возврата к первобытности; благодаря грекам, их разуму человечество утвердило несомненность гуманизма и гармонии.

---

* То есть в подземном загробном царстве Аида.

ИСТОЧНИКИ
ФРАГМЕНТЫ
СТИХИ



К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС

ОБ АНТИЧНОСТИ

1

...Предпосылкой греческого искусства является греческая мифология, то есть такая природа и такие общественные формы, которые уже сами бессознательно-художественным образом переработаны народной фантазией. Это его материал. Но предпосылкой тут является не любая мифология, то есть не любая бессознательно-художественная переработка природы (здесь под природой понимается все предметное, следовательно, включая и общество). Египетская мифология никогда не могла бы быть почвой или материнским лоном греческого искусства. Но, во всяком случае, некоторая мифология. Следовательно, отнюдь не такое развитие общества, которое исключает всякое мифологическое отношение к природе, всякое мифологизирование природы, и, стало быть, требует от художника независимой от мифологии фантазии.

С другой стороны, возможен ли Ахиллес в эпоху пороха и свинца? Или вообще «Илиада» наряду с печатным станком и тем более с типографской машиной? И разве не исчезают неизбежно сказительство, былинное пение и Муза, а тем самым и необходимые условия эпической поэзии с появлением печатного слова?

Однако трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны с известными формами общественного развития. Трудность состоит в том, что они все еще доставляют нам художественное наслаждение и в известном отношении признаются нормой и недосягаемым образцом.

Взрослый человек не может снова стать ребенком, не впадая в детство. Но разве его не радует наивность ребенка и разве сам он не должен стремиться к тому, чтобы на более высокой ступени воспроизвести присущую ребенку правду? Разве в детской натуре в каждую эпоху не оживает ее собственный характер в его натуральной правде? И почему историческое детство человечества там, где оно развилось всего прекраснее, не должно обладать для нас вечной прелестью, как никогда не повторяющаяся ступень? Бывают невоспитанные дети и старчески умные дети. Многие из древних народов принадлежат к этой категории. Нормальными детьми были греки. Обаяние, которым обладает для нас их искусство, не находится в противоречии с той неразвитой общественной ступенью, на которой оно выросло. Наоборот, это обаяние является ее результатом и неразрывно связано с тем, что незрелые общественные условия, при которых это искусство возникло, и только и могло возникнуть, никогда уже не могут повториться вновь.

К. Маркс

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I*.

2

...Древние и не помышляли о том, чтобы превращать прибавочный продукт в капитал. Во всяком случае, если и делали это, то только в незначительной степени. (Широко практиковавшееся ими собирание сокровищ в собственном смысле слова показывает, как много прибавочного продукта лежало у них без всякого употребления.) Значительную часть прибавочного продукта они обращали на непроизводительные затраты — на произведения искусства, на религиозные и общественные сооружения. В еще меньшей степени строилось их производство на развязывании и развертывании материальных производительных сил — на разделении труда, машинах, применении сил природы и науки в частном производстве. Фактически они в общем и целом так и не пошли дальше ремесленного труда. Поэтому то богатство, которое они создавали для частного потребления, было относительно невелико, и кажется оно большим только потому, что скоплялось в руках немногих,

---

* Здесь и далее цит. по 2-му изданию Собр. соч. К. Маркса и Ф. Энгельса.— *Ред.*

которые к тому же не знали, что с ним делать. Если поэтому у древних не было перепроизводства, то было перепотребление у богачей, которое в последнюю эпоху Рима и Греции выливается в безумную расточительность. Немногие торговые народы, имевшиеся среди древних, жили отчасти за счет всех этих в сущности бедных наций.

К. Маркс

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. II.

3

...Древнее воззрение, согласно которому человек, как бы он ни был ограничен в национальном, религиозном, политическом отношении, все же всегда выступает как цель производства, кажется куда возвышеннее по сравнению с современным миром, где производство выступает как цель человека, а богатство как цель производства. На самом же деле, если отбросить ограниченную буржуазную форму, чем же иным является богатство, как не универсальностью потребностей, способностей, средств потребления, производительных сил и т. д. индивидов, созданной универсальным обменом? Чем иным является богатство, как не полным развитием господства человека над силами природы, т. е. как над силами так называемой «природы», так и над силами его собственной природы? Чем иным является богатство, как не абсолютным выявлением творческих дарований человека, без каких-либо других предпосылок, кроме предшествовавшего исторического развития, делающего самоцелью эту целостность развития, т. е. развития всех человеческих сил как таковых, безотносительно к какому бы то ни было *заранее установленному* масштабу. Человек здесь не воспроизводит себя в какой-либо одной только определенности, а производит себя во всей своей целостности, он не стремится оставаться чем-то окончательно установившимся, а находится в абсолютном движении становления... Древний мир, действительно, возвышеннее современного во всем том, в чем стремятся найти законченный образ, законченную форму и заранее установленное ограничение. Он дает удовлетворение с ограниченной точки зрения, тогда как современное состояние мира не дает удовлетворения; там же, где оно выступает самоудовлетворенным, оно — *пóшло*.

К. Маркс

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I.

4

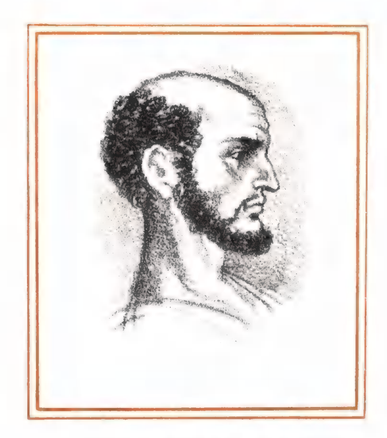
Рабство — там, где оно является господствующей формой производства,— превращает труд в рабскую деятельность, т. е. в занятие, бесчестящее свободных людей. Тем самым закрывается выход из подобного способа производства, между тем как, с другой стороны, для более развитого производства рабство является помехой, устранение которой становится настоятельной необходимостью. Всякое основанное на рабстве производство и всякое основывающееся на нем общество гибнут от этого противоречия. Разрешение его совершается в большинстве случаев путем насильственного порабощения гибнущего общества другим, более сильным (Греция была покорена Македонией, а позже Римом). До тех пор пока эти последние, в свою очередь, имеют своей основой рабский труд, происходит лишь перемещение центра, и весь процесс повторяется на более высокой ступени, пока наконец (Рим) не происходит завоевание таким народом, который вместо рабства вводит новый способ производства...

...От рабства погибла также и Греция, и еще Аристотель заметил, что общение с рабами деморализует граждан, не говоря уже о том, что рабы делают для граждан труд невозможным.

Ф. Энгельс

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20.

ГЕСИОД



ТРУДЫ И ДНИ

Отрывки

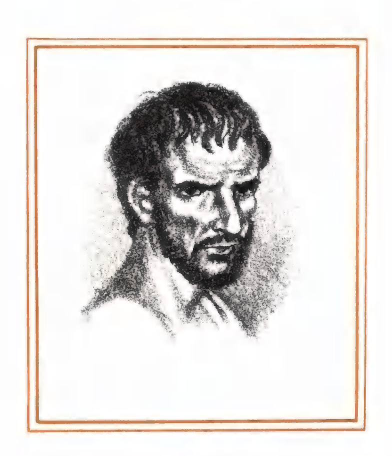
Создали прежде всего поколенье людей золотое
Вечноживущие боги, владельцы жилищ олимпийских.
Был еще Крон-повелитель в то время владыкою неба.
Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою,
Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость
К ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны
Были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили,
А умирали как будто объятые сном. Недостаток
Был им ни в чем не известен. Большой урожай и обильный
Сами давали собой хлебодарные земли. Они же
Сколько хотелось, трудились, спокойно сбирая богатства,
Стад обладатели многих, любезные сердцу блаженных.
После того как земля поколение это покрыла,
В благостных демонов все превратились они надземельных
Волей великого Зевса: людей на земле охраняют,
Зорко на правые наши дела и неправые смотрят.
Тьмою туманной одевшись, обходят всю землю, давая
Людям богатство. Такая им царская почесть досталась.

(Далее в стихах 127—173 описываются серебряное, медное и, наконец, железное поколения героев эпохи Троянской войны.)

...Если бы мог я не жить с поколением пятого века!
Раньше его умереть я хотел бы иль позже родиться.
Землю теперь населяют железные люди. Не будет
Им передышки ни ночью, ни днем от труда, и от горя,
И от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им,
Все же ко всем этим бедам примешаны будут и блага.
Зевс поколенье людей говорящих погубит, и это
После того, как на свет они станут рождаться седыми.
Дети — с отцами, с детьми — их отцы сговориться не смогут.

Чуждыми станут приятель приятелю, гостю — хозяин.
Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то;
Старых родителей скоро совсем почитать перестанут,
Будут их яро и зло поносить нечестивые дети
Тяжкою бранью, не зная возмездья богов; не захочет
Больше никто доставлять пропитанье родителям старым,
И не возбудит ни в ком уваженья и клятвохранитель,
Ни справедливый, ни добрый. Скорей наглецу и злодею
Станет почет воздаваться. Где сила, там будет и право...

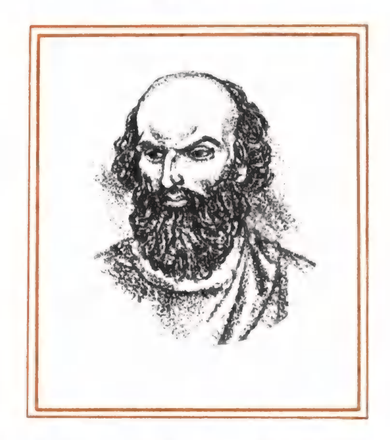
СОЛОН



* * *

...Народ созвал я, сло́ва дав ему залог:
Скажите ж, в чем нарушил это слово я?
Свидетельницей будет пред судом времен
Из всех богинь Олимпа величайшая,
Святая наша матерь, черная Земля;
Расставленных повсюду крепостных камней
С нее я снял обузу, возвратил рабе
Свободу, многих я сынов ее вернул
В Афины, в их отчизну богоданную,
Что на чужбину были проданы: одни —
Законно, а другие — силою господ.
Вернул и тех, что в страхе бросились бежать
И уж забыли речи звук аттической
В скитаньях долгих; тех же, что внутри страны
Влачили иго рабства недостойного,
Господ надменных прихоти покорствуя,
Свободой снова одарил я. Вот чего
Достиг я, силу с правдой сочетав, и все,
Что обещал, свершил я. Я сравнял затем
Перед лицом закона добрых и худых,
Тех и других заветам Правды подчинив...

ЭСХИЛ



ПРОМЕТЕЙ ПРИКОВАННЫЙ

Отрывки

ПРОЛОГ

Пустынная горная местность в далекой Скифии. Три божества — Гефест, Власть и Сила — подводят к утесу Прометея, чтобы приковать его к скале.

Власть

Вот мы пришли в далекий край земли,
В безлюдную пустыню диких скифов.
Твоя теперь обязанность, Гефест,
Приказ отца исполнить — к горным кручам
Вот этого злодея приковать
Нерасторжимых уз железной цепью.
Цветок твой яркий — творческий огонь,—
Украв, он смертным в дар принес и должен
За этот грех наказан быть богами,
Чтоб научился Зевса власть любить,
Свое оставив человеколюбье.

Гефест

О Власть и Сила! Воля Зевса вами
Исполнена, вам дела больше нет.
Но как решусь я бога, мне родного,
К скале, открытой бурям, приковать?
Но все ж решиться мне необходимо:
Приказом отчим страшно пренебречь.

(Прометею)

Фемиды мудрой* сын высокоумный!
Не по твоей, не по моей я воле
Несокрушимой медью прикую
Тебя к нагому дикому утесу,

---

* Богиня-Земля, мать Прометея, старинная богиня эпохи матриархата.

Где голоса людского никогда
Ты не услышишь; солнцем опален,
Ты почернеешь весь; тебе на радость
Сокроет ночь мерцающею ризой
Сиянье дня; и вновь рассеет Солнце
Росу зари,— но бремя тяжких бедствий
Тебя все так же будет изнурять:
Ведь твой освободитель не родился.
Так страждешь ты за человеколюбье!..
Сам бог, богов презрев грозящий гнев,
Почтил ты смертных выше всякой меры.
За это будешь сторожить скалу,
Стоять без сна, коленей не сгибая.
О, много воплей, жалоб бесполезных
Испустишь ты! Но Зевс неумолим:
Всегда жестоки новые владыки.

Власть

Чего ж ты ждешь, жалея понапрасну,
И бога, ненавистного богам,
Укравшего огонь, не ненавидишь?

Гефест

Родства и дружбы сила велика.

Власть

Согласен, но приказ отца нарушить,
Как думаешь, ужели не страшней?

Гефест

Да, ты всегда безжалостен и дерзок.

Власть

Ведь ты ему слезами не поможешь,
А потому напрасно не трудись.

Гефест

Как ремесло мое мне ненавистно!

Власть

Но почему? Ведь, правду говоря,
Твое искусство неповинно здесь.

Гефест

О, лучше, если б им владел другой!

Власть

Все боги свой несут нелегкий труд,
Свободен от него лишь Зевс один.

Гефест

Я знаю и с тобой не буду спорить.

Власть

Вяжи скорей, а то отец увидит,
Как от труда увиливаешь ты.

Гефест

(показывая оковы)

Ты видишь: вот для рук его оковы.

Власть

Вложи в них руки, молотом могучим
Ударь сильней и пригвозди к скале.

Гефест

(вложив одну руку Прометея в кольцо и прибив кольцо к скале)

К концу подходит и не медлит дело.

Власть

Сильнее бей, затягивай покрепче:
Умеет он увертки находить.

Гефест

(ударив по кольцу еще раз)

Ну вот, одна рука прибита прочно.

Власть

Теперь и ту приколоти, пусть знает
Наш умник, что его умнее Зевс.

Гефест

(вложив другую руку Прометея в кольцо и прибив кольцо к скале)

Кто, кроме жертвы, упрекнет меня?

Власть

Теперь же грудь ему насквозь пронзи
Железного гвоздя свирепым зубом.

Гефест

(пронзив железным гвоздем грудь Прометея)

О Прометей, от мук твоих я плачу!

Власть

Рыдаешь ты о Зевсовых врагах?
Смотри, чтоб о себе ты не заплакал!

Гефест

Ты видишь нестерпимое для глаз.

Власть

Я вижу: он наказан по заслугам!
На ребрах пояс крепче затяни.

Гефест

Без приказаний! Знаю сам, что нужно.

Власть

Нет, я велю, приказываю громко:
Спустись и ноги в кольца заключи.

Гефест

(спускается к подножию скалы и закладывает ноги Прометея в кольца)

Ну что ж? готово: дело небольшое.

Власть

Теперь оковы ног насквозь пробей:
Ты дашь отчет пред грозным судиею.

Гефест

(прибив кольца на ногах к скале)

Под стать твой голос виду твоему.

Власть

Ты нежничай, мое ж высокомерье
И крутость гнева порицать не смей.

Гефест

Пойдем: опутан он железной сетью.

Власть

(Прометею)

Теперь дерзай и у богов кради

Священный их огонь. Посмотрим, как
Тебя избавят люди от мучений.
Нет, ложно прозорливцем Прометеем
Зовут тебя: нуждаешься ты сам
В каком-то прозорливце Прометее,
Чтоб вынырнуть из этого силка.

(Власть, Сила и Гефест удаляются)

Прометей

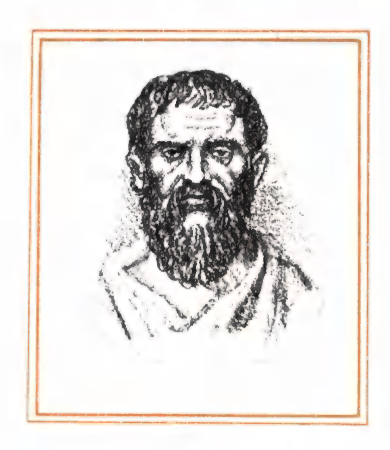
О ты, Эфир божественный, и вы,
О ветры быстрокрылые, и реки,
И смех морских неисчислимых волн,
Земля-всематерь, круг всезрящий солнца,—
Вас всех в свидетели зову: смотрите,
Что ныне, бог, терплю я от богов!
Поглядите, в каких
Суждено мне терзаниях жизнь проводить
Мириады годов!
Позорные узы обрел для меня
Новоявленный царь блаженных богов.
Увы, я рыдаю об этой беде
И о бедах грядущих,— и где же предел
Моих бесконечных страданий?
Но что же говорю? Ведь раньше я и сам
Предвидел все грядущее, и нет
Нежданных бедствий для меня. Я должен
Свою судьбу переносить легко:
Нельзя преодолеть Необходимость.
Но тяжко и молчать и говорить
Об участи моей. Ведь я, злосчастный,
Страдаю за благодеянья смертным.
Божественное пламя я похитил,
Сокрыв в стволе пустого тростника,
И людям стал наставником огонь
Во всех искусствах и путем великим...
За это преступленье казнь терплю,
Вися в оковах под открытым небом...
О!.. о!.. о!..

(Слышится шум несущейся крылатой колесницы)

О что за шум? Что за благоуханье
Невидимое? Бог, или герой,
Иль смертный к дальнему пришел утесу,
Чтоб на мои страданья посмотреть?
Взгляните же на скованного бога,—
На меня, ненавистного Зевсу врага
И всем в его доме живущим богам,
За мою безмерную к людям любовь!
Увы! что за шум раздается вблизи
От несущихся птиц? И эфир зазвенел,
Рассекаем ударами реющих крыл...

Хрестоматия по античной литературе. М., Учпедгиз, 1958.

ПЛАТОН



ГОСУДАРСТВО

Отрывки

* * *

...А сверх этого воспитания, скажет умный человек, необходимо еще, чтобы и все условия их жизни были такие, которые не мешали бы им оставаться наилучшими стражами и не порождали бы в них желания причинять вред другим гражданам.— Правду он скажет.— Подумай теперь,— сказал я,— не должны ли для этой цели условия их жизни быть следующие: во-первых, никто из них не должен приобретать никакого имущества в частную собственность, кроме самого необходимого; далее, ни у кого из них не должно быть такого жилища и такой кладовой, куда бы не мог войти всякий желающий. Что же касается вещей, нужных разумным и мужественным воинам, то их они должны в награду за свои труды по охране города получать от остальных граждан в таком количестве, чтобы их было и не слишком много, и не слишком мало на год. Они должны ходить в общие столовые и жить сообща, как в лагере. А о золоте и серебре им следует сказать, что в их душе всегда есть божественное золото, полученное ими от богов, так что они отнюдь не нуждаются в человеческом; да и неприлично было бы обладателям такого сокровища осквернять его примесью тленного золота. Сколько грехов совершено из-за человеческой монеты, их же монета чиста! И поэтому они одни из всех граждан не должны прикасаться к золоту и серебру, не должны даже входить в дом, где есть золото, надевать на себя золотые и серебряные вещи, пить из золотого или серебряного кубка. Только так они сами спасутся и спасут город. Если же станут приобретать в собственность землю, дома и деньги, то из стражей превратятся в хозяев и земледельцев и будут не защитниками, а злобными господами остальных граждан; ненавидящие и окруженные ненавистью, строящие козни и окруженные кознями всю свою жизнь, они будут гораздо больше бояться внутренних неприятелей, чем внешних, и приведут на край гибели и самих себя, и весь город...

* * *

...Для того чтобы стражи были воистину стражами, они не должны иметь ни частных домов, ни земли, вообще никакой собственности, но, получая от других содержание за свою службу, потреблять его сообща.— Правильно,— сказал он.— Так вот,— говорю я,—

и прежние наши рассуждения, и настоящие не придают ли им еще в большей мере характер истинных стражей, не давая им разорять государство, как они разоряли бы его, если бы называли «своим» не одно и то же, а разное? если бы каждый тащил в свой дом все, что мог бы приобрести отдельно от других — между прочим, и собственную жену, и собственных детей, которые, как лично ему принадлежащие, возбуждали бы в нем личные радости и скорби? Теперь же в своем представлении о собственности они все руководятся единым стремлением — переживать, насколько это возможно, сообща и радости и скорби.— Совершенно верно.— И так как никто из них не владеет частной собственностью, и у всех у них — общее, кроме их организмов, то не отлетят ли от них, как говорится, тяжбы и взаимные обвинения? И не будут ли они самыми мирными гражданами, так как все распри между людьми происходят из-за приобретения денег, детей и родственников?..

* * *

...У стражей не должно быть ни собственных домов, ни земли и вообще никакого имущества: они получают пропитание от остальных граждан как плату за свою сторожевую службу и сообща все потребляют, коль уж они должны быть подлинными стражами.

— Правильно.

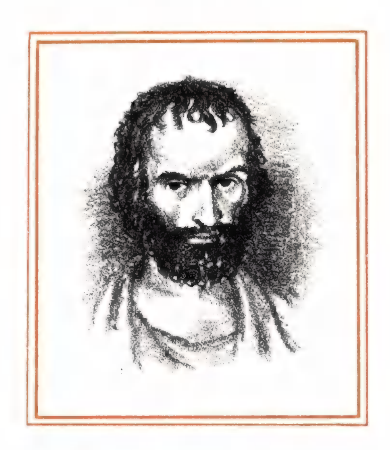
— Так вот я говорю, что и прежде нами сказанное, а еще более то, что мы сейчас говорим, сделает из них подлинных стражей и поможет тому, чтобы они не разнесли в клочья государство, что обычно бывает, когда люди считают своим не одно и то же, но каждый — другое: один тащит в свой дом все, что только может приобрести, не считаясь с остальными, а другой делает то же, но тащит уже в свой дом; жена и дети у каждого свои, а раз так, это вызывает и свои, особые для каждого радости и печали. Напротив, при едином у всех взгляде насчет того, что считать своим, все они ставят перед собой одну и ту же цель и по мере возможности испытывают одинаковые состояния, радостные или печальные.

— Несомненно.

— Так что же? Тяжбы и взаимные обвинения разве не исчезнут у них, попросту говоря, потому, что у них не будет никакой собственности, кроме своего тела? Все остальное у них общее. Поэтому они не будут склонны к распрям, которые так часто возникают у людей из-за имущества или по поводу детей и родственников...

Платон. Сочинения в 3-х т. М., «Мысль», 1971.

ЭВГЕМЕР

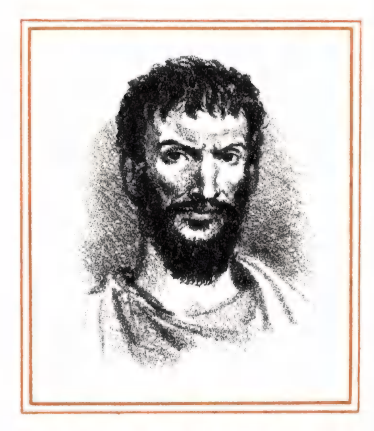


СВЯЩЕННАЯ ХРОНИКА

Отрывок

...На этом острове есть и три замечательных города: Иракия, Далида и Океанида. Вся местность плодородна, в особенности же изобилует винами разных сортов. Жители воинственны и по старинному обычаю употребляют в битвах колесницы. Все государство разделено на три класса: первый класс составляют жрецы, к которым присоединены техники, второй класс составляют земледельцы, третий — воины, к которым присоединены пастухи. Жрецам принадлежит главенство во всем: они решают споры и руководят всеми общественными делами. Земледельцы возделывают землю и приносят плоды в общественный склад; кто из них оказывается наилучшим работником, тот получает особую награду при разделе плодов; жрецы определяют, кто из лучших работников первый, кто — второй и т. д. до десятого, для поощрения остальных. Подобным же образом и пастухи сдают в казенный склад жертвенный и всякий другой скот с точным указанием сданного количества по числу и весу. И вообще у них нет никакой частной собственности, кроме как на дома и сады. Весь урожай и приплод и все другие доходы поступают в распоряжение жрецов, которые и распределяют их по справедливости, давая каждому определенную долю, и только одни жрецы получают двойную долю. Жрецы носят мягкое платье, так как их овцы отличаются от других мягкостью шерсти; они носят золотые украшения — и не только женщины, но и мужчины; круглое ожерелье вокруг шеи, запястья на руках, а в ушах, подобно персам, кольца. Обуваются они обычно в очень пестрые сандалии...

ЯМБУЛ



СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ

Отрывок

...Живут они обществами, связанными родством, причем в каждом соединяется не более четырехсот человек. Они живут в долинах, и земля доставляет им пищу в изобилии; почва острова прекрасна, климат благоприятен, почему питательные растения произрастают сами собою в количестве, превышающем потребности... Они занимаются всеми науками, в особенности же наукой о звездах. Они владеют письмом, причем у них имеется двадцать восемь звуков и семь букв, из которых каждая допускает четвероякое преобразование. Они пишут строки не так, как мы, горизонтально, но вертикально — сверху вниз. Люди доживают до чрезвычайно преклонного возраста, достигая 150 лет, в большинстве случаев без болезней... Они не вступают в браки с женщинами, но имеют жен общих, и родившиеся дети воспитываются как общие и всеми равно любимы. В младенчестве кормилицы часто меняют детей, так что даже матери не узнают своих. Поэтому среди них не возникает соревнования, и они не знают раздоров и считают выше всего единодушие... В каждом обществе правит, подобно царю, старейший, и ему все повинуются. Когда же он достигает 150 лет и согласно закону лишает себя жизни, старейший после него сменяет его у власти... Хотя средства питания и произрастают сами собою в изобилии, тем не менее жители этих островов не пользуются пищей беспорядочно, но соблюдают в ней простоту и принимают пищу в количестве, соответствующем потребностям... Богами они почитают всеобъемлющее небо, солнце и вообще все небесное. Они ловят во множестве рыбу разных сортов разнообразными хитрыми способами и охотятся за птицами, которых добывают немало. У них имеется много дикорастущих плодоносных деревьев, растут оливки и виноград, из которых они изготовляют в изобилии масло и вино... Поочередно они друг другу служат, одни ловят рыбу, другие занимаются ремеслами или заняты иными из полезных дел, третьи несут общественную службу и круговую очередь. От этого освобождены только достигшие уже старости...

Волгин В. П. Предшественники современного социализма. Хрестоматия. М., 1928., ч. I.

ЛУКРЕЦИЙ КАР



О ПРИРОДЕ ВЕЩЕЙ

Фрагменты

* * *

...Знай же, что смертным огонь принесен на Землю впервые
Молнией был. От нее и расходится всякое пламя.
Видим ведь много вещей, огнем небесным объятых,
Блещут, ударом с небес пораженные, вспыхнув от жара.
Но и от ветра когда, раскачавшись, деревья ветвями,
Сильно шатаясь, начнут налегать одно на другое,
Мощное трение их исторгает огонь, и порою,
Вспыхнувши, вдруг заблестит и взнесется горячее пламя,
Если взаимно они и стволами и сучьями трутся.
То и другое могло огонь доставить для смертных.
После же пищу варить и смягчать ее пламени жаром
Солнце наставило их, ибо видели люди, что силой
Знойно палящих лучей умягчается многое в поле.
День ото дня улучшать и пищу и жизнь научали
Те, при посредстве огня и всяческих нововведений,
Кто даровитее был и умом среди всех выдавался.
Начали строить цари города, воздвигать укрепленья,
В них и оплот для себя находя, и убежище сами;
И поделили поля и скотину они, одаряя
Всех по наружности их и по дарованьям и силам,
Ибо наружность тогда почиталась и славились силы.
Позже богатство пришло, и золото было открыто,
Что без труда и красивых и сильных лишило почета.
Ибо за тем, кто богаче, обычною следуют свитой
Те, кто и силой своей и красой богачей превосходят.
Тот же, кто в жизни себе кормилом взял истинный разум,
Тот обладает всегда богатством умеренной жизни:
Дух безмятежен его, и живет он, довольствуясь малым.
Люди же вместо того устремились ко славе и власти,

Думая этим себе благоденствие твердо упрочить
И проводить свою жизнь при достатке в спокойствии полном.
Тщетно! Все те, кто достичь до вершины почета стремятся,
Гибельным сделали путь по дороге, к нему восходящей.
С самых почета высот будто молнией их поражает
Зависть и в Тартара мрак низвергает нередко кромешный.
Зависть ведь чаще всего зажигает, как молния выси,
Все, что стоит над другим и вершиной своей выдается.
Лучше поэтому жить повинуясь, в спокойствии полном,
Нежели власти желать верховной и царского сана,
Пусть же напрасно они обливаются потом кровавым,
Изнемогая в борьбе на пути честолюбия узком:
Все разуменье свое из чужих они уст почерпают,
Слушают мненья других, а собственным чувствам не внемлют.
Было так прежде, так есть и теперь и впоследствии будет.

* * *

...Прежде порода людей, что в полях обитала, гораздо
Крепче, конечно, была, порожденная крепкой землею.
Остов у них состоял из костей и плотнейших и больших;
Мощные мышцы его и жилы прочнее скрепляли.
Малодоступны они были действию стужи и зноя
Иль непривычной еды и всяких телесных недугов.
Долго, в течение многих кругов обращения солнца,
Жизнь проводил человек, скитаясь, как дикие звери.
Твердой рукою никто не работал изогнутым плугом,
И не умели тогда ни возделывать поле железом,
Ни насаждать молодые ростки, ни с деревьев высоких
Острым серпом отрезать отсохшие старые ветви.
Чем наделяли их солнце, дожди, что сама порождала
Вольно земля, то вполне утоляло и все их желанья...

Лукреций Кар. О природе вещей.
М., Изд-во АН СССР, 1958 г.

ВЕРГИЛИЙ



БУКОЛИКИ

ЭКЛОГА IV
(в сокращении)

...Круг* последний настал по вещанью пророчицы Кумской,
Сызнова ныне времен зачинается строй величавый,
Дева грядет к нам опять, грядет Сатурново царство.
Снова с высоких небес посылается новое племя.
К новорожденному будь благосклонна, с которым на смену
Роду железному род золотой по земле расселится.
Дева Луцина! Уже Аполлон твой над миром владыка.
При консулате твоем тот век благодатный настанет,
О Поллион! — и пойдут чередою великие годы.
Если в правленье твое преступленья не вовсе исчезнут,
То обессилят и мир от всечасного страха избавят.
Жить ему жизнью богов; он увидит богов и героев
Сонмы, они же его увидят к себе приобщенным.
Будет он миром владеть, успокоенным доблестью отчей.
Мальчик, в подарок тебе земля, не возделана вовсе,
Лучших первин принесет, с плющом блуждающий баккар
Перемешав и цветы колокассий с аканфом веселым.
Сами домой понесут молоком отягченное вымя
Козы, и грозные львы стадам уже страшны не будут.
Будет сама колыбель услаждать тебя щедро цветами.
Сгинет навеки змея и трава с предательским ядом.

---

* По верованиям римлян, по оракулу, записанному в книгах пророчицы Сивиллы, а также по системам академической и стоической школ философии, мировой круг жизни проходит в смене периодов, кругов, соотносимых с десятью месяцами года и находящихся под покровительством определенных божеств. Ко времени написания эклоги (40 г. до н. э.) кончался круг Дианы (железный век) и начинался новый круг — Аполлона, в котором ожидалось возвращение «золотого века», некогда уже бывшего на Земле и ушедшего вместе с кругом Сатурна (в античной поэтической традиции до Вергилия «золотой век» — всегда прошлое). Историческое основание для ожидания «золотого века» — мир, заключенный между Октавианом и Антонием, дававший надежду на спокойные времена и расцвет Италии.

Сгинет, но будет расти повсеместно аммом ассирийский.
А как научишься ты читать про доблесть героев
И про деянья отца, познавать, что есть добродетель,
Колосом нежным уже понемногу поля зажелтеют,
И с невозделанных лоз повиснут алые гроздья;
Дуб с его крепкой корой засочится медом росистым...

...После же, мужем когда тебя сделает возраст окрепший,
Море покинут гребцы, и плавучие сосны не будут
Мену товаров вести — все всюду земля обеспечит.
Почва не будет страдать от мотыг, от серпа — виноградник;
Освободит и волов от ярма хлебопашец могучий;
Шерсть не будет хитро различной морочить окраской,—
Сам, по желанью, баран то в пурпур нежно-багряный,
То в золотистый шафран руно перекрашивать будет,
И добровольно в полях багрянец ягнят принарядит.
«Мчитесь, благие века!» — сказали своим веретенам
С твердою волей судеб извечно согласные Парки.
К почестям высшим гряди — тогда уже время наступит,—
Отпрыск богов дорогой, Юпитера высшего племя!

Мир обозри, что плывет под громадою выгнутой свода,
Земли, просторы морей обозри и высокое небо.
Все обозри, что вокруг веселится грядущему веку,
Лишь бы последнюю часть не утратил я длительной жизни,
Лишь бы твои прославить дела мне достало дыханья!..

Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., «Художественная литература», 1971.

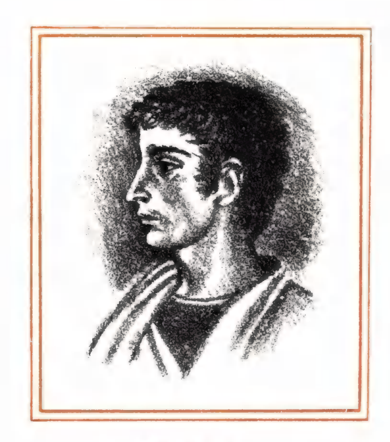
ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

Стих. 4. ...п р о р о ч и ц ы К у м с к о й...— Имеется в виду Сивилла, предложившая царю Тарквинию Гордому так называемые Сивиллины книги, в которых, по преданию, записаны судьбы Рима и мира и которые хранились в храме на Капитолии.

Стих. 10. Л у ц и н а — одно из прозвищ Юноны (или Дианы) как богини-покровительницы рожениц. Последующие слова о наступлении века Аполлона заставляют предполагать, что здесь идет речь именно о Диане, сестре Аполлона, под знаком которой пребывал уходящий круг железного века.

Стих. 45. П а р к и *(греч.* мойры) — три богини судьбы; их представляли в виде старух, прядущих нить человеческой жизни. Одна из них (Клото) прядет нить, другая (Лахесис) тянет ее через все предназначения судьбы, и, наконец, третья (Антропос) обрывает нить.

ГОРАЦИЙ



ЭПОДЫ

Фрагменты

2

Блажен лишь тот, кто, суеты не ведая,
Как первобытный род людской,
Наследье дедов пашет на волах своих,
Чуждаясь всякой алчности,
Не пробуждаясь от сигналов воинских,
Не опасаясь бурь морских,
Забыв и форум, и пороги гордые
Сограждан, власть имеющих.
В тиши он мирно сочетает саженцы
Лозы с высоким тополем,
Присматривает за скотом, пасущимся
Вдали, в логу заброшенном,
Иль, подрезая сушь на ветках, делает
Прививки плодоносные,
Сбирает, выжав, мед в сосуды чистые,
Стрижет овец безропотных;
Когда ж в угодьях Осень вскинет голову,
Гордясь плодами зрелыми,—
Как рад снимать он груш плоды отборные
И виноград пурпуровый
Тебе, Приап, как дар, или тебе, отец
Сильван, хранитель вотчины!
Захочет — ляжет иль под дуб развесистый,
Или в траву высокую;
Лепечут воды между тем в русле кругом,
Щебечут птицы по лесу,
Струям же вторят листья нежным шепотом,
Сны навевая легкие...
Когда ж Юпитер-громовержец вызовет
С дождями зиму снежную,

В тенета гонит кабанов свирепых он
Собак послушных сворою
Иль расставляет сети неприметные,
Дроздов ловя прожорливых;
Порой и зайца в петлю ловит робкого,
И журавля залетного.
Ужели дум нельзя развеять суетных
Среди всех этих радостей,
Вдобавок, если ты с подругой скромною,
Что нянчит малых детушек,
С какой-нибудь сабинной, апульянкою,
Под солнцем загоревшею?
Она к приходу мужа утомленного
Очаг зажжет приветливый,
И, скот загнав за изгородь, сама пойдет
Сосцы доить упругие,
Затем вина подаст из бочки легкого
И трапезу домашнюю.
Тогда не надо ни лукринских устриц мне,
Ни губана, ни камбалы,
Хотя б загнал их в воды моря нашего
Восточный ветер с бурею;
И не прельстят цесарки африканские
Иль франколин Ионии
Меня сильнее, чем оливки жирные,
С деревьев прямо снятые,
Чем луговой щавель, для тела легкая
Закуска из просвирника,
Или ягненок, к празднику заколотый,
Иль козлик, волком брошенный.
И как отрадно наблюдать за ужином
Овец, домой стремящихся.
Волов усталых с плугом перевернутым,
За ними волочащимся,
И к ужину рабов, как рой, собравшихся
Вокруг божеств сияющих...

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

Приап — бог плодородия,
Сильван — бог лесов и полей,
Сабинна, апульянка — девушки племен сабинян, апулейцев (юг Италии),
Франколин — птица, похожая на рябчика.

ОВИДИЙ



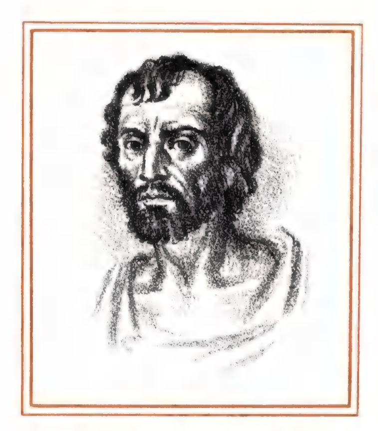
МЕТАМОРФОЗЫ

Отрывок

...Первым посеян был век золотой, не знавший возмездья,
Сам соблюдавший всегда, без законов, и правду и верность.
Не было страха тогда, ни кар, ни слов не читали
Грозных на бронзе, толпа умолявшая не устрашалась
Уст судьи своего,— без судей были все безопасны.
И, не срублена, с тем, чтоб чужие увидеть пределы,
С гор не спускалась своих сосна на прозрачные воды;
Смертные, кроме родных, никаких берегов не знавали.
Не окружали еще отвесные рвы укреплений;
Труб не имелось прямых, ни медных рогов искривленных,
Не было шлемов, мечей; упражнений военных не зная,
Сладкий вкушали покой безопасно живущие люди.
Также, от дани вольна, не тронута острой мотыгой,
Плугом не ранена, все земля им сама приносила.
Пищей довольны вполне, получаемой без принужденья,
Рвали с деревьев плоды, земляничник нагорный сбирали,
Терн и на крепких ветвях висящие ягоды тута
Иль урожай желудей, что с деревьев Юпитера пали.
Вечно стояла весна; приятный прохладным дыханьем,
Ласково нежил зефир цветы, не знавшие сева.
Боле того, урожай без распашки земля приносила;
Не отдыхая, поля золотились в тяжелых колосьях,
Реки текли молока, струились и нектара реки,
Капал и мед золотой, сочась из зеленого дуба...

Хрестоматия по античной литературе. М., Учпедгиз, 1958.

СЕНЕКА



ПИСЬМА ЛУЦИЛИЮ О НРАВСТВЕННОСТИ

Отрывок

В те счастливые времена, когда дары природы были доступны каждому без различия, раньше чем жадность и роскошь разорвали общность людей и толкнули их от взаимного согласия к грабежу, люди не были мудры, хотя они и поступали так, как надлежит поступать мудрым. Никакое другое состояние человеческого рода никто не мог бы поставить выше этого.

Есть ли кто счастливее того поколения людей? Они сообща пользовались благами природы. Ее материнского покровительства было достаточно, чтобы обеспечить обладание общественным богатством. Разве я не вправе назвать самым богатым то поколение, среди которого нельзя найти бедняка? В этот прекрасный порядок вторглась жадность. Стремясь отложить что-либо для себя и присвоить, она все сделала чужим, необходимое свела к тесным пределам; она создала бедность и, стремясь ко многому, потеряла все. Пусть она теперь сколько угодно старается и мечтает восстановить потерянное, пусть она присоединяет одно поле к другому и сгоняет соседа с его владения деньгами или насилием; пусть она расширяет свои земли до размеров целых провинций и называет их только тогда именем, когда их объезд составляет длинное путешествие,— никакое расширение границ не возвратит нас вновь в то состояние, от которого мы ушли. Что бы мы ни сделали, мы не будем иметь много; а имели мы все.

Сама земля без обработки была плодороднее; она щедро удовлетворяла потребности народов, которые ее не грабили. Каждый радовался, находя какой-либо дар природы, и не меньше радовался, показывая найденное другому. Ни у кого не могло быть слишком много; ни у кого не могло быть недостатка; все делалось по общему согласию. Более сильный еще не налагал свою руку на более слабого; жадный человек еще не лишал другого человека предметов, необходимых для последнего, чтобы они лежали у него без пользы. Люди заботились о других, как о самих себе. Войн не было, и люди поднимали с гневом свои руки, не обагренные человеческой кровью, только на диких зверей. Люди, которых защищал от солнца густой лес, которые жили, укрываясь от жестокой зимы и от дождя плохой кровлей из ветвей, проводили ночи спокойно, без вздохов. Нас на нашем пурпурном ложе мучат заботы и пробуждают нас своими острыми уколами, а какой сладкий сон давала им жесткая земля!..

Волгин В. П. Предшественники современного социализма. Хрестоматия. М., 1928.



Глава III

И ВСЕ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ!





Данте
Петрарка
Бокаччо
Рабле


Монтень
Сервантес
Шекспир
Бруно

*...И здесь мы вышли
вновь
Узреть светила.*

ДАНТЕ

ВОЗНЕСЕНИЕ НА НЕБЕСА

Первые века нашей эры — это период широчайшего, стремительного распространения христианства сначала на периферии, а затем и в метрополии Римской империи. Кострами и распятиями, гонениями и страданиями приверженцев христианства отмечены его первые шаги. Но пройдет относительно немного времени — и уже служители Христа продемонстрируют умение и жажду жестоко карать за вероотступничество, за «непочтение» к своему богу. Такова логика всех учений, становящихся идеологиями эксплуататоров и угнетателей.

Однако на первых порах, до превращения в государственную (то есть господствующую) религию, христианство выдвинуло своих героев и мучеников, своих народных заступников, свой план жизнеустройства по справедливости. Поэтому мы обратимся сейчас именно к периоду раннего христианства, поскольку лишь там обнаруживаются колючие ростки будущих ересей, истоки грядущих поисков социального равенства в рамках «истинной», «первородной» религии.

По крылатому выражению К. Маркса, христианская религия есть «вздох угнетенной твари», «дух бездушного безвременья». Она явилась призраком осуществления сломленной, обессиленной, но не угасшей Мечты обездоленных о счастливой и справедливой жизни.

Художественный перевод этой Мечты на язык прорицаний, фантазий и чудес осуществляли проповедники пришествия мессии, «тысячелетнего царства божия» на земле. Зарождение и окончательное оформление указанного перевода прослеживаются в удивительной, необычайно сложной и противоречивой книге, которая создавалась на протяжении многих столетий,— в Библии.

У нас не может быть иного, кроме исторически-критического, отношения к этому идейному оружию христианской религии. Разве только еще эстетическое, поскольку Библия на протяжении многих столетий снабжала искусство бездной сюжетов.

Вместе с тем эта книга вобрала в себя огромный исторический опыт, прозрения, надежды и мечты людей древности. В ней рассыпаны зерна раздумий о будущем, об идеале жизни, достойной человека. Правда, реализация этого идеала передавалась в руки бога, перемещалась в загробный, потусторонний мир. Человечеству оставалось лишь ждать избавителя.

Со времен раннего христианства до на-

ших дней тянутся, сталкиваясь, противоборствуя, воюя, два толкования Библии: земное и «небесное». Земное состояло в гневном обличении социального гнета и наживы, напрямую вело к ересям, смутам, проповеди (и даже попыткам создания) «коммунизма» равенства, «коммунизма» потребления. Еретики дерзко пошли на «обмирщение» библейских эсхатологических и хилиастических идей. И это в средние века обернулось крестьянскими войнами, коммуной Мюнстера, общинами анабаптистов — предшественников утопических фаланстеров Фурье и колоний Оуэна.

Библией на протяжении веков прикрывались преступления церкви и эксплуататоров. Однако в Библии содержится опыт народа, и надо суметь понять ее глубинную народную, фольклорную основу и нравственное содержание; такой подход, думается, будет подлинно критическим и конструктивным.

Библия содержит целый свод народных пословиц, поговорок, мудрых изречений, «лозунгов древности» (М. Горький), отшлифованных веками, содержащих в себе спрессованный нравственный опыт народа, его гнев, его заблуждения, отчаяние, надежды.

Вчитаемся внимательно, вдумаемся: разве не озарены отблеском народной (наивной, смутной, жаркой) мечты такие, например, строки из Библии:

«...Ворота его (священного нового града, воплощающего «царство божье».— Авт.) не будут запираться днем, а ночи там не будет... И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи».

Или:

«...Тогда волк будет жить вместе с ягненком и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их...»

«И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе: и лев, как вол, будет есть солому...»

Проповедники-первохристиане не только витийствовали на площадях и в храмах. Они сплачивали своих единомышленников в общины, дабы, уйдя из греховного мира, жить по правде и ожидать прихода мессии. Открытие так называемых «кумранских свитков» в 1947 году в иудейской пустыне пролило новый свет на мировоззрение и быт первохристианских общин ессеев (эссенов) и кумранитов, или «сынов света».

В условиях общего разложения старых форм бытия первохристиане обратились к единственной относительно устойчивой модели — домашнему союзу и пытались создать «семью», «братство» неимущих в соответствии с принципом, по выражению Ф. Энгельса, «отрицательного равенства», то есть равенства по бедности, по нищете. Первые братства основывались на полном отсутствии частной и личной собственности, коллективном распределении доходов. Все члены такого братства обязаны были трудиться.

Секты, а позднее монастыри оказались исключительно живучей формой организации замкнутого коллектива людей. Экономические корни этой живучести — в неподвижности, застойности такого сообщества, ориентированного целиком на потребление, на натуральное хозяйство. Их несовместимость с научным и социальным прогрессом очевидна; они в полном смысле слова есть «общество без будущего». В них время как бы застывает. Способом их сохранения является бытие вне цивилизации. Секта и монастырь словно запаянные капсулы: только глубокая изоляция от жизни обеспечивает их существование.

И все-таки в некоторых отношениях опыт «семейного братства» первосектантов весьма знаменателен. В нем тоже нашла своеобразное практическое воплощение маломальски активная (конечно, утопическая) попытка соединить, сплотить людей, прежде всего бедняков, под знаменем общей идеи и за общим столом равенства.

Напомним красноречивое свидетельство историка Иосифа Флавия о секте ессеев (отрывок этот приводится в хрестоматийном разделе главы): «У них существует закон, что все вступающие в среду избранных должны отдать общине свое имущество...»

Замысел первохристиан заключался в создании здоровых ячеек, опыт и пример которых помогли бы затем преобразовать всю человеческую жизнь. Важно отметить, что в секты шли преимущественно горожане — «толпы утомленных жизнью пришельцев» (по замечанию историка Плиния), и прежде всего рабы, вольноотпущенники,

деклассированные элементы, бродяги, разорившиеся ремесленники, в какой-то мере существовавшие за счет общества.

Общность имущества, общий труд ради пропитания, враждебное отношение к стяжательству и богатству — таковы идейные знамена энтузиастов-первохристиан. В «зеркале» Библии это отразилось так: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». При этом труд признавался нравственным, богоугодным делом: «Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работали день и ночь». В том же новозаветном послании сформулировано: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь».

Однако вот что наиболее существенно: признавая труд необходимым (и даже богоугодным), христианство изначально толкует его как проклятие небес, как ярмо, которое надлежит нести человеку в жизни за грехи свои: «В поте лица добывай хлеб свой». Сама идея «братства во Христе» враждебна созидательному творческому труду как сущности подлинно человеческого бытия.

Закономерно поэтому, что не труд, но аскеза (отрешение от жизненных благ) и нищета (прежде всего духовная: «Блаженны нищие духом») объявлены были наилучшими путями к праведности, к богу и райскому блаженству. Ничто, в том числе и в самых первых сектах, и в первых монастырях, не противостояло (кроме разве обличительных проповедей) пресловутому «маммоне», то есть частной собственности, власти денег. Да иначе и быть не могло. Ведь при «коммунизме» потребления дело неизбежно рано или поздно сводится лишь к общим трапезам, лишь к подаяниям сирым и убогим.

...Социально-экономические условия эпохи распада рабовладельческого строя еще долго содействовали выдвижению идеи радикального равенства. Вплоть до Иоанна Златоуста (IV век н. э.) мы обнаруживаем у ряда «отцов церкви» страстные проповеди против неправедного богатства, жадности, своекорыстия имущих. Во всем этом сквозила смутная идея справедливого общественного присвоения богатства, создаваемого трудом. Идея, которая лишь на стадии высокоразвитого общественного производства превращается из химеры в настоятельную экономическую необходимость.

И еще одно обстоятельство побуждает нас говорить о раннем христианстве. Оно вобрало в себя, истончив, обесплотив, обессилив, не только мечту гонимых и униженных о справедливости, но и отдельные традиции (особенно нравственные) первобытнообщинного коммунизма. В христианстве эхом отозвались такие качества настоящих тружеников, как доброта, радушие, чувство солидарности, взаимопомощи в беде и горе. Отозвались опять-таки извращенно, изуродованно; но совсем отрицать их значило бы отсечь пути к пониманию сложных причин внедрения идеологии христианства, ее поистине поразительной приспособляемости к различным социально-экономическим условиям.

Образно говоря, христианство вот уже два тысячелетия эксплуатирует в своих корыстных интересах общечеловеческую мечту о равенстве, социальной справедливости, братстве людей. На первых порах оно, еще проникнутое «демократически-революционным духом» (В. И. Ленин), независимо от своих социальных задач и установок открывало человеку возможность размышлять о будущем, пусть бесплотном, туманно-неопределенном, но все-таки будущем. Оно подняло знамя практического альтруизма, любви к ближнему и этим породило волну воодушевляющих, возвышающих чувств, веры в то, что все люди — братья независимо от их национальной и расовой принадлежности.

«МУЗЫКУ СОЧИНЯЕТ НАРОД»

На руинах Древнего Рима в Европе утверждается новая, феодальная формация — «тысячелетнее царство», но только совсем иное, нежели грезилось оно первохристианским пророкам. Не бог, но церковь воцарилась на троне.

Мир средневековья — это мир безраздельного, всеохватывающего духовного господства христианской идеологии и церкви. Буквально на всем виден религиозный отпечаток, все сферы жизни окутаны плотной религиозной оболочкой. «Догматы церкви стали одновременно и политическими аксиомами, а библейские тексты получи-

ли во всяком суде силу закона» (Ф. Энгельс).

Медленно, монотонно скрипит колесо истории. За веком век крестьяне тянут феодальную лямку; бряцают латами вассалы, готовые к битве за интересы своих сеньоров... Подспудно, словно трава сквозь булыжники, прорастают города и ремесла — прорастают, чтобы потом тоже надолго застыть в путах цеховых уставов, корпоративных традиций. Сын дворянина — всегда дворянин; сын крестьянина — только крестьянин: и ныне, и присно, и вовеки...

Казалось, все застыло, утратило какой-либо импульс к движению. Но при всей дотошной повторяемости экономических и социальных форм средневековье таило в себе взрывчатую силу прогресса. Рабство пало — и врачующий, исцеляющий труд, этот «старый крот» истории, медленно, но неуклонно рыл свои ходы к грядущим всплескам творческой энергии человечества, к торжеству Разума, вооруженного наукой.

Средние века — благодаря народному гению, его чувству красоты и творчества — вовсе не были «прорехой на человечестве». Они были эпохой скрытого — да! — но неуклонного накопления социальной и духовной энергии, трудными подступами к новому этапу развития общества.

Одни огульно охаивали «мрачное тысячелетие», другие идеализировали средневековую благодать, «семейный мир» мастера и подмастерьев, деревенскую патриархальность. Истина заключается в том, что под плотным слоем религиозности, в религиозных формах продолжало жить гуманное, общечеловеческое. И в недрах средневековья — и не вопреки, а в соответствии с объективной логикой его развития — вспыхнула яркая заря Возрождения.

Народ стращали «геенной огненной», а он строил Шартрский собор. Его гнали в рай небесный, а он воплощал свою мечту в церкви Покрова на Нерли, в стрельчатых башнях и химерах Нотр-Дам и Реймса. Душа народа вырывалась из-под мрачных сводов религии то высоким благородством эпоса, то озорной песней, то бунтарской ересью.

Искусство «мрачного тысячелетия» отличается драматизмом, внутренней сосредоточенностью, напряженностью — не потому ли, что во всем этом преломлялась, отражалась тяжкая жизнь трудового народа, его гнев, его вера в лучшее будущее? Интересную, глубокую мысль о природе средневекового искусства высказал выдающийся французский поэт Виктор Гюго: «...Это не столько творения индивидуальные, сколько работа целого общества; это скорее результат творческих усилий народа, чем блистательная вспышка гения; это — осадочный пласт, оставляемый после себя нацией».

Самое, пожалуй, поразительное и драгоценное в духовном наследии средневековья — это сохранение в народной памяти высоких идеалов человеческого достоинства, героической морали борьбы за свободу, независимость и счастье людей. Н. Г. Чернышевский проницательно заметил: «Только там является богатая народная поэзия, где масса народа волновалась самыми сильными и благородными чувствами, где совершились силою народа великие события. Такими периодами были у испанцев войны с маврами, у сербов и греков — войны с турками». Слова Н. Г. Чернышевского в полной мере могут быть отнесены и к Руси XII—XIV веков, боровшейся против всевозможных захватчиков. Из века в век народные певцы пели о героизме и бесстрашии богатырей, олицетворяющих неодолимость стремления народов к свободе.

Вопреки монотонному бормотанию церкви: «Человек жалок, греховен, ничтожен» — память народа по крупицам отбирала и сохраняла золотинки добра и славы, подлинно человеческих нравственных качеств: бескорыстия и самоотверженности, оптимизма и добросердечия. Народ укрупнял героев эпоса и «обытовлял», приземлял героев своих песен, сказаний. Но и то и другое, в сущности, в пику унылому и фальшивому бесчеловечному аскетизму церковников. Народ по-прежнему «сочинял музыку», по-прежнему зеленело «вечное древо жизни!»

...Один из самых выдающихся памятников мировой культуры эпохи средневековья — «Слово о полку Игореве» — создан в конце XII века человеком, имя которого не пробилось к нам сквозь толщу времен. В личной гениальности его счастливо отра-

зились духовный опыт, горе и надежда народа Руси.

Автор «Слова» вдохновлялся великой и вечной идеей свободы, сплочения всех народных сил на борьбу за независимость, мир и процветание, великой и вечной надеждой на победу добра над злом, разума над мраком. Он, как никто другой, сумел предугадать и выразить смысл и дух борьбы передовых общественных сил своей эпохи, слитность подлинного искусства с устремлениями народа, его светлое, демократическое начало.

Читатель, безусловно, не раз вслушивался в звонко-тревожный плач Ярославны, поражался, какой могучей страстью и верой пронизана великая поэма — призыв к единению Руси. Думается, было бы неуважением и к читателю, и к самому «Слову» пересказывать или комментировать его содержание. Ведь для каждого русского человека, для всего великого народа нашего справедливо будет сказать: «Мы — в «Слове», а «Слово» — в нас».

Однако для этой книги под избранным в ней углом зрения важно подчеркнуть: «княжий дух» поэмы, более чем естественный для своего времени, никак не заслоняет от нас идею народа. Это о народе, о простых людях скорбит автор «Слова», проклиная крамолы и междоусобицы феодалов («разоряла, раздирала усобица, погубляла добро земледельца... редко пахарь покликивал ...жены русские восплакались...»). Сквозь личные ошибки и беды к той же народной идее приходит побежденный, но непокорившийся Игорь — недаром в финале поэмы ликует Русская земля, радуясь его возвращению. Ведь из кончаковского плена вернулся уже не искатель военных трофеев и громкой славы, но воитель за Отечество, глубоко постигший необходимость объединения всех сил народных против лютого ворога.

Мы сочли нужным наряду с отрывками из «Слова о полку Игореве» — прозаическими и поэтическими — включить в хрестоматийный отдел главы и небольшой, но социально яркий отрывок из «Слова Даниила Заточника». Ему присущи глубинный демократизм, мудрость, ненависть к богатству и лихоимству, жадной несправедливости.

...В сентябре 1980 года наша Родина торжественно отметила 600-летие Куликовской битвы — поистине эпохального события в судьбах не только народа русского, но и, не побоимся сказать, всей европейской цивилизации и культуры. Вечная хвала, земной поклон ратникам князя Дмитрия Донского, сломавшим хребет тупой, косной ордынской силе мрака, невежества, порабощения и поругания!

...Читателю предлагается также отрывок из «Задонщины» — одного из величайших письменных памятников русской и мировой литературы.

...Героем без страха и упрека предстает перед нами рыцарь Роланд из французской эпической «Песни о Роланде». Он народен в том единственном смысле и облике, каким мог его видеть и воссоздать в своих мечтах народ того времени. Безграмотный, суеверный, задавленный тройным грузом — традициями общины, своеволием барина, жадностью церкви,— народ все-таки безошибочно (пусть общо, однолинейно) воплощает в образе бескорыстного, красивого душой Роланда свою мечту и свое понимание подлинного героизма, истинной личности, лучшего миропорядка, наконец. Мужественная борьба Роланда против «неверных» прочитывается не только (и не столько) как одна из многих страниц истории Франции VIII века, но и как битва против феодального анархизма и эгоизма, олицетворением которого является Ганелон — антипод Роланда; как битва за свободу и независимость, без которых нет и быть не может ни счастья, ни лучшей доли.

Сродни Роланду по своей корневой связи с народным творчеством Сид — герой испанского эпоса XII века.

Сид — лицо историческое, личность по-настоящему крупная, ставшая легендарной в благодарной народной памяти. Его подвиг достоин сравнения с подвигом спартанцев при Фермопилах. Само по себе фантастично, что три тысячи всадников Сида обратили в бегство огромную, в сто пятьдесят тысяч человек, армию мавров! «Мой Сид» — так говорится о нем в поэме, и это народное «мой» дороже самых выспренних эпитетов и словес. В «Родриго» — пожалуй, самой демократичной из эпических поэм средневековья (в ней повествуется о

юности Сида, выступающего под именем Родриго) — резко высвечиваются антиаристократические, антифеодальные мотивы: пылкое прославление душевного благородства и силы простого народа, борющегося за свободу, мотивы острой враждебности к духовенству, глубокого недоверия к королевской власти.

Стихия народного творчества — это «подпочвенная» живая вода подлинной литературы и искусства. В песнях бесшабашных, озорных бродяг-вагантов (XI—XII вв.), в шумном водовороте городских фаблио (Франция), шванков (Германия), скоморошьих прибауток (Россия) вопреки мрачному заклятию земных радостей (а церковь не скупилась на заклятия и на костры) смеялась румянощекая народная Мечта. Так и не удалось никому обучить ее ни салонной фривольности, ни тоскливой смиренности, ни поставить на колени перед алтарем!

Городская (анонимная и авторская) поэзия средневековья множеством нитей связана с трудовой средой, и это, в отличие от рыцарской литературы, обеспечивало ей крепкое духовное здоровье. Фаблио и шванки подчас грубоваты, им недостает лоска; зато они жизнерадостны, остроумны и долговечны, ибо воспевались в них трудолюбие, смекалка, честность.

Мы сознательно вначале заострили внимание читателя на главной, народной ветви развития духовной культуры средневековья. На противоположном социальном полюсе, в среде дворянства и духовенства, вызревала и расширялась иная, светская, культура верхних сословий. Все громче звучали рыцарские романсеро, превозносящие сословные добродетели, наполненные слащавыми вздохами о прекрасных дамах, звоном мечей, шорохом шелков. Поэзия и проза превозносили господ, третировали простолюдинов и все больше впадали в аристократическую манерность и эстетизм...

Однако подлинный талант, как бы плотно ни были прикрыты его глаза религиозными и сословными шорами, прорывался к свету, чутким ухом прислушивался к журчанию чистых родников народного творчества, становился сильнее, припадая к ним.

Мы с благодарностью храним имя и творчество жизнелюбивого ученого монаха ПЬЕРА АБЕЛЯРА (1079—1142 гг.), с понятным удивлением (XII век!) вчитываемся в его потрясающе современную по душевному настрою «Историю моих бедствий» — песнь Разума, гимн благородной, искренней Любви. Такие, как Абеляр, сумели воскресить среди темного средневековья отблеск древнего эллинства. Абеляра называют «Петраркой XII века». Через тысячу лет после Овидия он в письмах к Элоизе возвысил любовное чувство, очистил его от липкой паутины церковного ханжества.

Высоко ценил талант и смелость двадцатилетнего юноши из Нанта Ф. Энгельс. «У Абеляра,— подчеркивал он,— главное — не сама теория, а сопротивление авторитету церкви. Не «верить, чтобы понимать...», а «понимать, чтобы верить»; вечно возобновляющаяся борьба против слепой веры».

Абеляр — один из тех, кто имел личное несчастье (и, добавим, счастье для человечества) опередить время. В. Г. Белинский сказал о нем так: «Люди, подобные ему, бесплодно бросали во мрак своего времени яркие молнии могучей мысли: они были поняты и оценены через несколько веков после их смерти».

Дело Абеляра продолжили друзья и поклонники философа — ваганты. В антиклерикальных пародиях XII—XV веков, затем в жизнерадостной поэзии трубадуров, прославлявших молодость, радость, гармонию человеческих отношений, мы находим отзвук его идей. Трубадуры протянули руку молодому Данте; их поэтические мотивы, сюжеты, образы послужили точкой опоры для Ронсара и Шекспира; они оказали огромное воздействие на весь стиль европейской лирики — вплоть до XIX века.

...Медленно вызревающие в чреве средневековья новые социальные силы и отношения постепенно и неотвратимо начинают менять духовную картину эпохи. «Новое время — новые песни»: эта народная истина справедлива и для времен начавшегося в XIII веке подъема и расцвета европейских городов, развития товарно-денежных отношений, то есть отношений буржуазных в своей основе. Еще не колеблются троны, напротив, они укрепляются; еще царит над Европой инквизиция; но уже все явственнее слышны голоса «пер-

вых петухов», возвещающих грядущий крах феодальной системы.

В обстановке освободительных исканий поднимающегося «третьего сословия» все более зримо кристаллизуются произведения высокой литературы, пронизанные мыслью о будущем, достойном человека, с большой художественной силой разоблачающие ханжество, тупость, жестокость феодалов и церковников. В пантеоне первых борцов за идеалы гуманизма достойное место по праву занимает один из предтеч Возрождения, «Вольтер средневековья», ЖАН ДЕ МЕН (XIII в.). Вот как формулировался им «символ веры» ранних гуманистов о природном равенстве всех людей: «Все от рожденья благородны и все по естеству свободны». В громадном стихотворном «Романе о Розе» Жан де Мен вздыхает о «золотом веке», который якобы был на земле до той поры, пока Ясон с аргонавтами не отправились за золотым руном, выпустив на волю, на беду людям, дух алчности и стяжательства...

Особняком высится фигура английского писателя-крестьянина и революционера УИЛЬЯМА ЛЕНГЛЕНДА (ок. 1330—1400 гг.). Устами своего героя — Петра Пахаря — Ленгленд провозгласил труд единственным радикальным средством нравственного исцеления человечества, основой подлинного общественного равенства и благополучия. Петру Пахарю, кстати, принадлежит самый убийственный антифеодальный афоризм средневековья: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто же тогда был дворянином?»

Поэма о Петре Пахаре зажигала крестьянские массы, она сыграла немалую роль в подготовке восстания Уота Тайлера (1381 г.) — одного из крупнейших сражений народа с черными силами феодальной реакции. Герой Ленгленда — духовный брат всех революционно-демократических «еретиков» своей эпохи.

Поэтическое слово действительно становилось «полководцем человечьей силы».

ОТКРЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА

В странствиях Великой Мечты особая миссия выпала на долю эпохи Возрождения. Глубинной почвой этого «величайшего прогрессивного переворота» (Ф. Энгельс) в истории человечества были подспудно вызревавшие изменения в экономике, социальной структуре и духовной культуре феодализма. Возрождение (или Ренессанс) охватывает период с XIV по XVI век. На верхнем интеллектуальном полюсе общественной жизни накапливался заряд антицерковной и антифеодальной крамолы; на нижнем — «молнии» бунтов и ересей, отражающих битвы трудящихся за свою свободу.

Это был героический период борьбы против всех и всяческих обветшалых и отживших феодальных идей и установлений. Это был период, когда революция духовная (в сфере культуры) предшествовала революциям политическим (с их неизбежно скорым и жестким классовым размежеванием). Возрождение выдвинуло людей и лозунги, которые выражали отнюдь не только (хотя и в первую очередь) интересы поднимающейся к власти над миром буржуазии. Они высоко подняли знамя мечты об освобождении от феодального гнета и религиозных оков.

Самые осторожные и консервативные из них (те, кто, по Энгельсу, боялся «обжечь себе пальцы») не продвинулись дальше благочестивых мечтаний о «дешевой церкви» и беспечальных усладах для избранных. Другие, самые дерзкие, пошли на плаху за идею равенства, за попытки восстать против «святая святых»: не только против церкви, но и против частной собственности.

Ренессанс в наивысшей точке своего взлета дал человечеству утопический социализм. Он раскрепостил разум — и это было необходимым условием раскрепощения народа.

Новые творцы смело обратились к античности, ее пластике и гармонии, к ее гуманистической сущности. Это был прямой вызов средневековому мракобесию: произошло «смещение земной оси» от бога к человеку — богоподобному и богоравному в своей свободе, в могуществе своего разума. Послушайте, как торжественно звучит гимн человеку в речи «О достоинстве человека» итальянского философа Пико делла Мирандолы, нередко называемой манифестом ренессансного гуманизма.

«Я создал тебя существом не небесным, но и не только земным, не только смертным, но и бессмертным, чтобы ты, чуждый стеснений, сам себе сделался творцом и сам

выковал окончательно свой образ. Тебе дана возможность пасть до степени животного, но также и возможность подняться до ступени существа богоподобного — исключительно благодаря твоей внутренней воле».

Возрождение выковало образ Человека — волевого, решительного, непреклонного, земного в своих чувствах и помыслах. Этот человек дышит всей грудью, он полон энергии, жажды творчества, он знает, что «в начале было Дело». Запечатленный в гениальных фресках и полотнах Рафаэля, в картинах Дюрера, в могучих скульптурах Микеланджело и непревзойденных строках Петрарки, Рабле, Сервантеса, Шекспира, он стал выдающимся реальным фактом мировой культуры, «остановленным мигом» гармонии, который Возрождение подарило нам в качестве своего представления о грядущем Человеке, покоряющего потомков непреложностью совершенства.

Обращение титанов Ренессанса к античной эстетической традиции было вместе с тем (а это не всегда подчеркивается исследователями) и обращением к традиции философской.

В высшей степени важной представляется открытость духовного поиска, его многообразие, раскованность, высокая степень свободы. Взоры интеллектуалов обращались к Лукрецию и, следовательно, к Эпикуру, к «поэтическому» Платону — ко всему в античности, что помогало высветлить идею «богоравного» человека, одухотворенности и разумности Космоса. Философия пантеизма, отождествляющая бога с природой, стала теоретической основой поисков гармонии и красоты мира в творчестве великих мастеров Возрождения.

Бессмертным воплощением идеи грядущего согласия философских течений, наук и искусств во имя и на благо Человека стала всемирно известная фреска Рафаэля «Афинская школа». Примирить непримиримое, сопрячь несопрягаемое ради возвышения Человека и человечества — такова прекрасная утопия философии и искусства Ренессанса.

Античность вместе с тем не была для гуманистов самоцелью; она скорее служила для них опорой, стимулом и материалом для выражения новых идей, новых социально-политических и культурных тенденций.

Нельзя объять необъятное...

Мудрый афоризм Козьмы Пруткова не мог не вспомниться снова в тот момент, когда мы приближаемся к бесконечно разнообразному, брызжущему буйством красок, идей, форм, звуков, пронизанному светом гуманности и надежды храму искусства Возрождения. Возьмем же покрепче нашу ариаднину нить и пройдем по нему тропою народной мечты. Мечты, застывшей в каменных шедеврах, сияющей с полотен гениальных мастеров, отлитой в волшебных строчках сонетов, великих романов и трагедий.

Начало эпохи Возрождения по праву связано с именем и творчеством ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ (1265—1321 гг.), великого флорентийца, которого Ф. Энгельс называл последним поэтом средневековья и вместе с тем первым поэтом нового времени.

Современному читателю непросто продираться сквозь густую чащу символов, аллегорий, мифологических образов, религиозных иносказаний в его громадной, как мир, «Божественной комедии». Конечно, это не развлекательное чтиво: кроме терпения, она требует немалых знаний по истории Италии XIII—XIV веков, истории бурной, трагической, противоречивой. Такой же, заметим, была и сама жизнь поэта — страстного борца за национальное возрождение страны, гневного воителя против кровавых войн, против стяжательства и своекорыстия.

«Триумвират» гениев Возрождения в Италии (Данте, Петрарка, Боккаччо) порожден и вскормлен Флорентийской коммуной — республикой «города роз», своеобычным позднесредневековым полисом. (Логично предположить: не потому ли именно во Флоренции произошла самая яркая вспышка интереса к Афинам, их культуре, идеологии, демократии?)

Данте — выходец из буржуазной среды — перешел тем не менее на сторону дворянской промонархической партии гибеллинов, за что и был навеки изгнан гвельфами из родной Флоренции. Давно это было: гибеллины, гвельфы... К чему вроде бы ворошить стародавнее прошлое? Было, да быльем поросло... Но без этого не понять не только «Божественную комедию», но, главное, и мечту Данте, мечту, что вырвалась из рамок тогдашних политических

распрей и устремилась в будущее, к звездам Мира и Согласия людского.

Данте — сын своего века. Как политик, он выдвигает утопию просвещенного абсолютизма (бог — отец на небе, монарх — отец на земле). Но Данте прежде всего поэт; его утопия является клубящимся сгустком страстей: гнева, иронии, любви, надежды. Гнева — на всех алчных и жестоких, кто терзает тело милой Италии; иронии к тем, кто думает только о себе и своих усладах; любви — к соотечественникам, к Беатриче как олицетворению доброты, благочестия и мудрости; надежды — на воцарение вечного мира.

Странствия Данте по аду, чистилищу и раю — это история блужданий его души, его мечты. «Цель этого произведения,— говорит поэт,— вывести живущих из когтей бедствий и вести их к счастью». Данте пристрастен, горяч, беспощаден. Его чарует античная светская культура, но его крепко держит в своих когтях религиозная мистика: мертвые хватают живого...

Однако для нас важно не просто зафиксировать, как Данте «раздваивается» между прошлым и будущим, но уразуметь, каким ему видится будущее. Поэт вздыхает (в XV и XVI песнях «Рая») о невозвратно-идиллической чистоте и благородстве старой Флоренции; здесь ключ к пониманию всех райских красот и добродетелей, таящих под мистической оболочкой затаенную мечту — утопическую — о царстве добра и гармонии, о «золотом веке» для страны, терзаемой кровавыми распрями, продажными политиканами, монахами, стяжателями. «Золотой век» для Данте остался в прошлом. Но он искренне и страстно жаждет возврата времен, не омраченных золотом, жадностью и кровью, чтобы единственной владычицей мира стала «любовь, что движет солнце и светила».

Как солнечный призыв к дерзанию и свершениям звучат слова Данте, вложенные им в уста неугомонного бесстрашного Улисса, горящего в столбе негасимого пламени, но не сожалеющего о своей грешной, суетной и прекрасной жизни:

— О братья,— так сказал я,— на закат
Пришедшие дорогой многотрудной!
Тот малый срок, пока еще не спят
Земные чувства — их остаток скудный
Отдайте постиженью новизны,
Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир
безлюдный!

Подумайте о том, чьи вы сыны:
Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и знанью рождены.

Не правда ли: последние две строки поистине завещание грядущему, которое будет воздвигнуто «доблестью и знанием» потомков!

Духовным восприемником Данте, главой старшего поколения гуманистов был ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА (1304—1374 гг.), величайший лирик, непревзойденный мастер сонета — и любовного и политического, основатель классической филологии, страстный поклонник античности.

У Петрарки нельзя обнаружить прямых размышлений о грядущем с позиции последовательного гуманизма. Его утопизм носил сугубо сословный характер, не простирался дальше упований на возврат к временам и идеалам Древнего Рима. Означает ли это, что Петрарка — «случайный гость» в нашей книге? Никоим образом — хотя бы потому, что он сумел спустить поэзию с небес на землю и вместе с тем подняться к звездам общечеловеческой, гуманистической морали, силою огромного таланта возвысить достоинство и независимость свободной творческой личности. Канцоны Петрарки «Моя Италия» и «Благородный дух» являются чистейшими образцами пламенного патриотизма. Во всей европейской литературе Возрождения трудно найти более гневное обличение церкви, нежели в его сонете «На папскую курию в Авиньоне». И разумеется, непрестанную святую миссию облагораживания, «осветления» человеческих чувств несут и поныне его удивительные лирические творения — о Жизни, Любви и Мире.

Послание мое,
Стой на своем, не повышая тона,
Поскольку к людям ты обращено,
Которые давно
От правды отвернулись оскорбленно.
Зато тебя, канцона,
Приветят дружно те,

Что о добре пекутся, к чести мира.
Так будь на высоте,
Иди, взывая: «Мира! Мира! Мира!»

Не к нам ли обращены пророческие слова поэта?!

В ряду великих гуманистов Италии, непревзойденных по мощи своего творческого гения, достойное место принадлежит младшему современнику Петрарки, ярчайшему представителю демократического этапа Возрождения — ДЖОВАННИ БОККАЧЧО (1313—1375 гг.). Поистине неоценим вклад одного из провозвестников «рассветного часа», автора всемирно известного «Декамерона», в раскрепощение «спящей красавицы» — мечты о земном человеческом счастье.

Боккаччо — едва ли не первый создатель целостной концепции Ренессанса как концепции нравственно-воспитательной. И она (как мы можем обнаружить это в отрывке из ранней повести Боккаччо «Амето») напрямую связана с идеей естественного состояния человека, заложенного в нем со времени, сокрытого в глубинах минувшего «золотого века», который надлежит вернуть на землю, возродить вопреки засилью зла и невежества.

Как сделать это? Боккаччо на первый взгляд ученически повторяет рецептуру античных (Вергилий, Гораций) авторов: назад, к природе! Но это лишь на первый взгляд. Буколико-пасторальные мотивы (пастушки, нимфы, идиллические леса и луга и т. п.) не должны закрыть от нас главного: Боккаччо идет и зовет вперед, к человеку, к высокой и подлинной человечности, исполненной внутреннего согласия природы и культуры. Нимфы, олицетворяющие добродетели гуманизма, обратили Амето, собирательного героя Боккаччо, в человека во всей полноте чувств и знаний.

Концепция человека у Боккаччо, особенно в «Декамероне», жизнерадостна, полнокровна и оптимистична. Таковы и сами рассказчики — люди разумные, воспитанные, благожелательные, лишенные предрассудков, и образ их жизни — своеобразный «рай гуманистов» в чумном аду средневековья, маяк добра, веселья и надежды.

Боккаччо истинно народен в своем творчестве.

Он воскрешал и возвышал никогда не умиравшую в толще народной любовь к земному миру, земной красоте, земному счастью, которые превыше самого распрекрасного небесного рая.

Вслед за де Меном Боккаччо утверждает, что подлинное благородство личности не определяется сословным происхождением. Конюх, влюбленный в королеву, не только ничем не уступает королю, но часто превосходит его умом и находчивостью. Вообще, когда речь идет о силе личности, об энергии, изобретательности, естественности, симпатии писателя явно на стороне людей из низов. Любовь не безумна, утверждает Боккаччо, она в союзе с разумом.

Она не имеет ничего общего с лицемерными рыцарскими воздыханиями, она смеется в лицо ханжеству, оборотной стороной которого всегда было полное распутство.

Боккаччо, воспевая чувственную любовь, никак не ограничивался ею. Он вместе с тем певец разума, дружбы, щедрости, бескорыстия, талантливости человека. Блистательный мастер сопряжения неожиданностей, сплетения забавных или печальных случайностей, Боккаччо никоим образом не фаталист, не проповедник рока. Умный, находчивый, изобретательный человек — баловень судьбы, но не игрушка в руках слепого случая. Это чрезвычайно важно для понимания мировоззрения писателя. Но такой же оптимизм, вера в человека характерны для мировоззрения большинства гуманистов Возрождения.

В новеллах Боккаччо человечество, говоря словами К. Маркса, «смеясь, расстается со своим прошлым». В них — красочных, веселых, увлекательных, разнообразных — отразилось кипение жизни средневекового общества на том переломе, когда оно уже несло в себе признаки обновления. Необъятные дали открывались впереди; рассеивались призраки; казалось, что будущее сулит неограниченные возможности для развертывания человеческого гения, для счастья, добра и гармонии. Еще не выявились трагические «данайские» дары буржуазного прогресса. И потому так светел, так эпически спокоен мир Боккаччо: ведь у него «в запасе вечность»!

Народ бессмертен; бессмертен поэт, сумевший постичь и выразить душу народа, его неистребимое — вопреки всему! — жизнелюбие.

ТЕЛЕМИТЫ

Идеал Человека Боккаччо, земного, разумного, веселого, дополненный петрарковской возвышенностью чувств, не мог реализоваться в мрачной действительности позднего средневековья. Он постепенно захватывает многих людей из «высшего общества» (в том числе интеллектуалов, художников, публицистов), но захватывает в изломанном, искалеченном виде — прежде всего как безудержный индивидуализм.

Раз счастье жизни в земных наслаждениях и радостях, значит, да здравствует наслаждение! Гуманизм разумный трансформируется в моральную вседозволенность и авантюризм. Разбуженные страсти явили миру отталкивающий облик циников, подлецов, лицемеров похлеще древнеримских патрициев. Зловещая фигура Чезаре Борджиа, убийцы и кровосмесителя на папском троне, как бы олицетворяет эту ветвь движения ренессансного гуманизма.

Лучшие из лучших того времени ужасаются подлости мира, негодуют, терзаются их сердца; иные доходят даже до мыслей о самоубийстве... Оптимизм Боккаччо уступает место мучительному пессимизму, обжигающему душу трагизму позднего Микеланджело.

Другие из людей «рассветного часа» постепенно вырабатывают формулу неучастия в грязных мирских делах. Она, эта формула, дополнялась уже хорошо нам известной аристократической мечтой о «рае для избранных».

В среде гуманистов Возрождения, особенно во Франции, получили широкое хождение различные варианты горацианской идиллии беспечной деревенской жизни, стремления в тихий приют спокойствия и вдохновения.

Горацианские мотивы отчетливо звучат, например, в творчестве ПЬЕРА ДЕ РОНСАРА (1524—1585 гг.), одного из крупнейших лириков европейского Возрождения. Он вздыхает о «жизни вдали от дел», он жаждет тишины полей, услад любви... В новых исторических условиях Ронсар пытается воскресить утопическую концепцию «золотого века». В стихах «Рассуждение о богатстве» поэт в идеальных красках рисует жизнь первобытных племен Америки, которые не знают частной собственности, живут, «всем добром владея сообща». «Американский вариант» бегства от настоящего и будущего в прошлое займет впоследствии важное место в учении и творчестве Монтеня, Дидро, Вольтера. Лирический герой Ронсара блестящ, искренен, но эгоистичен. Он не верит в возможность радикального переустройства мира и потому в конечном счете примиряется с действительностью.

Однако заложенный в Возрождении духовный ресурс был слишком огромен, чтобы исчерпаться в надрывной мировой скорби или трусливом бегстве от мира. Огни разума и человечности, зажженные в ночи истории, манили все новых и новых смельчаков, жаждущих свободы, света и счастья. Дорогу к Красоте, Гармонии, Идеалу открывало прежде всего искусство, фантастически талантливый миг величия творческого гения Человека. Человека, непоколебимо уверенного в своей победе и победе добра. Человека, сбрасывающего тяжкие оковы заблуждений, несправедливости, тирании. Именно таковы «Раб, разрывающий цепи» и светоносный «Давид» Микеланджело. «Лучше камнем быть»,— горестно констатировал поэт, а скульптор овеществлял в камне огромность души своей, мятущейся, скорбной и, несмотря ни на что, верящей в лучшее, доброе, великое.

Только ум всеобъемлющий, только гений способен, вопреки самым жестоким ударам судьбы, высоко поднять знамя любви, пропеть торжествующий, радостный гимн жизни.

Духовной опорой, «воздухом» для такого взлета во все времена была стихия народности.

В этом тайна бессмертия ФРАНСУА РАБЛЕ (1494—1553 гг.), создателя одного из самых удивительных и веселых романов в мировой литературе. Врач по профессии, Рабле врачует человечество смехом. О нем, главном герое «Гаргантюа и Пантагрюэля», сам автор сказал так:

Доступней смеху, а не плачу слово,
Затем что смех есть свойство человека.

Свидетельство народности романа мы находим в самом его образном строе. С наибольшей охотой и мастерством Рабле изображает плебейскую среду, «низы» общества. Пожалуй, самым ярким и полнокровным из всех героев романа является простодушный, грубоватый монах Жан — гуляка и силач, воплощение народной мощи и здравого смысла. Он отнюдь не идеален, у него весьма примитивные вкусы и потребности; зато он обладает безошибочной интуицией и врожденным чувством справедливости. Не случайно именно Жан становится основателем обители радости — Телемского аббатства.

Под покровом шуточного повествования, веселой буффонады, гротеска Рабле подвергает убийственной критике все институты и воззрения средневековья, создает одну из выдающихся в истории литературных утопий.

Утопия великого сатирика в отличие от системы его современника Т. Мора не прописана в деталях, не содержит логических обоснований, напоминает поначалу каприз фантазии. Умозрительный ее характер очевиден. Однако в высшей степени важно уяснить, из каких мыслительных элементов сконструирована утопия Рабле, по какому (пускай самому схематичному) «чертежу» построено аббатство Телем, какие идеи в ней выражены и взлелеяны. И — не последнее дело! — выявить, на какой почве они взошли, к какому солнцу тянутся.

За аллегориями романа, за смешными и невероятными приключениями его героев просвечивает не только сатира на феодализм, но и мечта гуманиста о новых формах жизнеустройства и воспитания человека. Мечта эта во многом наивна, абстрактна; она целиком базируется на вере в «естественную» доброту и врожденные творчески-созидательные потенции человека. «Делай что хочешь» — начертано при входе в Телемскую обитель. Конечно, этот афоризм можно истолковать в духе вседозволенности, моральной безответственности. Однако у Рабле здесь, напротив, спрессовано убеждение в невозможности дурного и злого, если человек руководствуется своими естественными потребностями и желаниями.

А где же пресловутое: «Человек от природы греховен»? Религиозной концепции человека в необычном аббатстве места не остается. Вместо бога и церковных догм утверждается светлое — не зря мы подобное называем раблезианским! — ощущение радости земного, плотского существования «естественного», нормального человека.

Но не одна только мощь таланта и фантазии, гуманистической веры в человека обеспечила творению Рабле долгую и благодарную жизнь. Как уже подчеркивалось, тайна, первопричина коренится в глубочайшей, органической народности «Гаргантюа и Пантагрюэля». Немного найдется книг, которые бы, подобно роману Рабле, от самого своего первоначального замысла до последней строки были столь последовательно ориентированы на народную жизнь, мораль и мечту.

Рабле всецело доверился живой стихии фаблио, пословиц, прибауток. Он бережно отобрал жемчужины народного творчества, нанизал их на прочную нить гуманистической концепции, осветил верой во всесилие воспитания человека в согласии с его природой.

Эту мечту о будущем Рабле воплощает не только в Телемском аббатстве, но и в отнюдь не утопической системе педагогики. Довольно смешно читать, как в течение тринадцати лет Гаргантюа учили всяческим глупостям и нелепицам тогдашние схоласты и попы. Но дело решительным образом меняется, когда, прогнав дремучих проповедников псевдоученой жвачки, король-отец пригласил для воспитания Гаргантюа педагога-гуманиста. Теперь ребенку преподают географию — в путешествиях, астрономию — под открытым небом, все обучение строится как живая беседа учителя и ученика, уважающих друг друга, пронизанных одинаковой любовью к природе, к памятникам прошлого — творениям умных человеческих рук.

Кажется странным и нелогичным разочарование, коснувшееся своим туманным крылом жизнестойкой души Рабле на склоне лет. Он с горечью и вздохом приходит к прямо-таки эпикуровскому итогу: «Умерь свои желания», что таило в себе сомнение в прирожденном благородстве человека. Однако подобное разочарование не настолько уж неожиданно. Знаменитый смех Рабле, выраставший из гротеска и преувеличений естественного в человеке, содержал стремление лечить людей. Лечить —

но от чего? В возрожденческом идеале человека возникали и ширились трещины пессимизма. Да и не могли они не появиться в условиях той действительности, и обещающей и жуткой...

Время Возрождения близилось к концу. В искусстве во весь рост поднималась тема трагического несоответствия идеала и действительности.

...Поборником разума и науки, предвосхитившим многие идеи просветителей XVIII века, был современник Рабле французский писатель и философ МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ (1533—1592 гг.).

Он прожил тревожную и поучительную жизнь, озаренную багровым пламенем кровавых религиозных войн, стихийных крестьянских бунтов,— и жизнь эта стала главной «героиней» главного произведения мыслителя, его «Опытов» — этой потрясающе искренней и глубокой исповеди, названной еще при жизни автора «катехизисом всех честных людей», не имевшей дотоле двойника в мировой философской и художественной литературе.

Монтень формируется как личность в эпоху кризиса Возрождения, когда вместе с героическим энтузиазмом и оптимизмом первых гуманистов уходили в прошлое и наивно-упрощенные, прямолинейные представления о прогрессе общества и человека. «Тяжкий млат, дробя стекло, кует булат»; наступило время новых раздумий, новых, более широких и реалистических, подходов к проблемам настоящего и будущего.

Центральная идея Монтеня (в отличие от Рабле и Ронсара) — изменчивость (в противовес неизменности) сущности человека в меняющихся политических, социальных, географических и иных обстоятельствах. Догма «человек от природы добр» столь же, по Монтеню, однобока, как и догма религии «человек от природы греховен». Человек может либо высоко вознестись, либо бесконечно низко пасть; разум его равно способен к неограниченному развитию и к постоянным заблуждениям, а душа — и к благородству, и к подлости.

Но что же вытекает из этой относительности человеческой «природы»? Есть ли такие силы, которые способны повернуть человека от зла и заблуждений к добру и счастью?

Монтень яростно выступает против всех и всяческих жестких «рецептов» усовершенствования общества. Он непримирим к догматизму и фанатизму (в первую очередь религиозному), притязающим на «божественную» истину. Здесь во всем блеске развертывается мощь монтеневского скептицизма, ниспровергающего ортодоксию, фальшивые авторитеты, схоластику и мистику.

Созидательная программа Монтеня пытается вобрать в себя все высшие (для его времени) «опыты» философии, науки, морали, искусства. Главным инструментом борьбы за счастье человека он полагает эпикурейскую мудрость гармонии бытия, разума и воли личности, свободной от оков религии, сознающей суверенитет природы и естественных влечений. Отличительный признак мудрости, утверждает Монтень,— это неизменно радостное восприятие жизни: ей, как и всему, что в подлунном мире, свойственна никогда не утрачиваемая ясность. И далее, как кредо: «Лучшее наше творение — жить согласно разуму».

Монтень верит в человеческую природу, облагороженную мудростью разума и подлинной морали. Он упивается прелестями естественной жизни, радостью свободного общения, полетом мысли, не скованной мрачными догматами, во всем стремится руководствоваться здравым смыслом и поиском внутренней свободы.

Здесь мыслитель обращается — не мог не обратиться! — к укладу жизни и морали «не испорченных» цивилизацией первобытных народов Америки. Но в отличие от Ронсара он идеализирует первобытность не во имя возврата к ней как к почве для преображения жизни, а во имя плодов, на ней произрастающих, плодов гармонии, справедливости, естественности. Выращивать именно такие плоды на новой почве, вспаханной разумом и трудом,— таков идеал Монтеня, таким видится ему умение жить достойно.

Глубокое согласие с законами природы автор «Опытов» видит и в тех уроках стойкости и силы духа, естественности и честности, свободы и достоинства, которые являет жизнь простого народа, широких масс крестьянства. В народном укладе, в трудовой морали, обогащенной «обширными по-

знаниями в области полезных наук», видит он единственно верный залог будущего избавления от социальных зол. Монтень говорит: «Простые крестьяне — честные люди; честные люди также — философы или, в наше время, натуры сильные и просвещенные... Что касается меня, то я стараюсь, насколько это в моих силах, вернуться к первоначальному, естественному состоянию, которое совсем напрасно старался покинуть».

Могучая, притягательная идея «возврата к народу» много раз потом овладевала умами честных интеллигентов. Утопия естественной жизни по законам разума, выдвинутая Монтенем, оказалась необычайно живучей. В трансформированном виде она имеется и в уравнительных концепциях Ж.-Ж. Руссо, и в крестьянском социализме А. И. Герцена, и в моральных проповедях неистового Л. Н. Толстого.

Для Монтеня крестьянин и философ равны. А что же «сильные мира», элита? «Крестьянин и король отличаются друг от друга только штанами»,— ехидно замечает великий скептик. Такой афоризм в XVI веке — вещь просто неслыханная! Он восхищается народной поэзией, ее свежестью и изяществом. Вообще, народный здравый смысл — прочный фундамент грандиозного здания «Опытов», которое, по справедливому замечанию А. И. Герцена, «ясно, человечно и светло».

Спустя почти сто лет, в 1676 году, папа римский вдруг «прозрел» и проклял «Опыты» — проклял и тем самым окончательно подтвердил невыносимость «света Монтеня» для религиозного мрака и фанатизма.

ТИТАНЫ

Позднее Возрождение сдавлено железным обручем наступающей феодальной и клерикальной реакции. Смелые устремления вольнолюбивой гуманистической мысли опутываются липкой паутиной скептицизма, разочарования, страха, неуверенности. Многие поборники Ренессанса в конце концов запутались в распрях между католиками и протестантами, пуще церкви боялись пожара стихийных крестьянских бунтов, метались между мечтой и троном. Однако внутренние потенции Возрождения были столь велики, что именно в конце пути, умудренное и просветленное, оно выдвинуло для философии, социальной мысли и искусства уже не масштаб одной личности, или города, или страны, но м а с ш т а б ч е л о в е ч е с т в а.

...В злосчастном 1616 году человечество осиротело дважды: угасли сразу два могучих светильника разума, добра и правды. Угасли — чтобы всегда светить потомкам ярким пламенем величавых своих творений, неразрывно, «антеевой связью» связанных с народной почвой, народной жизнью, народной мечтой.

Имя им — Сервантес и Шекспир.

Сын бедного испанского лекаря МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС СААВЕДРА (1547—1616 гг.) подарил миру один из самых живых, пленительных и загадочных литературных образов — хитроумного идальго Дон-Кихота Ламанчского. Вместе с ним и благодаря ему Сервантес выдвинул и заострил с позиций гуманизма целый ряд жгуче современных и вместе с тем вечных, общечеловеческих социальных и нравственных проблем.

...Молодому Сервантесу, доблестному воину, во время его пятилетнего пребывания в Италии открылся во всем блеске мир живой красоты, созданной Возрождением. Она сразу — и навсегда — покоряет пылкого испанца. Она помогла превозмочь нечеловеческие страдания долгого плена, не позволила душе окаменеть в громадном застенке инквизиции, имя которому — Испания XVI века.

Это само по себе было духовным подвигом. Но подвиг стал поистине бессмертным, когда был одет гением Сервантеса в ржавые латы великодушного страдальца за людей, за идею Добра — рыцаря Дон-Кихота. А сам создатель его, всю жизнь воевавший сначала шпагой, а потом пером во славу человека, так и умер в нищете, голоде и холоде...

В «Дон-Кихоте» наголову разгромлено вымирающее рыцарство; яркими, достойными кисти Леонардо да Винчи красками автор изображает неумолимое шествие истории. Под ее железной пятою неотвратимо гибнут те, кто либо в воображении, либо с оружием в руках пытается повернуть мир в прошлое. В «Дон-Кихоте» развенчана утопия возврата к «золотому веку» с ее лозунгом: «Вперед, к старому!»

Но это лишь часть, притом не самая

главная, истины о великом творении Сервантеса. «Дон-Кихот» не просто антифеодальный роман, не просто осмеяние исторически обреченного рыцарства, но и возвышение, возвеличивание гуманизма активного, действенного, благородного. Это, и только это делает книгу всечеловеческой, а Дон-Кихота и Санчо Пансу — неизменными спутниками и союзниками человечества в битве за правду и справедливость.

Сервантес расставался с миром рыцарства, смеясь и... скорбя. О чем же скорбеть? Что было в нем драгоценного, в этом странном, зыбком, окутанном волнами идеализма мире?

А вот что: мужество, благородство, возвышенная любовь — все лучшие рыцарские заветы. Этот внутренний свет романа, без которого не постичь тайны его непреходящего обаяния, гениально разглядел Маркс. По словам П. Лафарга, «в «Дон-Кихоте» он видел эпос вымирающего рыцарства, добродетели которого в только что народившемся мире буржуазии сделались чудачествами и вызывали насмешки». Маркс увидел «незримые миру слезы», слезы отчаяния и тоски, вызванные гибелью, осмеянием, поруганием благородства, бескорыстия, нерушимого единства слова и дела. Таков смех Сервантеса. Смеется, а сердце его разрывается от боли и жалости...

Возвышенный облик идальго из Ламанчи сделался смешным в ледяной купели буржуазного эгоизма. Роман Сервантеса открыто антибуржуазен. Рыцарство обречено — но благороден Дон-Кихот и умен, бескорыстен простоватый Санчо! Не в союзе ли его (то есть народа) с благородством, поэзией, мужеством (то есть — допустим это! — интеллигенцией) — подлинное будущее мира? Рыцарство погибло — да здравствует рыцарство!

В подлинно великом произведении всегда сокрыто бесчисленное множество идей, философских вопросов, предвосхищений, которые, словно богатейшее месторождение, разрабатываются людьми на протяжении многих столетий. И никак не исчерпать до дна!

Дон-Кихот решил стать рыцарем в железный, жестокий век, дабы возродить или хотя бы приблизить «век золотой». Безумие! Чистое безумие! Но зато какая бесконечно высокая цель! И уже в самом начале романа мы слышим восторженную речь Рыцаря Печального Образа о «золотом веке», о благословенных временах, когда люди не знали слов «мое» и «твое», а только — «наше», когда царили среди людей мир, согласие, взаимопомощь и безмятежная любовь.

Страстная проповедь Дон-Кихота обращена к козопасам; вон как вытягиваются их лица, как переглядываются они в недоумении: о чем этот чудак? Может, оно когда и было такое, да разве возможно нынче? Право, чудак, хотя и забавный...

Но все-таки не герцогу, не трактирщику адресует свою утопическую речь Дон-Кихот. Смешно, конечно: «золотой век» — и козопасы. Смешно, а намек здесь таится, гениальная интуиция автора угадывает что-то...

Это не натяжка. Это подтверждается всем строем, всем пафосом романа, его ориентированностью на народ, огромной верой в народ, изображением жизни с позиций народа.

Да, мечтания Дон-Кихота о «золотом веке» смешны, утопичны. Сервантес и не придает им особого значения. А вот в том, что на народ, его душу, его здравый смысл и стойкость можно положиться — у писателя нет никаких сомнений. Плодоносное семя грядущего заключено в здоровых и чистых человеческих чувствах, в отвращении к уродствам и несправедливости как феодального, так и буржуазного, «чистоганного» бытия. Когда и как произойдет желанный поворот, Сервантес не знает. Но он верит в торжество Добра над коварным и сильным Злом.

Думается, не столько в монологе Дон-Кихота о «золотом веке» утопия Сервантеса. Она скорее (и это одно из самых глубоких, самых жизнеспособных литературных предвосхищений будущего) заключена в эпопее мнимого губернаторства Санчо Пансы. Милый Санчо, напичканный пословицами и поговорками, в чем-то сродни раблезианскому Жану. Но в нем есть более глубокое начало и есть движение; под влиянием своего сеньора он нравственно и духовно растет; на здоровую народную почву падают, произрастая и плодонося, зерна разума, поэзии, благородства.

И вот Санчо — губернатор; он изгоняет с острова бездельников, закрывает игорные дома, хочет истребить «всех этих донов и передонов» (то есть богатых тунеядцев),

проявляет истинное великодушие и безупречную душевную чистоту. А когда «власть» его кончилась, Санчо (под занавес разыгранного над ним фарса) очень глубоко и сильно осуждает саму идею господства над людьми.

Сервантес сумел разглядеть то, что было недоступно взору тогдашних интеллектуалов — золотые россыпи народной души, разглядеть и поверить, что простые люди, если они придут к власти, не ударят в грязь лицом, сумеют построить новый, куда более разумный и прекрасный мир.

Союз безумца и простака оказывается в конечном счете прочнее, долговечнее союза золотого мешка и сутаны. Глубоко символично (и показано с безупречной реалистической достоверностью!), что по ходу странствий все более сокращается, размывается социальная дистанция между Дон-Кихотом и Санчо Пансой. Сеньор избавляется от высокомерного барства — он все больше чувствует духовное родство со слугой. А Санчо постепенно преодолевает душевную леность, соблазны легкой наживы, бездумной сытости. Сеньор заразил его своею «болью за человечество».

Осмеяв рыцарство, Сервантес необычайно мощно возвысил идею активного гуманизма. «Каждый человек есть немножко Дон-Кихот» (В. Г. Белинский). И это стало возможно благодаря Сервантесу. Он вырвался за пределы своего века; его предвосхищения, его заветы взошли на почве будущих революций.

Необычайно интересны для нас, полны всечеловеческого смысла и значения мечты величайшего из творцов Возрождения — УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА (1564—1616 гг.).

Шекспир — это целая вселенная разума и чувств. Его искусство, словно могучая лавина, движется из глубины веков, набирает силу, захватывает своим чудодейством все новые, все более широкие людские массы, озаряя человеческие сердца светом красоты, гуманности и разума, пробуждая в них тревогу, волнение и надежду.

Для гуманиста Шекспира, для его певучей и многомудрой музы исходным пунктом естественной связи времен являются изначальное природное равенство людей, право каждого из живущих на свободную мысль и свободное чувство. Шекспир утверждает:

...Странно мне,
Что кровь людей различных, если вместе
Смешать ее — одна перед другой
Не разнится ни теплотой, ни весом,
Ни краскою — а между тем она
В глазах людей исполнена различий!

Именно эти различия «в глазах людей», то есть сословные и имущественные перегородки, рабские цепи угнетения и произвола уродуют жизнь, унижают человека, рожденного свободным, ткут бесконечную жуткую нить кровавых преступлений...

Правда, истина мира и человека — предмет мучительных раздумий, цель нравственных исканий самых благородных героев Шекспира: Гамлета, Отелло, Лира. Правду предают и продают лицемеры и злодеи: Яго, Ричард III, Клавдий. Они умны и циничны; но ум их становится коварным кинжалом, нацеленным в спину великодушия, честности, милосердия. И правда уходит в глухую защиту, а чаще терпит сокрушительный крах перед напором существующего зла: «Распалась связь времен...»

Шекспир, как и Сервантес, бросает вызов сразу двум демонам: сословной иерархии и мракобесию феодализма — и беззастенчивому эгоизму, и стяжательству капитализма.

Безнадежный, обреченный в то время на поражение поединок... Но это «безумство храбрых», не погибающее вместе с трагической гибелью рыцаря мечты!..

Шекспир осознает свою эпоху как всечеловеческую трагедию. Это безысходность для труженика, приговоренного к горю, страданиям, бессмысленной гибели; это обреченность таланта, горе ума и горе от ума, ибо невыносимо плох, невыносимо жесток и безобразен мир, и вдесятеро невыносимее, когда это понимаешь...

Зову я смерть; мне видеть невтерпеж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,

И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,

И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,

И прямоту, что глупостью слывет,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.

Все мерзостно, что вижу я вокруг...
Но как тебя покинуть, милый друг!

Мы привели полностью шедевр мировой лирики — знаменитый 66-й сонет, который потрясает глубиной мысли и душераздирающим трагизмом сознания, которому открылось все Зло мира. Сонет, без преувеличения, мог бы послужить эпиграфом ко всем трагедиям Шекспира.

«Зову я смерть...» Какая страшная правда в этих бесстрашных словах! Кажется, нет выхода, незачем и преступно жить, соучаствуя одним фактом жизни в преступлениях века... Но нет! Выпрямляется душа и рвется к надежде, к истинному оправданию жизни: «...Но как тебя покинуть, милый друг!»

Огромная, бездонная глубина в этой единственной строчке, в этом единственном луче света, блистающем во мгле. Дружба — вот искупление; родство душ в конечном счете сильнее эгоизма. Вот почему у Шекспира одиноки только мерзавцы; люди велики содружеством.

А во имя чего дружба? Для услад, для жизни мирной в эпикурейском саду мудрости — и наплевать на окружающее зло? Шекспир отвергает аристократическую утопию: он для этого слишком народен. Дружба, любовь не просто помогают переносить жестокие удары судьбы; они возвышают и облагораживают человека, помогают творить, а творчество неподвластно силам зла. И потому, переходя к потомкам, оно создает иную, уже нерасторжимую связь времен, нескончаемую эстафету добра, благородства и светлой веры в будущее.

Итак, творчество, верные друзья и благодарные потомки — вот формула смысла жизни, формула бессмертия, которую можно извлечь из ста пятидесяти четырех гениальных шекспировских сонетов. «Перекипела» в них мечта Эпикура, и мечта Аристотеля перекипела, но не лишилась жизненных соков. Напротив, она, словно «аромат цветущих роз — летучий пленник, запертый в стекле», обретает вечность в потомках, в детях, которые обязательно будут умнее, справедливее, чище нас, если будут помнить о нас. Но помнить будут, если мы сами будем не просто существовать, но созидать, любить, мыслить, не соглашаться с подлостью.

«Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»,— скажет через двести десять лет А. С. Пушкин. Скажет, чтобы окончательно утвердить идею творческого бессмертия и веру в мудрость потомков. И еще скажет: «...внуки в добрый час, я знаю, вытеснят и нас». Но: «Весь я не умру: душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит». Великие, раздвигающие завесу времен слова!

От Шекспира — к Пушкину; от титанов прошлого — к героям настоящего: такова эстафета доверия к потомкам как залог лучшего будущего. Доверия, помноженного на дружбу и единомыслие, на творчество во имя будущего, на борьбу за него. Шекспировское доверие к потомкам звучит в убежденности Маркса и Энгельса: люди будущего найдут пути к свету, сумеют побороть адские силы собственничества, сумеют найти ключи к решению новых проблем.

А знаменитый монолог из шекспировского «Тимона Афинского»? Его неоднократно цитировал Маркс, и не просто цитировал. Великий драматург помог вождям пролетариата отыскать пути и способы преодоления власти «сверкающей тьмы». Конечно же, помог не экономическими или историческими прозрениями, догадками, выкладками — нет! Но умением «схватить», уловить, осмыслить целостно огромные пласты жизни — в переплетении судеб, несчастий, неожиданностей, случайностей, то есть в их диалектике. Проблема влияния творчества и личности Шекспира на Маркса еще ждет своих исследователей, но давно уже не подлежит сомнению, что влияние это поистине огромно. Вспомним еще раз знаменитую «Исповедь» Маркса: в числе любимых поэтов Шекспир назван первым.

Вселенная Шекспира — это клубящаяся «смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний», которая любит, страдает, надеется, отчаивается, гибнет сама или губит других. Предпримем попытку выявить наиболее важные и долговечные зерна будущего лишь в одном — пожалуй, самом сложном, многозначном, многослойном (социально

и психологически) его произведении — трагедии «Гамлет».

Глубже всех современных ему драматургов, писателей, мыслителей Шекспир проник в сущность социальных противоречий и конфликтов эпохи. Подобно мифическому искателю «края света», он достиг этого края, пробил твердь небесную, выглянул за ее пределы и увидел... мрачную бездну. Он увидел, что власть денег, власть подлости, идущая на смену власти титулов, несет с собой ужасающий сонм новых человеческих страданий, крушение основ морали, чести, всех прекраснодушных гуманистических иллюзий.

Зло торжествует в Датском государстве...

Гамлет, любимейший герой Шекспира, до основания потрясен мерзостью мира. «Бездны мрачной на краю» его сердце растерзано несовершенством, вывихнутостью всего строя жизни, так ярко проявившимися и в подлости близких. Воспитанник Виттенбергского университета, ученик Джордано Бруно, Гамлет вплотную подходит к проблеме глобальной (как мы говорим сегодня): как изменить, как «вправить» мир, который «вышел из своих суставов»?

Кажется, все против Гамлета: и окружающая подлость, и собственная нерешительность (не от огромности ли задачи она?), и слепой случай... Песчинка — против океана? Да, но против океана гнили, праха, фальши; и оттого шансы песчинки, по крайней мере на моральную победу, оказываются предпочтительнее.

Гамлет по-настоящему сильная натура. Тогда откуда «гамлетизм»? Гуманист Гамлет тяжко переживает крах «героического энтузиазма» — и своего, и своих духовных пастырей, крах оптимистической веры в бесконечность свободного развития. Знаменитый монолог о Человеке начинается светоносным восторгом: «Что за мастерское создание — человек! Как бесконечен способностью! В обличии и в движении — как выразителен и чудесен! В действии — как сходен с ангелом! В постижении — как сходен с божеством! Краса вселенной! Венец всего живущего!»

И в то же время человек — «квинтэссенция праха», средоточие пороков, «кентавр», полубог-полуживотное. Как же помочь победить человеческому в человеке? Возможно ли это? «Век расшатался — и скверней всего, что я рожден восстановить его!» Горестное «скверней всего» — ибо где взять сил, на кого опереться, что противопоставить всемогущему злу? Не за себя помышляет воевать Гамлет; не просто об отмщении за отца его раздумья, но о битве с неправдой всего мира.

А ведь эта неправда и в нем самом («Я горд, я честолюбив, я мнителен»,— говорит Гамлет). Она в тех неправых, но единственно возможных средствах борьбы, применение которых искажает, уродует, кровавит благородную цель.

Это трагедия, трагедия могучего ума, пришедшего в мир слишком рано. Это скорбь проснувшегося разума, сознающего невозможность в одиночку «восстановить век», исцелить людей от скверны и подлости. Остается вроде бы только одно: бросить в кривую харю злобного века слова презрения и ненависти, «железный стих, облитый горечью и злостью» (М. Ю. Лермонтов).

Гамлет так и поступает, надев предварительно маску безумца. В нем все кипит, клокочет, сотрясается; он и впрямь близок к безумию, ибо невыносимо зрелище безумного мира. О, зачем, зачем открылась ему вся глупость и жестокость сущего?!

Здесь, в раздумьях о человеке, горестных, мучительных, мрачных, истинное величие и сила Гамлета. Трагедия Шекспира, потрясающая многие поколения людей, во всю мощь выдвигает «вечные» вопросы, связанные с достижением иного будущего: вопросы о противоречии идеала и действия, о цели и средствах ее достижения, о роли личности в истории. Наконец, о смысле жизни.

Величие исторического чувства Шекспира и состоит в том, что выход из противоречия намечается, брезжит, грядет. Гамлет умирает, запачкав свои руки в крови, но — главное — уловив гаснущим взором отблески света во тьме. Он завещает своему другу Горацио: «Поведай правду обо мне неутоленным».

Необычайно важный для нас момент! Неутоленные — значит жаждущие правды и борьбы, готовые на новые бои за человечность, не сдавшиеся на милость зла. Неутоленные — значит новые Гамлеты, сомневающиеся, близкие к отчаянию, даже к человеконенавистничеству, но преодолевающие себя и выступающие против неправды,

даже если их ждет неминуемая гибель. Гамлет через Горацио как бы завещает потомкам свою борьбу, свой тяжкий опыт, горечь своих ошибок. «Поведай правду обо мне...»

Сомнения, рефлексия, безверье: разрывающий душу опыт! Но и просветляющий, умудряющий, подвигающий к новому знанию. «После тьмы надеюсь на свет!» Этот лозунг Дон-Кихота, выбитый на его щите, как бы становится и лозунгом Гамлета. Дон-Кихот более деятелен; Гамлет менее безумен; история остановила свой предпочтительный выбор на Дон-Кихоте, но и поныне оплакивает Гамлета.

«Гамлет хочет поднять веки времени, чтобы оно увидало будущее»,— тонко заметил один из современных советских исследователей. Задача непосильная, обреченная; но честь и хвала мудрым безумцам!

Гамлет, как и породивший его гений Шекспира,— в союзе с будущим. Неясны очертания этого будущего; долгий и трагически трудный путь лежит к нему. Но всякий, кто достоин зваться Человеком, должен приближать его, пусть даже ценою собственной жизни, чтобы не погибла мечта в липких тенетах зла и безмыслия. Таков нравственный урок «Гамлета». Такова глубинная суть всего творчества Шекспира, озаренного светом гуманизма. Ведь, повторяем, до конца дней своих драматург верил в победу добра, молодости, новизны, человеческой дружбы и приязни. Ярким светом мечты озарены последние творения Шекспира, в особенности «Буря»: «Благородный разум гасит гнев, и милосердие сильнее мести». Это была вера в милосердие истории, в ее справедливое «волшебство».

...Вряд ли можно сказать о самом Шекспире лучше, чем сказал Гамлет об отце своем: «...Он Человек был, Человек во всем!»

ЗВЕЗДЫ ВОСТОКА

Из очнувшейся от феодальной спячки предбуржуазной Европы двинемся снова в глубь истории, на сей раз в толщу столетий огромной средневековой Азии.

Своеобразно, на «медленных оборотах», развивалась новая культура в ряде азиатских стран, и прежде всего в тогдашней Персии и Средней Азии; проклевывались, помаленьку крепли и утверждались в сознании передовых людей идеалы гуманизма.

Нужно заметить при этом, что если в Ренессансе Европы поэзия была лишь одной из форм духовной революции (переворот также шел в сферах науки, политики, философии, географических открытий и т. д.), то на Востоке в основном поэзия определяла содержание и направленность Возрождения. Эпоха «звезд» поэзии восточного гуманизма простирается от IX до XVI века: длительное, воистину звездное свечение!

В VII—VIII веках земли Ирана и Средней Азии были завоеваны арабами. Силой насаждался ислам, внедрялся язык победителей, их письменность. Уже в IX веке власть арабского халифата начала трещать под ударами мощных народно-освободительных движений. Это был своего рода среднеазиатский вариант «реконкисты» (возвратного завоевания). Как всегда, плодами народных побед воспользовалась местная знать: на трон взошли саманиды, постаравшиеся славировать между вчерашними могучими правителями — арабами и патриотически настроенными подданными.

И они немало в этом преуспели... Народные движения были потоплены в крови, а выразителей народного гнева, печали и надежды новые владыки попытались приручить, «задушить в объятиях», посадить в «золотую клетку»...

В таких-то своеобразных условиях взошла на небосклон восточной поэзии утренняя звезда певца АБУАБДУЛЛО РУДАКИ (ок. 860—941 гг.). Зачинатель гуманистической письменной литературы на языке фарси, он всю свою жизнь оставался верен традициям народной песни, устного творчества. Главные ритмы его поэзии — это ритмы народного труда; главные герои ее — это мужественные и добрые труженики, выносливые, сердечные и веселые наперекор всем жизненным тяготам. Однако случалось и так, что «невольно звук фальшивый исторгала» рука великого мастера: ведь он был придворным стихотворцем... Это был извечный конфликт поэта и царя, проходящий сквозь всю классическую поэзию Востока.

Трагическим был финал жизни мятежного поэта. Спустя тысячу лет удалось неопровержимо установить, что Рудаки не просто впал в немилость и был изгнан из дворца: его истязали и ослепили за сочув-

ствие (а быть может, и соучастие?) народному мятежу, который был поднят трудовым людом Бухары под лозунгами имущественного равенства, ликвидации деления людей на бедных и богатых. Рудаки поистине и пророк, и великомученик идеи народного братства!

До обидного мало стихов Рудаки пережили время и гнев тиранов... Больше, пожалуй, до нас дошло легенд о поэте, но, по справедливому выражению Е. Баратынского, легенды — это осколки старой правды. «Оставшиеся в живых» газели и касыды Рудаки (основные стихотворные формы поэзии Востока), эти подлинные поэтические изумруды, помогают нам и поныне открывать мир его поэзии, утверждать в людях светлое, доброе и прекрасное. Рудаки остается основоположником поэзии восточного гуманизма; несравненные Хафиз, Хайям, Низами, Фирдоуси пришли за ним и продолжили его торжественную Песнь жизни, дружбе, любви и миру.

Вслед за Рудаки в сражение за человечность и доброту двинулись армады строк создателя грандиозной поэтической «Книги царей» — «Шахнаме» — АБУЛЬКАСИМА ФИРДОУСИ (ок. 940—1020 или 1030 гг.). Он предпринял попытку поэтически-философского рассмотрения проблем войны и мира, противостояния Добра и Зла. Фирдоуси — открытый сторонник войн справедливых, в защиту отечества, свободы и независимости; но еще более страстно он ратует за мир между всеми народами.

Не все безоглядно и безоговорочно может быть принято нами в огромном, причудливом, как дворец капризного шаха, здании «Шахнаме». В поэме противоборствуют феодально-аристократическая и народно-гуманистическая тенденции. Но при всем том о Фирдоуси правомочно будет сказать, что гуманист брал в нем верх над царедворцем. Одно из свидетельств тому — «Слово в похвалу Разума», с которым читатель может познакомиться в хрестоматийном разделе главы.

...Азиатское Возрождение — это и ослепительное море талантливой лирики. Рядом с монументальной «Царь-книгой» Фирдоуси раскинулись ажурные шатры вольнолюбивой поэзии мастера восточных рубаи (четверостиший) — мудрых, источающих нетленный чистый дух высокого гуманизма, принадлежащих перу «восточного Вийона», великого ОМАРА ХАЙЯМА (ок. 1048 — ок. 1123 (?).

Современник Абеляра, выдающийся математик средневековья, поклонник Аристотеля, солнечный Хайям не поверял алгеброй гармонию — она живет в его сладостно-певучей поэзии просторно и свободно, во всю необъятную ширь открытой души. Он восславил свободную и неподкупную Любовь к женщине, к земной, грешной, чистой и честной жизни среди людей.

Звонкие стрелы его рубаи без промаха разили мракобесие и ханжество, произвол и бесчеловечность. Хайям беспощаден в своем сарказме, когда его бесовским хороводом пытаются окружить призраки загробного возмездия либо лживого воздаяния. Перестаньте лгать! — досадливо отмахивается поэт. Есть и вовеки пребудет только э т о т мир — сияющий рассветами и росами, прекрасный людским дружеством, братской чарой, нежной любовью. Именно в э т о м мире надлежит прожить достойно, светло, весело, то есть по-человечески, именно в э т о м мире надлежит сразить зло и невежество.

Неприятие жестокости, тупости, невежества движет фантазию поэта к вопросу вопросов: а что же «там, за ветхой занавеской тьмы»?

Да здравствует жизнь! — таков завет жизнелюбца Хайяма. Какой она будет после нас? Не ведомо никому. Все умрем, рассыплемся прахом, обратимся в глину; но воистину мудр тот, кто прожил свой недолгий век по высокому закону доброты и человечности!

Покамест ты жив — не обижай никого.
Пламенем гнева не обижай никого.
Если ты хочешь вкусить покоя и мира,
Вечно страдай, но не угнетай никого.

...В 1947 году наша страна, только что вышедшая из пламени Великой Отечественной войны, торжественно отметила восьмисотлетие со дня рождения одного из крупнейших мыслителей и утопистов средневековья — азербайджанского поэта НИЗАМИ (ок. 1141 — ок. 1209 гг.). Советские люди, прогрессивное человечество чтут человека, всю жизнь мучительно искавшего от-

вета на вопрос о возможности земного счастья для людей. Словно четки, перебирал он струны преданий и мечтаний разных народов и эпох: где, в чем она, искомая «тайна справедливости»?

Шестьдесят тысяч строк «Пяти поэм» — это шестьдесят тысяч тропок бесконечного поиска. Вот находки Низами на пути к утопическому идеалу совершенного социального устройства, изложенному им в одной из заключительных глав поэмы «Искандер-наме»:

свобода личности дороже богатства и милости правителей (Низами прожил всю жизнь на грани бедности, но в «золотую клетку» не пошел!);

милее блеска бриллиантов блеск острой мысли, блеск молний мятежного разума;

превращение низких страстей человеческих в благородные деяния духа превыше алхимического преобразования железа в золото.

Раскованный дух, деятельная свободная личность — таков «философский камень» поэзии Низами. Отвратить человека от угрюмого стяжательства, иссушающей жадности, помочь ему возвыситься духовно и нравственно — этой высокой цели посвятил Низами тридцать лет напряженных раздумий, поисков, создавая свои «Пять поэм».

В творчестве поэта нередко звучат мистические мотивы. Его утопия о существовании (где-то далеко на севере) страны, в которой нет бедных и богатых, может быть прочитана и истолкована как некий «град божий», как тайная крепость справедливой морали в душе человека. Но вот что исключительно важно: Низами наводит мосты между идеальной, выдуманной страной и реальностью; эта последняя должна по мере возможности стремиться к идеалу. Отсюда — уже совсем не мистическое осуждение тирании, страстный призыв к социальной справедливости. Вот ключевой бейт (двустишие) из главы о необычной «зеленой стране», открытой Александром Македонским. Всего в двух строках афористично выражено зерно социальной истины, как ее понимает Низами.

Мы имуществом нашим друг другу равны,
Равномерно богатства всем нам вручены.

Равенство имуществ — вот, по Низами, магическая формула счастливой и беспечальной жизни людей. Равенство — то чистое пламя, в котором сгорают зависть, вражда, ложь и, напротив, закаляются, становятся прочными дружелюбие, взаимопомощь, милосердие, честность, миролюбие. Продолжая сюжетно линию эллинистических романов о «счастливых островах», Низами социально заострил и поэтически возвысил никогда не умиравшую в народе мечту о равенстве.

Тот же литературный прием, когда великий завоеватель Александр Македонский находит чудесную страну, где царят равенство, согласие, доброжелательность, мы встречаем в «Книге мудрости Искандера» АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ (1414—1492 гг.). Таджикский поэт почти на триста лет моложе Низами; он представитель «золотой осени» классической таджикско-персидской поэзии. В его творчестве, отразившем глубокий кризис азиатского Возрождения, сильнее, чем у предшественников, звучат грустные мотивы пессимизма, увяданья живой мысли, заметнее ощущается жесткий «корсет» поэтических канонов. Но при всем при том он, поднявшись «в помыслах высоких, освободившись от ярма стяжанья», видит спасение в царстве свободы, равенства и справедливости. Его «город людей, чистых нравом»,— это еще одна тропинка странствий Великой Мечты, которая не заросла травой забвения.

У вольнодумца Омара Хайяма — этого великого современника Абеляра, «восточного Вийона», или у сладостно-певучего ХАФИЗА (ок. 1325—1389 или 1390 гг.) или у пленительного тончайшего СААДИ (1203—1292 гг.) — ни у одного из них мы не найдем столь прямых выходов на тропу мечты, как у Низами или Джами. Они славили свободную и неподкупную, огромную, как сердце поэта, Любовь к женщине, к земной, грешной, но честной жизни. Этот торжествующий гимн Любви и Человечности был для них способом утверждения гуманистических идеалов свободы и достоинства. Саади, впервые в восточной поэзии использовавший понятие гуманизма («адамийят» — человечность), восклицал:

Стань Человеком в помыслах, в делах,—
Потом мечтай об ангельских крылах!

Этими прекрасными словами мы и заканчиваем краткое обозрение вклада гуманистов Азии в бессмертное дело сохранения и духовного обогащения общечеловеческой Мечты о счастье.

ФОРМУЛА ЭПОХИ

В. И. Ленин называл — применительно к феодальной России XIX века — бунт крупнейших художников-реалистов, сторонников гуманизма и прогресса «горячей войной литературы против бессмысленных средневековых стеснений личности».

В гениальных ленинских словах видится ключ к пониманию непреходящей сути всего передового искусства, в том числе и эпохи Возрождения.

Оно утверждало превосходство человека над стихийными силами природы, социального зла, оно теснило богов в эпикуровские «междумирия», вознося выше небес земную Красоту, Любовь, человеческий Разум. Оно утверждало единство мечты, познания и творческой активности.

Наверное, в этом одна из тайн завораживающей прелести стихов Данте и пьес Шекспира, шедевров Леонардо, Рафаэля, Боттичелли, Тициана. Какие сильные, какие светлые, красивые люди мощно проступают сквозь внешне религиозные драпировки сюжетов! Люди — какими их мечтали видеть титаны!

Это была великая эстетическая утопия — вторая по необъятности и дерзости замысла, по красоте и силе воплощения после пластического чуда Эллады. Искусство Ренессанса несет в себе предельность ощущения каждым человеком своего достоинства, своей самоценности, своего права на счастье.

Идеал человека Возрождения органически включается поэтому в идеал коммунистический. Разумеется, в переосмысленном, обогащенном, очищенном виде.

Идеал Бозрождения утопичен и, несмотря на устремленность в будущее, ограничен рамками своей эпохи. Но «героический энтузиазм» титанов Возрождения достоин вечного восхищения, он придал новые импульсы прогрессу, знаменовал разрыв с дремотной застойностью патриархальщины, этой мертвой, неподвижной «гармонии» человека, природы и общества.

Порыв Возрождения могуч, яростен. Ему, кажется, доступно необъятное. Но, увы, он довольно скоро выродился в циничную и антигуманную, нахальную и грубую буржуазную инициативу, принесшую на землю столько горя, сделавшую личность всего лишь орудием обогащения. Но то был закономерный виток исторической спирали: ведь материальное богатство — необходимая предпосылка для полного развития господства человека над силами природы, для абсолютного, говоря словами К. Маркса, выявления творческих дарований человека, без каких-либо других предпосылок, кроме предшествовавшего исторического развития.

Символично, что формулу своей эпохи, родившей героев и титанов,— героический энтузиазм — сумел вывести человек, чье имя стало синонимом бесстрашия человеческой мысли. Жизнь и смерть ДЖОРДАНО БРУНО (1548—1600 гг.) — это нравственный подвиг во имя прогресса, во имя науки, во имя гуманизма. Как бы заглядывая в будущее, Бруно писал: «Ненавидимый глупцами, презираемый низкими людьми, хулимый неблагородными, порицаемый плутами и преследуемый зверскими отродьями, я любим людьми мудрыми...»

Известно, что весьма часто в озарении своей ненависти истину о великом человеке высказывают его враги. Некий католический профессор Шредер из Кельна в 1889 году (почти через триста лет после сожжения Бруно!) злобно прошипел: «Его (то есть Бруно.— *Ред.*) тезисы стремились ниспровергнуть не только алтари, но и троны; он был... явным врагом человеческого общества, ибо где нет бога, там нет авторитета; где нет авторитета, там нет истинной свободы, нет порядка, где нет порядка, там раскрыты двери и ворота радикальнейшему социализму... Это был... революционер в полнейшем смысле этого слова».

Воистину: для мракобесов «преступление разума» не имеет срока давности. Они до сих пор боятся человека, который презрительно швырнул в лицо инквизиторам вещие слова: «Вы с большим страхом произносите мне приговор, чем я выслушиваю его».

Он мечтал «пробудить чувства у лишенных света». И он остался среди людей, гла-

зам которых прибавил зоркости, сердцу — мужества, разуму — дерзания, духу — непреклонности.

Зловещее пламя костра, на который 17 февраля 1600 года взошел непреклонный Бруно, знаменовало закат «эпохи титанов».

Освобожденная мыслящая личность, подобно Монтеню, в ужасе отворачивается от кровавого мира; «лучше камнем быть», чем мучиться сознанием мирового зла; блаженны нищие духом...

Освобожденная мыслящая личность, подобно Ф. Бэкону (о нем речь впереди), рвется к свету науки, к волшебству техники.

Освобожденная мыслящая личность бросается в водоворот буржуазного накопительства; рождается плеяда «джентльменов удачи», циничных, жестоких, цепких.

Таково — в схеме — последующее расщепление личности эпохи Возрождения. И каждый «осколок» ее нес в себе новые зерна, но взошедшие уже на новых нивах истории.

ИСТОЧНИКИ.
ФРАГМЕНТЫ.
СТИХИ



Ф. ЭНГЕЛЬС

О СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

1

Средневековье развилось на совершенно примитивной основе. Оно стерло с лица земли древнюю цивилизацию, древнюю философию, политику и юриспруденцию, чтобы начать во всем с самого начала. Единственным, что оно заимствовало от погибшего древнего мира, было христианство и несколько полуразрушенных, утративших всю свою прежнюю цивилизацию городов. В результате, как это бывает на всех ранних ступенях развития, монополия на интеллектуальное образование досталась попам, и само образование приняло тем самым преимущественно богословский характер. В руках попов политика и юриспруденция, как и все остальные науки, оставались простыми отраслями богословия и к ним были применены те же принципы, которые господствовали в нем. Догматы церкви стали одновременно и политическими аксиомами, а библейские тексты получили во всяком суде силу закона. Даже тогда, когда образовалось особое сословие юристов, юриспруденция еще долгое время оставалась под опекой богословия. А это верховное господство богословия во всех областях умственной деятельности было в то же время необходимым следствием того положения, которое занимала церковь в качестве наиболее общего синтеза и наиболее общей санкции существующего феодального строя.

Ясно, что при этих условиях все выраженные в общей форме нападки на феодализм и прежде всего нападки на церковь, все революционные — социальные и политические — доктрины должны были по преимуществу представлять из себя одновременно и богословские ереси. Для того чтобы возможно было нападать на существующие общественные отношения, нужно было сорвать с них ореол святости.

2

...В то время как неистовые битвы господствующего феодального дворянства заполняли средневековье своим шумом, незаметная работа угнетенных классов подрывала феодальную систему во всей Западной Европе, создавала условия, в которых феодалу оставалось все меньше и меньше места. Правда, в деревне феодалы хозяйничали еще вовсю, истязали крепостных, роскошествовали за счет их пота и крови, вытаптывали их посевы, насиловали их жен и дочерей. Но кругом уже вырастали города; в Италии, Южной Франции, на Рейне возродились из пепла древнеримские муниципии; в других местах, особенно внутри Германии, создавались новые города, обнесенные защитными стенами и рвами; они представляли собой крепости гораздо более неприступные, чем дворянские замки, так как взять их можно было только с помощью значительного войска. За этими стенами и рвами развилось средневековое ремесло,— правда, достаточно пропитанное бюргерской цеховщиной и мелочностью,— накоплялись первые капиталы, возникла потребность в торговых сношениях городов друг с другом и с остальным миром, а вместе с потребностью в торговых сношениях постепенно создавались также и средства для их защиты.

В XV веке городские бюргеры стали уже более необходимы обществу, чем феодальное дворянство. Правда, земледелие было все еще главной отраслью производства, в нем была занята громадная масса населения. Но небольшое количество свободных крестьян, уцелевших кое-где вопреки посягательствам дворянства, достаточно убедительно доказывало, что в земледелии суть-то совсем не в тунеядстве и вымогательствах дворянина, а в труде крестьянина. Да к тому же и потребности дворянства настолько выросли и изменились, что даже и ему стали необходимы города; свое единственное орудие производства — свой панцирь и свое оружие — оно ведь получало из города! Сукно, мебель и украшения, производящиеся внутри страны, итальянские шелка, брабантские кружева, северные меха, арабские благовония, восточные фрукты, индийские пряности — все это, за исключением мыла, оно покупало у горожан...

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 7.

ИОСИФ ФЛАВИЙ



О ЕССЕЯХ

Отрывок

...Третья секта — ессеи. Эта секта, по-видимому, ведет наиболее праведную жизнь. Ессеи — родом иудеи, но они живут в еще более тесном любовном общении между собой. Они отвращаются от наслаждений, как от зла; воздержанность же и неподчинение страстям считают добродетелью. Они презирают брак, но берут чужих детей, пока они еще в нежном возрасте и могут быть воспитаны, считают их родными и внушают им свои нравы... Они презирают богатства, и у них господствует удивительная общность имуществ; ни одного из них не найдешь, у кого было бы больше, чем у другого. У них существует закон, что вступающие в среду избранных должны отдать общине свое имущество: так что у них нет ни крайней бедности, ни излишка богатств, но, смешавши вместе имущество всех, они имеют одно имущество, как у братьев... Они избирают попечителей общего имущества, и каждый избранный должен посвятить себя служению всем. У них нет своего города, но в разных городах их живет много. Приезжающие из других мест секты могут пользоваться всем, что у них имеется, как своей собственностью; к тем, кого они никогда не видели, они входят, как к самым близким знакомым. Поэтому, отправляясь в дорогу, они ничего не берут с собою, кроме оружия против разбойников. В каждом городе назначается особый попечитель для иногородних, снабжающих их платьем и всеми необходимыми припасами. Одеждой и внешним обликом они подобны детям, находящимся под строгой дисциплиной учителя. Платье и обувь они меняют только тогда, когда прежние совершенно изорвались или от времени сделались негодными к употреблению. Они ничего не покупают и не продают друг другу, но каждый дает из своего другому то, что ему нужно, равно как и получает у него то, в чем сам нуждается...

Волгин В. П. Предшественники современного социализма. Хрестоматия. М., 1928.



БИБЛИЯ. ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Отрывки

II

— Я — нарцисс равнины,
я — лилия долин!
— Как лилия между колючек —
моя милая между подруг!
— Как яблоня меж лесных деревьев —
мой милый между друзей!
Под сенью его я сидела,
его плод был мне сладок на вкус.

Он ввел меня в дом пированья,
надо мной его знамя — любовь!

Ягодой меня освежите,
яблоком меня подкрепите,
Ибо я любовью больна.

Его левая — под моей головою,
а правой он меня обнимает,—
Заклинаю вас, девушки Иерусалима,
газелями и оленями степными,—
Не будите, не пробуждайте
любовь, пока не проснется!

* * *

— Голос милого!
Вот он подходит,
Перебираясь по горам,
перебегая по холмам,—
Мой милый подобен газели
или юному оленю.

Вот стоит он
за нашей стеной,
Засматривает в окошки,
заглядывает за решетки.
Молвит милый мой мне, говорит мне:
«Встань, моя милая,
моя прекрасная, выйди,
Ибо вот зима миновала,
Ливни кончились, удалились,
Расцветает земля цветами,
Время пения птиц наступило,
Голос горлицы в краю нашем слышен,
Наливает смоковница смоквы,
Виноградная лоза благоухает —
Встань, моя милая,
моя прекрасная, выйди!
Моя горлица в горном ущелье,
под навесом уступов,—
Дай увидеть лицо твое,
дай услышать твой голос,
Ибо голос твой приятен,
лицо твое прекрасно!»...

IV

— Как прекрасна ты, милая,
Как ты прекрасна —
твои очи — голубицы.
Из-под фаты,
Твои волосы — как козье стадо,
что сбегает с гор гилеадских,
Твои зубы — как постриженные овцы,
возвращающиеся с купанья,
Родила из них каждая двойню,
и нет среди них бесплодной,
Как багряная нить твои губы,
и прекрасен твой рот,
Как разлом граната твои щеки
из-под фаты,
Как Давидова башня твоя шея,
вознесенная ввысь,
Тысяча щитов навешано вкруг,—
все щиты бойцов,
Две груди твои — как два олененка,
как двойня газели,—
Они блуждают меж лилий.
Пока не повеет день,
не двинутся тени,
Я взойду на мирровый холм,
на гору благовоний,—
Вся ты, милая, прекрасна,
и нет в тебе изъяна.

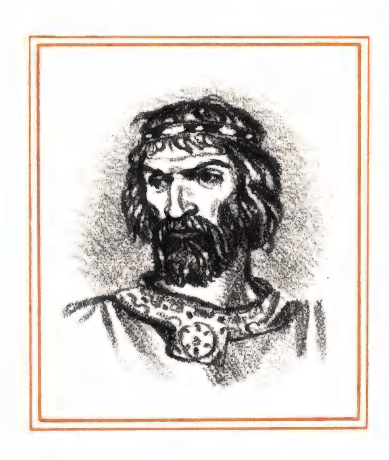
Поэзия и проза Древнего Востока. М., «Художественная литература», 1973.



БИБЛЕЙСКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ

Во всех делах твоих помни о конце.
Возлюби ближнего своего, как самого себя.
Все испытывайте, а хорошее удерживайте.
Да будет свет!
Дары ослепляют глаза мудрых и извращают дела праведных.
Зажженную свечу ставят не под спудом, а в подсвечник, чтобы светила всем.
И звезда от звезды разнится в славе.
Имеющий уши да слышит.
Ищите и обрящете.
Какой мерой мерите, такой и вам будут мерить.
Кому много дано, с того много и спросится.
Кто не желает работать, тот да не ест.
Кто не со мною, тот против меня.
Не вливают молодое вино в мехи ветхие.
Не мечите бисера перед свиньями.
Не хлебом единым жить будет человек.
Никто не может служить двум господам.
Один сеет, а жатвой завладевает другой.
Не сотвори себе кумира.
Они сеют ветер и пожнут бурю.
Перековать мечи на орала.
Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю.
Поднявший меч от меча и погибнет.

Афоризмы. М., «Прогресс», 1973.



СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

Отрывки

1

...Что мне шумит, что мне звенит издалека рано до зари? Игорь полки заворачивает: жаль ему милого брата Всеволода. Бились день, бились другой, на третий день к полудню пали стяги Игоревы! Тут разлучились братья на берегу быстрой Каялы; тут кровавого вина недостало; тут пир закончили храбрые русичи: сватов напоили, а сами полегли на землю Русскую. Никнет трава от жалости, а древо с тоской к земле приклонилось.

Уже ведь, братья, невеселое время настало, уже пустыня войско прикрыла. Встала обида в войсках Даждь-Божьего внука, вступила девой на землю Троянову, восплескала лебедиными крылами на синем море у Дона, плеская, растревожила времена обилия. Борьба князей с погаными кончилась, ибо сказал брат брату: «Это мое, и то мое же». И стали князья про малое «это великое» молвить и сами на себя крамолу ковать, а поганые со всех сторон приходили с победами на землю Русскую.

О, далеко залетел сокол, птиц избивая,— к морю! А Игорева храброго полка не воскресить!..

Изборник. Сборник произведений литературы Древней Руси. М., «Художественная литература», 1969.

* * *

Ярослав!
И все внуки Всеслава!
Преклоните знамена свои,
спрячьте в ножны
мечи посрамленные!
Ибо отвержены вы
от дедовской славы!
Это вы
своими крамолами
принялись наводить поганых

на землю Русскую,
отчизну Всеслава;
из-за распрей ведь ваших —
насилие
от земли Половецкой!..

* * *

...О!
Стонати Русской земле,
вспомянув про старое время
и прежних князей!
Того старого Владимира
и пригвоздить нельзя было
к горам Киевским!
Увы! —
А нынче полки его
те — Рюриковы,
а другие — Давыдовы!
И враждебно
их бунчуки реют,
врозь дружины поют!

На Дунае
Ярославнин голос
слышен,
зегзицею* незнаемой
на зорях кычет:
«Полечу,—
рыдает,—
я зегзицей по Дунаю,
омочу бебрян рукав,—
у Каялы-реки
утру Князю
кровавые раны
на израненном его теле!»

На зорях Ярославна кличет,
в Путивле,
на кремлевской стрельнице,
рыдая:
«О, Ветер-Ветрило!
Почто, государь мой,
враждебно веешь?
К чему
половецкие мечешь стрелы
на своих неустанных крыльях
на моего лады войско?!
Или мало тебе
там, под облаками, веять,
корабли лелея в синем море?!

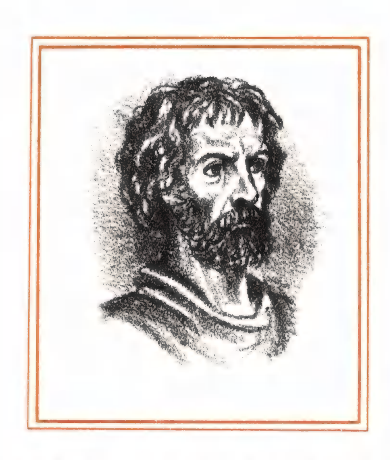
---

* Зегзица — кукушка.

За что, государь,
ты радость и счастье мое
по ковылию развеял?!»
На зорях Ярославна кличет,
в Путивле,
на кремлевской стрельнице,
рыдая:
«О, Днепр мой,
Словутич!
Ты пробился
и сквозь каменные горы,
через землю Половецкую,
ты, лелея, нес на себе
корабли Святослава
на сраженья с Кобяком,—
прилелей,
государь,
моего ладу ко мне,
дабы не слала к нему слез,
на зорях, к морю!..»

Ярославна рано кличет,
в Путивле,
на кремлевской стрельнице,
рыдая:
«Светлое
и пресветлое солнце!
Всем тепло и красно еси!
Что же ты,
государь,
жестокий луч обратило
против лады воинов —
в степи безводной
жаждою тетивы иссушило,
мукою
колчаны замкнуло?!»

Слово о полку Игореве. М., 1970.



СЛОВО ДАНИИЛА ЗАТОЧНИКА

Отрывок

Как слово пропадает, когда его часто плавят, так и человек — когда он много бедствует. Никто ведь не может ни пригоршнями соль есть, ни в горе разумным быть; всякий человек хитрит и мудрит о чужой беде, а в своей не может смыслить. Злато плавится огнем, а человек напастями; пшеница, хорошо перемолотая, чистый хлеб дает, а человек в печали обретает ум зрелый. Моль, княже, одежду ест, а печаль — человека; печаль человеку кости сушит.

Если кто в печали человеку поможет, то как студеной водой его напоит в знойный день.

Птица радуется весне, а младенец матери; весна украшает землю цветами, а ты оживляешь людей милостию своею, сирот и вдовиц, вельможами обижаемых.

Княже мой, господине! Покажи мне лицо свое, ибо голос твой сладок и образ твой прекрасен; мед источают уста твои, и дар твой как плод райский.

Когда веселишься за многими яствами, меня вспомни, хлеб сухой жующего; или когда пьешь сладкое питье, вспомни меня, теплую воду пьющего в незаветренном месте; когда же лежишь на мягкой постели под собольими одеялами, меня вспомни, под одним платком лежащего, и от стужи оцепеневшего, и каплями дождевыми, как стрелами, до самого сердца пронзаемого.

Да не будет сжата рука твоя, княже мой, господине, на подаяние бедным: ибо ни чашею моря не вычерпать, ни нашими просьбами твоего дому не истощить. Как невод не удерживает воды, а только рыб, так и ты, княже, не удерживай злата и серебра, а раздавай людям.



ЗАДОНЩИНА

Отрывки

1

...Вот уже, брат мой, подули сильные ветры с моря к устьям Дона и Днепра, принесли тучи огромные на Русскую землю; проступают из них кровавые зори и трепещут в них синие молнии. Быть стуку и грому великому у речки Непрядвы, меж Доном и Днепром, покрыться трупами человеческими полю Куликову, течь кровью Непрядве реке!

Вот уже заскрипели телеги меж Доном и Днепром, идет хинова на Русскую землю! Набежали серые волки с устья Дона и Днепра, воют стаями у реки у Мечи, хотят кинуться на Русь. То не серые волки — пришли поганые татары, хотят пройти войной всю Русскую землю!

Тогда гуси загоготали и лебеди бьют крыльями. Нет, то не гуси загоготали и не лебеди крыльями восплескали: это поганый Мамай пришел на Русскую землю и войска свои привел. А уж беды их подстерегают крылатые птицы, паря под облаками, вороны неумолчно грают, а галки по-своему галдят, орлы клекочут, волки грозно воют и лисицы брешут — кости чуют.

Русская земля, ты теперь как за царем Соломоном побывала!

А уже соколы и кречеты и белозерские ястребы рвутся с золотых колодок из каменного города Москвы, обрывают шелковые путы, взвиваясь под синие небеса, звоня золочеными колокольчиками на быстром Дону, хотят ударить на несчетные стаи гусиные и лебединые,— то богатыри и удальцы русские хотят ударить на великие силы поганого царя Мамая...

2

...И тогда как соколы стремглав полетели на быстрый Дон. То не соколы полетели: поскакал князь великий Дмитрий Иванович за Дон со своими полками, со всеми воинами. И говорит: «Брат князь Владимир Андреевич, тут, брат, изопьем медовые чары круговые, нападем, брат, своими сильными полками на рать татар поганых».

Тогда начал князь великий наступать. Гремят мечи булатные о шлемы хиновские. Прикрыли поганые головы свои руками; дрогнул враг. Ветер ревет в стягах великого князя Дмитрия Ивановича, бегут поганые, а русские сыновья широкие поля кликом огородили и золочеными доспехами осветили. Уже встал тур на бой!

Тогда князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич,

полки поганых вспять поворотили и начали их бить и сечь жестоко, тоску на них наводя. И князья их с коней низвергнуты, и трупами татарскими поля усеяны, а реки кровью их потекли. Тут поганые рассыпались в смятении и побежали непроторенными дорогами в Лукоморье, скрежещут они зубами своими, раздирают лица свои, так причитая: «Уже нам, братья, в земле своей не бывать, и детей своих не видать, и жен своих не ласкать, а ласкать нам сырую землю и целовать зеленую мураву, а в Русь ратью нам не хаживать и даней нам у русских князей не испрашивать». Застонала земля татарская, бедами и горем наполнившаяся; пропала охота у царей и князей их на Русскую землю ходить. Уже нет веселья в Орде...

Изборник. М., «Художественная литература», 1969.

ЖАН ДЕ МЕН



ИСТИННОЕ БЛАГОРОДСТВО

Отрывки

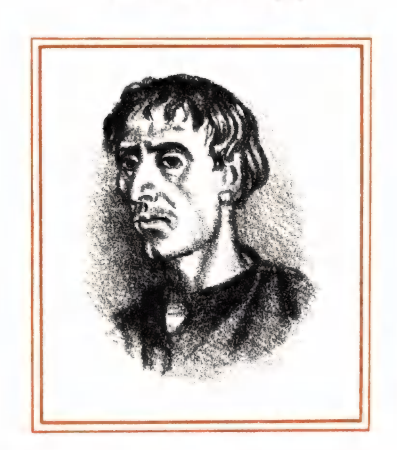
Вот поучает как Природа
Тех, кто кичится славой рода,
И вот как мудро говорит,
В чем благородство состоит.

Привычно слушать от людей,
Надутых важностью своей,
Что человек, чей знатен род
(Как говорит о нем народ),
По праву самого рожденья
Заслуживает предпочтенья
Пред тем, кто на земле корпит
И, не трудясь, не будет сыт.
По мне же благороден тот,
Кто добродетелью живет,
А подлым я б назвать могла
Того лишь, чьи дурны дела.
Все благородство — в поведенье,
А знатное происхожденье

Не стоит ровно ничего,
Коль сердце подло и черство!
Чтоб благородство сохранить,
Достойным предков надо быть,
Что славное снискали имя
В свой век заслугами своими.
Но предки, век окончив свой,
Заслуги унесли с собой,
Оставив лишь богатство детям,
Они ж довольствуются этим,
И, кроме этого, у них
Заслуг нет вовсе никаких,
Когда достойными делами
Они не вознесутся сами.

. . . .
Кто ищет благородства, тот
Пусть лень и гордость отметет;
Пусть будет грамотей иль воин,
Пусть будет честен и достоин;
Пусть будет скромен, не кичлив,
Со всеми и всегда учтив,
Но только не с врагом, когда
Еще не кончена вражда;
Пусть дам прекрасных уважает,
Но им не слишком доверяет,
Чтоб уберечь себя от бед,
Которых полон этот свет.
Такому человеку надо
Почтенье воздавать в награду;
Он всех превыше вознесен,
И благороден только он.
. . . .
...Людей я равными рождаю
И всем возможность открываю
К тому, чтоб благородства честь
Себе по праву приобресть.
Все от рожденья благородны
И все по естеству свободны,
И разумом наделены
От бога все его сыны,
Людей их разум возвышает
И ангелам уподобляет.
И только смертностью одной
От них отличен род людской.
Лишь тот, кто подвиг совершил,
Впрямь благородство заслужил,
Но быть тот подвиг должен свой,
Им совершенный, не чужой,
И герцогам, и королям
Честь воздают по их делам.
И если отпрыск королей
Исполнен низменных страстей,—
В том больший стыд, чем если б он
От свинопаса был рожден...

ЛЕНГЛЕНД



ВИДЕНИЕ О ПЕТРЕ ПАХАРЕ

Отрывок

...«Когда ж вы в дальний путь идти готовы,
Я расскажу, как правду вам найти».
(Петр Пахарь перечисляет пилигримам добродетели, через которые ведет путь к Правде: кротость, скромность, воздержание и т. д.— Ред.)
«Твой путь хорош,— сказали люди,— только нужен
На нем всегда надежный проводник».
«Клянусь святым Петром! — воскликнул Пахарь,—
Вспахать земли пол-акра должен я.

Когда я их вспашу, потом засею,
Тогда смогу указывать вам путь».
«Но нам пришлось бы долго дожидаться! —
Тут леди под вуалью возразила,—
Нам, женщинам, как время скоротать?»
«Пускай мешки зашьют! — ответил Петр,—
Чтоб не просыпалась из них пшеница.
Да, ваши пальцы, леди дорогая,
Привыкли шить по шелку и сандалу
И ризы капелланам мастерить.
Прядите лен и шерсть, вы, жены, вдовы,
И шейте одеянья холстяные;
Тому ж учите ваших дочерей.
Нагих и сирых здесь лежит немало,
И Правда их одеть повелевает.
Моя же, Пахаря, забота — пища:
Богатый, бедный ли,— все будут сыты,
Пока я жив по милости господней.
А вы, кто хочет есть и пить, придите
Помочь тому, кто взращивает хлеб!»
. . . .
«Пока я жив, служить я буду Правде!
Как пилигрим, на пользу беднякам
Отправлюсь в странствие за плугом;
Мне плуг да служит посохом дорожным
И землю предо мною бороздит!» —
Тут отошел Петруша Пахарь к плугу,
А пилигримы верные — за ним:
Ему помочь вспахать его пол-акра.
И начали они, Петру в угоду,
Копать межи, выпалывать сорняк;
Трудился каждый там, как только мог;
Петру по сердцу странников усердье.
Кто всех прилежнее меж них трудился,
Богаче всех тот будет награжден,
Когда пора наступит урожая.
Но там нашлись меж странников лентяи:
Тянули эль и пели «Тролли-лолли»,
И в этой песенке вся помощь их была.
«Клянусь душой! — воскликнул гневно Петр,—
Коль вы тотчас не приметесь работать,
Вам ни одно зерно не станет впрок,
И если скосит вас жестокий голод,
Тому сам дьявол будет только рад!»
От слов таких объял испуг лентяев.
Одни тогда прикинулись слепыми,
Другие же хромыми притворились,
И стали плакать горько и стенать.
Они к Петру с мольбою обратились:
«Помилуй боже нас, но мы — калеки,
Работать нам совсем невмоготу.
Мы за тебя молиться станем, Петр,
Чтоб бог тебе умножил урожай
И наградил тебя за милосердье;
Когда ж трудиться нам самим, несчастным!» —

«Увидим, так ли это в самом деле,—
Ответил Пахарь им.— Я только знаю,
Что вы добро привыкли расточать.
Я Правде верно издавна служу.
И расскажу ему, кто здесь трудился,
А кто здесь жил плодом трудов чужих.
И Правда вас тогда труду научит,
Не то — ячменным хлебом вам питаться
Да воду ключевую только пить!
Слепой, хромой, закованный в колодки,
Пускай со мной пшеничный хлеб вкусят,
Пока господь не дал им исцеленья.
А вы, притворщики, работать в силах:
Пасти ли скот иль охранять посевы,
Копать ли рвы иль молотить на гумнах,
Месить известку и возить навоз.
Но вы погрязли в лени и обмане
И лишь по милости вас терпит бог!..»

Хрестоматия по литературе средних веков. М., Учпедгиз, 1950.

ПЕТРАРКА



ТРИ СОНЕТА

* * *

Что ж, в том же духе продолжай, покуда
Всевышний не спалил тебя дотла
За все твои постыдные дела,
Грабитель обездоленного люда!

Чревоугодник, раб вина и блуда,
Ты мир опутал щупальцами зла,
Здесь Похоть пышное гнездо свила,

И многое еще пошло отсюда.
В твоих покоях дьявол, обнаглев,
Гуляет, зеркалами повторенный,
В объятья стариков бросая дев.

Богач никчемный, в бедности вскормленный,
Дождешься — на тебя обрушит гнев
Господь, услышав запах твой зловонный.

* * *

Благословен день, месяц, лето, час
И миг, когда мой взор те очи встретил!
Благословен тот край и дол тот светел,
Где пленником я стал прекрасных глаз!

Благословенна боль, что в первый раз
Я ощутил, когда и не приметил,
Как глубоко пронзен стрелой, что метил
Мне в сердце бог, тайком разящий нас!

Благословенны жалобы и стоны,
Какими оглашал я сон дубрав,
Будя отзвучья именем Мадонны!

Благословенны вы, что столько слав
Стяжали ей, певучие канцоны,—
Дум золотых о ней, единой, сплав!

НА ПАПСКУЮ КУРИЮ В АВИНЬОНЕ

Огонь с небес тебе на косы, злая,
Падет: отвергнув желуди с водой,
В богатстве ты — народной нищетой,
В величии — злодейством промышляя,

Гнездо предательств, ты растишь, питая,
Все зло, что днесь разлито над землей,
Сыта вином, и ложем, и едой,
Бесстыдно тут всю похоть обнажая.

В твоих палатах стариков и дев
Кружится пляс; мчит Вельзевул проворных,
Огонь, мехи и зеркало воздев.

Но впредь тебе не ведать нег позорных,
Быть на ветру нагой, босой на тернах,—
Живи же так: в грязь грянет божий гнев.

«Европейские поэты Возрождения». М., «Художественная литература», 1974.

БОККАЧЧО



«АМЕТО»

Отрывки

* * *

«...Моя мать произвела меня на свет, когда царил золотой век и Сатурн правил людьми по законам правды, так что благоденствовал каждый населенный край. Земля тогда больше изобиловала богатствами, чем людьми, и сама без понуждения давала пропитание девственным народам, ибо ветвистые дубы родили тогда столько желудей, что одни могли прокормить голодных. В те времена живущие на земле радостно славили священную рощу Додоны за приносимую ею великую пользу. В ту пору охотники, добыв зверя, съедали его, кое-как сварив мясо или обжарив на костре, и сырые корни диких растений почитали благословенной пищей. Ни одна река не отказывала в сладчайших водах своим народам: Ганг, текущий среди любезных песков, откуда начинает путь солнце, отрадно утолял жажду прозрачными струями, и за то же был любезен жителям того края Инд, полезный своими водами. Нифат светлыми водами укрощал жажду обитателей Армении, блаженный Тигр и Евфрат услаждали персов, и египетский Нил семью рукавами орошал сухие земли и серебристыми струями увлажнял пересохшее горло жаждущих...»

* * *

«...Повсюду Фетида оказывала милости своими благодатными водами, не возбуждая пороков. А люди, чьим телам был не страшен суровый холод, покрывались мохнатыми шкурами львов и других зверей; они еще не ведали и не ценили пурпурной крови моллюска, красящей шерсть; не стригли овец и разводили их ради молока, а не ради шерсти. Высокие сосны давали овцам благодатную тень в зной и укрывали от бури, густые травы служили им ложем для сна, и каждая по примеру других зверей не иначе как ради потомства предавалась похотливым желаньям.

В те времена никто не нуждался в моих трудах, ибо люди ограничивались потребностями естества. Но Земля, уготовляя себе беды, низвергла Сатурна и призвала править Юпитера, чьи законы были менее строги, а век не столь счастлив...»

Боккаччо Д. Амето. М., «Художественная литература», 1972.

МИКЕЛАНДЖЕЛО



* * *

Молчи, прошу, не смей меня будить.
О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать — удел завидный...
Отрадно спать, отрадней камнем быть.

* * *

Не правда ли — примерам нет конца
Тому, как образ, в камне воплощенный,
Пленяет взор потомка восхищенный
И замыслом, и почерком резца?

Творенье может пережить творца:
Творец уйдет, природой побежденный,
Однако образ, им запечатленный,
Веками будет согревать сердца.

И я портретом в камне или в цвете,
Которым, к счастью, годы не опасны,
Наш век могу продлить, любовь моя,—

Пускай за гранью будущих столетий
Увидят все, как были вы прекрасны,
Как рядом с вами был ничтожен я.

П. РОНСАР



* * *

Оставь страну рабов, державу фараонов,
Приди на Иордан, на берег чистых вод,
Покинь цирцей, сирен и фавнов хоровод,
На тихий дом смени тлетворный вихрь салонов.

Собою правь сама, не знай чужих законов,
Мгновеньем насладись — ведь молодость не ждет!
За днем веселия печали день придет —
И заблестит зима, твой лоб снегами тронув.

Ужель не видишь ты, как лицемерен Двор?
Он золотом одел Донос и Наговор.
Унизил Правду он и сделал Ложь великой.

На что нам лесть вельмож и милость короля?
В страну богов и нимф — беги в леса, в поля,
Орфеем буду я, ты будешь Евридикой.

«Европейские поэты Возрождения». М., «Художественная литература», 1974.

Ф. РАБЛЕ



ГАРГАНТЮА И ПАНТАГРЮЭЛЬ

Отрывки

КАК ГАРГАНТЮА ВЕЛЕЛ ПОСТРОИТЬ ДЛЯ МОНАХА ТЕЛЕМСКУЮ ОБИТЕЛЬ

...Осталось еще обеспечить монаха, которого Гаргантюа хотел было сделать аббатом в Селье, но тот отказался. Он хотел ему пожаловать аббатство Бургэй или Сен-Флоран — на выбор, или же, если понравятся, то оба сразу; но монах решительно заявил, что не хочет никаких монашеских должностей и постов.

— Как я буду,— говорил он,— управлять другими, когда я сам не умею управлять собой? Если вы думаете, что я вам оказал и смогу оказать в будущем полезные услуги, то позвольте мне основать такое аббатство, какое мне захочется.

Такая просьба понравилась Гаргантюа, и он предоставил ему с этой целью всю Телемскую область — вплоть до реки Луары — в двух милях от большого леса Пор-Гюо. Монах попросил у Гаргантюа разрешения учредить свой собственный монастырь, непохожий на все остальные.

— В таком случае,— сказал Гаргантюа,— не следует возводить вокруг него стен, ибо все остальные аббатства окружены неприступными стенами.

— Само собой разумеется,— сказал монах.— И понятно почему: там, где спереди и сзади стоят стены, там и зависть, и ропот, и взаимные козни.

— А поскольку в иных монастырях существует обычай — в тех случаях, когда туда войдет женщина (речь идет о целомудренных и приличных), очищать место, по которому она прошла,— у нас будет постановлено, чтобы самым тщательным образом очищались те места, по которым случайно пройдет какой-нибудь монах или монахиня. И так как в монастырях все бывает размерено, рассчитано и распределено по часам, у нас особым указом будут запрещены всякого рода часы и циферблаты, и все дела будут отправляться соответственно удобству и надобности, потому что самая великая потеря времени, какую я знаю,— говорил Гаргантюа,— это отсчитывание часов. Какая от этого польза? Нет ничего глупее, как руководствоваться звоном колокола, а не указанием здравого смысла и разума. Далее: так как в наши дни в монастырь поступают только женщины кривые, хворые, горбатые, уродливые, некрасивые, глупые, тупые и порченые, а из мужчин — только хилые, худородные, бездельники и никудышные...

— Кстати,— спросил монах,— на что годится женщина недобрая и некрасивая?

— В монастырь,— сказал Гаргантюа.

— Правда,— ответил монах,— да еще рубашки шить.

— ...то у нас,— продолжал Гаргантюа,— будет установлено, что в наш монастырь будут принимать только красивых, хорошо сложенных и несварливых мужчин и женщин. Далее: так как в женский монастырь мужчины входят только украдкой и тайком, у нас будет предписано, чтобы женщины не имели права бывать там тогда, когда нет мужчин, а мужчины тогда, когда нет женщин.

«Далее: так как мужчины и женщины, по принятии их в монастырь, после годового послушничества насильно принуждаются оставаться там всю свою жизнь, то у нас будет установлено, что все принятые к нам мужчины и женщины имеют право уйти, когда им вздумается, вполне свободно и беспрепятственно».

«Далее: так как обычно монахи дают три обета — целомудрия, бедности и послушания,— у нас будет установлено, что каждый монах должен состоять в законном браке, быть богатым и жить на свободе, что касается обязательного возраста, то женщины будут приниматься только от десяти до пятнадцати, а мужчины — от двенадцати до восемнадцати лет...»

НАДПИСЬ НА ГЛАВНЫХ ДВЕРЯХ ТЕЛЕМСКОЙ ОБИТЕЛИ

Стихотворная надпись в сто строк содержит длинное перечисление всех, кому возбраняется доступ в обитель, и всех тех, кого приглашают туда вступить.

...В первую очередь из обители изгоняются лицемеры, ханжи и святоши, чванные пустосвяты, истязатели плоти, интриганы и склочники. Лживости и притворству нет места там, где льется песня от полноты души.

Нет входа в обитель сутягам, стряпчим, мироедам, писцам, приказным, судьям старого толка и прочего рода фарисеям: влечение к таким делам не должно отравлять живущих в Телеме.

Равным образом воспрещается вход хапугам, ростовщикам, скрягам, менялам, кулакам, представляющим собой оскорбление образа человеческого.

Права на вход не имеют: старые ревнивцы, их подхалимы и сыщики, развратники, шелудивые венерики... В обители все здоровы телом и оттого счастливы...

Наоборот, просят добро пожаловать все благородное рыцарство великих и малых орденов, всех весельчаков, шутников, зубоскалов и хороших товарищей... Приглашаются также все те, кто толкует Евангелие не по мертвой букве; в обители они найдут крепкое убежище против своих врагов, отравителей народа...

Здесь будут желанными гостьями высокие происхождением и красотой женщины, прямые станом, целомудренные... Эта обитель создана для них, и с этой целью ее одарил богатствами ее щедрый покровитель.

ЖИЛИЩЕ ТЕЛЕМИТОВ

Посреди двора находился великолепный фонтан с тремя Грациями из прекрасного алебастра; в руках они держали рог изобилия, из их грудей, изо рта, ушей, глаз и других отверстий лилась вода.

Внутренние части этого дворика поддерживались толстыми колоннами из халцедона и порфира, с прекрасными античными арками. Внутри под арками тянулись прекрасные галереи, длинные, широкие, украшенные живописью, оленьими рогами, а также рогами единорогов, носорогов, клыками гиппопотамов и слонов, а также и другими замечательными вещами.

Дамы занимали помещения между башнями Артис и Мезембриной, мужчины — все остальные. Перед помещением дам, для их развлечения, между двумя первыми башнями находились: стадион, ипподром, театр, бассейны для плавания и великолепные трехъярусные бани, прекрасно снабженные всем необходимым, в том числе и благовонной смолистой водой.

Близ реки был разбит красивый парк для прогулок, с прекрасным лабиринтом посередине. Между двумя другими башнями высились манежи для игры в малые и большие

мячи. Со стороны башни Криэр находился фруктовый сад со всевозможными плодовыми деревьями, рассаженными по косым линиям. В стороне был устроен огромный парк, кишевший всевозможными зверями.

Между третьими башнями помещался тир, где стреляли из лука, пищали и арбалета. За башней Гесперией шли службы в один этаж, за службами — конюшни. Около конюшен — соколиная служба, которой заведовали весьма опытные в своем деле сокольничие. Охота ежегодно пополнялась из Кандии, Венеции и Сарматии лучшими образцами всякой птицы: орлами, ястребами, коршунами, кречетами, соколами, стервятниками, воронами, сапсанами и другими.

Птицы были так приручены и обучены, что, вылетая из замка порезвиться в поле, ловили все, что им попадалось навстречу. Псарня была немного подальше, около парка.

Все залы, комнаты и покои были убраны коврами, менявшимися в зависимости от времени года. Полы были покрыты зеленым сукном, постели — дорогими вышивками. В каждой уборной комнате стояло хрустальное зеркало в раме из чистого золота, отделанной жемчугом. Зеркало было такой величины, что отражало человека во весь рост...

КАКОЙ ПОРЯДОК БЫЛ УСТАНОВЛЕН В ЖИЗНИ ТЕЛЕМИТОВ

Вся их жизнь направлялась не законами, статутами и предписаниями, а доброй, свободной волей. С постели они вставали когда заблагорассудится; пили, ели, работали, спали, когда приходила охота. Никто их не будил, никто не принуждал ни пить, ни есть, ни делать что другое. Так постановил Гаргантюа. В их регламенте значилась одна лишь статья:

«ДЕЛАЙ ЧТО ХОЧЕШЬ».

Ибо люди свободные, благородные, образованные, живущие в приличном обществе, уже от природы обладают инстинктом и побуждением, которые толкают их на добродетельные поступки и отвлекают от порока: этот инстинкт называется честью.

Но когда те же люди подавлены и порабощены низким насилием и принуждением, они направляют то самое благородное рвение, которое раньше свободно влекло их к добродетели, на свержение и сокрушение своего рабства, ибо мы всегда стремимся к тому, что запрещено, и жаждем того, в чем нам отказывают.

Благодаря этой свободе установилось похвальное стремление делать всем сразу то, чего хотелось кому-нибудь одному. Если кто-нибудь — мужчина или дама — говорил: «выпьем!» — все выпивали. Если кто-нибудь говорил: «сыграем!» — все играли. Скажет кто-нибудь: «пойдем порезвимся в поле!», и все соглашались идти. Стоило заикнуться об охоте — и дамы выбирали себе прекрасных иноходцев, сажая сокола, кречета, ястреба или другого хищника на руку, изящно обтянутую перчаткой. Мужчины держали других птиц.

Все они были так тонко образованы, что не было среди них таких, кто не умел бы читать, писать, петь, играть на музыкальных инструментах, говорить на пяти-шести языках, и на каждом языке писать как стихами, так и обыкновенной речью.

Никогда еще не видывали таких храбрых, сильных и ловких в ходьбе и верховой езде кавалеров. Никто лучше их не владел оружием; не было людей бодрее и веселее, чем они.

Не видывали никогда и таких нарядных, милых дам, никогда не знающих скуки и весьма искусных в рукоделье, в шитье, во всякой пристойной и свободной женской работе.

И поэтому, когда кому-нибудь из мужчин приходило время покинуть обитель по желанию ли родителей или по какой-либо иной причине, то он увозил с собой одну из дам — ту, которая избрала его своим поклонником,— и они вступали в брак. Если в Телеме они всегда жили в преданности и дружбе, то еще лучшую жизнь проводили они в браке и до конца своих дней любили друг друга так же, как в день свадьбы...

Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. М., «Правда», 1956.

М. МОНТЕНЬ



ОПЫТЫ

Отрывки

* * *

...Итак, мы можем, конечно, назвать жителей Нового Света варварами, если судить с точки зрения требований разума, но не на основании сравнения с нами самими, ибо во всякого рода варварстве мы оставили их далеко позади себя. Их способ ведения войны честен и благороден, и даже извинителен и красив — настолько, насколько может быть извинителен и красив этот недуг человечества: основанием для их войн является исключительно влечение к доблести. Они начинают войну не ради завоевания новых земель, ибо все еще наслаждаются плодородием девственной природы, снабжающей их, без всякого усилия с их стороны, всем необходимым для жизни в таком изобилии, что им незачем расширять собственные пределы. Они все еще пребывают в том благословенном состоянии духа, когда в человеке еще нет желаний сверх вызываемых его естественными потребностями; все то, что превосходит эти потребности, им ни к чему. Всех своих единомышленников, которые примерно одинакового с ними возраста, они называют братьями, младших — своими детьми, стариков же — отцами. Эти последние оставляют свое имущество в наследство всей общине, без раздела и без всякого иного права на владение им, кроме того, какое дарует своим созданиям, производя их на свет, природа. Если соседи их, перейдя через горы, совершают на них нападение и одерживают победу, то вся добыча победителя — только в славе да еще в сознании своего превосходства в силе и доблести; им нет дела до имущества побежденных, они возвращаются в свою область, где у них нет недостатка ни в чем, а главное — в том величайшем благе, которое состоит в умении наслаждаться своей долей и довольствоваться ею. Так же поступают, в свою очередь, и они сами, когда им случается быть победителями. Они не требуют от своих пленных иного выкупа, кроме громко сделанного заявления, что те признали себя побежденными; но в течение целого столетия не нашлось среди них такого, который не предпочел бы умереть, нежели хоть сколько-нибудь поступиться в своих речах или действиях величием своего несокрушимого мужества; и не встретишь среди них такого, который из страха быть убитым и съеденным соизволил бы попросить о том, чтобы с ним не сделали этого. Они предоставляют пленникам полную свободу для того, чтобы жизнь приобрела для них тем большую цену, и постоянно толкуют им об угрожающей им близкой смерти, о муках, которые им

предстоит вытерпеть, о приготовлениях, производимых с этой целью, о том, как они разрубят их на кусочки и будут лакомиться ими на своем пиршестве. Все это делается исключительно для того, чтобы вырвать у них хотя бы несколько малодушных и униженных слов или пробудить в них желание бежать и таким образом, напугав их и сломив их стойкость, почувствовать свое превосходство над ними.

* * *

...Надо судить о человеке по качествам его, а не по нарядам, и, как остроумно говорит один древний автор, «знаете ли, почему он кажется вам таким высоким? Вас обманывает высота его каблуков». Цоколь — еще не статуя. Измеряйте человека без ходулей. Пусть он отложит в сторону свои богатства и звания и предстанет перед вами в одной рубашке. Обладает ли тело его здоровьем и силой, приспособлено ли оно к свойственным ему занятиям? Какая душа у него? Прекрасна ли она; одарена ли способностями и всеми надлежащими качествами? Ей ли принадлежит ее богатство или оно заимствовано? Не обязана ли она всем счастливому случаю? Может ли она хладнокровно видеть блеск обнаженных мечей? Способна ли бесстрашно встретить и естественную и насильственную смерть? Достаточно ли в ней уверенности, уравновешенности, удовлетворенности? Вот в чем надо дать себе отчет, и по этому надо судить о существующих между ними громадных различиях...

И тем не менее таково обычное наше ослепление, что мы очень мало или совсем не считаемся с этим. Когда же мы видим крестьянина и короля, дворянина и простолюдина, сановника и частное лицо, богача и бедняка, нашим глазам они представляются до крайности несходными, а между тем они, в сущности, отличаются друг от друга только своим платьем...

Царь — всего-навсего человек. И если он плох от рождения, то даже власть над всем миром не сделает его лучше...

* * *

Наименее недостойным представляется мне то сословие, которое по причине своей простоты занимает последнее место; больше того, его жизнь кажется мне наиболее упорядоченной: нравы и речи крестьян я, как правило, нахожу более отвечающими предписаниям истинной философии, чем нравы и речи наших присяжных философов. «Народ мудрее, ибо он мудр настолько, насколько нужно» (Лактанций).

* * *

Удовлетворенность ума — признак его ограниченности или усталости. Ни один благородный ум не остановится по своей воле на достигнутом: он всегда станет притязать на большее, и выбиваться из сил, и рваться к недостижимому. Если он не влечется вперед, не торопится, не встает на дыбы, не страдает, значит, он лишь наполовину жив. Его стремления не ведают четкой намеченной цели и строгих рамок, пища его — изумление перед миром, погоня за неизвестным, дерзновение. То же было и в оракулах Аполлона, всегда двусмысленных, темных, уклончивых; они не давали настоящего удовлетворения, а только развлекали и тревожили сознание. Все это — беспорядочное, но непрерывное движение вперед, по неизведанным путям и к неясной цели. Мысли наши распаляются, бегут друг за другом, одна порождает другую...

Монтень М. Об искусстве жить достойно. М., 1973.

Дж. БРУНО



СОНЕТ

Кто дух зажег, кто дал мне легкость крылий?
Кто устранил страх смерти или рока?
Кто цепь разбил, кто распахнул широко
Врата, что лишь немногие открыли?

Века ль, года, недели, дни ль, часы ли
(Твое оружье, время!) — их потока
Алмаз, ни сталь не сдержат, но жестокой
Отныне их я не подвластен силе.

Отсюда ввысь стремлюсь я, полон веры,
Кристалл небес мне не преграда боле,
Но, вскрывши их, подъемлюсь в бесконечность.

И между тем, как все, в другие сферы
Я проникаю сквозь эфира поле,
Внизу — другим — я оставляю Млечность.

«Европейские поэты Возрождения» М., «Художественная литература», 1974.

СЕРВАНТЕС



ДОН-КИХОТ

Отрывок

— Блаженны времена и блажен тот век, который древние назвали золотым,— и не потому, чтобы золото, в наш железный век представляющее собой такую огромную ценность, в ту счастливую пору доставалось даром, а потому, что жившие тогда люди не знали двух слов: твое и мое. В те благословенные времена все было общее. Для того чтоб добыть себе дневное пропитание, человеку стоило лишь вытянуть руку и протянуть ее к могучим дубам, и ветви их тянулись к нему и сладкими и спелыми своими плодами щедро его одаряли. Быстрые реки и светлые родники утоляли его жажду роскошным изобилием приятных на вкус и прозрачных вод. Мудрые и трудолюбивые пчелы основывали свои государства в расселинах скал и в дуплах дерев и безвозмездно потчевали любого просителя обильными плодами сладчайших своих трудов. Кряжистые пробковые дубы снимали с себя широкую свою и легкую кору не из каких-либо корыстных целей, но единственно из доброжелательности, и люди покрывали ею свои хижины, державшиеся на неотесанных столбах,— покрывали не для чего-либо, а лишь для того, чтобы защитить себя от непогоды. Тогда всюду царили дружба, мир и согласие. Кривой лемех тяжелого плуга тогда еще не осмеливался разверзать и исследовать милосердную утробу праматери нашей, ибо плодоносное ее и просторное лоно всюду и добровольно наделяло детей, владевших ею в ту пору, всем, что только могло насытить их, напитать и порадовать. Тогда по холмам и долинам гуляли прекрасные и бесхитростные пастушки в одеждах, стыдливо прикрывавших лишь то, что всегда требовал и ныне требует прикрывать стыд, с обнаженною головою, в венках из сочных листьев подорожника и плюща вместо уборов, что́ вошли в моду за последнее время и коих отделку составляют тирский пурпур и шелк, подвергающийся всякого рода пыткам, и в этом своем наряде они были, наверное, столь же величественны и изящны, как и светские наши дамы с их причудливыми и диковинными затеями, на которые толкает их суетная праздность. Тогда движения любящего сердца выражались так же просто и естественно, как возникали, без всяких искусственных украшений и околичностей. Правдивость и откровенность свободны были от примеси лжи, лицемерия и лукавства. Корысть и пристрастие не были столь сильны, чтобы посметь оскорбить или же совратить тогда еще всесильное правосудие, которое они так унижают, преследуют и искушают ныне. Закон личного произвола не тяготел над помыслами судьи, ибо тогда еще некого и не за что было судить...

Сервантес. Дон Кихот Ламанчский. М., «Молодая гвардия», 1976.

НИЗАМИ



ИСКАНДЕР-НАМЕ

Отрывки

* * *

...И открылся им дол, сладким веющий зовом,
Обновляющий души зеленым покровом.

Царь глазами сказал приближенным: «Идти
В путь дальнейший — к подарку благого пути!»

И порядок, минуя и рощи и пашни,
Встретил он и покой,— здесь, как видно, всегдашний:

Вся дорога в садах, но оград не найти.
Сколько стад! Пастухов же у стад не найти.

Сердце царского стража плода захотело,
К отягченным ветвям потянулся он смело

И к плоду был готов прикоснуться, но вдруг
Он в сухотке поник, словно согнутый лук.

Вскоре всадник овцу изловил и отменно
Был наказан: горячку схватил он мгновенно.

Понял царь назиданье страны. Ни к чему
Не притронулся сам и сказал своему

Устрашенному воинству: «Будут не рады
Не отведшие рук от садов без ограды!»

И, помчавшись, лугов миновал он простор,
И сады, и ручьев прихотливый узор.

И увидел он город прекрасного края
Изобильный, красивый,— подобие рая.

К въезду в город приблизился царь. Никаких
Не нашел он ворот, даже признака их.

Был незапертый въезд как распахнутый ворот.
И со старцами царь тихо двинулся в город.

Он увидел нарядные лавки; замков
Не висело на них: знать, обычай таков!

Горожане любезно, с улыбкой привета,
Чинно вышли навстречу Властителю света.

И введен был скиталец, носивший венец,
В необъятный, как небо, лазурный дворец...

* * *

...Молвил царь: «Ваше мужество,— странно оно,
Почему осторожности вам не дано?

Сколько видел я ваших домов, на которых
Нет замков! Позабыли вы все о затворах.

Столько дивных садов, но они без оград!
И без пастырей столько кочующих стад!

Сотни тысяч овец на равнине отлогой
И в горах! Но людей не встречал я дорогой.

Где защитники ваши? Они каковы?
На какую охрану надеетесь вы?»

И страны справедливой старейшины снова
Искандеру всего пожелали благого:

«Ты увенчан творцом. Пусть великий творец
Даст Властителю счастье, как дал он венец!

Ты, ведомый всевышним, скитаясь по странам,
Имя царское славь правосудья чеканом.

Ты спросил о добре и о зле. Обо всем
Ты узнаешь. Послушай, как все мы живем.

Скажем правду одну. Для неправды мы немы.
Мы, вот эти места заселившие, все мы —

Незлобивый народ. Мы верны небесам.
Что мы служим лишь правде, увидишь ты сам.

Не звучат наши речи фальшивым напевом,
Здесь неверность, о царь, отклоняется с гневом.

Мы закрыли на ключ криводушия дверь,
Нашей правдою мир одолели. Поверь:

Лжи не скажем вовек. Даже в сумраке дремы
Неправдивые сны нам, о царь, незнакомы.

Мы не просим того, что излишне от нас.
Этих просьб не доходит к всевышнему глас.

Шлет господь нам все то, что всем нам на потребу.
А вражда, государь, нежелательна небу.

Что господь сотворил, то угодно ему.
Неприязни питать не хотим ни к чему.

Помогая друзьям, всеблагому в угоду,
Мы свою не скорбя переносим невзгоду.

Если кто-то из нас в недостатке большом
Или малом и если мы знаем о том,

Всем поделимся с ним. Мы считаем законом,
Чтоб никто и ни в чем не знаком был с уроном.

Мы имуществом нашим друг другу равны.
Равномерно богатства всем нам вручены.

В этой жизни мы все одинаково значим,
И у нас не смеются над чьим-либо плачем.

Мы не знаем воров; нам охрана в горах
Не нужна. Перед чем нам испытывать страх?

Не пойдет на грабеж нашей местности житель.
Ниоткуда в наш край не проникнет грабитель.

Не в чести ни замки, ни засовы у нас.
Без охраны быки и коровы у нас.

Львы и волки не трогают вольное стадо,
И хранят небеса наше каждое чадо.

* * *

...Не научены мы, о великий, злословью,
Мы прощаем людей, к ним приходим с любовью.

Коль не справится кто-либо с делом своим,
Мы советов благих от него не таим.

Не укажем дорог мы сомнительных людям.
Нет смутьянов у нас, крови лить мы не будем.

Делит горе друг с другом вся наша семья,
Мы и в радости каждой — друг другу друзья.

Серебра мы не ценим и золота — тоже.
Здесь они не в ходу и песка не дороже.

* * *

...Угождения чрева не чтя никакого,
Мы не против напитков, не против жаркого.

Надо есть за столом, но не досыта есть.
Этот навык у всех в нашем городе есть.

Юный здесь не умрет. Нет здесь этой невзгоды.
Здесь умрет лишь проживший несчетные годы.

Слез над мертвым не лить — наш всегдашний завет —
Ведь от смертного дня в мире снадобья нет.

Мы не скажем в лицо неправдивого слова,
За спиной ничего мы не скажем иного.

Мы скромны, мы чужих не касаемся дел.
Не шумим, если кто-либо лишнее съел.

Мы и зло и добро принимаем не споря:
Предначертаны дни и веселья и горя.

И про дар от небес, про добро и про зло
Мы не спросим: что это? Откуда пришло?

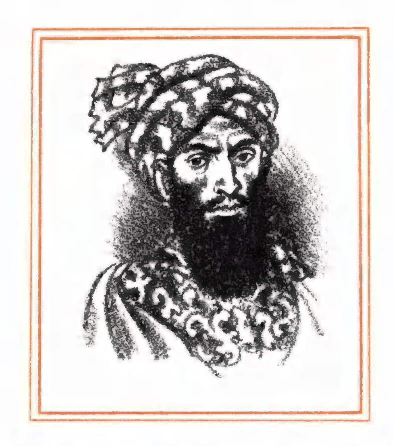
Из пришельцев, о царь, тот останется с нами,
Кто воздержан, кто полон лишь чистыми снами.

Если наш он отринет разумный закон,
То из нашей семьи будет выведен он».

Увидав этот путь, благодатный и правый,
В удивленье застыл Искандер величавый.

Низами. Пять поэм. М., «Художественная литература», 1968.

ФИРДОУСИ



СЛОВО В ПОХВАЛУ РАЗУМА

Пришла пора, чтоб истинный мудрец
О разуме поведал наконец.

Яви нам слово, восхваляя разум,
И поучай людей своим рассказом.

Из всех даров, что разума ценней?
Хвала ему — всех добрых дел сильней.

Венец, краса всего живого — разум,
Признай, что бытия основа — разум.

Он твой вожатый, он — в людских сердцах,
Он с нами на земле и в небесах.

От разума — печаль и наслажденье,
От разума — величье и паденье.

Для человека с чистою душой
Без разума нет радости земной.

Ты мудреца слыхал ли изреченье?
Сказал он правдолюбцам в поученье:

«Раскается в своих деяньях тот,
Кто, не подумав, действовать начнет.

В глазах разумных — дураком он станет,
Для самых близких — чужаком он станет».

Друг разума — в почете в двух мирах,
Враг разума — терзается в цепях.

Глаза твоей души — твой светлый разум,
А мир объять ты можешь только глазом...

...Не спрашивай о первых днях творенья
До нашего с тобою появленья,

Но, созданный всевышним в некий миг,
Ты явное и тайное постиг.

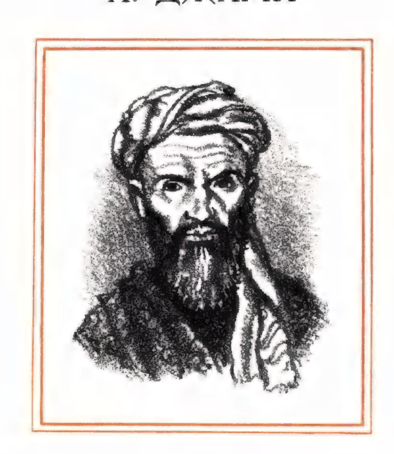
Иди же вслед за разумом с любовью,
Разумное не подвергай злословью.

К словам разумных ты ищи пути,
Весь мир пройди, чтоб знанья обрести.

О том, что ты услышал, всем поведай,
С упорством корни знания исследуй:

Лишь ветви изучив на древе слов,
Дойти ты не сумеешь до основ.

А. ДЖАМИ



РАССКАЗ О ТОМ, КАК ИСКАНДАР ДОСТИГ ГОРОДА ЛЮДЕЙ, ЧИСТЫХ НРАВОМ

Мир Искандар решил завоевать,
Чтоб явное и тайное узнать.

Его поход был труден и велик.
И дивного он города достиг.

То город был особенных людей.
Там не было ни шаха, ни князей,

Ни богачей, ни бедных. Все равны,
Как братья, были люди той страны.

Был труд их легок, но всего у них
В достатке было от плодов земных.

Их нравы были чисты. И страна
Не ведала, что в мире есть война.

У каждой их семьи был сад и дом,
Не заперт ни затвором, ни замком.

Построен перед каждым домом был
Подземный склеп для родственных могил.

Был Искандар их жизнью удивлен,
И вот какой вопрос им задал он:

«Все хорошо у вас, но почему
Гробницы вам при жизни? Не пойму!»

Ответили: «Построены они,
Дабы во все свои земные дни

О смерти помнил каждый человек,
Чтоб праведно и честно прожил век.

Врата гробниц — безмолвные уста;
Но мудрым говорит их немота,

Что кратки наши дни, что все умрем,
Что этих уст мы станем языком».

Шах вопросил: «А что ж вы без замков
Живете, дверь открывши для воров?»

Ему сказали: «Нет у нас воров,
Как нет ни богачей, ни бедняков,

У нас все обеспечены равно,
Здесь, если бросишь на землю зерно,

Ты сам-семьсот получишь урожай,
Так щедро небом одарен наш край».

Шах вновь им: «Почему никто из вас
Меча не обнажил в урочный час,

Чтоб власть свою народу объявить,
Чтоб твердый свой закон установить?

Как можно жить без власти? Не пойму?»
И граждане ответили ему:

«Нет беззаконий средь людей страны!
Нам ни тиран, ни деспот не нужны».

Вновь шах спросил их: «Дайте мне ответ!
А почему средь вас богатых нет?»

Сказали шаху: «Нам — сынам добра —
Противна жадность к грудам серебра.

Нет в мире яда — алчности страшней,
И нет порока — скупости гнусней.

Обычаи и нравы эти к нам
Пришли от предков, от отцов к сынам.

Отцами наши взращены сады,
Мы их храним, снимаем их плоды».

Был Искандар всем этим поражен,
И повернул войска обратно он.

«Звезды поэзии». Душанбе, 1976.




Глава IV
ПРЕДТЕЧИ


Мюнцер


Мор


Кампанелла


Бэкон
Мильтон
Мелье

Железо горячо,
куйте его!
Т. МЮНЦЕР

ЕРЕТИКИ

Теперь нам предстоит окунуться в огненную купель бунтов, жестоких классовых битв, пройти дорогой позднего средневековья, по обе стороны которой — частокол виселиц и эшафотов, поля, усеянные костями еретиков, имевших мужество поднять руку на святая святых несправедливого мира — частную собственность. Небо над этой дорогой багровеет заревами крестьянского «красного петуха», предвестника грозного возмездия эксплуататорам и душителям свободы.

Уот Тайлер в Англии, Жакерия во Франции, Великая крестьянская война в Германии, вольница Степана Разина в России... Скрежет разрываемых цепей — и новые цепи... Одна мечта, одна горестная судьба... И так нескончаемо, упрямо, от поражения к поражению. Но страшные жертвы были не напрасны! От их костров зажигались новые светильники разума. На пепелищах несбывшихся надежд рождались новые идеи, новые страстные проповеди народных заступников. «Колесо истории» вращалось все быстрее.

Итак, наш путь — в долины скорби и гнева. Слово еретикам и бунтарям, носителям Мечты яростной, обжигающей, исступленной. Слово — о них.

Что могло стать идейным знаменем суеверного, темного, задавленного нуждой, одурманенного религией трудового люда? Для этой роли не подходили пышные и светлые одежды античности, в которые драпировалось Возрождение. Разумеется, дерзновенные антицерковные выпады гуманистов, их огромная работа по расчистке авгиевых конюшен средневековья, ориентация на героический энтузиазм личности — все это разжигало огонь народного гнева. Более того, лучшие из лучших, честнейшие из честных шли вместе с народом в бой за национальную независимость или воссоединение своих стран.

И тем не менее массовые революционно-антифеодальные движения, в том числе и первые победоносные буржуазные революции в Нидерландах и Англии, осуществлялись под религиозным флагом. Ведь на протяжении долгих столетий «чувства масс были вскормлены исключительно религиозной пищей; поэтому, чтобы вызвать бурное движение, необходимо было собственные интересы этих масс представлять им в религиозной одежде» (Ф. Энгельс).

Да и сами гуманисты в подавляющем большинстве своем не годились на роли вождей революционных масс. Наиболее

мудрые и дальновидные из них предпочитали оставаться над схваткой, разить врагов не мечом, а пером, размышлять о будущем, уповая на прогресс разума и нравов. Другие «лезли в драку», становясь, скажем, на сторону протестантов — буржуа, но при этом неизбежно теряли из виду общую перспективу происходящего.

Нельзя обойти молчанием позиции и взгляды гуманистов времен германской реформации — этого первого акта европейской буржуазной революции.

Крупнейшая фигура среди них—ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ (1469—1536 гг.), современник и друг великого утописта Томаса Мора, создатель бессмертной сатиры «Похвала глупости». Находясь в центре «кипящего котла», каким была Германия первой четверти XVI века, он немало сделал — оружием критики, с помощью сатиры — для подготовки массового восстания против духовной диктатуры Рима. Но, когда дело дошло до «критики оружием», Эразм уклонился от бурь, ушел в холодные сферы иронии и созерцания.

«Он был Вольтером того времени, великим революционером в области мысли, который своим скептицизмом, своим тонко выраженным сомнением, за которым на самом деле стояло неверие в старые истины, чрезвычайно сильно потрясал основы средневековья» (А. В. Луначарский).

Эразм интересен для нас и как автор вдохновляющей, целостной утопии «вечного мира». Мечта о мире неотделима от мечты о лучшем будущем. Мира жаждал рыцарь Дон-Кихот («Мир есть прямая цель войны»); к миру взывали и Петрарка и Шекспир; но Эразм был первым автором стройной концепции миролюбия и содружества разных народов и рас. Как актуально, как остро и точно звучат сегодня, через пятьсот лет, слова великого борца против мракобесия: «Бóльшая часть народа ненавидит войну и молит о мире. Лишь немногие, чье подлое благополучие зависит от народного горя, желают войны».

...«Немецким Данте», рыцарем пера и меча был УЛЬРИХ ФОН ГУТТЕН (1488—1523 гг.). Все его творчество носило воинствующе публицистический характер; все силы свои отдал он делу борьбы с папством и феодально-княжеской раздробленностью Германии. Вот уж кто не боялся «обжечь себе пальцы»! Но, храбрый воин, он был столь же далек от народа и его чаяний, как и «олимпиец» Эразм. Его утопия «дворянской демократии» базировалась на истинно донкихотской мечте о восстановлении благородного, безупречного рыцарства. Это была красивая, но насквозь реакционная утопия, хотя и воевал храбрый Ульрих отнюдь не с ветряными мельницами, а с хозяевами этих мельниц.

Фон Гуттен, однако, одним из первых услышал грозный гул надвигающейся народной революции, страшился ее, но считал неизбежной: «Немецкий народ, замученный, угнетенный, задавленный поборами, не станет больше терпеть!»

Огромную роль в пробуждении революционного сознания народных масс Германии сыграл МАРТИН ЛЮТЕР (1483—1546 гг.) — отец реформации, лидер бюргерско-умеренной оппозиции папству и феодальным князьям. Он был велик, когда открыто выступил с «Тезисами» против торговли индульгенциями, когда сжег публично папскую буллу, пробуждая в людях жажду свободы и духовного раскрепощения. Однако в конце концов, насмерть запуганный пожаром гражданской войны, профессор Лютер открыто предал свою паству, призывая душить восставших крестьян «как бешеных собак».

Революционно-плебейская оппозиция феодализму, проходящая огненной нитью сквозь все средневековье, выступала в ином, более радикальном виде. Народная ересь шла гораздо дальше бюргерских мечтаний о «дешевой церкви». Взоры угнетенных и их идеологов обращались в далекое прошлое, к «коммунизму» первохристиан, к хилиастическим упованиям «Апокалипсиса». Бесправная масса хотела выйти даже за пределы едва нарождавшегося буржуазного общества. Ничего не имея, она, эта масса, трудом своим создавала все богатства общества — и потому сознавала свое неотъемлемое право возродить правду, справедливость и равенство — в рамках веры и во имя веры. Средневековые ереси — не в лютеранском, а в революционно-демократическом своем варианте — стали переходной стадией от «коммунизма потребления» первых хри-

стианских сект к утопическому социализму XVI—XVII веков.

Уже к XIV веку в Англии оппозиция папству, господству римской церкви все более тесно смыкается с революционным брожением крестьянства. Через века слышим мы, как гремит голос Джона Болла, соратника Уота Тайлера, одного из учеников Ленгленда: «Любезные братья! Жизнь в Англии не станет лучше, пока не будет введена общность имущества и пока не исчезнут дворяне и крепостные, пока мы не станем все равными... Мы все происходим от одних и тех же родителей, от Адама и Евы. Чем эти господа могут доказать, что они лучше нас?»

В первой половине XV века вслед за Боллом и Тайлером знамя равенства поднимают табориты — революционно-демократическое крыло гуситского движения в Чехии. На крайне левом фланге их мы видим секту адамитов, поборников абсолютного, «голого» равенства, полной общности имущества, включающей даже... общность жен. Сюда, к адамитам, тянутся нити буржуазной сказки для обывателя об «общем одеяле», будто бы уготованном коммунистами для человечества.

К адамитам ведет и другая сказка (сколь многие из честных гуманистов еще обожгут себе не только пальцы, но и сердце об эту сказку!) — о враждебности трудовой массы науке, технике, прогрессу. Причины якобы «ретроградства» неистовых еретиков — в извечной противоположности умственного и физического труда. Ликвидировать эту противоположность в тех исторических условиях можно было лишь одним путем — уравниванием, низведением и ученых вместе с дворянами, попами, лакеями до уровня нищих тружеников.

Еретики вместе с тем придавали огромное значение воспитанию и образованию подрастающего поколения — и тоже на началах всеобщего равенства. Между прочим, из еретиков (секта «богемских братьев») вышел один из выдающихся основоположников демократической педагогики, Ян Амос Коменский.

Радикально-уравнительские программы всех еретических сект и партий имеют еще одну, вытекающую из требования полного социально-политического и имущественного равенства, общую черту: суровый, спартанский аскетизм. Он означал решительное отречение от каких-либо житейских благ, могущих примирить борцов с неправедным общественным устройством. Аскетизм этот мрачен, неистово-фанатичен; по своей экономической природе он есть логическое следствие требования равенства (что в условиях феодального производства не могло не означать декретирования всеобщей бедности).

Основоположники научного коммунизма, которым были в высшей степени чужды аскеза, «уравниловка», беспощадная дозировка еды, одежды, обуви и т. п., именно в этом пункте вели решительную борьбу с идейными наследниками еретиков.

«ПРЕДЧУВСТВИЕ КОММУНИЗМА»

Наивысшей точки смутные «коммунистические» устремления плебейских масс достигают в революционной проповеди действием великого еретика, революционера и мыслителя ТОМАСА МЮНЦЕРА (ок. 1490—1525 гг.). Трудно найти в предшествующей истории человека, который сумел бы, как он, вобрать в свое пылкое сердце всю вековую боль обездоленных, переплавить ее в яростные лозунги борьбы — и повести за собою массу неимущих на штурм бастионов феодализма. Единство слова и дела, мысли и поступка, пламенная цельность натуры — все это делает Мюнцера прямым предшественником пролетарских революционеров.

Он был первым, кто осознал необходимость внесения революционного сознания в забитую, инертную трудящуюся массу, без подъема которой на решительную борьбу теряла смысл сама вера в осуществление даже наиболее разумных и красивых социальных проектов.

Он первым благодаря своей гениальной бунтарской интуиции пришел к мысли о создании ядра единомышленников, профессионально подготовленных и к пропаганде, и к битве. Он близко, вплотную подошел к идее партии, выражающей интересы угнетенных слоев народа. Более того, он сумел (в меру возможного для своей эпохи понимания) реализовать эту идею организационно.

Жизнь, учение, борьба и смерть славного «Томаса Мюнцера с молотом» (как

он иногда называл себя сам) поистине героичны и достойны восхищений. Его мужество, безоглядная храбрость, несокрушимая крепость духа — все эти доблести были вскормлены огромной любовью и сочувствием к угнетенным. За свободу и счастье обездоленных отдал он все силы своего могучего ума, всю — до последней капли! — короткую, ослепительно яркую свою жизнь.

Отец Томаса был повешен по приказу штольбергского графа «за неповиновение». Конечно, было бы ненаучно искать в этом совпадении некий «перст судьбы», но кто знает, быть может, «пепел Клааса» стучал в сердце юного Мюнцера и сыграл свою роль в воспитании чувства ненависти к угнетателям и тиранам.

Жизненный путь талантливого юноши был поначалу как будто гладок: благодаря блистательным способностям он становится почтенным доктором богословия. Перед ним открывались соблазны «пути наверх». Но что карьера и слава, когда вокруг стонут и страждут «братья во Христе»?! И совсем еще молодой капеллан уже в 1512 году создает в Галле «тайный союз против архиепископа Магдебургского и римской церкви вообще» (Ф. Энгельс). Позднее, накануне Крестьянской войны, он создаст «Союз избранных» — партию, нацеленную на ниспровержение существующего строя.

Поначалу главный враг Мюнцера — погрязшая в заблуждении и грехе церковь. Поэтому какое-то время он выступает вместе с Лютером (который станет потом главным его гонителем и хулителем). Однако в нем неотступно зреет мысль о народной реформации: он обращается к произведениям мистиков и сектантов, исповедовавших идею страшного суда над угнетателями и «тысячелетнего царства» бедняков.

Не избежал Мюнцер и искушения «просветить» дворян, склонить хотя бы часть их, наилучшую, к тому, чтобы обнажить мечи, дабы «вырвать плевелы из вертограда божья». Но, убедившись в тщетности «диалога с глухими», Мюнцер неудержимо движется в своем духовном развитии навстречу всеобъемлющей идее политического и социального народоправства, освобождения человечества от власти не только церкви, но и всех угнетателей без исключения.

Его сердце все больше наполняется, говоря изумительными по точности словами Энгельса, «предчувствием коммунизма».

Идея эта — результат мюнцеровского демократизма, осознания им роли народа как главного двигателя исторического прогресса, носителя высшей социальной справедливости. Народ очищен в горниле страданий и облагорожен трудом. Следовательно, только народ собственными руками, а не милостью господ, рано или поздно воздвигнет светлое здание разумного и справедливого общественного устройства.

Мировоззренческая эволюция Мюнцера привела его к железному убеждению, что рай, царство божие надлежит установить на земле. Ведь не на небесах, а на земле человек «посредством пробудившегося разума уподобляется божеству и достигает блаженства». Нетрудно заметить, что выводы великого еретика впрямую перекликаются с абстрактными постулатами идеологов Возрождения. Но у Мюнцера они наполняются энергией революционного действия, а не высказываются впрок, для туманного будущего, для неведомых потомков.

Такие взгляды, однако, не могли быть впрямую восприняты богобоязненным, темным крестьянством, напичканным наивными иллюзиями о «справедливых» господах, о мирном труде на своем клочке земли. Когда отчаянию крестьян не было предела — они брались за вилы, за топоры; но по классовой природе своей они были склонны к компромиссам, доверчиво шли на лживые дворянские посулы... Скорбные дороги Великой крестьянской войны 1524—1526 годов усеяны трупами простаков, полагавшихся на «честное слово» вероломных господ...

Да, крестьянство должно было составить основу, массу вооруженного «христова воинства». Но во главе этого воинства, по мысли Мюнцера, могли стать только городские плебеи, и в первую очередь рудокопы, ткачи, суконщики, люди сплоченные, смелые. С них дерут семь шкур, они во всех отношениях неимущие и бесправные, это парии, отверженные, которых ничто (как первосектантов-изгоев на заре христианства) не связывает с современным им обществом. Они равно чужды как феодализму, так и бюргерству. Им воистину

нечего было терять, кроме своих цепей. Наука назовет их позднее пред- или полупролетариатом.

Свободные и отчаявшиеся, они в фантазии своей предвосхищали будущее без частной собственности. В памфлетах и воззваниях Мюнцера они видели проблески надежды на новую жизнь. Об утопически-коммунистическом «приоритете» Мюнцера Энгельс сказал, что у него впервые проблески коммунизма «формулируются с известной определенностью, и, начиная с него, мы встречаем их снова в каждом великом народном потрясении, пока они постепенно не сливаются с современным пролетарским движением...».

Каковы же вкратце основные черты политической программы Мюнцера и его партии?

Ликвидация частной собственности, классовых различий, обобществление промыслов и имущества, установление «народоправной» республики. Утопист-практик, Мюнцер не детализирует свой проект будущего социального устройства: для него важнее сперва разрушить, а строить потом. Но не медлить с разрушением! Да здравствует справедливое революционное насилие! «Железо горячо, куйте его!» Мюнцер призывает истребить безбожников — попов, монахов, князей, дворян. «Как славно господь перебьет железным посохом старые горшки!»

Из наиболее надежной части тогдашних революционных элементов он создал штат агитаторов — неутомимых, фанатичных и бесстрашных. Этим-то «рычагом» и была поднята на высший свой гребень вся Крестьянская война в Германии.

Таким высшим гребнем стала «коммуна» города Мюльхаузена. На короткое время Мюнцер и его соратники пришли к власти и получили возможность на практике приступить к реализации своих планов. Увы, очень скоро выяснилось, что ни движение, ни массы, а главное — сама эпоха не созрели для проведения в жизнь предчувствий и «проблесков» неистового Мюнцера. Да, в Мюльхаузене были провозглашены: «общность всех имуществ, одинаковая для всех обязанность трудиться и упразднение всех существующих властей». Однако на практике все ограничилось лишь всеобщими выборами городского сената и наспех организованным натуральным обеспечением бедных. И дело не только в краткости мига власти.

Трагедия опередивших время...

Но — вновь и вновь благословенно безумство храбрых! «Линия Мюнцера», линия вооруженной битвы против имущих, не прервалась ударом топора, пресекшим жизнь героя. У советского драматурга Вс. Вишневского есть такие слова: «Умей умереть — агитационно!» Агитационно сумел умереть (как и жил) неистовый Мюнцер, первый теоретик и вождь партии обездоленных. Никакие пытки не могли вырвать у него ни раскаянья, ни мольбы, ни имен соратников по борьбе. В исступленной своей непримиримости, в ненависти, жгучей, как каленое железо палачей, черпал он силы до самого смертного часа. О, как хотелось мучителям сломить его «дьявольскую сверхзакоренелость» (М. Лютер), выставить на публичное позорище перед народом: смотрите! Вот ваш заступник — смиренный, сломленный, отрекшийся от бесовских заблуждений!

Не вышло. Не могло выйти. Мюнцера убили подло, тайком, судорожно выколов ему, уже мертвому, глаза, до последнего мига пылавшие презрением к палачам... Но и этого было мало: требовалось вытравить из массы трудящихся мятежный «мюнцеров дух»... Задним числом были сфабрикованы подложные «Признания Томаса Мюнцера» и даже его «Отречение»... Типографские станки неустанно множили ложь, «освященную» отступником М. Лютером и его подручными. И ведь поначалу преуспели будто: сработала «пропагандистская машина»! Но правду не затмить. Через триста с лишним лет, в канун буржуазной революции 1848 года в Германии, были обнаружены сверхсекретные документы феодально-княжеской «охранки», и весь мир узнал, как погиб, не склонив головы, замечательный сын немецкого народа.

Мюнцер — революционная вершина народной мечты в условиях феодализма, в эпоху первоначального накопления. Но было бы несправедливо не заметить в тени его могучей фигуры явления схожего порядка. Близок к революционному утопизму гуманист СЕБАСТИАН ФРАНК (1499—1542/43 гг.), которого К. Маркс по праву называл великим. На творчестве Франка

лежит печать пессимизма, ему недостает созидательной веры в народную революцию; однако его «Парадоксы» и «Хроники» сослужили реальную службу делу нового (правда, кратковременного) подъема крепостных крестьян Германии во второй половине XVI века.

И еще одно «эхо» Мюнцера громом раскатилось в Германии всего через десять лет после казни вождя крестьянской войны. В 1534—1535 годах в городе Мюнстере революционные сектанты-анабаптисты создали «по заветам Мюнцера» городскую коммуну, которую возглавил проповедник социального равенства Иоанн Лейденский. Вокруг Мюнстерской коммуны — дальней предвестницы Парижской — нагромождены горы всевозможной лжи; восставших обвиняли в терроре и духовной заносчивости, в тирании, опять-таки в многоженстве...

«Террор»?! Это белый террор дворянства вызывает гнев и содрогание. Восставших сжигали на медленном огне, убивали сотнями и тысячами. «Тирания?» Но восставшему городу совершенно необходима была сильная власть, и коммуна скорее страдала от ее недостатка. «Покушение на личную собственность?» Но в условиях осады приходилось брать на строжайший учет каждый фунт продовольствия, каждый аршин ткани. Что же касается «многоженства», то вот выдержка из брачного права коммуны: «Брак есть свободный союз, заключаемый скорее благодаря природе и любви, чем благодаря словам и внешним церемониям».

Более трехсот лет буржуазные «люгнеры» (лжецы) пытались оболгать и опорочить революционеров, а заодно и ростки коммунизма — аскетического, наивно-фантастического, вызывавшего животный страх у сытых и имущих. А ведь так было во все времена: реакция всегда пыталась погасить солнце Мечты. И всегда тщетно!

ПЕРВЫЙ ЧЕРТЕЖ

В феврале 1978 года человечество отметило пятисотлетие со дня рождения удивительного человека, одного из «опередивших время». Его имя ТОМАС МОР (1478—1535 гг.).

Он первым ступил на стезю утопического социализма. Начать с того, что именно он придумал греческое словосочетание «утопия» — место, которого нет. Этим словом была поименована родившаяся в фантазии мыслителя чудесная страна всенародного счастья и благоденствия.

«Осколки» утопических воззрений, догадок, прозрений, литературных фантазий по поводу идеального прошлого или будущего были собраны вместе, осмыслены и переплавлены им в единую систему, а главное — четко ориентированы в грядущее. Система эта прописана в деталях, тщательно обоснована и политически, и социально, и нравственно. На «карте истории» появился еще один, но самый продуманный чертеж принципиально нового общественного устройства!

Он прожил свою жизнь совсем иначе, чем его тезка, великий немецкий бунтовщик, а закончил тоже под топором палача. Все в них, казалось бы, противоположно: происхождение, образование, даже характеры — лед и пламень, исступленная ярость одного и невозмутимость другого... А между тем с разных полюсов социальной лестницы — немецкий еретик-капеллан и благочестивый английский лорд-канцлер — они шли в одном направлении, к одной цели.

Один, Томас Мюнцер,— апостол всесокрушающей народной революции; другой, Томас Мор,— апостол порядка, постепенного «излечения» нравов и обстоятельств (истый англичанин!). Один — практик, деятель; другой — теоретик, созерцатель. А вместе (хотя и не по уговору, ибо они не были даже знакомы) подложили страшной силы бомбу под самый фундамент института частной собственности!

Знакомство с биографией и главной книгой Мора убеждает: сочувствие угнетенным было главным и неисчерпаемым аккумулятором его фантазии. К числу лучших страниц «Утопии» относятся гневная, обжигающая критика Мором политики «огораживания», изгнания крестьян с земли, с которого начиналась история первоначального капиталистического накопления.

Но — не только сочувствие, сострадание, боль. Будучи человеком огромной эрудиции, Томас Мор (и это уже отмечалось выше) скрупулезно изучал каждый вариант, каждую догадку об ином, более справедливом устройстве человеческой жизни.

У него выработался идеал свободной личности в свободном обществе, то есть гуманистический идеал. Его внимание не могла не привлечь по-своему целостная, стройная «государственная» (не общинная) утопия Платона. Чуть позже мы убедимся, какое влияние она оказала на Мора; однако при этом не было никакого эпигонства, никакой «солидарности аристократов»! Гуманист всецело побеждает лорда. Идеальное государство Платона утопист предназначает не для философов, а для трудящегося народа.

При всем при том «красный» лорд-канцлер (какая многозначительная ирония истории: первый социалист — глава могущественного феодального государства!) был решительным противником народных восстаний и всяческого «смутьянства». Из тех же побуждений он выступил против реформации английской церкви (и за это поплатился головой). Не за «Утопию» его казнили: она казалась тогда всего лишь забавной сказкой...

Упаси, боже, от бунтов! Но как быть, если имущие сами толкают массу трудящихся на отчаянные акты безумства? Может быть, спасение в «идеальном», высоконравственном правителе, который разгонит дармоедов и облагодетельствует нацию? Многие гуманисты, начиная с Данте, уповали на просвещенную монархию. Но Мор идет дальше. Выход найден! Корень зла — в частной собственности, и потому ее надо уничтожить полностью!

Мысль сама по себе, как мы теперь знаем, не новая. Новизна, и принципиальная, заключается в совершенно необычной организации общества, всех его институтов, быта, а главное — производства. До Мора можно говорить об элементах, оттенках и проблесках коммунистического идеала в произведениях тех или иных мыслителей или художников. После «Утопии» мы говорим о с и с т е м е социально-утопических взглядов.

Мору глубоко чужды эгоизм и анархизм; ему никак не подходит девиз телемитов: «Делай что хочешь». Утопическое общество организовано рационально, с учетом требований разума, природы человека, с ясным пониманием необходимости упорядочения общественной жизни, производства, распределения и потребления в государственном масштабе.

Мало заявить: долой частную собственность! Куда важнее показать, что без нее можно наилучшим, достойнейшим образом устроить жизнь человека. Для этого нужны, в свою очередь, определенные условия. Главные из них: всеобщий труд, планомерное ведение хозяйства, равенство меры труда и меры потребления, равенство политическое. Так, чисто логическое развитие гуманистических принципов человека как самоцели, равенства людей неизбежно приводят Мора к коммунизму.

Но будут ли, захотят ли трудиться люди, если все станет общим, если исчезнет могучий стимул погони за личной выгодой? Томас Мор впервые бестрепетно поставил этот ключевой вопрос. О, сколько спекуляций, пошлостей, сомнений высказано было потом по сему поводу буржуа и их теоретиками! Мор дал принципиально верный ответ: б у д у т трудиться, з а х о т я т трудиться, н а у ч а т с я трудиться на общую пользу, поскольку это самым непосредственным образом идет и на личное благо.

Более того: труд из подневольного ярма станет радостью, привычкой здорового организма; он сумеет высветлить, выявить в человеке все самое лучшее: творческие способности, инициативу, радость поиска, высокое чувство бескорыстного удовлетворения сделанным.

Не может не вызывать у нас восторга полное блестящей иронии описание презрительного отношения утопийцев к золоту и драгоценным безделушкам. Эстетические вкусы граждан Утопии, так же как и нравственные нормы, основоположник утопизма логически выводит из материальных, политических и духовных условий жизни по-социалистически. Презрение к злату воспитывается пониманием истинных ценностей бытия, ощущением радости коллективного труда.

Основательность — отличительная черта книги Мора. Но, к счастью, это не скучная, «профессорская» основательность; книга написана в лучшем смысле слова популярно, живо, интересно, увлекательно, наконец, художественно. Здесь тоже заключается одна из причин ее столь счастливой (в отличие от ее создателя) судьбы. Автор хотел, чтобы «Утопию» читали, и мечта его сбылась!

Сегодня, через много веков после выхо-

да «Утопии», с вершины завоеваний реального социализма, нетрудно заметить в ней массу неясностей, наивностей, несообразностей. Однако мы ведь стоим на плечах гигантов. Гораздо более продуктивное занятие — поиск первоначал, истоков как будущих истин, так и будущих заблуждений (без которых, конечно же, не могло обойтись продвижение по неизведанному пути).

Несколько слов о заблуждениях Мора, их природе и уроках. Скажем прямо, как-то не вяжется с образом светлого царства свободной Утопии институт рабства. Мор, конечно, чувствует неудобство и противоречивость такого сочетания. Но, скажите на милость, кто же из утопийцев будет добровольно, радостно делать неприятную, тяжкую, грязную работу? Ну, хотя бы чистить отхожие места! Добровольцев нет? А заставлять, принуждать — означало бы попирать свободу, нарушать незыблемые принципы гуманизма. Отсюда проистекает не экономическая даже, а моральная неизбежность превращения в рабов части — совсем небольшой! — жителей Утопии, ставших на путь преступлений, а также военнопленных. Рабство как гражданское состояние не передается по наследству: сын раба отнюдь не обязательно раб. И все же, все же...

Поскольку труд утопийцев — и в городе, и в деревне — ручной, несложно понять заведомую ограниченность, заведомое однообразие «изобилия» материальных благ на острове. Нам понятны и симпатичны филиппики Мора против феодальных и буржуазных излишеств в еде, одежде, жилищах, украшениях, забавах и т. п. Подчас диву даешься, насколько точно угадывает он будущие — через полтыщи лет! — «вывихи» буржуазной моды, вкусов, потребностей. Угадывает — и предостерегает от них.

Но следом влачится неумолимый призрак «синих тапочек» и круговой чашки риса... В устах Мора призрак этот обретает вызывающе привлекательные черты. Дескать, пусть всем будет чуточку хуже, чем совсем хорошо только единицам. От Платона, от аристократизма здесь не остается даже тени!

В то же время «уравниловка» у Мора ведет к идее «законченного совершенства», круговорота счастливой и беспечальной жизни, то есть к идее остановки прогресса. Так сказать, за ненадобностью его, ибо все и всем довольны, ибо все и всё имеют...

Мор опять-таки по неизбежности противоречив. «Утопия — наилучшее устройство государства»,— это подчеркнуто в самом названии книги. Раз наилучшее, то чего же боле? Однако наилучшее в сравнении... Мор чувствует, смутно догадывается, что движение вперед должно возникнуть, обязательно возникнет — и боится этого движения, которое, как вышедшая из повиновения карета, может разломать милую сердцу Мора идиллию совершенства.

Сила воздействия «Утопии» на последующее развитие общественной мысли и искусства просто уникальна: все социальные и нравственно-эстетические «коммунистические» утопии XVII—XIX веков — от Кампанеллы до Кабе, от Рабле до У. Морриса — восходят как к своему идейному первоисточнику к удивительной книге Т. Мора. В «самоочевидности» доводов разума, в гуманизме черпал Мор уверенность в обязательном приходе коммунизма. Однако понадобились века, а главное — понадобилось рождение и возмужание пролетариата, чтобы в полном объеме была осознана истинная цена этой «самоочевидности», иные, революционные пути ее утверждения на земле...

Имя Томаса Мора — в славном списке теоретиков и борцов за социализм — высечено на знаменитом обелиске в Александровском саду у кремлевской стены. Великий англичанин был внесен в этот список рукою вождя победившего пролетариата, первого главы государства будущего, рукою Ленина. Такова высшая справедливость истории.

Воздадим должное гениальному утописту: это у его островитян-коммунистов за четыреста лет (!) до Великого Октября впервые сплелись в государственном гербе символы освобожденного труда, изобилия и счастья: серп, молот и хлебные колосья.

ГОРОД СОЛНЦА

Третьим предтечей коммунизма по праву можно назвать последователя Мора и Мюнцера, «третьего Томаса» — ТОММАЗО КАМПАНЕЛЛУ (1568—1639 гг.).

В науке почти аксиомой стало утверждение о некой теоретической «вторичности» идей Томмазо. Так что «коммунисту-доминиканцу» как бы заведомо отводится роль популяризатора чужих концепций. Многие исследователи полагают, что влияние книги Мора на Кампанеллу было поверхностным, малозначительным, а собственные умозаключения итальянца представляют шаг назад по сравнению с «Утопией». Получается, будто лишь необычная биография автора сделала «Город Солнца» предметом восхищения и благодарности потомков. Так ли это? Все ли справедливо в таких суждениях? Попытаемся разобраться.

Сын сапожника, Кампанелла случайно, у доброго человека научился читать и писать. Его неудержимо влекло к знанию — и потому он оказался в монастыре, который в те времена был единственной дорогой к учености. Кампанелла превозмог все, постиг вершины богословия и тогдашней науки. «Не надо жалеть ни трудов, ни свечей!» — таким был его лозунг в ученье.

А далее — сама́я гуща политической борьбы за свободу Южной Италии (Калабрии) от испанского владычества. Молодой Томмазо проходит еще один «университет» — подготовку восстания против чужестранного владычества. И при этом все чаще, все мучительнее задумывается: а кто же придет вместо испанцев? Кто станет править народом по справедливости? Да и что это за справедливость, когда все блага и радости жизни узурпированы кучкой богачей?

Так от борьбы, от непосредственных нужд и целей народного восстания шел Кампанелла к своему «Городу Солнца», к своей прекрасной мечте об обществе без частной собственности, без поругания, порабощения и растления человеческой личности.

Восстание в Калабрии сорвалось. Его вождей — заговорщиков (в том числе Кампанеллу) посадили в тюрьму. От немедленной смерти на испанском эшафоте его спасло... вмешательство папской курии. Рим объявил Томмазо опасным еретиком; им на протяжении двадцати семи (!!!) лет «кротко» занималась инквизиция. Двадцать семь лет карцеров, зловонных ям, нестерпимых пыток... Ничего себе «спасение»! Откуда же брались силы, чтобы выдюжить, выжить, превозмочь, выйти на волю — и победить, не сломившись, не предав мечту?

Ответ мы находим в его стихах, написанных в тюрьме (впрочем, там же написан и «Город Солнца»):

...Я в горстке мозга весь, я пожираю
Так много книг, что мир их не вместит.
Мне не насытить алчный аппетит —
Я с голоду все время умираю.
...А себялюбье — главное из зол —
Невежеством питается богато.
Невежество сразить я в мир пришел...

Постоянные занятия наукой, высокая цель, жесточайшая самодисциплина, жажда знания, которое надлежит обратить на благо человечества,— в этих высоких помыслах источник поразительной жизнестойкости утописта. Не случайно многие революционеры будущего, узники иных инквизиций и государей, учились у Томмазо «науке выживать» — выживать не ценой пресмыкательства и покаяния, но ценою мужества и находчивости.

Кампанелла — первый великий мастер революционной конспирации, подпольной пропаганды. На протяжении многих лет он притворяется сумасшедшим, чтобы не дать инквизиции убить себя, чтобы продолжать служить делу свободы и человеческого братства. Какую выдержку и смекалку, какую волю надо было иметь, чтобы гениально имитировать безумие даже под самыми изощренными пытками!

Симулянт, обманщик, интриган... Святые отцы сами чуть не сходят с ума — от ярости и бессилия. Ведь один, совсем один, истерзанный, искалеченный, а его боятся! Боится могучий Рим, боится Испания.

«Невежество сразить...» Но как? Проповедью смирения, пропагандой, просвещением? Кампанелла твердо знает: дискутировать с инквизицией о человеколюбии — это все равно что спорить с летящей в тебя пулей. Поэтому выход — лишь в разрушении старого, в уничтожении строя насилия, угнетения, частной собственности.

Кампанелла — по-итальянски значит «колокол». На его долю выпали не только безмерные страдания, но и высокая честь быть набатным колоколом, зовущим к борьбе, возвещающим начало новых судеб человечества.

Коль позабудет мир «мое», «твое»
Во всем полезном, честном и приятном,
Я верю — раем станет бытие,
Слепое чувство — зрячим, не развратным,
Высоким знаньем — тупость и лганье,
И гнет тирана — братством благодатным...

За благодатное братство отдавал Кампанелла свою горячую кровь, за него платил отчаяньем в сырых и мрачных темницах, за него сражался против всемогущей церкви и не менее могучей испанской короны.

Вот два «звездных часа» из многострадальной жизни Кампанеллы...

Представим себе жаркий солнечный день в горах Калабрии, близ города Стило — центра заговора против испанского ига. Громко кричат птицы, льется с вершин желанная прохлада. Рассыпавшись у подножия, весело белеют домишки Стило. Томмазо смотрит на них — и вот уже возникает перед мысленным взором сверкающий, лучезарный Город Солнца — во всей строгой красоте его, во всех поразительных подробностях. Широкие зеленые улицы, опоясывающие семью кругами высокий холм; армады красивых домов, расписанных фресками, нравоучительными изречениями, научными формулами; хрустальные бассейны, смех детворы, гомон птиц... Это было на рубеже веков, летом 1599 года.

А в 1623 году, почти через четверть века, сквозь тюремные затворы пришел к Томмазо высший миг счастья: он узнает, что во Франкфурте напечатан «Город Солнца», а это значит, что его мечта вырвалась на волю и пришла к людям!

Трудно удержаться, чтобы хоть вкратце не рассказать о героической жизни Кампанеллы. Однако пора войти в Город Солнца, познакомиться с его законами и обитателями. При этом, наверное, будет правильно не останавливаться на уже известных перекрестках (напоминающих по своей сути «Утопию» Мора).

То, что отличает утопию Кампанеллы,— не всегда в ее пользу. Многим объясняется это: и долгим монашеством автора (не случайно его Город напоминает структуру монашеского ордена); и его увлечением астрологией и Платоном (книга местами читается трудно из-за всякого рода мистических рассуждений), и его долгим заточением. Наверное, во многом отсюда проистекают суровый аскетизм, почти казарменное однообразие быта соляриев.

Все так! Но по ряду пунктов Томмазо опережает блистательного Мора. Прежде всего в «Городе Солнца» сокрыт куда больший революционный (Мюнцеру близкий) заряд. Кампанелла не верит в неопровержимость доводов разума самих по себе. Убеждать и воспитывать нужно, однако, если понадобится — нужно и принуждать, и применять силу. Соларии способны взять оружие не только для защиты от внешнего врага, но и для изгнания тиранов. Да и сам Город, по недвусмысленным намекам автора, возник в результате победоносного восстания народа («Сначала ведь все исторгается и искореняется, а потом уже созидается, насаждается»).

Гениальны догадки Кампанеллы и в области наглядного образования. Это итог напряженных поисков утопистом наилучших путей и средств раскрытия и развития творческих способностей личности. Многое (в том числе астрологию с ее «знамениями») примешивает он сюда; но, помимо гороскопов, Кампанелла говорит о постоянном и разнообразном обучении соляриев, о смене ими видов труда, о развитии науки и т. д.

Нельзя читать без некоторого содрогания жутковатые страницы «Города Солнца», посвященные брачным отношениям и проблеме прироста населения. Суровый Томмазо беспощаден, как адамиты: все, абсолютно все общее, тем более мужья, жены, дети. Иначе «бациллу» эгоизма, по его мнению, убить невозможно. Холодок пробегает по коже, когда читаешь о «селекции» пар для деторождения и селекции самих детей. Перед глазами возникает призрак древней холодной, безжалостной Спарты... Но, право, даже в «общем одеяле» соляриев невозможно не заметить гуманных мотивов Кампанеллы. «Общность жен» — это и общность мужей; женщины имеют равные права с мужчиной — их только освобождают от тяжелых видов работ.

Решения будущих социальных проблем, предлагаемые Кампанеллой, иногда жестоки и неприемлемы. Но ведь подчас сама постановка этих проблем интереснее, нежели рецепты их решения. Что ж, если утописту не увиделось истины... Другое поразительно: сколько же удалось увидеть из-за прочных тюремных затворов!

Без малого через триста лет после выхода в свет «Города Солнца» В. И. Ленин, оценивая утопию Кампанеллы, в частности идею наглядного, «уличного» образования, агитации и воспитания соляриев, скажет деловито: «Это далеко не наивно и с известным изменением могло бы быть нами усвоено и осуществлено теперь же». И широчайший по размаху и смелости ленинский план монументальной пропаганды ярко продемонстрировал то, что ни одна полезная догадка, идея, находка в огромном духовном хозяйстве человечества не исчезает, она идет на благо людям, если судьбы истории — в руках подлинных хозяев жизни, в руках трудящихся масс.

«ЗАКОН СВОБОДЫ» ИЛИ ДИКТАТУРА НАУКИ?

Минуло столетие с того момента, когда скатилась на плаху голова упрямого Мора. Туманный Альбион, набирая скорость, все стремительнее приближался к буржуазной революции на «локомотиве» бурного промышленного развития. В XVII веке, как грибы после дождя, растут акционерные и торговые компании; «пламенеющим языком огня и меча» (К. Маркс) пишется одна из классических (в своей бесчеловечности и в своем соответствии природе буржуа) глав истории — английская глава становления и утверждения капитализма.

Что же стало с мечтой о счастье после ее прямого столкновения с новой жестокой формой эксплуатации трудящихся? В какие пределы, в какие небеса взвивалась она, словно мечущаяся в страхе птица?

Буржуазная революция в Англии вызвала на какое-то время оживление гуманистически-интеллигентской мечты о «царстве Разума», волну иллюзий очищения человечества от скверны феодальных, а заодно и буржуазных порядков, иллюзий некоего возвращения человека к самому себе как «сыну божьему». Известно, что вся английская революция, сверху донизу, была плотно укутана в библейские одежды. Она воспользовалась, говоря словами К. Маркса, языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета.

Поэтическим пророком этой революции, ее «трубным гласом» стал ДЖОН МИЛЬТОН (1608—1674 гг.), яркий представитель гуманизма на излете Возрождения, на переломе к Новому времени.

Великие идеи, словно свет погасшей звезды, продолжают подчас долго жить в иных исторических условиях — до той поры, пока общество не выработает принципиально новых, соответствующих происшедшему социально-экономическому перевороту, идей. Так было и с гуманизмом Возрождения, ориентированным на духовную свободу и достоинство личности. «Люди от природы рождаются свободными, неся в себе образ и подобие самого бога» — эти слова Мильтона почти текстуально совпадают с заявлениями Мирандолы или Дж. Бруно.

В условиях подъема буржуазной революции генеральная идея гуманизма работает прежде всего в пользу концепции народовластия и политического равенства, становится идеей тираноборческой. Власть принадлежит народу; покушение на его свободу есть тягчайшее преступление, караемое изгнанием и даже казнью узурпаторов. Так «свет умерших звезд» поджигал королевские троны!

В годы революции муза Мильтона молчала, зато гневно рокотал набат его свободолюбивой публицистики. Но вот в 1660 году вернулись к власти Стюарты, постаравшиеся втоптать в грязь последние ростки народных надежд. Над Мильтоном, глашатаем свободы, сгустились тучи. Чудом спасенный от гибели, гонимый, неотвратимо слепнущий, он находит в себе силы совершить беспримерный подвиг — создать три огромные эпические поэмы, в которых под религиозно-аллегорической оболочкой библейских мифов запрятан философский взгляд поэта на предназначение Человека, содержится целостная эпическая утопия о путях к общечеловеческому счастью.

Величавая поэтическая трилогия Мильтона масштабом, звонкозвучием, монументальностью своей напоминает Дантову «Божественную комедию». Поэмы эти требуют работы ума и сердца, труда чтения. Но зато какая необъятность откроется тому, кто дерзнет последовать за «горнею» музой поэта!

«Потерянный Рай» — подробное повествование о райской жизни Адама и Евы, об их грехопадении, о свете надежды на грядущее очищение и благодать. Рай изображается Мильтоном вполне в духе леген-

ды о «золотом веке». С одной только, но зато важнейшей поправкой: Адам и Ева не просто «срывают цветы удовольствия», но радостно трудятся, «предаваясь обязанности милой: холить сад, оберегать растенья и цветы». Им «сладок всякий труд»; единственная собственность в раю, где «все совместно обладают всем»,— это чистая, огромная, искренняя человеческая любовь.

Но вот сорван горький «запретный плод» с Древа Познания — и для рода людского началась нескончаемая череда бедствий, страданий, горя... Но есть, есть исход счастливый! Всем строем своих поэм Мильтон убеждает: трудясь и постигая неизведанное, преодолевая «бесовские наваждения» гордыни, корыстолюбия, эгоизма, человечество, пусть медленно, будет двигаться к новым берегам, к новым, добродетельным и справедливым формам жизни. Наступит земной рай! Мильтон верит:

Наступят бесконечные века,
На правосудье, истине, любви
Основанные прочно; их плоды:
Отрада и блаженство без предела.

«Рай» Мильтона рисуется туманно, полумистически, как осуществление намерений истинного, справедливого Христа, намерений «изгнать навек насилие и, правде свободу дав, восстановить равенство». Христианизированная идея равенства у еретиков средневековья нам хорошо известна. Мильтон никак ее не конкретизирует. И очевидно, не здесь сокрыт выдающийся вклад поэта в развитие Мечты. Он, думается, заключен прежде всего в том, что Мильтону, пусть смутно, удалось предугадать роль созидательного труда в грядущем освобождении человечества. Это наиглавнейшее! Будучи певцом восходящей буржуазии, он вместе с тем сумел пронзить духовным взором толщу времен и увидеть новых людей в новом мире, мире труда, отрады и блаженства.

Гуманист и творец, Мильтон до конца дней остался тираноборцем: ему было чуждо библейское «всепрощение», непротивленчество. В поэме «Самсон-борец», увенчавшей труды великого слепца, явственно звучит тема возмездия угнетателям и поработителям человечества.

Поэт умер, так и не поняв, когда же и у кого найдутся «самсоновы» силы для свершения исторического возмездия. Но клич был брошен, и его подхватили потомки. Эхо Мильтона мы слышим в громокипящих строфах Байрона и Шиллера, Шелли и Гейне. Титаническая попытка воссоздать прошлое и провидеть грядущее человечества, предпринятая Мильтоном, обретет новую философскую и поэтическую мощь в «Фаусте» Гёте.

По-своему берегли и воскрешали Мечту народные проповедники равенства по труду. Они были такими же истово верующими, как и фанатики-анабаптисты времен Мюнцера. Но вместе с тем они не предали забвению и жаркую мечту Томаса Мора. Левеллеры (особенно диггеры) пытаются снизу соединить, синтезировать революционно-демократическую и гуманистическую программы пересоздания общества на началах утопического «коммунизма». Высшая отметка такого рода попыток в Англии — «Закон свободы» ДЖЕРАРДА УИНСТЭНЛИ (1609—1652 гг.).

О жизни утописта известно до обидного мало. Собственники, не умертвив его физически (английская буржуазия до сих пор лицемерно гордится этим), постарались сделать все, чтобы убить его забвением. Сколько их было, таких попыток; сколько еще будет — с другими борцами — потом... Однако и на сей раз не вышло! Потомкам осталось главное — революционные памфлеты Уинстэнли. Один из них, «Закон Свободы», по праву стоит рядом с «Утопией» Мора.

...А началось все на холме святого Георга, что в британском графстве Сёррей. Летом 1650 года какие-то люди пришли на пустоши и с песнями принялись за дело Петра Пахаря. Не погибло, дало всходы ленглендово «Видение»! Друзья и единомышленники Уинстэнли вознамерились основать сельскую общину, указав тем самым (как они надеялись) всему английскому народу дорогу в райские сады свободы и справедливости.

Уинстэнли — их теоретик, он смотрит гораздо дальше. Но и для него важно немедля, сейчас создать первоячейку будущего. А там... А там, когда «неоспоримые» доводы и разума и практики овладеют всеми, можно будет мыслить и о рекон-

струкции всего общества! Тем самым было положено начало длинной цепи утопически-социалистических общинных экспериментов, которая тянется сквозь века к Кабе и Оуэну.

Взгляды Уинстэнли — это смесь еретических, революционно-демократических упований и христианского гуманизма. До конца дней он надеялся на поддержку «просвещенных», услышавших голос Разума, властителей. Эта иллюзия перейдет потом к его единомышленникам утопистам XIX века как признак социальной незрелости неимущих, робости, неверия их заступников в очищающую силу народного возмездия.

Однако не забудем: Уинстэнли и его «диггеры» (копатели) — еще на гребне революции. Еще не рассеялся дым сражений, и потому они не только просят, убеждают вождей буржуазии (в частности, Кромвеля), но и требуют немедленного осуществления своего проекта «общественного спасения». А суть его ни много ни мало — в немедленном уничтожении частной собственности на землю. Причем не в сказочной «Утопии», не в отдаленном будущем, а здесь, в Англии.

В этом пункте обнаруживается принципиальное отличие утопии Уинстэнли от всех его предшественников. Правда, Мюнцер тоже провозглашал свое «царство божие» именно на немецкой земле как зреющий плод победоносной плебейско-крестьянской революции. Но мы знаем, сколь неясной, расплывчатой в своей позитивной части была его программа. Уинстэнли предлагает (подобно Мору) тщательно проработанную во всех деталях схему — и даже конституцию — желанного для бедняков республиканского, социалистического по сути своей, жизнеустройства.

Влияние сектантской традиции на эту схему несомненно. И вместе с тем Уинстэнли более практичен, терпим и дальновиден, нежели угрюмые аскеты-уравнители. Он полагает возможным, например, сохранить моногамную семью как ячейку общества. Он отнюдь не настаивает на коллективных трапезах. Главное для него — организация производства (по семейному принципу) и распределение (только из общественных складов в соответствии с разумными потребностями).

Самое страшное и для Уинстэнли — это бацилла стяжания, и потому купля-продажа чего-либо влечет за собой по «Закону свободы» тягчайшие кары, вплоть до казни. Государство Уинстэнли лишено каких-либо признаков анархии. Все трудятся, в том числе и лентяи — по принуждению, но подавляющее большинство — по внутренней потребности, по привычке, по природе здорового организма. Дабы труд был радостью, в государстве Уинстэнли предусмотрены показательные общественные мастерские, в которых детей обучают мастерству с учетом их интересов и склонностей. Наконец, все без исключения свято соблюдают законы. Небольшой, но эффективный выборный государственный штат чиновников строго следит за выполнением каждым гражданином своих общественных обязанностей.

Короче — никаких чудес! Все рационально, все доступно пониманию, все может осуществиться тотчас же. Нужны только добрая воля, желание образованного и многоопытного в государственных делах меньшинства принять добровольное участие в утверждении «Закона свободы». Как говорится, «дело за малым»,— поскольку в желании (и готовности к переменам) эксплуатируемого большинства Уинстэнли не сомневается ни на секунду.

В приводимых нами отрывках особенно наглядно бросаются в глаза и реализм Уинстэнли (ничего не выдумывать!), и его антианархизм (ничего не сокрушать без надобности!), и его убежденность в воспитательно-преобразующей силе организованной, «гармонизированной» трудовой демократии.

...Нельзя умолчать и еще об одном, чрезвычайно своеобразном, противоречивом, интересном «зигзаге» мечты о гармонии Человека и бытия. Речь пойдет об утопии великого буржуазного философа и мыслителя, родоначальника опытного знания ФРЭНСИСА БЭКОНА (1561—1626 гг.).

Бэкон, образно говоря, последний мыслитель Возрождения и первый поэт Нового времени. Он мечтает о магическом жезле, которым обладал волшебник Просперо из шекспировской «Бури» и которому повиновались бы силы природы. Жезлом таким оказывается наука. Бэкон полон юношеской, безоглядной и наивной веры в науку, полон

предчувствия грядущей технической мощи человечества.

Устами и трудами Бэкона говорила восходящая буржуазия. Тогда ей все казалось по силам. Человек сумеет распознать тайны природы и покорить ее! Таков пафос Бэкона, и в этом — непреходящее его значение в истории человеческой мысли.

Но Бэкон идет дальше. Ну, покорит человек природу, а сам-то как будет жить? Раздумья приводят философа к созданию оригинальной литературной утопии. Она называется «Новая Атлантида». Немалый намек в этом названии: утопия Платона называлась «Атлантида», а именно Платона высоко чтил Бэкон (и не он один, как мы знаем). Чтил и как философа, и как социального мыслителя.

Следуя в своей утопии «линии Платона», Бэкон создает свой вариант общества социальной стабильности и достатка.

Ему, как и многим, не давал покоя призрак революций и бунтов. Как же обеспечить решение извечной проблемы, чтобы «волки были сыты и овцы целы»? Ведь «овцы» создают материальные блага; держать их в страхе и покорности — дело возможное, но ненадежное; неминуемы взрывы возмущения, грозящие порядку, законности, прогрессу.

И вот панацея найдена! Она, торжественно объявляет философ,— в бесконечном развитии науки. Оплодотворяемое научными идеями производство обеспечит в конце концов желанное изобилие материальных благ — будут сыты и волки и овцы! Счастья хватит на всех. Кому же бунтовать, если первоисточники бунтов и недовольства — голод, нищета, отчаяние — будут ликвидированы навсегда!

...Где-то в южных морях Тихого океана (таков традиционный сюжетный ход в романе Бэкона) английские путешественники обнаруживают то ли остров, то ли материк под названием Бенсалем. В отличие от моровской «Утопии» Бенсалем — государство строжайшей вертикальной иерархии: король — сенат — церковь (христианская) — чиновники — знать — и простонародье. Всяк сверчок знает свой шесток. Но один из «шестков» особенно интересен. Это — Дом Соломона, средоточие мыслителей, ученых, изобретателей. Они все вполне богобоязненны. Но, помолившись, занимаются главным делом — постижением тайн природы и вещей. Государство богатеет, голод и нищета отступают, народ доволен и послушен...

Отголоски платоновского «Государства» тут несомненны. Однако есть одно, но очень важное различие: философы Платона правят (разумеется, мудро) и созерцают мир, наслаждаясь открывающейся им гармонией. Обитатели Дома Соломона, напротив, обуреваемы жаждой деяния, жаждой открытия и воплощения открытого, что называется, в предметную плоть, в материал, в технологию.

«Новая Атлантида» — подлинный гимн науке и технике, пронизанный верой во всесилие знания. И здесь-то как раз позитивное ядро утопии Бэкона. Он первый не только нащупал благодатные для человечества перспективы научного познания. Догадки о роли науки в улучшении жизни и быта будущих поколений были и у Мора, и у Кампанеллы, но Бэкон развернул их в широкую и вдохновляющую картину.

...Прогрессирующее разложение капитализма в наши дни принудило даже самых образованных его апологетов отвернуться от разума, возопить о необходимости остановить прогресс. Бэкон с его симфонией знания уже не нужен им, более того — опасен, ибо в его учении пылает прометеев огонь разума. Разума, который может добраться и до самих основ системы угнетения, порабощения человека человеком.

Опасен — им, обреченному миру. И, напротив, приближается к нам, коммунистам, людям, верящим в животворную силу науки, если она служит человечеству, а не кучке неистовых стяжателей, отравителей природы и разума. Мы отделяем в утопии Бэкона мертвое, косное от живого, творящего.

Мы безбоязненно наследуем бэконовскую идею всесильного знания, ибо понимаем, что автору «Новой Атлантиды» удалось впервые отыскать ключ к изобилию. Ключ этот не в консервации первобытности или общинно-ремесленного натурального производства, но в безграничном развитии творческой деятельности человека. Эти «зародыши всестороннего развития», сокрытые под «теологическими непоследовательностями», под аристократизмом, высоко ценил в Бэконе Карл Маркс.

ЗАВЕЩАЮ ВАМ БУДУЩЕЕ

Мятежный XVIII век, сровнявший с землей королевскую Бастилию, возведший, можно сказать, уже на мировой трон капитал, именуется веком Просвещения. Именно оно подспудно готовило революцию; утверждая всесилие человеческого разума, просветители сеяли сомнения во всемогуществе бога, в разумности очевидно неразумных и несправедливых социальных установлений. Посевы эти — часто помимо воли «сеятелей» — дали обильную жатву в 1789—1793 годах.

У самых истоков Просвещения мы обнаруживаем замечательного человека, который не только оказал огромное воздействие на свой век и его титанов, но и стал самым первым в истории автором революционно-утопической концепции коммунизма, созданной и обоснованной вопреки религии (мы помним: даже у Мюнцера коммунистическая мечта опирается на «костыли» хилиазма, божественного промысла, грядущего страшного суда).

Имя его — ЖАН МЕЛЬЕ (1664—1729 гг.), католический кюре из деревушки Этрепиньи во французской провинции Шампань...

Удивительная, а внешне ничем не примечательная жизнь; удивительная, а внешне благопристойно-смиренная смерть. Многое поражает в этом человеке и его судьбе. Он тоже «гражданин будущего», но только не раздавленный сомнениями, как Микеланджело на склоне лет, но только никогда не терявший веры в людей. К Мелье неприложим тезис о трагедии опередивших время. Он сознательно построил свою жизнь так, чтобы максимально послужить своим современникам и отдаленным потомкам. Он не мог иначе. И он обрел счастье и бессмертие.

Эпоха Мелье — это эпоха «короля-солнца» Людовика XIV, эпоха нескончаемых голодных народных бунтов, которые неумолимо расшатывали абсолютизм, власть церкви, дворянскую земельную собственность. Именно Мелье удалось уловить в грохоте социальных потрясений эпохи великую Идею, с помощью которой, словно мечом, можно разрубить гордиев узел неразрешимых противоречий. Это была идея народной революции, сокрушающей троны, дворянство и церковь, созидающей на руинах самовластья и произвола справедливое сообщество тружеников.

...За всю свою жизнь Мелье только однажды побывал в Париже, да совсем юношей — в Реймсе, где готовился стать священником. Затворник, домосед, молчун — как же, где же нашел он, когда успел взлелеять, обосновать и, наконец, столь подробно — в трех томах «Завещания»! — изложить великую свою Идею?

Задумаемся: всю жизнь человек живет, в сущности, на одном кусочке земли, среди своих прихожан... Кому — однообразие, скука, болото; а для пытливого Мелье — неисчерпаемый источник постижения жизни простого народа, его характера, морали, чаяний. Всю жизнь — глаза в глаза, рука об руку с крестьянами Этрепиньи: и в горе, и в немудрящих редких радостях, и в тягостных раздумьях о сущем... Деревня, общинный «мир» — его академия и лаборатория. Не отсюда ли абсолютный слух, невероятная чуткость к ударам народного сердца? Отсюда же и глубочайшее понимание души народа, вера в его силу, моральную несломленность, и убеждение, что народ всегда прав.

Но одной чуткости, одного революционного инстинкта мало. Надо было мечту и веру поставить на прочный фундамент знания: против чего бороться, какими средствами, ради каких целей. Можно только поражаться, как Мелье удалось усвоить и переработать почти все основные достижения передовой гуманистической мысли своей и предшествующих эпох. Он неторопливо, по зернышку, отбирает все заслуживающее внимания: у Платона и Сенеки, у Лукиана и Лукреция, у Декарта и Монтеня.

Однако «Завещание» вовсе не стало простым «сундуком идей». Оно скорее лестница в небо, на котором нет бога и маммоны, где царствует верховный властитель — народ творящий. Мелье, таким образом, вовсе не чудак-выдумщик; он образованнейший из людей своего времени. Заметим попутно, что его непревзойденная критика Библии и поныне поражает глубиной знаний, безупречностью логики, остротой сарказма. Только в отличие от большинства современников, щеголявших вольномыслием, но панически боявшихся «бунта черни», кюре из Этрепиньи благословляет бунт, не боясь за судьбы знания и культуры.

«Читая Мелье, я дрожал от ужаса»,— признавался Вольтер. А уж ему-то, казалось, не откажешь в смелости! Угадав, почуяв революционную силу «Завещания», Вольтер поступил весьма своеобразно. Он постарался «разминировать» Мелье, изъять из его книги главный запал — идею народной революции. Вольтер сократил, «отредактировал» трехтомник Мелье, существенно обеднив содержание книги неистового кюре. И сделал это, признаться, так ловко, что вплоть до 1864 года (чуть не 150 лет), пока в Амстердаме не вышел подлинник «Завещания», почти никто и не догадывался о Мелье истинном — страстном революционере.

А ненависть властителей в коронах и сутанах к Мелье — она может быть сопоставлена разве только с его собственной всесокрушающей ненавистью к любой тирании, к любой религии.

...«Мелье» в переводе с диалекта Шампани — это дерево с терпкими и твердыми плодами. Как удивительно совпали в нем фамилия и судьба! Необычайно живуче «дерево»; терпки его плоды — и для проклинаемых, и для любимых, милых сердцу. Десятилетия отделяют идеи «Завещания» от признания их «плодами мудрости» якобинским Конвентом 1793 года. Поразительно тверды эти плоды, они не сгорели в пламени революций, не растворились в беспощадных водах времени.

Сам Мелье категорически отрицал, что им совершены какие-либо открытия в социальной или научной областях. Скромность? Не только. Хотя она и была органическим свойством его натуры. По глубокому убеждению Мелье, крамольные истины о неистинности бога, бесчеловечности власти богатства в принципе ведомы всякому образованному и честному (подчеркнем это!) человеку.

Всяк знает, да никто не скажет — ибо любого, кто осмелится отверзнуть уста, немедленно и безжалостно раздавит проклятая «троица»: трон, церковь, собственность. Потому и сам Мелье лишь в посмертном завещании видел единственный способ передать народу, людям свою великую идею.

Вслед за Уинстэнли Мелье выдвинул идею обобществления собственности в крестьянской общине. Он уловил в окружающем его мире нарастающие сомнения народа в богоизбранности монархии и дворянства, в «божественном промысле» церкви. Он угадал в толще темного, задавленного гнетом и нуждой крестьянства неистребимость мечты о достойной и справедливой жизни, неискоренимость народной трудовой морали, могущей стать исходным материалом для созидания качественно нового социального строя.

Первое, что надо сделать,— это ударить молотом разума и гнева по частной собственности! Не только «тлеющей лавы» бунта боялись в книге Мелье интеллектуалы-просветители. Ужасало покушение на основу основ «культурного» бытия, благодаря которой одни пашут, сеют и страдают, а другие — избранные — мыслят, наслаждаются и творят.

«Собственность — это кража»,— сплеча рубит Мелье. Свора трутней, кровососов пользуется всеми благами, беззаконно, насилием либо обманом отнимая их у трудящихся. Имя этим трутням — короли, дворяне, духовенство. «Для вас,— негодующе гремит Мелье, обращаясь к труженикам,— нет более злых дьяволов и худших врагов, чем родовитые, знатные и имущие: они вас грабят, они вас терзают, они делают вас несчастными!» Выход один: всех паразитов шпаги и мантии либо уничтожить, либо заставить заниматься полезным трудом.

Миром дело не обойдется, предупреждает Мелье. Надо отнять землю у сеньоров — лишь тогда иссохнет вековое дерево эксплуатации и неравенства. Знаменательно: нигде у Мелье нет ни слова о «переделе» или об «общем котле» богатств. Он глубоко постиг коварство собственничества: если сохранить — при любом уравнивании доходов! — частное владение землей, мастерскими и т. д., на место одних грабителей рано или поздно придут другие. Обобществление земли, средств производства — вот радикальное средство пресечь в корне любые попытки присвоения результатов чужого труда.

Итак, долой частную собственность! Но на страже этого чудовища стоят злобные и сильные псы: корона и церковь. Свалить тиранию, разорвать оковы религии — иного пути нет. Как представляет себе Мелье многотрудный путь освобождения? Трудно, трудно разбудить народ от векового рабства, открыть ему глаза на лживость якобы божественных привилегий богатеев и власть

имущих... Мелье порой ненавидит народ (потому что любит его!) за долготерпенье, нерешительность, разрозненность усилий, за упование на бога и доброту господ. «Размозжите все эти коронованные головы, сбейте гордость и спесь со всех ваших деспотов и уже не допускайте, чтоб когда-либо они царствовали над вами»,— заклинает революционный демократ Мелье. И — главное: «Постарайтесь объединиться!»

Вслед за Мюнцером он приходит к идее сплочения, организации «друзей народа» (смутная мысль о партии). К ней, к этой мысли, подводила логика мучительных раздумий о путях революции. «Начните с тайного сообщения друг другу своих мнений и требований. Распространяйте повсюду с наивозможной ловкостью писания вроде, например, вот этого» (Мелье имел в виду свое «Завещание»). Организованная мощь тирании угнетает народ. Ей надо противопоставить столь же могучую организацию самих тружеников, вооруженную не только святым гневом, но и знанием, за что и как бороться. И тогда падут оковы!

Всю свою жизнь Мелье был связан с церковью и религиозной догматикой. Он знал все тайны ее стратегии и тактики. И потому, как никто другой, умел наносить ей сильнейшие удары. Он — атеист, и притом воинствующий. Атеизм для него не самоцель, не игра острого ума во имя утверждения примата человеческого Разума, но прежде всего средство достижения справедливости и блага для трудящихся.

В ниспровержении религии Мелье видел главное звено, разбив которое можно рассыпать и отшвырнуть прочь всю тяжкую, запутанную цепь рабства. Вышибить религию, словно табуретку, из-под ног королевской власти и дворянской собственности — и тогда на горле тирании надежно захлестнется петля народной ненависти.

Собственно, все «Завещание» есть обширный антирелигиозный трактат. Вычленим лишь некоторые моменты, впрямую связанные с темой нашей книги.

Прежде всего Мелье опровергает догмат загробного воздаяния и райского счастья на небесах для сирых и убогих. Он порывает со средневековой хилиастической традицией, ибо она, даже в революционных, «мюнцеровских» вариантах, не способна очистить людей от страха, покорности, пассивного ожидания лучшей доли. Сознание того, что нет ни ада, ни рая, только возвысит человека в его земных деяниях и устремлениях, сделает его не хуже, а лучше. Достойно ли людей — надеяться, что работящие «слуги дьявола» в аду с помощью сковородок и кипящей смолы накажут алчных и жестоких, а райские птицы будут услаждать слух земных мучеников? Здесь, на земле, надо дать простор свежему воздуху честности, добра, дружбы, счастья!

Так мораль трудовая, мораль революционная открыто противопоставляется христианской морали — ханжеской, отупляющей. Какое безумие, восклицает Мелье, всю жизнь терпеть, страдать, унижаться, чтобы снискать химерические блага и награды после смерти!

Мелье отвергает бога также потому, что считает признание его несовместимым с идеей равенства и справедливости. Бунт против господа на небе, заявляет он,— необходимое условие бунта против господ земных.

Мелье удалось ощутить, осознать возрастание сопротивления народа воздействию религии. Да, так уж веками ведется, что религия цепко держит человека в своих когтях от рождения до смерти. Она присвоила и подчинила себе искусство; она заполонила неразвитое сознание простолюдина призраками и страхами. Однако не все подвластно ей. «Те среди народа, в ком есть хоть малость ума и здравого смысла, при всей своей невежественности, все-таки, так или иначе, прозревают и чувствуют пустоту и ложность того, чему их заставляют верить». Народ стихийно противится религии, а потому, по мнению Мелье, надлежит опереться на это стихийное сопротивление, обострить и укрепить его проповедью материализма.

Теперь мы подошли вплотную к сокровенному ядру учения Мелье: что же грядет? Как устроится жизнь людская после победоносной народной революции?

Мелье не придумывает, не сочиняет грядущее царство справедливости. Он сумел по-своему прочесть всю предшествующую историю утопий, повернув, решительно и определенно, от идиллических умственных конструкций к своему народу, к своей земле, к своему времени.

Будущее есть царство общности имущества, полного равенства и свободного всеобщего труда. Восторжествуют никогда не умиравшие в жизни народа солидарность, чувство взаимопомощи. Ячейкой новой организации станет община — как бы одна семья равноправных трудящихся братьев и сестер.

Отмена частной собственности позволит быстро повысить общий достаток, поскольку все без исключения будут трудиться и на себя, и на общественное благо. Природа и труд, убежден Мелье, дадут «неисчерпаемое изобилие всех благ». Неминуемо оздоровится социальный и моральный климат: не будет обманов и распрей, исчезнут зависть и жажда накопительства. Детей будут учить добру и совести, а мужчины и женщины станут жить по любви и взаимной привязанности.

Мелье, повторяем, не строил воздушных замков. Он целиком и безоговорочно полагался на мощь разума, на добросовестность и дальновидность грядущих поколений, которые наверняка сумеют установить хорошие законы и выбрать умных правителей.

Несколько слов о смерти мятежного кюре. Подобно Сократу, только на свой лад, он рассматривал свою кончину как уникальный шанс для того, чтобы послужить Добру, послужить не только близким, но — всему человечеству. «Правоверный» католик Мелье знал, что по закону церкви воля умирающего священна, и безбоязненно оставил свое бессмертное «Завещание».

Все, казалось, продумал ослепший, немощный физически, но несгибаемый духовно Мелье. Однако разъяренные церковники догадались объявить его самоубийцей, а на богохульников закон о святости завещания не распространяется! Враги разгадали, какой могучий заряд заложен в посмертном откровении смиренного (каковым был он при жизни) кюре. И крамольное сочинение мнимого «самоубийцы» было изъято и уничтожено.

Но, к счастью для народа, для будущего, уничтожено «Завещание» лишь в двух экземплярах. А их было три! И вот этот третий список попал к людям. Словно листки, подхваченные вихрем, залетают копии «Завещания» в салоны французских просветителей-энциклопедистов, в иные страны, потрясая своей глубиной, искренностью, ужасая (вспомним Вольтера!) своей революционной смелостью. Поль Гольбах, крупнейший материалист XVIII века, посвятил Жану Мелье одну из лучших своих работ с характерным названием: «Здравый смысл кюре Мелье». В книге — ни одной цитаты из «Завещания»; но она, словно магнитное поле, пронизана «силовыми линиями» атеистических идей Мелье. Его мысли повторялись в страстных прокламациях Марата и якобинцев, в «Заговоре равных» Г. Бабёфа и Ф. Буонаротти.

Дух свободы, безоглядной дерзости в атаке на «божественные» установления от Мелье унаследовал и Дидро — самая выдающаяся фигура Просвещения, любимец Маркса. Не будет натяжкой сказать: дух Мелье, мятежный и гуманный, вспыхнул с новой, уже бессмертной силой в революционной теории научного коммунизма Маркса, Энгельса, Ленина.

ГОЛОС ЗЕМЛИ

А теперь, от ближних подступов к Бастилии, от берегов «доброй старой Англии», уже утвердившей в XVII веке диктатуру денежного мешка, двинемся на восток — в бескрайние российские просторы, в необъятную толщу народную, в стан русских мыслителей и борцов.

По камушку, по черепку, по бересточке, по строчке восстанавливают родную историю советские исследователи. Благодаря их упорству и умению в последние годы удалось вырвать из забвенья многие, казалось бы, навсегда утраченные дорогие имена, события, теории, учения эпохи раннего и позднего средневековья.

«Правда останется!» В это верили наши пращуры — верили неистово, самозабвенно, не щадя живота своего. В противовес идеологии господ они светлыми умами лучших своих заступников создавали свою идеологию, лелеяли свою неизбывную мечту.

Интенсивность и широта социальной мысли русского народа, дерзость прогнозов на будущее, его решимость тут же приступить к делу созидания на земле «царства божьего» ничуть не уступали мысли, дерзости и решимости европейцев.

Издревле на Руси были два широких «крыла» средневековой демократии. Одно, по Северу,— новгородское, вечевое, торговое; другое, по бескрайнему Югу,— казацкое, вольное, непокорное, от степей Украины до Яика, а потом дальше, в Сибирь-матушку, так и не познавшую крепостного ярма.

Великий Маркс, внимательно присматривавшийся к России и гениально предугадавший ее революционную миссию в XX веке, придавал огромное значение традиции казацкой вольницы. В его конспекте книги Костомарова «Бунт Стеньки Разина» читаем: «На берегах Волги существовало тогда казачество как отдельное общество». Маркс отмечал далее, что в середине XVII века казачество охватывало более половины (!) территории Руси. Это была поистине «великая держава», бросившая вызов укрепляющемуся самодержавию.

В то же время было бы неверно предаваться идеализации казацкой вольницы. Ни на секунду нельзя упускать из виду главные тенденции исторического развития. И в этом свете казачество «было не новым жизненным началом, а чем-то отсталым, устаревшим. Оно не могло произвести ничего, кроме мимолетной, как метеор, эпохи Стеньки Разина, не могло проложить нового пути для русского народа» (К. Маркс).

Да, само по себе казачество не было созидательной восходящей силой. Но в качестве противовеса всевластию феодалов оно сыграло свою достойную роль, не говоря уже о сохранении в глубинах народной памяти идеала воли, правды, справедливости, побратимства, отстаиваемых с оружием в руках. Более того: беднейшее казачество, голота, голытьба (то есть беглые крепостные) выступали за полное равенство, а также за общность имуществ.

Примерно с середины XVI века настроения крестьянских масс, их мечты и чаяния пробиваются в письменную литературу и публицистику. Голос народа, голос земли, сдавленный феодальным гнетом, начинает звучать то стоном гнева, то жалобным шепотом надежды в сочинениях самых первых русских народных заступников.

Одним из ранних выразителей народной, крестьянской социальной утопии был русский публицист ЕРМОЛАЙ-ЕРАЗМ (середина XVI века), обосновавший учение о «едином обществе».

В основу этой утопии положено то самое «божественное», неделимое понятие Правды, которое уходит в патриархально-общинные глубины. С позиций бескомпромиссной правды утверждается Ермолаем-Еразмом неотъемлемое право труженика на продукты своего труда на своей земле. Неработающие, то есть феодалы, чиновные и купцы — это по сути своей тунеядцы, присваивающие обманом или силой чужое. Бедные и богатые созданы по образу и подобию божьему, а потому и равны перед богом. Установление этого равенства на деле и будет означать торжество Правды и всеобщей Любви. (Главный трактат Ермолая-Еразма так и называется: «Слово о любви и правде».)

Каким путем установление? Прежде всего путем воцарения «благохотящего» правителя, своего рода исполнителя высшей воли. Князь — представитель бога на земле, и смерды должны ему покорствовать (конечно, при условии идеального князя; на то она и утопия!).

Основа общества, его краеугольный камень — крестьянский труд; само собой, Еразм мыслит крестьянство основным сословием. Паразитирующее дворянство превращается в служилых людей (как в утопии Платона — воины), защищающих родную землю от чужеземных ворогов. На их содержание предполагалось отчуждение $^{1}/_{5}$ доли крестьянского продукта. Аналогичным образом должны были обеспечиваться князь с челядью и управителями.

Предметом беспокойства для Ермолая-Еразма были деньги — «бесовское наваждение»: он сохраняет их только для высших слоев своего «единого общества».

Утопии, подобные еразмовой, оказались чрезвычайно долговечными. И не случайно: они базируются на патриархально-натуральном крестьянском хозяйстве, органично включают в себя идею равенства мелких собственников-производителей, их свободу (в пределах «божественной» законности князей). Они также не обижают, но вводят в строгие рамки и сословия вельмож, воинов, купцов. Вот почему эти утопии доживают в своей принципиальной первозданности не только до протопопа Аввакума, не только до Емельяна Пугачева, но и до Льва Толстого. «Осколками» своими

(уже без бога) патриархальная утопия дойдет и до «крестьянского социализма» Герцена и Чернышевского.

Рассмотрим вкратце еще одну, более радикальную, народную утопию. В основе ее лежит «Правда общности имуществ», сформулированная в духе передовых идей века. Автором и проповедником ее выступил (тоже в XVI веке) беглый холоп ФЕОДОСИЙ КОСОЙ. Его учение, выражавшее настроения плебейско-городских слоев и беглых крестьян, представляет собой пик еретической мысли русского средневековья, сопоставимый по глубине и смелости с ересью Томаса Мюнцера.

После побега из России (ему грозила смерть за богохульство от Ивана Грозного) Феодосий развернул проповедническую деятельность в Белоруссии и Литве. Здесь, вблизи европейских перекрестков, он активно впитывает все идеологические новинки Запада, бурлящего в котле Реформации, развивающего культуру под знаменем ренессансного гуманизма.

Феодосий стал как бы мостом, связующим передовые искания русской социальной мысли и общеевропейские идейные движения. Но при этом он оставался вполне оригинальным, более того — выдающимся мыслителем, выдвинувшим целостную концепцию «божественного» (что на тогдашнем языке означало — справедливого) общественного устройства во всемирном, всечеловеческом масштабе.

Вдумаемся: холоп, мыслящий о счастье человечества! Раб, «червь» — Человек! — дерзнул в кровавую, жестокую эпоху выдвинуть в качестве основы «Нового учения» идею равенства и единения всех народов, населяющих землю. «Все людие,— провозглашал он,— едино суть у бога; и татарове, и немцы, и прочие языцы».

Равенство национальностей органически сопрягается Феодосием Косым с идеями социального равенства и общности имуществ «братьев во Христе», а также об общежитии единоверцев — вполне в духе «коммунизма потребления». Известно, что Феодосий Косой создал общину, где попытался реализовать свои идеи на практике.

Небезынтересно, что, акцентируя внимание на общности имуществ, Феодосий никоим образом не уклонялся от вопроса об их источнике. Он, этот источник, один: труд земледельца. Тунеядцы и люмпены равно отвратительны Феодосию.

Братство, созданное Феодосием, должно было послужить моделью «царства божия на земле». Увы, судьба его коммуны нам неизвестна... Но уже то, что мы знаем, полнит душу гордостью и удивлением: в такие-то давние времена мыслить о счастье не для себя лично и не для «ближних» (единоверцев) только, но — для «всея людие», для всея земли! Только с могучей, вечной жизненной силой травы, тонкими иглами своими пронзающей камни, асфальт, бетон, сопоставимы сила и бесстрашие Мечты народной!

...На Россию надвинулся век лихолетья и смут великих — семнадцатый век. Воцарилась на целых триста лет династия Романовых. Крестьянин-вольнолюбец, доведенный до отчаяния, до полного предела терпения, брался за топор, уходил в казаки-разбойники, в степи бескрайние, в глухие леса. Происходило кипение страстей, кровавые сшибки социальных сил, брожение умов...

Наряду с большими и малыми восстаниями против лютости и притеснительства феодалов постепенно вызревает инакомыслие трудового крестьянства, которое потом, словно ударом молнии, раскалывает духовный ствол общества, оплот господства и угнетения — православную церковь. Оно приобретает огромные масштабы, соответствующую окраску и форму в старообрядчестве.

Староверы... Встает в памяти боярыня Морозова на картине гениального Сурикова: фанатичные, исступленные глаза, непокорно подъятое к небу двуперстие... Ненависть к новизне, ненависть к просвещению, тупое упрямство, слепое безумство неистовой веры; полыхающие живыми факелами таежные скиты...

Зачем делаем мы здесь остановку, какое отношение — даже косвенное — может иметь это явно консервативное идейное течение к движению за Правду народную?

Наука, историческая мысль, становящиеся все более зрелыми, избавляющиеся от прямолинейной вульгарности, возвращают нам «реакционный раскол» в ином, более сложном виде, соотнесенном с психологией народа и духом эпохи.

В фундаменте староверчества лежит идеал старины, идеал свободной патриархальной общины, идеал социальной неподвижности. Он притягивал древние боярские слои, как огня боявшиеся нововведений, ибо с последними уходила земля из-под ног родовитых, вынуждая их уступать место под солнцем (вблизи царского трона) инициативному, алчущему власти и богатства дворянству.

Но масса трудящихся, составлявшая основные слои приверженцев староверчества, видела в нем прежде всего выражение своего протеста против неправедности сущего. Для нее оно было лишь одной из религиозных оболочек противостояния мира труда и мира тунеядства, мира бедных и мира богатых. Оно было своеобразной, противоречивой версией христианства как царства справедливости.

Здесь-то и сокрыт несомненный интерес; здесь видится нам исключительно важный отлет, «зигзаг» народной мечты в сторону от слепого покорства и смирения. В сторону, не принесшую людям счастья и благодати — законы истории не дано перехитрить,— но вместе с тем и в сторону борьбы, несогласия с угнетением, в сторону накопления взрывчатой энергии сопротивления социальному злу. В сторону, открытую для дальнейших поисков позитивного общественного идеала.

Раскол был шагом к соединению старой (из глубин истории идущей) идеи справедливого «мужицкого царя» с идеей «мужицкой церкви», не запятнанной прелюбодейством с угнетателями. Неприятие зла в староверчестве приобретало не столько формы прямой войны с ним (какими были крестьянские войны и восстания), сколько формы пассивного побега из «мира скверны» — будь то побег в леса, в потайные скиты, или побег на небеса — в пламени самосожжения. Однако заметим и другое: старообрядчество, его огненные краски своеобразно вплетались и в крестьянские бунты, включая великие войны Разина и Пугачева.

Одной из самых ярких вспышек творческой энергии староверчества, таившей в себе неубиенную, негасимую жажду свободы и достоинства человеческого, является душу пронзающее «Житие» протопопа АВВАКУМА (1621—1682 гг.). Человек, «в уши которого шумит разбой», бесстрашно восстал против одетой в камень, золото и парчовые ризы власти, провозгласил и доказал — не силлогизмами, а жизнью своею,— что нет на свете силы, могущей сломить силу человеческого духа.

Совсем недавно найдены новые документы, подтверждающие, что знаменитый протопоп из «земляной тюрьмы» своей подвигал соратников не только на пассивную, но и на прямую борьбу против царя и архиереев. Он был главой религиозного движения, его вождем — вплоть до своей гибели. Может быть, нелишним будет еще раз напомнить, что в ту эпоху борьба классов «шла в форме борьбы одной религиозной идеи против другой» (В. И. Ленин).

Не верность «святому двуперстию», а великая бойцовская стойкость, несгибаемость в борьбе за идею изумляют в Аввакуме, который предпочел смерть в «пещи огненной» царским тяжелым ласкам, принял муки неслыханные, но не изменил себе и вере своей.

Истлели ризы, испарился «божественный» смысл споров о «дьявольской щепоти», но вечно живо и трепетно для нас бунтарство Аввакума, его готовность за идею и «за мирскую правду душу своя... положить».

Аввакум не только борец и мыслитель, но и крупнейший писатель, из тех, кого по справедливости зовут основоположниками. Он продолжил основу великой литературной традиции российской: не потешать, не развлекать читателя «чюдами чюдными», но вовлекать его в соразмышление над величайшими вопросами бытия человеческого, над проблемами совести, достоинства, смысла жизни.

Вот один только сюжет созданного им «Жития». В описании нечеловеческих мук и бедствий, выпавших на долю непокорного Аввакума, потрясает трагический, на пределе отчаяния, разговор его с верной женой Анастасией Марковной:

«Долго ли муки сея, протопоп, будут?» И я говорю: «Марковна, до самыя до смерти!» Она же, вздохня, отвещала: «Добро, Петрович, ино еще побредем...»

Так во имя чего пошел он в огонь? Только ли за веру «святую» в ненависти к вере поганой, неправедной? Важно понять, чем была неправедна для Аввакума вера «толстомясых», какая мечта полыхала в его пронзительных, обжигающих глазах.

Слово Аввакуму, проповеднику, мыслителю, мужицкому радетелю: «Единако нам бог распростре небо, еще же луна и солнце всем сияет равно, такожде земля, и воды, и вся прозябающая...»

«Всем... равно»! Вот источник внутреннего огня, неслыханной воли, истовой самоотверженности этого человека. В России XVII века он поднял, как бомбу, свое огнедышащее Слово на супостатов народных, коих бесовское воплощение видел прежде всего в «князьях церкви» — антихристах и захребетниках. И смерть страшную принял «за великия на царский дом хулы».

Абстрактна, пропитана мистически-религиозным туманом мечта Аввакума, но не настолько, чтобы не увидал он зоркими — в любви к народу и Отечеству — глазами своими несметные богатства родной земли. «А все-то у Христа-тово-света наделано для человеков». Для человеков — а не для гнусных обманщиков и притеснителей, не для тех, кто «раздувается, яко пузырь; гневается, яко рысь; съесть хощет, яко змия; ...лукавует, яко бес»...

Свет Аввакума ярче, сильнее тьмы его. Свет Аввакума горит нетленно в шедеврах великих русских правдо- и народолюбцев, искателей «синей птицы» счастья для трудового человека.

...Вскоре после лютой казни Аввакума на русский престол взошел малолетний сын «тишайшего» Алексея Романова. Начинался новый, динамичный, с распахнутыми окнами в Европу, с великими переменами век — век Петра I, век Пугачева.

Новыми проницательными умами, новыми горячими сердцами, кипящими любовью к «Отечеству драгому», прирастали богатство и слава российские. Новые насильники и лицемеры, доморощенные и чужеземные, нависали над огромной страной. Постепенно набирая обороты, раскручивалось колесо ее истории — в сторону декабристов и Герцена, Некрасова и Чернышевского. В сторону Ленина.

А за крестьянской сохой по супесям и суглинкам, за первопроходцами Сибири и Дальнего Востока — под стон заунывный, под песню тягучую, под звон кандальный — тянулась неумирающая, неунывающая, терпеливая (как русская женщина!) народная мечта о лучшей доле.

Хлеба вдосталь, беспечального, веселого и дружного житья, мира и спокойствия, красоты и благодати — вот чего извечно молил у судьбы и у бога человек-труженик. Оттого и живуч был в его идеале Правды «мужицкий царь» (таким по необходимости, по глубокой интуиции своей представлял себя восставшему народу Емельян Пугачев). Оттого столь важное место в символах этого идеала отведено равенству по богатству, а не по бедности.

Прелюбопытнейший в этой связи литературный документ начала XVIII века — «Сказание о роскошном житии и веселии», короткая поэма в прозе о дивной стране изобилия, где всего и для всех вдоволь, где «кроме там радостей и веселья, песен, танцованья и всяких игр, плясанья, никакия печали не бывает». По русским и украинским городам и весям, через Польшу, Лифляндию, Стокгольм — «Стеколню» пролегает извилистая дорога в страну роскошного жития. Попробуй — найди, попробуй — дойди...

По-разному можно трактовать эту сказку-притчу, по-разному и толкуют ее специалисты. Одно несомненно: звучит в ней — и под конец все явственнее — горечь, рожденная чувством несбыточности мечты. За проезд в ту благословенную страну берут «з дуги по лошади, с шапки по человеку и со всево обозу по людям». Страшная, неимоверно высокая цена!

Но все же — цена; значит, может она быть плачена! И платится народом всем — «со всево обозу по людям»; быть может, когда-то и откроются заветные врата?

«Сказание о роскошном житии и веселии» лишь одна песчинка в океане народных мечтаний о вольных, счастливых землях. И не только мечтаний, но и реальных поисков этих земель. Наличие огромных резервных пространств в раннефеодальной России сделало массовый «исход» в другие края за лучшей долей специфической особенностью русской истории. «За тридевять земель, в тридесятое царство» шли упрямо, истово толпы жаждущих «роскошного жития и веселия».

Беглецы и переселенцы (и это очень важно!) не просто сломя голову рвались в неизвестность; их манили красочные миражи, поэтически захватывающие мечты об иной жизни. И вспыхивали негасимыми факелами легенды: «Открыван-городок» —

Пугачева; Беловодье — благодатный край без царя и помещиков, без налогов и податей; невидимый град Китеж... В них с новой силой возродились стародавние утопии «рахманских островов».

Какая упрямая, не прерывающаяся ни в одном поколении нить мечты и надежды! Какое бесконечное множество вариаций, поэтических картин — от чисто сказочных до мнимо-реальных! И в каждой — жажда добра, довольства, воли, спокойствия и тишины.

Что еще может открыться нам в этой долгой и сложной цепи? Неужели только хилиастическое «тысячелетнее царство» покоя, сытости и... социальной неподвижности? На первый взгляд именно этим неизбежно заканчиваются все утопии.

А не повернуть ли ход рассуждений иначе? Верно ли видеть в мечте народа одну лишь тоску по патриархальности, по «благодетельной дикости»? Спору нет, и это нужно видеть, и понимать, и объяснять. Но у фантазии и жизни человеческой есть одно странное свойство: страстно желаемое рано или поздно претворяется в действительное — при условии, что желаемое опирается на реальные элементы настоящего и прошлого.

ИСТОЧНИКИ. ФРАГМЕНТЫ. СТИХИ



Ф. ЭНГЕЛЬС

ОБ УРАВНИТЕЛЬНОМ КОММУНИЗМЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

...Плебеи в то время были единственным классом, находившимся совершенно вне существующего официального общества. Они стояли как вне феодальных, так и вне бюргерских связей. Они не обладали ни привилегиями, ни собственностью; у них не было даже обремененного тяжелыми повинностями владения, которое имелось у крестьян и мелких бюргеров. Они были во всех отношениях неимущи и бесправны; условия их существования не имели никакого непосредственного касательства к действовавшим в то время учреждениям, которые их совершенно игнорировали. Они были живым симптомом разложения феодального и цехово-бюргерского общества и в то же время первыми предвестниками современного буржуазного общества.

Это положение плебеев объясняет, почему плебейская часть общества уже тогда не могла ограничиться одной только борьбой против феодализма и привилегированных горожан; почему она, по крайней мере в мечтах, должна была выйти даже за пределы едва только нарождавшегося тогда современного буржуазного общества; почему она, не имея никакой собственности, должна была уже подвергнуть сомнению учреждения, представления и взгляды, которые были свойственны всем покоящимся на классовых противоречиях общественным формам. Хилиастические мечтания раннего христианства представляли удобный исходный пункт для этого. Но в то же время это стремление выйти за пределы не только настоящего, но и будущего могло быть лишь фантастическим, лишь насилием над действительностью, и первая же попытка осуществить его на практике должна была отбросить движение назад, в те узкие рамки, которые только допускались тогдашними условиями. Нападки на частную собственность, требование общности имущества неизбежно должны были выродиться в примитивную организацию благотворительности; неопределенное христианское равенство могло, самое большее, вылиться в буржуазное «равенство перед законом»; упразднение всяких властей превращалось в конце концов в учреждение республиканских правительств, избираемых народом. Предвосхищение коммунизма в фантазии становилось в действительности предвосхищением современных буржуазных отношений.

Это резко противоречащее действительности, но вполне объясняющееся условиями жизни плебеев предвосхищение последующей истории мы впервые встречаем в *Германии,* у *Томаса Мюнцера* и его партии. Правда, у таборитов уже существовала своего рода хилиастическая общность имущества, однако лишь в качестве чисто военной меры. Только у Мюнцера эти проблески коммунистических идей впервые становятся выражением стремлений реальной общественной группы, только у него впервые они формулируются с известной определенностью, и, начиная с него, мы встречаем их снова в каждом великом народном потрясении, пока они постепенно не сливаются с современным пролетарским движением, подобно тому как в средние века борьба свободного крестьянства против все более и более опутывающего его феодального господства сливается с борьбой крепостных и зависимых крестьян за полное уничтожение феодального гнета.

* * *

...Его (Томаса Мюнцера.— *Ред.*) политическая доктрина тесно примыкала к этим революционным религиозным воззрениям и так же далеко выходила за пределы тех общественных и политических отношений, которые были тогда непосредственно налицо, как и его теология выходила за пределы господствовавших в то время представлений. Подобно тому как религиозная философия Мюнцера приближалась к атеизму, его политическая программа была близка к коммунизму, и даже накануне Февральской революции многие современные коммунистические секты не обладали таким богатым теоретическим арсеналом, каким располагали «мюнцерцы» в XVI веке. Эта программа, которая представляла собой не столько сводку требований тогдашних плебеев, сколько гениаль-

ное предвосхищение условий освобождения едва начинавших тогда развиваться среди этих плебеев пролетарских элементов, требовала немедленного установления царства божьего на земле — тысячелетнего царства, предсказанного пророками,— путем возврата церкви к ее первоначальному состоянию и устранения всех учреждений, находившихся в противоречии с этой якобы раннехристианской, в действительности же совершенно новой церковью. Но под царством божьим Мюнцер понимал не что иное, как общественный строй, в котором больше не будет существовать ни классовых различий, ни частной собственности, ни обособленной, противостоящей членам общества и чуждой им государственной власти. Все существующие власти, в случае если они не подчинятся революции и не примкнут к ней, должны быть низложены, все промыслы и имущества становятся общими, устанавливается самое полное равенство.

* * *

...Эта аскетическая строгость нравов, это требование отказа от всех удовольствий и радостей жизни, с одной стороны, означает выдвижение против господствующих классов принципа спартанского равенства, а с другой — является необходимой переходной ступенью, без которой низший слой общества никогда не может прийти в движение. Для того чтобы развить свою революционную энергию, чтобы самому осознать свое враждебное положение по отношению ко всем остальным общественным элементам, чтобы объединиться как класс, низший слой должен начать с отказа от всего того, что еще может примирить его с существующим общественным строем, отречься от тех немногих наслаждений, которые минутами еще делают сносным его угнетенное существование и которых не может лишить его даже самый суровый гнет. Этот *плебейский* и *пролетарский аскетизм* как по своей неистово-фанатической форме, так и по своему содержанию резко отличается от бюргерского аскетизма в том виде, как его проповедовали бюргерская лютеранская мораль и английские пуритане (в отличие от индепендентов и других более радикальных сект) и весь секрет которого состоит в *буржуазной бережливости.* Впрочем, само собой разумеется, что этот плебейско-пролетарский аскетизм теряет свой революционный характер по мере того как, с одной стороны, развиваются современные производительные силы, безгранично увеличивая средства потребления и делая тем самым ненужным спартанское равенство, и, с другой стороны, становятся все более революционными условия жизни пролетариата, а вместе с ними и сам пролетариат. Тогда массы постепенно освобождаются от аскетизма, а у цепляющихся за него сектантов он вырождается либо непосредственно в буржуазную скаредность, либо в ходульную добродетель, которая на практике также сводится к мещанскому или ремесленническому скряжничеству. Масса пролетариата менее всего нуждается в проповеди отречения от земных благ, хотя бы уже потому, что у нее не осталось почти ничего, от чего бы она могла еще отречься.

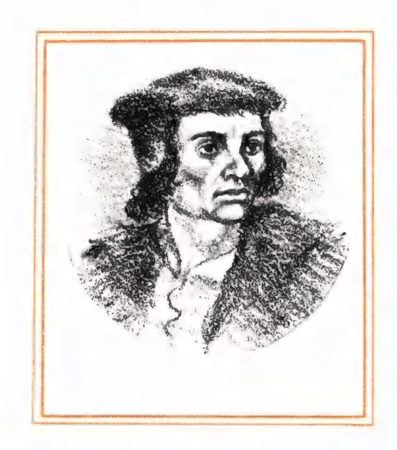
* * *

Самым худшим из всего, что может предстоять вождю крайней партии, является вынужденная необходимость обладать властью в то время, когда движение еще недостаточно созрело для господства представляемого им класса и для проведения мер, обеспечивающих это господство. То, что́ он *может* сделать, зависит не от его воли, а от того уровня, которого достигли противоречия между различными классами, и от степени развития материальных условий жизни, отношений производства и обмена, которые всегда определяют и степень развития классовых противоречий. То, что́ он *должен* сделать, чего требует от него его собственная партия, зависит опять-таки не от него самого, но также и не от степени развития классовой борьбы и порождающих ее условий; он связан уже выдвинутыми им доктринами и требованиями, которые опять-таки вытекают не из данного соотношения общественных классов и не из данного, в большей или меньшей мере случайного, состояния условий производства и обмена, а являются плодом более или менее глубокого понимания им общих результатов общественного и

политического движения. Таким образом, он неизбежно оказывается перед неразрешимой дилеммой: то, чтó он *может* сделать, противоречит всем его прежним выступлениям, его принципам и непосредственным интересам его партии; а то, чтó он *должен* сделать, невыполнимо. Словом, он вынужден представлять не свою партию, не свой класс, а тот класс, для господства которого движение уже достаточно созрело в данный момент. Он должен в интересах самого движения отстаивать интересы чуждого ему класса и отделываться от своего класса фразами, обещаниями и уверениями в том, что интересы другого класса являются его собственными. Кто раз попал в это ложное положение, тот погиб безвозвратно.

Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии. Соч., т. 7.

Т. МЮНЦЕР



ИЗ ПИСЬМА МАНСФЕЛЬДСКИМ РУДОКОПАМ

(май 1525 г.)

Дорогие братья, как долго вы спите! Вы забыли волю божью, говоря, что бог забыл вас. Но разве я не учил вас много раз, что так и должно быть? Бог не может более открываться людям. Вы сами должны быть стойки, в противном случае напрасны все ваши раздирающие сердце жертвы. Вы должны будете перетерпеть еще страдания. Если не хотите пострадать во имя божие, то пострадаете во имя дьявола. Опасайтесь этого. Не унывайте, будьте бодры. Не льстите безумным мечтателям и безбожным злодеям. Беритесь за дело божие и выходите на борьбу. Время настало! Убеждайте ваших братьев не презирать слова божия, иначе им грозит погибель. Вся Германия, Франция и Италия уже поднялись. Господь хочет приняться за дело; злодеи должны погибнуть. На святой неделе разрушено четыре монастырские церкви в Фульде. Крестьяне Клетгау, Гегау и Шварцвальда восстали в числе 30 тыс., и рать их прибывает с каждым днем. Я боюсь только, чтобы глупых людей не увлекли фальшивыми договорами, в которых они не разглядят злого умысла. Если вас будет хоть трое, твердо верующих в бога, одушевленных одним желанием прославить его имя и честь, вы не побоитесь и сотни тысяч человек. Итак, за дело! Пора, злодеи струсили, как псы. Возбуждайте ваших братьев к согласию и уговаривайте их снаряжаться. Давно, слишком давно пора, скорей же, скорей за дело, за дело! Не поддавайтесь, если даже враги будут обращаться к вам с добрым словом. Не трогайтесь бедствиями безбожников. Они будут молить вас и плакать перед вами, как дети, но не жалейте их. Сам бог приказал так через Моисея (Второзаконие, 7). Нам он открыл то же. Возбуждайте села и города, в особенно-

сти же горняков-подмастерьев и других славных ребят. Мы не должны больше спать. Смотрите, пока я писал эти слова, ко мне пришло известие из Зальца, что народ хотел выбросить из замка альтмана*, герцога Георга, за то, что он замышлял тайно погубить троих. Крестьяне Эйхфельда справились со своими дворянами, они не хотят жить их милостью. Со всех сторон перед вами много примеров, принимайтесь же за дело, пора, Балтазар и Бартель, Крумпф, Фельтен и Бишоф, беритесь каждый за свою работу. Передайте это письмо вашим товарищам-горнорабочим. Хотел бы так наставить всех братьев, чтобы их мужество было тверже всех замков безбожных злодеев во всей стране! За дело, за дело! Железо горячо, куйте его!

Пусть ваши мечи не остывают от теплой крови! Пока злодеи живы, вы не освободитесь от человеческого страха. Вам нельзя говорить о боге, покуда вами управляют. Итак, за дело, пока время еще не ушло. Вами предводительствует бог, следуйте за ним...

Хрестоматия по истории средних веков. М., Учпедгиз., 1950.



ПЕСНЯ О ФЛОРИАНЕ ГАЙЕРЕ**

Настали золотые
Для Коршуна деньки,
Птенцы его лихие —
Простые мужики.
Они теперь восстали —
Немецкий весь народ —
Оружие достали
И двинулись в поход.

Зачем им не сиделось
В насиженном гнезде?
Откуда взяли смелость
И силу взяли где?
По божьему веленью
Идут они на бой —
Идут на искупленье
Греховности мирской.

Отчаянным народом
Силен крестьянский полк.
Иной зовет их сбродом,
Глядит на них как волк.
Так делают злодеи,
Гордец, ханжа и трус.
Мы с каждым днем сильнее —
Мотайте-ка на ус!

Еще на нас косится
Высокомерный враг;
Мол, что они за птицы
И кто у них вожак?
Вожак наш этим барам
Покажет, что почем!
Ведь Гайера недаром
Мы Коршуном зовем.

---

* Альтман *(нем.)* — управитель.

** Гайер *(нем.)* — буквально означает «коршун». Флориан Гайер — один из вождей Крестьянской войны, сподвижник Т. Мюнцера.

И вот идут крестьяне,
Бесстрашны и честны,
Идут на поле брани,
На тяжкий труд войны.
И пусть они покуда
Не ведали побед —
Дворянам будет худо,—
Такой дают обет.

Бесчисленное войско
Отважных мужиков
Сражается геройски
И не щадит врагов.
Оно разрушит храмы,
Оно сожжет дворцы,—
Недаром нас упрямо
Порочат подлецы.

ПЕСНЯ ОБ УСМИРЕНИИ МЮЛЬГАУЗЕНА*

Хотите песенке внимать,
Что пелась про князей да знать,
Высокоблагородных
Теснителей народных?

Им христианскую-то кровь
Пивать за трапезой не вновь,
Им миловать негоже,
Спаси нас, бедных, боже!

В четверг стряслась у нас беда.
Сошлись князья и господа
Под Шлоттгейм всей оравой,
Грозили нам расправой.

Как герцог Юрий зол и лют,
Расскажет эббелейдский люд;
К князьям он едет в поле,
Чтоб благ стяжать поболе.

Мюльгаузен — крепость хоть куда,
Но взяли город господа,
В том доктор был виною
С багряной бородою.

Ты, доктор, признанный злодей,
Ты худо сделал, ей-же-ей!
Но мы тебя отвадим,
На кол тебя посадим.

И Генрих Баумгард был из тех,
Кого не устрашает грех,
Он знал, что доктор хочет,
О чем злодей хлопочет.

Их плутни Кенемунд открыл.
За то и голову сложил.
В угоду барам злобным
У нас, на месте лобном.

Был Пфейфер честен и учен,
Славней не сыщется имен.
В пути его схватили,
Навеки уложили.

Так нам Мюльгаузенский совет
Немало понаделал бед,
Из злобы и из мести
Нас бьют на лобном месте.

И даже тех, кому князья
Свободу дали, видел я,
Прислужники хватали
И насмерть убивали.

Людей не милуют они.
Господь, теснителей казни!
Пусть черти в хворостины
Их примут в час кончины.

Нам Ламгарт, воевода-плут,
Сказал: на Попперекский пруд
Идите всей толпою
С повинной головою.

И жены бедные гурьбой,
Ведомы докторской женой,
Пошли молить злодеев...
Спусти на ведьму змеев!

Кто эту песенку сложил,
Тот на земле недолго жил —
Он выпил злую чашу.
Ты песню слышал нашу?

Европейские поэты Возрождения. М., «Художественная литература», 1974.

---

* Мюльгаузен (или Мюльхаузен) — город в Германии. Его оборона стала высшим пиком Крестьянской войны в Германии. Упоминаемые в анонимной песне «доктор», Генрих Баумгард — предатели коммуны, прислужники феодальных карателей.

Т. МОР



УТОПИЯ*

Фрагменты

...«Ваши овцы,— отвечаю я,— обычно такие кроткие, довольные очень немногим, теперь, говорят, стали такими прожорливыми и неукротимыми, что поедают даже людей, разоряют и опустошают поля, дома и города. Именно, во всех тех частях королевства, где добывается более тонкая и потому более драгоценная шерсть, знатные аристократы и даже некоторые аббаты, люди святые, не довольствуются теми ежегодными доходами и процентами, которые обычно нарастали от имений у их предков; не удовлетворяются тем, что их праздная и роскошная жизнь не приносит никакой пользы обществу, а, пожалуй, даже и вредит ему. Так вот, в своих имениях они не оставляют ничего для пашни, отводят все под пастбища, сносят дома, разрушают города, делают из храмов свиные стойла. Эти милые люди обращают в пустыню все поселения и каждую пядь возделанной земли, как будто и без того у вас мало ее теряется под загонами для дичи и зверинцами.

* * *

...Поэтому я твердо убежден в том, что распределение средств равномерным и справедливым способом и благополучие в ходе людских дел возможны только с совершенным уничтожением частной собственности; но если она останется, то и у наибольшей и наилучшей части человечества навсегда останется горькое и неизбежное бремя скорбей. Я, правда, допускаю, что оно может быть до известной степени облегчено, но категорически утверждаю, что его нельзя совершенно уничтожить. Например, можно установить следующее: никто не должен иметь земельной собственности выше известного предела; сумма денежного имущества каждого может быть ограничена законами; могут быть изданы известные законы, запрещающие королю чрезмерно проявлять свою власть, а народу быть излишне своевольным; можно запретить приобретать должности подкупом или продажей; прохождение этих должностей не должно сопровождаться издержками, так как это представляет удобный случай к тому, чтобы потом наверстать эти деньги путем обманов и грабежей, и воз-

---

* «Утопия» написана в форме диалога между Рафаилом Гитлодеем — вымышленным героем, посетившим счастливый остров,— и самим автором.

В первом отрывке устами Гитлодея высказано возмущение самого Томаса Мора бесчеловечной политикой «огораживания». Все остальные фрагменты представляют собой описание жизни, быта и нравов утопийцев.

никает необходимость назначать на эти должности людей богатых, тогда как люди умные выполнили бы эти обязанности гораздо лучше. Подобные законы, повторяю, могут облегчить и смягчить бедствия точно так же, как постоянные припарки обычно подкрепляют тело безнадежно больного. Но пока у каждого есть личная собственность, нет совершенно никакой надежды на выздоровление и возвращение организма в хорошее состояние. Мало того, заботясь об исцелении одной его части, ты растравляешь рану в других. Таким образом, от лечения одного взаимно рождается болезнь другого, раз никому нельзя ничего прибавить без отнятия у другого.

* * *

...В деревне на всех полях имеются удобно расположенные дома, снабженные земледельческими орудиями.

В домах этих живут граждане, переселяющиеся туда по очереди. Ни одна деревенская семья не имеет в своем составе менее сорока человек — мужчин и женщин, кроме двух приписных рабов. Во главе всех стоят отец и мать семейства, люди уважаемые и пожилые, а во главе каждых тридцати семейств — один филарх. Из каждого семейства двадцать человек ежегодно переселяются обратно в город; это те, что пробыли в деревне два года. Их место занимают столько же новых из города, чтобы их обучали пробывшие в деревне год и потому более опытные в сельском хозяйстве; эти приезжие на следующий год должны учить других, чтобы в снабжении хлебом не произошло какой-либо заминки, если все одинаково будут новичками и несведущими в земледелии. Хотя этот способ обновления земледельцев является общепринятым, чтобы никому не приходилось против воли слишком долго подряд вести суровую жизнь, однако многие, имеющие природную склонность к деревенской жизни, выпрашивают себе большее число лет. Земледельцы обрабатывают землю, кормят скот, заготовляют дрова и отвозят их в город каким удобно путем — по суше или по морю.

* * *

...Кроме земледелия (которым, как я сказал, занимаются все), каждый изучает какое-либо одно ремесло, как специальное. Это обыкновенно или пряжа шерсти, или выделка льна, или ремесло каменщиков, или рабочих по металлу и по дереву. Можно сказать, что, кроме перечисленных, нет никакого иного занятия, которое имело бы у них значение, достойное упоминания. Что же касается одежды, то, за исключением того, что внешность ее различается у лиц того или другого пола, равно как у одиноких и состоящих в супружестве, покрой ее остается одинаковым, неизменным и постоянным на все время, будучи вполне пристойным для взора, удобным для телодвижений и приспособленным к холоду и жаре. И вот эту одежду каждая семья приготовляет себе сама. Но из других ремесел всякий изучает какое-либо, и притом не только мужчины, но также и женщины. Впрочем, эти последние, как более слабые, имеют более легкие занятия: они обычно обрабатывают шерсть и лен. Мужчинам поручаются остальные ремесла, более трудные. По большей части каждый вырастает, учась отцовскому ремеслу: к нему большинство питает склонность от природы. Но если кто имеет влечение к другому занятию, то такого человека путем усыновления переводят в какое-либо семейство, к ремеслу которого он питает любовь; при этом не только отец этого лица, но и власти заботятся о том, чтобы передать его солидному и благородному отцу семейства...

* * *

...Все время, остающееся между часами работы, сна и принятия пищи, предоставляется личному усмотрению каждого, но не для того, чтобы злоупотреблять им в излишествах или лености, а чтобы на свободе от своего ремесла, по лучшему уразумению, удачно применить эти часы на какое-либо другое занятие. Эти промежутки большинство уделяет наукам. Они имеют обыкновение устраивать ежедневно в предрассветные часы публичные лекции; участвовать в них обязаны только те, кто специально отобран для занятий науками. Кроме них, как мужчины, так и женщины всякого звания огромной толпой стекаются для слуша-

ния подобных лекций, одни — одних, другие — других, сообразно с естественным влечением каждого. Впрочем, если кто предпочтет посвятить это время своему ремеслу,— а это случается со многими, у кого нет стремления к проникновению в какую-либо науку,— то в этом никто ему не мешает; мало того, такое лицо даже получает похвалу, как приносящее пользу государству.

* * *

...Каждый город разделен на четыре равные части. Посредине каждой части имеется рынок со всякими постройками. Туда, в определенные дома, свозятся предметы производства каждого семейства, и отдельные виды их распределяются в розницу по складам. В них каждый отец семейства просит того, что нужно ему и его близким, и без денег, совершенно без всякой уплаты, уносит все, что ни попросит. Да и зачем ему отказывать в чем-либо? Ведь, во-первых, все имеется в достаточном изобилии, а во-вторых, не может быть никакого опасения, что кто-либо пожелает потребовать больше, чем нужно. Зачем предполагать, что лишнего попросит тот, кто уверен, что у него никогда ни в чем не будет недостатка? Действительно, у всякого рода живых существ жадность и хищность возникают или от боязни нужды, или, у человека только, от гордости, вменяющей себе в достоинство превзойти прочих излишним хвастовством своим имуществом. Порок такого рода совершенно не имеет места среди обычаев утопийцев.

* * *

...Утопийцы едят и пьют в скудельных сосудах из глины и стекла, правда, всегда изящных, но все же дешевых, а из золота и серебра повсюду, не только в общественных дворцах, но и в частных жилищах, они делают ночные горшки и всю подобную посуду для самых грязных надобностей. Сверх того из тех же металлов они вырабатывают цепи и массивные кандалы, которыми сковывают рабов. Наконец, у всех опозоривших себя каким-либо преступлением в ушах висят золотые кольца, золото обвивает пальцы, шею опоясывает золотая цепь, и, наконец, голова окружена золотым обручем. Таким образом, утопийцы всячески стараются о том, чтобы золото и серебро были у них в позоре. В итоге другие народы дают на растерзание эти металлы с не меньшей болью, чем свою утробу, а среди утопийцев, если бы обстоятельства потребовали удаления всех этих зараз, никто, по-видимому, не почувствовал бы от этого для себя ни малейшего лишения.

* * *

...Но счастье, по их мнению, заключается не во всяком удовольствии, а только в честном и благородном. К нему, как к высшему благу, влечет нашу природу сама добродетель, которой одной только противная партия усвояет счастье. Добродетель они определяют, как жизнь, согласную с законами природы; к этому мы назначены богом. Надо следовать тому влечению природы, которое повинуется разуму в решении вопроса, к чему надо стремиться и чего избегать. Разум прежде всего зажигает у людей любовь и уважение к величию божию, которому мы обязаны и тем, что существуем, и тем, что можем обладать счастьем. Во-вторых, разум настойчиво внушает нам и самим жить в возможно большем спокойствии и радости, и помогать всем прочим, по природной связи с ними, в достижении того же самого. Не было никогда ни одного столь сурового и строгого приверженца добродетели и ненавистника удовольствия, который бы советовал тебе только труды, бдения и суровость, не предлагая в то же время посильно облегчить нужду и неприятности других и не считая этого похвальным во имя человеколюбия. Нет добродетели, более присущей человеку, и ему особенно свойственно, чтобы один служил на благо и утешение другому, смягчал тягости других и возвращал их, уничтожив печаль, к приятности жизни, то есть к удовольствию. Если это так, то почему природе не внушать каждому делать то же самое и для себя?

* * *

...Я подозреваю, что этот народ* ведет происхождение от греков, так как их язык, в остальных отношениях почти напоминающий персидский, в названиях городов и должностных лиц сохраняет некоторые следы греческой речи. Отправляясь в плавание в четвертый раз, я взял с собою на корабль вместо поваров порядочную кипу книг, потому что принял твердое решение лучше не возвращаться никогда, чем скоро. Поэтому у утопийцев имеется от меня значительное количество сочинений Платона, еще больше Аристотеля, равно как книга Феофраста о растениях...

* * *

...Утопийцы сильно гнушаются войною, как деянием поистине зверским, хотя ни у одной породы зверей она не употребительна столь часто, как у человека; вопреки обычаю почти у всех народов, они ничего не считают в такой степени бесславным, как славу, добытую войной. Не желая, однако, обнаружить, в случае необходимости, свою неспособность к ней, они постоянно упражняются в военных науках. Они никогда не начинают войны зря, а только в тех случаях, когда защищают свои пределы, или прогоняют врагов, вторгшихся в страну их друзей, или сожалеют какой-либо народ, угнетенный тиранией, и своими силами освобождают его от ига тирана и от рабства; это делают они по человеколюбию...

* * *

...В других странах каждый знает, что, как бы общество ни процветало, он все равно умрет с голоду, если не позаботится о себе лично. Поэтому в силу необходимости он должен предпочитать собственные интересы интересам народа, то есть других. Здесь же, где все принадлежит всем, наоборот, никто не сомневается в том, что ни один честный человек не будет ни в чем терпеть нужды, стоит только позаботиться о том, чтобы общественные магазины были полны. Тут не существует неравномерного распределения продуктов, нет ни одного нуждающегося, ни одного нищего, и хотя никто ничего не имеет, тем не менее все богаты. Действительно, может ли быть лучшее богатство, как лишенная всяких забот, веселая и спокойная жизнь? Тут не надо тревожиться насчет своего пропитания; не приходится страдать от жалобных требований жены, опасаться бедности для сына, беспокоиться о приданом дочери. Каждый может быть спокоен насчет пропитания и благополучия как своего, так и всех своих: жены, сыновей, внуков, правнуков, праправнуков и всей длинной вереницы своих потомков, исчисление которой принято в знатных родах. Далее, о потерявших работоспособность утопийцы заботятся нисколько не меньше, чем о тех, кто работает теперь. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь посмел сравнить с этим беспристрастием справедливость других народов. Да провалиться мне, если я найду у них какой-нибудь след справедливости и беспристрастия!

* * *

...При неоднократном и внимательном созерцании всех процветающих ныне государств я могу клятвенно утверждать, что они представляются не чем иным, как неким заговором богачей, ратующих под именем и вывеской государства о своих личных выгодах. Они измышляют и изобретают всякие способы и хитрости, во-первых, для того, чтобы удержать без страха и потери то, что стяжали разными мошенническими хитростями, а затем для того, чтобы откупить себе за возможно дешевую плату работу и труд всех бедняков и эксплуатировать их, как вьючный скот. Раз богачи постановили от имени государства, значит, также и от имени бедных, соблюдать эти ухищрения, они становятся уже законом. Но и тут, когда эти омерзительные люди, в силу своей ненасытной алчности, поделили в своей среде все то, чего хватило бы на всех, как далеки они все же от благоденствия государства утопийцев! Выведя деньги из употребления, они совершенно уничтожили всякую алчность к ним, а какая масса тягостей пропала при этом! Какой посев преступлений вырван с корнем!

---

* Для Т. Мора важно было подчеркнуть духовную связь утопийцев с культурой Древней Эллады. Так в идеал совершенного социалистического устройства вплетается античный «миг гармонии».

Т. КАМПАНЕЛЛА



ГОРОД СОЛНЦА*

Отрывки

* * *

...По повелению Мудрости во всем городе стены, внутренние и внешние, нижние и верхние, расписаны превосходнейшею живописью, в удивительно стройной последовательности, отображающей все науки. На внешних стенах храма и на завесах, ниспадающих, когда священник произносит слово, дабы не терялся его голос, минуя слушателей, изображены все звезды, с обозначением при каждой из них в трех стихах ее сил и движений.

На внутренней стороне стены первого круга изображены все математические фигуры, которых значительно больше, чем открыто их Архимедом и Евклидом. Величина их находится в соответствии с размерами стен, и каждая из них снабжена подходящей объяснительной надписью в одном стихе: есть там и определения, и теоремы, и т. п. На внешнем изгибе стены находится прежде всего крупное изображение всей земли в целом; за ним следуют особые картины всевозможных областей, при которых помещены краткие описания в прозе обычаев, законов, нравов, происхождения и сил их обитателей; также и алфавиты, употребляемые во всех этих областях, начертаны здесь над алфавитом Города Солнца.

На внутренней стороне стены второго круга, или второго ряда строений, можно видеть как изображения, так и настоящие куски драгоценных и простых всякого рода камней, минералов и металлов, с пояснениями при каждом в двух стихах. На внешней стороне изображены моря, реки, озера и источники, существующие на свете; так же как и вина, масла и все жидкости; указано их происхождение, качества и свойства; а на выступах стены стоят сосуды, наполненные жидкостями, выдержанными от сотни до трехсот лет, для лечения различных недугов. Там же, с соответствующими стихами, находятся и подлинные изображения града, снега, грозы и всех воздушных явлений...

* * *

...В Городе Солнца, где обязанности, художества, труды и работы распределяются между всеми, каждому приходится работать не больше четырех часов в день; остальное время проводится в приятных занятиях науками, собеседовании, чтении, рассказах, письме,

* «Город Солнца», как и «Утопия», написан в форме диалога (между Гостинником и Мореходом из Генуи. При этом Гостиннику отведена лишь пассивная роль задающего вопросы).

прогулках, развитии умственных и телесных способностей, и все это делается радостно. Не разрешается лишь играть в кости, камешки, шахматы и другие сидячие игры, а играют там в мяч, в лапту, в обруч, борются, стреляют в цель из лука, аркебузов, метают копья и т. д.

Они утверждают, что крайняя нищета делает людей негодяями, хитрыми, лукавыми, ворами, коварными, отверженными, лжецами, лжесвидетелями и т. д., а богатство — надменными, гордыми, невеждами, изменниками, рассуждающими о том, чего они не знают, обманщиками, хвастунами, черствыми, обидчиками и т. д. Тогда как община делает всех одновременно и богатыми, и вместе с тем бедными: богатыми — потому что у них есть все, бедными — потому что у них нет никакой собственности, и поэтому не они служат вещам, а вещи служат им...

* * *

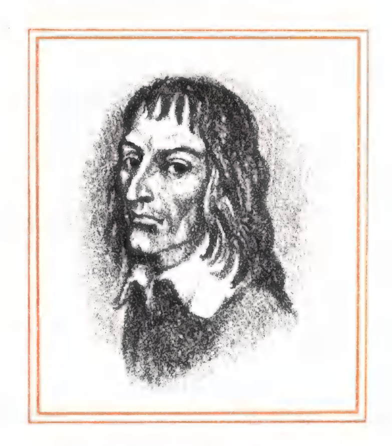
...Земледелию уделяется исключительное внимание: нет ни одной пяди земли, не приносящей плода. Они сообразуются с ветрами и благоприятными звездами и, оставив в городе только немногих, выходят все вооруженными на поля: пахать, сеять, полоть, жать, собирать хлеб и снимать виноград; идут с трубами, тимпанами, знаменами и исполняют надлежащим образом все работы в самое незначительное число часов. Они пользуются телегами, оснащенными парусами, которые могут двигаться и против ветра, а когда нет ветра, то благодаря удивительно искусно устроенной колесной передаче повозку тянет всего одно животное. Прекрасное зрелище! Между тем вооруженная полевая стража делает обходы, постоянно сменяя друг друга. Землю они не удобряют ни навозом, ни илом, считая, что от этого загнивают семена и при употреблении их в пищу расслабляют тело и сокращают жизнь, подобно тому как женщины прикрашенные, а не прекрасные благодаря своей деятельности, производят хилое потомство. Поэтому и землю они не прикрашивают, а тщательно ее обрабатывают, пользуясь при этом тайными средствами, которые ускоряют всходы, умножают урожай и предохраняют семена. На этот предмет они имеют книгу под названием «Георгика». Потребная часть земли вспахивается, а остальная идет под пастбище скоту.

* * *

...Законы их немногочисленны, кратки и ясны. Они вырезаны все на медной доске у дверей храма, то есть под колоннадой; и на отдельных колоннах можно видеть определение вещей в метафизическом, чрезвычайно сжатом стиле; именно: что такое бог, что такое ангел, мир, звезда, человек, рок, доблесть и т. д. Все это определено очень тонко. Там же начертаны определения всех добродетелей, и у каждой колонны, на которой начертано соответствующее определение, находятся кресла или судилища судей всех этих добродетелей. Во время судопроизводства судьи сидят там и говорят обвиняемому: «Сын мой, ты прегрешил против этого священного определения (благотворительности, великодушия и т. д.). Читай». И по обсуждении дела приговаривают обвиняемого к наказанию за проступок, им совершенный (то есть за злодеяние, малодушие, гордость, нерадивость и т. д.). А обвинительные приговоры являются истинными и верными лекарствами и воспринимаются скорее как нечто приятное, а не наказание.

Утопический роман XVI—XVII веков. М., «Художественная литература», 1971.

Дж. УИНСТЭНЛИ



ЗАКОН СВОБОДЫ

Отрывки

* * *

...Каждая семья будет жить отдельно, как и теперь. Каждый мужчина будет иметь свою жену, и каждая женщина — своего мужа, как и теперь. Всякое дело будет доведено до состояния большего совершенства, чем теперь. Все дети будут образованы и воспитаны в большем подчинении родителям и старшим, чем теперь. Земля будет возделана, и собранные плоды будут доставляться на склады общими усилиями каждой семьи: богатства складов будут общими запасами для каждой семьи. В стране не будет ни тунеядцев, ни нищих.

А так как могут возникнуть нарушения от безрассудного невежества, то для этой цели будет добавлен закон.

Ибо если кто-нибудь оскорбит своего соседа вызывающими словами, либо нанесением ему ударов, либо нанесением оскорбления жене соседа или его детям, или какого-либо ущерба его дому или обстановке, находящейся в нем, или если кто вздумает жить в праздности за счет труда других людей, то будут законы для его строгого наказания и должностные лица, которые будут следить за исполнением этих законов согласно надлежащему порядку республиканского правления ради спокойствия каждой семьи в стране.

* * *

...Некоторые люди, слыша о всеобщей свободе, полагают, что должна быть общность всех плодов земли, независимо от того, будут ли они работать или нет, и поэтому они рассчитывают жить в праздности за счет труда других людей.

Другие, по причине того же самого безрассудного скотского невежества, полагают, что будет общность всех мужей и жен, и посему намереваются вести скотский образ жизни.

Иные думают, что не будет закона, но что все придет в полное смятение из-за отсутствия правительства, но настоящая программа доказывает обратное.

Именно потому, что должны и могут происходить нарушения от невежества и внезапных фантазий, прибавлен закон.

То, что истинная справедливость, по моему суждению, именует общностью, заключается в освобождении земли от всякого рода королевской кабалы, лордов, майоров, от угнетате-

лей-лендлордов, явившихся результатом завоевания, подобно грабителю, отнимающему кошелек у честного человека на большой дороге, потому что он сильнее.

И в том, что ни земля, ни плоды ее не будут ни продаваться, ни покупаться населением друг у друга, так как это является рабством, принесенным королями-завоевателями, которые ставили свое клеймо на серебре, чтобы каждый покупал и продавал от его имени.

И хотя теперь это бывает, но люди не будут жить в праздности, ибо земля будет обработана и урожай собран, а плоды будут свезены в амбары и складочные помещения силами каждой семьи, в соответствии с тем, как это по порядку будет показано ниже.

Каждый человек будет воспитываться, изучая ремесла и виды сельскохозяйственного труда, и все ремесла будут поддерживаться и улучшаться ради обогащения республики в гораздо большей степени, чем теперь, при королевской власти.

Каждый ремесленник будет получать материалы — кожу, шерсть, лен, злаки и тому подобное — из общественных складов для обработки их, не продавая и не покупая ничего. И когда различные работы будут произведены, то одежда, обувь, шапки и тому подобное будет доставлено ремесленниками в специальные магазины, как это практикуется и теперь, без купли и продажи. И каждая семья, поскольку она нуждается в таких вещах, которых она не может производить сама, пойдет в эти магазины и получит без денег совершенно так же, как теперь получает за деньги; ниже все это будет объяснено по порядку.

Если кто-нибудь скажет, что это будет порождать праздность, я отвечу, что данная программа доказывает обратное, так как тунеядцы и нищие будут принуждены работать.

* * *

...Как мальчики будут воспитываться в ученье и труде, так и девочки будут обучаться чтению, шитью, вязанью, прядению льна и шерсти, музыке и другим легким и изящным работам как для того, чтобы пополнять склады льняными и шерстяными тканями, так и для украшения частных домов рукоделием.

Если эта программа будет принята, в стране не будет ни бездельников, ни нищих, и много работ будет выполнено для обогащения общей казны теми, кто ныне пребывает в праздности.

При руководстве каким-нибудь ремеслом не допускайте, чтобы молодой ум встречал препятствия в своих изобретениях, и если кто-либо пожелает по-новому приложить свои знания в ремесле или в науке, наблюдатели должны не мешать ему, а поощрять его в этом, так чтобы дух познания получил полное развитие в человеке для изучения всех тайн во всяком искусстве.

* * *

...Склады будут повсюду, как в деревнях, так и в городах, куда будут свозиться все плоды земли и все изделия ремесленников, оттуда они будут вновь выдаваться отдельным семьям и каждому по потребности, для его пользования, либо же они будут доставляться на судах в другие страны для обмена на такие вещи, каких наша страна не будет производить.

Ибо все плоды трудов хозяйственников и ремесленников внутри страны и доставленные навигацией из других стран будут предназначены для общих запасов. Так как каждый работает для пополнения общих запасов, то каждый будет свободно пользоваться любым предметом со склада для своего удовольствия и обеспеченной жизни, без купли и продажи и без всякого ограничения.

Имея же пищу, одежду и жилище и приятное общение с подобными себе, чего может еще желать себе человек в дни пребывания его на земле? На самом деле, алчный, высокомерный и скотоподобный человек пожелает большего, либо для того, чтобы возлежать подле и созерцать их, либо для того, чтобы растратить и испортить по своей прихоти, тогда как другие братья будут жить в нужде, вследствие недостатка их для употребления.

Но законы и верные должностные лица свободной республики будут регулировать неразумные действия подобных лиц.

* * *

Если кто-либо откажется учиться ремеслу, или нести работу во время сева или жатвы, или откажется быть хранителем в складах, однако захочет питаться и одеваться, как и трудящиеся люди, то блюститель сначала будет увещевать его наедине; если он будет пребывать в праздности, блюстители сделают ему выговор, после чего ему будет дан месячный срок в присутствии народа; при дальнейшей праздности он будет наказан кнутом и снова оставлен на свободе на один месяц; при дальнейшем неповиновении он будет передан в руки смотрителя за принудительным трудом и определен на работу на двенадцать месяцев или на срок, пока не подчинится правильному порядку. Причиной, по которой каждый юноша должен быть обучен тому или иному труду, является предотвращение высокомерия и недовольства; это делается ради их физического здоровья, для наслаждения ума, чтобы они имели возможность свободно трудиться совместно с другими. И это обеспечит республику изобилием пищи и всего необходимого.

Уинстэнли Дж. Избранные памфлеты. М., Изд-во АН СССР, 1950.

ФРЭНСИС БЭКОН



НОВАЯ АТЛАНТИДА

Отрывки

* * *

...Немало у нас искусственных колодцев и источников, подражающих природным и содержащих примеси купороса, серы, железа, меди, свинца, селитры и других веществ. Есть также особые небольшие водоемы для получения настоев, где вода приобретает желаемые свойства быстрей, чем в сосудах. И среди них один, называемый райским источником; ибо мы придали ему могучие свойства, способствующие сохранению здоровья и продлению жизни.

Есть у нас обширные помещения, где мы искусственно вызываем и показываем различные явления природы, как-то: снег, дождь, искусственный дождь из различных твердых тел, гром, молнию, а также зарождение из воздуха живых существ: лягушек, мух и некоторых других.

* * *

...Есть у нас всевозможные парки и заповедники для животных и птиц, которые нужны нам не ради одной лишь красоты или редкости, но также для вскрытий и опытов; дабы знать, что можно проделать над телом человека. При этом нами сделано множество необычайных открытий, как, например, сохранение жизнеспособности после того, как погибли и были удалены органы, которые вы считаете жизненно важными; оживление животных после того, как по всем признакам наступила смерть, и тому подобное. На них испытываем мы яды и иные средства, хирургические и лечебные. С помощью науки делаем мы некоторые виды животных крупней, чем положено их породе, или, напротив, превращаем в карликов, задерживая их рост; делаем их плодовитее, чем свойственно им от природы, или, напротив, бесплодными; а также всячески разнообразим их природный цвет, нрав и строение тела. Нам известны способы случать различные виды, отчего получилось много новых пород, и притом не бесплодных, как принято думать...

* * *

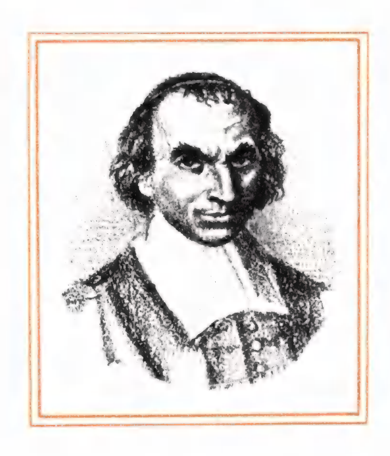
Мы подражаем также полету птиц и знаем несколько принципов полета. Есть у нас суда и лодки для плавания под водой и такие, которые выдерживают бурю, есть плавательные пояса и другие приспособления, помогающие держаться на воде. Есть различные сложные механизмы, часовые и иные, а также приборы, основанные на вечном движении. Мы подражаем движениям живых существ, изготовляя для этого модели людей, животных, птиц, рыб и змей. Кроме того, нам известны и другие виды движения, удивительные по равномерности и точности.

Есть у нас математическая палата, где собраны всевозможные инструменты, как геометрические, так и астрономические, изготовленные с большим совершенством.

Есть у нас особые дома, где исследуются обманы органов чувств. Здесь показываем мы всякого рода фокусы, обманы зрения и иллюзии и тут же разъясняем их обманчивость. Ибо вам должно быть очевидно, что, открыв столько естественных явлений, вызывающих изумление, мы могли бы также бесчисленными способами обманывать органы чувств — стоит лишь облечь эти явления тайной и представить в виде чудес. Но нам настолько ненавистны всякий обман и надувательство, что всем членам нашего Общества, под угрозой штрафа и бесчестья, запрещено показывать какое-либо природное явление приукрашенным или преувеличенным; а только в чистом виде, без всякой таинственности.

Утопический роман XVI—XVII веков. М., «Художественная литература», 1971.

Ж. МЕЛЬЕ



ЗАВЕЩАНИЕ

Отрывки

* * *

...Ах, дорогие друзья, если бы вы знали всю бессмысленность и вздорность тех сказок, которыми вас кормят под предлогом религии, если бы вы знали, как несправедливо и возмутительно злоупотребляют властью, захваченной над вами под предлогом управления вами, вы, несомненно, лишь презирали бы все то, перед чем вас заставляют преклоняться, и воспылали бы ненавистью и негодованием ко всем тем, кто эксплуатирует вас, так дурно управляет вами, так гнусно обращается с вами. По этому случаю мне вспоминается пожелание одного человека; он не отличался образованием и ученостью, но, по-видимому, не лишен был здравого смысла, чтобы трезво судить о всех тех возмутительных злоупотреблениях и обрядах, которые я здесь порицаю. Судя по его манере высказывания, он, по-видимому, был достаточно прозорлив и достаточно проник в ту тайну несправедливости, о которой я вам говорил, так как он хорошо понял, кто ее зачинщики и вдохновители. Он высказал пожелание, чтобы «все сильные мира и знатные господа были перевешаны и удавлены петлями из кишок священников». Это суждение не может не произвести несколько грубого и резкого впечатления, но ему нельзя отказать в наивной прямоте. Оно коротко, но красноречиво, так как в нескольких словах высказывает все, чего заслуживают подобные люди. Что касается меня, дорогие друзья, то если бы мне пришлось высказать свое пожелание по этому поводу (а я не преминул бы высказать его, если бы оно могло иметь свое действие), то я желал бы иметь мышцы и силу Геркулеса, чтобы очистить мир от всех пороков и несправедливости, и с удовольствием убил бы всех этих гидр заблуждений и несправедливости, причиняющих столько страданий всем народам мира. Не подумайте, дорогие друзья, что я движим здесь каким-нибудь чувством личной мести и вражды, каким-либо личным интересом; нет, друзья, я пишу и говорю это отнюдь не под влиянием страсти, не она внушает мне эти чувства, мною руководит только стремление к справедливости и истине, которые я вижу столь возмутительно попранными, и отвращение к пороку и несправедливости, которые дерзко царят повсюду. Никакая ненависть, никакое отвращение не будут чрезмерны по отношению к людям, которые являются виновниками стольких зол и повсеместно эксплуатируют других.

* * *

...Сказано, что Иисус Христос начал проповедовать призывом: сотворите покаяние, ибо царство небесное близко. Если бы это мнимое царство было (тогда) действительно близко, как он говорил, оно уже давно должно было бы явиться и наступить. Ибо оно было обещано уже почти 2000 лет назад и предсказано было, что оно скоро наступит; если бы это обещание и предсказание были верны, их уже давно видели бы осуществившимися. А между тем и поныне не видать никаких признаков этого,— наглядное доказательство ложности этого обещания или предсказания, и надо быть удивительно обманутым, одураченным, слепым и легковерным, чтобы верить в грядущее пришествие этого царства.

* * *

Поистине, у вас нет более сильных и злых противников и врагов, чем эти сильные и знатные мира сего и богачи, потому что именно они попирают вас, мучают вас и делают вас столь несчастными. О нет, наши художники заблуждаются и обольщаются, когда изображают на своих картинах дьяволов в виде ужасных и страшных чудовищ, они обольщаются, говорю я, и обольщают вас так же, как и ваши проповедники, когда *они* в своих картинах, а *другие* в проповедях изображают вам дьяволов такими безобразными, уродливыми, нескладными. Художники и проповедники должны были бы лучше изображать их вам в виде всех этих прекрасных господ, всех этих власть имущих и знатных, всех этих прекрасных дам и девиц, которых вы видите такими разряженными, завитыми, кудрявыми, напудренными, раздушенными, сияющими золотом, серебром и драгоценными камнями. Ибо они, эти дамы и господа, как я уже сказал,— настоящие дьяволы и дьяволицы, потому что именно они — ваши злейшие враги и больше всех вредят вам.

* * *

...Еще одно зло, принятое и узаконенное почти во всем мире, заключается в том, что люди присваивают себе в частную собственность блага и богатства земли, тогда как все должны были бы владеть ими сообща на равных правах и пользоваться ими точно так же на одинаковом положении и сообща. Я разумею всех живущих в одной местности или на одной и той же территории; все мужчины и женщины из одного и того же города или из одного местечка, одной деревни, одного прихода должны составлять одну семью, видеть друг в друге братьев и сестер, детей одних отцов и матерей, они должны любить друг друга, как братья и сестры и, следовательно, жить друг с другом в мире и сообща пользоваться одной и той же или сходной пищей, иметь одинаково хорошую одежду, одинаково хорошие жилища, одинаково хороший ночлег и одинаково хорошую обувь; с другой стороны, все должны одинаково заниматься делом, т. е. трудом или каким-нибудь другим честным и полезным занятием, каждый по своей профессии или сообразно тому, что является более необходимым или желательным, сообразно обстоятельствам или временам года и соответственно потребности в тех или иных предметах. Все это должно происходить не под руководством лиц, стремящихся властно, тиранически повелевать другими, а исключительно под руководством самых мудрых и благонамеренных лиц, стремящихся к развитию и поддержанию народного благосостояния. Все города и другие общины, граничащие друг с другом, должны стараться заключить между собой союз и хранить нерушимый мир и согласие между собой, дабы помогать друг другу в нужде; ибо без такой взаимности не может быть общественного благосостояния и большинство людей неизбежно оказывается в несчастном и жалком положении.

В самом деле, посмотрим, что происходит от этого распределения благ и богатств земли в частную собственность для использования их порознь, отдельно от других, как каждому задумается? Получается то, что каждый старается получить их возможно больше всякого рода путями как хорошими, так и дурными; ибо жадность ненасытна и, как известно, в ней

корень всех зол. Имея полный простор для удовлетворения своих вожделений, она не упускает случая и заставляет людей идти на все, чтобы иметь обилие благ и богатств как для обеспечения себя от нужды, так и для удовлетворения всевозможных своих прихотей. Оттого и получается, что наиболее сильные, наиболее хитрые и ловкие, зачастую они же и самые злые и недостойные, лучше всех других наделены земными угодьями и всякими удобствами жизни.

Оттого получается также, что одни имеют больше, другие меньше, а часто одни присваивают себе даже все, а остальные не имеют ничего; одни богаты, а другие бедны; одни хорошо питаются, хорошо одеваются, имеют хорошее помещение, прекрасную обстановку, спокойный ночлег и хорошую обувь, а другие плохо питаются, плохо одеты, живут в плохих помещениях, имеют плохой ночлег и плохо обуты; многие не имеют даже угла, где преклонить голову, и должны изнемогать от голода и коченеть от пронизывающего холода...

* * *

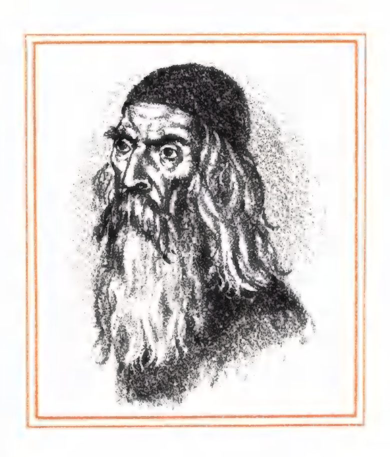
...Вы удивляетесь, бедняки, что в нашей жизни так много зла и тягот? Это оттого, что вы одни несете всю тяжесть полуденного зноя, как виноградари в евангельской притче: это происходит оттого, что вы и вам подобные несете на своих плечах все бремя государства. В отягощении не только всем бременем, возлагаемым на вас вашими королями, государями, которые являются вашими главными тиранами; вы содержите еще вдобавок все дворянство, все духовенство, все монашество, все судебное сословие, всех военных, всех откупщиков, всех чиновников соляной и табачной монополии; одним словом, всех трутней и бездельников на свете. Ибо только плодами ваших тяжких трудов живут все эти люди со своими слугами. Вы своим трудом доставляете все необходимое для их существования и сверх того все, что может служить к их развлечению и удовольствию. Что сталось бы, например, с самыми великими государями и с самыми великими властителями земли, если бы народ не содержал их? Ведь только от народа, с которым они, однако, так плохо обращаются, только от народа, повторяю, исходит все их величие, все богатство и могущество. Одним словом, они были бы такими же слабыми и малыми людьми, как и вы, если бы вы не поддерживали их величия, у них не было бы больше богатств; наконец, они не имели бы больше имущества и власти, чем вы, если бы вы отказались подчиняться их законам. Если бы все эти люди, о которых я только что говорил, разделяли с вами тяготы вашего труда, если бы они оставляли вам, как и себе, надлежащую долю тех благ, которые вы зарабатываете и производите в таком изобилии в поте лица своего, то вы были бы гораздо менее обременены и утомлены и имели бы гораздо больше покоя и услад в жизни, чем имеете теперь.

* * *

...Все дети были бы одинаково хорошо воспитаны, одинаково хорошо питались бы, были бы снабжены всем необходимым, потому что все они воспитывались бы и содержались бы сообща, на общественный счет.

Они все одинаково получали бы также наставление в добрых нравах и в правилах честной жизни, в науках и искусствах, насколько это необходимо и целесообразно для каждого из них, т. к. поскольку знание этих наук полезно и необходимо. Все дети получали бы одинаковое воспитание в правилах морали, добропорядочности и честности. Поэтому легко было бы сделать их всех мудрыми и честными, заставить их стремиться к одному и тому же благу, сделать их всех способными служить с пользой своему отечеству; это без сомнения, было бы очень благотворно для общества.

Мелье Ж. Завещание. В 3-х т. М., Изд-во АН СССР, 1954.



ЖИТИЕ ПРОТОПОПА АВВАКУМА

Отрывок

* * *

...Поехали из Даур, стало пищи скудать, и з братиею бога помолили, и Христос нам дал изубря, болшова зверя,— и тем до Байкалова моря доплыли. У моря русских людей наехала станица соболиная, рыбу промышляют; рады, миленкие, нам, и с карбасом нас, с моря ухватя, далеко на гору несли Тереньтьюшко с товарищи; плачют, миленкие, глядя на нас, а мы на них. Надавали пищи, сколько нам надобно: осетроф с сорок свежих перед меня привезли, а сами говорят: «Вот, батюшко, на твою часть бог в запоре нам дал,— возми себе всю!» Я, поклонясь им и рыбу благословя, опять им велел взять: «На што мне столко?» Погостя у них, и с нужду запасцу взяв, лотку починя и парус скропав, чрез море пошли. Погода* окинула на море, и мы гребми перегреблись: не болно о том месте широко — или со сто, или с осмъдесят веръст. Егда к берегу пристали, востала буря ветренная, и на берегу насилу место обрели от волн. Около ево горы высокие, утесы каменные и зело высоки,— двадцеть тысящ веръст и болши волочился, а не видал таких нигде. Наверху их полатки и повалуши**, врата и столпы, ограда каменная и дворы,— все богоделанно. Лук на них ростет и чеснок,— болши романовскаго луковицы, и слаток зело. Там же ростут и конопли богорасленныя, а во дворах травы красныя, и цветны и благовонны гораздо. Птиц зело много, гусей и лебедей,— по морю, яко снег, плавают. Рыба в нем — осетры и таймени, стерьледи и омули, и сиги, и прочих родов много. Вода пресная, а нерпы и зайцы великия в нем: во окиане море болшом, живучи на Мезени, таких не видал. А рыбы зело густо в нем; осетры и таймени жирны гораздо — нелзя жарить на сковороде: жир все будет. А все то у Христа-тово-света наделано для человеков, чтоб, упокояся, хвалу богу воздавал. А человек, суете которой уподобится, дние его, яко сень*** преходят; скачет, яко козел; раздувается, яко пузырь; гневается, яко рысь; съесть хощет, яко змия; ржет, зря на чюжую красоту, яко жребя; лукавует, яко бес; насыщаяся доволно, без правила спит; бога не молит; отлагает покаяние на старость и потом исчезает, и не вем, камо отходит...

---

* Непогода.
** Башни.
*** Тень.

СКАЗАНИЕ О РОСКОШНОМ ЖИТИИ И ВЕСЕЛИИ

Отрывки

* * *

...Там по полям пажити видети скотопитательных пшениц и жит различных, изобилны по лугам травы зеленящия, и разноцветущи, цветов сличных* прекрасных и благовонных несказанно. По лесам древес — кедров, кипарисов, виноградов, яблонь и груш и вишень и всякого плодного масличья — зело много; и толико премного и плодовито, что яко само древесие человеческому нраву самохотне служит, преклоняя свои вершины и розвевая свои ветви, пресладкия свои плоды объявляя.

В садах же и дубровах птиц преисполнено и украшено — пернатых и краснопеснивых сиринов,и попугаев, и струфокамилов, и иных птах, служащих на снедь человеческому роду. На голос кличещему человеку прилетают, на двор и в домы, и в окны и в двери приходят. И кому какая птица годна, тот ту себе, избрав, возмет, а остаточных прочь отгоняет...

* * *

...Да там же есть озеро не добре велико, исполненно вина двойнова. И кто хочет, испивай, не бойся, хотя вдруг по две чаши. Да тут же близко пруд меду. И тут всяк пришед — хотя ковшем или ставцом, припадкою или горьстью,— бог в помощь, напивайся. Да близко ж того целое болото пива. И ту всяк пришед пей да и на голову лей, коня своего мой да и сам купайся, и нихто не оговорит, ни слова молвит. Там бо того много, а все самородно. Всяк там пей и ежь в свою волю, и спи доволно, и прохлаждайся любовно...

* * *

...А жены там ни прядут, ни ткут, ни платья моют, ни кроят, ни шьют, и потому что всякова платья готоваго много: сорочек и порт мужских и женских шесты повешены полны, а верхнева платья цветнова коробьи и сундуки накладены до кровель, а перстней златых и сребреных, зарукавей**, цепочек и монистов без ларцев валяется много — любое выбирай да надевай, а нихто не оговорит, не попретит ни в чем.

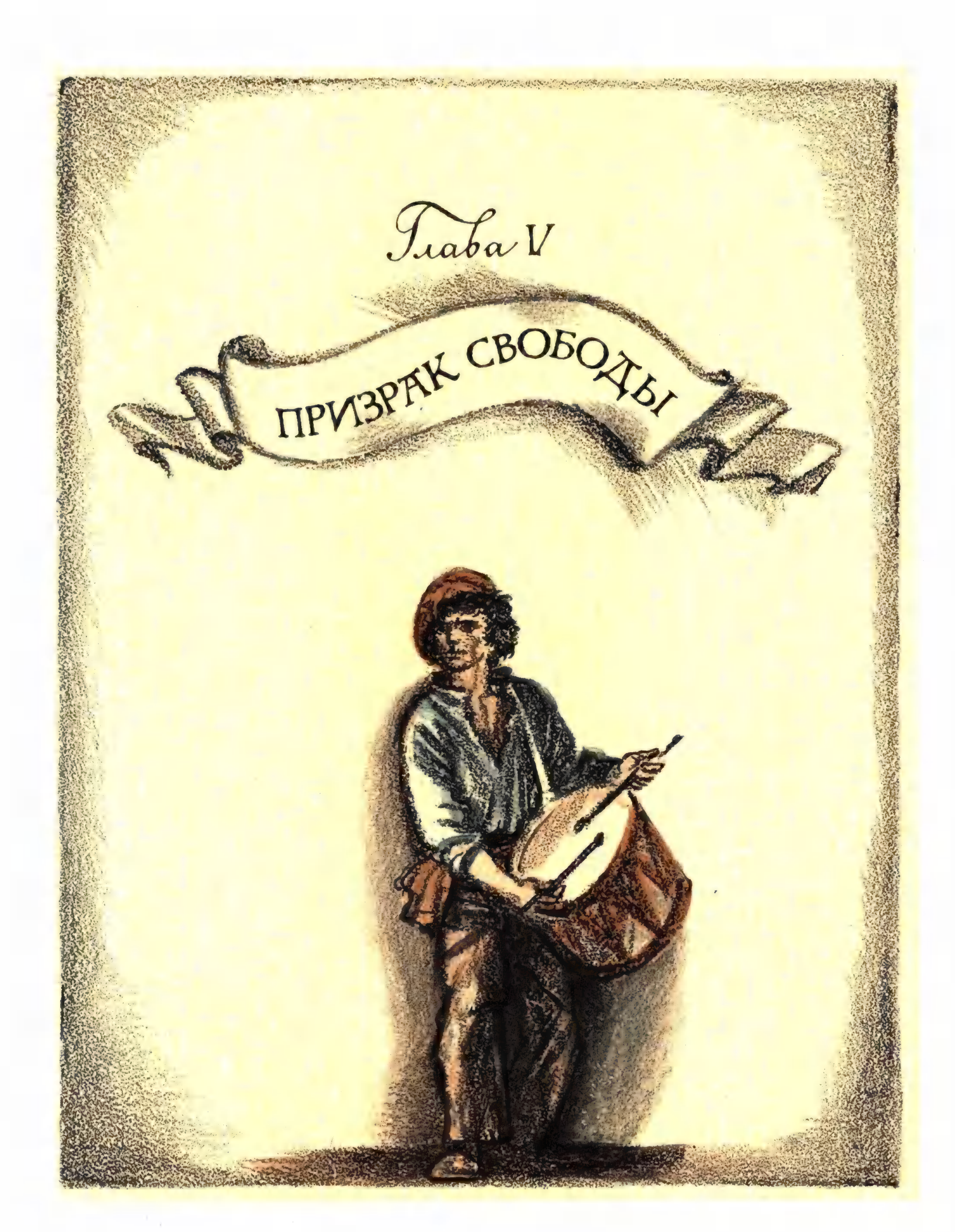
А кроме там радостей и веселья, песень, танцованья и всяких игр, плясанья, никакия печали не бывает. Тамошняя музыка за сто миль слышать. Аще кому про тамошней покой и веселье сказывать начнешь, никакого ничто тому веры не пойме, покамест сам увидит и услышит...

Изборник. М., «Художественная литература», 1969.

---

* Красивых.
** Браслетов.




Глава V
ПРИЗРАК СВОБОДЫ


Дидро
Руссо
Вольтер
Марат
Бабеф


Шиллер
Сен-Симон
Гёте
Оуэн
Фурье

Ça ira!
Все идет хорошо!

Из песни Великой французской революции

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РАЗУМ!

...XVIII век, век Просвещения, завершил идейный и — разрушением Бастилии — предопределил окончательный разгром социально-экономической системы феодализма в Европе. Из искры проклятья Мелье, вспыхнувшей в ночи Франции, из робких «огоньков свободы», зажженных в Англии Т. Мором и Дж. Уинстэнли, разгорелось всесокрушающее пламя великой битвы за идею «нового мирового порядка» (К. Маркс). Все переворотилось! И в грохоте ниспровержения старого строя, опережая эпоху, полыхала над миром жаркая мысль о всеобщей свободе, равенстве и братстве людей.

Теперь она, эта мысль, рожденная в логических лабораториях одиночек, все больше захватывала массы и оттого становилась грозной революционной силой. Словно канат в популярной народной игре, ее пытались перетянуть на свою сторону различные социальные движущие силы буржуазной революции.

Одни — сторонники компромисса, «бескровного» переворота, апологеты частной собственности — превозносили свободу разума в пику «безумию» толпы, доводили свою мечту лишь до порога просвещенной монархии. То была умеренно-буржуазная оппозиция феодализму.

Другие — гуманисты, «друзья народа», чутко слушавшие гулы революции,— восставали не только против мракобесия церкви, но и тирании абсолютизма и богатства. Пик этой мелкобуржуазной демократической оппозиции — идея эгалитаризма, то есть имущественного и гражданского равенства.

Третьи — истинные революционеры, выразители интересов и настроений самой обездоленной, плебейско-пролетарской массы — шли дальше эгалитаристов и призывали к уничтожению частной собственности вообще. На волне Французской революции они вызвали к жизни последнюю вспышку «мюнцеровского», плебейского коммунизма, но теперь уже одетого не в религиозные, а в земные одежды.

Новые, извилистые и трудные дороги странствий великой Мечты... По какой же отправится она в будущее? Какая из трех дорог окажется короче и надежнее? Так и хочется сравнить эту ситуацию со знаменитым камнем на распутье: «...налево пойдешь — коня потеряешь...» Мечта, в отличие от сказочного богатыря, прошла по всем трем дорогам — и вышла из испытаний более мудрой, более стойкой, более жизнеспособной.

Лидеры и духовные отцы Просвещения объективно были, по словам В. И. Ленина, вожаками буржуазии. Но, как и гуманистам XV—XVI веков, им менее всего присущи буржуазная ограниченность, чванство, бескрылый жадный практицизм. Просветители, словно зеленые листья — кислород, вырабатывали «воздух Свободы», предрекали и славили всеобщее благоденствие, которое должно прийти на смену обветшалым и косным феодальным институтам. Они завершили начатую Возрождением работу по расчистке человеческого разума, засоренного предрассудками. Они освободили его от многовековой накипи религиозной мистики и тем предуготовили громадный взлет научно-творческого и технического гения человечества в XIX веке. Другой вопрос — кто и как воспользовался обильными плодами этого взлета...

Просветители — отнюдь не однородная масса единомышленников. Каждый оригинален, неповторим; каждый по-своему мыслит о будущем. Они ссорятся и расходятся друг с другом, но их роднит главное — необъятная вера в прогресс, в творческие возможности разума, в осуществимость идеала счастья для всех.

Подробный разбор философских основ движения просветителей не входит в задачу этой книги. Нельзя не сказать только, что философский материализм Гольбаха, Гельвеция, Дидро с его оптимизмом, глубоким доверием к человеку, с его тезисом о познаваемости мира, о всемогуществе разума и воспитания сослужил добрую службу в процессе выработки коммунистического идеала. К. Маркс и Ф. Энгельс подчеркивали: «Развитый коммунизм ведет свое происхождение непосредственно от французского материализма».

Минуя философские залы Просвещения, попытаемся хотя бы бегло обозреть, что просветители оставили (в качестве прогнозов, гипотез, надежд) у порога Будущего. Здесь мы находим не столько философские трактаты, сколько публицистические, философские романы, морально-политические драмы, сатирические памфлеты. Литература приходила на помощь философии; система образов восполняла нехватку добытых истин и понятий. «Эмоцио» помогало глубже, объемнее, нежели только «рацио», представить мир человека и человека в мире. Так что нет ничего несправедливее, чем представление о просветителях как о сухих логистах, вооруженных холодным скальпелем рассудка. Кроме того, они — французы; отсюда — «остроумие, плоть, кровь и красноречие, ...темперамент и грация» (К. Маркс и Ф. Энгельс).

Олицетворенное воплощение всех этих великолепных «французских» качеств, помноженных на огромную силу ума, представляет собой творчество ВОЛЬТЕРА (1694—1778 гг.). Скептик — и мечтатель; враг мракобесия — и автор знаменитого афоризма: «Если бы бога не было, его следовало бы выдумать». Ненависть к тирании — и горячее поклонение «просвещенной монархии»; сострадание бедным — и апология частной собственности... Таков Вольтер, вобравший в себя все реальные противоречия своей эпохи.

Вольтер наследовал дух раблезианской «Телемской обители». Он по-своему воспел свободомыслие, поплатившись за это не одним месяцем заключения в Бастилии, не одной сожженной королями и инквизиторами книгой. Однако смелый борец непреклонен; как и Рабле, он громит церковь оружием смеха. «Смех Вольтера бил и жег, как молния» (А. И. Герцен). Мечом своего сарказма врубается он в джунгли религиозного мракобесия. Франция при жизни чтит его как высшего и неподкупного судью невежества. Любопытно: когда в 1791 году останки Вольтера были перевезены в Париж, в Пантеон, над торжественной процессией реяли слова: «Он подготовил нас к свободе».

Особый интерес для нас представляет одна из вершин литературно-философской прозы Вольтера — его и поныне знаменитая, широко читаемая повесть «Кандид, или Оптимизм». Два полярных взгляда на жизнь сталкиваются в ней: наивно-восторженный («все к лучшему в этом лучшем из миров!») и мрачно-безысходный (мир — «нечто очень глупое и скверное»). По какую же сторону автор и его герой? В конечном счете отвергаются и наивно-религиозный оптимизм, и обессиливающий пессимизм. «Оба хуже!» Будущее — за иными, разумными началами жизнеустройства. Каковы же эти начала?

В некой стране, именуемой Эльдорадо, люди свободны и живут в изобилии. В ней стоят красивые города, застроенные величественными зданиями. И самое прекрас-

ное из них — Дворец наук (вариант бэконовского «Дома Соломона»!). Увы, путь в Эльдорадо труден, почти непроходим...

Что же делать честному, познавшему зло и горе, но не сломившемуся человеку! Коль нет дороги в райские сады Эльдорадо — нужно трудиться здесь, сейчас, немедленно, помогая прогрессу, содействуя приближению мечты. «Будем возделывать свой сад!» — восклицает Кандид, находя наконец истинный смысл жизни в свободном труде.

«Немного»,— заявит, пожалуй, скептический читатель, уже ознакомившийся с разнообразными вариантами и «чертежами» будущего. Однако мудрость состоит не в том, чтобы отринуть итоговый вывод Вольтера как неоригинальный. Куда сложнее (и важнее!) постичь логику, блестящую аргументацию писателя, обосновывающую именно такой итог. Воспевая союз свободного разума и свободного труда, Вольтер опередил этим и время, и самого себя, протянул руку на дружбу потомкам, возделывающим «свой сад» в борьбе с новыми мракобесами, в схватке с записными «оптимистами» отмирающего буржуазного строя.

Вольтер — признанный вождь Просвещения — казалось, заслонил собою весь век; никому не уступал он ни в поэзии, ни в сатире, ни в драматургии.

Никому — кроме ДЕНИ ДИДРО (1713—1784 гг.). История — жрица справедливости — поставила именно его рядом с Вольтером во главе духовного движения эпохи. Мысль, поиск, предвидение, мечта Дидро оказались более глубокими, напряженными, более «античными» (в близости к идеалу гармонии), чем у кого бы то ни было из просветителей. Он сделал решающий шаг к критическому реализму в художественном творчестве. Он ближе всех подошел к «тлеющей лаве» народной мечты.

В творчестве Дидро причудливо переплелись, перетекая друг в друга, философия, естественные науки, эстетическое освоение и выражение жизни. Дидро — один из самых больших любимцев Маркса (рядом с Эсхилом и Шекспиром!), его постоянный спутник в поисках путей к подлинному человеческому счастью. Энгельс, разделяя симпатии Маркса, писал: «Если кто-нибудь посвятил всю свою жизнь «служению истине и праву...» — то таким человеком был, например, Дидро».

Дидро — выходец из семьи потомственных ремесленников. И хотя мы знаем, что это говорит об очень малом, но, быть может, искусство выделки острых ножей, которым славились предки Дидро, как-то «спроецировалось» в мозг будущего энциклопедиста? Мысль быстрая, точная, острая, как клинок...

«Дидерот» — так звали его в далекой России, с которой многое связывало мыслителя. «То чтитель промысла, то скептик, то безбожник»,— скажет о нем позднее А. С. Пушкин. Сторонник буржуазной идеи сильной государственной власти, «чтитель промысла», Дидро, как и Вольтер, какое-то время восхищался заигрывавшей с просветителями Екатериной II. Он буквально пытает императрицу вопросами о возможности политических реформ в России. Впоследствии Дидро напрочь порывает со своими царистскими иллюзиями, но продолжает изучать русский язык, дабы читать в подлиннике Михайлу Ломоносова. (Любопытно, что Екатерина II все-таки не забыла Дидро, купив у него для империи личную библиотеку и положив ему жалованье на 50 лет вперед как хранителю фонда.)

Социально-утопические взгляды Дидро во всей полноте обнажают трагические «качели» его мировоззрения — между Мелье и Вольтером. Как мыслитель, он конструирует схему счастливого сообщества собственников под сенью «просвещенной монархии». Как художник, горячо сочувствует страданиям народным и точно определяет (прямо по Мелье!) их причину: угнетение человечества «кучкой мошенников». Он боится отрицать собственность (все рухнет! прекратится прогресс!), но сомневается и в «извечности» отношений господства и подчинения. С большой симпатией пишет он в «Энциклопедии» (статья «Собственность») об общинно-коммунистическом быте в Перу, когда каждый «трудился для всех граждан, сносил плоды своего труда в государственные амбары и в награду получал плоды трудов других граждан»..

Наиболее интересно и полно противоречивые взгляды Дидро на прогресс и его страшную цену выражены в «Добавлении к «Путешествию Бугенвилля» (1772 г.).

С нескрываемой, прямо-таки нежной симпатией изображены здесь быт и нравы народа Таити, открытые кругосветной экспедицией Бугенвилля. Как счастливы эти истинные дети природы, знающие лишь голос инстинктов, руководствующиеся лишь интересами рода, а также стремлением к удовольствиям! Да, они (в отличие от жителей вольтеровского Эльдорадо) некультурны, необразованны. Зато они не мучаются мнимыми, ложными страстями. Отсутствие собственности, предрассудков обеспечивает им свободу, приязнь, содружество и равенство...

«Как же быть?» — вопрошает Дидро. «Следует ли цивилизовать человека или предоставить его власти инстинктов?» Ответ философа весьма любопытен. «Человек счастлив лишь на Таити», это бесспорно. Но столь же бесспорна и ущербность такого счастья, ибо оно лишено завоеваний цивилизации, особенно чувства свободы и личной инициативы. Поворот вспять, к «таитянскому» образу жизни, мог бы быть осуществлен только насильственно. Но такой вариант обретения «природного состояния» диалектик Дидро справедливо называет «изнанкой рабства». Золотой век — позади... Но, быть может, существует какой-то светлый выход?

«Третье дано»,— утверждает автор «Добавления». Выход — впереди; он в преобразовании современного общества, его законов, его морали, всех его установлений. «Будем выступать против нелепых законов, пока их не преобразуют». Не правда ли, почти по Мелье? Но тут же, через точку с запятой: «...а в ожидании этого будем подчиняться им». Маятник качнулся вправо... Игра с идеей общественной собственности «жжет пальцы». Посему решение проблемы предоставляется потомкам. К такому же выводу после мучительных сомнений и заблуждений придет, только своим путем, и эгалитарист Руссо.

Мятущийся Дидро — не социалист. Но он ближе к социализму (и не только философски), чем фанатики-уравнители. Там — серая, однообразная череда дней, квадратура казарм, частокол запретов и ограничений. У Дидро — буйство жизненных сил, энтузиазм личности, прославление науки, духа общности. Что долговечнее? Что притягательнее?

Великий эрудит Дидро близко подходит в своих духовных поисках к идее слияния интеллигенции с народной массой. Демократ по убеждению, он резко порицает аристократический снобизм. Однако его ничуть не меньше ужасает стихия необразованной черни. Соединить бы «лед и пламень»! Примирить бы стихию и разум! Увы, полагает и здесь Дидро, мечта неосуществима...

Народность Дидро особенно ярко проявилась в его эстетике и прозе. Он соединяет прочной нитью Красоту, Истину и Добро. «Клеймить всеми почитаемый порок и устрашать тиранов» — одна из главнейших задач искусства. «Драма создается для народа»; «Правила приводят искусство к рутине»; «При деспотизме красота — это красота рабов». Какие поистине программные афоризмы!

Дидро обожал театр. Надеялся, что созданные им драмы продолжат эстафету Шекспира. Прозу он писал лишь «для отдыха», «для души». И — ошибся: потомки по достоинству оценили неподражаемые философские повести Дидро, эти поистине «высокие образцы диалектики». Благословенная ошибка!

Практически невозможно предоставить слово героям Дидро в нашей книге: можно только горячо посоветовать читателю — вслушаться в исповедь «Монахини»; поспорить с «Племянником Рамо»; призадуматься над житейскими несуразицами «Жака-фаталиста». Одно из прекрасных достижений прозы Дидро заключается в угадывании писателем задавленной, затаенной человечности даже в столь подлых людях, как племянник Рамо. Надо сделать обстоятельства человечными — таков, в сущности, вывод Дидро-художника, напрямую ведущий (пусть и помимо сознания автора) к идее социального действия против бесчеловечных обстоятельств.

Влияние, в том числе прямое, учения и воззрений французских просветителей на рвущуюся к свету науки и прогресса Россию хорошо известно и неоспоримо. Заглянем же на минуту в русское «литературное зеркало»: что появилось нового в мыслях и мечтах образованных слоев общества времен Просвещения?

Явление солнца русской поэзии, русской мысли — А. С. Пушкина — было еще

впереди. Но уже вышли на просторы духа «собственные Платоны и быстрые разумом Невтоны». Величайший из них — МИХАЙЛО ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ (1711 — 1765 гг.), истинный энциклопедист, равный по мощи таланта и разума самым могучим гениям мира.

Он целиком, без остатка отдал себя стихии науки и поэзии. Все хотел он превозмочь, все постичь. И многое преуспел! Преуспел, движимый неиссякаемой любовью к Отечеству. Но слава и счастье Отечества — суть слава и счастье народа! Думы Ломоносова о народной судьбе — «бэконовские», основанные на вере в науку мечты и загляды в будущее. Вспомним хотя бы: «Богатство российское прирастать будет Сибирью»; ныне это — сбывшееся пророчество.

Ломоносов положил начало идеализации личности и деяний Петра I. Неужто великий ученый не знал, не ведал о варварских методах, какими Петр вытаскивал Россию из варварства? Знал — и спорил на эту тему с Монтескье и другими просветителями. Спорил потому, что твердо был убежден в исторической правоте Петра, в благодетельности прогресса, сколь бы страшную цену ни платило за него каждое данное поколение.

Помор Михайло Ломоносов и казак Емельян Пугачев — два титана, выдвинутые на арену истории русской народной стихией. Два полюса роста национального самосознания: свет познания и «динамит» социальной ненависти. Свет до поры освещал дорогу лишь немногим, и в этом была его немощь; «динамит» крушил все окрест в слепой ярости. Долго еще было до их созидательной встречи! Однако начало, обещающее добрые плоды,— уже положено.

Одна из самых первых завязей будущей встречи разума и народа — это замечательный просветитель, «первый подвизатель» (по словам Екатерины II) идей французской революции на русской социальной ниве АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ РАДИЩЕВ (1749—1802 гг.).

Он создал книгу, ставшую вершиной своего века и началом нового этапа русского общественного движения. Первым из интеллигентов России он бестрепетно признал право трудящихся на восстание против тирании самодержавия и крепостничества. Он провел первую глубокую борозду на еще не паханном поле битвы русской литературы против угнетения.

«Путешествие из Петербурга в Москву» стало лично для него дорогой в Сибирь, а для словесности нашей — дорогой к народу, к его бедам, его душе, его мечте. Лишь через сто с лишним лет удалось целиком переиздать эту книгу, содержавшую явный прогноз на революцию. Переиздать — в год подъема первой, им завещанной, подлинно народной русской революции.

«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Эти торжественно-мрачные слова из Тредиаковского начертаны на титуле «Путешествия...». На такое-то чудище бесстрашно замахнулся европейски образованный человек с тонким точеным профилем...

«Бунтовщик хуже Пугачева» — так оценила автора «взрывоопасной» книги Екатерина II. Да, в остроте классового чутья ей не откажешь! Дальше мы знаем: сначала — смертный приговор, потом — кандалы, Сибирь... А книгу архиеретическую — сжечь!

А. Н. Радищев — мыслитель, которому в высшей степени свойственна историческая трезвость. Он не доверяет политическим утопиям и тем более — прекраснодушным упованиям на смягчение нравов. Вместе с тем, он — творец одной из интересных прогрессивных социально-литературных утопий.

Концепция будущего, к которой Радищев относится с искренним сочувствием, хотя и не разделяет полностью, изложена в «Путешествии...», в главе «Хотилов». Сюжетный ход автора таков: на ямском подворье случайно находит он сверток, в котором оказались бумаги неизвестного человека, начертавшего подробный «проект в будущем». По социальной сути своей он — проект эгалитаристский, но только «с русскою душой».

Этот проект представляет собой просветительскую хвалу Разуму и общественному устройству, соответствующему «природе человека». В будущем обществе «неизвестны нам вражды, столь часто людей разделявшие... Родившись среди свободы сей, мы истинно братьями друг друга почитаем... Равновесие во властях, равенство в

имуществах отъемлют корень даже гражданских несогласий».

Знакомый мотив: свобода, равенство, братство. Но от декларации разумности через неприятие неразумности крепостничества Радищев, уже за пределами утопического проекта, приходит к выводу о необходимости и неизбежности революционного насилия.

А утопист, «забывший» бумаги в Хотилове, отдергивал руку от пламени, оставляя «верхним» возможность опомниться, ужаснуться неправыми деяниями своими: «Разрушьте оковы братии вашей, отверзните темницу неволи и дайте подобным вам вкусити сладости общежития...» Ведь «все равны от чрева матерня в природной свободе, равны должны быть и в ограничении оной».

Радищев советует родовитым не обольщаться кажущимся покорством рабов: оно «опасно в неспокойствии своем». Весьма убедительны не только нравственные, но и экономические аргументы в пользу свободы и равенства: все, что делается по принуждению, из-под палки, делается «оплошно, лениво, косо и криво». Дайте крестьянину землю, дайте поработать на себя — и расцветет держава.

Трезвость революционера в конечном счете одерживала верх над просветительским прекраснодушием. Не отдадут — отнять надо. «Блюдитеся»,— предупреждает Радищев крепостников. Грядет мятеж — всесокрушительный и правый: «Ждут случая и часа. Колокол ударяет... Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие». Потом, проехавши село Медное, где людей, словно скот, продавали с аукциона, переполненный негодованием автор ставит точку: «Свободы не от их (то есть крепостников.— *Ред.*) советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения». Вещие слова!

Нарастая, словно лавина в горах, развивается в книге Радищева тема возмездия, и вот уже звенят торжествующей медью строфы «Вольности», и грезится Идеал, к которому устремлена мечта свободолюбца: «Но человечество возревет в оковах и, направляемое надеждою свободы и неистребимым правом, двинется... И власть приведена будет в трепет. Тогда всех сил сложенье, тогда тяжелая власть —
Развеется в одно мгновенье.
О, день, избраннейший всех дней!»

«Я зрю через целое столетие»,— заявлял Радищев. Воистину так! «День, избраннейший всех дней», день Революции, пришел на русскую землю через 127 лет. День, когда рабочие и крестьяне, осуществляя пророчество великого сына России, личного врага Романовых, навсегда повергли проклятое «чудище».

«Свободы сеятель пустынный», он был невыносимо одинок. Подобно Мелье, он оставил завещание людям будущего. Подобно Мелье, перед трагической гибелью своей он заявил убежденно: «Потомство за меня отомстит». И это предсказание сбылось!

...Он всегда с нами, автор первого русского учебника классовой борьбы и ненависти, автор «сатирического воззвания к возмущению» (А. С. Пушкин). С детских лет входят в наше сердце — и на всю жизнь! — кровью написанные, скорбные радищевские слова: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человеческими уязвлена стала». Окрест его по всему пути были горе-горькое, беда неизбывная, мучительство изощренное, ненависть справедливая, надежда тайная и прекрасная, вера святая и крепкая — в свой народ, в его будущее... В народ, который «многое может решить доселе гадательное в истории российской» (А. Н. Радищев).

АПОСТОЛЫ РАВЕНСТВА

Ранее мы попытались определить плодоносность, животворящую силу для будущего гуманистических идей Просвещения, представленного громадными философскими и писательскими именами. Мощь просветителей — в гениальной способности образно провидеть дали человечества, в сокрушающей беспощадности ко всему неразумному, отжившему, несправедливому. Слабость их — в непоследовательности, противоречивости, подчас робости выводов, в уповании на всемогущество просвещения при незыблемости основ существующего строя.

Отсюда монархические или патриархальные иллюзии; отсюда разрыв между

широтой принципов и узостью выводов, впрямую смыкающихся с буржуазностью.

Но, несмотря на робость и непоследовательность, взгляды просветителей, подпитываемые «еретически-коммунистической» традицией европейской культуры, могли привести (и приводили!) к более широким социальным обобщениям: к идеалу равенства и далее — к утопическому социализму и коммунизму. «Современный социализм,— писал Ф. Энгельс,— по своей теоретической форме... выступает сначала как более последовательное, дальнейшее развитие принципов, выдвинутых великими французскими просветителями XVIII века,— ведь первые представители этого социализма, Морелли и Мабли, также принадлежали к числу просветителей».

МОРЕЛЛИ (даты жизни и даже имя его остались неизвестны), автор «Кодекса природы» (1755 г.), приходит к идеям уравнительного коммунизма чисто логически, бесстрастно выводя их из тех самых «естественных законов», горячими приверженцами которых были и Вольтер, и Монтескье, и Дидро. Любопытная деталь: вплоть до конца XVIII века, до Бабёфа, считалось, что Морелли — всего лишь псевдоним Дидро. Отнюдь не лишенное внутреннего смысла, хотя и неверное предположение.

Все беды человечества, полагает Морелли,— от невежества и заблуждений, главное из которых — частная собственность. Суровый логист предписывает человечеству возврат в прошлое, к первобытной общине, когда все было общим (закон № 1), когда каждый имел права на труд и блага из общественных фондов (закон № 2) и был обязан трудиться (закон № 3). Ни науки, ни искусство, ни мораль его не интересуют. В системе Морелли все работают, все сыты, все послушны «трем священным законам». Но скажем честно — здесь из коммунизма «выпарена» живая революционная страсть, пылкая мечта, жажда гармонии личного и целого.

Новое, интересное у Морелли (тут «ниточка» к Фурье и Сен-Симону) — отказ от семейного (общинного) принципа организации общественного производства, подступ к идее крупных общественных мастерских и профессиональных объединений работников. То был своего рода отклик на появление мануфактур и фабрик.

Аббат ГАБРИЕЛЬ БОННО ДЕ МАБЛИ (1709—1785 гг.) куда менее последователен в суждениях, нежели Морелли. Он не идет дальше Дидро в признании социальной и нравственной привлекательности первобытного коммунизма; ему не хватает смелости «повернуть колесо». Однако зерно учения Мабли — его мелкобуржуазный эгалитаризм — дало куда более буйные всходы в реальной практике революционной Франции, чем сухие формулы Морелли или моральные парадоксы Дидро. «Зерно» упало на благоприятную почву. Почвой была взрывчатая мелкобуржуазная и крестьянская масса, породившая поборников равенства и справедливости, движущую силу назревающего взрыва. «Идея равенства мелких производителей реакционна, как попытка искать позади, а не впереди, решения задач социалистической революции. Но та же идея равенства есть самое полное, последовательное и решительное выражение буржуазно-демократических задач...» (В. И. Ленин).

И все-таки не Мабли и его осторожным силлогизмам суждено было стать «самым полным, последовательным и решительным выражением буржуазно-демократических задач» Великой французской революции. Для этого ему недоставало сердечного жара, высокого полета мысли, могучей «тяги» художественного таланта. Кумиром по праву стал мятущийся, самозабвенный поборник равенства, выдающийся просветитель ЖАН-ЖАК РУССО (1712—1778 гг.).

Неистовый Жан-Жак! Жизнь и творчество его полны мучений, ошибок, напряженного поиска социальной истины — при неколебимости нравственной установки на интересы простого человека, угнетаемого имущими, церковью и государством.

Он страстно обрушил удары молота разума не только на дворянство, но и на жадную, бессердечную буржуазию. Беспощадное перо Руссо клеймило тех, кому предстояло победить руками и кровью народа в битве с феодализмом. Это не была уже только художественная критика «порочной силы злата». Это была фронтальная критика классовых отношений господства и подчинения во имя утверждения суверенного права самостоятельного собственника-производителя.

В жертву имущественному, социальному и политическому равенству Руссо готов

принести всю современную ему цивилизацию. Равенство — первично. Исходный пункт равенства — первобытное состояние, «робинзонада», когда рядом сосуществуют независимые друг от друга «социальные атомы» без семьи, без собственности. Но затем, по Руссо, произошло страшное, необратимое: «Первый, кто, огородив клочок земли, осмелился сказать: «Эта земля принадлежит мне!», и нашел людей, которые были настолько простодушны, чтобы поверить этому, был истинным основателем гражданского общества. Сколько преступлений, сколько войн, сколько бедствий и ужасов отвратил бы от человеческого рода тот, кто, вырвав столбы и засыпав рвы, служившие границами, воскликнул бы, обращаясь к людям: «Берегитесь слушать этого обманщика! Вы погибли, если забудете, что плод принадлежит всем, а земля никому!»

В этом жарком монологе — суть руссоизма. Мыслитель, в пику Вольтеру, убежденно заявляет: «Первый источник зла — неравенство; из неравенства возникли богатства, они породили роскошь и праздность... Люди были добры и не имели пороков до тех пор, пока не были изобретены эти страшные слова — т в о е и м о е».

Сколько ядовитых обвинений обрушилось за это на голову Руссо — и справа, и слева (от того же Вольтера)! Вплоть до К. Маркса и Ф. Энгельса великого женевца числили ненавистником прогресса. Но в моральных обличениях его таилась высокая истина диалектики! «Руссо видит в возникновении неравенства прогресс. Но этот прогресс был антагонистичен, он в то же время был и регрессом» (Ф. Энгельс).

Диалектическая мысль вела Руссо от осознания противоречия к поиску выхода — в снятии, в разрешении этого противоречия. От равенства — к неравенству — затем к равенству на новой основе, с «удержанием богатства достигнутого развития». В данном случае не столь важно, что у Руссо, поскольку в его эпоху богатство создавалось в основном крестьянской массой, равенство уже достигнутое было равенством мелких, раздробленных крестьянских хозяйств. Более важен сам подход к пониманию процесса социального развития. Мы видим у Руссо и в подробностях, говорил Ф. Энгельс, целый ряд тех же диалектических оборотов, которыми пользуется Маркс.

Итак, каковы же пути и средства, позволяющие, согласно Руссо, выбраться из пучины неравенства?

Прежде всего — имущественное и правовое равенство! Не фантазии об Эльдорадо, не воздыхания о невозвратности таитянской «естественности», а уравнивание прав и состояний всех граждан — вот лозунг Руссо. Послушаем Руссо, и мы поймем, почему его боялись имущие. «Явно противоречит естественному закону... чтобы горстка людей утопала в излишествах, тогда как голодная масса лишена необходимого». Труд — основа основ справедливого социального устройства. Труд «является неизбежной обязанностью человека в общественном состоянии. Всякий праздный гражданин — богатый или бедный, могущественный или слабый — это дармоед».

Руссо не просто зовет к дележу богатства. Он целиком на стороне собственности, добытой трудом ремесленника или крестьянина без всякой эксплуатации чужого труда. «Нужно, чтобы все имели средства к существованию и чтобы никто не обогащался: вот основной принцип процветания нации». Орудия — тому, кто трудится; землю — тем, кто ее обрабатывает. И тогда наступит желанное «отрицание отрицания»: нравственная чистота первобытности, возродившись, сольется с достоинствами цивилизации, превратившей человека «из тупого и ограниченного животного в существо мыслящее».

Заветная мечта пылкого Руссо — это мечта о нераздробленном, неотчужденном, целостном, то есть гармоническом человеке. Он знал «Утопию» Т. Мора, был знаком с «Историей севарамбов» Д. Вераса, высоко чтил «Государство» Платона. Направленность интереса не случайна: все эти авторы, каждый по-своему, пытались отыскать ключ к гармонии личного и общественного. Не правы те, кто изображает Руссо едва ли не предтечей мелкобуржуазного анархизма. Вряд ли анархист мог бы сказать об эгоистических страстях человека такие слова: «Дадим другую пищу этим тиграм, с тем, чтобы они не пожирали наших детей».

Интересы рода человеческого — вот главное. В этом контексте закономерно

внимание Руссо к проблемам педагогики, воспитания людей в духе гуманности и свободолюбия. Другое дело, что сама идея равенства мелких собственников ставила предел развитию и общества, и личности, то есть была идеей консервативной.

Высшего революционного накала учение Руссо достигает в требовании абсолютного гражданского, политического равенства. Как для Мелье — религия, так для него деспотия, политический гнет является главным «корнем зла», который надлежит безжалостно вырвать, дабы решить проблему в целом. Государство, созданное вначале по «общественному договору», злой логикой неравенства превращается в тиранию. Народ закован в цепи; и тогда единственным выходом становится восстание, «угнетение угнетателей». Восстание против тирана, провозглашает Руссо, «акт столь же закономерный, как и те акты, посредством которых он только что распоряжался жизнью и имуществом своих подданных. Одной только силой он держался, одна только сила его и низвергает». Какие вещие слова!

Теперь остается сказать несколько важных слов о Руссо — человеке. Да, основная взрывчатая сила его учения — в яростной проповеди равенства. Но сила эта умножалась еще и талантом, еще и, что называется, личным примером. Прошедший горькую «одиссею» страданий и унижений, проклинаемый, гонимый — Руссо не сдался. Лишь возрастала его ненависть к сильным мира сего. «Я ненавидел бы их еще больше, если бы меньше презирал их»,— саркастически говорил он. А потом, уже на склоне лет, пришло испытание славой, деньгами, лестью — и снова он не сломился!

Зарабатывая на пропитание перепиской нот (всего по 10 су за страницу), он хладнокровно отвергал пенсии, гонорары, подачки королей, издателей, меценатов. Он был неподкупен. Не случайно самого преданного и последовательного из его учеников французский революционный народ назовет Неподкупным. Это был Максимилиан Робеспьер.

«Защитник вольности и прав»,— таково непререкаемое мнение о Руссо А. С. Пушкина. Можно ли не согласиться с великим поэтом, тем более что именно в России учение Руссо нашло особенно сердечный отклик,— очень уж было оно созвучно мучительным вопросам российской действительности. Боевой антифеодальный демократизм Руссо восприняли А. Н. Радищев, радикальные декабристы-республиканцы, А. И. Герцен.

...Через 11 лет после смерти Руссо рухнула Бастилия. Над Францией, над Европой взметнулось трехцветное знамя «Марсельезы».

Народ взывал: «На фонарь аристократов! Все устроится, все будет хорошо!» В двух коротких, отрывистых словах — «ça ira» — оказалась спрессованной многовековая оптимистическая вера угнетенных в лучшее будущее. Символично, что «Ça ira!» и «Карманьола» — две программные песни революции — были буквально исторгнуты из самой толщи народных масс: имена их создателей не сохранились.

Все клялись в верности Разуму. Свобода и равенство были у всех на устах. Но колесо катилось неумолимо, оставляя позади тех, кто мечтал о полумерах, компромиссах, «тихих» реформах. Революция набирала скорость, и уже из идеи политического равенства наиболее обездоленные слои народа, плебейские массы предпролетариата «стали выводить равенство социальное» (Ф. Энгельс). Буржуазные абстрактные лозунги были один за другим доведены до крайних выводов. Кулаком «свободного» (от феодальных пут и регламентаций) и «равного» (в формальном, гражданском смысле) наемного раба в двери общества впервые постучалась идея коммунизма.

Смутная, страшноватая идея: шутка ли, поднять руку на собственность! И потому большинство — и бойцов, и вождей — замахивается только на самую наглую, вопиюще несправедливую собственность церкви, дворян, спекулянтов, крупных буржуа. Их бог — Руссо; их молитва — равенство трудовой собственности. Лишь наиболее бесстрашные (но их горстка) перешагивают через эгалитаризм и выходят к коммунизму.

«Гора», «Жиронда», якобинцы, «бешеные»... Скатывались с эшафотов головы королей, герцогов, банкиров, да и вчераш-

них кумиров. Наконец, наступил термидор*, и волна стремительно покатилась назад, от революционно-демократического своего «пика» к реставрации монархии. Но теперь уже монархии буржуазной. Кровью народа, ценой неслыханных страданий и бедствий на европейский престол взгромождался капитал — «его препохабие».

Но что интересно? При всем антагонизме классов, социальных групп, при всей несовместимости идей и лозунгов различных этапов революции — было нечто общее для всех и вся, что придает французской революции целостный характер, единую форму. Речь идет о повальном увлечении терминологией, лексикой, лозунгами, моралью и государственными формами Древнего Рима.

Что за наваждение? Ведь духовные отцы революции, просветители, вслед за гуманистами XVI века превозносили античность, восхваляя доблесть и красоту Эллады. Но Рим, почему Рим? Почему вдруг предпочтение мертвой латыни перед живым, искрометным французским языком Вольтера и Дидро?

Людям, особенно на крутых виражах истории, свойственно искать в прошлом аналоги современных событий. В качестве аналога для французов XVIII века наиболее подходящей оказалась древнеримская республика. Ведь речь, помимо прочего, шла о создании буржуазного национального государства, об утверждении Закона и порядка, «гражданского общества». Доблести древнеримских трибунов — сперва республиканцев, потом сторонников «сильной личности», казались архинеобходимыми в условиях крушения трона и церкви.

Глубоко научное объяснение тайны «наваждения» дал великий К. Маркс в работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Он писал так: «Камилль Демулен, Дантон, Робеспьер, Сен-Жюст, Наполеон, как герои, так и партии и народные массы старой французской революции осуществляли в римском костюме и с римскими фразами на устах задачу своего времени — освобождение от оков и установление современного буржуазного общества... В классически строгих традициях Римской республики гладиаторы буржуазного общества нашли идеалы и художественные формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии».

«Скрыть от самих себя» — вот что пряталось за пышными античными декорациями. Раздвинем же их и поглядим, как в кровавой сече революции шла к той самой «идее нового мирового порядка» вековая народная Мечта о счастье для всех.

На восходящей волне революции высоко поднял знамя Свободы, Равенства, Братства, знамя беспощадной борьбы со старьем пламенный публицист ЖАН ПОЛЬ МАРАТ (1743—1793 гг.). Подобно Мильтону, только в своей сфере, он без колебаний оставляет научные занятия (а они сулили талантливому ученому и деньги, и славу, и спокойствие) — и с головой погружается в революционную стихию.

«Чему обязаны мы своей свободой, как не народным мятежам?» — восклицает Марат. Восторженный поклонник Руссо, он перевел теоретические постулаты учителя о революционном оздоровлении общества в плоскость практических задач: «Тот не может быть апостолом истины, кто не имеет смелости быть ее мучеником». Ему хватило смелости. Имя его и поныне является синонимом преданности свободе и революции.

Уже после убийства Марата плебейские низы выдвинули из своей среды новых теоретиков и заступников, которые пошли дальше руссоистов,— героев 1793 года, высшего пика революции. «Священное право частной собственности» трещало под ударами государственных конфискаций, перераспределения изъятого у богатеев имущества неимущими. Революционная практика ставила под вопрос сам институт собственности, подготовляла умы для выработки и восприятия нового, социалистического идеала общественного устройства. Один корреспондент писал М. Робеспьеру в феврале 1794 года: «Мы умираем с голоду посреди изобилия... Я полагаю, что следует уничтожить торговую аристократию так же, как уничтожили аристократию попов и дворян».

---

* Термидор — название одного из месяцев по календарю, введенному после революции во Франции. 9 термидора II года (27 июля 1794 г.) был осуществлен контрреволюционный переворот, установивший господство крупной буржуазии.

Идеи не только политического, но и социального равенства витали в грозовом воздухе Франции. Уже на закате революции настроениям и чаяниям масс придал определенную теоретическую форму ГРАКХ БАБЁФ (1760—1797 гг.), сын бедняка и апостол бедняков.

Ядро учения Бабёфа — мысль о неизбежности и необходимости беспощадной революционной борьбы за новый социальный строй. Главной движущей силой этой борьбы провозглашались все трудящиеся, в том числе и рабочий люд.

Проповеди Мелье и Марата о революции были развиты Бабёфом до логического конца, применительно ко всей массе трудящихся, а не только к крестьянству: идеал свободы есть не что иное как инообозначение мечты об общности имуществ и социальном равенстве тружеников. Путь к этой свободе лежит через вооруженное восстание трудящихся. «Французская революция,— провозглашает Бабёф,— лишь предвестник другой, более великой, более торжественной революции, которая будет последней». Сторонники Бабёфа — бабувисты — стихийно подошли к мысли о том, что, кроме буржуазно-демократической революции, необходима другая революция, которая более глубоко вспахала бы социальную почву, освободив ее от всякого угнетения и паразитизма.

Подготовленный подпольно «Акт о восстании» предусматривал низвержение Директории, захват всех правительственных учреждений вооруженным народом, возврат к якобинской конституции 1793 года, установление революционной диктатуры Национального собрания, провозглашенного восставшими массами. Затем, по мере ликвидации крупной собственности заговорщиков, эмигрантов, врагов народа, будут осуществляться меры последовательного обобществления имуществ и организации общественного производства.

Единственным хозяином Франции станет Национальная община, то есть все трудоспособные и честные граждане государства. Труд в общине обязателен; тунеядцы и собственники (пока они существуют) лишаются политических прав, облагаются тяжелыми налогами и т. д. Бабувисты намеревались отменить право наследования; все имущество частных лиц после их смерти отходит к Национальной общине. В практической программе бабувистов выражены идеи, порой весьма близкие к основным положениям теории научного коммунизма.

И все-таки не учение Бабёфа стало непосредственным источником марксизма. Почему? Потому что примитивный, уравнительный коммунизм вообще, по гениальному замечанию К. Маркса, гневно ниспровергая частную собственность, остается ее пленником. «Этот коммунизм, отрицающий повсюду *личность* человека, есть лишь последовательное выражение частной собственности, являющейся этим отрицанием».

Он исходит не из идеала гармонической, всесторонне развитой личности, но из несчастья, бедности массы, подавленной господством частной собственности.

В идеальной «республике равных» строжайше запрещено все, что не может быть предоставлено каждому. Равенство для уравнительных коммунистов исключало не только частичную собственность, но и неодинаковость, своеобразие, неповторимость личности. Ведь человек своеобразный движим и необычными потребностями, интересами; поэтому он представляет потенциальную опасность возрождения гонки за «недозволенным». У «равных» при коммунизме все ходят в одинаковых костюмах и живут в одинаково меблированных квартирах... Даже науки и искусства ставятся под сомнение: ведь они генерируют неравенство! Искусство выявляет нестандартную личность? Долой искусство!

Уравнители озабочены тем, чтобы изобрести побольше предохранительных рычагов для контроля над творческой деятельностью. Труд для них — лишь средство для жизни, для удовлетворения естественных потребностей. Но именно таков труд и при господстве частной собственности! А поскольку они чувствуют, что труд ради пропитания — в тягость, а не в радость, они, ничтоже сумняшеся, объявляют его обязательным и подконтрольным республике. Казарменный труд, казарменное «счастье»...

Сама нивелировка людей грубым коммунизмом отражает, говорил Маркс, частнособственническую психологию зависти, стремление к раз и навсегда ограниченной мере труда и потребления. Проповедью всеобщего аскетизма он увековечивает примат существования над сущно-

стью человека. И в этом — реакционность, враждебность уравнительного коммунизма коммунизму подлинному.

Однако не о том мечтали отчаянные заговорщики! Они честно служили своей идее и революции; не вина их, а беда, что уравнительские представления о будущем выражали неразвитость общественных отношений, неразвитость класса, ради которого они шли на плаху. И это тоже — вариант трагедии «опередивших время»... Бабёфу было 37 лет, когда его казнили. Кто знает, как пошло бы дальше его идейное развитие? Но в любом случае он честно боролся и умер героем во имя великой идеи.

Пройдет более 25 лет после смерти Бабёфа, и вновь на какой-то срок оживут его утопии, зашевелятся, словно после летаргии, нити «заговора равных». Уже престарелый, но полный энергии соратник Бабёфа Ф. Буонаротти выпустит в 1826 году свою замечательную книгу «Заговор равных». Она взволнует романтическую молодежь; она подвигнет на борьбу О. Бланки и Т. Дезами, революционных заговорщиков, славных героев, принесших в то же время много вреда организованному пролетарскому движению.

Жизнь «догнала» забежавшего вперед Г. Бабёфа и тут же обошла его...

ХРУСТАЛЬНЫЕ СФЕРЫ

Из грозовой предреволюционной Франции электрические заряды Просвещения проникали в Германию, раздробленную на множество мелких феодальных княжеств. Проникали — и воспламеняли сердца, побуждали к раздумью, поиску, протесту. Разумеется, было бы ненаучно (да и несправедливо) объяснять взлет немецкого духа — в философии, эстетике, литературе — одним лишь «экспортом» французских идей. Но недооценивать влияние — значило бы, в свою очередь, не понять единство в различии и различие — в единстве.

Идеи генерируются социальной средой. Это аксиома. Немецкая среда XVIII столетия выдвинула (в отличие от французов) в качестве главного лозунга, сокровенной мечты идею национального воссоединения. В творениях соседей немецкие просветители обнаруживали желанную опору для своей мечты — силу Разума, проповедь человеческой свободы и достоинства, тираноборческий пафос. И, опираясь, шли дальше и выше, но — лишь в мысли...

Яркие искры французского Просвещения чадили и гасли в затхлой атмосфере глухой европейской провинции, какой была тогдашняя Германия. «Все было скверно,— писали о ней К. Маркс и Ф. Энгельс.— Не было образования, средств воздействия на умы масс, свободы печати, общественного мнения, не было сколько-нибудь значительной торговли с другими странами; везде только мерзость и эгоизм — весь народ был проникнут низким, раболепным, гнусным торгашеским духом». Немецким просветителям приходилось начинать, образно говоря, с нуля: двести лет спячки после короткого рассвета Ренессанса и кровавых зорь Крестьянской войны...

И все-таки живая мысль пробивалась к свету! Назрело великое пробуждение умов. В двери духа стучалась Свобода. Самые чуткие, самые великие услышали ее властный зов. Увы, тогда «в народе не было такой силы, которая могла бы смести разлагающиеся трупы отживших учреждений» (Ф. Энгельс). Поэтому не случайно тирада о свободе, равенстве и братстве в немецком варианте неизбежно сводилась к «свободе в области мечты», к бегству из действительности в «идеальные сферы».

Господствующим мировоззрением немецкого Просвещения стал философский идеализм. Однако битва за человека, пусть и бесплотная, сугубо идеальная, если она ведется самоотверженно и талантливо, не пропадает даром. У потомков достанет ума и уважения поставить ее «с головы на ноги» и обратить против реального врага, на благо реального человека.

Именно такая, высокая и светлая судьба выпала на долю титанов классического немецкого идеализма XVIII—XIX веков — Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля. Хрустальные сферы духа озарены в их творениях молниями мятущейся мысли, а главное, верой в высшее — над богами и миром! — предназначение Человека творящего.

Это был умнейший идеализм! Пусть в искаженном, перевернутом виде (поскольку причиной всего происходящего он считал идею, дух, а не реальные процессы реального мира) этот идеализм поставил

перед человечеством великие вопросы, он таил в себе, как плод в завязи, разгадки великих тайн природы, общества и мышления.

«Если существует наука, действительно нужная человеку,— говорил Иммануил Кант,— то это та, которой я учу, а именно: подобающим образом занять указанное человеку место в мире — и из которой можно научиться тому, каким надо быть, чтобы быть человеком». Могучая гуманистическая Мечта — неосуществимая в условиях буржуазности, но воплотившаяся в реальном гуманизме Маркса, Энгельса, Ленина.

Каким же надо быть? Кант воспевает прогресс как дело ума и рук человеческих, как дело, которое очищает и возвышает самого человека (вовсе не прирожденно доброго и разумного, как полагали французские просветители). Да, обстоятельства влияют на человека; но человек, если он — Человек, — сильнее обстоятельств! Вслед за Монтенем Кант учит искусству жить достойно, сопрягая при этом силу познания («звездное небо надо мной») с нравственным максимализмом («моральный закон во мне») и верой в постепенное преодоление социального зла, в вечный мир между народами нашей планеты. «Человек есть цель сам по себе» — это сказано Кантом.

Охваченное страстью познания и гордостью за принадлежность к человечеству «Я» Фихте; необозримые мечты и откровения Шеллинга; огромный — выше пирамид! — и логически стройный Храм Мысли Гегеля — какой взлет человеческого разума! Взлет, таивший в себе обещание реализации великой Мечты.

«Немецкая теория французской революции» (К. Маркс), классическая немецкая философия не только подготавливала буржуазно-демократический революционный переворот в Германии. Она подготавливала духовную почву для философии и искусства поднимающегося пролетариата. Она несла в себе плодоносящие зерна революционной диалектики, творческой активности личности. И в этом ее непреходящее историко-культурное значение.

Генезис идеала гармонической личности и справедливого общества в философии не является темой данной книги. Но уже созданы (и будут созданы еще!) десятки интересных, умных работ, в которых воздается должное корифеям немецкой классической философии. Их чтут, их по праву числят своими предшественниками коммунисты — благодарные и рачительные наследники всего великого и доброго в мировой культуре.

Немецкие писатели эпохи Просвещения не только и не просто испытывали на себе влияние философской мысли (как часто мы ограничиваемся лишь констатацией влияний одного на другое!) — они сами были великими мыслителями и философами, умножавшими мощь разума на глубину эмоций, на силу образного прозрения. Мы обратим свой взор лишь к двум из них — самым сияющим, самым величественным.

Молчавший со времен Мюнцера общегерманский колокол Свободы с новой силой загудел в творчестве светлого мечтателя, романтика и поэта ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА (1759—1805 гг.). Шиллер переплавил добрые, мудрые, прогрессивные порывы в раскаленную идею борьбы за освобождение человека. Борьбы не на жизнь, а на смерть с тиранами и угнетателями.

Шиллер вошел в литературу и общественную жизнь на волне поэтического движения «Буря и натиск». Штюрмеры (так называли приверженцев этого движения) возвысили голос против социальной несправедливости, в защиту подавленного деспотизмом простого человека. Но великие пошли дальше. Они облекли благородные идеи в совершенную художественную форму, создали героическую народную драму и лирику, до предела насыщенную жаждой политического раскрепощения личности и общества.

Совсем юный (двадцати двух лет!) Фридрих Шиллер потряс Европу и Россию своей драмой «Разбойники». Вслед за Лессингом Шиллер осознал революционизирующую роль театра в подготовке масс к борьбе за переустройство мира. Его Карл Моор — не просто бунтарь; это политический мятежник, объявивший «открытую войну всему обществу» (Ф. Энгельс). Трагедия Моора — трагедия благородного одиночки, восставшего против «божественного» порядка. Уставший, сломленный, изу-

верившийся, он добровольно сдается властям...

Однако не крах и раскаяние Моора, а его ненависть к деспотизму и несправедливости — вот что оставалось в сердце и разуме читателя и зрителя от «Разбойников». В Пушкине и Рылееве, Белинском и Герцене, в крови дедов и отцов наших, свергнувших впервые в истории иго капитала, клокотал гнев Шиллера-мечтателя, освятившего высшую правоту битвы народа против тиранов. Не случайно второе рождение пришло к героям «Разбойников», «Коварства и любви», «Дон Карлоса» в окопах гражданской войны, когда голодные, неграмотные красноармейцы сострадали несчастьям Луизы Миллер, готовы были ринуться на помощь Моору, оторвать «собачьи головы» спесивой, бездушной знати. Шиллер работал на Революцию! Такова волшебная сила искусства.

Сердце Шиллера было переполнено «самою живою, пламенною и благородною кровию любви к человеку и человечеству, ненависти к фанатизму религиозному и национальному, к предрассудкам, кострам и бичам». Однако Шиллер верил в возможность победы свободолюбивых идеалов лишь в туманном, отдаленном будущем, да и то путем постепенного «преобразования» не мира, но человека в существо разумное, доброе, гармоничное. «Красота спасет мир» — задолго до Ф. М. Достоевского идея эта была символом веры вдохновенного Шиллера.

Мечта поэта воспарила в бесплотные выси так называемого «эстетического государства», закон которого «свободою давать свободу». Шиллер как творец остался верен духу свободолюбия. В конце жизни он, певец «свободы в области мечты», создает самое светлое, мужественное и благородное свое произведение — драму «Вильгельм Телль».

«История и есть всемирный суд»,— утверждал Шиллер. Суд этот вынес свой приговор. Истлели, легли мертвой тканью под микроскопы специалистов и либеральные воздыхания, и эстетство, и мистические изыски поэта. А мятежный, справедливый, взыскующий дух его поэзии живет в сердцах людей.

Романтик Шиллер не оставил нам утопий. Но подчас две строки, упругих и крылатых, несут яркую Мечту к новым поколениям не менее уверенно, надежно, основательно, чем солидные романы или трактаты о воображаемом будущем.

Обнимитесь, миллионы!
Слейтесь в радости одной!

Светлая ода «К радости» вдохновила гений Бетховена на величайший взлет — торжествующую, славящую всесилие Человека музыку финала Девятой симфонии.

Путь к радости для Шиллера — это:

Стойкость в муке нестерпимой,
Помощь тем, кто угнетен,
Сила клятвы нерушимой —
Вот священный наш закон!
Гордость пред лицом тирана
(Пусть то жизни стоит нам),
Смерть служителям обмана,
Слава праведным делам!

«Благородный адвокат человечества» (В. Белинский), Шиллер сумел возвыситься над сословными амбициями и предрассудками. В «Вильгельме Телле» поэт восклицает:

Бессмертна жизнь... Иные силы впредь
К величию народы поведут.

«Иные силы», силы самого народа, идут ныне к величию, к радости. И с ними вместе на этом пути — Шиллер, для которого «высший дар — любовь к отчизне»; Шиллер, страстно призывавший к единению борцов: «Держитесь вместе вечно, нерушимо... Свобода одного — свобода всех».

...При мысли о нем перед взором невольно возникает образ могучего, полного жизненных соков дерева, уходящего корнями в глубины минувшего, а кроной вознесенного к свету из будущего. Он дерзновенно пытался «объять необъятное», постичь смысл человеческого бытия — и, как никто до него, приблизился к художественному решению этой неразрешимой в одиночку задачи.

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ (1749—1832 гг.) до чрезвычайности сродни по духу и мощи титанам Возрождения. Он был человек размаха Микеланджело, Леонардо и Рабле...

Гёте близок гуманизму Ренессанса своим обширным универсализмом; весóм его вклад в геологию и оптику, зоологию и ботанику, минералогию и анатомию. Все постиг и превзошел он в поэзии, драматургии и прозе. Его философия — жизнерадостный гуманистический пантеизм, слияние бога, природы и человека. Его обуревала Прометеева жажда деяния; масштабы его художественных свершений поистине необозримы и неоценимы. Долгожитель немецкого Просвещения, Гёте в своем творчестве пошел дальше, поднялся выше всех своих соратников по борьбе за Человека.

Изучая и оценивая Гёте, его место в мировой культуре, непременно обращаешься к глубоко научному анализу его жизни и творчества в статье Ф. Энгельса «Немецкий социализм в стихах и прозе». Перед нами предстает поистине трагическая картина раздвоения великой личности, фатального разлада между высокими духовными устремлениями гиганта и приземленной житейской практикой сына своего класса. «И Гёте,— замечает Энгельс,— был не в силах победить немецкое убожество» — убожество мелочной, мещанской, дремотной действительности раздробленной Германии. Гулливеру мысли было тесно в лилипутских пределах «игрушечного» Веймара. И вместе с тем он был надежно опутан паутиной филистерских страхов перед народным бунтом. Дерзание, порыв, бесстрашие — в мысли; осмотрительность, «медленным шагом, робким зигзагом», «каждому свое» — в реальности.

Значит, не только не сумел, но; возможно, и не пытался «победить убожество»? К счастью, не совсем так; а в масштабе истории — совсем не так! «Гёте был слишком разносторонен, он был слишком активной натурой, слишком соткан из плоти и крови, чтобы искать спасения от убожества в шиллеровском бегстве к кантовскому идеалу» (Ф. Энгельс). Молодой Гёте открыто примкнул к штюрмерам, возглашая бунт против «неправой власти», восхваляя революционные традиции XVI века (в драме «Гец фон Берлихинген», посвященной жизни и борьбе одного из сподвижников Ульриха фон Гуттена).

Мысль Гёте металась между молотом народного гнева («стихия», «анархия», «крах культуры»!) и наковальней гнусной застойной действительности. Не он первый попытался вырваться из этого заколдованного круга. Ринулся к эстетике, в шиллеровское призрачное «эстетическое государство»: холодно, скучно, безжизненно... Попытался — как Платон в Сиракузах — подвигнуть веймарского князя на создание «идеального», «просвещенного» острова гуманизма в море мещанства. Не вышло! Князь струсил, а Гёте скрепя сердце влачит ношу «малых дел» — ношу советника по делам просвещения. А ведь как крупно и радостно мечталось!..

Нет, при всей очевидности «примирения» с действительностью непростым было это примирение — горестным, тяжким. Но ни на секунду нельзя забывать об активной натуре Гёте! «Малые дела» по службе компенсировались огромной, нацеленной в будущее, неустанной работой мысли и воображения. «Лаборатория духа» Гёте вырабатывала идеал гармонической личности, идеал свободной, достойной Человека социальной жизни.

...Еще в родительском доме попала в руки маленького Иоганна дешевая лубочная книжка о знаменитом народном герое Фаусте, перехитрившем самого Черта. С той поры Фауст не покидал его на протяжении шестидесяти (!) лет — поистине «книга жизни»! Бесстрашный искатель истины — он как нельзя более подходил Гёте для воплощения в нем самых сокровенных дум о человеке и человечестве. Кроме того, Фауст был немцем; это облегчало задачу создания не абстрактно-символической (как «Прометей»), а национальной драмы. Национальной — и в то же время (как потом рассудит история) всемирной.

«Фауст» изначально народен, начиная с сюжета об одиссее ученого-чернокнижника, неутомимого искателя истины. Гёте заглянул в бездонный колодец народной мечты о человеке, сумевшем разгадать тайны природы и жизни. Заглянул — и, не убоявшись, прошел все круги заблуждений, соблазнов, трагических ошибок, духовных обретений легендарного доктора. Гений Гёте сотворил чудо: он дал мечте жизнь и бессмертие.

В духовном развитии Фауста как бы спрессован весь тернистый путь человечества, история его поисков, заблуждений, открытий, веры и безверья, сомнений и надежд. Сверхзадача Гёте, по логике его

драмы, такова: не просто «вообразить», каким может быть будущее, но при каких условиях оно будет достойным человеческой мечты и борьбы. И еще: подвиг Гёте заключается, помимо прочего, в художественном исследовании бессмысленных либо ограниченных (и потому лишенных истинного будущего) вариантов счастья. Заслуга Гёте — в возрождении греческой мечты о гармонии, придании ей нового, современного качества.

Первому суровому испытанию подвергается всемогущий Разум. Так ли он всемогущ? В нем ли — сокровенный «философский камень» счастья для всех? Фауст в смятении; непознанное пугающе огромно, знание — робкое пламя свечи во мраке неизведанного... Придет ли оно к человеку? Когда? Откуда? Ясно только, что не из книг — их «многознание» не более чем мираж, достойный Вагнера. Значит — из жизни, из упорного и неустанного деяния! (Из общественной практики, сказали бы мы сегодня. Кстати, как никто в то время, Гёте эстетическим чутьем пришел к постижению роли практики в процессе познания.) «В начале было Дело!» — такова жизненная формула Фауста. От нее еще далеко до Истины, но искатель ступил на верную тропу.

«Фауст» — это гимн Разуму. Однако в отличие от большинства просветителей, зачарованных мощью разума, Гёте понял, что знание само по себе не обеспечивает счастья. Его, как ток в электросеть, надо включить в сложную систему духовных и нравственных ценностей, «оживить» идеей действия, идеей цели. Здесь начинается второй «круг» Фаустовых исканий.

Что же есть цель? На сей раз испытанию подвергается сокровенное — верность Фауста своему народу, истинность народных установлений морали и жизни. Сложнейшее, многозначное решение находит здесь Гёте (и, разумеется, каждый из читателей — а сколько их было за минувшие 150 лет?!).

— Как человек, я с ними весь:
Я вправе быть им только здесь.

Так говорит Фауст о простых людях, любовь которых и радует и сжигает его. В самом деле: они чтут его знание — но что толку в этой ненужной книжной мудрости? Они верят ему, «чудесному доктору», но чем воздать им за эту веру? «Готов за всех отдать я душу»,— восклицает Фауст. Но как добиться, чтобы при этом «закладе» всем стало хорошо? Вот в чем вопрос.

Хитрый бес-искуситель не случайно начинает серию попыток соблазнить Фауста именно в погребке Ауэрбаха. Он тонко уловил альтруизм, человеко- и народолюбие своего «пациента». Быть может, надеется Мефистофель, доктор сразу клюнет на простонародное веселье, бесхитростное счастье мимолетных удовольствий в кругу друзей? Надежды рушатся немедленно: грубость, ограниченность гуляющих буршей претят даже Мефистофелю...

И вот — первый по-настоящему серьезный соблазн: Любовь, Маргарита. Не в том замысел беса, что она хороша. Она — чистая, цельная, гармоничная; это удесятеряет надежду, что Фауст «остановит мгновение». Ведь что есть гармония, как не искомое Фаустом бесконечное совершенство? Однако доктор быстро убеждается в пассивной доброте и гармоничности Гретхен. Она беззащитна перед лицом зла и заблуждений. Нет, это не та гармония, которой ищет Фауст и которая осчастливит и его, и человечество! Ценой трагической гибели Маргариты Фауст выходит на новый «виток» исторической спирали познания.

Здесь, в этом пункте, Гёте и его герой не без труда преодолевают буколические иллюзии «возврата к природе», к патриархальным добродетелям. Фауст и создателю своему, и Вольтеру, и Дидро, и всем воздыхателям по «золотому веку» заявляет категорически:

Жить без размаху? Никогда!
Не пристрастился б я к лопате,
К покою, к узости понятий.

Гёте как бы говорит: доброта народа, его цельность, совестливость, трудолюбие, как и сама природа,— великие ценности. Они нужны и в будущем. Но их предстоит умножить на активные жизненные устремления, на познание, на бесконечные способности человеческого рода. Гармония — не позади, а впереди!

Нелегок путь к берегу счастья, к «свободному краю». Ради людей Фауст готов «осилить все». Программно звучит его монолог:

Я людям руки распростер,
Я грудь печалям их открою
И радостям — всему, всему,
И все их бремя роковое,
Все беды на себя возьму.

Позади — испытания холодным разумом; жгучими страстями плотских удовольствий; миражами «тихой», застойной гармонии; ослепительным призраком Красоты. Чисто умственное — чисто телесное — чисто эстетическое: ничто из этих слагаемых в отдельности не может служить высшей целью и фундаментом всеобщего счастья. Каждому из них неизбежно свойственны ограниченность, созерцательность, успокоенность. И тогда прекращается движение, приближение к истине разума, наслаждения и красоты.

Прежде чем окончательно постичь тайну высшего мгновения, Фауст проходит и еще одно тяжкое испытание: богатством и властью. «Движение — все, цель — ничто»; так условно можно подытожить этот деятельный этап духовной и нравственной эволюции Фауста. На этом этапе цель еще не обретена. Здесь он вместе с Мефистофелем вершит огромную работу по разрушению «сонного царства» феодализма. Бурно растет промышленность; весь мир превращен в гигантский рынок; с лица земли сметены тихие деревушки скромных поселян... «Сатана там правит бал!» Производство ради производства (движение ради движения) обессмысливает человеческую жизнь, неизбежно утверждает зловещую власть чистогана. Фауст чувствует бесчеловечность и лживость этой «цели». Но, с другой стороны, она благодетельна, если ее обратить на благо людей как средство достижения подлинной, а не «вещной» свободы.

Ослепший Фауст прозрел истину будущего, определил свою цель. Она — в высшем синтезе умственных, телесных, эстетических и творчески-производительных сил человека, опирающихся на мощь знания и промышленности: синтезе, нацеленном на бесконечное развертывание человеческих способностей и потребностей в условиях всеобщей свободы, справедливости, добра и красоты. Обретенный Фаустом путь — это единение народа в свободном, творческом коллективном труде!

Работы впереди — невпроворот. Но то, что не под силу индивиду, вполне под силу человечеству. «Лишь все человечество вместе является истинным человеком». Гёте прорывает заколдованный круг ограниченных потребностей и инстинктов, выдвигая в качестве цели безграничное развитие духовных и нравственных потенций Человека. О н у г а д а л О б р а з Б у д у щ е г о!

...Господин тайный советник фон Гёте не только до ужаса боялся революции. Он полагал извечным деление общества на элиту и массу. «Пускай сапожник сидит за колодкой, крестьянин идет за плугом и правитель умеет управлять». Но Фауст жил, мыслил и мечтал иначе! Еще одно подтверждение известной истины, что великие творения духа живут своею жизнью, не считаясь с настроениями и намерениями их авторов. Поэт Гёте на века победил тайного советника! Животворящее — ликует, мертвое — истлело. Мы приложили нетленное наследство Гёте к жизни и добру. Фауст обрел бессмертие!

ПРИШЕЛЬЦЫ ИЗ БУДУЩЕГО

Вместе с древнеримскими политическими декорациями — сначала свободной Французской республики, потом наполеоновской империи — в пламени войн и восстаний дотла, казалось, сгорели солнечные идеалы Просвещения...

Тяжелым, мрачным было похмелье после расцвета всемогущего Разума!

Где великая, желанная, в крови омытая Свобода?

Где сердечное, возвышающее душу Братство?

И, наконец, вместо Равенства — голод, нищета, бесправие, болезни...

На социологию, историю, литературу наползали свинцовые тучи пессимизма. Те, кто еще вчера восторженно прославлял бесконечный и «гармоничный» прогресс, в страхе затыкали уши. Воздух Европы и Америки наполнился лязгом машин, чахоточным запахом мазута; солнце затуманилось копотью и гарью заводских труб. Нет,

не о том мечталось, иное грезилось «адвокатам человечества»!

Так, может быть, дело в неверно истолкованных просветителями естественных законах взаимодействия человека и природы? К услугам победившей буржуазии, ради обоснования «естественности», то есть извечной неизбежности богатства и нищеты, возникают политэкономические теории Бентама, Мальтуса и Рикардо. Их смысл прост: ни о каком «земном рае» для всех речи быть не может. Матушке-природе это не по плечу...

В новых, капиталистических условиях «регрессивную метаморфозу» (К. Маркс) претерпевают и эгалитаристские утопии. За убыстряющееся колесо Истории хватаются слабыми пальцами новые, реакционные руссоисты. Они возносят анафему прогрессу. А что же взамен? Цеховая организация промышленности и патриархальное сельское хозяйство — вот «последнее слово» мелкобуржуазного социализма.

Сочувствие угнетенным по-прежнему было движущей пружиной прогрессивной социальной мысли. Но к чему звать? Какие выдвигать идейные и нравственные ориентиры?

Снова, как во времена Руссо, только куда острее, встал вопрос об отношении будущего и цивилизации. Были варианты негативных ответов: своего рода «стоп-программы» реакционных романтиков; акты отчаяния луддитов-машиноненавистников. Но это были «дороги в никуда», в социальные тупики.

Были и светлые люди, вдохновлявшие человечество могучими по своей эмоциональной силе лозунгами свободы и революции. Однако о них речь чуть позже.

Эпоха требовала ответа. Эпоха торопила. Ведь если во времена Мора тысячи гордых йоменов были «съедены» кроткими овцами, то теперь, когда окреп буржуазный Молох, уже сотни тысяч неумолимо перемалываются стальными безжалостными челюстями фабрик...

И вот на историческом перепутье, в межвременье, когда новые социальные противоречия и язвы уже обострились и стали вопиющими, а реальные условия и силы для их революционного разрушения ещё не созрели,— народная мечта совершает новый страстный рывок к свету.

Разрубить гордиев узел, туго затянутый на горле трудящихся масс новым эксплуататорским классом, взялись новые утописты, люди дерзкой фантазии и трезвейшего (как им казалось) социально-экономического и психологического расчета. К. Маркс и Ф. Энгельс позже уважительно назовут их «патриархами социализма». Высокое имя!

Первый и, пожалуй, самый оригинальный из них — АНРИ ДЕ СЕН-СИМОН (1760—1825 гг.). Он прожил жизнь, которой хватило бы, пожалуй, на несколько остросюжетных романов. Потомок Карла Великого, сиятельный граф, ученик Даламбера, он посвятил жизнь служению Идее освобождения человечества от гнета эксплуатации и невежества.

Не он первый! У великой Мечты не было недостатка в рыцарях. Но каждый из них служил ей по-своему, и служба каждого не давала Мечте упасть и разбиться.

Анри де Сен-Симон... Любовь к народу — и недоверие к нему; жажда справедливости — и наивная вера в «перевоспитание» богачей. Таковы качели сен-симонизма. Учение графа-эволюциониста было доведено его куда менее талантливыми учениками до уровня беспринципного соглашательства с власть имущими...

Но это — ученики (к тому же не все); а сам Учитель в конце своей многострадальной жизни «прямо выступил от лица рабочего класса» (К. Маркс). Правда, выступил больше с увещеваниями, с призывами к милосердию. Граф Анри страдал и умел сострадать; он был безупречно честен; но в нем было мало от Мюнцера и Мелье.

Драгоценное социалистическое ядро его учения обнаруживается в иной плоскости. Оно, во-первых, в идее закономерного движения общества к процветанию на основе индустриального развития.

Сен-Симон отбросил идеи «естественного состояния», незыблемые истины «человеческой природы». «Панта рей» — все течет, причем ко все более высокой социальной и духовной организации человечества. Золотой век — впереди, он неизбежен и умопостижим! Важно только изучить предшествующие звенья социального ряда, познать законы истории.

Впервые не одни только эмоции, желания, абстрактный разум или моральные нормы, но сама История становилась верным союзником Мечты.

Как и все философы Просвещения, Сен-Симон уподобляет историю общества человеческому организму: детство (заря цивилизации), юношество (Эллада), зрелость (Рим).

А как же дальше? И вот здесь сокрыто одно из самых гениальных прозрений социолога: в отличие от тех, кто исповедовал механическую непрерывность прогресса, Сен-Симон вплотную подходит к идее формации, качественно определенной эпохи, которая, исчерпав свои внутренние потенции, сменяется другой, более высокой; общество вступает «в новую организационную фазу», преодолевая старые формы.

Стоп! Но ведь Сен-Симон, как говорится, из утопистов утопист, из идеалистов — идеалист?!

Верно. Однако именно ему удалось уловить тайну истории. Тайну ее поступательного — по спирали, от низшего к высшему — восхождения.

Было угадано главное, «объято необъятное». Лучшее будущее становилось итогом развития, результатом трудного рождения новой «фазы» из недр старого общества. Значит, надо ли слепо, безоглядно разрушать старое, если из него возникает новое?

Это было преддверие великого открытия, но еще не само открытие. У Сен-Симона неумолимые экономические законы и социальные силы (классы) — всего лишь исполнители воли Идеи. Так, на теологической стадии социального развития (при феодализме) постепенно возобладали идеи философов (просветителей), сторонников свободного, и прежде всего индустриального прогресса. Но приходит час — и философы, неспособные осчастливить людей, должны уступить место носителям «позитивной идеи»: ученым и промышленникам.

Наивно, совсем не социалистично! Сказать по правде, картина будущего по Сен-Симону чаще напоминает идеализированный капитализм. Сохраняются у него и классы, и частная собственность; однако акцент постоянно делается на организации труда, производства в интересах массы трудящихся. Сен-Симон прокламирует примат целого, то есть государства, общества над интересами и потребностями личности или замкнутой общины. Он — последовательный антируссоист: нельзя идти от единичного (то есть от страстей и свойств индивида) к общему. Все пойдет вразнос, цивилизация с ее ритмом, жесткой организацией, связями и масштабами остановится. Прогресс есть движение к организации; свобода личности — дочь прогресса, но не его мать.

Сен-Симон — за всеобщую, в масштабе нации (а в перспективе и человечества), плановую промышленную ассоциацию. Как никто другой, он приблизился к одной из сокровенных внутренних пружин социализма — к пониманию планомерного, пропорционального развития общества на основе научного управления производством. Здесь он на голову выше других «патриархов», всех иных домарксовых социалистов.

В новом обществе политика превратится из управления людьми в управление вещами. Эта мысль Сен-Симона была близка В. И. Ленину — человеку, которому довелось возглавить первое в мире государство, созданное для того, чтобы постепенно сложились условия для отмирания и классов, и самого государства.

Проблемы организации и управления занимали у Сен-Симона огромное место. В то же время его социалистические озарения, догадки, тезисы надо было еще вытащить на свет божий из-под напластования фантазий, намеков, из-под гнета поистине неистребимой элитарности нищего графа. Умирая с голоду, он все равно был над массой, он не мог позволить трудящимся «дерзости» самоосвобождения и самоорганизации. Только элита, только «капитаны» индустрии, по убеждению Сен-Симона, приведут корабль человечества в гавань счастья!

Сен-симонисты после смерти учителя ничуть не убавили наивности в его учении. Но они «выпрямили» Сен-Симона в социалистически-утопическом духе. Частная собственность упраздняется. В обществе восторжествует принцип: «Каждому по его способности, каждой способности по ее делам».

Крупнейшее открытие! Тем самым была выдвинута конкретная, жизнеспособная,

реалистичная альтернатива уравнительному коммунизму.

Все пустоцветы сен-симонизма (включая выдумки о «новом христианстве») революционный пролетариат и его теоретики отсеяли беспощадно. Но ни зернышка, ни единого ценного проблеска мысли великого прожектера-неудачника не было утрачено в будущем, начертавшем на своем миролюбивом социалистическом знамени, наряду с другими, и гордые слова Сен-Симона: «Довольно почестей Александрам! Да здравствуют Архимеды!»

Сен-Симон обессмертил себя исторической идеей социализма. Его современник и соотечественник ШАРЛЬ ФУРЬЕ (1772—1837 гг.) оставил нам уникальную, утопически-причудливую, расписанную в деталях позитивную программу социалистического жизнеустройства.

Вся система Фурье опирается на идеи изобилия как главного компонента равенства и свободы — и творческого развития личности и общества как главного средства достижения всеобщего счастья.

Фурье — радикальный антимальтузианец. Он отмахивается от глупых и злобных сказок об «убывающем плодородии» и т. п. Он развертывает впечатляющую картину материального и духовного процветания ни много ни мало — на 70 тысяч лет вперед, пока не погаснет солнце на небосводе!

«Человек! — восклицает Фурье.— Наслаждайся! Чем больше ты наслаждаешься, тем более ты выполняешь свое назначение как человек». Призыв — поистине раблезианский. И в нем не было бы и тени социализма, если бы не обращение к каждому человеку, если бы не выведение самого лозунга из сущности концепции «ассоциативного» (социалистического) счастья.

А это значит — наслаждаться по-человечески. Конечно, должны быть прежде всего максимально удовлетворены так называемые первичные потребности: в еде, одежде, жилище. Но, как говорится, боже упаси на этом ставить точку! Тогда неизбежны пресыщение, скука — и возрождение всяческих буржуазных гадостей.

(Фурье почти за 200 лет предвидел гримасы и судороги сытого «общества потребления» — этого рая на буржуазный лад, общества отчужденных и обездушенных индивидов!)

Истинно человеческие наслаждения — это любовь, дружба, науки, искусство и т. д., а главное — разнообразный творческий труд. И развернутся эти радости бытия только в ассоциации, в коллективе, умеющем обнаружить и помочь раскрытию неповторимых человеческих склонностей, дарований и способностей. В волчьем мире эксплуатации и отчуждения такое исключено. Человек равно «иссыхает» как творческая личность — то ли в муках голода, то ли в бешеной погоне за прибылями.

Учение Фурье, к слову сказать,— истинный кладезь (не вычерпанный нашей педагогикой до дна и поныне) идей и наблюдений, связанных с выявлением и воспитанием талантов среди детей всех социальных слоев.

Пафос оптимизма, пафос творчества — вот что драгоценно и непреходяще у Фурье. Мы прощаем ему «океан лимонада» или «молочные реки» и восхищаемся его земным, деловым (при всей утопичности) подходом к пониманию грядущего счастья.

Фурье страстно верит, что все будет неизмеримо лучше — и для всех! И это лучшее не с небес манной сыплется, а созидается людьми — все более сплоченными, все более талантливыми.

Книги Фурье, громоздкие, неудобочитаемые,— это россыпь «залогов счастливого будущего» (К. Маркс). Даже недостатки и промахи его нередко выглядят своеобразным продолжением достоинств. Так, Фурье нигде не переходит рубеж социалистического распределения благ по количеству и качеству труда. Он — не коммунист; даже его фантазии не хватило для прорыва к распределению по потребностям. Ошибка, узость, ограниченность? Да. В то же время ошибка в тех условиях вполне объяснимая.

Ошибочна и ставка Фурье на стимуляцию страсти людей к богатству с целью постепенно пробудить более возвышенную страсть к творчеству. Однако плодотворна догадка (смутная, неосознанная) о необходимости созидания нового общества руками и силами старого человеческого «материала», несущего на себе тяжкое бремя буржуазных заблуждений и пороков.

О, как предметно и остро столкнулись через сто лет после Фурье с этой проблемой российские большевики, В. И. Ленин!

И так почти во всем. Фурье — провозвестник всестороннего раскрепощения женщины. Он тщательно (как и все остальное) проработал идею разнообразия и смены труда физического и духовного. Он увидел в коллективном соревновании могучую силу развития общественного производства и человека. Силу, превосходящую враждебное, губительное соперничество в конкурентной борьбе.

Уже хрестоматийными стали гениальные, хлесткие, как бич, обличения великим мечтателем «мира навыворот». Только в этом мире, гремит Фурье, бедность «рождается из самого изобилия»; в нем «врач желает своим согражданам добрых лихорадок, а поверенный — добрых тяжб в каждой семье... стекольщик желает доброго града, который разбил бы все стекла...».

Сила Фурье — в отличие от Руссо — не в страсти морального негодования по поводу язв и пороков цивилизации, но в исследовании механизма разобщения людей, в поиске и обнаружении социально прогрессивного и гуманного в буржуазной системе производства и распределения. Ядро же новой системы образует ассоциация, объединение людей для совместного производства и коллективного быта.

За Фурье, подчеркивал К. Маркс, «остается та великая заслуга, что он объявил конечной целью преобразование в более высокую форму не распределения, а самого способа производства».

Многое, очень многое удалось предугадать в будущем Шарлю Фурье! Пожалуй, по совокупности больше, чем другим его современникам. Оттого, наверное, больше у него и ошибок, и несообразностей, и противоречий. Но слава ему и за то, и за другое; ошибки гениального человека благодетельны, ибо они поучительны, ибо они облегчают путь идущим вослед.

К идее осуществления (и в утопии, и в практике — тоже утопической) коммунистического принципа распределения по потребностям подошел РОБЕРТ ОУЭН (1771—1858 гг.). Подошел, переступив через порог частной собственности. Лозунгом его жизни были великие слова: «Либо все люди должны быть счастливы, либо никто».

Роберт Оуэн был талантлив, удачлив и необъятно добр. К тому же он был богат, практичен и — до поры — признан «наверху», среди «капитанов индустрии». Но все свое состояние, весь организаторский талант, сердце и душу свою принес он в жертву всепоглощающей Идее коммунизма.

В молодости Оуэн совершает «экономическое чудо»: в пролетарском, задымленном и нищем Нью-Ленарке ему удалось за несколько лет повернуть к лучшему жизнь и быт текстильщиков. А всего-то — сократил рабочий день, позаботился о чистоте в поселке, устроил детсады, ясли, школы, устранил полицию... О его личном обаянии, честности, деловитости ходили легенды по всей Европе. Будущий царь Николай I домогался его расположения, звал в Россию, сулил золотые горы... Если бы знал, кого зовет!..

После Нью-Ленарка Оуэн постепенно кристаллизует все основные, узловые пункты своего учения. Он обрушивается на частную собственность, буржуазный брак, религию. Эти три великих зла мешают воцарению справедливости. Их надо сломить!

Но сломить проповедью, добрым примером, убеждением. Здесь Оуэн вполне на одном уровне и с собратьями-утопистами, и с просветителями. Однако неверно было бы все в Оуэне подгонять под этот общий знаменатель. Сколько бы он сам ни уверял (и верил!), что исходит из природы человека, вечных установок Разума и т. п., нельзя забывать: исходным в его учении было наблюдение царящей в обществе и производстве анархии.

Там же, в производстве, увидал он «волшебную силу машин», могущую стать надежным рычагом достижения изобилия. «Он не только фактически исходил в своих опытах из фабричной системы, но и теоретически провозгласил ее исходным пунктом социальной революции» (К. Маркс).

Приверженность идеалам гуманизма, вера в разум и привели Оуэна к коммунизму. Тропа та же, что и у Мора триста лет назад. Но разница в содержании — гигантская, ибо коммунизм Оуэна помножен на «социальные преимущества», на промышленность XIX века.

Оуэн глубже, чем даже Фурье, постиг сущность, сокровенный смысл счастья, которого может и должно добиться человечество, если оно примет идею коммунизма. Не просто накормить, одеть, расселить всех людей по изобильным нормам; это даже меньше, чем полдела. Это лишь предпосылки подлинных наслаждений! А они — по ту сторону материальной необходимости: в духовной, социальной, эстетической сферах.

Высшие наслаждения творчества, общения, искусства в полной мере станут доступны новым людям, воспитанным уже в человеческих обстоятельствах нового мира.

«В возрожденном мире, когда человек родится заново и получит новое сознание, новые чувства, новый дух, новый язык, говорящий только правду, новую нравственность, новые навыки и способ поведения,— мечтает Оуэн,— в этом мире все неизбежно будут любить друг друга и каждый без лукавства будет испытывать чувства любви».

Мысль Оуэна совершает круг: имея исходным духовным центром своей системы всесторонне развитую, гармоничную личность, Оуэн приходит к неприятию собственничества и религии, обращается к поиску социальных форм для лепки новой человеческой жизни и уже из комбинации этих форм «выводит» всестороннюю личность как результат общественного переустройства.

Как и всякий утопист, Оуэн поставил «телегу впереди лошади», поменял местами исходный пункт движения и его конечную цель. Но рациональное зерно его учения о новом человеке оказалось плодоносным и «проросло» в теории коммунистического воспитания.

Самая сильная сторона учения Оуэна — соединение мечты о гармоническом человеке с могуществом техники и науки. Фурье признает это могущество скорее на словах, поскольку в его фаланстерах (трудовых коммунах) первенство принадлежит сельскому хозяйству. Сен-Симон упивается этим могуществом и, в известном смысле, фетишизирует его как самоцель (все остальное приложится!). Оуэн постоянно имеет в виду высшую цель производства — развитие самого человека, общины, коммуны, ассоциации людей.

Индустрия и ее достижения служат у него необходимым средством облегчения тягот жизни тружеников. И уже не надо придумывать рабов для черных работ (как у Т. Мора): все сделают «механические рабы». И уже не надо эксплуатировать труд детей и женщин. Дети будут трудиться — но не для добычи пропитания, а для развития своих талантов и способностей. Оуэн увидел в свободном производительном труде самое могучее средство для воспитания всесторонне развитых людей.

У Оуэна свои фаланстеры — самоуправляющиеся трудовые коммуны. По мысли великого мечтателя, справедливые коммуны могут быть созданы тотчас же, в рамках существующей системы, и на яркий свет добра и содружества постепенно слетится все заблудшее человечество...

Успех нью-ленаркского эксперимента побудил Оуэна в течение тридцати лет упорно, невзирая на удары реальности, заниматься «созиданием будущего», то есть утопической практикой организации коммун. Рухнула Новая Гармония в США — а вдруг выдюжит, вдруг победит Гармони-Холл в Англии?! Упрямство Оуэна придавало веру и добавляло сил все новым и новым утопистам-«практикам».

Сколько их было, фантастических коммун! И всякий раз мечтатели разбивали головы о каменную стену экономической необходимости. Коммуны либо превращались в замкнутые религиозные секты, либо, вступая в контакт с буржуазным миром, беспощадно взрывались изнутри центробежными силами собственничества.

К сожалению, до сих пор не так много известно о социально-утопической практике XIX века — и стихийной, народной, и осуществлявшейся новыми «пророками». Обидно, но факт: воздействие на предшественников научного коммунизма «подпочвенных вод» народной мечты, векового массового протеста исследовано еще совершенно недостаточно. Оттого, наверное, до сих пор нет-нет, да и проскальзывает этакое снисходительно-высокомерное отношение к великим утопистам, как неким безнадежным одиночкам, чудакам, которые чуть ли не по наитию свыше открывали новые социальные горизонты.

И, наконец, последнее. Учения «патриархов» должны быть сопоставлены не только с движением философской мысли, не только с уровнем и формами стихийного не-

довольства обездоленных, страдающих масс. Их роль, их значение, наконец, их происхождение надлежит соотнести с могучим течением гуманизма в искусстве предшествующих эпох. Причудливые фантазии Сен-Симона, Фурье, Оуэна — это ведь и попытки эстетически, в системе образов освоить настоящее и будущее. Молодой Энгельс афористично назвал сен-симонизм «социальной поэзией». Любопытное замечание!

Самоучки тем и гениальны были, что сумели в пламени своей фантазии переплавить огромный материал, накопленный до них наукой, историей общественной мысли, литературой и искусством. Самые «безумные» из их пророчеств получили вид на жительство в будущем потому, что опирались на классовый инстинкт, на представление о трудовой морали, одухотворялись гуманистическим идеалом, сочувствием к угнетенным.

«Теперь,— писал В. И. Ленин после победы Октября,— многое из того, что было фантастического, даже романтического... в мечтаниях старых кооператоров, становится самой неподкрашенной действительностью».

ИСТОЧНИКИ.
ФРАГМЕНТЫ.
СТИХИ



К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС

ОБ ЭПОХЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ И ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Отрывки

* * *

Современный социализм, хотя он по существу дела возник из наблюдения существующих в обществе классовых противоположностей между имущими и неимущими, рабочими и эксплуататорами, но по своей теоретической форме он выступает сначала как более последовательное, дальнейшее развитие принципов, выдвинутых великими французскими просветителями XVIII века,— ведь первые представители этого социализма, Морелли и Мабли, также принадлежали к числу просветителей...

Как всякая новая теория, социализм должен был исходить прежде всего из накопленного до него идейного материала, хотя его корни лежали глубоко в экономических фактах.

Великие люди, которые во Франции просвещали головы для приближавшейся революции, сами выступали крайне революционно. Никаких внешних авторитетов какого бы то ни было рода они не признавали. Религия, понимание природы, общество, государственный строй — все было подвергнуто самой беспощадной критике; все должно было предстать перед судом разума и либо оправдать свое существование, либо отказаться от него. Мыслящий рассудок стал единственным мерилом всего существующего. Это было время, когда, по выражению Гегеля, мир был поставлен на голову, сначала в том смысле, что человеческая голова и те положения, которые она открыла посредством своего мышления, выступили с требованием, чтобы их признали основой всех человеческих действий и общественных отношений, а затем и в том более широком смысле, что действительность, противоречившая этим положениям, была фактически перевернута сверху донизу. Все прежние формы общества и государства, все традиционные представления были признаны неразумными и отброшены как старый хлам; мир до сих пор руководился одними предрассудками, и все прошлое достойно лишь сожаления и презрения. Теперь впервые взошло солнце, и отныне суеверие, несправедливость, привилегии и угнетение должны уступить место вечной истине, вечной справедливости, равенству, вытекающему из самой природы, и неотъемлемым правам человека.

Мы знаем теперь, что это царство разума было не чем иным, как идеализированным царством буржуазии, что вечная справедливость нашла свое осуществление в буржуазной юстиции, что равенство свелось к гражданскому равенству перед законом, а одним из самых существенных прав человека провозглашена была... буржуазная собственность. Государство разума,— общественный договор Руссо,— оказалось и могло оказаться на практике только буржуазной демократической республикой. Великие мыслители XVIII века, так же как и все их предшественники, не могли выйти из рамок, которые им ставила их собственная эпоха.

Ф. ЭНГЕЛЬС

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20.

* * *

...Как ни мало героично буржуазное общество, для его появления на свет понадобились героизм, самопожертвование, террор, гражданская война и битвы народов. В классически строгих традициях Римской республики гладиаторы буржуазного общества нашли идеалы и художественные формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии. Так, одним столетием раньше, на другой сту-

пени развития, Кромвель и английский народ воспользовались для своей буржуазной революции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета. Когда же действительная цель была достигнута, когда буржуазное преобразование английского общества совершилось, Локк вытеснил пророка Аввакума.

Таким образом, в этих революциях воскрешение мертвых служило для возвеличения новой борьбы, а не для пародирования старой, служило для того, чтобы возвеличить данную задачу в воображении, а не для того, чтобы увильнуть от ее разрешения в действительности,— для того, чтобы найти снова дух революции, а не для того, чтобы заставить снова бродить ее призрак.

К. МАРКС

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 8.

Д. ДИДРО



ДОБАВЛЕНИЕ К «ПУТЕШЕСТВИЮ БУГЕНВИЛЛЯ»*

Отрывки

* * *

...На Таити общественное мнение и закон признавали дурным лишь то, что дурно по своей природе. Работы и жатва производились там сообща. Слово «собственность» имело там очень ограниченный смысл. Любовная страсть, сведенная к простому физическому вожделению, не вызывала там ни одного из тех бедствий, которые она причиняет у нас. Весь остров представлял как бы одну многочисленную семью, а хижины — как бы различные комнаты одного из наших больших домов.

---

* Луи-Антуан Бугенвилль — французский путешественник, совершивший в 1764—1766 гг. кругосветное путешествие. «Добавление» написано Д. Дидро в 1772 году. Основная идея произведения — противоречие «естественной» морали таитян и испорченной морали цивилизованной Франции. Утопия Дидро характеризует общество таитян как нравственное, но некультурное. Автор подводит читателя к мысли о поиске «третьего пути» соединения чистоты нравов таитян с достижениями науки и культуры. Собственной гипотезы Дидро, однако, не выдвигает.

* * *

...Мы обладаем всем, что необходимо и полезно нам. Неужели мы заслуживаем презрения за то, что не сумели создать себе излишних потребностей? Когда мы голодны, у нас есть что поесть; когда нам холодно, у нас есть во что одеться. Ты был внутри наших хижин? Чего в них не хватало, по твоему мнению? Гоняйся, сколько хочешь, за тем, что ты называешь жизненными удобствами, но позволь благоразумным людям остановиться, когда они замечают, что могут получить от продолжения своего тягостного труда лишь мнимые блага. Если тебе удастся уговорить нас переступить тесные пределы того, что необходимо, то когда перестанем мы трудиться, когда сможем мы наслаждаться? Мы постарались сделать возможно наименьшей сумму наших годовых и ежедневных усилий, ибо ничто нам не кажется дороже покоя. Поезжай к себе домой волноваться и мучиться, сколько тебе угодно, а нас оставь наслаждаться покоем. Не внушай нам ни твоих мнимых потребностей, ни твоих химерических добродетелей. Взгляни на этих мужчин, посмотри, какие они стройные, крепкие, здоровые. Взгляни на этих женщин, посмотри, какие они стройные, здоровые, свежие и красивые...

* * *

Священник*. Насколько я вижу, вам мало знакомо чувство ревности. Но зато здесь должны быть очень слабы, а может быть, и совсем неизвестны супружеская нежность, материнская любовь — эти два столь могучих и сладостных чувства.

Ору**. Мы заменили их другим, несравненно более общим, сильным и длительным чувством — интересом. Загляни себе в сердце, оставь похвальбу добродетелью, которая постоянно на устах твоих товарищей, но не в глубине их души. Скажи мне, найдется ли в какой бы то ни было стране отец, который не предпочел бы, если бы его не удерживал стыд, потерять своего ребенка; муж, который не предпочел бы скорее потерять свою жену, чем свое состояние и благополучие всей своей жизни? Поверь мне, что повсюду, где человек будет заинтересован в сохранении своего ближнего так же, как в своей постели, в своем здоровье, в своем покое, своей хижине, своих плодах, своих полях,— он сделает для него все, что только можно сделать. Именно у нас слезы орошают ложе больного ребенка; именно у нас заботятся о больных матерях; именно у нас ценят плодовитую женщину, взрослую девушку, совершеннолетнего юношу; именно у нас заботятся об их воспитании, ибо их сохранение является всегда приростом богатства, а их гибель всегда уменьшение его.

Священник. Я очень боюсь, что этот дикарь прав. Наш несчастный крестьянин, замучивающий жену, чтобы дать отдых лошади, дает погибнуть ребенку без медицинской помощи и зовет врача к своему быку.

* * *

А***. Оставим в стороне этот панегирик; какие полезные выводы можно сделать из странных обычаев и нравов нецивилизованного народа?

В. Я думаю, что некоторые физические причины — например, необходимость преодолеть неплодородие почвы — побуждают к деятельности ум человека; но этот творческий

---

* Священник — участник экспедиции Бугенвилля, носитель «родимых пятен» ущербной, ханжеской религиозной морали.

** Ору — таитянец, основной оппонент священника.

*** А и В — персонажи-интеллигенты, дискутирующие о проблемах естественной и испорченной морали, приходящие к выводу о преимуществах первой.

порыв заводит его далеко за пределы первоначальной цели, и, по удовлетворении насущных потребностей, он втягивается в вихрь всяческих прихотей, откуда нет возврата. Пусть счастливый таитянин живет всегда так, как он теперь живет! Я нахожу, что, за исключением этого заброшенного уголка нашего земного шара, нигде и никогда не было настоящей нравственности и что, может быть, ее никогда нигде и не будет...

* * *

А. Сколь простым было бы законодательство народов, если бы его строго согласовали с законодательством природы! От скольких заблуждений и пороков был бы избавлен человек!

В. Хотите вкратце узнать историю почти всех наших злосчастий? Вот она. Жил-был естественный человек. Внутрь этого человека ввели искусственного человека. И вот в этой внутренней пещере загорелась гражданская война, длящаяся всю жизнь. То естественный человек оказывается победителем, то его одолевает моральный, искусственный человек. Но и в том и в другом случае бедное чудовище испытывает муки и терзания. Оно постоянно стонет и вечно несчастно,— безразлично, находится ли оно в опьянении, под влиянием ложного энтузиазма славы, или же в угнетенном состоянии, под влиянием ложной мысли о позоре.

Дидро Д. Собр. соч. в 10-ти томах. Academia. М., 1935—1947 гг.

ВОЛЬТЕР



КАНДИД

Отрывки

* * *

...В ожидании ужина им показали город, общественные здания, вздымавшиеся до облаков, рынки, украшенные тысячью колонн, фонтаны чистой воды, фонтаны розовой воды, фонтаны ликеров из сахарного тростника, которые неустанно текли в большие водоемы, выложенные каким-то драгоценным камнем, издававшим запах, подобный запаху гвоздики

и корицы. Кандид попросил показать ему, где у них заседает суд; ему ответили, что этого учреждения у них нет, что в Эльдорадо никого не судят. Он осведомился, есть ли у них тюрьмы, и ему сказали, что и тюрем у них нет. Более всего удивил и порадовал Кандида дворец науки с галереей в две тысячи шагов, уставленной математическими и физическими инструментами...

* * *

...Они провели месяц в этой гостеприимной стране*. Кандид без устали повторял Какамбо:

— Воистину, мой друг, замок, где я родился, хуже страны, где мы теперь находимся. А все-таки здесь нет Кунигунды, да и у вас, без сомнения, осталась любовница в Европе. Если мы поселимся здесь, мы ничем не будем отличаться от местных жителей. А вот если вернемся в наш мир и привезем с собой только двенадцать баранов, нагруженных эльдорадскими камнями, мы будем богаче, чем все короли, вместе взятые. Мы больше не будем бояться инквизиторов и без труда освободим Кунигунду.

Эти рассуждения были по душе Какамбо, люди так любят блуждать по свету, чваниться перед соотечественниками и похваляться увиденным во время странствий, что двое счастливцев решили отказаться от своего счастья и попросить у его величества, чтобы он позволил им уехать.

— Вы делаете глупость,— сказал им король.— Я знаю, страна моя не бог весть что; но где можно прожить недурно, там и надо оставаться. Я, разумеется, не имею права удерживать иностранцев; это тирания, которая противна и нашим обычаям, и нашим законам; все люди свободны; вы уедете, когда захотите, но помните, что выбраться отсюда очень трудно. Невозможно подняться по быстрой реке, по которой вы каким-то чудом спустились и которая течет под сводом скал. Горы, окружающие мое государство, достигают десяти тысяч футов в вышину и отвесны, как стены; в ширину они достигают более десяти миль и обрываются в бездонные пропасти. Впрочем, если вы непременно хотите уехать, я прикажу механикам построить машину, чтобы вас удобно переправить через горы. Но уж дальше на провожатых не рассчитывайте, ибо мои подданные дали клятву никогда не переступать границ королевства и не нарушат ее — они достаточно разумные люди. Не считая этого, просите у меня все, что вам заблагорассудится.

— Мы просим у вашего величества,— сказал Какамбо,— только нескольких баранов, нагруженных съестными припасами, камнями и грязью вашей страны.

Король засмеялся.

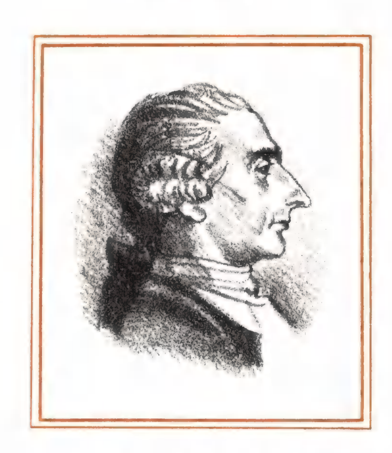
— Не понимаю,— сказал он,— что хорошего находят жители Европы в нашей желтой грязи, но берите ее, сколько хотите, и пусть она пойдет вам на пользу...

Вольтер. Философские повести. М., «Художественная литература», 1978.

---

* Имеется в виду вымышленная страна Эльдорадо.

МОРЕЛЛИ



ЗАКОНЫ О РОСКОШИ

Отрывок

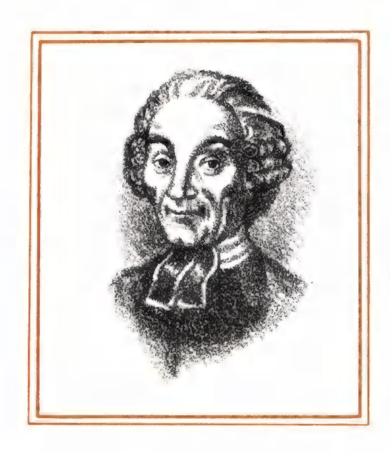
I. Каждый гражданин, начиная с тридцатилетнего возраста, будет одеваться по своему вкусу, но без чрезмерной роскоши. Он будет также кормиться в своей семье, соблюдая умеренность и воздержанность в еде и напитках. Настоящий закон предписывает сенаторам и старейшинам сурово подавлять излишества в этом направлении, подавая в то же время собою пример скромности.

II. От десяти до тридцати лет молодые люди каждой профессии будут носить форменное платье из одной и той же материи, чистое, но обыкновенное и подходящее для их занятий. Каждая корпорация будет отличаема каким-нибудь цветом, соответствующим главному предмету ее труда, или каким-либо другим знаком.

III. У каждого гражданина будет рабочее платье и праздничное, украшенное скромно и к лицу, все сообразно средствам республики и так, чтобы никакое украшение не могло доставить кому бы то ни было преимуществ или особого внимания. Всякое тщеславие будет подавляемо старшинами и отцами семейств.

М о р е л л и. Кодекс природы. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1947.

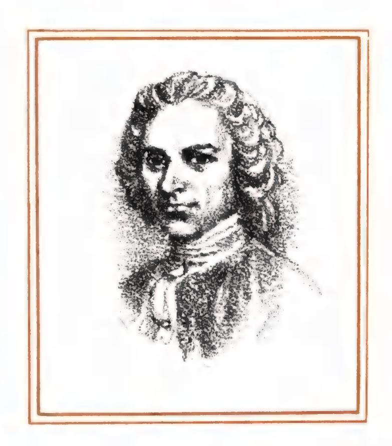
МАБЛИ



Каковы же обязанности законодателя, если равенство более не существует, если граждане разделили землю, если общность благ не может уже быть восстановлена? Он должен подражать кормчему, которого противные ветры повелительно отклоняют от его пути. Он не отдается их ярости, он лавирует, он располагает свои паруса так, чтобы идти в направлении, наиболее приближающем к цели. Страсти, которые порождают собственность, являются в государствах тем же, что ветры на море: нельзя идти против них, они вас увлекут, они вас потопят... Мне кажется, что первая страсть, какую нам дала собственность, это — жадность; если я не ошибаюсь, именно от нее происходят все наши пороки, все наши несчастья... Не пытаясь отнюдь вступать с нею в открытый бой, законодатели должны пользоваться хитростью и искусством. И первое следствие, какое я вывожу из этого положения, состоит в том, что во всяком государстве, где уже установлена частная собственность, на нее следует смотреть как на основу порядка, мира и общественной безопасности. После того как мы отвергли счастье, которое нам предлагала природа, каково было бы наше положение, если бы законодатель не побуждал нас строго соблюдать собственность, в которой люди условились видеть источник и основу их благосостояния. Людям пришлось бы утратить даже видимость счастья, какою они пользовались. Припомните, как несчастны были некоторые древние республики вследствие того, что права собственности не были там неприкосновенными. Ежедневно раздавались там крики народа, который требовал нового раздела земель и отмены долгов; и эти крики служили сигналом к беспорядкам... Вначале был порочным всякий закон, который, ослабляя общность благ, стремился, хотя бы самым косвенным путем, содействовать установлению собственности; наоборот, сейчас будет мудрым всякий закон, который будет стремиться отнять у наших страстей тот или иной способ, тот или иной повод нарушения прав собственности, хотя бы самый веский.

Волгин В. П. Предшественники современного социализма. Хрестоматия. М., 1928.

Ж.-Ж. РУССО



РАССУЖДЕНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ОСНОВАНИЯХ НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

Отрывки

* * *

...Дикий человек, который, блуждая в лесах, не обладал трудолюбием, не знал речи, не имел жилища, не вел ни с кем войны и ни с кем не общался, не нуждался в себе подобных, как и не чувствовал никакого желания им вредить, даже, может быть, не знал никого из них в отдельности, был подвержен лишь немногим страстям и, довольствуясь самим собою, обладал лишь теми чувствами и познаниями, которые соответствовали такому его состоянию; ощущал только действительные свои потребности, смотрел лишь на то, что, как он думал, представляло для него интерес, и его интеллект делал не бо́льшие успехи, чем его тщеславие. Если случайно делал он какое-нибудь открытие, то тем менее мог он кому-нибудь о нем сообщить, что не знал даже собственных детей. Искусство погибало с изобразителем. Не было ни образования, ни прогресса, бесполезно множились поколения; и, так как каждое из них отправлялось от той же точки, то целые столетия протекали в той же первобытной грубости; род был уже стар, а человек все еще оставался ребенком...

* * *

...Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!» и нашел людей достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн, убийств, несчастий и ужасов уберег бы род человеческий тот, кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы себе подобным: «Остерегитесь слушать этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды земли — для всех, а сама она — ничья!» Но очень похоже на то, что дела пришли уже тогда в такое состояние, что не могли больше оставаться в том же положении. Ибо это понятие — «собственность», зависящее от многих понятий, ему предшествовавших, которые могли возникать лишь постепенно, не сразу сложилось в человеческом уме. Нужно было достигнуть немалых успехов, приобрести множество навыков и познаний, передавать и увеличивать их из поколения в поколение, прежде чем был достигнут этот последний предел естественного состояния...

* * *

...В этом новом состоянии, когда жизнь была простою и уединенною, а потребности очень умеренными, и люди уже изобрели орудия, чтобы эти потребности удовлетворять, у них оставалось весьма много досуга, и они использовали этот досуг для того, чтобы доставлять себе разнообразные жизненные удобства, которые отцам их были неизвестны; и это было первое ярмо, которое они надели на себя, сами того не подозревая, и первый источник тех бедствий, которые они уготовили своим потомкам. Ибо, кроме того, что люди продолжали таким образом изнеживаться и телом и духом, удобства эти потеряли, благодаря привычке к ним, почти всю свою прелесть и выродились в настоящие потребности; не столь приятно было обладать этими удобствами, сколь мучительно — их лишиться; и люди чувствовали себя несчастными, потеряв их, хотя они и не чувствовали себя счастливыми, обладая ими.

* * *

...До тех пор, пока люди довольствовались своими убогими хижинами, пока они ограничивались тем, что шили себе одежды из звериных шкур с помощью древесных шипов или рыбьих костей, украшали себя перьями и раковинами, расписывали свое тело в различные цвета, совершенствовали или украшали свои луки и стрелы, выдалбливали с помощью острых камней какие-нибудь рыбачьи лодки или грубые музыкальные инструменты, словом, пока они были заняты лишь таким трудом, который под силу одному человеку, и только такими промыслами, которые не требовали участия многих рук, они жили, свободные, здоровые, добрые и счастливые, насколько они могли быть такими по своей природе, и продолжали в отношениях между собою наслаждаться всеми радостями общения, не нарушавшими их независимость. Но с той минуты, как один человек стал нуждаться в помощи другого, как только люди заметили, что одному полезно иметь запас пищи на двоих,— исчезло равенство, появилась собственность, труд стал необходимостью; и обширные леса превратились в радующие глаз нивы, которые надо было орошать человеческим потом и на которых вскоре были посеяны и выросли вместе с урожаем рабство и нищета.

* * *

...При таком положении вещей равенство могло бы сохраниться, если бы люди обладали одинаковыми дарованиями и если бы, к примеру, использование железа и потребление продуктов питания постоянно находились в точном равновесии. Но соответствие, ничем не поддерживаемое, было вскоре нарушено; самый сильный производил своим трудом больше, чем другие; самый искусный извлекал бо́льшие выгоды из своей работы; самый изобретательный находил способы сократить затраты труда; землепашец мог больше нуждаться в железе, или кузнец — в хлебе; и при одинаковой затрате труда один зарабатывал много, а другой едва существовал. Так, незаметно обнаруживает свое возрастающее значение естественное неравенство наряду со складывающимся неравенством, и различия между людьми, углубляясь в силу различия внешних обстоятельств, делаются более ощутимыми, более постоянными в своих проявлениях и начинают в той же мере влиять на судьбы отдельных лиц.

* * *

...Как не знавший узды дикий скакун вздымает гриву, бьет копытами о землю и яростно отбивается, как только к нему приближаются с удилами, тогда как выезженная лошадь терпеливо сносит и хлыст и шпоры, так и дикарь не может склонить голову под ярмо, которое человек цивилизованный несет безропотно, и предпочитает свободу, полную тревог,

спокойствию порабощения. Не по глубокому падению порабощенных народов нужно судить о естественном предрасположении человека к рабству или против рабства, но по тем чудесам, которые совершали все свободные народы, чтобы оградить себя от угнетения. Я знаю, что первые не устают превозносить мир и спокойствие, которыми они наслаждаются в своих оковах...

Но когда я вижу, что вторые жертвуют удовольствиями, покоем, богатством, властью и даже самою жизнью, чтобы сохранить только это достояние, к которому с таким пренебрежением относятся те, кто его потерял; когда я вижу, как животные, которые рождены свободными и ненавидят неволю, разбивают голову о прутья своей тюрьмы; когда я вижу, как толпы совершенно нагих дикарей презирают наслаждения европейцев и не обращают внимания на голод, огонь, железо и смерть, чтобы сохранить свою независимость, я понимаю, что не рабам пристало рассуждать о свободе.

Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., «Наука». 1969.



МАРСЕЛЬЕЗА

Сочинение Жозефа Руже де Лиля

О, дети родины, вперед!
Настал день нашей славы;
На нас тиранов рать идет,
Поднявши стяг кровавый! (bis)
Вам слышны ли среди полей
Солдат свирепых эти крики?
Они сулят, зловеще дики,
Убийства женщин и детей.
К оружью, граждане! Смыкайтесь в ряды вы!
Пусть крови вражеской напьются наши нивы!

Что нужно ей, орде рабов,
И этих королей союзу?
Готовят стыд своих оков
Они давно уже французу!
Да, то для нас! Какой позор! (bis)

Великий гнев в сердцах пылает:
Кто это заводить дерзает
О нашем рабстве разговор?
К оружью, граждане! Смыкайтеся в ряды вы!
Пусть крови вражеской напьются наши нивы!

Как! Нам предписывать закон
Хотят когорты иностранцев,
И из домов погнать нас вон
Толпы наемных оборванцев! (bis)
Великий бог! Нас заковать!
Ярмо нам наложить на выи,
Чтоб деспоты, тираны злые,
Нам впредь могли повелевать!
К оружью, граждане! Смыкайтеся в ряды вы!
Пусть крови вражеской напьются наши нивы!

Трепещет каждый пусть тиран
С позорною своей толпою!
Пусть замыслы коварных стран
Оплатятся своей ценою! (bis)
Солдатом каждый стал у нас:
Погибнут юные герои,
Земля родит их новых вдвое,
Дабы разбить оружьем вас!
К оружью, граждане! Смыкайтеся в ряды вы!
Пусть крови вражеской напьются наши нивы!

Французы! Ваш высокий дух
У вас потребует пощады
Для тех, о ком есть верный слух,
Что воевать они не рады! (bis)
Не то — кровавый деспот сей,
Буйе сообщники прямые,
Они не люди — тигры злые,
Что рвут грудь матери своей...
К оружью, граждане! Смыкайтеся в ряды вы!
Пусть крови вражеской напьются наши нивы!

Святая к родине любовь,
Веди нас по дороге мщенья,
Свобода! Пусть за нашу кровь
И за тебя им нет прощенья! (bis)
И пусть на твой могучий зов
К знаменам прилетит Победа,
И взор надменного соседа
Увидит Славы к нам любовь.
К оружью, граждане! Смыкайтеся в ряды вы!
Пусть крови вражеской напьются наши нивы!

На тот же путь и мы пойдем,
Как старших уж в живых не будет.
Их прах мы на пути найдем:
Никто их доблесть не забудет. (bis)

Нам лучше, чем их пережить,
За ними вслед сойти в могилы.
Все напряжем мы наши силы —
Хоть умереть, да отомстить!
К оружью, граждане! Смыкайтеся в ряды вы!
Пусть крови вражеской напьются наши нивы!



ÇA IRA!

Когда поют в народе
Ça ira! Ça ira!
Все верят, что приходит
Желанная пора.
Лишь я — наоборот —
Твержу: конец идет.

Да, да, от заблуждений
Очистится народ,
Туманных рассуждений
Излишество стряхнет,
И кончится игра —
Ça ira! Ça ira!

Унылые декреты
Недолго будут жить,
Нескромные обеты
Совсем легко забыть.
Уже близка пора.
Ça ira! Ça ira!

КАРМАНЬОЛА

1

Мадам «Вето»* могла грозить (bis)
Нас всех в Париже перебить, (bis)
Но дело сорвалось у ней —
Все из-за наших пушкарей.
Отпляшем карманьолу!
Славьте гром! Славьте гром!
Отпляшем карманьолу!
Славьте пушек гром!

2

Мосье «Вето» мог обещать (bis)
Отчизне верность соблюдать, (bis)
Нарушено то слово им,
И мы пощады не дадим!
Отпляшем карманьолу и т. д.

3

Мадам «Вето» могла решить (bis)
На з...цу нас уронить, (bis)
Но случай вышел тут иной —
Ей нос расквасили самой.
Отпляшем карманьолу и т. д.

4

Ее супруг победы ждал, (bis)
Он нашу доблесть плохо знал. (bis)
Ступай же, толстый дуралей,
Ты в башню Тампля поскорей!
Отпляшем карманьолу и т. д.

5

Могли швейцарцы обещать (bis)
По нашим родичам стрелять, (bis)
Но поскакать пришлось-то им!
Пуститься в пляс пришлось самим!
Отпляшем карманьолу и т. д.

6

Антуанетта у ворот (bis)
Хотела сделать поворот; (bis)
Пред башней дурно стало ей;
Почета не хватало ей.
Отпляшем карманьолу и т. д.

7

Когда Людовик увидал, (bis)
Что рвы копают, он сказал (bis)
Тем, кто работал: «Господа,
Я чуть не полетел туда».
Отпляшем карманьолу и т. д.

8

Друзей имеет патриот; (bis)
То всей страны честной народ; (bis)
Под грохот пушечной пальбы
Все дружно выйдут для борьбы.
Отпляшем карманьолу и т. д.

9

Средь парижан аристократ (bis)
Всем роялистам друг и брат; (bis)
Они его не подведут,—
Как трусы разом удерут.
Отпляшем карманьолу и т. д.

10

Могли жандармы обещать (bis)
Отчизне помощь оказать. (bis)
И что ж? При грохоте пальбы
Они не скрылись от борьбы.
Отпляшем карманьолу и т. д.

11

Друзья, в согласье мы сильны; (bis)
Врагов бояться не должны. (bis)
Пусть вздумают напасть на нас —
Скакать заставим их тотчас.
Отпляшем карманьолу и т. д.

12

Я — санкюлот! Горжусь тем я (bis)
Назло любимцам короля. (bis)
Марсельский славлю батальон,
Бретонцев наших, наш закон.
Отпляшем карманьолу и т. д.

13

Навек запомнит наш народ, (bis)
Каков в предместьях санкюлот. (bis)
Чтоб наших молодцов почтить,
За их здоровье будем пить!
Отпляшем карманьолу!
Славьте гром! Славьте гром!
Отпляшем карманьолу!
Славьте пушек гром!

* Мосье и мадам «Вето» — король Франции Людовик XVIII и его жена, королева Мария-Антуанетта. Вето *(латин.)* — запрет, отказ.

А. Н. РАДИЩЕВ



ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ

Отрывки

* * *

...Наслаждаясь внутреннею тишиною, внешних врагов не имея, доведя общество до высшего блаженства гражданского сожития, неужели толико чужды будем ощущению человечества, чужды движениям жалости, чужды нежности благородных сердец, любви чужды братния и оставим в глазах наших на всегдашнюю нам укоризну, на поношение дальнейшего потомства треть целую общников наших, сограждан нам равных, братий возлюбленных в естестве, в тяжких узах рабства и неволи? Зверский обычай порабощать себе подобного человека, возродившийся в знойных полосах Ассии, обычай, диким народам приличный обычай, знаменующий сердце окаменелое и души отсутствие совершенное, простерся на лице земли быстротечно, широко и далеко. И мы, сыны славы, мы, именем и делами словуты в коленах земнородных, пораженные невежества мраком, восприяли обычай сей; и ко стыду нашему, ко стыду прошедших веков, ко стыду сего разумного времяточия сохранили его нерушимо даже до сего дня.

* * *

...Не ведаете ли, любезные наши сограждане, коликая нам предстоит гибель, в коликой мы вращаемся опасности. Загрубелые все чувства рабов, и благим свободы мановением в движение не приходящие, тем укрепят и усовершенствуют внутреннее чувствование. Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в разлитии его противиться ему не возможет. Таковы суть братья наши, в узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем. Приведите себе на память прежние повествования. Даже обольщение*

* Автор здесь и далее говорит о восстании Е. Пугачева, выдававшего себя за царя Петра III.

колико яростных сотворило рабов на погубление господ своих! Прельщенные грубым самозванцем, текут ему вослед и ничего толико не желают, как освободиться от ига своих властителей; в невежестве своем другого средства к тому не умыслили, как их умерщвление. Не щадили они ни пола, ни возраста. Они искали паче веселие мщения, нежели пользу сотрясения уз.

Вот что нам предстоит, вот чего нам ожидать должно. Гибель возносится горé постепенно, и опасность уже вращается над главами нашими. Уже время, вознесши косу, ждет часа удобности, и первый льстец или любитель человечества, возникши на пробуждении несчастных, ускорит его мах. Блюдитеся.

Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. М., «Детская литература», 1974.

И. В. ГЁТЕ



ФАУСТ

Отрывки

* * *

«В начале было Слово». С первых строк
Загадка. Так ли понял я намек?
Ведь я так высоко не ставлю слова,
Чтоб думать, что оно всему основа.
«В начале Мысль была». Вот перевод.
Он ближе этот стих передает.
Подумаю, однако, чтобы сразу
Не погубить работы первой фразой.
Могла ли мысль в созданье жизнь вдохнуть?
«Была в начале Сила». Вот в чем суть.
Но после небольшого колебанья
Я отклоняю это толкованье.
Я был опять, как вижу, с толку сбит:
«В начале было Дело» — стих гласит.

* * *

Фауст

О, если мне в тот миг разлада
Был дорог благовеста гул
И с детства памятной отрадой
Мою решимость пошатнул,
Я проклинаю ложь без меры
И изворотливость без дна,
С какою в тело, как в пещеру,
У нас душа заключена.
Я проклинаю самомненье,
Которым ум наш обуян,
И проклинаю мир явлений,
Обманчивых, как слой румян.
И обольщенье семьянина,
Детей, хозяйство и жену,
И наши сны, наполовину
Неисполнимые, кляну.
Кляну Маммона, власть наживы,
Растлившей в мире все кругом,
Кляну святой любви порывы
И опьянение вином.
Я шлю проклятие надежде,
Переполняющей сердца,
Но более всего и прежде
Кляну терпение глупца.

* * *

Фауст

Увы, тебя я не надую.
Я — твой, тебе принадлежу,
Раз обещаю к платежу
Себя и жизнь свою пустую,
Которой я не дорожу.
Чем только я кичиться мог?
Великий дух миропорядка
Пришел и мною пренебрег.
Природа для меня загадка.
Я на познанье ставлю крест.
Чуть вспомню книги — злоба ест.
Отныне с головой нырну
В страстей клокочущих горнило,
Со всей безудержностью пыла
В пучину их, на глубину!
В горячку времени стремглав!
В разгар случайностей с разбегу!
В живую боль, в живую негу,
В вихрь огорчений и забав!
Пусть чередуются весь век
Счастливый рок и рок несчастный.
В неутомимости всечасной
Себя находит человек.

* * *

Фауст

Опять встречаю свежих сил приливом
Наставший день, плывущий из тумана.
И в эту ночь, земля, ты вечным дивом
У ног моих дышала первозданно.
Ты пробудила вновь во мне желанье
Тянуться вдаль мечтою неустанной
В стремленье к высшему существованью.
Объятый мглою мир готов раскрыться,
Чуть обозначившись зарею ранней.
В лесу на все лады щебечут птицы,
Синеют прояснившиеся дали,
Овраг блестящей влагою дымится,
И сонная листва на перевале
Горит, росинками переливая,
Покамест капли наземь не упали.
Все превращается в сиянье рая.

А там, в горах, седые великаны
Уже румянцем вспыхнули по краю.
Они встречают день завидно рано,
А к нам он приближается позднее.
Вот луч сбежал на горные поляны,
Вот он спустился ниже, пламенея,
Вот снизился еще одной ступенью,
Вот солнце показалось! Я не смею
Поднять глаза из страха ослепленья.
Так обстоит с желаньями. Недели
Мы день за днем горим от нетерпенья
И вдруг стоим, опешивши, у цели,
Несоразмерной с нашими мечтами.
Мы светоч жизни засветить хотели,
Внезапно море пламени пред нами!
Что это? Жар любви? Жар неприязни?
Нас может уничтожить это пламя.
И вот мы опускаем взор с боязнью
К земле, туманной в девственном наряде,
Где краски смягчены разнообразней.

Нет, солнце, ты милей, когда ты — сзади.
Передо мной сверканье водопада.
Я восхищен, на это чудо глядя.
Вода шумит, скача через преграды,
Рождая гул и брызгов дождь ответный,
И яркой радуге окрестность рада,
Которая игрою семицветной
Изменчивость возводит в постоянство,
То выступая слабо, то заметно,
И обдает прохладою пространство.
В ней — наше зеркало. Смотри, как схожи
Душевный мир и радуги убранство!
Та радуга и жизнь — одно и то же.

* * *

Фауст

Мой взор был сверху привлечен
Открытым морем в час прилива,
Когда весь берег до обрыва
Затоплен им со всех сторон.
Меня все это укололо.
Царю природы, мне была
Обидна дерзость произвола:
Свободный дух не терпит зла.
Еще и то меня кольнуло,
Что после краткого разгула
Вода, уставши прибывать,
Со слепотой такой же ярой
Очистила за пядью пядь,
Чтобы в свой час прийти опять
Для повторенья шутки старой.

Мефистофель
(к зрителям)

Ну и открытье откопал:
Сто тысяч лет я это знал.

Фауст
(страстно продолжая)

Морское это полноводье,
Подкрадываясь на часы,
Приносит на века бесплодье
Земле прибрежной полосы.
Недолговечно волн злорадство,
Пуста достигнутая цель,
И море очищает мель,
Опустошив земли богатства.
Разбушевавшуюся бездну
Я б властно обуздать хотел.
Я трате силы бесполезной
Сумел бы положить предел.

И тут вопрос простейший самый:
Как ни свиреп воды напор,
Она, смиривши нрав упрямый,
Должна затечь в любую яму
И обогнуть любой бугор.
И я решил: построив гать,
Валы насыпав и плотины,
Любой ценою у пучины
Кусок земли отвоевать.
Вот чем я занят. Помоги
Мне сделать первые шаги.

* * *

Фауст

Я шел всю жизнь беспечно напролом
И удовлетворял свои желанья,

Что злило — оставлял я без вниманья,
Что умиляло — не тужил о том.
Я следовал желаньям, молодой,
Я исполнял их сгоряча, в порыве.
Тогда я жил с размахом, с широтой,
Ну а теперь — скромней и бережливей.
Я этот свет достаточно постиг.
Глупец, кто сочинит потусторонний,
Уверует, что там его двойник,
И пустится за призраком в погоню.
Стой на своих ногах, будь даровит,
Брось вечность утверждать за облаками!
Нам здешний мир так много говорит!
Что надо знать, то можно взять руками.
Так и живи, так к цели и шагай,
Не глядя вспять, спиною к привиденьям,
В движенье находя свой ад и рай,
Не утоленный ни одним мгновеньем!

* * *

Фауст
(ослепленный)

Вокруг меня сгустились ночи тени,
Но свет внутри меня ведь не погас.
Бессонна мысль и жаждет исполненья,
И жив распорядителя приказ.
Вставайте на работу дружным скопом!
Рассыпьтесь цепью, где я укажу.
Кирки, лопаты, тачки землекопам!
Выравнивайте вал по чертежу!
Награда всем, несметною артелью
Работавшим над стройкою плотин!
Труд тысяч рук достигнет высшей цели,
Которую наметил ум один!

* * *

Фауст

Болото тянется вдоль гор,
Губя работы наши вчуже.
Но, чтоб очистить весь простор,
Я воду отведу из лужи.
Мильоны я стяну сюда
На девственную землю нашу.
Я жизнь их не обезопашу,
Но благодатностью труда
И вольной волею украшу.
Стада и люди, нивы, села
Раскинутся на целине,
К которой дедов труд тяжелый
Подвел высокий вал извне.
Внутри по-райски заживется.
Пусть точит вал морской прилив,
Народ, умеющий бороться,
Всегда заделает прорыв.

Вот мысль, которой весь я предан,
Итог всего, что ум скопил.
Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,
Жизнь и свободу заслужил.

Так именно, вседневно, ежегодно,
Трудясь, борясь, опасностью шутя,
Пускай живут муж, старец и дитя.
Народ свободный на земле свободной
Увидеть я б хотел в такие дни.
Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье!
О, как прекрасно ты, повремени!
Воплощены следы моих борений,
И не сотрутся никогда они».
И, это торжество предвосхищая,
Я высший миг сейчас переживаю.

Гёте И. В. Собрание сочинений в 10-ти т. М., «Художественная литература», 1976.

Г. БАБЁФ



МАНИФЕСТ РАВНЫХ

Отрывки

Действительное равенство — главнейшая цель социальной науки.

Кондорсе

Народ Франции!

Пятнадцать столетий влачил ты рабское существование. Рабство — несчастье. Вот уже шесть лет, как задыхаешься ты в ожидании независимости, счастья и равенства.

Равенство! Первое требование природы, насущнейшая потребность человека, главное звено всякой законной ассоциации. Народ Франции! Ты был не в лучших условиях, чем

другие нации, населяющие злополучную землю. Бедный род человеческий всегда и всюду служил игрушкой честолюбцев, более или менее ловких людоедов и добычей любой тирании. Всегда и всюду народ убаюкивали звонкими фразами, но никогда и нигде слово не оправдывалось делом. С незапамятных времен нам лицемерно твердят: «люди равны», и с незапамятных времен унизительнейшее и чудовищнейшее рабство нагло душит род человеческий. Лучшее украшение человечества, призванное таковым с тех пор, как возникло гражданское общество,— равенство,— никогда еще не было осуществлено; оно всегда было лишь красивым и бесплодным вымыслом закона. Теперь, когда мы громко и решительно требуем равенства, нам отвечают: «Молчите, несчастные! Фактическое равенство — химера, довольствуйтесь равенством условным: вы все равны перед законом».

Чернь, что тебе еще надо?

Что нам еще надо? Законодатели, правители, богатые собственники, слушайте же теперь вы!

Мы все равны, не так ли?

Никто не станет оспаривать это положение, ибо только безумец в состоянии серьезно назвать день ночью.

Так вот! Мы хотим отныне жить и умереть в равенстве, в котором родились. Нам нужно равенство действительное или смерть — вот что нам нужно.

И мы завоюем это действительное равенство во что бы то ни стало. Горе тем, кого мы встретим на своем пути к нему! Горе тому, кто захочет противиться нашему требованию!

Французская революция — лишь предвестница другой, более великой и более торжественной революции, которая будет последней.

Народ растоптал королей и попов, соединившихся против него. То же будет и с новыми тиранами, и с новыми политическими ханжами, занявшими их место.

Что же нам нужно еще, кроме равенства прав?

Нам нужно равенство, не только провозглашенное в Декларации прав человека и гражданина, мы хотим его среди нас, под крышами наших домов. За равенство мы пойдем на все, мы все сотрем с лица земли и изберем его нашей путеводной звездой. Пусть погибнут, если это нужно, все искусства, лишь бы только оставалось у нас истинное равенство.

* * *

Что же подразумевается под действительным равенством? Действительное равенство основывается на двух существенных условиях: общем труде и общем пользовании. Необходимое для существования общества условие есть труд, без которого общество погибло бы; люди, уклоняющиеся от труда, совершают несправедливость: они уменьшают народное богатство или сваливают свою работу на других. Система равенства поддерживается двумя вескими соображениями: 1) общий труд увеличит богатство общества, которое при существующем строе может рассчитывать на полезную работу лишь небольшой части своих членов; 2) труд, разделенный между всеми здоровыми членами общества, снимет непосильную тяжесть с тех, на кого она сейчас исключительно падает, а другим достанется в такой слабой степени, что очень скоро станет для всех источником радости и наслаждения. Я не могу понять, как можно считать наилучшим существующий у нас порядок вещей, в то время как огромная масса живет еще хуже, чем в естественном состоянии. Посмотрите на дикаря: охотится ли он, ловит ли рыбу, обрабатывает ли землю, плоды его трудов всегда принадлежат ему, и он спокойно наслаждается доступными ему радостями. Наши же поденщики, наши крестьяне, наоборот, очень далеки от того, чтобы наслаждаться плодами своего труда и пользоваться тем счастьем, представление о котором создает в них наша цивилизация: они принуждены все уступать жадным и ленивым собственникам...

Каждый должен трудиться для государства, этой большой социальной семьи. Взамен трудящиеся будут получать средства к жизни и радости. Это голос природы, в таком государстве равенство не является химерой, свобода каждого прочно обеспечена. Гражданин М. В., говоря об отречении от всех склонностей и желаний, о равенстве пищи сапожника

и артиста, о гибели искусства, как о печальных последствиях системы равенства, ты думаешь доказать нелепость этой системы. Эти возражения доказывают, что ты не свободен от наших старых предрассудков; представлять себе, что возвращение к равенству есть возвращение к дикому состоянию, значит, не понимать сущности равенства. Когда мы хотим положить конец неисчислимым бедствиям и постоянной нужде большинства людей, когда мы добиваемся того, чтобы труд обеспечивал людям спокойное и приятное существование, тогда возражения о вреде самоотречения доказывают или непонимание, или сочувствие тем, кого леность и ненависть к труду делают врагом равенства.

Мнимая гибель ремесла и искусства — вот одно из главных возражений, которые нам делают люди, которые хотели бы заставить всех поверить, что все потеряно, если у них отнять захваченные ими отличия, права и привилегии. Если бы это и случилось, то для массы, которой всегда были чужды интересы искусства, это не принесло бы никаких неприятных изменений. Но бояться этого не приходится, ибо ясно, что при нашей системе равенства и искусство станет общеполезным и получит должное распространение и высшую окраску, соответственную тем великим чувствам, которым несомненно даст пищу великая ассоциация счастливых людей. Граждане будут сыты, одеты, среди всех будет довольство без неравенства, без роскоши; одна республика будет богата, сильна и могущественна.

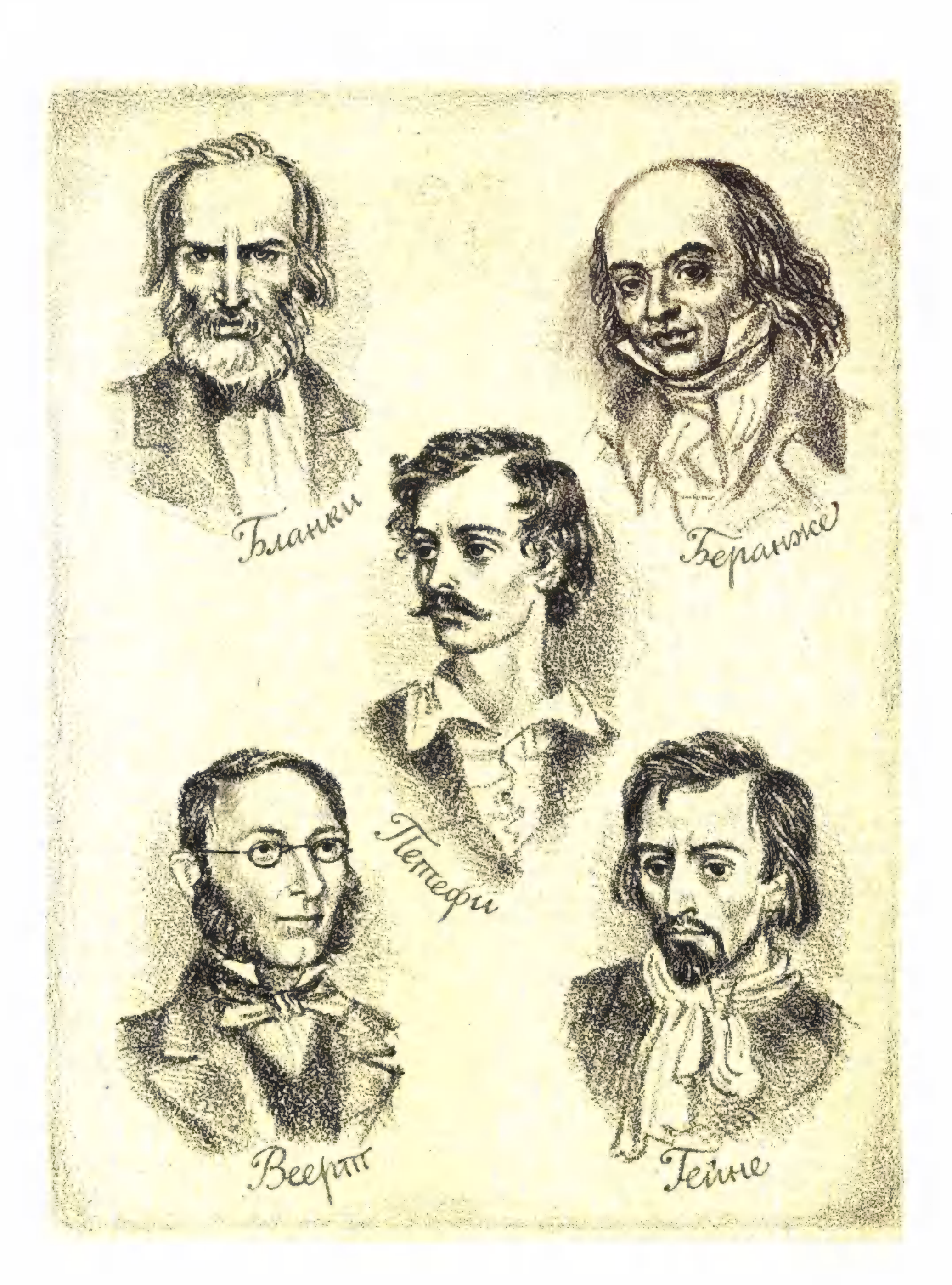
Некоторые ремесла, произведения коих служат забавой нескольким паразитам и набивают деньгами их огромные мошны, уступят, правда, место другим, которые будут служить на пользу всей массе человечества. Но кто же будет жалеть о такой счастливой перемене? Наука и искусство, избавленные от жала вечной гнетущей нужды, будут свободны, и гений, побуждаемый отныне только любовью к славе, сбросивший иго лести и эгоизма меценатов, будет служить только счастью всего общества. Мы увидим, как на смену легкомысленной поэзии, жалкой архитектуре, скучным картинам придут величественные храмы, театры и галереи, где суверенный народ, живущий сейчас хуже наших животных, будет из памятников искусства и философских трудов черпать для себя пример и любовь к мудрости.

Волгин В. П. Предшественники современного социализма. Хрестоматия. М., 1928.




Глава VI
КАНУН


Р. Бернс
У. Блейк
Д. Байрон
Китс
Шелли


Бланки
Беранже
Петефи
Веерт
Гейне

Все, что добыто искусством и наукой на полях красоты и истины,— семенные закрома нового мира.

Р. РОЛЛАН

ЭХО БАСТИЛИИ

Грохот рухнувших стен Бастилии знаменовал победу «делового» —жестокого, беспринципного, алчного класса собственников — буржуа. К небу вознеслись хриплые звуки фабричных гудков. Но не только они. Из самых глубин народного сердца «эхом Бастилии» рвалась на волю, к свету новая могучая и грозная песнь, сулящая гибель тиранам и кровопийцам.

Кровь революций — праведная кровь. На развалинах поверженных, прекрасных идеалов поднимался новый мститель, новый, истинный заступник народа. Революция погибла — да здравствует Революция! Свобода повержена — да здравствует Свобода! Равенство оболгано и попрано — да здравствует подлинное Равенство!

Не сразу, не всем — даже из самых мудрых, самых чистых — дано было угадать новую могучую созидательную силу. Угадать — и поверить, и вдохновить ее на битву. «Бедный, страдающий брат» — так, или примерно так, искренне, не без простодушного высокомерия относились к пролетариату, ко всему трудовому народу утописты начала XIX века.

Но туда, в вулканические толщи народных масс, стремился проникнуть не только скальпель острой социальной мысли, но и светлый луч поэтического воображения. «Эхо Бастилии» мы слышим прежде всего в свободолюбивой, непреклонной поэзии революционного романтизма первой половины XIX века. Оно, это эхо, вызвало к жизни целую плеяду поэтических гениев общемирового значения.

Они сгорали яркими факелами, с недопетой песней на устах. Пожалуй, только Блейк да еще Беранже (самый жизнерадостный из барабанщиков новой революции и новой литературы) дожили до безотрадной старости. Остальные падали, не достигнув сорокалетнего рубежа. Но как же ослепительно, невероятно много они успевали сделать для человечества!

Первую дань уважения и благодарности по праву воздадим РОБЕРТУ БЕРНСУ (1759—1796 гг.), пришедшему в мир на склоне века Просвещения, предвосхитившему крах Бастилии и воспевшему Свободу.

Он лишь календарно принадлежит целиком своему веку. «Поэт-пахарь» (так его называли при жизни) поднял плугом своего огромного дарования такие пласты народной жизни, так глубоко посеял зерна своей мечты, что они до сих пор плодоносят и «рвут обручи» литературных схем, украшая революционную поэзию.

Неунывающий оптимист, труженик, умница, он весь словно соткан из солнечных песен. Здоровая психика, здоровая жизнерадостная мораль его вобрала в себя многовековой опыт «честной бедности», для которой работа — лучшее лекарство, а беззаветная и безусловная любовь — высшая радость. Бернс верит в человека труда. Его непреклонный жизненный принцип — преданность Отечеству, ненависть к гонителям свободы.

«Я... с самого начала, да и поныне желаю нравиться более всего моим собратьям — обитателям сельских хижин»,— гордо заявлял уже обласканный славой Бернс. Она, слава, не тронула ржавчиной его золотого сердца.

Буржуазные «литературоеды», кичащиеся своей мертвой, деревянной ученостью, по сей день пытаются доказать, будто Бернс не более чем «живая свирель», «божье чудо», «интуитивный талант». А чуду можно лишь удивляться или поклоняться... Какая, дескать, там связь с жизнью, с эпохой, с народом!

Великим талантом наградила судьба «славного горского парня» Бернса. Родная земля, народная стихия наградили его зорким взглядом, подсказали точный масштаб видения людей и событий. Бернсу не приходилось подсаживать свою веселую музу на эстетическую вышку античности или библейского величия, чтобы разглядеть, каким должно быть человеческое счастье. Оно было и всегда будет здесь, на родной земле, среди милых сердцу обитателей хижин, на просторах родных полей, в журчании прозрачных ручьев, в шорохе поспевающей ржи.

Ему удалось то, чего не могли постичь его предшественники и современники: увидеть жизнь народа глазами непосредственного участника, хозяина и творца этой жизни. Он не был наблюдателем, не был «человеком со стороны» — вот в чем соль. Короткая жизнь Бернса была полна света и горечи, трудов и романтических приключений. Но ничто не помешало ему пропеть чистую песнь свободе, честности, любви и труду. Он был неколебимо верен своему народу; и потому все народы воздают ему дань своей немеркнущей и неизменной любовью. Обретя Бернса, человечество стало выше, светлее, духовно богаче. Так в который раз подтвердилось: поэт подлинно национальный обязательно становится любимым сыном всех народов земли.

Прокатившиеся по континенту огненные валы восстаний, революций конца XVIII— начала XIX века как бы перетекли потом в кровеносную систему поэзии. Вопреки и наперекор торгашескому духу времени на духовном небосклоне буржуазной и феодально-крепостнической Европы ярким маяком искупления и надежды запылала звезда прогрессивного, революционного романтизма.

Негодование, порыв, жажда свободы, которыми был пронизан романтизм, подвигали людей на сопротивление несправедливому мироустройству. Семена свободы, заброшенные романтиками в души человеческие, приносили (пускай через годы!) свои добрые плоды.

«Активный романтизм,— писал М. Горький,— стремится усилить волю человека к жизни, возбудить в нем мятеж против действительности, против всякого гнета ее».

Прогрессивные романтики были законными и благодарными наследниками гуманизма эпохи Ренессанса, веры просветителей во всемогущество разума. «Героический энтузиазм» Мирандолы и Бруно как бы переживал теперь второе рождение, только цели его существенно изменились в соответствии с духом эпохи. Уже не только о свободе духа шла речь; речь шла прежде всего о социальной свободе, о свободе человека от власти тиранов, от развращающей власти денег, от липкой паутины буржуазности. Гнусной действительности противопоставлялся высокий и светлый Идеал — и человеку надлежало добиваться его осуществления любой ценой, несмотря ни на что. Наперекор и вопреки всему!

И — в одиночку. Романтизм вновь поднял как эталон Человека героическую личность, неизбежно опережающую время и, в сущности, обреченную на гибель. Гибель символическую, возвышенно-прекрасную — во имя Будущего.

Само это будущее рисовалось романтикам очень отвлеченно, сумбурно, субъективно. Их Идеал представлял собою некую смесь руссоизма, патриархальных иллюзий, анархического своеволия и т. п. Соответственно темны и ненаучны их кон-

цепции исторического развития человечества.

Но не ради этих концепций обращаемся мы к романтикам. Они сеяли ветер свободы; он подымал бурю, его порывы били в тугие паруса народного гнева. Духом борьбы — вот чем интересен для нас романтизм, вот чем жив он.

Романтические шедевры покоряют нас силой чувства, завораживают внутренней энергией стиха. «Живое пламя слов» раскрывает, озаряет нам истину красоты — и красоту истины (эта диалектическая формула принадлежит Джону Китсу. Мы чуть позже поговорим о нем).

Романтики шагнули вперед к действительности, к ее треволнениям и сражениям. До подлинной жизни и борьбы было еще далеко. Но лучшие из них прочерчивали пути к реальным, живым людям, к невыдуманным конфликтам, к идеалам, вырастающим из пламени революционных битв.

...Первый камень в здание английского романтизма положил ВИЛЬЯМ БЛЕЙК (1757—1827 гг.) — мечтатель, бунтарь, духовный собрат светлого Бернса.

Его насыщенный символикой стих, как бы продолжающий линию Мильтона, резко отличается от хрустально чистых и простых напевов великого шотландца. И все же поэты эти близки — по духу, сути творчества, по его идейной направленности и насыщенности.

У Блейка хватило смелости и таланта приветствовать крушение Бастилии блистательной, подлинно народной романтической балладой «Король Гвин». Нетрудно увидеть в ней идейную перекличку с «Деревом свободы» Р. Бернса. Но есть в «Гвине» и примечательная особенность: в балладе слышится, нарастая, ширясь, грозная поступь готового на смертный бой восставшего народа. Образа такого масштаба, такой силы мы у Бернса не найдем.

Мечтатель Блейк прочными, хотя и потаенными нитями связан с народными революционными ересями XVII века. Он близок духовно «диггерам»; он готов неустанно подрывать стены неправедного общества, где слышится скрежет «законом созданных цепей», где «чернеют капли детских слез и катафалки новобрачных»... Не правда ли, какие страшные, какие точные слова?

Вообще, «отец романтизма», как его иногда называют, некогда считавшийся то ли безумцем, то ли чудаком, оставил такие стихи, которые надо не просто читать — единожды или трижды, а неспешно вдыхать, не отрываясь, и тогда откроются их глубина и красота. Таков «Тигр» — «светло горящий в глубине полночной чащи», ставший едва ли не эталоном высокого романтизма.

Вот поэтическое кредо В. Блейка:

В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир — в зерне песка,
В единой горсти — бесконечность,
И небо — в чашечке цветка.

Это — философия и истинная Поэзия!

Суров, тревожен, дисгармоничен век Блейка. И эта дисгармония постоянно врывается в его сердце, в его стихи, беспокойные, тревожные, грозные. В них слышатся боль и скорбь, подчас даже безысходность, но никогда — покорность и смирение. Лирический герой Блейка в чем-то сродни гётевскому «Фаусту». Он тоже смело идет на бой за жизнь и свободу. Он проклинает дымные «фабрики Сатаны», «голодный плач со всех сторон». Он верит в победу социального равенства, верит во времена, когда «деревья зимой зацветут, взойдут из-под снега посевы» и воцарятся на земле свобода и справедливость.

Его стихи — как бы стрелы, пущенные в будущее. Он обрел в этом будущем крепких друзей, союзников, учеников: Шоу, Лонгфелло, Уитмена. Пусть через 200 лет (эта годовщина широко отмечалась в 1957 году по решению Всемирного Совета Мира), но «великий молчальник», как и мечталось ему, покорил людей своим честным и весомым словом, своей упрямой верой в «очеловеченного» человека.

Гордым и преданным рыцарем Мечты был гениальный романтик ДЖОРДЖ ГОРДОН НОЭЛ БАЙРОН (1788—1824 гг.).

Судьба титана Прометея, его подвиг во имя людей как бы повторились в короткой и ослепительной жизни мятежного лорда. Он писал о любимом своем герое-огненосце:

Разрушил рок твои мечты;
Но в том, что не смирился ты,

Титан, воитель и борец,
В том, чем была твоя свобода,—
Сокрыт величья образец
Для человеческого рода!

Эти слова поэта о Прометее во многом помогают понять самого Байрона: и его жертвенную преданность идеалу человеческой свободы, и страстное желание все подчинить этому идеалу, включая собственную жизнь.

«Могучий гений, на свое горе, заглянул вперед — и, не рассмотрев за мерцающей далью обетованной земли будущего, проклял настоящее и объявил ему вражду непримиримую и вечную» (В. Г. Белинский). Здесь, в этом трагическом раздвоении, коренится разгадка и пессимизма поэта, и его отчаянного индивидуализма,— но и вместе с тем жгучей ненависти к врагам надежды на подъем духа свободы, океанские волны которого разорвут цепи тирании, раболепия, обыкновенности.

Его сердце наполнялось жалостью, возмущением, негодованием при виде страданий обездоленной, в том числе и пролетарской массы. Он не сумел понять (не пришло еще время), что Прометеи духа должны слиться с массами, возглавить их борьбу — и лишь тогда рухнут давящие стены социального и национального гнета. Но тем не менее мало кто в те времена с такой сокрушительной силой, с таким жгучим сарказмом клеймил власть имущих — за стоны, слезы и муки народа, созидающего роскошь богачам, а горе и нищету для самого себя.

Таковы «Песня для луддитов», «Ода авторам билля против разрушителей станков». Таковы насыщенные стремлением к свободе, к свету грядущего поэма «Бронзовый век», многие главы «Дон-Жуана». Чопорная, лицемерная буржуазная Англия не упустила случая отомстить поэту. Затравленный, гонимый, ненавидимый, он покидает родину. Произнеся гордые и горькие слова — «кто драться не может за волю свою, чужую отстаивать может»,— он едет сражаться за независимость Греции.

Байрон воспел всенародную борьбу Испании против бонапартизма. Он был в гуще движения карбонариев Италии против владычества австрийской короны. Он не мог остаться в стороне, когда народ Греции поднялся против турецких завоевателей.

...В двадцать два года от роду он переплыл Дарданеллы, в тридцать шесть ему оказалось не по силам переплыть вязкий океан обыденности, житейской прозы борьбы... Жизнь не согнула его — она его сломала.

Байрон терзался, метался, отчаивался, видя, как гибнут под железной пятой реакции зеленые побеги свободы. И оттого поэт временами впадал в неподдельную, бездонную «мировую скорбь». Но это не была скорбь безысходности.

Да, понимал он, героизм обречен, жертвен. Выбора нет: или смириться, или пасть в неравной битве. Но поверженный в бою продолжает быть человеком! Не дожить до светлых времен ни Чайльд-Гарольду, ни Манфреду, ни Дон-Жуану, ни Корсару...

Отнюдь не случайно в поэзии Байрона доминирует мотив одиночества, оторванности героя от массы, не созревшей (так оно и было!) до сознательного исторического творчества. Его герои знают: попытки разорвать железное кольцо зла и невежества обречены на провал — и поэтому либо сознательно идут на смерть (Конрад, Гяур), либо отстраняются от борьбы (Чайльд-Гарольд), начинают «вне человечества, в себе лишь жизнь искать».

Сам Байрон иногда пытался искать будущее вне личности и вне человечества, вне его истории — искать в далеком патриархальном, «неиспорченном» прошлом, в девственных дебрях Америки (таков охотник Бун из 8-й песни «Дон-Жуана»). Но все это было неубедительно, неново и, по-моему, не захватывало самого поэта. Да и мы чтим его не за пасторальные картинки грядущего беспечального счастья. Мы чтим человека, который учил умирать за свободу, проповедовал неподчинение порабощающим обстоятельствам: вопреки и наперекор!

По мере возмужания поэзии Байрона в ней все более мощно нарастает торжественная вера в очистительное пламя революции, в праведность народного восстания против угнетателей. Вот только несколько строк из «Дон-Жуана», самого зрелого творения поэта:

...в сущности, лишь войны за свободу
Достойны благородного народа.
Все прочее — убийство!

Или:

Хоть мне война, как правило, претит,
Но только революция, наверно,
Избавит старый мир от всякой скверны!

Или:

Раб должен сам добыть себе свободу!

Несомненно, было бы нелепостью приписывать Байрону мистическое «провидчество»; однако поистине пророческими представляются такие строки о Москве:

Москва, Москва! Пред пламенем твоим
Померк вулканов озаренный дым,
Поблек Везувий, чей слепящий пыл
С давнишних пор к себе зевак манил;
Сравнится с ним огонь грядущих дней,
Что истребит престолы всех царей!

Таким и дорог, и близок нам Байрон — певец «огня грядущих дней», певец «волшебного дара свободы».

Вслед за Байроном рассказ, тоже грустный, о поэте, жизнь которого, подобная волшебной струне, трагически оборвалась совсем рано, оборвалась на самой чистой и сладкозвучной ноте...

Он неудержимо шел от холодного, рассудочного классицизма, от канонизированного идеала Эллады к живой народной жизни. Он шел от романтической «красивой» скорби к деятельному гневу, к деятельному сочувствию страданиям людей, из среды которых происходил. Его звали ДЖОН КИТС (1795—1821 гг.).

Всего пять лет пробыл он в саду поэзии, но сколько неувядаемых поэтических роз удалось ему вырастить! Поэзия Китса — это буйство жизненных сил и красок, причудливая переливчатость образов, безоглядный, но и мудрый оптимизм.

Поначалу он весь как бы в «царстве милых теней». Сквозь призму античного эстетического совершенства смотрит он на изломанный, искалеченный, поруганный, буржуазный мир. И кажется ему Эллада «золотым веком»... Такова первая поэма Китса «Эндимион».

Но честный и чуткий поэт уже слышит звуки битвы, рвется к жизни, к людям и покидает «сад мечты».

Китс пишет «Гипериона» — аллегорическую (в мильтоновской манере) поэму, где провозглашает неизбежность, историческую закономерность победы нового над старым, исторически отжившим. Дряхлые, отяжелевшие титаны низвергнуты юными, могучими олимпийцами. Молодость ликует; она полна жажды преобразования, созидания. Ничто, кажется, не предвещает ей конца.

И вот здесь Китс, сам только что пришедший на шумный пир жизни, поэтически провидит иную неизбежность. Пробьет час — и придут новые силы, грядет новая, более могучая и светлая эпоха!

«Гиперион» — эпическое полотно, расписанное изощренными мифологическими письменами. Путь Китса лежит дальше. Он очарован, пленен Бернсом. В народности чувства, мысли и стиха видит теперь поэт свое творческое будущее. В стихотворении «Робин Гуд» (певучем, легком, безупречном) уже чувствуется, что выбор сделан: «Слава звонкому рожку, слава Робину-стрелку!»

Увы, Китс погиб совсем юным от скоротечной чахотки, пронзенный стрелами буржуазных литературно-критических злопыхателей. Упал в начале пути. Но как прекрасна, как поэтически светла пройденная им короткая дорога надежд и свершений!

И виден круг бессмертья огневой
Над обреченной смерти головой.

Байрон и Китс. Они, каждый по-своему, были одержимы идеей служения народу, но так и не сумели различить в одноликой страдающей массе новую историческую силу, способную и к борьбе, и к созиданию.

Это удалось лишь самому прозорливому из английских романтиков — ПЕРСИ БИШИ ШЕЛЛИ (1792—1822 гг.).

Высокая честь выпала на его долю еще при жизни иметь более всего читателей не в среде респектабельных лицемеров-буржуа, а среди рабочих.

Аристократ по происхождению, Шелли в юности зачитывался Вольтером и Руссо, Дидро и Гольбахом. Восемнадцатилетний поэт с корнем вырывает из своего сердца религию. За это он был изгнан из Оксфорда. Сначала только из Оксфорда. Сначала «только» проклятие отца...

Вслед за Байроном Шелли обращается

к жанру лирико-эпической поэмы. Он пишет знаменитую «Королеву Маб» — поэтический катехизис английских пролетариев. В истории литературы зафиксировано: первая поэма Шелли за 34 года с момента своего появления (то есть с 1813 по 1848 г.) была издана шестнадцать раз тиражом до миллиона экземпляров. Цифра по тем временам просто невероятная!

«Королева Маб» — грандиозная аллегорическая поэма. В ней читатель встречается с феями, летающими человеческими душами и т. п. Но за иероглифами поэтических символов перед нами встает прошлое человечества, его буржуазное настоящее и прекрасное будущее.

Что же видится поэту в прошлом? «Счастливые дикари» вроде байроновского Буна, для которых всего и забот-то — «ешь кокосы, жуй бананы»? Ничуть не бывало! Шелли отвергает реакционные миражи идиллических аркадий, безмятежных утопий. Прошлое темно и кроваво, утверждает поэт. В нем не было и быть не могло никакого «золотого века». Все это выдумки бездельников, боящихся современности, идеализирующих те времена, когда «цари и узурпаторы лихие топтали сапогами миллионы и строили на их костях дворцы...».

Молодой Шелли сумел глубоко постичь теневые, отвратительные стороны капиталистического прогресса. «Все на публичном рынке продается — честь, совесть, добродетели, талант...» Разоблачительные главы «Королевы Маб» по силе своей поднимаются подчас едва ли не до уровня шекспировского «Тимона Афинского».

А что же дальше? Кто сумеет сломить злую «силу злата»?

Народ, и только народ! — отвечает Шелли. Главным героем всей его поэзии, начиная с «Маб», становится восставший на тиранов и собственников трудящийся люд. Он направит корабль человечества к лучезарным берегам всеобщего счастья. Он поставит на службу людям могучие умные машины; он превратит пустыни в сады; он вырвет плевелы эгоизма, алчности, лицемерия и злобы. Новая жизнь, новая братская общность людей неузнаваемо преобразят землю и самого человека, у ног которого будет лежать «послушная в своем разнообразии материя».

Через пять лет, на волне нового мощного подъема рабочего движения в Англии, Шелли создает вторую эпическо-романтическую поэму «Восстание ислама» (1818 г.). Все в ней созвучно «Маб» — и тем не менее это шаг вперед к истинному (не убоимся слова!) пониманию хода истории, ее движущих сил.

Лаон и Цитна, главные герои поэмы,— вожди народного восстания против самодержавия. Их сила — в слитности с народом, в умении возглавить стихийный порыв масс. Они живые люди, им свойственно ошибаться и даже, пусть невольно, творить зло. Однако, утверждает Шелли, «добро, совершенное революционерами, живет после них; зло, созданное ими, погребено с их прахом». Великие, прекрасные слова!

Двух таких ударов, как «Королева Маб» и «Восстание ислама», власть имущие не могли простить дерзкому Шелли. Высокопоставленное ханжество затевает против поэта судебную тяжбу; его... лишают отцовства за то, что он атеист и будет «дурно влиять» на детей! Шелли писал Байрону о целях этого гнусного процесса: «Меня повлекут перед судилищем деспотизма и изуверства и отнимут у меня детей, имущество, свободу, доброе имя за то, что я обличил их обман и бросил вызов их наглому могуществу».

Повлекли. И отняли... Отняли детей и родину, к холодным камням которой поэту уже не суждено было прильнуть пылающими от тоски губами... Другой бы, наверное, сломился, ушел в ту самую «мировую скорбь», разлитую черным пятном и в жизни, и в поэзии. Не таков Шелли! Четыре года изгнания — это четыре года творческого горения. Итог — лирические шедевры мирового значения. Итог — непреходящая любовь народа к «сердцу сердец». (Такие слова начертали на памятнике Шелли, погибшему в пучине моря, его друзья, среди которых был и великий Байрон.)

К чему бы ни прикасался поэт волшебным жезлом своего воображения — все начинало цвести, искриться и петь. Его любовь «сильней, чем смерть», ибо непобедимы силы жизни. Природа в его стихах ликующе светла и бесконечна в своем меняющемся однообразии; она одухотворена, дышит свежестью, исполнена смысла и величия.

Такова и политическая лирика Шелли. В отличие от литературных снобов (и тогдашних, и нынешних) поэт — в гуще политических страстей. И яркое, самородное

слово его отнюдь не тускнеет, прикасаясь к «презренной прозе» гражданских битв. Революционная ода, массовая песня — вот новые формы, в которые отливались его ярость, его ненависть, его нежность и вера. «Песня англичан», опубликованная уже после смерти поэта, стала гимном чартистского движения. В ней мощно отражена мерная поступь уверенных в своей победе творцов истории — пролетарских масс.

Лучшие строки Шелли, словно детонатор, вызывали тысячекратной силы эмоциональный отклик в сердцах простых людей Англии, в сердцах обретающих политический слух и зрение пролетариев. В этом — его непреходящая заслуга. Он погиб, опередив время. Он навсегда остался современником истинных борцов за идеал свободы.

«ПРИЗРАК БРОДИТ ПО ЕВРОПЕ...»

Прошла первая четверть XIX века. Над Европой, покрытой пеплом недавних наполеоновских сражений, простер свои щупальца холодный спрут царственного «Священного Союза». В метельном Петербурге, в декабре 1825 года, безжалостно раздавлена попытка буржуазно-демократического переворота.

Сумерки истории... Все измельчало, потускнело, раздробилось. Казалось, нечем дышать, незачем жить, не за что умирать... В сумерках слышались унылые причитания: мир непостижим в своей мерзости; цветы зла неуничтожимы.

Все переворотилось — ничто не отстоялось, не вызрело, не проявилось. Брожение умов, причудливый хаос идей, взаимопереплетение лихорадочных, фантастических поисков в сфере политической мысли, философии, искусства...

Но уже наливаются новой силой мускулы Истории! Уже слагаются в грохоте фабрик и мастерских, в тихом шепоте заговорщиков с чугунными кулаками новые, лучшие песни о будущем!

На баррикады передовой философской, социальной и художественной мысли восходят новые борцы, новые упрямцы, делающие новые шаги к народу, к реальной жизни и прогрессивному идеалу.

Проснулась, зашевелилась, заклокотала и «преисподняя»! Угнетенный рабочий люд начинает искать выход, искать правду, искать Идею. Пока еще стихийно, в силу самих условий своего социального бытия, он начинает постигать истину истин: пролетариям нечего терять, кроме своих цепей.

И вот уже расплескалось над миром — нестерпимым жаром в глаза! — красное знамя лионских ткачей. Ими же выкован суровый лозунг: «Жить работая или умереть сражаясь».

Путеводная, все объясняющая нить, выводящая из тьмы к свету, нужна сейчас, сегодня, немедленно! И потому проверяется на прочность, на пригодность все то, чего достигла передовая социальная мысль к тому времени. И в первую очередь наследие великих «патриархов социализма»: Сен-Симона, Фурье, Оуэна.

Ни одно из этих учений не могло стать прямым орудием революционной борьбы, ибо все они были пропитаны призрачным духом «примирения классов», сотрудничества бедных и богатых, одинаково завороженных сиянием открытой наконец Великой Истины.

Массы, как известно, лучше всего учатся на собственном опыте. А опыт этот неуклонно убеждал, что проекция блистательных фантазий утопистов на реальную классовую борьбу неминуемо дает негативные социальные результаты.

Так, сен-симонизм постепенно трансформировался в реакционную проповедь некой «гармонической религии». Яростный сен-симонист ПЬЕР ЛЕРУ (1797—1871 гг.), человек талантливый и честный, был слепым орудием этой фальшивой, вредной идеи, якобы призванной повернуть человечество на стезю «праведной» жизни. Сюда, к Леру, корнями уходят лживые и опасные концепции современного «христианского социализма».

Идеи Леру своеобразно перевела на язык художественных образов популярная писательница ЖОРЖ САНД (1804—1876 гг.). Как Шелли в поэзии, она шла от индивидуалистического романтизма к социализму, но, к сожалению, лишь в одном из его «розовых», близких к «гармонической религии», вариантов.

Заслуга Жорж Санд перед литературой состоит в том, что она смело демократизировала ее, ввела в нее нового положительного героя — человека из трудящихся классов. Она возвысила свой голос против со-

словных привилегий и эксплуатации, она талантливо разоблачала буржуазность, присущие самой природе этого класса эгоизм, аморальность, бесчестье.

Увы, Жорж Санд беспомощна и наивна в изображении того, что противостоит этой буржуазности. В знаменитом романе «Консуэло» революционеры-подпольщики намереваются пойти на «завоевание обетованной земли и идеального общества». Что же кроется за этими абстрактными декларациями? Оказывается, все те же проповеди «братства во Христе» и мифического «братства во труде»...

Стихия мелкобуржуазности, ее сумбурная, крикливая идеология захватывает значительную массу и промышленного пролетариата. Неудивительно: ведь большинство рабочих (особенно в молодых буржуазных странах) корнями своими, психологией, привычками сцеплены были с деревней или ремесленничеством. Пролетарии «первого поколения» несли с собой под мрачные своды фабрик весь груз разочарований, иллюзий, недовольства, надежд мелкого собственника. И потому, особенно поначалу, они не вполне воспринимали интересы пролетариата как свои собственные кровные интересы.

В 1840 году почти одновременно вышли три книги, наделавшие много шуму в Европе — и среди «верхних десяти тысяч», и в пролетарской массе. Все три были продиктованы мечтой о благе человечества; две из них написаны с позиций мелкого собственника, третья — утопического социализма. Все три не столько звали вперед, сколько тянули назад. Однако обойти их молчанием в нашем повествовании никак нельзя, хотя и по разным причинам.

ЛУИ БЛАН (1811—1882 гг.), автор «Организации труда», эпигон фурьеризма, вошел в историю с геростратовой славой первого оппортуниста, соглашателя, теоретика «государственного» социализма («луиблановщина» — синоним социал-предательства в трудах В. И. Ленина). Вся концепция Л. Блана базируется на мифической добродетели буржуазного, якобы надклассового государства, помогающего «мирному перерастанию» злого капитализма в «добрый» социализм.

Автором другой книги был один из отцов анархизма, ПЬЕР ЖОЗЕФ ПРУДОН (1809—1865 гг.), «с головы до ног философ, экономист мелкой буржуазии» (К. Маркс).

Главное сочинение Прудона называлось «Что такое собственность?» и начиналось сногсшибательным (хотя и не вполне оригинальным — вспомним Ж.-Ж. Руссо) заявлением: «Собственность — это кража». Однако уже вскоре становилось ясным, что «кражей», в сущности, именуется лишь крупная капиталистическая собственность; напротив, вечной, незыблемой основой прогресса объявлялась мелкая собственность. Недаром в «Манифесте Коммунистической партии» Прудон был отнесен к числу «социалистов», жаждущих сохранить господство капитала, «однако без тех элементов, которые его революционизируют и разлагают».

Крестьянский сын («У меня четырнадцать предков мужиков»,— говорил Прудон с гордостью), он бился за частную собственность мелкого производителя как за идею человеческого счастья. А сам всю жизнь — в тяжких честных трудах, в нужде, в тюрьмах. Это была жизнь, загубленная ради ложной идеи...

Прекраснодушно-утопическим был и «коммунизм», предложенный в третьем произведении — в «Путешествии в Икарию» ЭТЬЕННА КАБЕ (1788—1856 гг.). Многое покажется знакомым в этой книге тому, кто прочтет ее: и традиционно «островная» утопическая фабула, и рецептура счастья для всех. Достаточно лишь доказать людям, убедить единомышленников, что «синяя птица» поймана... В конце жизни, подобно Оуэну, Кабе предпринимает попытку материализовать свою мечту об Икарии и создает со своими сторонниками трудовую колонию-коммуну в США. Конец был предопределен: «золотые сны» развеялись, коммуна развалилась, а сам ее создатель, ее мозг и душа — Кабе — скончался от разрыва сердца...

«Самый популярный, хотя и самый поверхностный представитель коммунизма» (К. Маркс), Кабе остается в истории социализма благодаря своей просветительско-популяризаторской деятельности, благодаря тому, что сохранил до конца дней своих глубокую веру не только в необходимость, но и в возможность преодоления горизонтов собственничества.

Жизнь, суровый собственный опыт (пусть пока еще небогатый и смутный) классовой борьбы лучше всяких социалистических пророков-утопистов учили пролетариев думать свою думу, искать свой путь. На баррикадах, под градом ядер и пуль, все меньше верилось в классовый мир, в «перевоспитание» капиталистов.

Пролетариат продвигался к идее самостоятельной организации, к идее объединения, солидарности, единства действий — сначала в профсоюзах, кооперативах, «рабочих кассах». Затем логика классовых битв выводит пролетариат на арену яростной политической борьбы. Он выдвигает своих лидеров, своих поэтов, предъявляет свои требования к власть имущим.

Так родилось чартистское движение в Англии — первое массовое самостоятельное революционное движение пролетариата. И главное — уже не стихийное, а политически оформленное. В. И. Ленин называл чартизм «предпоследним словом» к марксизму.

«*Политическая власть* — наше средство, социальное благоденствие — наша цель». Таким был главный лозунг чартизма. При всей неопределенности содержания (особенно второй части лозунга) — какой исполинский шаг вперед от всех и всяческих рецептов постепенного, «полюбовного» преобразования общества!

Рабочий класс сразу замахнулся на власть, увидел в демократии один из способов своего развития и самоутверждения. Буржуазная демократия, конечно же, буржуазна по своей объективной природе и границам. И все равно завоевывалась она пролетариатом у буржуазии — часто вопреки ей.

Чартисты сознательно и твердо выдвинули задачу борьбы за создание нового политического строя, хотя и в рамках буржуазной демократии. Преодоление некоторых утопических иллюзий, понимание необходимости создания организации борцов за социализм — это позволило В. И. Ленину сказать, что чартизм «гениально предвосхищает многое из будущего марксизма».

Развитие пролетарского сознания во Франции пошло несколько иным путем. Утопический социализм здесь быстро выродился в постыдный оппортунизм, и потому весь предмарксов этап борьбы пролетариата связан во Франции с революционно-утопическим коммунизмом. «В 1847 году,— писал Энгельс,— социализм был буржуазным движением, коммунизм — движением рабочего класса».

Ненадолго, но возродился на пролетарской почве коммунизм Бабёфа. Возродился, потому что при всех его органических недостатках, при всей неприемлемости его идеала казарменного жизнеустройства нес два последовательно пролетарских лозунга: революция трудящихся и уничтожение частной собственности. Возродился вместе со своею еретической суровостью и склонностью к заговорщической тактике.

Одна из интереснейших личностей революционного утопического коммунизма — непреклонный и неподкупный, как Робеспьер, бесстрашный ОГЮСТ БЛАНКИ (1805—1881 гг.). Имя его впоследствии станет нарицательным: бланкизм — тактика борьбы «путем заговора небольшого интеллигентного меньшинства» (В. И. Ленин).

Бланкизм — полная, радикальная противоположность прудонизму, а вот отношение к пролетарской массе — такое же интеллигентское, недоверчивое, высокомерное: «герои» и «толпа». В конечном счете бланкисты готовили питательную среду для воинствующего мелкобуржуазного анархизма.

«Университетами» самого Бланки были тюрьмы. В общей сложности он провел 43 года за решеткой или на поселении! Его мужество сопоставимо разве лишь с несгибаемым Кампанеллой. Но, вероятно, именно тюремные затворы во многом заслонили от Бланки реальную диалектику жизни, ожесточили его натуру, превратили в «бетон» его политические убеждения.

«Сосредоточенный, нервный, угрюмый... полный невероятной энергии и желчной злобы — он имел большое влияние, опертое на проницательность, на глубокомысленный взгляд и на необыкновенный дар слова» — так писал о нем А. И. Герцен. К. Маркс высоко ценил деятельность Бланки в канун и во время революции 1848 года. Увы, последовавшее затем почти 12-летнее заключение снова физически изъяло Бланки из общественной жизни, прервало его идейную эволюцию.

О. Бланки — сплав мечты и активного революционного действия. «Социализм не-

мыслим без политической революции» — вот его кредо. Из всех статей и сочинений зрелого Бланки явствует: он догадывался, приближался к идее диктатуры пролетариата. Но лишь приближался, не более. Называя себя «практическим социалистом», он не задумывался о содержании и способах деятельности «иного» государства, государства трудящихся. Главное — сломать ненавистную машину угнетения. Бланки как бы повторяет вслед за Наполеоном: «Надо ввязаться в драку — а там видно будет».

Эмпиризм? Несомненно. И все же дело обстоит сложнее. Бланки презирает утопическое гадание на кофейной гуще. Он верит, что массы после завоевания политической власти сами найдут верные пути к созиданию коммунизма. «Революция, расчищая почву, прояснит горизонт,— утверждает Бланки,— укажет дороги, или, вернее, многочисленные тропинки, ведущие к новому общественному порядку».

В сочинениях Бланки мы встречаем еще одну великую догадку или, точнее, предощущение важности одной из сложнейших проблем пролетарской революции — проблемы союза с крестьянством («В будущей Революции я рассчитываю на крестьян»).

И тем не менее наиболее твердые надежды возлагались им на горстку «самых-самых» — преданных, неподкупных, убежденных. Это тоже был утопизм, только практически-политический... Не хватало у Бланки классового чутья, политической дальновидности и разумения «преступить черту», подняться к идее массовой партии. А без нее ядро профессионалов превращалось в кучку «генералов без армии». Красиво, романтично, жертвенно, но в итоге в перспективе не просто бесполезно, а даже вредно для революции, для будущего.

Словно падающие звезды, пронзали набухавший праведным гневом небосвод классовой борьбы 40-х годов все новые и новые теории, концепции, проповеди, лозунги, эксперименты. Пронзали — и быстро гасли, шипя и чадя, дымовой завесой заслоняя духовный взор пролетариата. Но не заслонить истину! Все тверже, все зорче глаз; все увереннее поиск.

Рабочий класс быстро вырастал из кургузого, жесткого сюртука утопическо-сектантских теорий. Повзрослевшее пролетарское движение все острее нуждалось в соединении с научным (не импульсивным, не романтическо-фантастическим!) социализмом.

Ждать оставалось совсем недолго...

СКВОЗЬ ТЕРНИИ — К ЗВЕЗДАМ!

Еще мерцали в сумерках века болотные огоньки прекраснодушных проектов спасения человечества от капитализма;

еще не сносились «гигантские детские башмаки пролетариата» (К. Маркс) — собственно пролетарские, угрюмые и наивные, неуклюжие учения, преисполненные, однако, решимости к борьбе и веры в победу;

еще гремели — в канун кровавых революционных баталий — словесные философские схватки.

Но уже кристаллизовалась, вызревала великая Истина пролетариата!

К ней неудержимо и упрямо шли молодые Карл Маркс и Фридрих Энгельс, шли сквозь дебри противоречивых, однобоких, а то и путаных философских учений, социальных догм, сквозь мутный планктон разрозненных фактов, сквозь кажущуюся непостижимость буржуазных экономических «чудес».

Per aspera ad astra! Сквозь тернии — к звездам!

Марксу и Энгельсу предстояло накрепко спаять чувства, мечты — и достоверное знание; науку — и нравственно-эстетический идеал. А для этого не было иного пути, кроме бесстрашного обращения к объективной реальности, к объективным законам исторического развития.

Идеал становился итогом, суммой, выводом из анализа общественной жизни и ее законов. Он вставал «с головы на ноги», на прочное основание материалистического понимания истории.

В союзе с наукой, с гениальными прозрениями, предчувствиями и догадками лучших умов человечества начинался марксизм — революционная теория, вобравшая в себя все самое лучшее, самое ценное из того, что выработало человечество. Теория, соединяющая точность научного эксперимента, хладнокровие объективности — и трепет нетерпеливой человеческой Мечты. Теория, которой предстояло стать величайшей материальной силой социального прогресса.

...В своем идейном развитии Маркс и Энгельс стремительно прошли все важнейшие ступени духовного роста человечества и уже к двадцати пяти годам сформировались как ученые и борцы нового типа, как идеологи пролетариата.

Ограничимся лишь немногими историко-биографическими и теоретическими фрагментами, имеющими прямое отношение к проблеме идеала в марксизме, к проблеме наследования им прошлых завоеваний передовой человеческой мысли и культуры.

Итак, КАРЛ ГЕНРИХ МАРКС (1818—1883 гг.).

С самого раннего детства — интенсивное накопление знаний («рыться в книгах» — это на всю жизнь останется любимым занятием). Натура одержимая, увлекающаяся, страстная, юный Карл терзается мыслью о выборе пути, о точном соотнесении своих способностей и склонностей с будущим, непременно полезным для человечества, делом. К счастью для людей, ни он сам, ни история не ошиблись в этом важном выборе!

Однако для выбора требуются познания в самых различных областях человеческой культуры. Задача огромная: постичь, выявить потенциальные возможности **всех** (таков юношеский максимализм!) социально-философских и культурно-эстетических концепций, так или иначе пытавшихся ответить на извечный вопрос о смысле жизни, о природе добра и зла.

«Трудиться для человечества» — так формулирует свое кредо юный Маркс в знаменитом «Размышлении юноши при выборе профессии». И продолжает: только на этом пути не страшны никакие трудности, утраты, бремя невзгод, ибо все это — «жертва во имя всех». Ни Маркс, ни Энгельс ни разу, ни при каких обстоятельствах не изменили своему «символу веры», не отступились от него ни на йоту!

Исполнено глубокого смысла, что и Маркс и Энгельс в юности писали стихи. Поэзия не стала делом их жизни, но она, как и мир высокого искусства в целом, была первой школой их убеждений, душой их дела. И не только школой, но и источником творческого вдохновения, родником юмора, смелой фантазии, глубокой иронии. Литература, искусство помогали пробуждению в гениях критического отношения к действительности, ненависти к угнетению и равнодушию. Увлечение искусством оттачивало мысль, обостряло способность целостного восприятия мира, вооружало могучим воображением, пронзающим толщу веков минувших и грядущих.

Самые первые, романтические стихи Маркса и Энгельса наэлектризованы пафосом неприятия пошлой прозы бюргерской Германии. Фантазия уносит их в какие-то очарованные дали, в некое «королевство фей», где каждый счастлив, где «душ согласных единенье всех слило во единый круг», где «не сословное деленье, а любовь царит вокруг»...

Поэтический мир юного Маркса подобен фантастическому кораблику на солнечных парусах. Мечта Маркса улетает к иным мирам, в безмерность космоса...

Но кораблик потом вернулся на землю, к людям. Он постепенно обретал устойчивость, обрастал плотью фактов, становясь могучим кораблем науки. И уже не эфемерное солнечное давление, а ветер истории, гнев миллионов наполнил его красные паруса!

...Поэтический период эволюции Маркса благотворно сказался на формировании его литературного стиля. Маркс обладал безбрежной поэтической душой. Он умел, как никто, «рассудку страсти подчинять» — и в то же время его могучий талант сверкал молниями ослепительных метафор, изящных (или уничтожающих) эпитетов, афоризмов, озаряя шпалеры «скучных строк» образами поистине шекспировской глубины и силы.

Художественное, образное мышление обезопасило Маркса (как в равной мере и Энгельса) от сухой учености, унылого педантизма. А ведь осваивались «монбланы фактов»! Как никто после великих греков, Маркс приблизился к заветному идеалу соединения, слияния, сплава науки и искусства, издревле разорванных безжалостными центробежными силами разделения труда.

По справедливому замечанию Ф. Меринга, «силой и образностью языка Маркс мог поспорить с лучшими мастерами германской литературы».

Ни Маркс, ни Энгельс не вошли в историю как поэты. Но верной спутницей их гения всегда была великая гуманистическая литература, всегда была высокая поэзия.

Сложным и необычайно важным для духовной эволюции Маркса был ее философский этап. После увлечения благородным Кантом, неистовым Фихте Маркс вплотную подходит к мрачно-величественной цитадели философской системы Гегеля и, постигнув все ее тайны, бесстрашно проламывает в казавшихся незыблемыми стенах зияющие бреши. Проламывает, чтобы выпустить на волю могучего, закованного в цепи Прометея — диалектику.

Маркс опровергает и отвергает мнимую завершенность, абсолютность, «окончательность» гегелевской философской системы, в которой, словно пчела в густом клее, увязла диалектика, «поэзия движения материи и духа». Вместе с тем именно Марксу удалось высвободить, вернуть к жизни все до единой животворные капли «нектара истины», собранные великим идеалистом на необъятных нивах знания и жизни.

В критическом преодолении и освоении гегелевского философского наследия неоценимую помощь молодым Марксу и Энгельсу оказал ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ (1804—1872 гг.), истовый и последовательный борец против религии и идеализма. «Огненный поток» (так в русском переводе звучит фамилия философа) развеял бесплотных, эфемерных духов и решительно повернулся к человеку, к живой и трепетной реальности земного бытия. «Все мы сразу стали фейербахианцами»,— признавался позднее Энгельс.

Однако Фейербах не смог выплавить в тигле своей философии прочное оружие реальной борьбы. Кумиры были повержены; однако поставить на их место реальную общественную силу довелось не ему.

Что тому причиной? Трудно сказать однозначно. Конечно, немалую роль в застойности взглядов мыслителя сыграло его многолетнее (более четверти века) деревенское затворничество. Как и для Мелье, деревня стала для Фейербаха «храмом Природы», в блеске которой тают призраки религиозного дурмана. Однако на дворе был XIX век, и уже не сельские петухи, а мрачные фабричные гудки в городах предвещали утро новой жизни. Созерцательность — вот что стало тупиком фейербаховской философской эволюции.

И снова вспомним ленинское: судить о великих прежде всего по тому, что они **дали** нового, ценного для развития человечества. И здесь искрящейся, глубоко проникновенной, истинно поэтической философии человеколюбца Фейербаха — особое место, особая честь, особая признательность. Он принес к подножию пролетарской идеологии зеленую ветвь — преклонение перед человеком; спасибо ему!

...Маркс не соблазнился примером старшего собрата, не уединился в сельском «приюте спокойствия». Перейдя «поток» фейербахианства, он с головой окунулся в море людских страданий, в бушующий океан несправедливости и зреющего гнева. Там, только там, в жизненной стихии,— ключ к будущему человечества!

В истории сохранились слова, сказанные о молодом Марксе одним из его современников в начале сороковых годов: «...Представь себе соединенными в одной личности Руссо, Вольтера, Гольбаха, Лессинга, Гейне и Гегеля — я говорю с о е д и н е н н ы м и, а не механически смешанными — и ты будешь иметь представление о докторе Марксе».

Во всеоружии знаний и таланта Маркс в 1842 году включается в активную политическую борьбу. Главный редактор «Рейнской газеты» вскоре становится лидером демократической оппозиции режиму Фридриха-Вильгельма IV. Журналистская практика все больше приближает Маркса к нуждам и бедам «четвертого сословия», угнетенной массы трудящихся.

Маркс погружается в чтение французской и английской экономической и политической литературы. Он нащупывает нерв современности: капиталистический прогресс противоречив, отталкивающ, безобразен. Но в нем, и только в нем, заключены плодотворные семена будущего, условия для преобразования жизни на гуманистических началах. А друзья — либералы и радикалы, напичканные романтической фразеологией, проклинают прогресс, бичуют его язвы, но... вместе с водой выплескивают и ребенка. Они зовут назад, к патриархальности, к средневековью, то есть к интеллектуальному и социальному застою, к «частичному человеку», место и роль которого навсегда расписаны в иерархии сословий...

А если «назад, к Элладе»? Возмужавший Маркс по-прежнему чтит греческий

идеал, но теперь еще глубже понимает невозвратимость исторически изживших себя социальных форм. В будущем духовные завоевания греков войдут органическим и необходимым элементом в культуру человечества, освобожденного от эгоизма, религии и собственности. Но лишь элементом и н о г о социального целого.

Тогда, быть может, истина — на стороне утопистов? Они глубоко правы (особенно Сен-Симон), предрекая расцвет истории впереди, а не позади прогресса промышленности и культуры. Однако пути и способы движения к социалистическому будущему, предлагаемые «патриархами» и особенно их незадачливыми учениками, с самого начала вызывают сомнения. Более того — неприятие. Очень уж легко и просто приходит всеобщее счастье в утопиях, в мечтах: не оттого ли бессильна самая Великая Мечта?

Кто-то должен дать ей крылья. Кто-то должен встать грудью против старого мира. Восстать и утвердить знамя Мечты! Если... Если старый мир действительно стал «неразумным», достойным гибели и для гибели созревшим.

Маркс идет единственно верным путем — путем уяснения объективных закономерностей социального прогресса, выявления объективной необходимости социальной революции, обнаружения ведущего фактора современного ему общественного развития. Этапы на этом пути — освоение работ по истории борьбы классов (Тьерри, Минье, Гизо), литературы, где дана острая критика буржуазных отношений собственности (прежде всего Фурье).

И конечно же, непосредственное общение с пролетариями. Лишь тогда молния теории ударила точно в древо жизни и «расколдовала» тайну прогресса. «История готовит из этих «варваров» нашего цивилизованного общества,— пишет Маркс Л. Фейербаху 11 августа 1844 года,— практический элемент для эмансипации человека». Пролетариат — вот материальная сила, которая претворит мечту человечества в реальность.

«Подобно тому как философия находит в пролетариате свое м а т е р и а л ь н о е оружие, так и пролетариат находит в философии свое д у х о в н о е оружие» (К. Маркс).

Знаменательно: в этот волнующий миг прозрения они встречаются — Карл и Фридрих. Встречаются, чтобы никогда более не расставаться, идя по жизни рука об руку. Их дружба станет высочайшим в истории образцом нежного, бескорыстного, на глубокой идейной и нравственной общности основанного братства людей. Земные пришельцы из будущего, они и личным примером своим показали, каким может быть будущее, в котором каждому захочется жить.

Молодые Маркс и Энгельс поднялись к вершинам принципиально нового взгляда на мир, на будущее. Они выработали истинный лозунг борьбы для всех истинных мечтателей, для всех настоящих радетелей за Человека: «Философы лишь различным образом о б ъ я с н я л и мир, но дело заключается в том, чтобы и з м е н и т ь его» (К. Маркс).

Это был поистине коперниковский переворот во всей системе взглядов на прошлое, настоящее и будущее человечества. Это было, говоря словами самого Маркса, «возвращение человека к самому себе», истинное очеловечивание всей социальной перспективы. На века и на века вперед — с точки зрения Мечты, с точки зрения последовательного и активного гуманизма. Того гуманизма, который есть живая душа, горячее сердце марксизма, пылающее, как сердце горьковского Данко, любовью к Человеку и священной ненавистью к угнетению и подавлению личности.

Молодые Маркс и Энгельс настойчиво искали ответ на жгучий вопрос: что б у д е т после революции пролетариата? Ответу еще предстояло обрастать «мясом» научных фактов, социальной практики, прогнозов, знаний. Но потрясает то, что уже в 1844 году он был правильным. Имя ему — коммунизм.

Не умозрительная схема, в соответствии с которой перестраивается мир; коммунизм — закономерный продукт развития человечества, результат действия законов капитализма, следствие неизбежной и острой классовой борьбы пролетариата против буржуазии, процесс — бесконечный и прекрасный — пересоздания жизни общества на подлинно творческих и гуманистических началах.

Посвятившие всю свою жизнь делу возвышения и просветления умов рабочего класса, делу борьбы против всяческих

отравителей духовных колодцев, основоположники марксизма не уставали повторять и повторять: коммунизм — не догма, не свод инструкций и прогнозов на будущее, не отмычка от дверей «земного рая».

Если говорить о названии нового, вызревшего в сознании Маркса и Энгельса учения, то почему коммунизм, а не социализм?

Социализм был чудовищно скомпрометирован тогдашней своею фантастической утопичностью, своим безволием, капитулянтством перед буржуазией.

Тогда коммунизм... Но в грубом, уравнительском своем варианте он тоже был неприемлем — и угрюмой враждебностью культуре и цивилизации, и застойностью, неподвижностью, и своим недоверием к человеку, отрицанием самоценности творческой личности.

Но все-таки коммунизм!

Понятие коммунизма содержало точные критерии цели пролетарской революции, главнейшие слагаемые идеала: уничтожение частной собственности, диктатура пролетариата в период перехода от капитализма к новому обществу, установление общественного самоуправления.

Маркс и Энгельс перешагнули через ограниченность, замкнутость идеала и уравнителей и утопических социалистов. Идеал для них — это движение к высшему состоянию общества, движение, не имеющее некоего предела как фазы неподвижного, «вечного», регламентированного счастья. Покоя — нет. Предела — нет! Коммунизм как теория доказывает бесконечность и безграничность расцвета личности в условиях свободы, строго научно определяет средства достижения новых, все более высоких стадий социального развития.

Приведем в этой связи две формулы коммунизма, одна из которых принадлежит Марксу (1844 г.), а другая — Энгельсу (1845 г.).

Формула Маркса гласит:

«Коммунизм как положительное упразднение частной собственности — этого самоотчуждения человека — и в силу этого как подлинное *присвоение* человеческой сущности человеком и для человека; а потому как полное, происходящее сознательным образом и с сохранением всего богатства предшествующего развития, возвращение человека к самому себе как человеку *общественному*, т. е. человечному. Такой коммунизм, как завершенный натурализм, = гуманизму, а как завершенный гуманизм, = натурализму; он есть *действительное* разрешение противоречия между человеком и природой, человеком и человеком, подлинное разрешение спора между существованием и сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом. Он — решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение».

В этих словах могучим разумом Маркса спрессована социально-философская и гуманистическая *сущность коммунизма*.

Как в цепочке молекул ДНК закодирован будущий живой организм, так в Марксовой разгадке «сфинкса» истории мы обнаруживаем плодоносную завязь не мифического, но закономерно вырастающего в муках человеческих прекрасного будущего.

«Он знает, что он есть это решение!» Фатальный, еще вчера непостижимый разумом рубикон мечты был наконец перейден.

Жребий брошен! Предстояли еще долгие годы кровавых и бескровных битв, поражений и побед, борьбы за умы и борьбы против безумия. Однако верное слово было найдено; верный путь обозначен: превращение теории в сокрушительную материальную силу путем соединения ее с нарастающим рабочим движением.

Как и всякий генетический код, формула Маркса непроста для популярного истолкования. Строго говоря, ее можно усвоить целиком, лишь усвоив... все учение марксизма, все стороны и составные части научного коммунизма. И было бы непростительным легкомыслием перелагать, «переводить» Маркса на язык популярного комментария.

Единственный (хотя, наверное, и не бесспорный) путь — пригласить в переводчики другого классика, молодого Энгельса. Вот его формула коммунизма:

«Речь идет о создании для *всех людей* таких условий жизни, при которых каждый получит возможность свободно развивать свою человеческую природу, жить со своими ближними в человеческих отношениях и не бояться насильственного

разрушения своего благосостояния... Мы вовсе не хотим разрушать подлинно человеческую жизнь со всеми ее условиями и потребностями, наоборот, мы всячески стремимся создать ее».

На первый взгляд поразительное несходство, небо и земля. Все разное: стиль, терминология, уровень обобщений, глубина загляда в будущее. А противоречия нет! Ибо что есть «присвоение человеческой сущности человеком и для человека», как не «возможность свободно развивать свою человеческую природу»? Что есть «завершенный гуманизм = натурализму», как не стремление создать для всех людей «подлинно человеческую жизнь со всеми ее условиями и потребностями»? Иначе — жизнь, достойную Человека, и Человека, достойного новой, человеческой жизни!

Говорят, что все гениальное — просто. Но вряд ли найдется в любой области познания, в любые времена простота, подобная гениальному открытию Марксом и Энгельсом природы и начал коммунизма.

Их программа обновления мира потрясает земной, прямо-таки осязаемой реальностью. «С сохранением всего богатства достигнутого развития» — это значит на фундаменте имеющейся материальной и духовной культуры: человеческого опыта, промышленности и науки, здоровой трудовой морали. «Возвращение к человеку общественному» — это такая перестройка общества, когда на место враждующих индивидов придет ассоциация свободных и равноправных людей, имеющих неограниченные возможности для развития своих интересов и способностей, для удовлетворения всех материальных и духовных потребностей.

Решительно отвергая уравнительность как вариант всеобщего счастья, Маркс и Энгельс в качестве наиглавнейшего условия построения коммунизма выдвигают всестороннее развитие производительных сил. Вне и помимо этого «имеет место лишь всеобщее распространение бедности; а при крайней нужде должна была бы снова начаться борьба за необходимые предметы и, значит, должна была бы воскреснуть вся старая мерзость».

Учение Маркса всесильно, потому что оно верно, потому что оно глубоко человечно, ибо целиком подчинено идеалу развития личности в соответствующих социальных обстоятельствах. «Человек — высшее существо для человека». Или, как позже скажут Маркс и Энгельс, коммунизм — это «ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех».

ЭОЛОВЫ АРФЫ

Приближался мятежный 1848 год. Слышалось уже грозное клокотанье надвигающейся народной бури. Пролетариату, его лучшим сынам, его вождям предстояло впервые помериться силами со своим главным классовым врагом. Предстояло проверить в жарком пламени сражений жизнестойкость и реальную пригодность для борьбы за будущее всех и всяческих теоретических разновидностей социализма и коммунизма.

Над Европой во весь могучий рост вставал красный призрак в рабочей блузе. Ему как воздух нужна была организация, вооруженная передовой теорией, ясной и цельной программой действий. Задачей задач была борьба за пролетарскую массу, за отрыв ее от всякого рода сектантов, «знахарей»-псевдосоциалистов, за повышение ее политической зрелости и активности.

Задача труднейшая! Объединить и сплотить массу — а она еще во власти роковых сил застоя, разобщения, духовного оцепенения. Слишком немногие «выварились» в «фабричном котле»; большинство переполнено горечью, гневом, негодованием — но живет и мечтает, оглядываясь назад, на собственный клочок земли, или мастерскую, или лавчонку...

Что можно было противопоставить этой стихии косности, мелкобуржуазных иллюзий, что выдвинуть против организованной машины реакционных государств?

Прежде всего силу пролетарской организации и силу правды, помноженную на силу слова.

«Я знаю силу слов, я знаю слов набат...» Так могли бы сказать и Маркс и Энгельс. Пламенные публицисты, блестящие знатоки литературы, они знали, что подлинное искусство способно всколыхнуть все лучшее в человеке, возвысить его над обыден-

ностью, подвигнуть к творчеству, деянию, борьбе.

С момента зарождения в недрах феодализма буржуазных отношений гуманистическое искусство во весь голос заявило о неприятии циничного торгашества. Вспомним еще раз горькие строки Шекспира, Сервантеса, Байрона...

Однако Денежный Мешок — этот «рыцарь» без совести и чести — дорвался до власти, утвердился надолго. И ему понадобилось окропить (и закрепить) свою победу «святой водой» искусства.

«Кто платит, тот и заказывает музыку». Ваш товар (то есть потенциально доходные сочинения) — наши деньги. Разумеется, и в литературе и в искусстве нашлись ремесленники, готовые на все ради корысти, ради карьеры. Начался долгий, все обостряющийся и углубляющийся процесс разложения нравственности, растления человеческих душ, началась культивация (и средствами искусства тоже!) безудержного эгоизма, бездуховности, цинизма, бессердечия и насилия...

Но, к чести подлинной литературы и искусства, не все служители муз покинули поэтический Олимп и помчались на поклон маммоне. Совесть, душу подлинного искусства и теперь олицетворяли непокорившиеся: прозаики, поэты, композиторы, художники, исповедующие демократическо-гуманистические взгляды; творцы, искусство которых корнями своими уходило в плодородные пласты народной психологии и морали.

Они становились союзниками пролетариата и его партий в борьбе против неправедного общественного устройства.

Однако союзник — еще не соратник. Гуманизм многих субъективно честных мастеров литературы и искусства был по преимуществу гуманизмом буржуазным — с его признанием абсолютной свободы изолированного индивида, с его скрытым или явным недоверием к простонародью, «толпе», «обывателям» и т. п.

Помочь литературе и искусству повернуться лицом и сердцем к народу, к пролетариату — в этом видели одну из важных своих задач Маркс и Энгельс. Вот почему они так зорко замечали, так энергично поддерживали каждый живой побег подлинно демократической литературы, каждое радикальное выступление за интересы трудящихся, каждое проявление искренней приязни и любви к народу в произведениях современного им искусства.

Истинный художник, подчеркивали Маркс и Энгельс, творит свободно и бесстрашно, по велению своего сердца и совести. Маркс совершенно определенно заявлял: писатель ни в коем случае не должен существовать и писать для того, чтобы зарабатывать.

Тут возникает сложный вопрос, который сумели, опираясь на диалектико-материалистическую философию, разрешить классики марксизма. Вопрос может быть сформулирован так: а не появится ли у того или иного художника соблазн (и желание) укрыться от грохота мирских бурь в утопическом царстве грез, чтобы там, в мире теней, «свободно» ткать призрачную паутину субъективных фантазий?

Такая опасность, такой соблазн есть. Они стали реальностью в концепциях и практике искусства для искусства, буржуазного модернизма и формализма.

Решительно иначе представляли себе творческую свободу Маркс и Энгельс. Своеволие, каприз, даже неучастие в торгашестве неспособны освободить творческую личность от цепей старого мира. Неучастие, пусть и вопреки личному желанию художника, вполне может быть формой служения этому отвратительному и мерзостному миру. Свобода начинается с участия — искреннего, честного — в судьбе обездоленного народа, в борьбе за высокие идеалы гуманизма.

Джордано был свободен в своем выборе: отречься от неугодных церкви взглядов или взойти на костер. Мы знаем, что он предпочел. Величие трагической гибели Бруно в том, что он принес в жертву существованию Истины свое личное существование.

В противовес буржуазному принципу якобы неограниченной, элитарно-эгоистической свободы творчества Маркс выдвигает принцип действительно свободного служения народу.

Юноша Маркс создал поэтичную метафору революционного искусства: «Обыкновенные арфы звучат в любой руке; эоловы арфы — лишь тогда, когда по их струнам ударяет буря». У зрелого Маркса эта метафора наполняется конкретным революционным содержанием.

Теперь самое время вслушаться в звонкие песни одной из самых чистых эоловых арф демократической поэзии XIX века, в песни ПЬЕРА ЖАНА БЕРАНЖЕ (1780—1857 гг.).

Слава довольно быстро пришла к талантливому поэту. Пришли и вечные спутники ее — соблазны: гонорары, перспективы близости к «сильным мира». Беранже, однако, равнодушен к славе, богатству, синекурам, карьере. Превыше всего он ценит близость к простым людям, к народу, питавшему соками веселья и трудолюбия жизнерадостную музу поэта.

Всю жизнь Беранже постигал народную душу, самые сокровенные черты и качества национального характера. По его убеждению, бесполезно искать драгоценные зерна человеческой души в изысканных салонах или сверкающих золотом гостиных богачей. «Народный инстинкт» (выражение самого Беранже) безошибочно вел его за золотыми россыпями достоинства, благородства и оптимизма на чердаки и в таверны — к беднякам, труженикам, парням буржуазного мира. Если Бернс воспел красоту и величие души крестьянина, то Беранже — певец городских мансард, городского плебса, первым идущего на баррикады.

Тот же народный инстинкт, помноженный на необычайное поэтическое дарование, выводит Беранже (причем дважды) к барьеру политической дуэли не с кем-нибудь — с королями Франции! Дважды сажал его в тюрьму Карл X — бурбон из Бурбонов. Да только можно ли упрятать за решетку народ и Мечту? Беранже пророчески предсказал революцию 1830 года и низложение «короля-карлика».

Герои Беранже — люди с высоко поднятой головой, гордые, независимые, сознающие свою силу. Это вовсе не «сюсюкающие», вызывающие снисходительную жалость убогие герои дна Эжена Сю. И даже не романтизированные альтруисты типа беглого каторжника Вальжана у В. Гюго («Отверженные»). У Беранже всегда главным положительным героем является народ.

Беранже разделял с народом и радости побед, и горечь поражений, и неизбежные иллюзии. Такими были поначалу иллюзии бонапартизма: о, слава и величие любезного отечества!.. Такими после воцарения буржуазной монархии в июле 1830 года были утопическо-социалистические иллюзии мирного переустройства несправедливого общества. Может быть, безумцы спасут этот безумный мир...

Но рухнут иллюзии, и вся сокрушающая сила сатирического таланта Беранже будет мобилизована на разоблачение толстосумов, финансовых акул — этих новых разбойников, грабящих народ и отечество.

О, как чванливы, как жирны
Вы, слизняки моей страны!

Ненависть пополам с брезгливостью; сколь безошибочно выражено поэтом истинно народное ощущение мерзости происходящего! Но отсюда — уже шаг до революционных баррикад. И вот в канун 1848 года Беранже пишет песню «Потоп», вновь точно предсказывая бурю народную!

Немало можно было бы сказать об ошибках Беранже (особенно позднего), об ограниченности его воззрений... Да, было: и примиренчество, и скепсис, и старческое брюзжанье. Но было — и прошло, а главное осталось: дух неунывающего весельчака Беранже, согревающего сердца людей «вином надежд, а не пустыми снами».

Остался поэтический подвиг: превращение песни в грозное оружие политической борьбы за интересы народа. Политикой Беранже была правда бедняка, плебейская непримиримость ко злу и фальши, к угнетению и насилию.

Политика Беранже — это и его неистощимая, чувственно-прекрасная радость земного бытия, радость бескорыстной любви, преданной дружбы.

Он отдал людям труда свое сердце — честное и чистое, огромное и бесхитростное. Песни его и поныне поет трудовая Франция. Да и только ли она?

От Беранже прямые пути духовного родства идут к поэтам Парижской коммуны, к Э. Потье, к российским разночинцам-демократам, к поэзии Великого Октября.

И сегодня мы вправе адресовать ему его собственные пророческие слова:

— Смотри, твои друзья к тебе собрались ныне —
Ты не умрешь для них и будущих веков.

...1848 год. Дрожат и рушатся троны. На новые баррикады восходит Свобода. Только теперь самые верные сыны ее одеты в пролетарские блузы. Одной трусливой дрожью содрогаются и аристократы, и буржуа. Одной черной нитью плетут они тайный сговор: усмирить чернь! Раздробить, распылить силы народа! Загнать взбунтовавшихся рабов обратно в голодное стойло!

В эти исторические дни яростно и тревожно гудят эоловы арфы революционной поэзии. Они призывают людей труда на поле брани. Они приветствуют всякую новую попытку разорвать железные цепи рабства.

В славном ряду поэтов, посвятивших свое творчество, всю свою жизнь без остатка борьбе за освобождение человечества, особое место принадлежит гениальному сыну венгерского народа ШАНДОРУ ПЕТЕФИ (1823—1849 гг.).

Как лермонтовский Мцыри, «он знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть». Этой огненной страстью была мечта о счастье и свободе родины, влачившей двойное ярмо порабощения: чужеземных захватчиков и собственных кровососов. С выходом Ш. Петефи на арену поэзии из горла нации вырывается уже не глухой хрип, но грозная и торжествующая песнь борьбы и надежды.

Есть глубокий смысл в том, что народная стихия Франции выдвинула Беранже, а революция в Венгрии — Петефи.

«Орудийный грохот Июльской революции был отзвуком песен Беранже» — так понимал предназначение поэта-бойца юный Шандор. Беранже был для него самым близким по духу, «первым в мире» поэтом. Г. Гейне сказал о самом Петефи удивительно точно: «Петефи — поэт, с которым могут сравниться только Бернс и Беранже... такое поразительное здоровье и простота...»

Однако сходство — далеко еще не тождество. Натура Петефи жаждала не только революционного творчества, но и действия. Он бестрепетно шагнул в огонь за честь отчизны. Шагнул не обреченным одиночкой, но вместе с народом, во главе самых передовых сил народа.

Петефи — и поэт революции, и вождь ее. Он увлекал за собой восставших пештцев 15 марта 1848 года на штурм имперско-бюрократической Буды. В одной руке — сабля, в другой — перо; в первые же дни революции он обращается к народу с ликующей «Национальной песней», этой венгерской «Марсельезой». Первый типографский оттиск листовки с текстом песни сделан самим Петефи.

Он пал в числе последних в неравной схватке с объединенными силами европейской реакции. Могила его неизвестна доселе. Его мавзолеем стала вся Венгрия. Личная биография поэта целиком совпадает с биографией революции!

Петефи — это «крестьянский Шиллер», для которого право народа на восстание против тиранов безусловно. Несомненным было для него и то, что свободу не выпрашивают, что «пора подходить к трону не с бумагой, а с саблей в руке».

Муза Петефи не знает жалости и сомнений, когда речь идет о тирании:

Мечтаю о кровавых днях я,
Они разрушат все на свете,
Мир сотворят, чтоб нов и светел!

Каким же будет «новый и светлый мир»? Петефи не успел поразмышлять об этом, не успел познакомиться с разнообразными планами, проектами, версиями будущего. Одно знал твердо, непреклонно: не будет угнетателей; не будет грабителей-богачей; не будет тиранов.

Не бойся, бедный добрый люд!
Все ближе он, счастливый час.
Страдали встарь вы, бьетесь нынче,
Зато грядущее — для вас!

...Именно о таких преданных и бескорыстных бойцах, о таких союзниках на будущих баррикадах, как Шелли, Беранже, Петефи, мечталось Марксу и Энгельсу.

Но еще более страстно мечталось о соратниках по борьбе, о собратьях по классу, отдающих всю звонкую силу поэта историческому делу пролетариата. И потому как первым ласточкам — добрым вестникам весны, радуются они каждому проявлению нового, революционного по своей сути, эстетического отношения к действительности.

Молодой Маркс видел один из ростков новой литературы в революционной песне силезских ткачей «Кровавая расправа», которая стала знаменем восстания 1844 года. В этой песне, пишет Маркс, «пролетариат

сразу же с разительной определенностью, резко, без церемоний и властно заявляет во всеуслышание, что он противостоит обществу частной собственности».

Молодой Энгельс в своей работе «Положение рабочего класса в Англии» приводит целиком стихотворение поэта-чартиста Э. Мида «Король-Пар» и заключает, что оно «верно передает господствующее среди рабочих настроение». А настроение это, ни много ни мало, таково: «Так долой короля, палача-короля!» И далее: «...Да покатится в пропасть на дно раззолоченный сброд тунеядцев-господ и жестокий их бог заодно!»

Вместе с тем Маркс и Энгельс отдавали себе отчет в том, что создать настоящую, большую литературу, способную полнокровно и ярко выразить чаяния трудящихся, и, главное, вдохновить их на борьбу, по плечу только людям огромного дарования, высокой культуры, передового мировоззрения.

История сохранила бесценные документы и свидетельства терпеливой, настойчивой заботы Маркса и Энгельса о политическом и творческом возмужании целой группы талантливых немецких поэтов, тянувшихся к пролетариату, сумевших увидеть в нем грозную общественно-преобразующую силу.

Первым и самым значительным поэтом немецкого пролетариата назвал Ф. Энгельс ГЕОРГА ВЕЕРТА (1822—1856 гг.). Он был дружен с Марксом и Энгельсом до самой своей смерти (Веерт умер от желтой лихорадки в Гаване в возрасте 34 лет). До самой смерти он служил колючим своим пером рабочему классу.

Эволюция таланта Г. Веерта — свидетельство плодотворного воздействия передового мировоззрения на поэта, а также осознанного, свободного (по велению совести и разума) служения передовой, пролетарской партии.

Политической поэзии Г. Веерта присущи были простота, естественность, близость к народной песенной стихии. Он любил и ненавидел искренне, открыто, жадно. Любил свой народ — и ненавидел его захребетников, этих тупых и чванливых «Шнапханских» (так звали «героя» серии веертовских фельетонов в революционной «Новой Рейнской газете» Маркса). Любил рабочих и верил в их победу; ненавидел поэтическое пижонство, выспренность, прекраснодушие либералов и мелких буржуа.

Те, кого ненавидел Веерт, постарались сделать все, чтобы вымарать его имя из книги германской поэзии. Ныне Веерт — один из самых известных и почитаемых авторов в социалистической ГДР. И еще: первый сборник стихов первого пролетарского поэта впервые был опубликован в СССР — первой стране победившего пролетариата.

В «Рейнской газете» в 1842 году Маркс опубликовал яркое программное стихотворение — «Партия», утверждающее высшую духовную связь поэтического творчества с борьбой за свободу и счастье трудящихся. Оно принадлежало перу друга молодого Маркса, поэта ГЕОРГА ГЕРВЕГА (1817—1875 гг.).

Его ждет великая будущность, предсказывал Маркс. Увы, судьба распорядилась иначе; вернее, сам поэт иначе распорядился своей судьбой. Искаженное видение мира бросило густую серую тень на поэзию, столь много обещавшую.

Начиная с 1844 года Гервег попадает под влияние анархиста Бакунина, а весной 1848 года затевает нелепый, обреченный на провал, бесславный поход немецких ремесленников из Парижа в Германию. Чудовищная акция по «экспорту революции»! Поход провалился; более того, выяснилось, что он был спровоцирован... полицией! Маркс решительно отмежевался от этой вредной авантюры.

Одна (хотя и не единственная) из причин заката поэзии Гервега — отсутствие острого чувства историзма, понимания объективной природы восходящих и нисходящих токов, путей, зигзагов общественного развития. Отсюда — неуверенность, склонность к экзальтации, переходы от восторга к отчаянию, шараханье то в ультрареволюционные, то в либерально-националистические крайности.

Историзм — мощная линза, умножающая поэтическую зоркость таланта. Яркое свидетельство этому — творчество и судьба великого поэта Германии, друга К. Маркса и Ф. Энгельса ГЕНРИХА ГЕЙНЕ (1797—1856 гг.).

«Барабанщик революции» — так называл себя Гейне. И имел на это право: еще в 1833 году он сумел увидеть, что в скучной философской системе Гегеля скрыва-

лась революция. Гейне сумел угадать грядущую неизбежность гибели буржуазного строя, историческую справедливость этой гибели. Другой вопрос — и об этом чуть позже,— каким рисовалось ему общество будущего.

Поэтический путь Гейне — это стремительное восхождение от традиционно-романтической любовной лирики к лирике реалистической и политико-сатирической. Год от года мужал и ширился, словно река в половодье, талант поэта. Все больше жизненных реалий — исторических и современных, сугубо интимных и остросоциальных — вовлекалось в бурлящий, сверкающий яркими радужными красками водоворот его лирических стихов.

«Мысль является у него чувством, и чувство переходит в думу так неуловимо...» (Н. А. Добролюбов). Причем самое примечательное в этой неуловимости — органическое сочетание глубокого лиризма с публицистичностью. Гейне претили абстрактная философичность и риторика — претили и в поэзии, и в политике.

Уже в 40-х годах Гейне приходит к идее пролетарской революции. Над Германией грозным гулом прокатывается поэтический реквием по обреченному строю насилия и эксплуатации. Это были «Силезские ткачи». Затем появляется вершинное произведение поэта, пронизанное светом из будущего,— поэма «Германия. Зимняя сказка». Ф. Меринг писал: «Зимняя сказка» остается свободнейшей из его песен, уничтожающей в своем остроумии, правдивой в своем пафосе, певучим пламенем, пожирающим гнилой мир, чтобы из его пепла мог, как феникс, возродиться новый мир».

Сознавая огромность дарования Гейне, Маркс многое сделал для того, чтобы высветлить социальное воззрение поэта, увлечь его красотой коммунистического идеала, помочь ему увидеть в пролетариате не только могильщика старого, но и созидателя нового мира.

Увлечь и помочь во многом удалось. «Силезские ткачи» — тому наилучшее свидетельство; можно предположить, что они созданы под влиянием Маркса, оценившего восстание 1844 года как первое сознательное выступление немецкого пролетариата.

Гораздо сложнее было с задачей — высветлить мировоззрение. Гейне — истинный поэт во всем: пылок, эмоционален, доверчив, легкомыслен, причем подчас небезвредно (для дела революции). Маркс смотрел снисходительно на шалости и перехлесты гения в личном поведении. Но совсем другое дело — политические шалости, например, получение тайной пенсии от короля Луи-Филиппа. Но даже в этом случае Маркс пощадил поэта, «мучимого нечистой совестью» и к тому же безнадежно больного...

Гейне в своей идейно-политической эволюции так и не смог подняться до осознания правоты научного коммунизма. Помешали утопические иллюзии (он всерьез и долго увлекался сен-симонизмом); помешала разлука с Марксом; помешала, наконец, «матрасная могила» — многолетняя болезнь, оборвавшая живые связи поэта со стихией революционной борьбы. Однако паралич тела оказался бессилен прервать полет его мечты, кипение страсти, порывы духа.

Свободен пост! Мое слабеет тело...
Один упал — другой сменил бойца.
Я не сдаюсь! Еще оружье цело,
И только жизнь иссякла до конца.

Поэта, возвестившего в 1844 году дерзко, определенно: «Мы здесь, на земле, устроим жизнь на зависть небу и раю», до конца дней обуревали мучительные сомнения. Действительно ли «сладкий горошек найдется для всех»? Не погибнут ли в справедливой кровавой битве пролетариата вместе с неравенством и плоды цивилизации, и цветы искусства? Не пойдут ли прахом вместе с «сытыми крысами» (буржуа и помещиками) мраморные статуи красоты, романтика, лирика и многое другое, столь сладко милое сердцу?

Откуда эти страхи у Гейне? В значительной мере из того «коммунизма», которым он был слишком сильно увлечен: из коммунизма уравнительного, аскетического, бесцветно-мрачного. Сказалось тут и древнее интеллигентское предубеждение к неотесанному простолюдинству, и неверие в союз искусства и труда... Тем не менее картина будущего, нарисованная поэтом в предисловии к «Лютенции» (читатель познакомится с отрывками из этой книги), весьма любопытна и даже по-своему точна — как

мысленное продолжение в будущее теоретических установок уравнителей. А то, что такой зигзаг истории не исключен, подтвердилось впоследствии зловещим опытом маоизма...

Но что характерно: революционер все-таки побеждает в Гейне интеллигента. Пусть даже погибнет искусство, пусть личное растворится в общем — высшая справедливость истории все равно на стороне угнетенных, на стороне революции!

...Неизлечимо больной Гейне написал в конце жизни поэму «Бимини» — о поисках сказочного острова, дарующего тому, кто найдет его, вечную молодость. Герой поэмы находит чудный остров в краю забвенья, в волнах Леты, в небытии...

Но жизнь опровергла, переспорила великого поэта! Имя его и труды, нежные созвучья и колючие сатирические строки его стихов обрели свой «Бимини», свою вечную молодость в реке благодарной и крепкой Памяти освобожденных революцией народов. Миллионы читают «Книгу песен», «Германию», «Романсеро». Его стихи способствуют воспитанию людей будущего, формированию высоких гражданских и эстетических чувств, помогают постигать прошлое, волшебным зеркалом которого является и творчество Гейне.

ИСТОЧНИКИ
ФРАГМЕНТЫ
СТИХИ



К. МАРКС

ОБ УРАВНИТЕЛЬНОМ КОММУНИЗМЕ

...Этот коммунизм, отрицающий повсюду личность человека, есть лишь последовательное выражение частной собственности, являющейся этим отрицанием. Всеобщая и конституирующая как власть зависть представляет собой ту скрытую форму, которую принимает стяжательство и в которой оно себя лишь иным способом удовлетворяет. Всякая частная собственность как таковая ощущает — по крайней мере по отношению к более богатой частной собственности — зависть и жажду нивелирования, так что эти последние составляют даже сущность конкуренции. Грубый коммунизм есть лишь завершение этой зависти и этого нивелирования, исходящее из представления о некоем минимуме. У него — определенная ограниченная мера. Что такое упразднение частной собственности отнюдь не является подлинным освоением ее, видно как раз из абстрактного отрицания всего мира культуры и цивилизации, из возврата к неестественной простоте бедного и не имеющего потребностей человека, который не только не возвысился над уровнем частной собственности, но даже и не дорос еще до нее...

Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956.

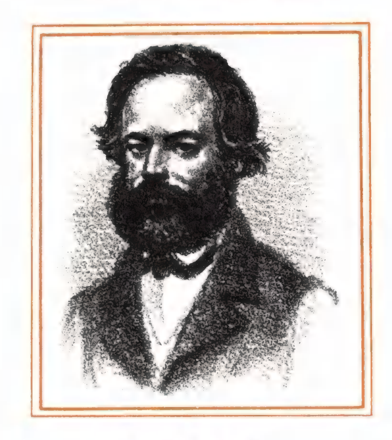
Ф. ЭНГЕЛЬС

О РЕАЛЬНЫХ ИТОГАХ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

...Французские философы XVIII века апеллировали к разуму как к единственному судье над всем существующим. Они требовали установления разумного государства, разумного общества, требовали безжалостного устранения всего того, что противоречит вечному разуму. Мы видели также, что этот вечный разум был в действительности лишь идеализированным рассудком среднего бюргера, как раз в то время развивавшегося в буржуа. И вот, когда французская революция воплотила в действительность это общество разума и это государство разума, то новые учреждения оказались, при всей своей рациональности по сравнению с прежним строем, отнюдь не абсолютно разумными. Государство разума потерпело полное крушение. Общественный договор Руссо нашел свое осуществление во время террора, от которого изверившаяся в своей политической способности буржуазия искала спасения сперва в подкупности Директории, а в конце концов под крылом наполеоновского деспотизма. Обещанный вечный мир превратился в бесконечную вереницу завоевательных войн. Не более посчастливилось и обществу разума. Противоположность между богатыми и бедными, вместо того, чтобы разрешиться во всеобщем благоденствии, еще более обострилась вследствие устранения цеховых и иных привилегий, служивших как бы мостом над этой противоположностью, а также вследствие устранения церковной благотворительности, несколько смягчавшей ее. (Осуществленная теперь на деле «свобода собственности» от феодальных оков оказалась для мелкого буржуа и крестьянина свободой продавать эту мелкую собственность, задавленную могущественной конкуренцией крупного капитала и крупного землевладения, именно этим магнатам; эта «свобода» превратилась таким образом для мелких буржуа и крестьян в свободу от собственности.)

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20.

КАРЛ МАРКС



ЧУВСТВА

Не могу я жить в покое,
Если вся душа в огне,
Не могу я жить без боя
И без бури, в полусне.

Пусть другим приносит радость
Быть вдали от шума битв,
Льстит желаний скромных сладость,
Благодарственных молитв.

Мой удел — к борьбе стремиться,
Вечный жар во мне кипит,
Тесны жизни мне границы,
По теченью плыть претит.

Мне обнять по силам небо,
Целый мир к груди прижать,
И в любви, и в страстном гневе
Я хотел бы трепетать.

Я хочу познать искусство —
Самый лучший дар богов,
Силой разума и чувства
Охватить весь мир готов.

Что же в силах сам создать я?
Мой не слыша страстный зов,
Гибнут рядом мирозданья
Под волшебной властью снов.

Мертвым им смешно боренье
В мире том, где все кипит,
И бесстрастно их движенье
Вдоль невидимых орбит.

Не сменяю я свой жребий
На подобный ни за что —
Жалко их великолепье,
Их стремление в Ничто.

Ведь в безудержном движенье
Поглощает все эфир,
И из праха разрушенья
Возникает новый мир.

Бесконечно измененье,
Жизни мира сущность в нем —
От рожденья и до тленья
То паденье, то подъем.

И вот так, изнемогая,
Наши души там парят,
Пока собственных хозяев
До конца не изнурят.

И, не властны над собою,
Мчат, как всем им бог велит,
Всем нам взвешено судьбою
Боль и радость разделить.

Так давайте в многотрудный
И в далекий путь пойдем,
Чтоб не жить нам жизнью скудной
В прозябании пустом.

Под ярмом постыдной лени
Не влачить нам жалкий век,
В дерзновенье и стремленье
Полновластен человек.

Маркс К. Книга любви, ч. 2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 40.

РАЗМЫШЛЕНИЕ ЮНОШИ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

Отрывки

Животному сама природа определила круг действий, в котором оно должно двигаться, и оно спокойно его завершает, не проявив стремления выйти за его пределы, не подозревая даже о существовании какого-либо другого круга. Также и человеку божество указало общую цель — облагородить человечество и самого себя, но оно предоставило ему самому изыскание тех средств, которыми он может достигнуть этой цели; оно предоставило человеку занять в обществе то положение, которое ему наиболее соответствует и которое даст ему наилучшую возможность возвысить себя и общество.

Возможность такого выбора является огромным преимуществом человека перед другими существами творения, но вместе с тем выбор этот является таким действием, которое может уничтожить всю жизнь человека, расстроить все его планы и сделать его несчастным. Серьезно взвесить этот выбор — такова, следовательно, первая обязанность юноши, начинающего свой жизненный путь и не желающего предоставить случаю самые важные свои дела.

У каждого перед глазами есть цель, которая, по крайней мере ему самому, кажется великой и которая действительно такова, если ее признает великой самое глубокое убеждение, проникновеннейший голос сердца, ибо божество никогда не оставляет смертного совершенно без руководителя; оно говорит тихо, но уверенно.

Но это — легко заглушаемый голос, и то, что мы считали воодушевлением, порождено, быть может, мгновением,— и точно так же возможно, что мгновение вновь уничтожит его.

* * *

Достоинство есть именно то, что больше всего возвышает человека, что придает его деятельности, всем его стремлениям высшее благородство, что позволяет ему несокрушимо возвышаться над толпой, вызывая ее изумление.

Но достоинство может придать лишь та профессия, в которой мы не являемся рабскими орудиями, а самостоятельно творим в своем кругу; та профессия, которая не требует предосудительных действий — предосудительных хотя бы только по внешнему виду — и за которую даже самый лучший может приняться с благородной гордостью. Профессия, дающая все это в наибольшей степени, не всегда является самой высокой, но всегда самой предпочтительной.

Но подобно тому как нас унижает профессия, не соответствующая нашему достоинству, точно так же изнемогаем мы под бременем профессии, основанной на идеях, которые впоследствии будут нами признаны ложными.

Тут мы не видим другого спасения, кроме самообмана. А сколь ужасно спасение, которое дает самообман!

* * *

Тот, кто избрал профессию, которую он высоко ценит, содрогнется при мысли, что может стать недостойным ее,— он будет поступать благородно уже потому, что благородным является положение, занимаемое им в обществе.

Но главным руководителем, который должен нас направлять при выборе профессии, является благо человечества, наше собственное совершенствование. Не следует думать, что оба эти интереса могут стать враждебными, вступить в борьбу друг с другом, что один из них должен уничтожить другой; человеческая природа устроена так, что человек может достичь своего усовершенствования, только работая для усовершенствования своих современников, во имя их блага.

Если человек трудится только для себя, он может, пожалуй, стать знаменитым ученым, великим мудрецом, превосходным поэтом, но никогда не сможет стать истинно совершенным и великим человеком.

История признает тех людей великими, которые, трудясь для общей цели, сами становились благороднее; опыт превозносит, как самого счастливого, того, кто принес счастье

наибольшему количеству людей; сама религия учит нас тому, что тот идеал, к которому все стремятся, принес себя в жертву ради человечества,— а кто осмелится отрицать подобные поучения?

Если мы избрали профессию, в рамках которой мы больше всего можем трудиться для человечества, то мы не согнемся под ее бременем, потому что оно — жертва во имя всех; тогда мы испытаем не жалкую, ограниченную, эгоистическую радость, а наше счастье будет принадлежать миллионам, наши дела будут жить тогда тихой, но вечно действенной жизнью, а над нашим прахом прольются горячие слезы благородных людей.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 40.

Р. БЕРНС



ЧЕСТНАЯ БЕДНОСТЬ

Кто честной бедности своей
Стыдится и все прочее,
Тот самый жалкий из людей,
Трусливый раб и прочее.

При всем при том,
При всем при том,
Пускай бедны мы с вами,
Богатство —
Штамп на золотом,
А золотой —
Мы сами!

Мы хлеб едим и воду пьем,
Мы укрываемся тряпьем
И все такое прочее,
А между тем дурак и плут
Одеты в шелк и вина пьют,
И все такое прочее.

При всем при том,
При всем при том,
Судите не по платью.
Кто честным кормится трудом,—
Таких зову я знатью.

Вот этот шут — природный лорд.
Ему должны мы кланяться.
Но пусть он чопорен и горд,
Бревно бревном останется!

При всем при том,
При всем при том,
Хоть весь он в позументах,—
Бревно останется бревном
И в орденах и в лентах!

Король лакея своего
Назначит генералом,
Но он не может никого
Назначить честным малым.

При всем при том,
При всем при том,
Награды, лесть
И прочее
Не заменяют
Ум и честь,
И все такое прочее!

Настанет день, и час пробьет,
Когда уму и чести
На всей земле придет черед
Стоять на первом месте.

При всем при том,
При всем при том,
Могу вам предсказать я,
Что будет день,
Когда кругом
Все люди станут братья!

ДЕРЕВО СВОБОДЫ

Есть дерево в Париже, брат,
Под сень его густую
Друзья отечества спешат,
Победу торжествуя.

Где нынче у его ствола
Свободный люд толпится,
Вчера Бастилия была,
Всей Франции темница.

Из года в год чудесный плод
На дереве растет, брат.
Кто съел его, тот сознает,
Что человек — не скот, брат.

Его вкусить холопу дай —
Он станет благородным
И свой разделит каравай
С товарищем голодным.

Дороже клада для меня
Французский этот плод, брат.
Он красит щеки в цвет огня,
Здоровье нам дает, брат.

Он проясняет мутный взгляд,
Вливает в мышцы силу.
Зато предателям он — яд:
Он сводит их в могилу!

Благословение тому,
Кто, пожалев народы,
Впервые в галльскую тюрьму
Принес росток свободы.

Поила доблесть в жаркий день
Заветный тот росток, брат,
И он свою раскинул сень
На запад и восток, брат.

Но юной жизни торжеству
Грозил порок тлетворный:
Губил весеннюю листву
Червяк в парче придворной.

У деревца хотел Бурбон
Подрезать корешки, брат.
За это сам лишился он,
Короны и башки, брат!

Тогда поклялся злобный сброд,
Собранье всех пороков,
Что деревцо не доживет
До поздних, зрелых соков.

Немало гончих собралось
Со всех концов земли, брат.
Но злое дело сорвалось —
Жалели, что пошли, брат!

Скликает всех своих сынов
Свобода молодая.
Они идут на бранный зов,
Отвагою пылая.

Новорожденный весь народ
Встает под звон мечей, брат.
Бегут наемники вразброд,
Вся свора палачей, брат.

Британский край! Хорош твой дуб,
Твой стройный тополь — тоже.
И ты на шутки был нескуп,
Когда ты был моложе.

Богатым лесом ты одет —
И дубом и сосной, брат.
Но дерева свободы нет
В твоей семье лесной, брат!

А без него нам свет не мил
И горек хлеб голодный.
Мы выбиваемся из сил
На борозде бесплодной.

Питаем мы своим горбом
Потомственных воров, брат.
И лишь за гробом отдохнем
От всех своих трудов, брат.

Но верю я: настанет день —
И он не за горами,—
Когда листвы волшебной сень
Раскинется над нами.

Забудут рабство и нужду
Народы и края, брат,
И будут люди жить в ладу,
Как дружная семья, брат!

* * *

Зачем терпеть в расцвете сил
Ярмо порабощенья?
К оружью, братья! Наступил
Великий час отмщенья.

Твердят: безгрешны короли,
А руки их кровавы.
Мы сами троны возвели.
Тряхнуть их — наше право!

Девизом каждый патриот
Смерть иль свободу изберет.

Пусть примет мученика чин
Епископ, саном гордый.
Для пэров хватит гильотин,
Для вас — подвязок, лорды.

Давно нас деспоты гнетут,
А судьи — их орудье.
Но и над вами будет суд,
Неправедные судьи.

Еще сегодня ваш денек.
Зато и наш не так далек!

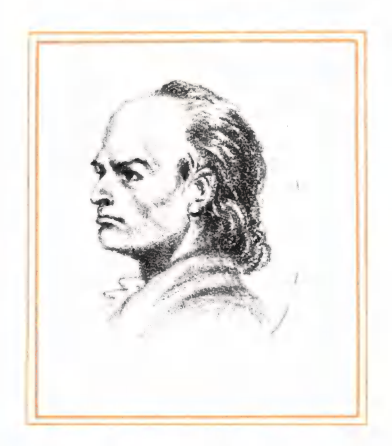
Пусть золотой наступит век,
Былое в бездну канет,
И человеку человек
Навеки братом станет.

И нам покажет молодежь,
Достойная свободы,
Что человек везде хорош,—
Таков он от природы.

Мы всех зовем на братский пир,
И первый тост: — Свобода. Мир.

Бернс Р. Стихи. М., «Художественная литература», 1976.

В. БЛЕЙК



КОРОЛЬ ГВИН

Баллада

Внемлите песне, короли!
Когда норвежец Гвин
Народов северной земли
Был грозный властелин.

В его владеньях нищету
Обкрадывала знать.
Овцу последнюю — и ту
Старалась отобрать.

«Не кормит нищая земля
Больных детей и жен.
Долой тирана-короля.
Пускай покинет трон!»

Проснулся Гордред между скал,
Тирана лютый враг,
И над землей затрепетал
Его мятежный стяг.

За ним идут сыны войны
Лавиною сплошной,
Как львы, сильны и голодны,
На промысел ночной.

Через холмы их путь лежит,
Их клич несется ввысь.
Оружья лязг и дробь копыт
В единый гул слились.

Идет толпа детей и жен
Из сел и деревень,
И яростью звучит их стон
В железный зимний день.

Звучит их стон, как волчий вой.
В ответ гудит земля.
Народ идет за головой
Тирана-короля.

От башни к башне мчится весть
По всей большой стране:
«Твоих противников не счесть.
Готовься, Гвин, к войне!»

Норвежец щит подъемлет свой
И витязей зовет,
Подобных туче грозовой,
В которой гром живет.

Как плиты, что стоймя стоят
На кладбище немом,
Стоит бойцов безмолвный ряд
Пред грозным королем.

Они стоят пред королем
Недвижны, как гранит,
Но вот один взмахнул копьем,
И сталь о сталь звенит.

Оставил земледелец плуг,
Рабочий — молоток,
Сменил свирель свою пастух
На боевой рожок.

Король войска свои ведет,
Как грозный призрак тьмы,
Как ночь, которая несет
Дыхание чумы.

И колесницы и войска
Идут за королем,
Как грозовые облака,
Скрывающие гром.

— Остановитесь! — молвил Гвин
И указал вперед.—
Смотрите, Гордред-исполин
Навстречу нам идет!

Стоят два войска, как весы,
Послушные судьбе,
Король, последние часы
Отпущены тебе.

Настало время — и сошлись
Заклятых два врага,
И конница взметает ввысь
Сыпучие снега.

Вся содрогается земля
От грохота шагов.
Людская кровь поит поля —
И нет ей берегов.

Летают голод и нужда
Над грудой мертвых тел.
Как много горя и труда
Для тех, кто уцелел!

Король полки бросает в бой.
Сверкают их мечи
Лучом кометы огневой,
Блуждающей в ночи.

Живые падают во прах,
Как под серпом жнецов.
Другие бьются на костях
Бессчетных мертвецов.

Вот конь под всадником убит.
И падают, звеня,
Конь на коня, и щит на щит,
И на броню броня.

Устал кровавый бог войны.
Он сам от крови пьян.
Смердящий пар с полей страны
Восходит, как туман.

О, что ответят короли,
Представ на Страшный суд,
За души тех, кто из земли
О мести вопиют!

Не две хвостатые звезды
Столкнулись меж собой,
Рассыпав звезды, как плоды
Из чаши голубой.

То Гордред, горный исполин,
Шагая по телам,
Настиг врага — и рухнул Гвин,
Разрублен пополам.

Исчезло воинство его.
Кто мог, живым ушел.
А кто остался, на того
Косматый сел орел.

А реки кровь и снег с полей
Умчали в океан,
Чтобы оплакал сыновей
Бурливый великан.

СВЯТОЙ ЧЕТВЕРГ

Чем этот день весенний свят,
Когда цветущая страна
Худых, оборванных ребят,
Живущих впроголодь, полна?

Что это — песня или стон
Несется к небу, трепеща?
Голодный плач со всех сторон.
О, как страна моя нища!

Видно, сутки напролет
В ней стоит ночная тьма,
Никогда не тает лед,
Не кончается зима.

Где сияет солнца свет,
Где роса поит цветы,—
Там детей голодных нет,
Нет угрюмой нищеты.

Блейк В. Избранное. М., «Художественная литература», 1965.

Дж. Г. БАЙРОН



БРОНЗОВЫЙ ВЕК

Отрывок

...Москва! Для всех захватчиков предел!
Тщеславный Карл в нее войти хотел,
А Бонапарт вошел — и что ж? Она
Горит, со всех концов подожжена.
Солдат, фитиль схватив, огню помог,
Мужик сует в огонь соломы клок,
Запасы предает огню купец,
Аристократ сжигает свой дворец.
Москва, Москва! Пред пламенем твоим
Померк вулканов озаренный дым,
Поблек Везувий, чей слепящий пыл
С давнишних пор к себе зевак манил;
Сравнится с ним огонь грядущих дней,
Что истребит престолы всех царей!
Москва, Москва! Был грозен и жесток
Врагу тобой преподанный урок!
Крылом пурги смела ты вражий строй.
И падал в снег развенчанный герой.
Ты недругов трепещущую плоть
Спешила клювом стужи приколоть,
Пришить к земле... Пусть Франция не ждет
К себе вояк, закончивших поход:
Напрасно виноградарей страна
Зовет своих сынов — щедрей вина
Лилась их кровь, ее сковал мороз,
И мумией к снегам пришлец прирос!
Тьму пораженья не развеет свет
В былые дни одержанных побед.
Из лап войны захватчик вырвать смог
Один лишь свой разрушенный возок!

ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬД

Отрывок

...Так будем смело мыслить! Отстоим
Последний форт средь общего паденья.
Пускай хоть ты останешься моим,
Святое право мысли и сужденья,
Ты, божий дар! Хоть с нашего рожденья
Тебя в оковах душат палачи,
Чтоб воспарить не мог из заточенья
Ты к солнцу правды,— но блеснут лучи,
И все поймет слепец, томящийся в ночи.

ПЕСНЯ ДЛЯ ЛУДДИТОВ

Как когда-то за вольность в заморском краю
Кровью выкуп платил бедный люд,
Так и мы купим волю свою.
Жить свободными будем иль ляжем в бою!
Смерть владыкам! Да славится Лудд!

Мы на саван тирану соткем полотна,
За оружье возьмемся потом.
Угнетателям смерть суждена!
И красильный свой чан мы нальем дополна,
Но не краской, а кровью нальем.

Эта смрадная кровь, как живительный ил,
Нашу почву удобрит, и в славный тот день
Обновится, исполнится сил
Дуб Свободы, что некогда Лудд посадил,
И над миром простреет свою сень.

ДОН-ЖУАН

Отрывки

61

...По мне, людей всех счастливее был
Охотник Бун, который жил в Кентукки.
За весь свой век он только и убил
Козу или медведя. Слез и муки
Не ведая, в спокойствии души
Он мирно жил в хранительной глуши

62

До старости глубокой. Преступленье
Не омрачало дум его простых;
Здоровье — верный друг уединенья —
Немало дней беспечно-золотых
Ему дало; болезни и сомненья
Теснятся в клетках улиц городских,
А честный Бун провел в лесу и в поле
Лет девяносто — может быть, и боле.

63

И, что всего ценней, оставил он
Надолго память добрую по праву.
(Удел не всех прославленных имен —
Без доброй славы что такое слава?
Пустой кабацкой песенки трезвон.)
Ни ревности, ни зависти лукавой
Не знал отшельник деятельный сей,
Дитя лесов и солнечных полей.

64

Людей он, правда, несколько чуждался,
Включая даже собственную нацию:
Чуть кто-нибудь в лесах его являлся,
Он удалялся в сильной ажитации.
По существу, он искренне боялся
Новейших форм и благ цивилизации,
Но, встретив человека одного,
По-братски он приветствовал его.

65

Он не был одинок; сыны природы
Вокруг него доверчиво росли.
Ни меч, ни брань, ни тайные невзгоды
Сей юный мир состарить не могли.
Не зная ни тоски, ни непогоды,
Они на лоне матери-земли
Хранили нравы вольного кочевья,
Свободные, как реки и деревья.

66

От карликовых жалких горожан
Их отличали мужество и сила,
Красивая походка, стройный стан
И простота души. Не превратила
Их мода в изощренных обезьян,
Их жадное стяжанье не томило,
И браться за ружье по пустякам
Ни разу не случалось их стрелкам.

67

Они трудились днем и сладко спали,
Когда спокойный вечер наступал;
Их ни разврат, ни роскошь не смущали,
Ни подкупа порок не обольщал;
Их сердца не тревожили печали,
Их светлый мир был и велик и мал;
В уединенье общины блаженной
Они вкушали радости вселенной...

136

...Нам новый век узреть не суждено,
Но вы, вкушая радость мирозданья,—
Поймете ль вы, что было так темно,
Так мерзостно людей существованье!
Да будет навсегда погребено
Презренных этих лет воспоминанье!
Забудьте кровожадных дикарей,
Кичившихся жестокостью своей!

137

Пускай же разукрашенные троны
И все на них сидевшие царьки
Вам чужды, как забытые законы,
Как тайных иероглифов значки
На древних обелисках фараона,
Как мамонтов огромных костяки;
Вы будете глядеть в недоуменье —
Могли ли жить подобные творенья?

ИЗ ПЕСНИ IX

24

...И вечно буду я войну вести
Словами — а случится, и делами! —
С врагами мысли. Мне не по пути
С тиранами. Вражды святое пламя
Поддерживать я клялся и блюсти.
Кто победит, мы плохо знаем с вами,
Но весь остаток дней моих и сил
Я битве с деспотизмом посвятил.

25

Довольно демагогов без меня:
Я никогда не потакал народу,
Когда, вчерашних идолов кляня,
На новых он выдумывает моду.
Я варварство сегодняшнего дня
Не воспою временщику в угоду.
Мне хочется увидеть поскорей
Свободный мир — без черни и царей.

38

...И новый мир появится на свет,
Рожденный на развалинах унылых,
А старого изломанный скелет,
Случайно сохранившийся в могилах,
Потомкам померещится, как бред
О мамонтах, крылатых крокодилах,
Титанах и гигантах всех пород,
Размером этак футов до двухсот.

Байрон Дж. Г. Избранное. М., «Детская литература», 1973.

ДЖ. КИТС



ПОЭТ

В ночную стынь, в полдневную жару
Он смело ввысь летит. Без промедленья
Луга и скалы, воды и растенья
Идут к нему на тайную игру.
С предметов он срывает кожуру,
Добро и красоту являя зренью,
И там, где Знанье слепо, вдохновенье
Сквозь скорлупу ведет его к ядру.
Над оболочкой грубою и явной
На мощных крыльях дух его стремглав
Взмывает ввысь, и, таинства познав,
С пространством он беседует как равный.
И виден круг бессмертья огневой
Над обреченной смерти головой.

КУЗНЕЧИК И СВЕРЧОК

Вовеки не замрет, не прекратится
Поэзия земли. Когда в листве,
От зноя ослабев, умолкнут птицы,
Мы слышим голос в скошенной траве
Кузнечика. Спешит он насладиться
Своим участьем в летнем торжестве,
То зазвенит, то снова притаится
И помолчит минуту или две.
Поэзия земли не знает смерти.
Пришла зима. В полях метет метель,
Но вы покою мертвому не верьте.
Трещит сверчок, забившись где-то в щель,
И в ласковом тепле нагретых печек
Нам кажется: в траве звенит кузнечик.

«Поэзия английского романтизма XIX века». М., «Художественная литература», 1975.

П.-Б. ШЕЛЛИ



МУЖАМ АНГЛИИ

Англичане, почему
Покорились вы ярму?
Отчего простой народ
Ткет и пашет на господ?

Для чего вам одевать
В шелк и бархат вашу знать,
Отдавать ей кровь и мозг,
Добывать ей мед и воск?

Пчелы Англии, зачем
Создавать оружье тем,
Кто оставил вам труды,
А себе берет плоды?

Где у вас покой, досуг,
Мир, любовь, семейный круг,
Хлеб насущный, теплый дом,
Заработанный трудом?

Кто не сеет — жатве рад,
Кто не ищет — делит клад,
И мечом грозит не тот,
Кто в огне его кует.

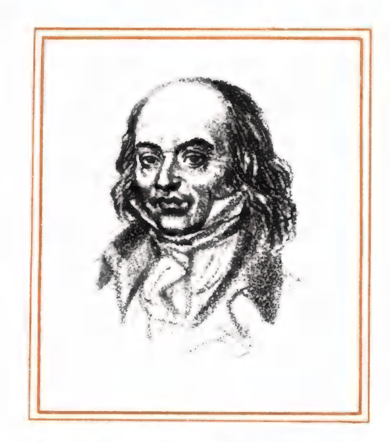
Жните хлеб себе на стол,
Тките ткань для тех, кто гол,
Куйте молотом металл,
Чтобы вас он защищал.

Вы, подвальные жильцы,
Лордам строите дворцы,
И ваши цепи сотней глаз
Глядят с насмешкою на вас.

Могилу роет землекоп,
Усердный плотник ладит гроб,
И белый саван шьет швея
Тебе, Британия моя!

Шелли П.-Б. Избранное. М., «Художественная литература», 1962.

П.-Ж. БЕРАНЖЕ



СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ НАРОДОВ

Видел я Мир, снизошедший на землю...
Золото нес он, колосья, цветы.
Пушки умолкли... Все тихо... Я внемлю
Голосу, что зазвучал с высоты:
«Доблестью все вы равны от природы,
Русский и немец, британец, француз.
Будьте ж дружны и сплотитесь, народы,
В новый священный союз!

Распри, о смертные, вас утомили...
Отдых ваш краток, и сон ваш тяжел.
Землю по-братски бы вы разделили:
Место бы каждый под солнцем нашел!
Сбились с пути вы... Не зная свободы,
Власти жестокой влачите вы груз...
Будьте ж дружны и сплотитесь, народы,
В новый священный союз!

Вы у соседей зажжете пожары.
Ветер изменится — вспыхнет ваш дом.
А охладится земля — плуг свой старый
Пахарь-калека и сдвинет с трудом.
Возле границ, где покажутся всходы,
Крови в колосьях останется вкус...
Будьте ж дружны и сплотитесь, народы,
В новый священный союз!

Ваши владыки, что падки до славы,
Смеют указывать скиптром своим,
Чтобы умножить триумф свой кровавый,
Новые жертвы, потребные им...
Вы, словно стадо, сносили невзгоды,
Переменяя лишь бремя обуз...
Будьте ж дружны и сплотитесь, народы,
В новый священный союз!

Не по дороге вам с Марсом жестоким,
Дайте законы отчизнам своим!
Кровь проливать перестаньте потоком,
Это воителям нужно одним.
Ложным светилам вы верили годы,
Завтра же свет их померкнет, клянусь!
Будьте ж дружны и сплотитесь, народы,
В новый священный союз!

Вольною грудью впервые вздохните!
Мрачное прошлое надо забыть.
Весело сейте! Напевы, звените!
Миру должны все искусства служить.
Средь изобилья водить хороводы
Станете вы под защитою муз...
Будьте ж дружны и сплотитесь, народы,
В новый священный союз!»

Молвил так мир — и цари понурились,
В страхе его повторяя слова.
Но, как весною, цветы распустились,
Снова деревья одела листва.
Лейся, вино, чужеземцам в угоду:
Войско уходит их... Нет больше уз!
Будем дружны! Заключим же, народы,
Новый священный союз!

МОИМ ДРУЗЬЯМ, КОТОРЫЕ СТАЛИ МИНИСТРАМИ

Нет, нет, друзья! Мне почестей не надо,
Другим бросайте деньги и чины.
Я — бедный чиж — люблю лишь зелень сада
И так боюсь силков моей страны!
Мой идеал — лукавая Лизетта,
Обед с вином, друзья и жар поэм.
Родился я в соломе, в час рассвета,—
Так хорошо на свете быть никем!

Вся роскошь дня вот здесь, в моем окошке.
Порой судьба, удачами маня,
И мне на стол отряхивает крошки,
Но я шепчу: — Твой хлеб не для меня!
Пускай бедняк, работник неустанный,
Возьмет по праву то, что нужно всем,
Я для него рад вывернуть карманы —
Так хорошо на свете быть никем!

Когда меня охватит вдохновенье,
Мои глаза уже не различат,
Кто там, внизу, достоин сожаленья —
Царь или раб? Сам маршал иль солдат?
Я слышу гул. Я знаю: это Слава,
Но имени не слушаю — зачем?
Ведь имя — прах. Оно пройдет. И, право,
Так хорошо на свете быть никем!

О кормщики на вахте государства!
Вы у руля! Я удивляюсь вам.
Оставя дом, презрев стихий коварство,
Вы свой корабль доверили ветрам.
Махнул вам вслед — счастливая дорога! —
А сам стою, мечтателен и нем.
Пускай судьбой отпущено вам много.
Так хорошо на свете быть никем!

Вас повезут на пышном катафалке,
И провожать вас будет весь народ;
Мой жалкий труп в канаве иль на свалке
Под крик ворон без почестей сгниет.
Звезда удач меня ведь не манила,
Но мы в судьбе не рознимся ничем:
Не все ль равно, когда конец — могила?
Так хорошо на свете быть никем!

Здесь, во дворце, я предан недоверью,
И с вами быть мне больше не с руки.
Счастливый путь! За вашей пышной дверью
Оставил лиру я и башмаки.
В сенат возьмите заседать Свободу —
Она у нас обижена совсем.
А я спою на площадях народу —
Так хорошо на свете быть никем!

БЕЗУМЦЫ

Оловянных солдатиков строем
По шнурочку равняемся мы.
Чуть из ряда выходят умы:
«Смерть безумцам!» — мы яростно воем.
Поднимаем бессмысленный рев,
Мы преследуем их, убиваем —
И статýи потом воздвигаем,
Человечества славу прозрев.

Ждет Идея, как чистая дева,
Кто возложит невесте венец.
«Прячься»,— робко ей шепчет мудрец,
А глупцы уж трепещут от гнева.
Но безумец-жених к ней грядет
По полуночи, духом свободный,
И союз их — свой плод первородный —
Человечеству счастье дает.

Сен-Симон все свое достоянье
Сокровенной мечте посвятил.
Стариком он поддержки просил,
Чтобы общества дряхлое зданье
На основах иных возвести,—
И угас одинокий, забытый,
Сознавая, что путь, им открытый,
Человечество мог бы спасти.

«Подыми свою голову смело! —
Звал к народу Фурье.— Разделись
На фаланги и дружно трудись
В общем круге, для общего дела.
Обновленная вся, брачный пир
Отпирует земля с небесами,—
И та сила, что движет мирами,
Человечеству даст вечный мир».

Равноправность в общественном строе
Анфантен слабой женщине дал.
Нам смешон и его идеал.
Это были безумцы — все трое!
Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!

По безумным блуждая дорогам,
Нам безумец открыл Новый Свет;
Нам безумец дал Новый завет —
Ибо этот безумец был богом.
Если б завтра земли нашей путь
Осветить наше солнце забыло —
Завтра ж целый бы мир осветила
Мысль безумца какого-нибудь!

ИДЕЯ

От дол земных душой скудея,
Искал я выхода в мечтах,
И вот гляжу: летит Идея,
Всем буржуа внушая страх.
О, как была она прекрасна,
Хотя слаба и молода!
Но с божьей помощью — мне ясно —
Она окрепнет, господа!

Я крикнул ей: — Куда, бедняжка?
Шпионы притаились тут,
И от судей придется тяжко,
Полиция, жандармы ждут! —
Она в ответ: — Тебя тревожит
Попытка их меня сгубить?
Она народу лишь поможет
Меня понять и полюбить.

— Но ведь твой путь загородили.
Я стар... Боюсь я за тебя!
Солдаты ружья зарядили,
И мчится конница трубя.

— Штыки преградой мне не будут,
Проникну я во вражий стан.
Сердца людей мой голос будит,
Гремя сильней, чем барабан.

— Беги, дитя! Беги скорее!
Тебя сотрут с лица земли!
Взгляни: готова батарея,
Уже дымятся фитили!
— Быть может, нашей завтра станет
Та пушка, что тебя страшит.
Кем адвокат сегодня нанят,
Тому служить он и спешит!

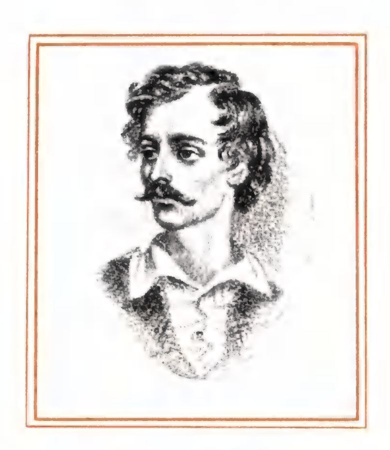
— Тебя невзлюбят депутаты!
— Они ведь с теми, кто сильней.
— В тюрьме сырые казематы!
— Но крылья вырастают в ней.
— Тебя от церкви отлучили!
— Ее проклятий не боюсь.
— Тебя изгнать цари решили!
— Я во дворцы их проберусь.

И вот резня... Властей насилья...
И кровь и смерть... И смерть и кровь...
Напрасны мужества усилья —
Восставшие разбиты вновь.

Но, в пораженье став сильнее
И мертвых лавром увенчав,
Вновь к небесам летит Идея,
У побежденных знамя взяв.

Беранже П.-Ж. Полн. собр. соч. М., ГИХЛ. 1957.

Ш. ПЕТЕФИ



ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

Блаженны те, кому дано
В короткой этой жизни
Любить подруг, и пить вино,
И жизнь отдать отчизне!

* * *

Но начал верить я, что близок час,
Что славных дней рассвет блестящий близок.
Не нынче-завтра, а они восстанут —
Народы мира, втоптанные в прах.
Да! Прогремят восставшие народы:
«В людей мы превратимся из рабов!»
Вот будет день прекрасный, но кровавый!
Таким и должен быть он, этот день!
Был водяной потоп, придет кровавый.
Чтоб мир от грязи мог омыться весь,
От грязи, что на нем налипла густо,—
Потоп кровавый нужен! И когда
Он схлынет, то земля, в крови умывшись,
Великолепна станет и чиста,
И будут жить на ней иные люди —
Богоподобен станет человек!

МЕЧТАЮ О КРОВАВЫХ ДНЯХ...

Мечтаю о кровавых днях я:
Они разрушат все на свете,
Они на старого руинах
Мир сотворят, что нов и светел.

Звучала б лишь, о лишь звучала б
Труба борьбы, все громы множа.
О, знака битвы, знака битвы
Едва дождаться сердце может!

И вскакиваю я в восторге
На жеребца, седла не чуя,
В ряды бойцов скачу я с жаром,
С свирепой радостью лечу я.

И если грудь пробьют мне пули —
Найду, кто рану забинтует,
Кто будет боль моих ранений
Лечить бальзамом поцелуев.

И есть кому — в плену ли буду —
Прийти в темницу, к изголовью,
И осветить ее, как светом
Звезды предутренней,— любовью.

На плахе если же умру я,
Под боевой паду ль грозою —
Найдется, кто с груди пробитой
Кровь смоет светлою слезою.

ОДНО МЕНЯ ТРЕВОЖИТ...

Одно меня тревожит: неужели
Среди подушек я умру в постели;
Увяну тихо, как цветок, точимый
Какой-то тлею, еле различимой;
Истаю, как свеча средь комнаты пустой...
Нет, господи, хочу кончины не такой!
Пусть буду я как дуб, а смерть — как молний пламя:
Пусть буря налетит и вывернет с корнями;
Пусть буду, как утес, низвергнут я с высот
Грозой, которая все в мире потрясет
От недр земных до небосвода!
Когда невольники-народы
Терпеть не пожелают боле
Постыдного ярма неволи,
И выступят на поле брани
Под красным знаменем восстанья,
И гневом воспылают лица,
И на знаменах загорится
Святой девиз: «Свобода мировая!»;
Когда от края и до края

С востока к западу раздастся трубный глас —
И при последнем издыханье тираны ринутся на нас,—
Пусть упаду тогда я,
Пусть хлынет кровь младая,
Из сердца моего пускай она польется!
И если с уст моих крик радости сорвется,
Пускай его поглотит канонада!
Я упаду! Жалеть меня не надо!
К победе завоеванной скача,
Меня растопчут кони сгоряча.
...Настанет день великих похорон —
И мой найдется прах, и собран будет он,
И унесен под траурное пенье
В сопровожденье траурных знамен
К могиле братской всех сынов народа,
Погибших за тебя, всемирная свобода!

ЛИШЬ ВОЙНА...

Лишь война была мечтою
Лучшей в моей жизни,
Та война, где за свободу
Сердце кровью брызнет.

Есть одна святая в мире —
Лишь пред ней с любовью
Нам клинками рыть могилы,
Истекать нам кровью.

Имя той святой — свобода!
Все безумцы были
Те, кто слепо за другое
Жизни положили!

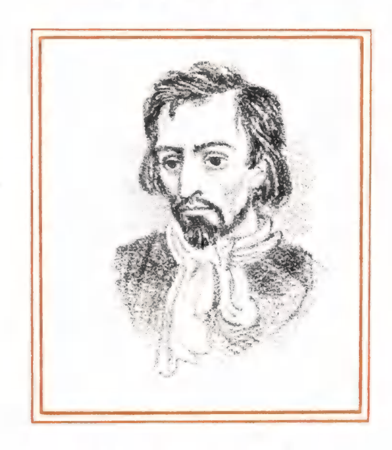
Мир, мир, мир, но не тирана
Прихотью надменной,—
Мир, добытый лишь свободы
Силою священной.

А когда на свете будет
Мир всеобщий, дружный,
Вот тогда на дно морское
Мы швырнем оружье!

Но до той поры — к оружью!
Будем храбро биться,
Хоть до светопреставленья
Та война продлится.

Петефи Ш. Избранное. М., ГИХЛ, 1955.

Г. ГЕЙНЕ



ИЗ «ЛЮТЕЦИИ»

(Отрывки)

«...Они вовсе не слабая, маленькая община; что они самая сильная партия в мире, что день их, правда, еще не настал, но что спокойное ожидание — не потеря времени для людей, которым принадлежит будущее. Это признание, что будущее принадлежит коммунистам, я сделал с бесконечным страхом и тоской, и — увы! — это отнюдь не было притворством... И все же, честно сознаюсь, этот самый коммунизм, столь враждебный моим вкусам и склонностям, держит мою душу во власти своих чар, и я не в силах им противиться; два голоса в моей груди говорят в его пользу, два голоса, которые не хотят замолчать, которые, в сущности, быть может, являются не чем иным, как внушением дьявола,— но, как бы то ни было, я в их власти, и никакие заклинания не могут их побороть.

Ибо первый из этих голосов — голос логики. «Дьявол — логик!» — говорит Данте. Страшный силлогизм околдовал меня, и если я не смогу опровергнуть посылку, что «все люди имеют право есть», я вынужден подчиниться и всем выводам из нее. Думая об этом, я боюсь лишиться рассудка, я вижу, как все демоны истины, торжествуя, пляшут вокруг меня, и, наконец, великодушное отчаяние охватывает мое сердце, и я восклицаю: «Оно давно уже осуждено и приговорено, это старое общество! Да свершится правосудие! Да будет он разрушен, этот старый мир, где невинность погибала, где процветал эгоизм, где человек эксплуатировал человека! Да будут разрушены до основания эти дряхлые мавзолеи, где царили обман и несправедливость! И да будет благословен тот бакалейный торговец, что станет некогда изготовлять пакетики из моих стихотворений и всыпать в них кофе и табак для бедных старух, которым в нашем теперешнем мире несправедливости, может быть, приходилось отказывать себе в подобных удовольствиях!»

* * *

...Второй из этих повелительных голосов, которыми я зачарован, еще могущественнее и еще демоничнее, ибо это голос ненависти, возбуждаемый во мне партией, страшнейшим противником которой является коммунизм и которая поэтому также наш общий враг. Я говорю о партии так называемых националистов Германии, об этих лжепатриотах, патриотизм которых состоит в отвращении ко всему иноземному и к соседним народам и которые каждый день изрыгают свою желчь прежде всего на Францию. Да, к этим обломкам или потомкам тевтономанов 1815 года, которые только подновили свой старый костюм ультрагерманских шутов и немного укоротили себе уши, я всегда чувствовал ненависть. Я всегда боролся с ними, и теперь, когда меч падает из моих рук, рук умирающего, меня утешает

сознание, что коммунизм, которому они первые попадутся на дороге, нанесет им последний удар; и, конечно, не ударом палицы уничтожит их этот гигант,— нет, он просто раздавит их ногой, как давят жабу. Это будет началом. Из ненависти к сторонникам национализма я мог бы почти влюбиться в коммунистов. Это, во всяком случае, не лицемеры, у которых на устах вечно религия да христианство...

* * *

В этой жизни слишком темной
Светлый образ был со мной;
Светлый образ помутился,
Поглощен я тьмой ночной.

Трусят маленькие дети,
Если их застигнет ночь;
Дети страхи полуночи
Громкой песней гонят прочь.

Так и я, ребенок странный,
Песнь мою пою впотьмах;
Незатейливая песня,
Но зато разгонит страх.

* * *

Как часовой, на рубеже свободы
Лицом к врагу стоял я тридцать лет.
Я знал, что здесь мои промчатся годы,
И я не ждал ни славы, ни побед.

Пока друзья храпели беззаботно,
Я бодрствовал, глаза вперив во мрак.
(В иные дни прилег бы сам охотно,
Но спать не мог под храп лихих вояк.)

Порой от страха сердце холодело
(Ничто не страшно только дураку!) —
Для бодрости высвистывал я смело
Сатиры злой звенящую строку.

Ружье в руке, всегда на страже ухо,—
Кто б ни был враг — ему один конец!
Вогнал я многим в мерзостное брюхо
Мой раскаленный, мстительный свинец.

Но что таить! И враг стрелял порою
Без промаха,— забыл я ранам счет.
Теперь — увы! Я все равно не скрою —
Слабеет тело, кровь моя течет.

Свободен пост! Мое слабеет тело...
Один упал — другой сменил бойца!
Я не сдаюсь! Еще оружье цело,
И только жизнь иссякла до конца.

СИЛЕЗСКИЕ ТКАЧИ

Угрюмые взоры слезой не заблещут!
Сидят у станков и зубами скрежещут:
«Германия, саван тебе мы ткем,
Вовеки проклятье тройное на нем.
Мы ткем тебе саван!

Будь проклят бог! Нас мучает холод,
Нас губят нищета и голод.
Мы ждали, чтоб нам этот идол помог,
Но лгал, издевался, дурачил нас бог.
Мы ткем тебе саван!

Будь проклят король и его законы!
Король богачей, он презрел наши стоны!
Он последний кусок у нас вырвать готов
И нас перестрелять, как псов.
Мы ткем тебе саван!

Будь проклята родина, лживое царство
Насилья, злобы и коварства,
Где гибнут цветы, где падаль и смрад
Червей прожорливых плодят.
Мы ткем тебе саван!

Мы вечно ткем, скрипит станок,
Летает нить, снует челнок,
Германия, саван тебе мы ткем,
Вовеки проклятье тройное на нем.
Мы ткем тебе саван!»

ИЗ ПОЭМЫ «ГЕРМАНИЯ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

Я новую песнь, я лучшую песнь
Теперь, друзья, начинаю:
Мы здесь, на земле, устроим жизнь
На зависть небу и раю.

При жизни счастье нам подавай!
Довольно слез и муки!
Отныне ленивое брюхо кормить
Не будут прилежные руки.

А хлеба хватит нам для всех,—
Закатим пир на славу!
Есть розы и мирты, любовь, красота
И сладкий горошек в приправу.

Да, сладкий горошек найдется для всех,
А неба нам не нужно,—
Пусть ангелы да воробьи
Владеют небом дружно!

Скончавшись, крылья мы обретем,
Тогда и взлетим в их селенья,
Чтоб самых блаженных пирожных вкусить
И пресвятого печенья.

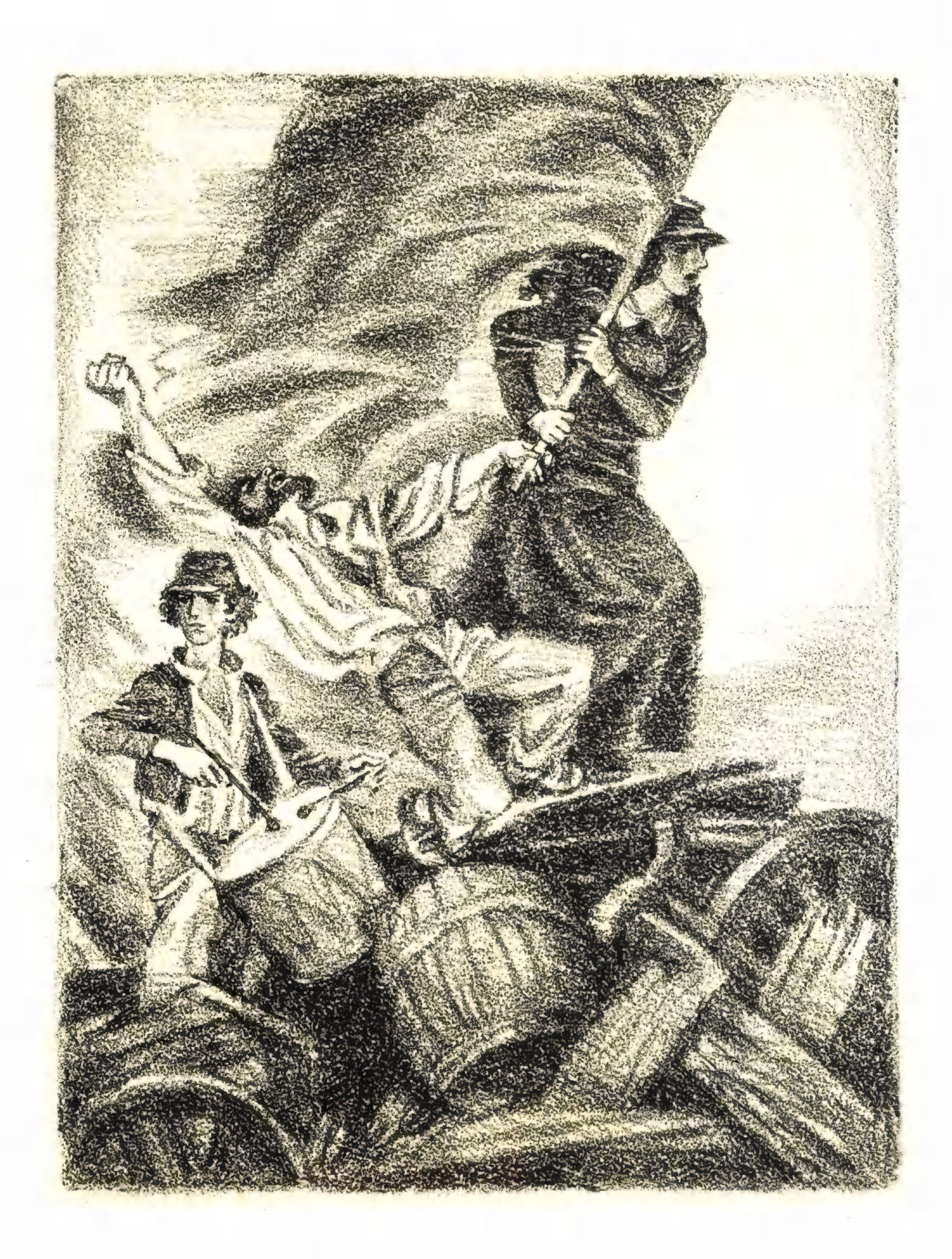
Вот новая песнь, лучшая песнь!
Ликуя, поют миллионы!
Умолкнул погребальный звон,
Забыты надгробные стоны!

С прекрасной Европой помолвлен теперь
Свободы юный гений,—
Любовь призывает счастливцев на пир,
На радостный пир наслаждений.

И пусть обошлось у них без попа —
Их брак мы считаем законным!
Хвала невесте, и жениху,
И детям, еще не рожденным!

Венчальный гимн эта новая песнь,
Лучшая песнь поэта!
В моей душе восходит звезда
Высокого обета.

Гейне Г. Избранные произведения. М., ГИХЛ, 1950.




Глава VII
ПРИГОВОР ИСТОРИИ


Э. Потье
В. Гюго
У. Уитмен


Э. Верхарн
А. Франс
У. Моррис

Социалистические мечтания превратились в социалистическую борьбу миллионов людей только тогда, когда научный социализм Маркса связал преобразовательные стремления с борьбой рабочего класса.

В. И. ЛЕНИН

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Все сколько-нибудь последовательные утопически-социалистические теории так или иначе покушались на частную собственность. Но частный интерес, как многоголовая гидра, торжествовал, невзирая на самые ослепительные проекты усовершенствования мира, жесткой рукой подавляя взрывы отчаянья и возмущения масс.

Жила в людях неистребимая Мечта о счастье и справедливости. Но жила на земле, жирела, нахально торжествовала и злая сила собственности. «Сатана там правит бал...»

Так что же, она неуничтожима, эта сила? И вечно разделение на богатых и бедных? «Адвокаты человечества» возмущались, протестовали, негодовали, но...

«В нравственном негодовании, как бы оно ни было справедливо, экономическая наука может усматривать не доказательство, а только симптом» (К. Маркс). Конечно, если негодуют личности яркие, талантливые, искренне сочувствующие народу, то их проповеди не пропадают даром. Они будят людей, не дают им смириться с рабской долей. Однако в главном Маркс и Энгельс были правы: негодование интеллигентов само по себе не могло привести к осмысленному массовому деянию и реальному перевороту. «Суждены им благие порывы...» Нужны были неопровержимые аргументы против частной собственности, почерпнутые из самого исторического процесса развития форм эксплуатации, а не просто из любвеобильного сердца. Нужно было определить средства и силы для ее ниспровержения, определить условия, при наличии которых переход человечества в царство свободы становился и возможным, и необходимым.

Маркс и Энгельс первыми доказали преходящий характер жизнеустройства, основанного на частной собственности. Они увидели материальные, организационные, технические, духовные предпосылки и средства ее уничтожения внутри развивающегося капитализма.

Классовый гнев вождей пролетариата не ослеплял, а озарял им дорогу борьбы. Из сферы социальной и исторической науки безжалостно были изгнаны отвлеченная моральная риторика, абстрактное долженствование, посулы и обещания лучшей доли. «Социализм должного» (то есть утопизм в любых его ипостасях) уступил место «социализму сущего» (то есть естественно-исторической теории прогресса общественно-экономических формаций).

До сих пор ученые ничего не могли предложить, кроме умозрительных комби-

наций типа: «всего понемножку». Вот если бы взять лучшее от первобытности (нравы); от средневековья (цеховую, «семейную» организацию труда); от капитализма (плоды цивилизации) да перевести бы это все на рельсы пропорциональной собственности, основанной на личном труде каждого... Да плюс к тому сдерживать алчность, врачевать нравы, поощрять образование и искусство — глядишь, все и устроилось бы ко всеобщему благу...

Маркс и Энгельс не просто доказали наивную неосуществимость этих прожектов, напоминающих попытки голыми руками остановить набравший обороты огромный мельничный жернов. Они доказали, что именно во всемерном развитии производительных сил капитализма заложены необходимые гарантии не только разгрома старой мерзости, но и невозвратности любых ее форм и видов. «Сама история теперь судья,— писал Маркс,— а исполнитель ее приговора — пролетариат».

Обоснование исторической миссии рабочего класса было поистине открытием «ворот в будущее», открытием материка надежды для обездоленных. Сгустком идей и образов огромной духовной и эмоциональной силы предстает это открытие в «песни песней» марксизма — «Манифесте Коммунистической партии».

Неумолимо течение времени. Но, пока не прекратится род людской, идущие друг за другом поколения будут вчитываться в поэтически проникновенные, исполненные достоинства и убежденности набатные строки «Манифеста», прогремевшего в 1848 году. Согласно оценке В. И. Ленина эта небольшая книжечка стоит целых томов: духом ее живет и движется до сих пор весь организованный и борющийся пролетариат цивилизованного мира.

В «Манифесте» говорится:

«Современное буржуазное общество, с его буржуазными отношениями производства и обмена, создавшее как бы по волшебству столь могущественные средства производства и обмена, походит на волшебника, который не в состоянии более справиться с подземными силами, вызванными его заклинаниями».

Справиться с ними может только пролетариат — труженик социальной «преисподней», класс, производящий все материальные блага в мире, накапливающий, словно гигантский конденсатор, великий гнев, железную волю и знание.

Следуя диалектике жизни, Маркс и Энгельс показывают, как буржуазный строй, помимо воли и желания господ, готовит собственного могильщика. Забитая, пассивная, страждущая масса пролетариев превращается в титана, рвущего цепи рабства. Превращение это, прорыв к свету социальной истины происходит не вдруг, происходит противоречиво, адски трудно — через ожесточение и стихийный бунт, через «машиноненавистничество», через иллюзии мелких экономических завоеваний... Сколько было их, этих иллюзий и трудностей, сколько еще осталось и поныне!

Но центробежным процессам разлада, колебаний и заблуждений с самого начала противостояли животворные силы сплочения, классовой закалки, единства действий. К тому же сама буржуазия волею объективных законов экономики и классовой борьбы вынуждена была вооружать пролетариат политическим опытом и элементами образования. «Бедный, страдающий брат» обретал все более острое социальное зрение, становился умнее, организованнее. Процесс этот в крайнем случае еще можно было притормозить (обманом, посулами, компромиссами, дезинформацией), но остановить уже невозможно!

Стройная система доказательств освободительной миссии пролетариата, воздвигнутая более ста тридцати лет тому назад в «Манифесте» Маркса и Энгельса, ничуть не утратила своей актуальности, своей истинности. И сегодня из всех классов, противостоящих буржуазии, «только пролетариат представляет собою действительно революционный класс. Все прочие классы приходят в упадок и уничтожаются с развитием крупной промышленности, пролетариат же есть ее собственный продукт».

...В последнее время рабочий класс прочно попал в зону особого внимания буржуазной философии, социологии, этики. С единственной, в общем-то, целью: приручить! нейтрализовать! приковать к колеснице капитала призрачной нитью «социального партнерства»! Началась целая полоса отрицания вообще революционной роли пролетариата.

Одна из самых злых антипролетарских версий — версия об «обуржуазивании»

рабочего класса в эпоху позднего капитализма, об «интеграции», то есть органическом включении его в капиталистическую систему, растворении в материально обеспеченном среднем классе мелких собственников. Короче: пролетариат, твоя классовая непримиримость — в прошлом; ты продался буржуазии за чечевичную похлебку эгоистического благополучия...

Версия обуржуазивания пролетариата активно вписывается в мировую политику. Империалистическая пропаганда твердит (вместе с социал-предателями) о приближении «классового мира», о единстве интересов капитанов и рядовых матросов на корабле «индустриального общества».

Механизм манипулирования общественным сознанием настолько изощрен и отлажен в современном буржуазном мире, что некоторая, верхушечная часть квалифицированного рабочего класса развитых капиталистических стран действительно идет на компромисс с хозяевами и на разрыв с лозунгами пролетарской революции.

Крики об «интеграции» пролетариата в капитализм слышатся, причем все назойливее, и с другого (по видимости) социального фланга. Маоисты выдвигают на место рабочего класса в качестве гегемона революции «мировую деревню», то есть крестьянские массы бывших колониальных и зависимых стран. Псевдокоммунисты всякого рода ставят на место пролетариата армию «белых воротничков», то есть техническую интеллигенцию или студенчество. Анархисты-леваки проклинают пролетариат за «трусость» и проповедуют немедленный переворот методами жестокого терроризма.

...Может быть, и в самом деле устарел «Манифест»?

Жизнь не подтверждает и не может подтвердить подобного рода домыслов и предположений. Рабочий класс повсюду возрастает численно; он повсюду возрастает интеллектуально, ибо становится все более образованным (как того требует современное производство); он включает в себя все большее число наемников умственного труда из числа инженеров и техников; он, наконец, все более остро ощущает принудительный, отчужденный характер своей трудовой деятельности. Все это ведет к накоплению революционности, а не к утрате ее. Ярчайшее свидетельство тому — наращивание сил пролетарского авангарда — международного коммунистического движения.

Увлекательнейшее дело — мысленно прослеживать судьбу изложенных в «Манифесте» социальных идей и прогнозов.

«Призрак коммунизма» стал могучей, определяющей материальной и духовной силой истории. Перед ним, перед его ярким светом истаивают, исчезают призраки старого мира.

А сколь необычным казался во времена «Манифеста» тезис об интернациональной сущности пролетарского движения и его целей! Сегодня мы видим социалистическое содружество народов, интеграцию народного хозяйства стран СЭВ, бескорыстную помощь этих стран всем народам, борющимся за национальный прогресс. Это ли не торжество великой мечты основоположников нашего движения!

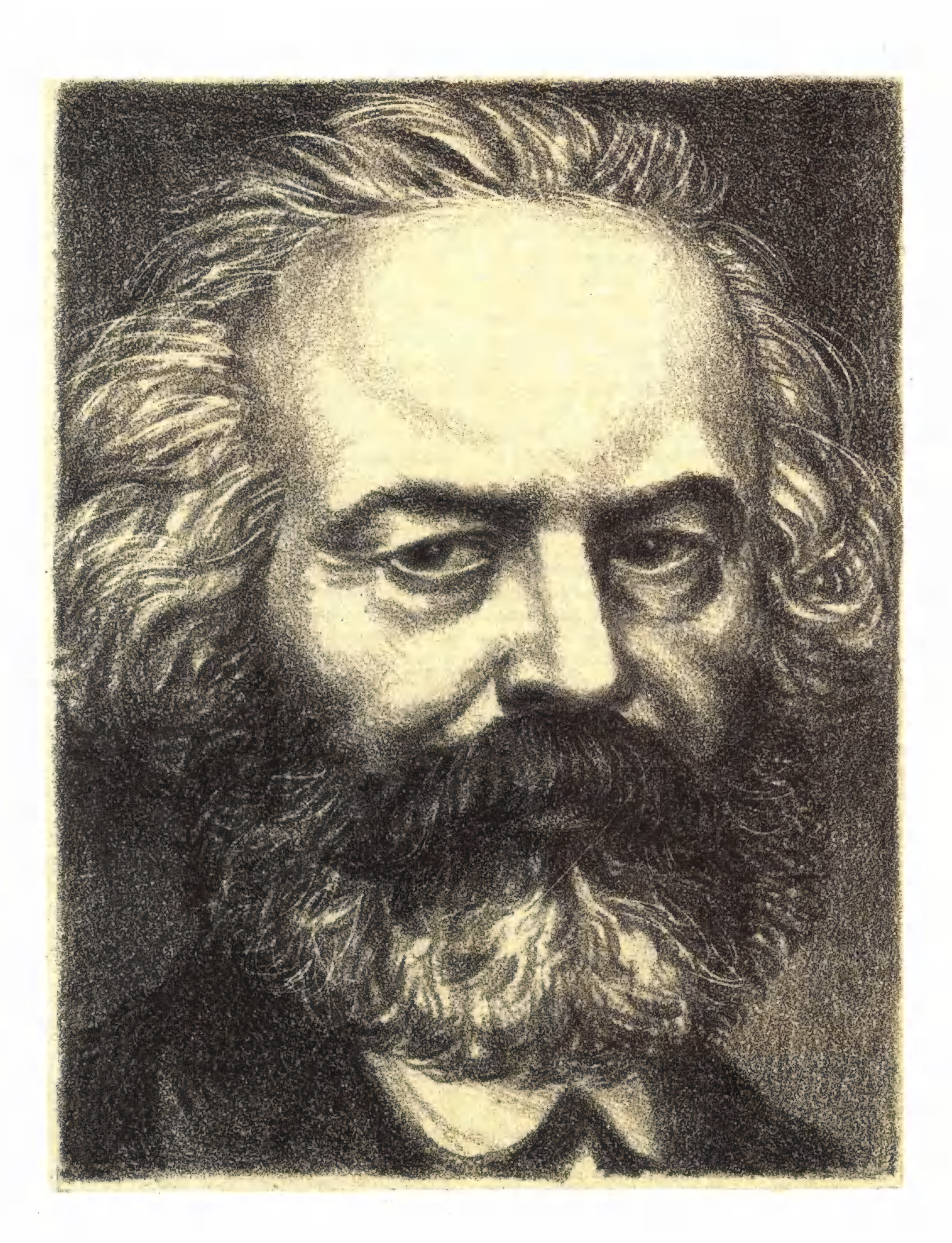
Время, жизнь, наука вносили в содержание «Манифеста» свои частные поправки. Однако годы не поколебали, не изменили главное в этой книге: логику, дух, методологию социально-исторического анализа.

С «Манифеста» началась наука о коммунизме. Наука столь же объективная, как и любая другая, базирующаяся на фундаментальных истинах. Правда, формулы новой социальной науки еще нуждались в экспериментальном и логическом подтверждении. Впереди был «Капитал». Но все-таки первое слово — это самое призывное, самое мобилизующее слово! За лозунгом «Манифеста» — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — пошли и идут поныне миллионы и миллионы борцов.

УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ

«Самым страшным снарядом», когда-либо пущенным в голову буржуа, назвал Маркс Главную Книгу своей жизни. «Библией рабочего класса» нарекли ее пролетарии мира. Имя ей — «Капитал».

Всякое сравнение хромает. Огромный конгломерат мифов, легенд, мистических



пророчеств — такова Библия. Монблан фактов, венчаемый непреложными и точными, как математические формулы, научными обобщениями; диалектика идей, отражающая глубоко и цельно диалектику вещей — таков «Капитал». Он неисчерпаем.

В книге этой и истоки и основания научного предвидения будущего, вырастающего из недр капитализма. До «Капитала» коммунизм был прежде всего философским и политическим «истинным лозунгом борьбы», вдохновляющим прогнозом, убедительным предсказанием. Но лишь в «Капитале» он был прочно поставлен на фундамент научной экономической теории.

В течение десятков лет могучий ум Маркса вел осаду «вавилонской башни» капитализма. Помогали ему в этом и небывалая дотоле научная эрудиция, и железная воля.

Но не только эрудиция, воля, труд великий и непрестанный. В груди великого человека клокотали все бури века и мира, и минувшего, и грядущего. Он «умел рассудку страсти подчинять»; но красной негаснущей ракетой, снова и снова подымающей его в атаку на скверну собственничества, была вековая Мечта обездоленных, поруганных, униженных. Она, эта Мечта, неотступно витала перед духовным взором мыслителя, она была и залогом, и открытием, и искуплением. «Аз воздам!»

Исследуя политическую экономию капитализма, историю буржуазного строя, законы его функционирования, «Капитал» вскрывает исторические тенденции действия этих законов, позволяет увидеть вызревание предпосылок, возможностей, условий для нового, более высокого этапа социального бытия. «Капитал» позволил коммунистам понять: как должна быть преобразована исчерпавшая себя общественная структура, когда она созревает для преобразования, и, наконец, что необходимо делать пролетариату сразу после свершения переворота — и потом, значительно позже.

С этой поры мечта человеческая избавилась от, казалось бы, неизбежной своей спутницы: утопии. Не от фантазии и воображения, нет! — но от опаснейшего свойства: принимать желаемое за реальное. Новая теория открывала широчайший простор свободе исторического творчества масс, их инициативе — на основе познания объективных законов общественного развития.

«Если Маркс не оставил «Логики» (по типу «Логики» Гегеля.— *Ред.*)... то он оставил логику «Капитала» (В. И. Ленин). Логика «Капитала» — это теоретическое восхождение от абстрактного к конкретному как совокупности внутренних связей органического целого. Только такая — диалектическая — логика позволила Марксу, ни на йоту не поступаясь объективностью, заглянуть в будущее, вывести возможные следствия из результатов и тенденций действия экономических законов.

В «Капитале» вновь, как у древних греков (но на качественно ином уровне интеллектуального развития!), воссоединились разбежавшиеся на века мысль и воображение, логика и фантазия. Недаром сам К. Маркс о своих трудах, и прежде всего о «Капитале», говорил как о «художественном целом».

Искусство помогало — и активно помогало! — Марксу развивать революционную мысль. В соратники по скрупулезному исследованию мира частной собственности он взял Гомера и Шекспира, Бальзака и Дидро, Софокла и Данте, Лессинга и Пушкина. «Капитал» — это кладезь художественных образов, помогающих не просто оживить сухие экономические формулы и выкладки, но и представить социальную структуру как живое и динамичное целое.

Вспомним, к примеру, блистательный теоретический марксов анализ тысячелетней тайны денег, их власти над людьми — мистической тайны товарного фетишизма. Автор «Капитала» не ограничился одними только экономическими выкладками и научными аргументами. Чтобы не просто раскрыть механизм товарообмена, но и нравственно заклеймить порабощающую, разрушающую человека силу денег, Маркс приводит монолог о золоте из шекспировского «Тимона Афинского».

Единство логики и диалектики, понятия и образа, теории и фантазии стало фундаментом научного предвидения, научного прогноза, иными словами — материалистического понимания будущего. Вот почему

нет никакого преувеличения, когда мы называем «Капитал» книгой, устремленной в будущее.

Стержнем, становым хребтом «Капитала» является теория прибавочной стоимости. Она позволила не только описать (как было сделано в «Манифесте») цивилизаторскую миссию капитализма со всеми его великими достижениями и чудовищными преступлениями, но и выяснить механизм всех антагонизмов буржуазного мира, корчащегося в судорогах прогресса. «Ариадниной нитью» стало открытие тайны капиталистического накопления.

Было бы наивно заниматься здесь популяризацией великого «Капитала». Наша задача в другом: подключить Главную Книгу марксизма в общую цепь разговора о вызревании научной концепции будущего, с тем чтобы пробудить стремление читателя подняться на ослепительные снежные пики «Капитала». Конечно, здесь нужны настойчивость и упорство. «Здесь нужно, чтоб душа была тверда!» (Данте). Зато наградой будут необозримые горизонты самого нужного знания — знания о жизни и о будущем; наградой будут зрелый оптимизм и огромная уверенность в правоте нашей борьбы.

«Капитал» неисчерпаем. Он не принадлежит к числу книг, из которых зерна истины добываются так же легко, как семечки из подсолнуха. Это о «Капитале» (в письме к французскому издателю Морису Лашатру) писал Маркс: «В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам». Изучение «Капитала» — наилучший путь к сияющим вершинам знания о коммунизме. К сияющим вершинам Идеала.

Творец великой книги не без горечи заметил как-то, что гонорары от ее публикации не покрыли даже... расходов на табак. В жертву великому труду было принесено все: здоровье, счастье и благополучие семьи, блестящие перспективы юридической карьеры. Какая чудовищная «непрактичность»! А сам Маркс, сознавая величие своего дела, восклицал: «Я считал бы себя поистине непрактичным, если бы подох, не закончив полностью своей книги, хотя бы только в рукописи».

После этого необходимого отступления попытаемся разглядеть в теории прибавочной стоимости ключ к пониманию как динамики роста самого капитализма, так и созревания внутри его зародышей, условий, предпосылок иного жизненного устройства.

Покупая на рынке труда рабочую силу, капиталист тем самым приобретает товар, который обладает способностью создавать прибавочную стоимость. Ею и является разница между стоимостью рабочей силы (затраты на обучение, восстановление жизненной энергии, на содержание семьи и т. д.) и стоимостью созданного этой силой продукта. Прибавочная стоимость позволяет расширять производство, нанимать новых рабочих и т. д., казалось бы, до бесконечности...

Обратим внимание на скрытый прогресс, таящийся внутри буржуазного экономического принуждения. Заключается он прежде всего в расширении диапазона труда за пределы простейших, сиюминутных потребностей, в формировании новых потребностей. Работа впрок, на будущее (ибо значительную часть прибавочной стоимости капиталист вынужден в условиях конкуренции тратить на расширение производства, на создание новых средств производства) дает мощный толчок развитию производительных сил, тем самым готовя почву для создания материально-технической базы, вне которой коммунизм попросту невозможен.

Крупное машинное производство — база для извлечения во всевозрастающих размерах относительной (на техническом прогрессе основанной) прибавочной стоимости — вырабатывает высочайшую дисциплину труда, без которой высокоорганизованное общественное хозяйство немыслимо, экономический хаос — неизбежен. Коммунизм преодолевает («снимает», говоря философски) бесчеловечный, жестокий, отчужденный характер этой дисциплины, переводя ее в плоскость нравственного сознания, привычки здорового организма и, наконец, первейшей жизненной потребности. Но формировать эту привычку начал капитализм. Он будоражит ее в человеке — грубо, насильственно. Однако

до поры альтернативы этим стимулам не было...

Величие Маркса и здесь в том, что он сумел разглядеть за преходящей отвратительной оболочкой перспективное содержание. Маркс подчеркивал: «Историческое назначение капитала будет выполнено тогда, когда, с одной стороны, потребности будут развиты настолько, что сам прибавочный труд, труд за пределами абсолютно необходимого для жизни, станет всеобщей потребностью, проистекающей из самих индивидуальных потребностей людей, и когда, с другой стороны, всеобщее трудолюбие благодаря строгой дисциплине капитала, через которую прошли следовавшие друг за другом поколения, разовьется как всеобщее достояние нового поколения».

Думается, в этом научном прогнозе Маркса содержится глубинное основание и для морали будущего. При коммунизме больше отдавать людям, чем брать себе (старая мечта гуманистов!), станет не только внутренней потребностью личности, но и всеобщей экономической необходимостью.

Место эгоизма и связанных с ним мерзостей окончательно займут альтруизм, радение не за себя только или своих «ближних», но и за «дальних», то есть общество в целом. Она разогнется «от себя», упрямая человеческая пятерня, тысячелетиями сгибавшаяся только «к себе»! Главным в человеческой жизни объективно станет с о т в о р е н и е Д о б р а — и не по велению божию, не из страха перед муками загробными, не под влиянием прекраснодушных моральных проповедей, но под воздействием радостной и свободной атмосферы коллективного творческого труда.

Теория прибавочной стоимости позволила увидеть за узким горизонтом буржуазного прогресса возможность организации социального бытия без «капитанов индустрии», то есть без капиталистов, без ожесточенной конкуренции частных собственников — самими трудящимися массами. По мере приобретения производством общественного характера капиталисты все более утрачивают позитивную экономическую функцию организаторов производственно-технического процесса.

Более того: они, чем дальше, тем больше, становятся тормозом промышленного и социального прогресса, «прорехой на человечестве», навязывая экономике (и обществу в целом) свои корыстные цели в качестве всеобщих целей, раскручивая адскую карусель «производства ради производства», выкачивая прибыли ради большей прибыли, деньги ради денег, вещи ради вещей...

Мы уже знаем, кому предстоит «экспроприировать экспроприаторов»; знаем, как неотвратимо формирует и закаляет буржуазный строй своего собственного могильщика. Новое, что внес «Капитал» в теоретическое обоснование исторической миссии рабочего класса,— это тщательное исследование процесса роста его готовности принять на свои плечи огромное, сложнейшее планетарное хозяйство: индустрию, агрокультуру, просвещение, управление людьми и вещами. Процесса, когда трудящиеся, говоря словами Маркса, сумеют «сделать самих себя способными к господству...».

Вопли о «кухарках, управляющих государством», раздавались — с этакой высокомерной ехидцей — задолго до Великого Октября. Ф. Кугельман свидетельствует: «Однажды один господин спросил его (К. Маркса.— *Ред.*), кто же будет чистить сапоги в государстве будущего. Маркс с досадой ответил: это будете делать вы!»

В саркастическом ответе Маркса господину сокрыт глубокий смысл. Вечным оправданием разделения общества на тех, кто «чистит сапоги», и тех, кому их чистят, была монополия господствующего меньшинства в развитии науки, техники и культуры.

Капитализм в начале и в середине своего пути сохраняет и углубляет пропасть между умственным и физическим трудом, между культурой и трудящимися. Мануфактура и фабрика не только не преодолели идиотизма деревенской жизни, цеховой замкнутой корпорации, но и дополнили их идиотизмом отчуждения личности, превращения труженика в придаток машины, в «частичного человека».

Но неотвратимо совершается игра имманентных (внутренне присущих данному явлению) законов буржуазного производства! Под спудом профессионального отупляющего однообразия, всеобщей малограмотности масс постепенно вызревают иные, чуждые и враждебные капиталу, силы. Бе-

шеная гонка за прибылью сопровождалась неуклонной модернизацией производства, его концентрацией и специализацией. В экономику властно вторглась наука — уже не как «служанка», а как полноправная и могучая производительная сила. Оказалось, что — в исторически обозримой перспективе — рабочий вовсе не обречен вечно «чистить сапоги», вечно быть одушевленной частью капитала. Напротив, чем дальше, тем больше само производство диктует капиталисту (роли переменились!) необходимость все более крупных затрат на образование и профессиональную подготовку рабочих. Сложная техника не для малограмотных. ЭВМ — не механический конвейер!

В рукописях подготовительных работ к «Капиталу», этом гениальном наброске контуров грядущего, Маркс резюмирует: «Прибавочный труд рабочих масс перестал быть условием для развития всеобщего богатства, точно так же как не-труд немногих перестал быть условием для развития всеобщих сил человеческой головы».

Эти «всеобщие силы» становятся непосредственным компонентом производства. Возникает и становится все более настоятельной необходимость, чтобы каждый труженик овладел ими. Овладел и приумножил за счет раскрытия личных творческих способностей и дарований. Крупное автоматизированное производство (в тенденции, в перспективе) делает былью мечту о всестороннем развитии всех! Оно создает предпосылки (поначалу куцые, ограниченные, но все же потенциально активные) преобразования труда всех людей во всех сферах в содержательную, поисковую, творческую деятельность.

Совместно и на основе материально-технического развития происходит и фундаментальная духовно-ценностная переориентация личности, переключение ее интересов, склонностей и потребностей в иную, подлинно человеческую сферу самоутверждения, где все общество будет нацелено на всестороннее развитие сущностных человеческих сил и потенций, на «абсолютное выявление творческих дарований человека».

Но для этого, предсказывает Маркс, новое общество сделает мерилом богатства уже не рабочее, а свободное время индивидов, необходимое для возвышенной деятельности (наука, образование, изобретательство, управление общественными делами, художественное творчество и т. д.). Коммунизм поможет всем людям разогнуть спину, поднять голову к «небу» вдохновляющих занятий подлинно творческим, по-настоящему интересным и бескорыстным трудом на общее благо.

Словно приговор самой истории, звенят над миром вещие, знаменитые семь слов из 24-й главы 1-го тома Марксова «Капитала»: «Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют».

Приговор окончательный. Приговор от имени прошлого и во имя счастливого будущего человечества. Но когда он будет приведен в исполнение?

«Капитал» — строго научный труд. Тщетно искать в нем «заветных чисел», на которые столь щедра была Библия. Маркс научно обосновал главную тенденцию развития капитализма, гениально обнаружил законы его разрушения, его самоотрицания. Но на вопрос: к о г д а — могли и могут ответить только трудящиеся массы.

Только от их способности (во главе с пролетарскими партиями) н е у п у с т и т ь и с т о р и ч е с к и й ш а н с — зависит, будет ли снова и снова отсрочен приговор истории, удастся ли «сократить и смягчить муки родов» (К. Маркс) нового общества из недр старого.

Здесь, в этом главном пункте, открывается простор для широкого исторического творчества народных масс. Опыт Страны Советов показал, как активно и творчески нужно было воспринять суть марксова учения об экспроприации экспроприаторов.

Сколько было «солидных» предостережений тогдашних псевдомарксистов: погодите! Еще не созрели плоды крупной машинной индустрии, еще не цивилизовался российский пролетариат — островок в океане дремуче неграмотного крестьянства...

Партия большевиков, Ленин ответили: нет! Нужно взять власть, национализировать крупное производство, поднять массы к самостоятельному творчеству, разбудить таланты народа, задавленные капитализ-

мом, а затем, опираясь на мощь пролетарского государства, неуклонно идти к вершинам знаний и культуры, создавать новый, социалистический строй и образ жизни.

Гениальный прогноз Маркса, начертанный в «Капитале», в главном, в сути своей полностью подтвердился. Считанные годы — всего лишь миг с точки зрения вечности — понадобились для того, чтобы более чем на одной шестой части планеты восторжествовала воплощенная тысячелетняя народная Мечта!

«Капитал» не мог написать ученый калибром меньше Маркса. Его не мог написать и человек, сердце которого не пылало бы жарким пламенем любви и ненависти, веры и надежды. «...В редком научном трактате вы найдете столько «сердца», столько горячих и страстных полемических выходок против представителей отсталых взглядов, против представителей тех общественных классов, которые, по убеждению автора, тормозят общественное развитие». Так сказал о «Капитале» великий Ленин.

В Марксе впервые органично соединились, помножились огромная вера в науку и неистовая вера в народ, в его творческие силы.

ЧЕЛОВЕК — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

Еще в молодости Маркс и Энгельс нашли афористическую формулу гармонического развития человека: «Каждый, в ком сидит Рафаэль, должен иметь возможность беспрепятственно развиваться». Позднее, создав стройную теорию коммунизма, они подвели прочный научный фундамент под это гордое, непреложное: должен.

Если «каждый, в ком сидит Рафаэль», будет избавлен от изнуряющей и отупляющей погони за куском хлеба или, что еще хуже, за миллионом;

если в сфере удовлетворения материальных потребностей будет достигнута гармония разума и изобилия (не путать с излишествами, ибо они безмерны, беспредельны);

если в сфере труда будет постоянно возрастать доля свободного времени, обращаемого на благо духовного роста личности—

вот тогда (и только тогда!) каждый человек будет действительно «иметь возможность беспрепятственно развиваться».

Долог, сложен, неизведан путь...

Кажется, вся история свидетельствует против такой возможности гармонизации гуманистического идеала всесторонне развитой личности и максимального размаха технической цивилизации. Поэзия идеала — и проза разделения труда; пламень мечты — и лед эгоизма; порыв к общему благу — и скрипучий (уж не всесильный ли?) «тормоз» личного интереса...

Бесконечные нападки на коммунистический идеал, град псевдоученых насмешек, ужимок, поток злобных оскорблений и громогласных опровержений — все было, все есть поныне, и все наперебой апеллируют к старушке истории.

В самом деле, на протяжении веков двигателем общественного и научно-технического прогресса было стремление индивидов к собственной выгоде и пользе. Не случайно умнейшие и честнейшие головы прошлого далеко не всегда осмеливались посягать на частную собственность, размышляли о том, как получше впрячь эгоистические устремления в колесницу общего блага. Вспомним Фурье, вспомним разнообразные варианты концепции «разумного эгоизма» и т. п. Почти все радетели за человечество цепенели перед леденящей душу перспективой воцарения всеобщей лености, дикого анархического разгула — либо, в противовес этому, жестокой казарменной дисциплины.

Родоначальники научного коммунизма в полной мере представляли себе, какую опасность и трудность для будущего таят веками укоренившиеся в человеке и обществе психология и мораль эгоизма, равнодушия к общественному благу, к природе, к другому человеку.

В мире собственничества, писал К. Маркс, «люди оказывают вещи (деньгам) такое доверие, какого они не оказывают друг другу как личности». В этом жестоком мире господствует всеобщее отношение полезности и годности для употребления, господствует «князь тьмы», нагло попирающий робкие побеги добра, человеколюбия, бескорыстия...

«Так было, так будет»,— злорадно утверждают апологеты капитализма.

«Так было, так, увы, будет»,— вздыхают субъективно честные, но изверившиеся,



беспомощные в своем отчаянии жалельщики рода человеческого из числа современной западной интеллигенции. Самое большее, чего, по их мнению, возможно добиться,— это каждому честному человеку постараться сохранить внутри себя неприступный островок добра, совестливости, сострадания и милосердия...

«Так было, но так не будет!» — заявляют марксисты-ленинцы вслед за своими учителями.

Долог, труден, неизведан путь... Но вовсе не с «нуля», не с корчевания каких-то непроходимых джунглей безнравственности начинают этот путь коммунисты. Одну из главных духовных опор в борьбе за нового человека они по справедливости видят в нерастраченном и драгоценном моральном фонде трудящегося человечества. Коммунизм по праву наследует «золотые россыпи» высоких помыслов и устремлений лучших человеческих душ. Более того, он всячески культивирует, побуждает к росту и развитию вековечные зерна добра, самоотверженности, героического энтузиазма— все то, что не могло взойти и расцвести на бесплодной каменистой почве буржуазного эгоизма, жадности, бессердечия.

Главный хранитель этого морального фонда, этих неуничтожимых зерен — человек труда. К. Маркс с гордостью подчеркивал: «Для пролетариата смелость, сознание собственного достоинства, чувство гордости и независимости — важнее хлеба». Могильщик буржуазии несет гибель и ее морали, ее психологии. Отмечая с надеждой и гордостью ростки новых взаимоотношений между рабочими, молодой Маркс писал: «Для них достаточно общения, объединения в союз, беседы, имеющей своею целью опять-таки общение; человеческое братство в их устах не фраза, а истина, и с их загрубелых от труда лиц на нас сияет человеческое благородство».

Уничтожение эксплуатации, нищеты, голода и бедности обрекает на вырождение и одну из самых сильных, поистине тысячелетних человеческих страстей — неутолимую жажду обладания, приобретательства. Целью и общества и человека перестает быть накопление собственности. Средства жизнедеятельности (вещи, комфорт, путешествия, образование и т. д.) перестают быть порабощающей силой, а человек и природа — всего лишь средством достижения корыстных целей.

Коммунизм несет людям перспективу широчайшего развития и углубления благороднейших, нормальных — в самом высоком человеческом смысле — материальных и духовных потребностей. Он несет миру людей самые высокие радости: «радость человеческого общения» (А. Сент-Экзюпери), солидарности и бескорыстной взаимопомощи, радость творческих дерзаний и открытий, неутомимую жажду познания, радость огромной любви.

Это и есть подлинный, реальный гуманизм, то есть реальная, на высшем уровне развития науки, производства и общества свобода личности внутри и посредством свободной ассоциации тружеников. Таков поистине орлиный взгляд Маркса, Энгельса и Ленина в будущее — взгляд с высоты «развития всех человеческих сил как таковых, безотносительно к какому бы то ни было заранее установленному масштабу».

Другую духовную опору для коммунистического переустройства мира и человека классики марксизма-ленинизма видели в необъятном прогрессивном культурном наследии прошлых эпох — от «полисного сознания» и искусства Эллады до величайших гуманистических исканий и обретений критического реализма XIX века.

Грубый практицизм, голая польза ведут к деградации личности — в том числе и личности господствующей, «богатой». Блистательно сказал об этом молодой Маркс: «Удрученный заботами нуждающийся человек невосприимчив даже к самому прекрасному зрелищу». Таков голодающий: для него не существует человеческой формы пищи, он низведен до уровня животного. Но по-своему беден, неспособен к человеческим наслаждениям и буржуа: «Торговец минералами видит только меркантильную стоимость, а не красоту и не своеобразную природу минерала...»

Совсем иные перспективы открываются перед человечеством, утверждает марксизм, когда владыкой мира станет освобожденный труд — труд творческий, вдохновенный, «преобразованный технически и осмысленный социально» (М. Горький). Труд как бесконечная свободная игра физических и интеллектуальных сил Человека.

И здесь людям будущего есть что наследовать у предшествующих поколений — народную трудовую мораль, умение (при малейших благоприятных условиях) работать весело, складно, на совесть, работать художественно и бескорыстно. Маркс писал о Парижской коммуне, что коммунары «делали свое дело открыто, просто, в исключительно трудной и сложной обстановке, и делали его так же, как Мильтон писал свой «Потерянный рай»...».

Обратим внимание на неожиданное, казалось бы, упоминание о Мильтоне. Коммунары — и Мильтон? Что общего между пролетариями и великим слепцом, трубадуром христианского гуманизма?

Общее есть, и оно принципиально. Мильтон, создававший свои поэмы, подчиняясь только своей натуре, внутреннему нравственному закону, и сознательный пролетарий, укладывающий первые кирпичи в основание новой жизни для человечества,— в обоих проявляется одна и та же неистребимая и несокрушимая историческая сила. Имя ей — революционная самодеятельность человека, его творчески-преобразующая сущность. Имя ей — подлинная человеческая свобода, делающая великое великим, лишающая эгоизм и корыстолюбие их страшной власти над людьми.

Освобожденный труд, поднявшийся до высшей по сравнению с капитализмом производительности, создает возможность и диктует необходимость «предоставить каждому достаточно досуга для восприятия всего того, что действительно ценно в исторически унаследованной культуре — науке, искусстве, формах общения и т. д.— и не только для восприятия, но и для превращения всего этого из монополии господствующего класса в общее достояние всего общества и для дальнейшего развития этого достояния» (Ф. Энгельс).

Спросим себя: а почему так важно для человека и всего общества «восприятие всего того, что действительно ценно в исторически унаследованной культуре», превращение этого наследства в «общее достояние»? Только ли для облагораживания грубых, неразвитых чувств вчерашнего «частичного» человека? Только ли для компенсации непривлекательного, неинтересного труда в сфере производства?

Вспомним крикливых авангардистов, пролеткультовцев молодой Советской России. Кого только не сбрасывали они с «парохода современности»! Каких только дифирамбов не пели «здоровому пролетарскому инстинкту», «новой классовой культуре» и т. п.! А было все это, в сущности, проповедью волюнтаристского невежества, новой бездуховности, прямо ведущих от революции к реакции, к воцарению анархии, неизбежно завершающейся тиранией.

Нет, отнюдь не для увеселения или «смягчения нравов» провозглашали марксисты необходимость культурной революции. Она, эта революция, является важнейшим инструментом духовного и нравственного развития личности, обогащения ее «богатством субъективной человеческой чувственности» (К. Маркс), богатством человеческих знаний. Она, и только она, вслед за революцией социальной поднимает массы к вершинам сознательного исторического творчества — не только в сфере производства, но и в культурно-эстетической сфере.

Трудовой народ «проснется, исполненный сил»! В это свято верили Маркс и Энгельс. Еще в молодости они отмечали способность пролетариата «поднимать себя на более высокую ступень духовного развития» — и это даже в бесчеловечных условиях буржуазного строя! Перед умственным взором вождей рабочего класса стоял светлый образ рабочего, читающего Шелли и Байрона (в отличие от «образованной публики»), Гольбаха и Дидро... И вера эта была не фанатичной, но несокрушимой в сознании неисчерпаемости океана народных талантов. Неисчерпаемости!

Расщепление ядра собственнического бытия неизбежно высвобождает огромную «звездную» энергию творческой инициативы, энтузиазма, талантов народа, «расколдовывает» его деятельные духовные и художественные силы. Могучим молотом этих созидательных сил рабочий класс, трудящиеся массы неминуемо раздробят ржавые оковы эгоизма, жестокости, корысти, суеверий; до основания разрушат иерархию профессий. И тогда равенство станет фактическим; и тогда не зависть и жестокое соперничество, а творческое, вдохновляющее соревнование в труде, учении, искусстве, спорте станет движущей пружиной роста и гармонического совершенствования личности.

Подъем одаренности, нормы таланта, «универсальный характер деятельности индивидов» (К. Маркс) с необходимостью приведут и к нравственному подъему людей. Постепенно, но неуклонно будут исчезать зависть, угодничество, сознание человеком своей неразвитости, неполноценности и т. п.— иными словами, все то, что ныне принято называть «комплексами». Разумеется, наивно было бы предполагать при коммунизме полное отсутствие, скажем, чувства неудовлетворенности, проявлений ревности, обид на судьбу, трагедий неразделенной любви и т. п. Но это будут страсти, пронизанные стремлением человека к улучшению самого себя.

Таково в общих чертах еще одно великое научное предвидение марксизма-ленинизма — предвидение качественно нового подъема общечеловеческой духовной культуры, нового шага вперед в нравственном и художественном развитии человечества. Это будет культура, созидаемая не гениальными одиночками (на одном полюсе) или стихией анонимного народного творчества (на другом полюсе). В ней предстанут в очищенном от накипей сословности либо патриархальности виде оба направления, обе великих культурных реки.

С ПОЗИЦИЙ НАДЕЖДЫ

Не будет преувеличением сказать, что рядом с «великой державой» растущего и борющегося пролетариата свою битву с буржуазностью, индивидуализмом, бесчеловечностью вела и «великая держава» литературы критического реализма и революционного романтизма XIX века. Они сближались, эти державы, они были очень нужны друг другу.

Всякое истинно великое событие в человеческой истории оставляет на память и в назидание потомкам нетленные образцы высокого мужества, самоотверженности, яркие и благородные озарения духа. Таким событием в XIX веке была Парижская коммуна. Она исторгла из глубин своих и подарила грядущему, кроме бесстрашных героев и непреходящих исторических уроков, рвущуюся из самого сердца пролетариата песнь —«Интернационал».

Руже де Лилю, певцу буржуазной революции, удалось выразить в строках «Марсельезы» характер, думы и веру восходящей общественной силы.

На новом витке спирали истории куда более великое совершил участник баррикадных боев Парижской коммуны, счастливый свидетель первого пролетарского «мига будущего», поэт ЭЖЕН ПОТЬЕ (1816—1887 гг.), автор «Интернационала». «Он оставил по себе поистине нерукотворный памятник» (В. И. Ленин). Звездный час творца «Интернационала» совпал с кровавым финалом Парижской коммуны. Из пламени и пепла раздавленного пролетарского Парижа вырвалась к людям, в вечность ликующая песнь борьбы и неминуемой грядущей победы.

Сложен был путь Э. Потье к вершине мировой поэзии, выразившей в музыке пламенного слова душу пролетариата. В идейной эволюции поэта отразилось общее неудержимое движение трудящихся масс к научному коммунизму. Восторженный поклонник демократической музы Беранже, его ученик, Потье потом идет дальше, к Бабефу, к идее всевластия пролетариата, но идет, спотыкаясь по пути, то поддаваясь обаянию утопии Фурье, то уповая на всесилие научно-технического прогресса... Однако безошибочное классовое чутье выводит его на верную дорогу битвы против буржуазного строя, в ряды пролетарских борцов, на баррикады Коммуны, к Марксу и марксизму. «Ювенал предместий», труженик революции, Потье в муках поисков и сомнений, в яростном грохоте боев за новый мир выносил, выстрадал в горячем сердце и пропел на века бессмертный Гимн освобождения труда.

Спустя треть столетия после своего рождения «Интернационал», отлитый в звонкую бронзу мелодии рабочим-музыкантом П. Дегейтером, взметнулся над баррикадами первой русской революции. Мир голодных и рабов шел в бой за светлое и справедливое будущее. И в этот бой их вела песня, вобравшая в себя всю неистребимую мощь народной Мечты о торжестве Правды, всю правду и красоту грядущего обновления жизни.

К свету великой истины неудержимо влекло и самых честных, совестливых, самых гуманных буржуазных интеллигентов, мучительно искавших выхода из социаль-

ных и нравственных тупиков оплывшего жиром, циничного и жестокого буржуазного строя. Перед их мысленным взором, пробуждая то надежду, то гейневскую тревогу за судьбу культуры, то яростное нетерпение сердца, вставала сплоченная, верящая в победу, могучая армия труда.

Наиболее дальновидные из них вплотную подходили (как ранее Гейне и Веерт, как в 1871 году Потье) к идеям социализма, к идее обновления, очеловечивания жизни — идее, которая буквально витала в насыщенном грозой воздухе эпохи.

Ни с чем не сопоставима работа на будущее, которую проделали титаны реализма. Бальзак и Стендаль, Диккенс и Теккерей, Твен и Франс бессмертными творениями своими выносили приговор бесчеловечному строю наживы, уродующему, унижающему человека. Они щедро пополнили и возвысили гуманистический потенциал человечества, оставив потомкам нетленные образцы высоких дум, огромных чувств, светлых мечтаний, облагораживающих, очищающих человеческую душу нравственных исканий.

Корифеи реализма мучились «вечными», трагическими вопросами бытия, стремились догадаться о будущем человечества, о судьбах культуры, о путях духовного раскрепощения личности.

Однако после поражения Парижской коммуны в некоторых странах Европы в условиях бурного промышленно-технического развития капитализма, уже подступавшего к своей высшей, империалистической фазе, обнаруживается заметное ослабление «социальной мускулатуры» критического реализма. Нет, в конфликте собственников и неимущих он оставался всегда на стороне последних. Но теперь разоблачение, критика буржуазных устоев все больше ограничивались по преимуществу критикой моральной. Многим честным, демократически настроенным художникам-реалистам грядущее казалось «иль пусто, иль темно...». Человек мельчает и вырождается, охваченный прагматической жаждой наживы; все благородное, высокое и прекрасное гибнет; нет никакого просвета, и, наверное, так будет всегда...

Казалось, сбываются мрачные пророчества прекрасного русского поэта-романтика Е. Баратынского:

Век шествует путем своим железным;
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.

Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.

Позади был Бальзак, о котором Ф. Энгельс с восторгом говорил: «Какая революционная диалектика в его поэтическом правосудии!» Теперь же «поэтическое правосудие» все больше превращалось либо в эмпирическое бытописательство, тягуче-безрадостную прозу натурализма, либо в отчаянье перед торжествующей мерзостью буржуазного строя...

На небосклоне культуры XIX века долго и гордо высилась исполинская фигура замечательного гуманиста и жаркого мечтателя, писателя ВИКТОРА ГЮГО (1802—1885 гг.). В прямом смысле слова ровесник века, всех его войн и революций, включая Парижскую коммуну, Гюго на протяжении многих десятилетий набатом звенел над бурлящей Францией, над Европой, и не было в мире события, на которое не отозвалось бы болью, гневом или радостью необъятное сердце поэта. По свидетельству Н. К. Крупской, великому Ленину слышалось «веяние революции» в громовых раскатах политической лирики «Возмездия» Гюго, созданного в 1848 году.

Герои романов Гюго становились соратниками поколений борцов за народное счастье. Стоит лишь назвать один из самых притягательных образов Революции во всей мировой литературе — образ парижского мальчугана по имени Гаврош (из романа «Отверженные»). Уже одно это делает Гюго нашим надежным союзником. С нами и его «Труженики моря», и «Девяносто третий год». У Гюго учимся мы ненависти к людской подлости, своекорыстию, фанатизму. Громовый голос мастера зовет нас к солидарности в битве со зловещими силами уродливого мира.

Долгий и сложный творческий путь Гюго отмечен немалыми противоречиями, иллюзиями, ошибками. Этот огромный человек так и не сумел постичь «непроницаемую»

мятежную народную душу. Она неудержимо влекла его к себе — и одновременно обдавала острым холодком страха и тайны. Таков был злой рок почти всех великих гуманистов...

В канун Коммуны 1871 года Гюго восклицал: «Париж в себе таит грядущий день». Когда же этот день настал, пророк отшатнулся от «бессмысленного братоубийства». Он возвысил свой голос в защиту жизни коммунаров, но трудящиеся все же остались для него «темной», неотесанной, стихийной толпой.

Что ж, тут ни убавить, ни прибавить... Но ведь возвысил же он голос (наперекор всеевропейскому визгу по адресу «чумазых») в защиту тех, кто поднял тяжелую рабочую руку на вековые привилегии хозяев мира. Честь и хвала ему!

Своим собственным путем шел к великой Мечте еще один замечательный француз, основоположник научной фантастики, романист ЖЮЛЬ ВЕРН (1828—1905 гг.). Его можно и должно назвать певцом одной из самых великих страстей человека — неутолимой жажды познания.

Век шествовал «путем своим железным». Не каждому дано было увидеть поэзию этого пути, поэзию творчества великих технических новшеств — пара, электричества, машины. Жюль Верн увидел, постиг и воплотил ее в замечательных творениях. Ему удалось, казалось бы, невозможное: запрячь в одну упряжку «коня» и «трепетную лань» — науку, технику и гуманистическую Мечту о будущем, достойном Человека.

Сила его фантазии, размах его «научных мечтаний» огромны. Однако, останься Жюль Верн только выдумщиком, только генератором научно-технических загадок, он скорее всего принадлежал бы лишь своему XIX веку да истории научно-популярной литературы. Полет на Луну в артиллерийском снаряде — кому, казалось бы, он интересен теперь — после того, как люди оставили на Луне следы своих ботинок, после того, как умные автоматы возят на Землю контейнеры с пробами лунного грунта?!

И все же интересен! Экспедиция Мишеля Ардана и его товарищей («Из пушки на Луну»), конечно, не экипаж Нила Армстронга. Отодвинута в прошлое, перечеркнута ракетами идея заброски людей на Луну из огромной пушки. Но по-прежнему захватывают читателя страсть первооткрытия, дерзость человеческого разума, убежденность в его всесилии, влюбленность автора в людей мужественных, непокорных, светлых.

Тайна неиссякающей любви к Жюлю Верну объясняется и мощью его фантазии, и мощью гуманизма, созвучием того, чем жили и за что боролись его любимые герои, с тем, что составляет великий смысл нашей сегодняшней борьбы и работы. Думается, это наиболее ярко проявилось в нашем отношении к капитану Немо — ученому, исследователю, хранителю природы, но главное — борцу за свободу народов, борцу за мечту о «золотом веке» человеческого братства.

Жюль Верн, конечно, и утопист. Он весьма щедро использует (насыщая своим содержанием) широко известные утопические сюжеты. Скажем, Таинственный остров — разве он не сродни хорошо знакомым «рахманским» островам счастья? Все здесь щедро предуготовано природой: и обильная живность, и дивный климат...

Но, пожалуй, на этом сходство и кончается. На «рахманских» островах всего вдоволь — только бери и наслаждайся! На острове Жюля Верна путь к счастью лежит через упорный труд и крепкую волю человека, еще точнее— через ассоциацию свободных тружеников, вооруженных научными знаниями. Немного в мировой литературе найдется произведений, в которых был бы так опоэтизирован свободный труд, пребывающий в прочном содружестве с наукой! На всю жизнь запоминаем мы, как Сайрусу Смиту удалось добыть огонь с помощью стеклышек от наручных часов и выплавить металл, что называется, голыми руками, но руками, которыми руководит совокупная сила человеческого разума, воплощенная в знании.

В знании — и в свободе Личности. Таков идеал великого фантаста. Он хорошо знал: знания и техника в руках враждебных миру и человеку сил могут стать проклятьем для людей, грозной опасностью для всего человечества. Последовательный демократ и оптимист, Жюль Верн мечтает о мире без войн, без эксплуатации человека челове-

ком. Ледовой тропою Гаттераса, подводными трассами Немо писатель шел к идее справедливости и счастья, к идее гармонии общества, техники и человека.

Закономерно, что именно этот писатель стал автором одного из самых первых и самых сильных романов-предупреждений. «Пятьсот миллионов бегумы» — это страстный призыв к миру, это одно из самых ранних и ярких художнических предвосхищений фашизма со всеми его ужасами и бесчеловечностью. Мрачный Штальштадт (стальной город), угрюмый злодей Шварц— во всем этом проступают зловещие контуры гитлеровского «тысячелетнего рейха».

Идут годы и десятилетия, сменяются поколения, и для каждого из них наступает сладостный миг знакомства с миром, созданным буйной фантазией и добрым сердцем бессмертного Жюля Верна. И вот уже поет свою песню веселый ветер странствий, скрипят мачты парусника бесстрашного капитана Гранта — и мы отправляемся в дальний путь за Мечтой, за новыми знаниями, за новыми друзьями, на помощь всем, кто угнетен, кто обижен, кто жаждет свободы. Без книг Жюля Верна невозможно представить себе формирование подлинно гуманистической, волевой, жизненно активной личности. Великий труженик, автор более чем сотни книг (с ним сравнится разве лишь Дюма-отец), Жюль Верн неустанно и добросовестно работает на будущее.

Счастливый дар, счастливая судьба!

Ядро творчества Жюля Верна — в мощной проповеди величия Человека творящего, думающего, открывающего, борющегося. Такая проповедь активной и земной человечности стала отличительной чертой передовой революционно-демократической литературы «века Маркса». Это был поистине исторический поворот от индивидуализма, возвеличивания героя-одиночки к осознанию неодолимой силы трудового коллектива, силы объединенных масс, которые только и могут вывести человечество из буржуазного ада. Литература начинала вырабатывать новый язык; и это был язык борьбы и солидарности.

Одним из тех, кто услышал в грозном рокоте «потопа всемирного» (В. Гюго) торжествующую песнь созидания, голос новых жизнетворящих социальных сил, был великий американский поэт-демократ УОЛТ УИТМЕН (1819—1892 гг.).

Читая Уитмена, вслушиваясь в волшебные шорохи его «Листьев травы», невольно приходишь к неожиданному сравнению из области, весьма далекой от художественной литературы. Вспоминается рабочий-кожевник Иосиф Дицген, философ-самоучка, самостоятельно открывший материалистическую диалектику. Подобно ему Уитмен, не будучи социалистом по формальной партийной принадлежности, всем пафосом и содержанием своего творчества шел к социализму, утверждал его идеалы.

Он говорил языком социализма естественно и свободно, без какой-либо натужности или аффектации. Он пел Человека, Труженика, Борца — и само собой выходило, что он пел Революцию.

Крепкими босыми ногами прошагал Уитмен по жестким дорогам жизни, дрался за идеалы демократии и свободы не только стихом, но и винчестером — в схватках с расистами Юга. Невзгоды, болезни, скудный быт, угрюмое недоверие близких к его поэтическому труду... Было от чего ожесточиться, стать мизантропом, отвернуться от горестей людских.

Но вместо этого в его лице явился миру, многим поколениям людей мудрый и веселый жизнелюбец, преданный рыцарь Мечты о всечеловеческом братстве трудящихся.

Уолт Уитмен воспевал общечеловеческий трудовой коллективизм, совокупную мощь человеческого разума, интернациональное братство людей. Он неустанно разрабатывал неисчерпаемую тему пушкинского прозрения о временах, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся».

Чувство локтя миллионов людей придавало поэзии Уолта поистине космический масштаб. Гениальной интуицией уловил он «тесноту земной колыбели» и, веря, подобно Циолковскому, в безграничную мощь разума и сплочения людей, заявлял: «Когда мы овладеем всеми этими шарами вселенной, и всеми их усладами, и всеми их знаниями, будет ли с нас довольно? И моя душа сказала: «Нет, этого мало для нас, мы пойдем мимо — и дальше».

Это было написано за сто лет до полета первого искусственного спутника Земли.

И трудно сказать, за сколько лет до желанной «вселенской гармонии». Но взгляд поэта пронзает тьму времен. В движении живой природы, в слиянности с нею человека находит Уитмен линию жизни, ведущую «мимо — и дальше», в бесконечность познания и творчества. Поэт рассматривает человека не как владыку вселенной, который порабощает, подчиняет природу, а как садовника, работающего в согласии с природой — для всего мира и человечества.

«Каждый листок есть чудо»,— восклицал Уитмен. Он мечтал «быть матросом вселенной, мчаться во все гавани мира». В пропитанной прагматизмом Америке конца прошлого века космические восторги поэта, адресованные всему живому, воспринимались иронически, как чудачества человека блаженного, «не от мира сего». Сегодня, на пороге глобального экологического кризиса, великий чудак становится одним из самых современных и актуальных мыслителей.

Уитмен верил, что литература спасет мир. «Заветнейшая мечта моя,— писал он,— заключается в том, чтобы поэмы и поэты стали интернациональны и объединяли все страны, какие только есть на земле, теснее и крепче, чем любые договоры и дипломатия».

Преувеличение несомненное, но разве не таится в нем момент истины, подступ к идее служения литературы миллионам и миллионам людей?

«Я буду счастлив,— мечтал поэт,— если меня услышат, если со мной войдут в эмоциональный контакт великие народы России». Услышали!

«Уолт Уитмен...— писал М. Горький,— Верхарн и Уэллс, А. Франс и Метерлинк — все они, начав с индивидуализма и квиетизма*, дружно приходят к социализму, к проповеди активности, все громче зовут человека к «слиянию с человечеством».

Об Уитмене, чья поэтическая речь, окрыленная надеждой, раскаленная гневом, обрела «подлинность молнии», можно сказать его же собственными словами, посвященными Р. Бернсу: «Без таких, как он... не было бы обещания грандиозного будущего».

Сквозь космическую призму разглядел «обещание будущего» в судьбах мира и другой певец надежды — великий бельгийский поэт ЭМИЛЬ ВЕРХАРН (1855—1916 гг.).

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что человечество ныне как бы заново открывает для себя Верхарна. Настолько близки его поэтические пророчества и предчувствия всему тому, чего мы достигли, что тревожит и обнадеживает нас в последней трети XX века — века, порог которого он успел переступить в расцвете таланта и славы.

В начале своего творчества Верхарн как бы весь в прошлом. Он славит прочный, неспешный деревенский уклад, простые плотские утехи «горацианского» счастья на лоне природы. Но в стилизованный поэтический мир безжалостно врывается реальность: разбухают от крови «города-спруты», гибнут деревни, «поля в бреду»... Жизнь теряет не только свежесть красок: кругом пирамиды лжи, подлости, грязи, бессмыслицы.

Перед Верхарном, честным художником, неумолимо возник извечный (Пушкиным отлитый в формулу) вопрос: «Куда ж нам плыть?..»

В сторону добра, труда и разума! Так ответил поэт всем своим последующим творчеством. И не в силу одной только субъективной честности (хотя это всегда дорого стоит). Такая была эпоха: все честное, мыслящее, совестливое поворачивалось к социализму. Сотрудничество Верхарна с бельгийскими социалистами, выступления с лекциями в народных домах — это больше, чем факт биографии. Это преодоление отчаяния, очищение любовью к людям, природе, женщине, воодушевление идеей бесконечного развертывания во времени и пространстве сил объединенного человечества.

Он предугадывает, предсказывает будущее, выводя его не из чистой мечты, не из благих желаний, но из анализа (разумеется, анализа поэтического!) противоречий современности, взаимодействия социальных сил, воздействующих на движение общества. Он славил союз труда, революции и науки, неукротимое стремление человека к Истине. Прометеевский мотив домини-

* Квиетизм (*латин.*) — проповедь пассивно-созерцательного отношения к жизни, отказа от активной деятельности и борьбы.

рует в его зрелой поэзии. Мотив дерзания и любви к людям. Мотив Человека — Кузнеца своего счастья.

Похищенный огонь опять у нас в руках.
Пусть изменяются с веками наши души,
Все та же в них любовь, чья буря, словно прах,
В одно мгновение сметает равнодушье.

Человек, «странник вечности», искатель, труженик, бунтарь не просто равен богам — он выше их, он сильнее самой смерти: «В пространстве время удержать способен плодоносный гений!» Оставаясь Поэзией с большой буквы (ничуть не риторикой), философская лирика Верхарна стремилась объять времена и миры, уловить диалектику вечного движения и обновления жизни.

Не это ли неудержимо влекло к нему В. И. Ленина, который по ночам зачитывался стихами Верхарна? Жажда познания, радость полноты жизни в согласии с природой, убежденность в том, что «жизнь в могуществе своем превыше истины и заблужденья», что «мир состоит из звезд и из людей...» — все это соответствовало ленинскому мироощущению, ленинскому масштабу личности.

Вершина творчества Верхарна — социальная драма «Зори», пьеса о гибели несправедливой (буржуазной) общественной системы, о благодетельности революционного насилия. Последний акт драмы вызывает в памяти расправу парижских коммунаров с ненавистным символом войны и угнетения — Вандомской колонной. (Вообще, заметим в скобках, не исключено, что сам сюжет «Зорь» навеян героикой Коммуны.) Жители Оппидомани низвергают статую Власти с криками: «Она была смертью! Она была преступлением! Долой ее! Долой!» И как обещание новой жизни звучат пророческие слова: «А теперь пусть загораются Зори!»

Мы ни на минуту не должны забывать о том, что обратившиеся к социализму писатели, поборники активного гуманизма — гуманизма деяния и творчества — работали в социальной и нравственной атмосфере, мало подходящей для оптимизма. Буржуазные пророки предрекали закат культуры, призывали отвернуться от разума, поэтизировали распад, ужас, смерть... Воздух эпохи был буквально отравлен мистицизмом, страхом перед революцией, перед будущим. На этом мрачном фоне «просвещенного невежества» тем ярче сверкали высокие звезды истинной поэзии, поэзии борьбы и надежды.

Однако время властно призывало передовых художников не только утверждать права светлой мечты, не только звать людей к братству. Все более настоятельными становились задачи выдвижения позитивных социальных альтернатив.

Одним из гигантов европейской культуры, создавшим на рубеже веков интереснейшую «литературную модель» социалистического будущего, был французский прозаик АНАТОЛЬ ФРАНС (1844—1924 гг.).

Он вынес беспощадный приговор двум самым ходячим, самым живучим — по сей день — легендам буржуазного сознания: о «миролюбии» капитализма и его «демократизме». На долгие годы Франс отдался «прекрасной работе разрушения» (М. Горький), работе по разоблачению буржуазного мира, работе прекрасной, ибо он разрушал безобразное во имя утверждения истины и красоты.

Светом мечты пронизаны все, казалось бы, самые пессимистические сатиры и фантасмагории Франса. Она, мечта, не давала сойти с ума, изувериться, впасть в отчаяние среди жестоких выскочек и холодных убийц. Он выдержал, потому что был «всесторонне и глубоко связан с духом своего народа» (М. Горький).

Разрушая — утверждать; веря в будущее — созидать лучшее в человеке. Таков Франс. «Медленно, но постоянно человечество осуществляет мечты мудрецов» — таким было его кредо.

В ряду мировых шедевров: сатиры Рабле, Свифта, Салтыкова-Щедрина, по праву стоят «Остров пингвинов» и «Боги жаждут» Франса. Грядущее же долго связывалось в сознании писателя с утопией возрождения гуманизма Древней Эллады. «Я дожидаюсь того пока еще далекого дня,— писал Франс,— когда великий Дионис в сопровождении фавнов и вакханок придет, чтобы вновь научить смертных радости и красоте и вернуть им золотой век. Ликующий, я пойду за его колесницей».

Золотой век... Но какие «кони», какие

исторические силы примчат из прошлого лучезарную колесницу бога Радости? Интеллигент до мозга костей, Франс долго не мог обратить взор к революции: пугала зловещая перспектива испепеления, гибели культуры и искусства в беспощадном пламени бунта. Знакомая роковая черта; ее же не перейдешь...

Через сомнения и отчаяние, через эпикурейскую отрешенность, монтеневский скепсис движется Франс к новым силам — к социалистам. Гроздья гнева сатирика несли в себе добрые семена надежды.

Знаменательный факт: первые главы романа-утопии «На белом камне» печатаются в первом номере газеты французских коммунистов «Юманите».

А. Франс не скрывал вторичности сюжета своего произведения. Главный герой его, Инпомий Дюфрен, чудесным образом просыпается в 2270 году и узнает, что в большинстве стран Европы утвердился социалистический строй.

Как же выглядит этот долгожданный новый мир? Франса интересуют преимущественно судьбы личности. И, к радости, все вокруг свидетельствует о раскрепощении человека, об атмосфере взаимного людского уважения, доверия, сотрудничества, о культуре красоты. В фундаменте этой жизни — всеобщий труд и полная отмена частной собственности. Идея грубой уравнительности «снимается», отвергается правилом: «К чему доискиваться, равны ли люди между собой? Надо следить за тем, чтобы каждый давал обществу все, что может дать, и получал все, в чем нуждается» (А. Франс).

Весьма характерное: «надо следить!». Франс скептически относится к перспективе изменения эгоистической природы человека и потому не мыслит будущего без определенной регламентации, контроля, жестких обязанностей личности перед обществом и т. п. Горечь сквозит в словах: «нет никаких оснований надеяться на победу справедливости», на то, что люди сделаются лучше .

Противоречие? Да. Франсу, как и многим его предшественникам, социализм представляется обществом заорганизованным, технизированным, чересчур рациональным. «Ребяческим снам» поэзии в нем нет места, искусство подчинено лишь целям облагораживания среды человеческого обитания, целям воспитания. Прекрасно, но душе — холодно...

И все же Франс, подобно Гейне, приемлет социализм; и потому, что он все равно наступит (здесь явно сквозит оттенок фатализма!), и потому, во-вторых, что он обеспечивает подавляющему большинству людей достойное существование в условиях достатка, солидарности и мира.

После поражения первой русской революции А. Франс надолго погрузился в пучину безверия. Он усомнился в возможности предвидения будущего. Ему начинает казаться, что история совершает жестокие, не постижимые разумом круги...

Из этой мучительной духовной депрессии А. Франса вывела Великая Октябрьская революция, которую он сразу принял своим пылким сердцем. Более того: на склоне дней писатель гордо и громко назвал себя коммунистом. Он одним из первых обрушился на врагов Республики Советов.

Он постиг великую истину: «Россия — это страна, где сбывается и невозможное!»

В ряду деятелей культуры последних десятилетий «несоциалистического» XIX века особое место принадлежит художнику и поэту, архитектору и теоретику эстетики, социальному мыслителю и писателю УИЛЬЯМУ МОРРИСУ (1834—1896 гг.).

Для нас он интересен и важен прежде всего как автор первой «неутопической утопии» и последней собственно утопии. Он был одновременно социалистом, и поэтом, и утопистом, и социальным борцом.

«Вести ниоткуда, или Эпоха спокойствия» — главное сочинение Морриса — принципиально отличается от всех предшествующих и современных ему утопий тем, что оно пронизано чувством уверенности в победе коммунизма. Не какие-то правдоподобные частности привлекают в романе Морриса (многие из них, кстати, весьма условны и спорны), но глубокое понимание закономерного хода раскрепощения человечества.

«Вести ниоткуда» — не просто беллетризованная лекция об одном из возможных вариантов будущего. Это живая, полная света, красок, искренности и даже прелестной наивности картина жизни духовно, нравственно и физически здорового общества,

абсолютно свободного от какого бы то ни было принуждения. Как просверки молний, чудятся нам в новой Англии Морриса то Телемское братство («Делай что хочешь»), то вольные нивы вольных крестьян из «Завещания» Мелье. Только теперь частицы старых утопий по-новому и органично вплетены в социальное целое, имя которому — коммунизм, построенный свободным трудом свободных людей, потомков и наследников пролетариата XIX века.

В высшей степени интересно, что в утопии Морриса главное внимание сосредоточено не на технике будущего (а это было модой почти всех тогдашних утопий!), а на воссоздании социального климата и природной среды коммунистического общества. Гораздо больше, чем вопрос о технологии будущего, писателя занимают проблемы человеческих отношений и «природы» человека.

Здесь социалист Моррис делает принципиальный шаг вперед в сравнении с гуманистом Франсом. «Природа» человека не вечна; она есть продукт социально-экономических структур и потому может быть изменена.

Старик Хэммонд в беседе с главным героем романа, «двойником» самого Морриса, произносит знаменательные слова: «Человеческая природа!.. Какая человеческая природа? Природа нищих, рабов, рабовладельцев или природа обеспеченных, свободных людей?»

В формировании «природы» людей будущего не участвуют корысть, стяжательство, жадность, нищета и угнетение. Очищение человеческой души — естественный результат очищения всего социального организма от старой скверны. Пороки, приписываемые человеку как таковому, суть следствия капитализма. «Греховность» человека лишь зеркально отражает глубинную аморальность собственничества. Коммунизм обеспечивает высвобождение, раскрытие и расцвет человечности в человеке — это одна из главных и наиболее глубоких идей романа. Потому-то и называют утопию Морриса «неутопической». Она была скорее предвестником научной социальной фантастики как одного из способов научного прогнозирования будущего. Вместе с тем в «Вестях ниоткуда» прослеживается внутренняя, органическая связь и с народной мечтой о справедливом и счастливом для всех обществе. Над Англией Морриса безоблачное небо! Разве это не отблеск неумирающей народной надежды? Простота, естественность, жизнерадостность ее людей — разве это не Кокейн, только возрожденный на качественно иной, трудовой и научной основе?

О концепции труда в сочинении Морриса следует сказать особо. Одна из глав даже носит весьма дерзкое название: «О недостатке побудительных причин для труда в коммунистическом обществе». Он прекрасно знал: именно в этом пункте — камень преткновения для многих и многих утопистов и сочувствующих социализму попутчиков.

У. Моррис решает вопрос так: «Истинным стимулом для труда должна быть радость, исходящая из самого труда». Труд превращается в «приятную привычку», а главное, «у мастера своего дела возникает чувство глубокого удовлетворения выполненною работою».

Здесь на минуту остановимся. Морриса принято упрекать в тенденции к медиевизму, то есть к идеализации средневековья. Скажем прямо: тенденция такого рода ощущается в «Вестях ниоткуда». Много говорится о месте и роли ручного труда; сама архитектура XXIII века поразительно напоминает... век XIV; оттенки цеховой регламентации улавливаются в описании трудовых процессов, коллективных трапез и т. д.

Тенденция-то есть. Но главное в том, что у Морриса ощущается тоска по цельному, не разъятому на части машинным процессом труду. Напомним, что У. Моррис был и художником и архитектором. И его всю жизнь сжигала жаркая мечта о сближении и слиянии разъятого: труда и искусства, ремесла и художественного творчества, целесообразности и красоты. Вот тогда (и только тогда!), верил Моррис, труд перестанет быть проклятием, а будет высшей радостью, какая при капитализме недоступна никому, кроме привилегированных одиночек (а к ним относился и сам Моррис). Впрочем, даже у этих одиночек радость чаще всего бывает отравлена сознанием доступности ее только одиночкам...

Не возводите напраслину на человека, заявляет Моррис, не приписывайте его «природе» некое извечное тяготение к лености и безделью. Следует «перевернуть»

отношение труда и человека: труд — для человека, его способностей, интересов, потребностей, а не наоборот. И тогда пробудится «инстинкт прекрасного», «стремление выполнять свою работу как можно лучше».

Место жестоких и ограниченных, бесчеловечных стимулов к труду (угроза голода, жажда наживы и т. п.) займет один, но наиболее глубокий, соответствующий общественной сущности человека стимул: потребность в творчестве, в труде как разновидности творчества. У Морриса труд по способностям — первичен, распределение по потребностям — вторично.

Кстати сказать, сами эти потребности тоже — и существенно — меняются, очищаются от коросты излишеств, капризов моды, безудержной престижности и т. д. Люди будущего, по убеждению Морриса, будут считать главной, высшей ценностью бытия общение, сотрудничество, взаимопомощь. Они перенесут центр тяжести, центр своих усилий с комфорта материального в сферу эмоциональных и духовно-нравственных ценностей. При этом, разумеется, мир коммунистического человека будет полон красивых и добрых вещей, помогающих человеку радоваться и творить, но не порабощающих его.

Всю заключительную часть романа (около трети его объема) занимает описание путешествия «пришельца» по обновленной Англии. Пожалуй, это наиболее живописные страницы, порой создающие у читателя прямо-таки магическую иллюзию соприсутствия и сопереживания.

...Литература шла навстречу социализму. Социализм властно овладевал умами и сердцами самых дальновидных, самых гуманных художников.

Их было еще немного. Еще только расправлял могучие крылья «буревестник революции», великий пролетарский писатель и основоположник социалистического реализма, русский самородок Максим Горький. Но первые зерна уже упали на благодатную социальную почву и дали живые зеленые побеги! И Уитмен, и Верхарн, и Моррис, а чуть позже Джек Лондон заложили первые камни в фундамент новой культуры будущего.

Это были драгоценные камни! Не риторика, не «тенденция» в обнаженном виде, не иллюстрация к идеологическим тезисам, но самородная, истинно художественная, согретая великой надеждой на великие перемены,— вот какой была эта литература.

Она помогала расшатывать «оптимизм буржуазного мира», она вселяла «сомнения по поводу неизменности основ существующего» (Ф. Энгельс). Она перебрасывала мост от общечеловеческой Мечты к реальной борьбе.

ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

«Теория, друг мой, сера...» Эти мудрые слова из «Фауста» любили повторять и Маркс, и Энгельс, и Ленин.

Зелено вечное дерево жизни!

Нетерпение сердца — оно в высшей степени было присуще основоположникам научного коммунизма. Раньше всех других прогнозов на будущее им открылась бездна ужасов, несчастий, смертей, страданий, которые грядут, если... если капитализм продлит свое существование, если сатана по-прежнему будет «править бал».

И отсюда нетерпение, жажда исполнения приговора истории во имя человечества и самой истории. Отсюда ранняя, яростно-радостная (и, увы, недолгая) надежда, что уже 1848 год будет последним днем буржуазной «Помпеи». Они поймут, чуть позднее, что ошиблись, что потенции капитализма далеко еще не исчерпаны...

«Но такие ошибки гигантов революционной мысли, поднимавших и поднявших пролетариат всего мира над уровнем мелких, будничных, копеечных задач, в тысячу раз благороднее, величественнее и исторически ценнее, правдивее, чем пошлая мудрость казенного либерализма...» (В. И. Ленин). Великие, вещие слова! Учиться на собственных ошибках и поражениях, учиться преодолевать самые соблазнительные иллюзии — вот самый верный путь к Истине.

И еще — учиться у жизни, учиться у народа, у истории. Здесь, и только здесь, объяснение «фантастической», «сверхъестественной» жизнеспособности, долговременности и удивительной точности гениальных научных предвидений Карла Маркса, Фридриха Энгельса, а затем Владимира Ильича Ленина.

Услышать зов будущего в грохоте социальных битв они умели как никто другой. Когда 18 марта 1871 года грянула громом победы Парижская коммуна, у Маркса не было иллюзий относительно краткости мига этой победы. Но он восхищенно преклонился перед подвигом коммунаров. Пролетарский вождь возвысил его в веках, создав гениальный, потрясающий образ борцов, «готовых штурмовать небо». Еще не успела развеяться пороховая гарь на улицах поверженного Парижа, как Маркс оглашает на заседании Генерального совета I Интернационала свою «Гражданскую войну во Франции» — гениальную картину социального творчества трудящихся масс, шедевр философско-исторической мысли и политической публицистики.

В хрестоматийном разделе читатель познакомится с отрывками из этой работы, и прежде всего с теми, где во всем величии раскрываются уроки Парижской коммуны, выявляется ее всемирно-историческое значение. Огромной силы выразительности исполнены и те страницы книги, где Маркс клеймит палачей Коммуны — от проходимца Жюля Фавра до отвратительного карлика, «обезьяны-тигра» Тьера.

Коммуна помогла Марксу открыть целый исторический период перехода от капитализма к коммунизму, политической формой которого должна быть диктатура пролетариата как диктатура трудящегося большинства. В 1875 году в «Критике Готской программы» Карл Маркс сформулировал учение о двух фазах развития коммунистического общества.

...С той поры минуло более ста лет. XX век — век самых неожиданных и причудливых зигзагов истории, век неисчислимых чудес и пугающих парадоксов научно-технического прогресса, век войн и революций — подвергнул самой суровой проверке всю совокупность научных предвидений и прогнозов на будущее, содержащихся в теории научного коммунизма, в трудах ее основоположников.

«Жизнь человечества развивается не по Марксу»; «оптимизм Маркса не выдержал испытания временем»; «идея наращивания свободного времени как главного общественного богатства обернулась эскалацией морального одичания...» Не счесть нападок и крикливых «опровержений» марксизма, в которых упражняются и поныне силы мировой реакции — от прямых апологетов власти капитала до разуверившихся в прогрессе «розовых» либералов. Воистину: поют отходную! Только марксизму ли?!

«История движется не по Марксу...» — потому, видите ли, что на земле по-прежнему царят насилие и голод, а безумная роскошь немногих цветет на мрачном фоне обездоленности большинства. Пароксизмы бессмысленной жестокости, добровольное одичание, бесчувственный разврат, невежество и эгоизм — таков западный «буйный Рим» конца XX столетия, в такие дебри зла завели его,— но не коммунисты, а «патриции» капитализма...

Нет, история движется по Марксу и Ленину! Открытые ими закономерности социального прогресса неотвратимо проламывают дорогу в будущее сквозь все препоны, воздвигаемые на их пути прагматическим буржуазным рассудком. Проламывают вопреки подчас уродливым, иррациональным формам сопротивления... Однако временные поражения и трудности восхождения к Мечте неизбежно обернутся победой человечества и человечности, а иллюзорное «долгожительство» буржуазного строя — его неминуемым поражением.

Разум в конце концов возьмет верх! Однако гниение «живого трупа» капитализма все больше отравляет атмосферу жизни человечества — и в прямом , и в духовно-нравственном смысле. Разве все это не доказывает правоту генерального прогноза марксизма-ленинизма о благодетельной, а теперь уже — *спасительной* — необходимости преобразования мира на началах социализма?

Сегодня, как и вчера, нельзя исключать грозной возможности попятных шагов прогресса, временных успехов буржуазии на отдельных участках фронта борьбы с коммунизмом. Однако по-прежнему хорошо роет «старый крот» истории! И по-прежнему великой правды полны гордые слова: «Победим мы, рабочие!» (М. Горький). Рабочие, вооруженные теорией марксизма-ленинизма. Рабочие, ставшие хозяевами жизни, хозяевами будущего в огромном и могучем лагере Добра — лагере реального социализма. Рабочие, на стороне которых справедливость истории.

«...Коммунистический принцип является принципом будущего, за это говорит ход развития всех цивилизованных наций, за

это говорит быстро прогрессирующее разложение всех существовавших до сих пор социальных учреждений, за это говорит человеческий здравый смысл и прежде всего человеческое сердце» (Ф. Энгельс).

Маркс и Энгельс дали лишь принципиальные ответы на вопросы о ступенях и формах восхождения к коммунистическому Идеалу обновления жизни человечества на началах разума, справедливости и гармонии. У них, говоря словами В. И. Ленина, никогда не было и тени попыток попустому гадать насчет того, чего знать нельзя.

Дать конкретные ответы, прочертить на «карте будущего» стратегические линии, ведущие к светлому грядущему, выпало на долю большевиков России. В работах В. И. Ленина были диалектически сопряжены, сцеплены воедино отдаленные цели революционной борьбы — и ближайшие задачи раскорчевки старого мира, созидания социализма «из тех людей, которые воспитаны капитализмом, им испорчены, развращены, но зато им и закалены в борьбе».

Самым сложным, трудно преодолимым препятствием на пути пролетариата сразу же после победы над открытыми врагами революции была страшная сила привычки миллионов к тому, что все вокруг чужое (а так оно и было веками), а потому не зевай, коли плохо лежит, постарайся урвать для себя кусок побольше да пожирнее... Не мое — значит, будто бы и ничье. Государственное? Но как долго надо приучать людей к тому, что «государство — это мы», это — н а ш е! Страшная сила привычки раба, мелкого собственника, чиновника, страшная инерция психологии человека, «который заботится только о том, чтобы иметь свое, а до другого ему дела нет...» (В. И. Ленин).

Стихии расхлябанности, обывательщины, хищничества победивший пролетариат противопоставил революционный порядок, сознательность и фабричную дисциплину, трудовую солидарность и творческое соревнование.

...Свобода — и фабричная дисциплина? Возможно ли такое? Не измена ли это идеалу, принципам?

Нет, не измена. «Свобода вообще» есть необузданная, неограниченная и потому враждебная обществу свобода «дрянного индивида», синоним индивидуализма. Такую, с позволения сказать, свободу, уводящую людей — и самого индивида тоже! — в непроходимые дебри анархизма и деградации, социализм самым недвусмысленным образом отвергает как не-свободу!

Но и «фабричная дисциплина», контроль, шире говоря — диктатура (пусть и большинства над меньшинством) — вовсе не вечная цель, а лишь необходимая ступень чистки авгиевых конюшен старого мира. Чем дальше, тем больше государство рабочего класса разворачивает свои творчески-созидательные и воспитательные функции.

Во всей своей деятельности оно опирается на духовную и моральную силу передового класса, на лучшее в человеке, втягивая его на арену великой исторической самодеятельности, активного участия в строительстве и управлении делами нового общества. Оно опирается на растущее могущество науки и техники, планомерно организованных в интересах всего общества. Оно приводит в действие необъятный арсенал прогрессивного культурного наследия, дает простор творчеству новых, из глубин народа вышедших, интеллектуальных и художественных сил. Такова реальность социализма; и в этом его историческая неодолимость!

...Всестороннее развитие индивидуальности по ту сторону изнурительного физического труда испокон веков было уделом людей избранных, свободных для умственных, художественных и прочих возвышенных занятий. Но даже самым мудрым и благородным из них разрыв корней, связующих с народной почвой, мстил духовной ограниченностью, эстетством, трагедией одиночества, неверия в торжество добра...

Коммунизм, конечно же, не упраздняет труд, но он превращает его в первую жизненную потребность, освобождает от проклятья принудительности, каторжной неизбежности, срывает маску уродства, когда на одном полюсе гипертрофируется голова (труд умственный), а на другом — руки (труд физический).

Свободная, «вольная» жизнь, предполагающая свободу выбора человеком занятий по своим склонностям, не требующая сверхчеловеческих усилий для того, чтобы

поступать по совести, не во зло, а на благо людям, постепенно обеспечит преобразование в привычку некоторых абсолютных социальных и нравственных норм поведения. И уже не нужны будут внешние, чуждые индивиду силы, которые преграждали бы пути его мечтам и желаниям. Самой «выгодной», самой полезной и для индивида, и для общества станет альтруистическая мораль, мораль коллективизма и взаимопомощи, сочувствия и справедливости. Война в человеке «ангела» и «зверя», битва между общественным долгом и эгоистическим желанием покажутся нашим потомкам такой же дикостью, как жизнь без огня, как небо без звезд.

Точно такою же дикостью покажутся будущим поколениям и сами войны — тысячелетняя жуткая практика истребления и порабощения людей. «Союз рабочих всех стран, в конце концов, искоренит всякие войны» (К. Маркс) — вот железная, непоколебимая линия научного коммунизма. Ибо коммунизм и мир неразделимы, как жизнь и солнце.

«В противоположность старому обществу с его экономической нищетой и политическим безумием,— писал Карл Маркс,— нарождается новое общество, международным принципом которого будет — мир, ибо у каждого из народов будет один и тот же властелин — труд!» Таково кредо марксизма, его суть, его воля, его Мечта!

И снова — если...

Если народы мира сегодня и завтра — ведь послезавтра может быть поздно — сумеют парализовать силы безумия, толкающие мир в адское пекло термоядерной катастрофы.

Исторически обреченный капитализм судорожно цепляется ныне за последний свой шанс на выживание — за смертоносное оружие как единственное средство «сдерживания» социализма, отбрасывания вспять мирового революционного процесса. С каждым днем, словно атомный гриб, разбухают военные бюджеты, бушует оголтелая психологическая война против социалистического содружества. При этом основная ставка ныне сделана на самый безумный и злобный миф XX века — миф о «советской военной угрозе». Поджигателям новой мировой войны нет дела до того, что в самой природе социализма, в природе человека, рожденного Октябрем, не заложено ни грана милитаризма, шовинизма, расового или национального чванства. Что им до десятков миллионов жизней, которыми мы заплатили за свою Мечту, за свою победу! Что им, наконец, до того, что ленинская теория мирного сосуществования, вся наша советская история опровергают примитивные назойливые вопли о «кровожадности» коммунизма, у которого будто бы нет иных помыслов, кроме как о скорейшем мировом господстве...

Врете, господа!

Мы не торопимся, мы лишь в начале пути. И поэтому нам не нужна война. Мы знаем — время за нас. История — за нас. «Наша философия мира — это философия исторического оптимизма» (Л. И. Брежнев). Вот почему такого огромного, подлинно глобального смысла исполнена титанически трудная, сложная борьба, которую неустанно ведут наша партия, ее Центральный Комитет, начиная с 7 ноября 1917 года, за предотвращение войн, за мир во всем мире, за самое священное и неотъемлемое право человека — право на жизнь, право на будущее.

Сегодня проблема оздоровления международного климата, проблема разоружения стали поистине вопросом вопросов для судеб всего человечества. Военные расходы в мире сегодня достигли фантастических размеров и постоянно растут, в то время как человечеству не хватает средств, чтобы повсюду на Земле покончить с голодом, болезнями и неграмотностью, разрешить сложные, подчас кризисные ситуации в области энергетики, роста народонаселения, охраны окружающей среды.

Подумать только: в век атома и освоения космоса, в век электроники сотни миллионов людей гибнут от недоедания и болезней, пребывают во мраке предрассудков и отчаяния...

«Мы видим, что машины, обладающие чудесной силой сокращать и делать плодотворнее человеческий труд, приносят людям голод и изнурение... Даже чистый свет науки не может, по-видимому, сиять иначе, как только на мрачном фоне невежества».

Это сказано о мире капитализма будто бы сегодня. На самом деле эти суровые, леденящие сердце слова Маркс произнес более ста лет тому назад! Но и сегодня прогрессирующее безумие капитала пре-

вращает дары прогресса в проклятье, успехи науки — в угрозу для жизни на Земле.

Сегодня, как и сто лет назад, умничающие безумцы твердят о невозможности всех накормить, обучить, согреть теплом добра и солидарности... На это можно ответить: давайте положим (для начала) на чашу весов жизни сотни миллиардов долларов смерти, обратим их во благо, а не во зло людям — как омолодится сразу, как расцветет и потеплеет наша Земля!

Развитие цивилизации каждодневно подтверждает истинность прогноза марксизма-ленинизма о всемогуществе объединенного человечества. Объединенного и освобожденного человечества!

Слияние революции, прогресса и общечеловеческой культуры — вот «тайная тайных» неодолимости движения человечества к коммунизму. Волею, разумом, силой рабочего класса ликвидируется пропасть между Мечтой лучших умов человечества о гармонической личности, облагороженной науками и искусствами, и Мечтой народных масс о великой Правде и социальной справедливости.

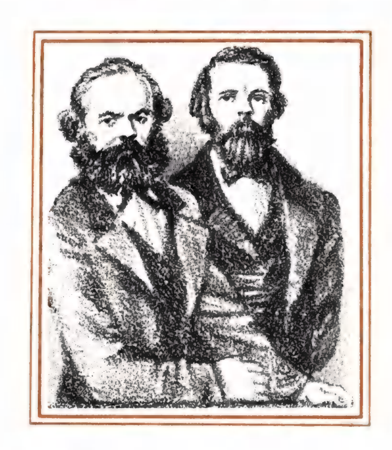
Велик, прекрасен и счастлив будет Человек!

Будет!

ИСТОЧНИКИ. ФРАГМЕНТЫ. СТИХИ



К. МАРКС, Ф. ЭНГЕЛЬС



«МАНИФЕСТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ»

Отрывки

Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские.

Где та оппозиционная партия, которую ее противники, стоящие у власти, не ославили бы коммунистической? Где та оппозиционная партия, которая в свою очередь не бросала бы клеймящего обвинения в коммунизме как более передовым представителям оппозиции, так и своим реакционным противникам?

Два вывода вытекают из этого факта.

Коммунизм признается уже силой всеми европейскими силами.

Пора уже коммунистам перед всем миром открыто изложить свои взгляды, свои цели, свои стремления и сказкам о призраке коммунизма противопоставить манифест самой партии.

* * *

...Буржуазия сыграла в истории чрезвычайно революционную роль.

Буржуазия, повсюду, где она достигла господства, разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывавшие человека к его «естественным повелителям», и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного «чистогана». В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод *одну* бессовестную свободу торговли. Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой.

* * *

...Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянно переворотов в орудиях производства, не революционизируя, следовательно, производственных отношений, а стало

быть, и всей совокупности общественных отношений. Напротив, первым условием существования всех прежних промышленных классов было сохранение старого способа производства в неизменном виде. Беспрестанные перевороты в производстве, непрерывное потрясение всех общественных отношений, вечная неуверенность и движение отличают буржуазную эпоху от всех других. Все застывшие, покрывшиеся ржавчиной отношения, вместе с сопутствующими им, веками освященными представлениями и воззрениями, разрушаются, все возникающие вновь оказываются устарелыми, прежде чем успевают окостенеть. Все сословное и застойное исчезает, все священное оскверняется, и люди приходят, наконец, к необходимости взглянуть трезвыми глазами на свое жизненное положение и свои взаимные отношения.

* * *

...Буржуазия менее чем за сто лет своего классового господства создала более многочисленные и более грандиозные производительные силы, чем все предшествовавшие поколения, вместе взятые. Покорение сил природы, машинное производство, применение химии в промышленности и земледелии, пароходство, железные дороги, электрический телеграф, освоение для земледелия целых частей света, приспособление рек для судоходства, целые, словно вызванные из-под земли, массы населения,— какое из прежних столетий могло подозревать, что такие производительные силы дремлют в недрах общественного труда!

Итак, мы видели, что средства производства и обмена, на основе которых сложилась буржуазия, были созданы в феодальном обществе. На известной ступени развития этих средств производства и обмена отношения, в которых происходили производство и обмен феодального общества, феодальная организация земледелия и промышленности, одним словом, феодальные отношения собственности, уже перестали соответствовать развившимся производительным силам. Они тормозили производство, вместо того чтобы его развивать. Они превратились в его оковы. Их необходимо было разбить, и они были разбиты.

* * *

...Жизненные условия старого общества уже уничтожены в жизненных условиях пролетариата. У пролетария нет собственности; его отношение к жене и детям не имеет более ничего общего с буржуазными семейными отношениями; современный промышленный труд, современное иго капитала, одинаковое как в Англии, так и во Франции, как в Америке, так и в Германии, стерли с него всякий национальный характер. Законы, мораль, религия — все это для него не более как буржуазные предрассудки, за которыми скрываются буржуазные интересы.

Все прежние классы, завоевав себе господство, стремились упрочить уже приобретенное ими положение в жизни, подчиняя все общество условиям, обеспечивающим их способ присвоения. Пролетарии же могут завоевать общественные производительные силы, лишь уничтожив свой собственный нынешний способ присвоения, а тем самым и весь существовавший до сих пор способ присвоения в целом. У пролетариев нет ничего своего, что надо было бы им охранять, они должны разрушить все, что до сих пор охраняло и обеспечивало частную собственность.

Все до сих пор происходившие движения были движениями меньшинства или совершались в интересах меньшинства. Пролетарское движение есть самостоятельное движение огромного большинства в интересах огромного большинства. Пролетариат, самый низший слой современного общества, не может подняться, не может выпрямиться без того, чтобы при этом не взлетела на воздух вся возвышающаяся над ним надстройка из слоев, образующих официальное общество.

* * *

...Коммунизм ни у кого не отнимает возможности присвоения общественных продуктов, он отнимает лишь возможности посредством этого присвоения порабощать чужой труд.

Выдвигали возражение, будто с уничтожением частной собственности прекратится всякая деятельность и воцарится всеобщая леность.

В таком случае буржуазное общество должно было бы давно погибнуть от лености, ибо здесь тот, кто трудится, ничего не приобретает, а тот, кто приобретает, не трудится. Все эти опасения сводятся к тавтологии, что нет больше наемного труда, раз не существует больше капитала.

* * *

...Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 4.

К. МАРКС

ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕНДЕНЦИИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО НАКОПЛЕНИЯ

Отрывок из «Капитала»

...Теперь экспроприации подлежит уже не работник, сам ведущий самостоятельное хозяйство, а капиталист, эксплуатирующий многих рабочих.

Эта экспроприация совершается игрой имманентных законов самого капиталистического производства, путем централизации капиталов. Один капиталист побивает многих капиталистов. Рука об руку с этой централизацией или экспроприацией многих капиталистов немногими, развивается кооперативная форма процесса труда в постоянно растущих размерах, развивается сознательное техническое применение науки, планомерная эксплуатация земли, превращение средств труда в такие средства труда, которые допускают лишь коллективное употребление, экономия всех средств производства путем применения их как средств производства комбинированного общественного труда, втягивание всех народов в сеть мирового рынка, а вместе с тем интернациональный характер капиталистического режима. Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала, которые узурпируют и монополизируют все выгоды этого процесса превращения, возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе с тем растет и возмущение рабочего класса, который постоянно увеличивается по своей численности, который обучается, объединяется и организуется механизмом самого процесса капиталистического производства. Монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют.

Капиталистический способ присвоения, вытекающий из капиталистического способа производства, а следовательно, и капиталистическая частная собственность, есть первое отрицание индивидуальной частной собственности, основанной на собственном труде. Но капиталистическое производство порождает с необходимостью естественного процесса свое

собственное отрицание. Это — отрицание отрицания. Оно восстанавливает не частную собственность, а индивидуальную собственность на основе достижений капиталистической эры: на основе кооперации и общего владения землей и произведенными самим трудом средствами производства.

Превращение основанной на собственном труде раздробленной частной собственности отдельных личностей в капиталистическую, конечно, является процессом гораздо более долгим, трудным и тяжелым, чем превращение капиталистической частной собственности, фактически уже основывающейся на общественном процессе производства, в общественную собственность. Там дело заключалось в экспроприации народной массы немногими узурпаторами, здесь народной массе предстоит экспроприировать немногих узурпаторов.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА ВО ФРАНЦИИ

Отрывки

...Утром 18 марта 1871 г. Париж был разбужен громовыми криками: «Viva la Commune!»* Что же такое Коммуна, этот сфинкс, задавший такую тяжелую загадку буржуазным умам?

«Парижские пролетарии,— писал Центральный комитет в своем манифесте от 18 марта,— видя несостоятельность и измену господствующих классов, поняли, что для них пробил час, когда они должны спасти положение, взяв в свои руки управление общественными делами... Они поняли, что на них возложен этот повелительный долг, что им принадлежит неоспоримое право стать господами собственной судьбы, взяв в свои руки правительственную власть»**.

* * *

...Париж, бывший резиденцией и центром старой правительственной власти, а вместе с тем и социальным оплотом французского рабочего класса, восстал с оружием в руках против попытки Тьера и его «помещичьей палаты» восстановить и увековечить эту старую правительственную власть, оставшуюся в наследство от империи. Париж мог сопротивляться только потому, что вследствие осады он избавился от армии и заменил ее национальной гвардией, главную массу которой составляли рабочие. Этот факт надо было превратить в установленный порядок, и потому первым декретом Коммуны было уничтожение постоянного войска и замена его вооруженным народом.

Коммуна образовалась из выбранных всеобщим избирательным правом по различным округам Парижа городских гласных. Они были ответственны и в любое время сменяемы. Большинство их состояло, само собой разумеется, из рабочих или признанных представителей рабочего класса. Коммуна должна была быть не парламентарной, а работающей корпорацией, в одно и то же время и законодательствующей и исполняющей законы. Полиция, до сих пор бывшая орудием центрального правительства, была немедленно лишена всех своих политических функций и превращена в ответственный орган Коммуны, сменяемый в любое время. То же самое — чиновники всех остальных отраслей управления. Начиная с членов Коммуны, сверху донизу, общественная служба должна была исполняться за *заработную плату рабочего*. Всякие привилегии и выдачи денег на представительство высшим государственным чинам исчезли вместе с этими чинами. Общественные должности перестали быть частной собственностью ставленников центрального правительства. Не только городское управление, но и вся инициатива, принадлежавшая доселе государству, перешла к Коммуне.

По устранении постоянного войска и полиции, этих орудий материальной власти старого

* «Да здравствует Коммуна!» *(франц.)*.
** Маркс цитирует «Journal Officiel de la Republique Francaise» № 30 от 21 марта 1871 года.

правительства, Коммуна немедленно взялась за то, чтобы сломать орудие духовного угнетения, «силу попов», путем отделения церкви от государства и экспроприации всех церквей, поскольку они были корпорациями, владевшими имуществом. Священники должны были вернуться к скромной жизни частных лиц, чтобы подобно их предшественникам-апостолам жить милостыней верующих. Все учебные заведения стали бесплатными для народа и были поставлены вне влияния церкви и государства. Таким образом, не только школьное образование сделалось доступным всем, но и с науки были сняты оковы, наложенные на нее классовыми предрассудками и правительственной властью.

Судейские чины потеряли свою кажущуюся независимость, служившую только маской для их низкого подхалимства перед всеми сменявшими друг друга правительствами, которым они поочередно приносили присягу на верность и затем изменяли. Как и прочие должностные лица общества, они должны были впредь избираться открыто, быть ответственными и сменяемыми.

* * *

...Коммуна сделала правдой лозунг всех буржуазных революций — дешевое правительство, уничтожив две самые крупные статьи расходов: постоянную армию и чиновничество. Самое существование ее было отрицанием монархии, которая является, в Европе по крайней мере, обычным бременем и неизбежной маской классового господства. Коммуна создала для республики фундамент действительно демократических учреждений. Но ни дешевое правительство, ни «истинная республика» не были конечной целью ее; они были только сопутствующими ей явлениями.

Разнообразие истолкований, которые вызвала Коммуна, и разнообразие интересов, нашедших в ней свое выражение, доказывают, что она была в высшей степени гибкой политической формой, между тем как все прежние формы правительства были, по существу своему, угнетательскими. Ее настоящей тайной было вот что: она была, по сути дела, правительством рабочего класса, результатом борьбы производительного класса против класса присваивающего; она была открытой, наконец, политической формой, при которой могло совершиться экономическое освобождение труда.

* * *

...Коммуна хотела уничтожить эту классовую собственность, которая превращает труд многих в богатство немногих. Она хотела экспроприировать экспроприаторов. Она хотела сделать индивидуальную собственность реальностью, превратив средства производства, землю и капитал, служащие в настоящее время прежде всего орудиями порабощения и эксплуатации труда, в орудия свободного ассоциированного труда. Но ведь это коммунизм, «невозможный» коммунизм! Однако те представители господствующих классов,— и их немало,— которые достаточно умны, чтобы понять, что настоящая система не может долго существовать, стали назойливыми и крикливыми апостолами кооперативного производства. А если кооперативное производство не должно оставаться пустым звуком или обманом, если оно должно вытеснить капиталистическую систему, если объединенные кооперативные товарищества организуют национальное производство по общему плану, взяв тем самым руководство им в свои руки и прекратив постоянную анархию и периодические конвульсии, неизбежные при капиталистическом производстве,— не будет ли это... коммунизмом, «возможным» коммунизмом?

Рабочий класс не ждал чудес от Коммуны. Он не думает осуществлять decret du peuple* готовые и законченные утопии. Он знает, что для того чтобы добиться своего экономического развития, ему придется выдержать продолжительную борьбу, пережить целый ряд исторических процессов, которые совершенно изменят и обстоятельства и людей. Рабочему классу предстоит не осуществлять какие-либо идеалы, а лишь дать простор элементам нового общества, которые уже развились в недрах старого разрушающегося буржуазного общества. Вполне сознавая свое историческое призвание и полный героической решимости

* По декрету народа *(франц.)*.

следовать ему, рабочий класс может ответить презрительной улыбкой на пошлую ругань газетчиков-лакеев и на ученые назидания благонамеренных буржуа-доктринеров, которые тоном непогрешимого оракула изрекают невежественные пошлости и преподносят свои сектантские фантазии.

* * *

...Когда Парижская коммуна взяла руководство революцией в свои руки, когда простые рабочие впервые решились посягнуть на привилегию своего «естественного начальства» — на привилегию управления — и при неслыханно тяжелых условиях выполняли эту работу скромно, добросовестно и успешно, причем высший размер их вознаграждения не превышал одной пятой части жалованья, составляющего, по словам известного авторитета в науке, минимум для секретаря лондонского школьного совета,— старый мир скорчило от бешенства при виде красного знамени — символа Республики Труда, развевающегося над городской ратушей.

* * *

...Коммуна изумительно преобразила Париж! Распутный Париж Второй империи бесследно исчез. Столица Франции перестала быть сборным пунктом для британских лендлордов, ирландских абсентеистов*, американских экс-рабовладельцев и выскочек, русских экс-крепостников и валашских бояр. В морге — ни одного трупа; нет ночных грабежей, почти ни одной кражи. С февраля 1848 г. улицы Парижа впервые стали безопасными, хотя на них не было ни одного полицейского.

«Мы уже не слышим,— говорил один из членов Коммуны,— ни об убийствах, ни о кражах, ни о нападениях на отдельных лиц; можно подумать, что полиция увезла с собой в Версаль всех консервативных друзей своих».

Кокотки последовали за своими покровителями, за этими обратившимися в бегство столпами семьи, религии и, главное, собственности. Вместо них на передний план снова выступили истинные парижанки, такие же героические, благородные и самоотверженные, как женщины классической древности. Трудящийся, мыслящий, борющийся, истекающий кровью, но сияющий вдохновенным сознанием своей исторической инициативы, Париж почти забывал о людоедах, стоявших перед его стенами, с энтузиазмом отдавшись строительству нового общества!

* * *

...Цивилизация и справедливость буржуазного строя выступают в своем истинном, зловещем свете, когда его рабы и угнетенные восстают против господ. Тогда эта цивилизация и эта справедливость являются ничем не прикрытым варварством и беззаконной местью. Каждый новый кризис в классовой борьбе производящих богатство против присваивающих его показывает этот факт все с большей яркостью. Перед небывалыми гнусностями 1871 года бледнеют даже зверства буржуазии в июне 1848 года. Самоотверженный героизм, с которым весь парижский народ — мужчины, женщины и дети — еще целую неделю сражался после того, как версальцы вступили в город, отражает величие его дела так же ярко, как зверские бесчинства солдатни отражают весь дух цивилизации, наемными защитниками и мстителями за которую они были. Поистине великолепна эта цивилизация, которая очутилась перед трудной задачей, куда девать груды трупов людей, убитых ею уже после окончания боя!

Чтобы найти что-либо похожее на поведение Тьера и его кровавых собак, надо вернуться к временам Суллы и обоих римских триумвиратов. Те же хладнокровные массовые убийства людей; то же безразличное отношение палачей к полу и возрасту жертв; та же система пыток

---

* Абсентеист — от слова absent — отсутствующий. Имеются в виду крупные землевладельцы, которые никогда не показываются в своих поместьях.

пленных; те же гонения, только на этот раз уже против целого класса; та же дикая травля скрывшихся вождей, чтобы никто из них не спасся; те же доносы на политических и личных врагов; та же равнодушная зверская расправа с людьми, совершенно непричастными к борьбе. Разница только в том, что римляне не имели митральез*, чтобы толпами расстреливать обреченных, что у них не было в руках «закона», а на устах слова «цивилизация»...

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 17.

К. МАРКС О СВОБОДЕ

Отрывок из «Капитала»

Царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального производства. Как первобытный человек, чтобы удовлетворять свои потребности, чтобы сохранять и воспроизводить свою жизнь, должен бороться с природой, так должен бороться и цивилизованный человек, должен во всех общественных формах и при всех возможных способах производства. С развитием человека расширяется это царство естественной необходимости, потому что расширяются его потребности; но в то же время расширяются и производительные силы, которые служат для их удовлетворения. Свобода в этой области может заключаться лишь в том, что коллективный человек, ассоциированные производители рационально регулируют этот свой обмен веществ с природой, ставят его под свой общий контроль, вместо того, чтобы он господствовал над ними как слепая сила; совершают его с наименьшей затратой сил и при условиях, наиболее достойных их человеческой природы и адекватных ей. Но тем не менее это все же остается царством необходимости. По ту сторону его начинается развитие человеческих сил, которое является самоцелью, истинное царство свободы, которое, однако, может расцвести лишь на этом царстве необходимости, как на своем базисе. Сокращение рабочего дня — основное условие.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч. II.

К. МАРКС

КРИТИКА ГОТСКОЙ ПРОГРАММЫ

Отрывок

...Мы имеем здесь дело не с таким коммунистическим обществом, которое *развилось* на своей собственной основе, а, напротив, с таким, которое только что *выходит* как раз из капиталистического общества и которое поэтому во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, сохраняет еще родимые пятна старого общества, из недр которого оно вышло. Соответственно этому каждый отдельный производитель получает обратно от общества за всеми вычетами ровно столько, сколько сам дает ему. То, что он дал обществу, составляет его индивидуальный трудовой пай. Например, общественный рабочий день представляет собой сумму индивидуальных рабочих часов; индивидуальное рабочее время каждого отдельного производителя — это доставленная им часть общественного рабочего дня, его доля в нем. Он получает от общества квитанцию в том, что им доставлено такое-то количество труда (за вычетом его труда в пользу общественных фондов), и по этой кви-

* Митральеза *(франц.)* — орудие для непрерывной стрельбы картечью.

танции он получает из общественных запасов такое количество предметов потребления, на которое затрачено столько же труда. То же самое количество труда, которое он дал обществу в одной форме, он получает в другой форме.

Здесь, очевидно, господствует тот же принцип, который регулирует обмен товаров, поскольку последний есть обмен равных стоимостей. Содержание и форма здесь изменились, потому что при изменившихся обстоятельствах никто не может дать ничего, кроме своего труда, и потому что, с другой стороны, в собственность отдельных лиц не может перейти ничто, кроме индивидуальных предметов потребления. Но что касается распределения последних между отдельными производителями, то здесь господствует тот же принцип, что и при обмене товарными эквивалентами: известное количество труда в одной форме обменивается на равное количество труда в другой.

Поэтому *равное право* здесь по принципу, все еще является *правом буржуазным,* хотя принцип и практика здесь уже не противоречат друг другу, тогда как при товарообмене обмен эквивалентами существует лишь *в среднем,* а не в каждом отдельном случае.

Несмотря на этот прогресс, это *равное право* в одном отношении все еще ограничено буржуазными рамками. Право производителей *пропорционально* доставляемому ими труду; равенство состоит в том, что измерение производится *равной мерой* — трудом.

Но один человек физически или умственно превосходит другого и, стало быть, доставляет за то же время большее количество труда или же способен работать дольше; а труд, для того чтобы он мог служить мерой, должен быть определен по длительности или по интенсивности, иначе он перестал бы быть мерой. Это *равное* право есть неравное право для неравного труда. Оно не признает никаких классовых различий, потому что каждый является только рабочим, как и все другие; но оно молчаливо признает неравную индивидуальную одаренность, а следовательно, и неравную работоспособность естественными привилегиями. *Поэтому оно по своему содержанию есть право неравенства, как всякое право.* По своей природе право может состоять лишь в применении равной меры; но неравные индивиды (а они не были бы различными индивидами, если бы не были неравными) могут быть измеряемы одной и той же мерой лишь постольку, поскольку их рассматривают под одним углом зрения, берут только с одной *определенной* стороны, как в данном, например, случае, где их рассматривают *только как рабочих* и ничего более в них не видят, отвлекаются от всего остального. Далее: один рабочий женат, другой нет, у одного больше детей, у другого меньше, и так далее. При равном труде и, следовательно, при равном участии в общественном потребительном фонде один получит на самом деле больше, чем другой, окажется богаче другого и тому подобное. Чтобы избежать всего этого, право, вместо того чтобы быть равным, должно бы быть неравным.

Но эти недостатки неизбежны в первой фазе коммунистического общества, в том его виде, как оно выходит после долгих мук родов из капиталистического общества. Право никогда не может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие общества.

На высшей фазе коммунистического общества, после того как исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда; когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда; когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни; когда вместе с всесторонним развитием индивидов вырастут и производительные силы и все источники общественного богатства польются полным потоком, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени: Каждый по способностям, каждому по потребностям!

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19.

В. ГЮГО



Из книги «ВНУТРЕННИЕ ГОЛОСА»

Отрывок

Живые — борются! А живы только те,
Чье сердце предано возвышенной мечте,
Кто, цель прекрасную поставив пред собою,
К вершинам доблести идут крутой тропою
И, точно факел свой, в грядущее несут
Великую любовь или священный труд!
Таков пророк, над кем взнесен ковчег завета,
Работник, патриарх, строитель, пастырь... Это —
Все те, кто сердцем благ, все те, чьи полны дни.
И вот они — живут! Других мне жаль: они
Пьянеют скукою у времени на тризне.
Ведь самый тяжкий гнет — существовать без жизни!
Бесплодны и пусты, они влачат, рабы,
Угрюмое житье без мысли и борьбы...

* * *

За баррикадами, на улице пустой,
Омытой кровью жертв, и грешной и святой,
Был схвачен мальчуган одиннадцатилетний.
«Ты тоже коммунар?» — «Да, сударь, не последний!» —
«Что ж! — капитан решил.— Конец для всех — расстрел.
Жди, очередь дойдет!» И мальчуган смотрел
На вспышки выстрелов, на смерть борцов и братьев.
Внезапно он сказал, отваги не утратив:
«Позвольте матери часы мне отнести!» —
«Сбежишь?» — «Нет, возвращусь!» — «Ага, как ни верти,
Ты струсил, сорванец! Где дом твой?» — «У фонтана».

И возвратиться он поклялся капитану.
«Ну живо, черт с тобой! Уловка не тонка!» —
Расхохотался взвод над бегством паренька.
С хрипеньем гибнущих смешался смех победный.
Но смех умолк, когда внезапно мальчик бледный
Предстал им, гордости суровой не тая,
Сам подошел к стене и крикнул: «Вот и я!»

И устыдилась смерть, и был отпущен пленный.

Дитя! Пусть ураган, бушуя во вселенной,
Смешал добро со злом, с героем подлеца,
Что двинуло тебя сражаться до конца?
Невинная душа была душой прекрасной.
Два шага сделал ты над бездною ужасной:
Шаг к матери один и на расстрел — второй.
Был взрослый посрамлен, а мальчик был герой.
К ответственности звать тебя никто не вправе.
Но утренним лучам, ребяческой забаве,
Всей жизни будущей, свободе и весне —
Ты предпочел прийти к друзьям и встать к стене.
И слава вечная тебя поцеловала.
В античной Греции поклонники, бывало,
На меди резали героев имена
И прославляли их земные племена.
Парижский сорванец, и ты из той породы!
И там, где синие под солнцем блещут воды,
Ты мог бы отдохнуть у каменных вершин.
И дева юная, свой опустив кувшин
И мощных буйволов забыв у водопоя,
Смущенно издали следила б за тобою.

27 июня 1871 г.

Г ю г о В. Труженики моря. М., «Молодая гвардия», 1977.

Э. ПОТЬЕ



СТАРЫЙ ДОМ — НА СЛОМ

Камелине, директору
Монетного двора при Коммуне

С фасада крашен этот дом,
И позолота есть на нем,
Но вся постройка обветшала,
Ее фундамент одряхлел,
Дом покосился и осел.
Прогнивший дом
Пора на слом,
Свалить его пора настала.

В нем занял бельэтаж банкир.
Заводы, землю как вампир
Сосет он — прибыль с капитала.
Здесь золото в брусках — оно
Горою нагромождено.
Прогнивший дом
Пора на слом,
Свалить его пора настала.

Живет пройдоха на втором.
Он спекулирует зерном,
Скупает хлеб и — обирала —
В тяжелый год и недород
Задушит ценами народ.
Прогнивший дом
Пора на слом,
Свалить его пора настала.

На третьем — у одной из фей
Шум постоянных кутежей
И нескончаемого бала.
От плясок там полы трещат
И тонет в роскоши разврат.
Прогнивший дом
Пора на слом,
Свалить его пора настала.

Повыше, на четвертом,— тот,
Кто прожирает свой доход,
Об остальном заботясь мало.
Купоны стричь — весь тяжкий труд.
Рантье — бездельника зовут.
Прогнивший дом
Пора на слом,
Свалить его пора настала.

Под самой крышей — нищета,
Семья большая, теснота.
Нет обуви, нет одеяла.
И смерти здесь не раз помог
Дождь сквозь дырявый потолок.
Прогнивший дом
Пора на слом,
Свалить его пора настала.

Внизу — казарма, войск отряд.
Плоха надежда на солдат,
Им тошно слушаться капрала.
И вряд ли будет эта рать
Домовладельца защищать!
Прогнивший дом
Пора на слом,
Свалить его пора настала.

1848 г.

КОММУНЫ СЛЕД НЕИЗГЛАДИМ

Эдуарду Вайяну, члену Коммуны

В те дни Коммуна грозовая
Мир, словно громом, потрясла.
Париж гордится, вспоминая
Ее великие дела.
Фракасса, Коршуна, Лойолу
Трясет доныне страх. Ведь им
Был нанесен удар тяжелый.
Коммуны след неизгладим.

На баррикады боевые
Мы шли со знаменем в руках.
Плуг Равенства тогда впервые
Оставил борозды в сердцах.
То были дни любви и гнева.
Где кровь лилась и стлался дым,
Уже взошли ростки посева.
Коммуны след неизгладим.

Был человечества позором
Провозгласивший культ войны
Кровавый лжегерой, с которым
Теперь все счеты сведены.
Аттила сброшен с пьедестала
Щелчком решительным одним.
О чем бы клика ни орала,
Коммуны след неизгладим.

И Тюильри мы помним тоже,
Где, водворенный Декабрем,
Палач усердно лез из кожи,
Блудя под красным фонарем.
Чумы, разврата и развала
Внезапно кончился режим.
И духа деспота не стало!
Коммуны след неизгладим.

Европу, Старый Свет и Новый
Объединил Труда конгресс.
Наука молот взять готова.
У наковальни стал Прогресс.
И мы озарены восходом!
Сверкает солнцем золотым
Одна программа всем народам!
Коммуны след неизгладим.

Конгресс сказал: «Земля, заводы
И все орудия труда,
И телеграф, и пароходы
Моими станут навсегда.
Социализм все производства
Преобразит. Искореним
Мы класса праздного господство».
Коммуны след неизгладим.

И мысли светлые приходят:
Рабочий в конуре своей,
И в мастерской, и на заводе
Стал и культурней, и смелей.
Теперь на чердаке злосчастном
Мечтают — скоро победим
Под знаменем свободы красным.
Коммуны след неизгладим.

1871 г.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ*

Гражданину Гюставу Лефрансе, члену Коммуны

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разроем
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем!

Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской.

Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и ни герой:
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнет рукой умелой,
Отвоевать свое добро,—
Вздувайте горн и куйте смело,
Пока железо горячо!

* Полный текст в переводе А. Я. Коца (1902 г.).

Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской.

Довольно кровь сосать, вампиры,
Тюрьмой, налогом, нищетой!
У вас — вся власть, все блага мира,
А наше право — звук пустой!
Мы жизнь построим по-иному —
И вот наш лозунг боевой:
Вся власть — народу трудовому,
А дармоедов всех долой!

Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской.

Презренны вы в своем богатстве,
Угля и стали короли!
Вы ваши троны, тунеядцы,
На наших спинах возвели.
Заводы, фабрики, палаты —
Все нашим создано трудом.
Пора! Мы требуем возврата
Того, что взято грабежом.

Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской.

Довольно, королям в угоду,
Дурманить нас в чаду войны!
Война тиранам! Мир народу!
Бастуйте, армии сыны!
Когда ж тираны нас заставят
В бою геройски пасть за них,—
Убийцы, в вас тогда направим
Мы жерла пушек боевых!

Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской.

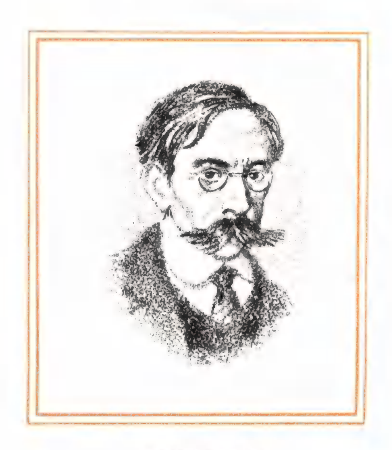
Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть землей имеем право,
Но паразиты — никогда!
И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей.

Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской!

Париж, июнь 1871 г.

Потье Э. Песни. Стихи. Поэмы. М., «Наука», 1971.

Э. ВЕРХАРН



КУЗНЕЦ

Где выезд в поле, где конец
Жилых домов, седой кузнец
Старик угрюмый и громадный,
С тех пор как, ярость затая,
Легла рука под молот жадный,
С тех пор, как дым взошел над горном,
Кует и правит лезвия
Терпенья над огнем упорным.

И знают жители селенья,
Те, что поблизости живут
И в сжатых кулаках таят ожесточенье,
Зачем он принял этот труд
И что дает ему терпенье
Сдавить свой гневный крик в зубах!
А те, живущие в равнинах, на полях,
Чьи тщетные слова — лай пред кустом без зверя,
То увлекаясь, то не веря,
Скрывают страх
И с недоверчивым вниманьем
Глядят в глаза, манящие молчаньем.

Кузнец стучит, старик кует
За днями день, за годом год.
В свой горн он бросил крик проклятий
И гнев глухой и вековой;
Холодный вождь безвестных ратей,
В свой горн горящий, золотой
Он бросил ярость, горесть — злобы
И мятежа гудящий рев,
Чтоб дать им яркость молний, чтобы
Им дать закал стальных клинков.

Вот он,
Сомненья чужд и чуждый страха,
Склоненный над огнем, внезапно озарен,
И пламя перед ним как ряд живых корон;
Вот, молот бросивши с размаха,
Его вздымает он, упрям и напряжен,
Свой молот, вольный и блестящий,
Свой молот, из руды творящий
Оружие побед
Тех, что провидит он за далью лет!

Пред ним все виды зол — бесчестных, всевозможных:
Голодным беднякам — подарки слов пустых;
Слепцы, ведущие уверенно других;
Желчь отвердевшая — в речах пророков ложных;
Над каждой мыслью — робости рога;
Пред справедливостью — из текстов баррикады;
Мощь рабских рук, не знающих награды
Ни в шуме городском, ни там, где спят луга;

Деревни, скошенные тенью,
Что падает серпом от сумрачных церквей;
И весь народ, привыкший к униженью,
Упавший ниц пред нищетой своей,
Не мучимый раскаяньем напрасным,
Сжимающий клинок, что все же станет красным;
И право жить и право быть собой —
В тюрьме законности, толкуемой неверно;
И пламя радости и нежности мужской,
Погасшее в руках морали лицемерной;
И отравляемый божественный родник,
В котором жадно пьет сознанье человека;
И после всяких клятв и после всех улик
Все то же вновь и вновь, доныне и от века!

Кузнец, в спокойствии немом,
Не верит хартиям, в которых
Вскрывают смысл иной потом.
В дни действий гибель — договоры!
И он молчит, давно молчит,
Мужскую гордость сжав зубами воли,
Неистовец из тех, кому две доли:
Он мертв падет иль победит!
Чего он хочет — хочет непреклонно,
Круша своим хотением гранит,
Сгибая им во тьме бездонной
Кривые мировых орбит.
И слушая, как снова, снова
Струятся слезы всех сердец,—
Невозмутимый и суровый
Седой кузнец,—
Он верит пламенно, что злобы неизменной,
Глухих отчаяний безмерная волна,
К единому стремлением сильна,
Однажды повернет к иному времена
И золотой рычаг вселенной!

Что должно ждать с оружием в руках,
Когда родится Миг в чернеющих ночах;
Что нужно подавлять преступный крик разлада,
Когда знамена ветер споров рвет;
Что меньше надо слов, но лучше слушать надо,
Чтоб Мига различить во мраке мерный ход;
Что знаменьям не быть ни на земле, ни в небе,
Что бог-спаситель к людям не сойдет,
Но что безмолвные возьмут свой жребий!

Он знает, что толпа, возвысив голос свой
(О, сила страшная, чей яркий луч далеко
Сверкает на челе торжественного Рока),
Вдруг выхватит безжалостной рукой
Какой-то новый мир из мрака и из крови,
И счастье вырастет, как на полях цветы,
И станет сущностью и жизни и мечты.
Все будет радостью, все будет внове!

И ясно пред собой он видит эти дни,
Как если б, наконец, уже зажглись они:
Когда содружества простейшие уроки
Дадут народам — мир, а жизни — светлый строй;
Не будут люди, злобны и жестоки,
Как волки грызться меж собой;
Сойдет любовь, чья благостная сила
Еще неведома в последних глубинах,
С надеждой к тем, кого судьба забыла;
И брешь пробьет в пузатых сундуках
(Где дремлет золото, хранимое напрасно)
Лень справедливости, величественно властной;

Подвалы, тюрьмы, банки и дворцы
Исчезнут в дни, когда умрут гордыни;
И люди, лишь себя величащие ныне,
Себялюбивые слепцы,
Всем братьям расточат свои живые миги:
И будет жизнь людей проста, ясна;
Слова (их угадать еще не могут книги)
Все разъяснят, раскроют все до дна,
Что кажется теперь запутанным и темным;
Причастны целому, с своим уделом скромным
Сроднятся слабые; и тайны вещества,
Быть может, явят тайну божества...

За днями день, за годом год
Кузнец стучит, старик кует,
За гранью города, в тиши,
Как будто лезвия души.
Над красным горном наклонен,
Во глубь столетий смотрит он.
Кует, их светом озарен,
Предвидя сроков окончанье,
Клинки терпенья и молчанья.

НЕВОЗМОЖНОЕ

Пусть невозможного в стремительной погоне
Достичь ты хочешь, человек,—
Не бойся, что замедлят бег
Дерзанья золотые кони!

Твой ум уклончивый ведет тебя в обход,
Ища проторенных тропинок,
Но ты вступи с ним в поединок:
Дать радость может только взлет!

Кто вздумал отдохнуть, пройдя лишь полдороги,—
Ему ли одолеть подъем?
Жить — значит жечь себя огнем
Борьбы, исканий и тревоги.

Что виделось вчера как цель глазам твоим,—
Для завтрашнего дня — оковы;
Мысль — только пища мыслей новых,
Но голод их неутолим.

Так поднимайся вверх! Ищи! Сражайся! Веруй!
Отринь все то, чего достиг:
Ведь никогда застывший миг
Не станет будущего мерой.

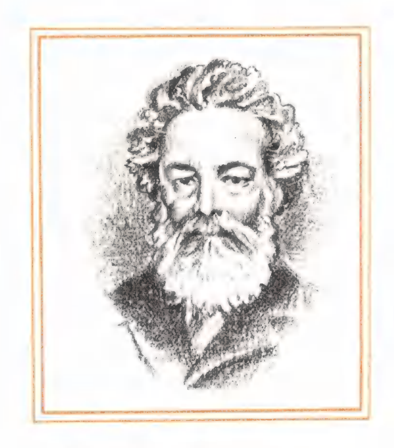
Что мудрость прошлая, что опыт и расчет
С их трезвой, взвешенной победой?
Нет! Счастье жгучее изведай
Мечты, несущейся вперед!

Ты должен превзойти себя в своих порывах,
Быть удивлением своим;
Ты должен быть неутомим
В своих желаньях прозорливых.

Пускай же каменист и неприступно крут
Твой путь за истиной в погоне:
Дерзанья золотые кони
В грядущее тебя взнесут!

Верхарн Э. Избранное. М., ГИХЛ, 1955.

У. МОРРИС



ВЕСТИ НИОТКУДА

Отрывки

* * *

...Они так походили на средневековые постройки, что я почувствовал себя словно перенесенным в четырнадцатый век. Чувство это усиливалось при виде одежды людей, попадавшихся нам на пути. В ней не было ничего «современного»: почти все были одеты ярко, особенно женщины, которые сияли таким здоровьем и красотой, что я едва сдержался, чтобы не обратить на это внимание моего спутника. Некоторые лица отличались каким-то особенным выражением задумчивости и благородства, но ни в одном я не увидел и намека на скорбь: все, а мы встречали по дороге немало народу, выглядели добродушными и искренне веселыми.

* * *

...Дорога сразу углубилась в прекрасный лес, раскинувшийся по обеим ее сторонам. Впрочем, лес был заметно гуще на северной стороне, где мощно разрослись дубы и каштаны, а деревья, быстро растущие (среди которых я заметил особенно много платанов и сикоморов), достигали огромных размеров и были очень красивы.

Я почувствовал себя превосходно в испещренной солнечными бликами тени деревьев, так как день становился изрядно жарким. Прохлада и тень успокаивали мой возбужденый ум и наполняли меня дремотной негой. Я готов был вечно скользить так среди этой свежести и благоухания. Мой спутник, по-видимому, разделял мои ощущения и, позволив лошади замедлить шаг, вдыхал запахи леса, среди которых особенно сильно выделялся аромат придорожного папоротника.

Несмотря на всю свою романтичность, Кенсингтонский лес не был, однако, безлюден. Нам попадались навстречу группы людей, бродивших по лесу и по опушке. Среди них — много детей от шести-восьми лет и подростков до шестнадцати-семнадцати.

Они показались мне особенно прекрасными представителями этого народа, и, судя по всему, им было очень весело. Многие раскинули на лужайках палатки. Перед палатками там и сям горели костры, и над огнем на цыганский лад висели котелки. Дик объяснил мне, что среди леса разбросаны дома, и действительно мы мельком видели один или два. Он сказал также, что в большинстве дома эти очень малы и похожи на коттеджи тех времен, когда в стране еще были рабы. Все же они очень уютны и приспособлены для жизни в лесу.

* * *

...В то время многие мыслящие люди отбрасывали все заботы о житейских делах и, вдохновляясь борьбой, находили в себе необходимую энергию. На основании всего, что я читал и слышал, я очень сомневаюсь, чтобы люди, обладающие административными талантами, выдвинулись из числа рабочих без этой, столь ужасной, гражданской войны. Во всяком случае, война шла, и скоро нашлись вожди, которые были намного выше наиболее способных людей в лагере реакционеров. И, надо сказать, у рабочих не было затруднений с материалом для пополнения их армии: в простых солдатах пробуждался революционный инстинкт и побуждал лучшую часть их переходить на сторону народа. Но главный фактор успеха революционеров заключался в том, что там, где рабочий люд не был принуждаем к этому силой, он работал не на реакционеров, а на «мятежников». Реакционеры не могли заставить людей работать на них за пределами тех районов, где они еще были всемогущи. Но даже там им постоянно приходилось бороться с беспорядками. Везде их встречали обструкцией и злобными взглядами. Не только руководство армии выбилось из сил от затруднений, с которыми ему приходилось сталкиваться, но и гражданские лица, сочувствовавшие реакции, были наетолько издерганы и подавлены ненавистью к ним, мелкими неурядицами и неполадками, что жизнь стала для них невыносимой. Некоторые из них умерли от этих тягот, другие покончили самоубийством. Конечно, большинство этих людей принимало активное участие в ожесточенной борьбе на стороне реакции и находило в этом некоторое забвение.

В конце концов многие тысячи реакционеров, не выдержав напряжения, сдались и подчинились «мятежникам», а так как число последних все возрастало, всем стало ясно, что безнадежное когда-то дело теперь торжествовало, безнадежной же оказалась система рабства и классовых привилегий.

* * *

Перемена, сказал Хаммонд, которая в этой области наступила в начале нашей эпохи, совершилась необыкновенно быстро. Люди стали стекаться в деревни и села, они, можно сказать, набрасывались на землю, как зверь на добычу. Вскоре деревни Англии были населены гуще, чем в четырнадцатом столетии,и продолжали быстро расти. Конечно, этим нашествием на деревню трудно было управлять, и оно могло породить много бед, если бы люди оставались во власти классовой монополии. Но в действительности все быстро наладилось. Люди сами поняли, к чему они способны, и перестали браться за такие работы, которые могли принести им только неудачу. Город вторгся в деревню, но новые завоеватели, подобно завоевателям прежних времен, поддались влиянию местной обстановки и стали хлебопашцами. С другой стороны, деревенское население, численность которого превысила население городов, начало влиять на городское, отчего различие между городом и деревней уменьшалось. Именно этот деревенский мир, оживленный сметкой и подвижностью городского населения, породил ту счастливую и неторопливую, но деятельную жизнь, с которой вы уже соприкоснулись. Повторяю, много было сделано ошибок, но мы имели время их исправить. Много задач выпало на долю человека моего поколения, когда оно было молодо. Незрелые идеи первой половины двадцатого века, когда люди все еще были угнетены страхом перед нищетой и недостаточно верили в радости повседневной жизни, много испортили в той внешней красоте, которую оставил нам в наследство буржуазный век. Даже после своего освобождения люди медленно оправлялись от того вреда, который сами себе нанесли. Но как ни медленно подвигалось оздоровление, все же оно наступило. И чем больше вы будете нас узнавать, тем вам станет яснее, как мы счастливы. Мы живем среди красоты, без страха впасть в изнеженность, у нас достаточно работы, и мы выполняем ее с радостью. Чего же еще можем мы требовать от жизни?

* * *

...Если представитель меньшинства чувствует себя обиженным, без сомнения, он может утешиться, отказавшись участвовать в постройке моста. Но, дорогой сосед, это не очень

действенное средство против «обиды», причиненной «тиранией большинства». Ведь в нашем обществе всякое дело либо полезно, либо вредно для каждого члена общества. Например, от постройки моста человек выгадывает, если строительство оказалось полезным, и терпит ущерб, если оно оказалось вредным, независимо от того, приложил он к нему руку или нет. А между тем своим трудом он помог бы строителям. Я не вижу для него никакого утешения, кроме удовольствия сказать: «Я говорил вам!» — если постройка нанесла ему ущерб; а если он получил выгоду, ему остается только молчать. Ужасная тирания — наш коммунизм, а? Народ часто предостерегали от этого «несчастья» в прошедшие времена, когда на одного сытого, довольного человека приходилась тысяча несчастных голодающих. Что же касается нас, мы живем здоровыми и счастливыми при нашей тирании, которую, по правде сказать, ни в какой микроскоп не разглядишь!

Моррис У. Вести ниоткуда, или Эпоха спокойствия. М., ГИХЛ, 1962.

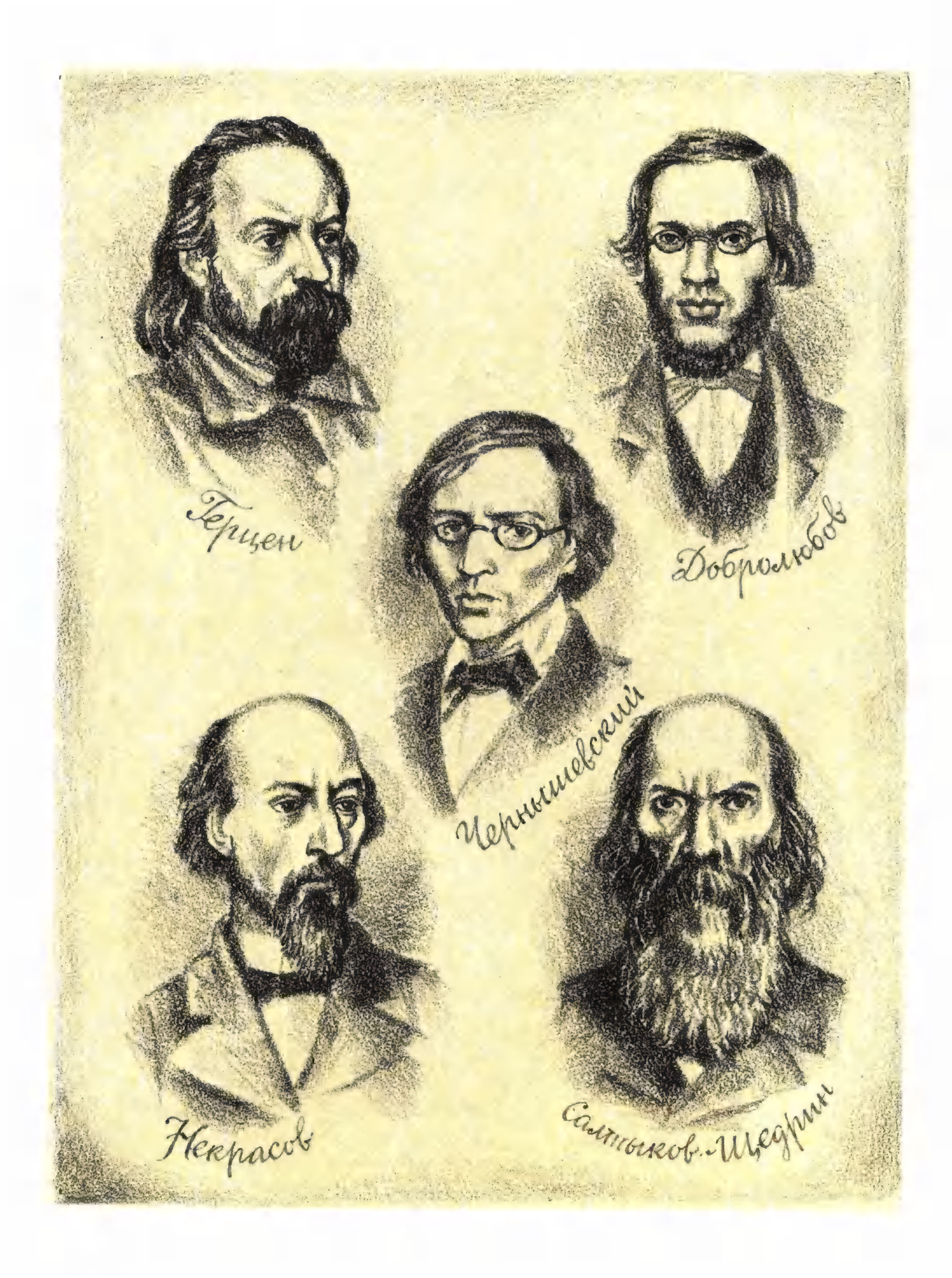


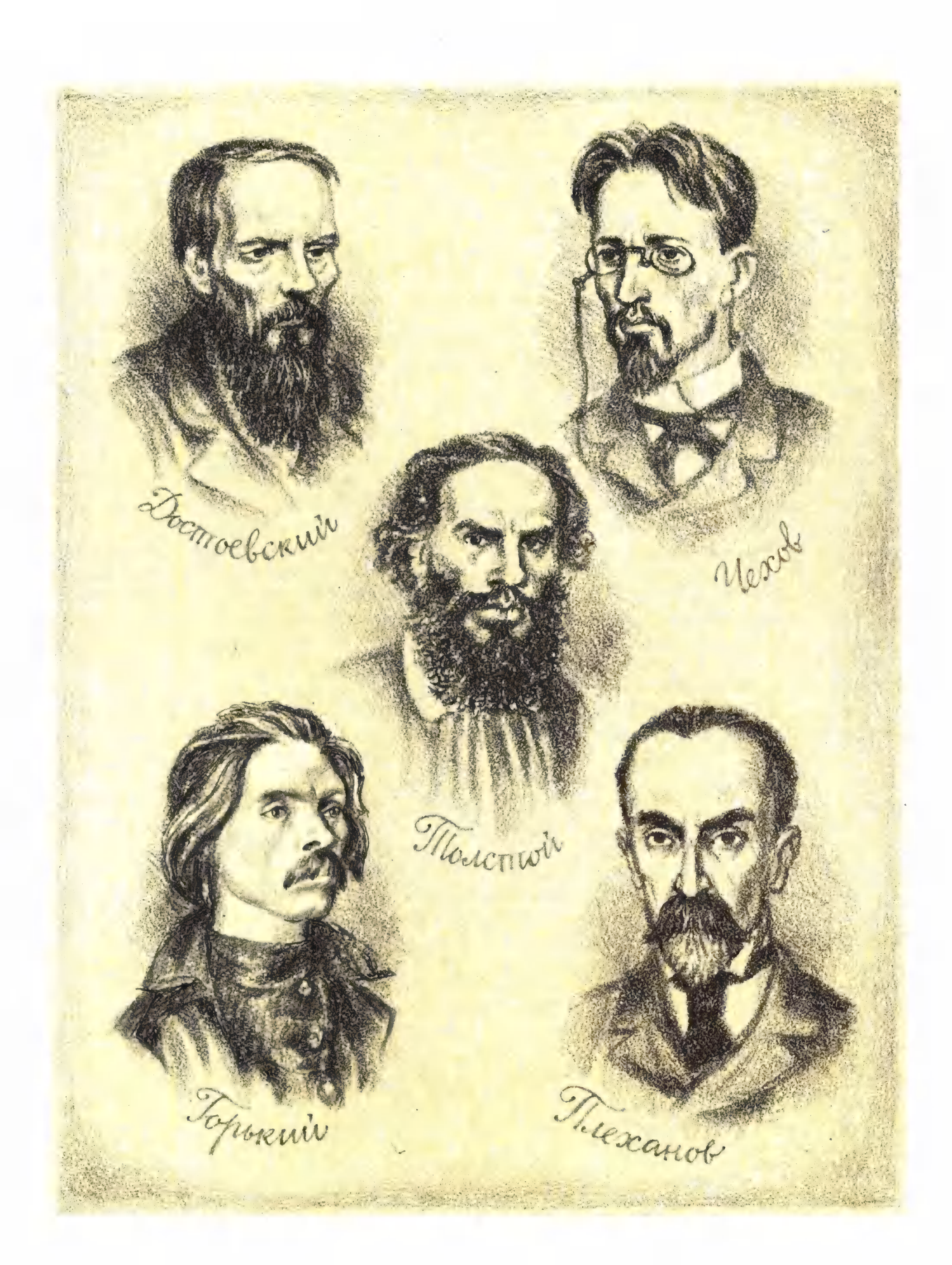
Глава VIII

ОТЕЧЕСТВО БУДУЩЕГО


Радищев
Рылеев
Кюхельбекер
Одоевский


Пушкин
Лермонтов
Белинский


Герцен
Добролюбов
Чернышевский
Некрасов
Салтыков-Щедрин


Достоевский
Чехов
Толстой
Горький
Плеханов

Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине в ы с т р а д а л а полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий...

В. И. ЛЕНИН

В высшей степени сложно (и заманчиво!) проследить в небольшой главе тернистый, скорбный и славный путь духовных исканий народа-борца, народа-мечтателя в России XIX века — от громких побед и волнующих надежд 1812 года до баррикад Красной Пресни и поверженного Зимнего. Дать — пусть сжато, спрессованно — целостное представление о странствиях негасимой Мечты о воле, равенстве и счастье по бескрайним просторам России — вплоть до исторической трибуны в Смольном, с которой 7 ноября 1917 года были произнесены открывшие новую эру слова: «Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!»

Передовая социальная наука, подлинно гуманистическая литература XIX века жили ожиданием «Великой Перемены» и, каждая по-своему, приближали ее.

Основоположники научного коммунизма еще в начале 60-х годов писали о наступлении «русского 1793 года» — всеобщей крестьянской революции против самодержавно-помещичьего строя. Карл Маркс изучал русский язык, культуру, историю России, восхищался Пушкиным, Гоголем, Салтыковым-Щедриным, высоко ценил труды Чернышевского и Добролюбова.

Письма Маркса в последние годы его жизни проникнуты уверенностью, что грядущая русская революция должна будет явиться поворотным пунктом во всемирной истории, шагом к торжеству освобожденного труда. Он писал: «В России неизбежна и близка грандиознейшая социальная революция».

XIX век — это век борьбы, исканий, жертв и мужества трех поколений русских революционеров. Это век высших духовных озарений нашей литературы, ее поистине космических мечтаний о расцвете человека в братском сердечном союзе разных народов. Это время нескончаемого, упорного сопротивления народных масс неправедному строю порабощения и жестокости.

Россия выстрадала марксизм ценой неслыханных мук и героизма, невероятной энергии исканий... Выстрадала — чтобы потом и отомстить за муки, и восславить героев, и построить новый мир.

«Мученье быть пламенным мечтателем в краю вечных снегов»,— горестно писал в начале века А. Грибоедов. «...Дело прочно, когда под ним струится кровь!» — уверенно заявлял Некрасов.

...Грядущего волнуемое море, разлитое в русской литературе, необъятно, бездонно и бесконечно близко каждому советскому человеку. Все мы, начиная со школьной скамьи, впитывали эту литературу.

Трепеща сердцем, обливались слезами над поэтическими вымыслами Пушкина и Лермонтова, Некрасова и Тютчева, над великими романами Гоголя и Тургенева, Толстого и Достоевского. И с годами нам становится все яснее, что такую литературу надобно прожить год за годом, столько, сколько человеку отпущено на земле...

Здесь автору, как никогда, тяжело было прибегать к суровому самоограничению. Из великой сокровищницы золотого века русской литературы пришлось отобрать лишь самые-самые вершинные проявления Мечты, а также те фрагменты, в которых более или менее отчетливо выражено своеобразное ви́дение будущего тем или иным русским писателем.

Автору хотелось, хотя бы пунктирно, проследить линию сближения мечты народной и мечты интеллигентски-литературной, вплоть до слияния их в активном, бесконечно трудном, противоречивом и прекрасном революционном процессе осуществления вековых чаяний трудящихся масс и поколений «народных заступников».

Широк спектр российских исканий будущего! Удивительны метаморфозы «синей птицы» Мечты! Она то взмывает в солнечную высь радостным жаворонком надежды, предвещающим братство, единение и равенство людей; то угрюмо каркает серой вороной казарменной уравниловки; то сладкоголосым механическим соловьем вкрадчиво поет о сладости жизни для избранных; и наконец, зовет людей на бой и труд криком пророка победы — буревестника Революции!

Социализм развивался от утопии к науке. Подлинно народная литература шла от сказки, мифа, притчи — к утверждению бытия как деяния, Мечты как путеводительного маяка творчества и преображения жизни. Они шли друг другу навстречу: литература и революция, литература и ленинизм.

БОГАТЫРИ

По колее, проложенной в духовных просторах России Александром Радищевым, двинулась вослед за ним — и дальше его — целая фаланга тираноборцев-декабристов. Поэты, мыслители, мечтатели и деятели, они первыми поднялись на борьбу с самодержавием. Они посеяли зерна героического романтизма и высокой гражданственности в плодородный пласт крепнущей реалистической русской литературы.

С полей Отечественной войны 1812 года, из пламени и славы ее, декабристы вынесли жаркую мечту — даровать многострадальному народу русскому, мужику, заслонившему Отечество,— вольность, землю, просвещение, человеческое достоинство.

Они в полной мере были детьми своей эпохи. Для них идеал свободы и братства логически вытекал из естества человека, был той нормой, которую следовало восстановить в горестно заблудившемся мире. Восстановить даже восстанием, силой, ниспровержением сущей власти, ежели правящая верхушка во главе с царем проявит полную глухоту к велениям Разума.

Они взывали к освобождению порабощенного, забитого народа. Но они же и предписывали даровать вольность «сверху», волею просвещенных и добрых господ,— не дай бог ввести мужика в греховное искушение бунта!

От имени народа, для блага народа, но... без народа — такова трагическая форма декабризма как общественно-политического и литературного движения.

В подавляющем большинстве своем блестяще образованные, обеспеченные, декабристы, однако, ни в коей мере не чуждались народа, его героической истории. Это злая и несправедливая легенда, будто декабризм есть сплошное западничество, попытка «офранцузить» Россию, презреть и попрать ее национальную самобытность. Не заемным, европейским, а родным, от белоствольных российских берез вспыхнувшим светом сияла взошедшая на мрачном самодержавном небосклоне яркая декабристская звезда.

Поистине удивительное — даже в масштабах мировой истории — явление: столько людей (и каких людей!) сразу, словно подхваченные вихрем, «выломились» из своего класса и перешли на сторону народа, на сторону будущего. Они сознавали неизбежность кары, хулы, гибели... И все же вышли на Сенатскую площадь, когда пробил их звездный час, пробил на всю Россию, на всю историю, вплоть до отдаленнейшего грядущего!..

С самого детства и до смертного часа несет каждый из нас в своем сердце, в бла-

годарной памяти пять скорбных силуэтов в траурном кольце. Пять гордых фамилий падают в юные души, словно тяжелые капли крови: Пестель... Рылеев... Каховский... Муравьев-Апостол... Бестужев-Рюмин... О них и об их собратьях-тираноборцах скажет позднее А. И. Герцен: «История нашей литературы — это или мартиролог*, или реестр каторги».

Одни — повешены... Другие — убиты на Кавказе, сведены в могилу чахоткой и непосильными каторжными работами... Некоторые — выжили, дождались амнистии 1856 года, сохранив честь, достоинство, любовь к народу и Отечеству. И все же остается лишь гадать, сколько — противу содеянного — они сумели бы совершить для России. Но — непреложно: содеяно великое и вечное!

Вся жизнь «богатырей, кованных из чистой стали» (А. И. Герцен),— яркое свидетельство единства слова и поступка, мечты и бескорыстного деяния. Они оставили потомкам немало волнующих свидетельств своего предвосхищения, своего прозрения грядущего жизнеустройства.

Вот дерзкий социальный «проект о будущем» храбрейшего и проницательного ПАВЛА ИВАНОВИЧА ПЕСТЕЛЯ (1793—1826 гг.). Символично само название проекта: «Русская Правда», отражающее — в форме предполагаемых конституционных установлений — вековечную народную мечту о жизни по правде, по совести, без обмана и жестокости, в равноправии гражданском, предполагающем уничтожение всех сословий. Недаром взбешенный Николай I в буквальном смысле рыл землю, разыскивая «Русскую Правду», спрятанную Пестелем.

На самую высокую и трагическую вершину декабризма судьба, личная воля и талант вознесли КОНДРАТИЯ ФЕДОРОВИЧА РЫЛЕЕВА (1795—1826 гг.). Его идея — слепящая и острая, как кинжал: низвержение самодержавия, свобода, законность, уничтожение крепостного права, беспощадное искоренение тирании и деспотизма во всех формах. Он шел на верную смерть с гордо поднятой головой. «Но где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода?»

Он более всего жаждал, чтобы идущие вслед за первыми, обреченными на гибель, готовились «для будущей борьбы за угнетенную свободу человека». О чем можно мечтать, не преступно ли — мечтать вообще, когда народ в тенетах? Свобода, гражданская битва — вот единственная сжигавшая его мечта...

Любовь никак нейдет на ум:
Увы! моя отчизна страждет,
Душа в волненьи тяжких дум
Теперь одной свободы жаждет.

«Я не Поэт, а Гражданин»,— гордо восклицал Кондратий Рылеев. «Пушкин суд мне строгий произнес»,— признавал он и все-таки дерзко пришпоривал свою мятежную Музу. Слово для него — это великое и неумирающее Дело. История рассудила великих. Лучшее в поэзии Рылеева: поэма «Наливайко», агитационные стихи и песни, «Дума про Ермака» — поистине ушло в толщу народа. Ушло — чтобы жить, пока жива и творит историю Россия.

Клятвой на верность Идее, народу, будущему звучат слова крестьянского бунтаря Наливайки об исторической необходимости и величии жертв во имя свободы. «Погибну я за край родной...» — говорит герой и тут же радостно и бестрепетно восклицает: «Свой жребий я благословляю!» Исповедь Наливайки стала своего рода первым поэтическим символом веры русских революционеров.

Не столь широко известно имя замечательного сподвижника П. И. Пестеля по «Южному обществу», неистового республиканца, замышлявшего полное истребление царствующей династии, блестящего кавалергарда ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА ВАДКОВСКОГО (1800—1844 гг.).

После 14 декабря 1825 года он читал своим товарищам курс астрономии в «каторжной академии» в нерчинской ссылке. Он превосходно играл на скрипке и писал неважные стихи — больше с целью пропаганды идей декабризма. Благодаря ему осталась для потомков лапидарно изложенная и немудреными рифмами обрамленная декабристская «программа будущего». Речь идет о стихотворении «Жела-

* Мартиролог (греч.) — здесь: перечень замученных.

ния». Вот почему мы вспоминаем его и знакомим читателя с выдержками из этого стихотворения.

...Милый, нескладный, застенчивый мечтатель, лицейский друг Александра Пушкина — Кюхля; мужественный и дерзкий повстанец, пытавшийся застрелить 14 декабря на Сенатской площади одного из Романовых — великого князя Михаила; несломленный, гордый питомец орлиной стаи декабристов — ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛОВИЧ КЮХЕЛЬБЕКЕР (1797—1846 гг.) оставил потомству десятки стихов, проникнутых предощущением лучших, светлых дней, а также утопический «проект будущего» в своих «Европейских письмах». Рассказ там ведется от имени некоего американца из XXVI века. (Утописты и фантасты тех неторопливых «каретных» времен вообще смело прибавляли нули к исходным историческим датам. У Вл. Одоевского, например, один из фантастических романов называется «4338-й год».)

Герой будущего рассуждает: «Мы, живя в счастливое время, когда политика и нравственность одно и то же, когда правительства и народы общими силами стремятся к одной цели, мы перестанем жалеть, как некогда жалели некоторые в Европе о золотом греческом периоде,— перестанем жалеть о веках семнадцатом и осьмнадцатом».

«Политика и нравственность одно и то же». В этой формуле (как, впрочем, и во многих других заявлениях героя) явственно просвечивают республиканские идеалы пестелевской «Русской Правды». Кюхельбекер убежден: «Род человеческий самими переменами, самими мнимыми разрушениями зреет и совершенствуется». Автор предполагает в будущем высокое развитие общения между людьми и странами, мир и доверие, господство честности и добродетели во всех человеческих делах. «Настанет время, когда быть порочным и быть сумасшедшим — будет одним и тем же», настанет время, когда человечество достигнет «высшей степени человечности».

Тюремные затворы, болезни, нарастающая потеря зрения — ничто до конца дней не сломило веру поэта, что будут «на Руси святой свобода, счастье и покой!». Он несет своим товарищам по борьбе привет «...из области, где нет тиранов, где вечен мир, где вечен свет»,— из области своей мечты, своей любви к родной земле.

...Пожалуй, единственный из декабристов, кто пережил не только зенит своей славы, своей эпохи, но и самого себя,— это храбрый офицер Отечественной войны 1812 года, прозаик и поэт-романтик ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ ГЛИНКА (1786 — 1880 гг.).

Глинка был на правом крыле декабризма; его никак не отнесешь к числу рыцарей, жизнью оплативших свою преданность идее свободы и равенства. Но для нас, для этой книги, интересны поистине п р о в и д ч е с к и е догадки поэта (смутные, подчас окутанные библейской фразеологией) о неустанной и неотвратимой тайной работе ратей «подземных кротов» истории.

Догадки Ф. Глинки, его пророчества отражают одну из важнейших особенностей русской литературы XIX века — острое и беспокойное предчувствие, предугадывание нового, упование на перемены, благословение добрых перемен. И бесстрашная вера в лучшее будущее, в то, что для разврата, пороков, гнета, безумия «у ж в е к а и з о ч т е н ы!» (Ф. Глинка).

Ослепительно сияет в поэзии декабризма ее жемчужина — «Ответ на послание А. С. Пушкина «В Сибирь»,— принадлежащая перу АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ОДОЕВСКОГО (1802—1839 гг.).

Да, конечно, тайна высшего поэтического взлета А. Одоевского — в жарком пламени гениального пушкинского послания. Но в «Ответе...» есть одна строка, конгениальная волшебным пушкинским пророчествам. Строкою этой — «из искры возгорится пламя» — поэт-декабрист вошел не только в историю родной литературы, но и в историю нашей ленинской партии. Девизом самой первой ее газеты была бессмертная строчка Александра Одоевского.

На ответ Пушкину молодой поэт имел высокое моральное право. Человек абсолютной честности, истинный друг простого народа, юный князь еще в самом начале своего пути проклял цепи крепостного рабства («Молитва русского крестьянина»).

После провала восстания — год в каземате Петропавловской крепости, пять лет в кандалах на каторге и вопреки всему: «В душе смеемся над царями»!

Царь Николай I после бесчисленных ходатайств родственников поэта явил «монаршую милость» — сослал А. Одоевского на Кавказ, под пули горцев, в малярийные топи. Лихорадка уже через полтора года свела его в могилу...

Но вечен род! Едва слетят
Потомков новых поколенья,
Иные звенья заменят
Из цепи выпавшие звенья...

Придут новые борцы. Дело свободы неуничтожимо. Таков завет декабристов; здесь — бессмертие их Мечты.

ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ

Революционный, героико-гражданский романтизм декабристов — лишь один (хотя, бесспорно, и важнейший) из духовных родников, от слияния которых начинается необъятная стихия исканий Истины, Добра и Красоты, исканий тайны всечеловеческого счастья, исканий социализма, составляющих содержание и внутреннюю пружину развития великой русской литературы XIX века.

Назовем теперь еще один родник российской Мечты.

Это прогрессивный романтизм, вобравший в себя и ренессансное преклонение перед гармонией Древней Эллады, и просветительский культ Разума, и байроновское неприятие социального зла, меркантильной бездуховной буржуазности.

Идеалы Просвещения, лозунги французской революции пронизывали духовную атмосферу России первой четверти XIX века. Рождавшаяся вместе с веком новая литература впитывала эти идеалы и перерабатывала их на свой лад, на русский манер, сплавляя с многовековыми народными этико-культурными началами. Державин — Карамзин — Крылов — Жуковский... Стремительно перелистываются страницы тяжеловесно-высокопарного классицизма, умильно-галантного сентиментализма, полного вздохов и тайн элегического романтизма... Скорее, скорее!

Великое может произрасти только на богатой духовной ниве. Русская литература накапливает новое качество — глубинный реализм. В ней все более явственно складывается духовная и нравственная установка на неприятие зла, на внутреннюю независимость от неправедного мира, на самоценность человеческой личности.

Это, в частности, нашло свое оригинальное выражение в творчестве поэта КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА БАТЮШКОВА (1787—1855 гг.).

Он выступил на поприще поэзии в 1806 году с первым своим программным стихотворением «Мечта». Пронизанное эпикурейским духом радости земного бытия, мечтой о здоровом, нормальном Человеке, оно решительно противостоит и мистически-религиозным проповедям реакционных романтиков, и «промышленной» бездуховности приобретательства, эгоизма, стяжания. «В натуре его были элементы эллинского духа» (В. Г. Белинский).

Мечта для Батюшкова — подруга независимого человека, находящего усладу и счастье не в материальном богатстве, а в созерцании созданного воображением иного, очеловеченного, гармоничного мира. «Счастливая мечта, живи, живи со мной! — восклицает поэт.— Ни свет, ни славы блеск пустой Даров твоих мне не заменят...» Пусть другие — они глупцы! — ценят житейскую суету, злато, пусть возжигают «тусклый светильник опытности». Истина счастья есть «скромна сень, мир, вольность и спокойство».

Пассивная и в общем-то элитарная мечта! Но было в Батюшкове (и осталось крупинкой алмаза в светлой короне великой литературы) драгоценное и непреходящее: вера в окрыленность человека, неподвластность его суетным соблазнам.

В хрестоматийном разделе главы читатель познакомится с первой и окончательной редакциями батюшковской «Мечты». Интервал между ними — почти пятнадцать лет. Заметно окрепла мускулатура стиха, возросло изящество поэтической его отделки, но суть осталась неизменной: гимн мечте, гимн идеальному настоящему, которое, в сущности, становится уже идеальным будущим, чуждым рабства и корысти.

Эстафету земной эпикурейской мечты К. Н. Батюшкова несли дальше в молодую русскую литературу его современники и единомышленники Антон Дельвиг, Петр Вяземский, Дмитрий Веневитинов. Ее тепло, ее «легкость» и нежность явственно ощущаются и значительно позже — в творчестве Аполлона Майкова, Афанасия Фета, Якова Полонского, Федора Тютчева.

Пожалуй, наиболее ярко, наиболее пылко жизнелюбиво-эпикурейская линия русского романтизма выразилась в стихах одного из любимцев А. С. Пушкина, «певца забавы и друзей», НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА ЯЗЫКОВА (1803—1846 гг.).

Русское удальство, вольнолюбивые мечты, упоение свободой чувства и мысли — таков Николай Языков в пору расцвета его таланта. Потом поэт добровольно наденет на себя вериги ортодоксальной славянофильской риторики, ура-патриотизма и духовно почиет еще до своей безвременной физической смерти...

Но навеки останутся с нами его вольная буйно-радостная песня «Из страны — страны далекой», его философски пророческий «Пловец».

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна:
Не темнеют небосводы,
Не проходит тишина...

Вопреки созерцательному мечтанию о «воздушных соблазнах» неги и красоты Языков утверждает в «Пловце» идею активной борьбы за будущее: «Но туда выносят волны Только сильного душой!» Не потому ли так любил эти стихи и могучую народную мелодию, открытую в них безвестным музыкальным гением, Владимир Ильич Ленин — бесстрашный пловец в грядущее человечества?

Уход в «пророческие сны» и мечтания был формой духовного протеста литературы против скуки, безликости и бездуховности торгашеского существования, против тирании власть и богатство имущего меньшинства над человечеством. Наиболее мощно, наиболее трагически этот протест выразил в своем творчестве талантливейший поэт «пушкинского круга» ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БАРАТЫНСКИЙ* (1800—1844 гг.).

Ранний этап творческого развития поэта во многом созвучен «легкой поэзии» Батюшкова. Позднее он признавался: «Я славил на заре своих цветущих дней Законы сладкие любви и наслажденья». И его юношеская мечта тоже как бы подменяла жизнь, служила убежищем для отдохновения от ее гримас и тягот.

Однако с годами в поэзии Баратынского нарастают, словно глухой подземный гул, мотивы и настроения трагического разлада между мечтой и действительностью, между мыслью и чувством, наукой и поэзией («Последний поэт»), мотивы обессмысливания творческой сущности человеческого бытия.

История подтвердила — хотя, как всегда, по-своему — смутные пророчества Баратынского: научно-технический прогресс, плоды просвещения сами по себе никак не гарантируют воцарения рая на земле. Напротив, в руках дьявольских сил эгоизма и стяжательства они влекут за собой дикость, иссыхание живительных духовных родников человеческой культуры.

Антитеза «железного века» и «ребяческих снов» поэзии приводит Баратынского к идеализации золотого века Древней Эллады, наполняет душу его острой болью и тоской по навеки утраченной гармонии. Продажность, разврат, жестокость, оскудение доблести, попрание чести... Поэту кажется, что пришествие антихриста цивилизации знаменует полный распад цепи времен; он проклинает холодный, высокомерный Разум (и это в эпоху всеобщего преклонения перед идеями Просвещения!).

Есть в наследии поэта одно загадочное (и пророческое) стихотворение, исполненное мучительных раздумий о будущем. Это «Последняя смерть», приведенная в хрестоматийном приложении. Фантазия автора буквально продирается сквозь пелену веков — и зрит в конце пути человечества запустение, гибель, тлен...

Однако к этой вещи вряд ли можно подходить с обычным «сантиметром» литературных учебников (мировая скорбь, неверие в прогресс и т. п.). «Последнюю

* В настоящее время литературоведы вновь все чаще обращаются к первоначальному написанию фамилии поэта — Боратынский.

судьбу всего живого» поэт видит сквозь призму «дивного сада» всечеловеческого счастья, достигнутого как раз трудом, разумом, волею окрыленного единения человечества: «...и царствовал повсюду светлый мир»! И мир этот есть не что иное, как разума великолепный пир. Какая дивная, поистине пушкинской силы формула будущего!

Почему же рушится светлый мир, почему наступает безумное похмелье ослепительно прекрасного мира? Причина трагедии не в самом прогрессе, а в остановке его, в застылости, прекращении движения мысли и желаний, в гибельности всеобщего самоудовлетворения... Люди, достигшие всех мыслимых благ и радостей, теперь «на все спокойные взирали, что суеты рождало в их отцах, Что мысли их, что страсти их, бывало, Влечением всесильным увлекало».

Вот дьявол разложения: угасание земных желаний, всесильных влечений к новому, неизведанному. «И в полное владение свое Фантазия взяла их бытие».

Парадокс: мечтатель и «воздыхатель» Баратынский предупреждает о грозной опасности бесплотной и бесплодной мечтательности, бездеятельности, бездумности!

А теперь — к Пушкину!

Равно принадлежащий всем временам сразу — и прошлому, и настоящему, и будущему — современник вечности, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН (1799—1837 гг.) есть «величайшая гордость наша и самое полное выражение духовных сил России» (М. Горький).

Веселое имя — Пушкин! Оно не нуждается в эпитетах, более того, необъятностью своею лишь подчеркивает относительность, бессилие, бренность каждого из них в отдельности и даже всех вместе. Все — в нем, и все бесконечно. Он питает нас, в нем все — наше: бесконечный духовный космос мечтаний, радостей и надежд, горестей и трагедий, прозорливости, светлой грусти и яркой веры в грядущее. О нем гениально сказал Гоголь:

«Это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет».

И в этих словах — наша программа на усовершенствование личности в настоящем и в будущем.

Тысячи и тысячи его строк озаряют души людские вот уже более полутораста лет: «Румяной зарею покрылся восток...», «На холмах Грузии...», «Я помню чудное мгновенье...». Океанская, безбрежная ширь света Человечности! Однако: достало бы для создания такого океана поэзии одного только великого таланта, образованности, душевной отзывчивости, даже помноженных на труд души необычайный?

Нет, тут одного лишь священного дара — мало. Глубинная суть пушкинского бессмертия раскрыта самим Александром Сергеевичем: «Неподкупный голос мой был эхо русского народа».

Пушкину привелось стать эоловой арфой России, на волшебных струнах которой исполнила свои гимны, свои пророческие песни рука народа-исполина, поднявшегося к вершине национального самосознания, которое вызрело и выплавилось в пламени Отечественной войны 1812 года, закалилось в дерзкой схватке с царизмом в декабре 1825 года. А на вершине этой маяком Красоты и Надежды вспыхнул всеми цветами жизни-радуги «магический кристалл» пушкинского творчества.

Прикоснемся к святая святых его поэзии — к пушкинской вольнолюбивой лирике, где ярче всего выразилась крылатая Мечта гения. Сперва, в юности, она — родная сестра батюшковской и дельвиговской игривой эллинско-эпикурейской мечтательности: «праздность вольная, подруга вдохновенья». Но даже не год от года — стремительно, день ото дня — мужает ее голос, полнится священной ненавистью к порабощению человека и уверенностью в приходе времен, когда над Отечеством неугнетенного народа взойдет наконец «прекрасная заря», когда Россия воспрянет ото сна отвратительного самовластья.

Чутко, неравнодушно, неустанно вникая в добро и зло мира, Пушкин все отчетливее слышит глас народа, глухой, недоступный остальным голос Истории:

И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье...

Обретший после разгрома декабристов глубинное, выстраданное историческое чувство, он, как никто, внял и зову будущего.

«В надежде славы и добра Вперед гляжу я без боязни»,— гордо заявлял Поэт. Глубоко веря в свою Россию, он радостно — и с понятною грустью — приветствовал новые времена, новых людей:

«Здравствуй, племя младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст...»

Как хотелось, как страстно хотелось ему увидеть будущее!

Пушкин весь — гармония. Никогда, даже у самой «бездны мрачной на краю», не преступал грань меры. И поэтому сотканное из реальных противоречий самой жизни дивное кружево его поэзии нигде не рвется под грузом избытка — будь то пророческая мысль, или безудержная фантазия, или святое вдохновение.

Предела — нет; покоя — нет; замкнутости — нет, но мера и согласие мечты и реальности есть всегда.

Мечта его бесконечна, вольна, крылата; однако это не своевольная, не обманчивая, не усыпляющая, но именно возвышающая человека Мечта!

Прислушаемся:

Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот) дороги, верно,
У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию там и тут
Соединив, пересекут,
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды...

На пятьсот лет вперед — ни много ни мало! — улетает дерзостная поэтическая мечта.

И в то же время Пушкин не позволяет ей отрываться от реальности. Все впереди, но путь долог; сознавая это, поэт приземляет (ровно настолько, сколько требуется высшею мерой реализма) полет фантазии — гениально, весело: «И заведет крещеный мир на каждой станции трактир». Вот он какой! Недаром Белинский писал: «Поэзия его чужда всего фантастического, мечтательного, ложного, призрачно-идеального».

Но вот совсем другое, грустное, проникновенное — и просветленное страданием:

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...

Через полвека с небольшим после трагической гибели Пушкина другой великий русский поэт — Александр Блок, сохраняя верность выстраданному пушкинскому оптимизму, скажет:

Узнаю тебя, жизнь, принимаю
И приветствую звоном щита!

Известно, что в своих мечтах о будущем любимой России Пушкин отводил важное место родовитому дворянству, которое мыслилось ему созидательной национальной силой. Только ли классовые, кастовые шоры надлежит видеть в этом несомненном заблуждении?.. Ведь о заблуждениях гения самим Пушкиным сказано — и тогдашним, и будущим мещанам и эгоистам: «Врете, подлецы: он мал и мерзок — не так, как вы — иначе». Даже заблуждения гения открывают миру пути к истине грядущего, пути, куда более верные, чем «логика» сиюминутности, ползучей верности фактам и фактикам.

14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь вышли друзья и единомышленники Пушкина. «Они дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много». Так полагал Александр Сергеевич. При этом, конечно, он имел в виду именно лучших: и умом, и культурой, и воспитанием, и благородством, и бескорыстием.

То была высокая поэтическая мечта о пути интеллигенции к народу, о постепенной и честной расплате с ним людей образованных, культурных, о воссоединении умов нации с «телом» ее. Мучительную, душераздирающую проблему эту весь век будет решать наша великая литература.

Вершина поэтического предвидения Пушкина — его «Памятник». Мир ему видится прекрасным, поскольку высшими ценностями в нем станут свобода, человеколюбие, доброта. Высочайший взлет гуманизма дарован нам в «Памятнике», этом

истинном завещании потомству! Великой будет Русь! И время то будет благословенно, ибо не безгласным, а полноправным станет на Руси «всяк сущий в ней язык», и будет она чтить своих лучших сынов не за хвалы царям, но за пробуждение в человеке чувств добрых, за призыв милости к падшим, за дерзостное мужество — восславить свободу в жестокий век.

...В нем бездна пространства. Душа его была полна всемирной отзывчивости, высокогуманного интернационализма — и в этом тоже залог его непреходящей всемирности. В то же время вечно и непререкаемо звучат его слова: «Я числюсь по России».

Прекрасен наш союз с Пушкиным! «Он как душа неразделим и вечен — неколебим, свободен и беспечен»... Идут годы, десятилетия, и они все больше приближают нас к Пушкину. Бедны те люди, что не помнят, не перечитывают его поэзию, не учатся у него, не обогащают свой дух, не дышат воздухом его чистой поэзии. Всем нам никак нельзя без Пушкина, как ему самому невозможно было без России, будущее которой он, «заветов грядущего вестник», гениально предугадал. Он дал общечеловеческой Мечте русское имя: Звезда пленительного счастья. К нему не зарастет народная тропа!

Мы не включаем тексты Пушкина в хрестоматийную часть, ибо включать бы надо все, или почти все написанное им. Читайте его стихи, его прозу. В них — его и наша Мечта, его бессмертие!

Погиб Поэт... Но вещее перо не выпало из рук — оно было подхвачено другим светлым и любимым сыном России. Да здравствует Поэт!

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ (1814—1841 гг.) — в те страшные годы именно он поэтизировал героическое, предвосхищая пробуждение своего народа — того народа, чьими сыновьями были удалой и гордый Степан Калашников, смелый поборник вольности Вадим, былинные герои Бородина.

«Богатыри, не вы...» Поэт без устали направлял свой праведный гнев против апатии, лености, ползучего пресмыкательства пред сильными мира, против барского пренебрежения общественным долгом и благом.

«Мой ум немного совершит...», — горестно предчувствовал поэт. Его судьба и дар трагичны, и все же Лермонтов — приверженец и последователь светлой пушкинской Мечты. Вслед за Пушкиным он поднимается до глубочайшего осмысления истории, цепи времен. Он — трагический оптимист. Трагическое сознание невозможности что-либо изменить сейчас, сегодня, немедленно не ввергает поэта в бездну отчаяния, истерики, желчной мизантропии. Он — выше отчаяния. Его отрицание сущего есть обещание иной жизни, неизбежно идущей на смену неразумной (и потому обреченной на гибель) действительности. Лермонтов — «это демон движения, вечного обновления, вечного возрождения» (В. Белинский).

Пророческими оказались слова молодого Лермонтова о «грозном суде» над палачами свободы. «Он ждет. Он недоступен звону злата. И мысли, и дела он знает наперед». Вечевой колокол народного гнева и возмездия гудит в последних строках «Смерти поэта»: «И вы не смоете всей вашей черной кровью Поэта праведную кровь!»

Незадолго до своей гибели от пули ничтожного российского герostратика* Лермонтов создает бессмертный пророческий шедевр, пишет свою просветленную «Родину».

«Люблю Отчизну я, но странною любовью...» Какое русское сердце не встрепенется, как только всплывут в душе эти пронзительные, раздольные, воистину волшебные слова? Тайная надежда, мечта поэта, его «отрадное мечтанье» именно в странности его любви к Родине.

Не «слава, купленная кровью...» Не «темной старины заветные преданья»... Нет! Такая, «немытая» Россия, страна рабов, страна господ, страна косного официозного триединства «самодержавия, православия, народности», европейский жандарм — не его Отчизна! «Полный гордого доверия покой» — тоже не для истинного патриота; страшен «покой», осеняемый

* Герострат — грек, который сжег, дабы «прославиться» в веках, одно из семи чудес света — храм Артемиды в Эфесе (366 г. до н. э.).

мрачными крылами самодержавного орла...

Но была, есть и будет во веки веков другая Россия, настоящая Родина, настоящий ее хозяин — народ, возделывающий и преображающий свою землю-кормилицу. Как прекрасна она, просторна и величава! «Ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее, подобные морям», «чета белеющих берез» — эти образы стали эмблемой России, символами подлинно народной эстетики и поэтики нашей великой литературы — от Гоголя и Некрасова до Шолохова и Леонова.

Странная любовь к Родине включает и духовное воскресение «покорного», «послушного» голубым мундирам народа, уверенность, что народ, поднимающийся на борьбу за свою землю, за великую идею, непобедим. Вспомним, как прозвучали более чем через сто лет, грозной осенью 1941 года, вещие и гордые слова «Бородина»: «Ребята! Не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали!»

Каждый миг его короткой жизни был наполнен творчеством, исканием, сомнением, борьбой и верой. «Так жизнь скучна, когда боренья нет... Жажда бытия во мне сильней страданий роковых». Нам близок и всегда будет близок Лермонтов с его прожигающей душу мечтой об очищении человечества от скверны подлости и прозябания. В каждом из нас — нынешних и грядущих — печальное, чистое и святое лермонтовское «из пламя и света рожденное слово».

А теперь наш путь к человеку, великому и своим прозрением судеб России, и огромностью заблуждений относительно путей ее морального возрождения и переустройства — к НИКОЛАЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ГОГОЛЮ (1809—1852 гг.).

В самом зените расцвета своего таланта он начал поистине космический по размаху труд на благо России — и рухнул, раздавленный непосильным бременем. Он мечтал открыть Истину добра и братства, но оставил в качестве «проектов будущего» лишь беспочвенные, безжизненные утопии. Он, приговоривший Манилова и маниловщину, убивший словом этим пустопорожнее краснобайство, лишенную жизненных сил и целей слезливую мечтательность! Такова ирония истории, таковы парадоксы гения... А ведь за одного только Манилова честь и место Николаю Васильевичу в пантеоне великих и страстных поборников Мечты. Вспомним, что «маниловщиной» на протяжении едва ли не всей своей жизни клеймил и разоблачал болтунов-либералов, «воздыхателей» о благе народном, постепеновцев — и волюнтаристских прожектеров тоже! — Владимир Ильич Ленин.

Обратимся к духовным истокам мечты писателя. Тут обнаруживаем мы не батюшковскую эпикурейскую традицию, но клубящуюся, веселую и страшную одновременно, стихию фольклора, духа простого народа, его морали и культуры, его поверий и мечтаний. Отсюда буйство красок, контрасты света и мрака в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Отсюда исполинский в духовной мощи своей Тарас Бульба. Молодой Гоголь возвышает великодушие над корыстью, отвагу над трусостью, благородство над подлостью, гуманность — над эгоизмом. Его юношеские утопии «вольного козачества», поэтизация народного быта романтичны, трогательны, прекрасны, но — обращены в прошлое и... заметно подсвечены христианской религиозностью. Здесь, видимо, изначальная завязь будущих мировоззренческих противоречий Гоголя...

Вразумить прошлым настоящее — так сам писатель (в письме к Н. Языкову) трактовал своего Тараса и, добавим, Вакулу, Левко, Данилу Бурульбаша и других умных, ловких, смелых и добрых героев.

Затем наступил этап «вразумления» настоящим будущего. Вразумления «от противного», через остросатирическое, хлестко разоблачительное изображение «антимира» (как выразились бы мы сегодня) тупости и злобы. «...Люди, заглянувшие в глубь жизни, смотрят на его картины с грустным раздумьем, с тяжкою тоскою,..— писал В. Белинский.— Эта грязная действительность наводит их на созерцание идеальной действительности, и то, что есть, яснее представляет им то, что бы должно быть». (Разрядка автора.)

Противопоставление мира пошлости миру мечты; неразрывность комического и трагического, отторжение мертвой, пустой застойности крепостничества и воин-

ствующей буржуазной подлости — таковы мысли зрелого Гоголя в «Мертвых душах», величайшем произведении русской литературы. Писатель свято верит в духовно преобразующую силу Слова, произрастающего на благодатной народной нравственной почве.

Неведома и неизведанна дорога России и ее народа. «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа». И в то же время: «Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу...»

Мучительно, упрямо ищет он сопряжение, согласие народного русского характера и обновленных социальных условий. Но — увы! — ищет в благостной патриархальной иллюзии единения крестьянства и «гуманных» (типа Костанжогло) помещиков, всеобщего благоденствия трудящихся и господ, осененного общностью экономических интересов и христианской любовью... От гоголевской утопии прямая нить ведет к непротивленчеству Льва Толстого, к «братству во Христе» Федора Достоевского.

Долгий, долгий еще предстоял путь неудержимой «тройке» русской народной Мечты!

КОЛОКОЛ ПРАВДЫ

Под негасимой, манящей звездой пленительного счастья росла, мужала и крепла литература великих вопросов. Шел своим историческим путем народ великих ответов. Они шли друг другу навстречу, неустанно отыскивая в необозримом море духовной культуры минувших веков и современности заветный «философский камень» правильной теории, всемогущей идеи, способной перевернуть, переустроить мир на светлых началах. Россия продолжает платить самую немыслимую цену за эти поиски: жизнями, судьбами лучших, умнейших детей своих... Цензурный террор, допросы, доносы, ссылки, каторга для петрашевцев, массовые «расстреляния» для бунтующих крестьян...

Тяжкий молот самодержавных репрессий ковал прочный булат передовой революционно-демократической мысли и охваченной освободительным порывом реалистической литературы.

Первым из последекабристского поколения борцов за новую Россию, кто связывал воедино — во имя грядущего — острый луч теории и эмоциональную стихию слова, должен быть назван, конечно же, ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЛИНСКИЙ (1811—1848 гг.).

«Неистовый Виссарион» был, по словам Ф. М. Достоевского, самым торопившимся человеком в России. Он словно бы предчувствовал, что немного ему отпущено судьбою для служения Отечеству и народу. Критик, философ, поэт, революционер — все соединилось в нем: пламень мечты и лед ненависти, безмерная глубина таланта и энциклопедическая ширь познаний. Он стал в просвещении не просто «с веком наравне», но в прозрении своем увидел зарю социализма.

Читайте Белинского! Не к очередному школьному уроку — читайте к очередному испытанию жизни, испытанию чувств, «во дни сомнений, во дни тягостных раздумий...»

В нем, словно кадр за кадром, сменяя друг друга, прошли практически все испытываемые тогда русской мыслью на годность к борьбе философские, социологические и этические концепции, включая различные варианты утопического социализма.

Молодой Белинский начинает с высшей теоретической «отметки» эпохи — с философии Гегеля, с постижения «алгебры революции» — диалектики, с отрицания ложной мечтательности романтиков-одиночек. Он неотступно шел к идее объективной необходимости революции против гнусной крепостнической действительности. Глубже понять эту фазу идейного развития великого критика поможет, на наш взгляд, знакомство с его версией древнего мифа о Прометее, которая приведена здесь отрывком из «Статей о народной поэзии» (1841 г.). Трактовка Белинским «загадки Прометея», как может убедиться читатель, насквозь революционна и пронизана духом неизбежности торжества передовых идей.

Все в творчестве Белинского (после «детской болезни» примирения с действительностью, которою он быстро переболел) буквально дышит верой в прогресс, в Разум и его всесилие. В высшей степени характерна написанная им в 1842 году рецензия на книгу Ф. Лоренца «Руководство к всеобщей истории». Мыслитель-диалектик

прочно и навсегда приемлет идею поступательного развития общества. «Не было и нет ни одного народа,— писал он,— составившегося и образовавшегося по мысли одного какого-нибудь, хотя бы и гениального человека».

Мерная поступь прогресса еще острее, однако, побуждала к разрешению жгучего вопроса: когда же разумное становится «неразумным»? Уроки гегелевской диалектики пошли впрок: Белинский вырабатывает широкую программу движения русского общества (через поощрение промышленности, науки, критику отживших феодальных институтов) к новым рубежам, за которыми обязательно последует коренная ломка всего социального строя в России.

Ломка эта не произойдет сама собой, и люди — участники и творцы истории — вовсе не обречены быть «телегой», которую волокут в будущее неторопливые «волы» объективных законов. «Тысячелетнее царство божие,— писал Белинский Боткину,— утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснодушной Жиронды», но «обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов». Белинский приходит к идее революции.

Важно подчеркнуть, что Виссарион Григорьевич, признавая решающую роль масс в истории («...как бы ни был велик человек, народ всегда выше его»), в то же время чуть ли не единственный из всей плеяды революционных демократов сумел избежать соблазна идеализации патриархальной русской общины, искушения «крестьянским социализмом». Уже по этому одному его взгляд на пути движения России к новому общественному устройству был ближе к марксизму. Г. В. Плеханов имел право назвать Белинского предшественником русского марксизма.

Не случайно именно Белинскому удалось глубже и дальше других заглянуть в прекрасное будущее своей родины, высказать догадку, которую по праву можно назвать *сбывшимся пророчеством*:

«Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 году, стоящею во главе образованного мира, дающею законы и науке, и искусству и принимающею благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества».

Современники говорили об «инстинкте истины», свойственном Белинскому. Зная его биографию, судьбу его трудов, точность его литературных прогнозов, мы, потомки, вправе сказать почти по-суворовски: инстинкт-то инстинкт, но, помилуй бог, нужны еще и ум и умение! Такой провидческий инстинкт, свойственный подлинно великим людям, есть производное от разума и общественного «нетерпения сердца», от страстной нацеленности на истину. И еще — от страстной любви к Родине. «Я люблю русского человека и верю великой будущности России» (В. Белинский).

Много успел сделать 37-летний критик. Судьба ему уготовила, говоря словами Некрасова, «путь славный, имя громкое, чахотку и...». Да, и Сибирь тоже могла бы быть: просто смерть критика опередила царя... Но физическая гибель была уже не властна затмить содеянное. Его дело продолжалось в проницательно угаданных и благословленных им талантах. Его гуманизм, его непримиримость к посредственности, бездарности, «дождевым пузырям литературным», его органический демократизм сделали необычайно много для русской литературы XIX века. Им указаны и доказаны единственно верные ее пути — народность и высочайшая художественность, горячее сочувствие униженным и оскорбленным.

Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени...

В колокол народной Правды и Мечты бил АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН (1812—1870 гг.), человек огромной культуры и духовной силы, дерзнувший открыто — вслед за декабристами — бросить вызов российскому самодержавию.

Он любил Россию самозабвенно, до боли сердечной, страждал для народа иной, достойной жизни. Идея «полного гумна» — довольства, благоденствия, свободы — постепенно займет все пространство души Герцена, станет поэтической формулой «крестьянского социализма», им самим выношенного под страстным сердцем борца.

«Борьба — моя поэзия»,— говорил Герцен. Он остался верен этой поэзии, как и России, до конца. Судьба обрекла его на страшное испытание: многие годы, вплоть до смерти, «жить розно и в разлуке уме-

реть» с любимой Отчизной... Обрекла, но не сломила. Таким был этот громадный Человек.

До 1848 года, до краха буржуазно-демократических революций в странах Европы, Герцен был убежденным сторонником европейской, утопически-социалистической перспективы для родного народа. Да, утописты убегают «в мир мечтаний от действительного мира», но их величайшие пророчества, помноженные на революцию, должны привести Россию к светлому будущему.

Он был буквально раздавлен кровавым финалом «весны народов». Кто же, кто и когда принесет миру свободу, равенство, справедливость?!

«Вера в Россию спасла меня на краю нравственной гибели»,— скажет впоследствии Александр Иванович. Острым своим диалектическим разумом он как бы рассек страну надвое: на Русь чиновников и крепостников, рудников и казематов — и Русь общинных крестьян, Русь великих традиций свободолюбия и свободомыслия. На эту «вторую Русь» отныне и до конца жизни направлены все его помыслы, все мечты, все огромные познания — иными словами, весь неостывающий жар души революционера-изгнанника. Прочтите отрывок из его статьи «Россия» — и на вас дохнет этим яростным жаром.

Герцен увидел социализм «в освобождении крестьян с землей, в общинном землевладении и в крестьянской идее «права на землю» (В. И. Ленин). Община в деревне притягивала его своею «коммунистичностью»: отсутствием права личного владения, равномерным распределением доходов между всеми ее членами, выборностью должностных лиц и подотчетностью их «миру».

Так вот: общинное устройство крестьянской страны (она, конечно, будет нуждаться в укреплении и «очищении» от искажений) следует дополнить политическим, экономическим и духовным освобождением народа — и тогда Россия вступит в новую жизнь на началах социализма.

«В сущности, это был вовсе не социализм, а прекраснодушная фраза, доброе мечтание» — так сурово и справедливо определил позицию Герцена впоследствии В. И. Ленин. Но революционную проповедь редактора «Колокола» — по-аввакумовски неистовую, по-рылеевски смелую— Владимир Ильич всегда ценил высочайше.

В хрестоматийном разделе читатель найдет отрывки из герценовских статей «Русское крепостничество», «Русские немцы и немецкие русские», в которых социалистическая концепция Герцена изложена в высшей степени компактно и с присущим великому публицисту стилистическим блеском.

Не будем, однако, забывать, что Герцен не только философ, критик, журналист, но и крупнейший писатель, прямой предшественник некрасовско-щедринского направления в русской литературе, автор одной из удивительных книг во всей мировой культуре — «Былое и думы».

Художественное творчество Герцена неразрывно связано с идейно-нравственными исканиями, с огромной работой мысли. У него, говорил В. Г. Белинский, «мысль всегда впереди, он вперед знает, что и для чего пишет». Скажем, трагическая «Сорока-воровка» была попыткой (и какой!) осмыслить на русской почве известный тезис Фурье о том, что «расширение прав женщины — общий принцип всякого социального прогресса». Борьба за освобождение женщины, протест против ее вопиющего бесправия были для молодого Герцена первыми шагами по тропе революции.

Следующий шаг по этой тропе — знаменитый роман «Кто виноват?», трактующий проблемы обесчеловечивания творчески активной личности в условиях крепостнического общества, чуждого и враждебного. Бельтов обречен на поражение, ибо он не в состоянии приложить свои высокие душевные порывы к общественному благу. Трагедия герценовского героя не только трагедия обстоятельств («плетью обуха не перешибешь»), но и трагедия незнания: «куда идти, в каком сражаться стане»? Это трагедия безвременья; ее на переломе 40—50-х годов переживет сам Герцен — и двинется затем к крестьянину, к революционной проповеди, а в конце жизни обратит свой взыскующий взор к I Интернационалу Маркса.

Герцен — весь движение, весь биение мысли. Сегодня — вежливая переписка с царем-«освободителем»; завтра — набатные удары «Колокола», возглашающие неотъемлемое право крестьян на землю и

волю, а послезавтра (после куцей реформы 1861 г.) — прямое воззвание к пробуждающемуся народу-исполину: «Потянись во всю длину молодецкую, вздохни свежим утренним воздухом, да и чихни — чтоб спугнуть всю эту стаю сов, ворон, вампиров».

...Человек, ударивший в колокол гнева, в колокол совести, стоит у истока самой народной из всех интеллигентских социальных утопий. Сбылось его предощущение великой революционно-созидательной миссии русского народа. Сбылась, хотя и совсем иначе, чем он себе представлял, его мечта о коллективном землепользовании, о «земле и воле» для всех трудящихся.

Труды и заслуги его бессмертны. И главная из них, бесспорно, та, что «он поднял знамя революции» (В. И. Ленин).

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОБРОЛЮБОВ (1836—1861 гг.), один из вождей революционно-демократической «партии народа» в литературе середины минувшего века, самоотверженно трудился ради соединения «крестьянского социализма» с крестьянской революцией.

Маркс и Энгельс называли его «социалистическим Лессингом», ставили как писателя рядом с Дидро. Он прожил намного меньше, нежели Белинский,— та же чахотка свела его в могилу.

«Я отчаянный социалист,— писал Добролюбов в дневнике 1857 года,— хоть сейчас готовый вступить в небогатое общество, с равными правами и общим имуществом».

Здесь крайне любопытно — слово «небогатое». Социализм Добролюбов мыслил как общество без несправедливо богатых, как общество, где каждый трудится на общее благо в полную меру своих способностей. Оно не может сразу стать богатым: просто «переделом», перераспределением того, что награблено дворянами и царем, дела не решить. Понадобятся время и труды немалые; но это будут труды на себя и ближних, на общество, где исключается присвоение кем-либо и в какой угодно форме плодов народной работы.

Нельзя не поразиться зрелости суждений Добролюбова о принципах социализма. Небогатое — не цель, а исходная точка. Накапливая силы, общество равных и свободных людей пойдет вперед широкими, твердыми шагами и не унизится до уравниловки с ее обезличкой и казарменными «стимулами» к труду. Он писал удивительно ясно и точно: «Самое главное нужно, чтобы значение человека в обществе определялось его личными достоинствами и чтобы материальные блага приобретались каждым в строгой соразмерности с количеством и достоинством его труда». В принципе распределения по труду мыслитель справедливо видит мощный импульс к всеобщему образованию («чтоб делать как можно лучше свое дело»), к подъему науки и культуры, путь к окончательному истреблению тунеядства.

Но сначала, прежде всего, нужнее всего — всколыхнуть мужицкую Русь, воззвать ее к топору, к восстанию против «внутренних турок» (В. И. Ленин). Только революция принесет на своих крыльях настоящий день, только она разгонит ярким светом победы удушливый мрак «темного царства». «Эрлиб» (буквально: «преданный чести» — так назвал Добролюбова Маркс) на все смотрел с точки зрения революции, в этом его завораживающая сила. Здесь разгадка, как удалось ему сделать всего лишь к двадцати пяти годам (студенческий возраст!) так много для Отечества, для бессмертия.

Он каждую минуту жил для народа, ради скорейшего вызволения его от цепей рабства. Он меньше всего думал о вечности. Он торопил свое время, как Белинский, он весь, до последней капли, был в этом своем времени — и потому навсегда остался жить в будущем.

Природа-мать! когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...

Так сказал о нем — от имени своего и грядущих поколений — Н. А. Некрасов.

Добролюбов-поэт вослед Радищеву и Рылееву славил свободу, прозорливо видел «в таинственных почках Воли грядущей живительный плод». Вослед Белинскому он убежденно пророчил России светлое будущее:

О Русь, с каким благоговеньем
Народы взглянут на тебя!

«БУДУЩЕЕ СВЕТЛО И ПРЕКРАСНО»

«Чистая лампада» беззаветного служения Отечеству, своему народу, его будущему, зажженная декабристами и Пушкиным, Белинским и Герценом, разгорелась могучим, со всех краев света приметным пламенем великой литературы. «Ваша поэзия,— писал И. С. Тургеневу Проспер Мериме,— ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою».

Прежде всего — правды! Здесь — суть и смысл напряженных идейных, художественных, нравственных исканий и прозрений литературы 60—70-х годов XIX века. Идеал земной Правды, лелеемый трудящимися на протяжении веков, пронизывает творчество великих народных заступников, воодушевляет (пусть на время) даже тех, кто остался далек от народа, кто не сумел найти путей к социальным силам, чьим гневом, умом и волей будет преображена Россия. Своеобразной формулой гражданственности литературы той поры может служить великолепное восьмистишие Якова Полонского:

Писатель, если только он
Волна, а океан — Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.
Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражен,
Когда поражена свобода.

А ведь Я. Полонского никак не причислить к «партии народа» (Н. Добролюбов) в литературе его времени!

Иван Никитин, Алексей Кольцов, Николай Огарев, Иван Суриков, Михаил Михайлов — вот ее преданные и стойкие бойцы; Николай Некрасов, Тарас Шевченко — ее правофланговые.

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (1828—1889 гг.) — ее духовный вождь, высшая точка взлета революционно-демократической мысли в России.

«Чернышевский был социалистом-утопистом, который мечтал о переходе к социализму через старую, полуфеодальную крестьянскую общину, который не видел и не мог видеть в 60-х годах прошлого века, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма. Но Чернышевский был не только социалистом-утопистом. Он был также революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя — через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей» (В. И. Ленин).

Известно, что юный Владимир Ульянов написал письмо Н. Г. Чернышевскому, которое — увы! — не сохранилось. Однако не подлежит сомнению, что послание это было проникнуто горячей симпатией к великому революционеру-демократу, желанием из первых рук получить столь необходимые в начале пути советы старшего товарища, служившего эталоном мужества в борьбе с самодержавием.

Как боялись умного, бесстрашного, хладнокровного Николая Гавриловича царские сатрапы! Замысел их был зловещим: изолировать вождя от соратников, от народа, погасить светильник разума...

В мае 1862 года в Петербурге заполыхали пожары. Провокаторы постарались взвалить вину на «крамольников», то есть на революционных демократов, дабы изобразить их в глазах обывателей обыкновенными уголовниками.

Однако шпага, которую сломали палачи на эшафоте над головой Чернышевского, не сломила духа бойца. Свершилось чудо! Свершился беспримерный творческий и гражданский подвиг «русского Кампанеллы»: за четыре месяца в каземате Алексеевского равелина Петропавловки родилась необычайная книга века — яркая вспышка великой Мечты, озарившая будущее России. «Он меня всего глубоко перепахал,— писал В. И. Ленин о романе «Что делать?».— Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь».

Роман-утопия, роман-подвиг, роман-воззвание, роман-правда — таковы грани удивительного творения Чернышевского.

Знаменитый «Четвертый сон» Веры Павловны мы все изучали в школе. «Будущее светло и прекрасно» — сродни пушкинской «звезде пленительного счастья» и в своей возвышенной поэтичности, и в поэтической проницательности. Но, думается, к школьной ступеньке (первой в освоении гениального произведения) надлежит достраивать новые и новые ступеньки: высок

Идеал, глубока и, словно воздух в горах, свежа дерзкая Мысль, маняще ярок факел Мечты!

Свободный труд, направленный на служение людям, научная деятельность, революционная работа, благородная этика взаимного доверия, чуткости и самоотверженной дружбы — вот слагаемые борьбы за воплощение Идеала. Думая о личных интересах (они не фанатики, не аскеты, никоим образом!), н о в ы е л ю д и глубоко сознают их неразрывную связь с интересами других людей. Они подчиняют страсти не рассудку даже, а воле к идеалу; они выше частных страстей, ибо им открылось «упоение в бою», упоение добром и дружеством. Красивые, гармоничные, прекрасные люди!

Это — л ю д и д е л а, а не прекраснодушной мечтательности. Они не мыслят жизни без труда и глубоко ненавидят тунеядцев и эксплуататоров. Их деяния и помыслы проникнуты мечтой о социализме: и она движет ими, наполняет повседневность борьбы и работы сокровенным смыслом и светом.

Новизна героев «Что делать?» не только в том, что они благородны, открыты добру и состраданию. Главное — они с о ц и а л ь н о а к т и в н ы, они сила, умножаемая единением. Чернышевский поэтически «схватывает» революционную формулу: вожди — партия — класс — масса. Неточно и неполно. ибо поэтически, но как вместе с тем гениально! От революционеров-одиночек типа Рахметова к группам единомышленников (Кирсанов, Лопухов, Вера Павловна) и далее к «людям из подвалов»— такова геометрическая прогрессия роста революционных сил. Чернышевский угадал и показал неодолимость нарастания «девятого вала» новой жизни — в недрах старого мира, подвластного, однако, коллективному революционному преобразованию.

Сквозь все сны Веры Павловны Розальской красной нитью проходит идея раскрепощения женщины. Эта идея становится символом подлинно социалистического обновления человечества. Чернышевский художественно изображает всю историю как поступательный процесс освобождения Любви, торжества высокой Человечности и Гармонии.

Утопия Чернышевского, как никакая другая, приближена к действительности, вырастает из нее, с нею соизмеряется. Мечта автора в высшей степени активна — она не созидает воздушные маниловские замки, а стремится к перенесению социалистических начал из будущего в настоящее и из настоящего — в крупицах, зернах, зачатках — в будущее: «Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его!»

Он вполне доверял потомкам — детям, внукам и правнукам «новых людей» — и потому не унижал их мелочной регламентацией, дотошным расписанием деталей будущего быта. Важны верные принципы и борьба, а уж «технические подробности даются практикой, самим исполнением дела и местными условиями». Сказано вполне по-ленински!

Высшим пиком оптимистической мечты Чернышевского является мысль о том, что идеал социализма, его мораль, его культуру способны воспринять и выработать самые широкие массы трудящихся. Способны — но только в труде, борьбе, образовании. Не случайно, что «золотые сны» о будущем снятся в общем-то вполне обычной женщине, но как бы подготовленной к ним и упорной учебой, и долгими размышлениями, и практическим опытом организации мастерских.

Подготовленной также и беседами с социалистами. Вся сила в народе; это было для революционера-демократа непреложно. Но народу остро нужны Рахметовы — люди, вооруженные передовым знанием, огромным умом и волей, окрыленные мечтой и жаждой деяния ради человечества. «Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало,— писал Н. Г. Чернышевский о революционерах,— но они в ней — теин в чаю, букет в благородном вине; от них ее сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, соль соли земли». Трудно найти во всей мировой литературе строки более яркие и точные о рыцарях борьбы за народное дело!

В то же время мечта Чернышевского летит дальше и выше: «На той высоте, на которой они стоят, должны стоять, могут стоять все люди». В с е л ю д и! Это был смелый взгляд в будущее, в тот мир, где гармония, благородство, разум станут нормой. Такой великой была его вера в свой народ — и в социализм!

Духовным соратником и сподвижником Чернышевского в русской революционной демократии был НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ (1821—1878 гг.) — «нерв великого народа», его поэтическая совесть.

Какой истинно русский человек не любит его? Нет Руси без Некрасова, как не могло быть и его самого без русского врачующего простора, без русской тоски и боли, без кудрявых берез, без русских многострадальных и непокорных мужиков и женщин — без народа, которому «пределы не поставлены».

С некрасовскими жаркими стихами в сердце лучшие сыны и дочери России шли на битву против деспотизма и рабства, за правду народную, шли на каторгу, в тюрьмы, по-некрасовски свято веря:

Доля народа,
Счастье его,
Свет и свобода
Прежде всего!

Линия Некрасова в поэзии — это линия Рылеева, линия страстной гражданственности подлинно поэтического творчества. Вослед Пушкину Некрасов возвеличивает подвиг декабристов, он гордо заявляет о верности революционной демократии их духовному наследию. Поэт смело сближает их идеи с народными социальными утопиями, а самих декабристов — с трудовым крестьянством (поэма «Дедушка»), рисует широкими мазками земную утопию счастья, достигнутого трудом свободных людей.

...В далеком сибирском Тарбагатае горсточка русских, сосланных «за раскол» (то есть, по тайной мысли поэта,— за восстание против царя), всего за полвека совершает чудо преображения жизни. А разгадка этого чуда на удивление проста: она в том, что людям дали волю да землю, что «сами творят они суд», живут честно и трезво, в здоровье и счастье.

Воля и труд человека
Дивные дивы творят!

Как, в сущности, несложно даже бесплодную землю превратить в цветущий сад! Для этого только надо объединить людей в свободное сообщество на вольной земле. Несложно вроде бы, но адски трудный, долгий, сквозь вьюги и горе, сквозь битвы и смерть пролегает путь на Тарбагатай...

«Золото, золото сердце народное»,— утверждал поэт. Из чистого золота любви к народу отлито было судьбою и временем его собственное сердце. В нем кипела священная ненависть к угнетателям и «доверенность великая к бескорыстному труду». Оно обливалось кровью в скорбных думах о долюшке женской: вряд ли труднее сыскать... Некрасов славит подвиг любви бескорыстной, совершенный женами декабристов. Он прославляет мужество, красоту, волю русских крестьянок — Дарьи и Орины, благословляет на гражданское служение идеалу одну из любимых своих героинь — Сашу, старшую сестру Веры Павловны из «Что делать?», предшественницу чеховской «Невесты». Русские женщины Некрасова — это духовная опора нации, цвет ее и надежда, ее будущее. Образ женщины, Жены, Матери перерастал в некрасовской поэзии в образ нежной и бессмертной матери-Родины.

У матери вырастают красивые, смелые, честные сыновья. Поэт-гражданин продолжает — средствами поэзии — работу Чернышевского по созданию ярких, притягательных образов «новых людей». Герои Некрасова не отвлеченные фигуры, не «рупоры идей», а реальные, во плоти и крови, защитники высших интересов своего народа. Лучшие стихи поэта — о Белинском, Добролюбове, Шевченко, Чернышевском.

Некрасов весь устремлен в будущее. Вера в народ, вера в новую жизнь освещает поэту путь. «Иных времен, иных картин провижу я начало»,— восклицает он — и далее, прямо-таки по-пушкински, живо и убежденно предсказывает, какими будут благословенные *иные времена*:

...Освобожденный от оков,
Народ неутомимый
Созреет, густо заселит
Прибрежные пустыни;
Наука воды углубит:
По гладкой их равнине

Суда-гиганты побегут
Несчетною толпою,
И будет вечен бодрый труд
Над вечною рекою...

Не правда ли, сколь явственно слышится: «раздвинем горы, под водой пророем дер-

зостные своды»! Так за горизонтом будущего подают друг другу руки два гения русской поэзии: Некрасов и Пушкин.

Судьба, уготованная Белинскому, а потом Добролюбову: «путь славный, имя громкое, чахотка и Сибирь» — полною горькой чашей была испита поэтом-революционером некрасовской школы, мастером политической лирики МИХАИЛОМ ЛАРИОНОВИЧЕМ МИХАЙЛОВЫМ (1829—1865 гг.).

Как и молодой Некрасов, поэт быстро перешагнул через псевдоромантические «мечты и звуки» и целиком посвятил свой талант революционному делу. Он пишет и распространяет прокламации, он клеймит куцую реформу 1861 года, называя ее ловушкой и обманом, призывает к борьбе за освобождение.

Если погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых,—
Дело, друзья, отзовется
На поколеньях живых.

Ему пришлось... Сначала — Петропавловка, потом каторга, пожизненное поселение в Сибири — и смерть... Но до конца не сломился, не согнулся боец! Он умер, твердо веря: «Час обновленья настанет — Воли добьется народ»!

В хрестоматийном разделе главы приведено одно из лучших стихотворений Михайлова — «Пятеро». Обращаясь к светлой памяти пяти казненных декабристов, поэт подчеркивает неразрывную преемственность двух поколений русских революционеров, неодолимость торжества великого дела, ради которого были отданы чистые, возвышенные жизни: «Не хрупкие гробницы сохранят Святую вашу память, а сердца Грядущих просветленных поколений...» Пора близка, утверждает Михайлов; буря грянет! Пройдет ровно сорок лет, и предощущение поэта, его пророчество обретут несокрушимую уверенность в крике Буревестника русской революции: «Пусть сильнее грянет буря!» Молодой Горький перебросит духовный мост от декабристов и разночинцев к творцам великой социальной бури — пролетариату и его партии. Предчувствие не обмануло Михайлова. Дело его и его собратьев эхом отозвалось на поколениях живых, на поколениях просветленных, которые делами своими, дивными дивами свободного труда доказали и доказывают, что будущее светло и прекрасно!

ПРОРОКИ

Вторая половина XIX века — это время, когда великая русская литература жила верой в воскресение народа к добру, радости, справедливости. И символом, песней, пророчеством летела навстречу звездному часу — своему и всей истории — неукротимая птица-тройка русской социальной Мечты. Этим негаснущим жарким пламенем воссияли в веках, на удивление всему человечеству, таланты поистине всемирного, общеисторического масштаба. Они всеобъемлющи, их до сих пор пытается понять, постигнуть изумленное человечество.

«...Если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях». Это сказано Лениным. И сказано прежде всего о «матером человечище», величайшем реалисте и мечтателе ЛЬВЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ТОЛСТОМ (1828—1910 гг.).

Толстой был философ, психолог, учитель, пророк, но прежде всего — художник. Всему было просторно в космосе его литературного гения. Все в нем счастливо сочеталось, оркестровалось, звучало мощно и величаво.

Он жил святою верой в «улучшение души» человеческой, в нравственное и духовное возвышение, очищение, облагораживание личности. Встреча с Толстым, общение с его героями, с необъятным и теплым миром его — всегда событие в нашей жизни, всегда шаг к добру.

С юных лет он весь насквозь проникся просветительским идеалом неиспорченного, естественного Человека; юношей Лев Николаевич носил на груди медальон с изображением Жан-Жака Руссо. Он искренне любил великого француза, всегда был немножко руссоистом, «но только с русскою душой»!

Всю долгую жизнь в его огромной душе, словно тяжелые жернова, ворочались мучительные раздумья о путях к со-

кровенной Правде народной. Где она? За какими печатями сокрыта? И кем?

Он пришел к непреложному, казалось бы, выводу: ключ к райским вратам общечеловеческого счастья — в единении, братстве и взаимной любви людей. По словам самого Толстого, правда — в религии, но только «очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле». Его выводы вырастают из яростного неприятия вывернутого, порочного мира корысти и стяжания, угнетения, насилия и обмана.

Толстой велик, когда он совершает громадную работу «срывания всех и всяческих масок» (В. И. Ленин) с жестокого, бесчеловечного царства собственности, тунеядства, антинародной государственности, фальшивой и насквозь лживой религиозности. Подобно Мелье, писатель сокрушает триединство церкви, самодержавия и ненасытной эксплуатации. Его «огнепальными» устами говорила, проклинала, разоблачала Кривду жизни многострадальная крестьянская Русь. Толстой — это Аввакум XIX века: та же безоглядная ненависть, та же безоговорочная, беспредельная, никакими условностями не скованная жажда истины. И тот же отрыв от реальных условий жизни.

Он огромен даже в своих заблуждениях: в наивно-упрямом «опрощении», в барской филантропии, вегетарианстве, в тоскливом непротивленчестве... В заблуждениях гения, словно в зеркале, огромно и объемно отразились иллюзии, надежды, упования самого века и прежде всего — забитого, темного, терпеливого, но все-таки непокорного русского крестьянства. «До этого графа подлинного мужика в литературе не было» (В. И. Ленин).

О чем же мечтает этот мужик? Да о том же, о чем и до Толстого веками мечтал: о честном добровольном труде на своей земле, без царя и захребетников — бар и купцов; о мире, согласии и любви — в мире труда и добра.

Утопия Толстого ярко, зло и весело выражена в его сказке о трех братьях. Не мешайте мужику работать, заклинает Толстой, и все на земле устроится наилучшим образом его трудами, смекалкой, его чистой душой! Иван в сказке становится царем-пахарем (вспомним «царя от нищеты»!). В его царстве нет ни денег, ни тунеядцев, ни законов, ни армии; все работают, все счастливы и живут в полном согласии. Толстой смело переворачивает мир: «умные» иссушают и грабят его, а «дураки», то есть труженики, украшают и спасают для будущего. Вещая, мудрая простота!

«Учение Толстого утопично,— подчеркивал В. И. Ленин,— и, по своему содержанию, реакционно в самом точном и в самом глубоком значении этого слова. Но отсюда вовсе не следует ни того, что это учение не было социалистическим, ни того, что в нем не было критических элементов, способных доставлять ценный материал для просвещения передовых классов».

Толстовская, как мы бы сейчас сказали, модель будущего построена на зыбком абстрактном песке всеобщей доброты, согласия, разумения, терпения, а не на злобе или борьбе. Но это в проповеди. Однако нет-нет да и перекатывал через иллюзии и страхи великого пророка девятый вал гнева, священной ненависти к насилию. И тогда он писал: «Простительна жестокость и безумие революционеров» (Дневник, 11 июня 1909 г.); «Как французы были призваны к тому, чтобы обновить мир, так к тому же призваны русские» (Дневник, 18 июня 1905 г.).

Обновить мир — вот высшее духовное озарение Толстого. Пути к такому обновлению виделись ему смутно, искаженно. Но зато каким ярким светом сияют цели! Сколь яростен Мастер в неукротимой битве!

Обновить мир — это значило для него установить на земле царство труда и справедливости, обеспечить для всех людей полнокровную, здоровую, цветущую жизнь — жизнь по совести, в полной гармонии с природой, в любви друг к другу и всеобщем согласии.

«Все хозяйство, главное — положение всего народа, совершенно должно измениться. Вместо бедности — общее богатство, довольство,— рассуждает Левин в «Анне Карениной»,— вместо вражды — согласие и связь интересов. Одним словом, революция, бескровная, но величайшая революция, сначала в маленьком кругу нашего уезда, потом губернии, России, всего мира». Абзац этот, в сущности, выражает ядро толстовской утопии: могучей — и бессильной, красивой — и несбыточной.

В 1905 году Толстой гордо назвал себя

«адвокатом 100-миллионного земледельческого народа». Он честно и достойно нес свой нелегкий добровольный крест. Россия победоносцевых и пуришкевичей рычала на него, мстила, предавала анафеме — а от громовых речей «адвоката» дрожали троны! Казалось, именно через Ясную Поляну проходит главный нравственный меридиан мира.

На переломе веков, в 1900 году, он мечтал: «Самое близкое моему сердцу желание — иметь своим читателем большую публику, рабочего трудящегося человека и подвергнуть свои мысли его решающему суду». Сбылось, свершилось!

Нашлась — общими огромными усилиями его любимого народа — и заветная «зеленая палочка» братства и счастья, на которой «написано то, что до́лжно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо». Подлинно великие пророчества сбываются всегда!

Вместе с Толстым каждый из нас говорит, размышляя о смысле жизни: «Нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем». Святые, сокровенные слова!

Лев Толстой вечно с нами, покуда жива Россия, пока живет, борется, страдает и верит человечество. «Этот человек — богоподобен!» (М. Горький).

Еще труднее, чем о Толстом, еще сложнее размышлять о человеке и писателе, который весь — мечта и весь — боль и страдание, весь — вера и весь — бесконечное сомнение. Это ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ (1821—1881 гг.).

Бескрайний небесный полог его мировоззрения и творчества соткан из рвущихся нитей огромных, неразрешимых противоречий.

Радикальный фурьерист, слушатель кружка Петрашевского в молодости — и заклятый враг социализма (во всех его тогдашних вариантах) после возвращения с каторги и ссылки — до конца дней;

заступник и печальник униженных, оскорбленных, забитых — и один из корреспондентов мракобеса Победоносцева;

противник всяческих утопий — и один из самых пылких мечтателей о «золотом веке», о мировой гармонии и всечеловеческой любви...

«Больная совесть наша» — так было сказано о нем; и долго центр тяжести в этой формуле, смысловой акцент, ударение переносились на первое слово. Время посвоему и с непреложной точностью расставляет акценты, выносит приговоры. Сегодня мы по праву с любовью и волнением говорим: Достоевский прежде всего — с о в е с т ь наша. Как и Толстой, он велик и в заблуждениях, и в сомнениях, и в страданиях своих. Время приближает его к нам и нас к нему.

Взгляд Достоевского в будущее взыскующ, фантастичен, противоречив, громаден. Чудится ему беспечальное счастье для всех и самоотверженные, красивые духом люди в новом мире, но как немыслимо труден путь туда! Пролегает он сквозь колючие тернии мучений и страстей, сквозь холодное чистилище смирения и терпения...

Всю свою жизнь Федор Михайлович посвятил терзающим душу раздумьям об освобождении человека, о раскрепощении и просветлении его. Философски глубоко и страстно сознавал он непрочность, недостаточность идеала всеобщей сытости и благополучия — несправедливо, кстати, обвиняя в стремлении только к этой «цели» всех социалистов. Как никто до него, великий писатель возвысил в человеке свободу нравственного выбора и воли (в том числе злой воли), эстетически и этически развенчал жесткую и довольно-таки распространенную формулу, согласно которой человек есть продукт среды и обстоятельств.

Если бы только среда... Тогда и хлопот было бы немного: измените среду — и сразу к лучшему изменятся люди! По Достоевскому, такой социализм — это «социализм брюха». Он неминуемо вырождается в новые, еще более ужасные и бескрылые формы господства и насилия. Вместе с ним в мире воцарились бы однообразие и скука... «Наестся человек и не вспомнит,— рассуждает писатель,— напротив, тотчас скажет: «Ну вот, я наелся, а теперь что делать?»

Что же человеку надо для счастья, кроме хлеба насущного, кроме удовлетворения плотских страстей? Если стремиться только к последнему, утверждает Достоевский, то

неминуемо высокие идеалы будут принесены ему в жертву... И мерещатся писателю унылые телеги с хлебом вместо Сикстинской мадонны, и хлопотливый, занятый одними только «промышленными заботами», людской муравейник...

Социализм «политический» (так Достоевский называл сразу все разновидности европейского утопического социализма) не с того начинает и не там ставит точку. Начинать надо не с перестройки условий жизни, не с насыщения голодных, не с организации труда и быта, но с переделки д у х о в н о й п р и р о д ы человека. Не революция, не наука, не политические реформы — только к р а с о т а спасет мир!

Не горбушка хлеба, а озаренное и окрыленное верой Слово — вот, по Достоевскому, путь к преобразованию души человеческой на началах добра и милосердия, к излечению ее от раковой опухоли гордыни, эгоизма, стяжательства. Как, пожалуй, никто до него, Достоевский свято верил в созидательно-преобразующую силу искусства. Недаром с юных лет любил повторять: «Слово, слово — великое дело!»

Человек преображает мир. Значит, важно посеять в его душе, взлелеять и вырастить подлинно возвышенный, прекрасный Идеал добра, правды, справедливости, братства. Изменяя человека, изменить мир — вот ход мыслей писателя, вот где корень его веры в обязательное наступление на земле «з о л о т о г о в е к а».

«Золотой век,— писал Достоевский,— мечта самая невероятная из всех, какие были, но за которую люди отдавали всю жизнь свою и все свои силы, для которой умирали и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть».

Как же выглядит невероятный золотой век Достоевского? Мечты о нем вплетены непосредственно в живую художественную ткань бессмертных произведений писателя. Вплетены преимущественно в форме «вещих снов» — прием, как мы знаем, корнями своими уходящий в фольклор, в жития святых, в сочинения старых утопистов. Но это не просто прием — глубже: во сне человек преодолевает время и пространство, там ему подчас доступны откровения. Сон-пророчество вырастает в символический и живой образ будущего — образ, который ведет человека к духовному возрождению.

Таков сон Раскольникова в финале «Преступления и наказания». Над ним «сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь...». И это на пороге каторги, при полном разрыве с мирскими помыслами и страстями! Взамен в душе героя, в самых ее тайных глубинах вызревают «райские яблоки» любви, сострадания, упоения красотой, ощущения полноты бытия. «Воскресение в новую жизнь» — это нравственное преображение каждого, «воскрешение человека в человеке». Рычаг, орудие этого воскрешения — «жгучий глагол», художественное слово.

Но если плодоносящие зерна упадут на камень? Если человек уже погряз в пороках и заблуждениях? Великий писатель бесстрашно и беспощадно исследует самые темные закоулки человеческой души, дабы найти ответ: возможно ли? Не поздно ли искать света во мраке эгоизма, своеволия, жестокости?

Поиск света — это поиск идеала совести, любви и красоты. Он, пусть слабой, неприметной искоркой, но теплится даже в самых заблудших душах. Значит, надо разжечь его, вдохнуть в него яркую силу добра и единения. В одиночку человек вряд ли пробьется к истине — такое по плечу лишь очень волевым натурам. Значит, надо воодушевить н а р о д: он всесилен!

Достоевский беззаветно любил свой народ, в нем и только в нем видел залог прекрасного будущего для всех людей: «Я лишь за народ стою прежде всего, в его душу, в его великие силы...— как в святыню верую»,— взволнованно говорил писатель. Здесь, в узловом пункте, он был в м е с т е со всею передовой литературой России — великой народной заступницей.

Однако вера Федора Михайловича в преобразующую миссию русского народа в мировой истории, как и мечта его о новой жизни, резко противоположна революционно-демократической концепции «русского социализма» Герцена и Чернышевского. Его философия будущего (читайте сон Версилова и другие отрывки из «Подростка») целиком исходит из особенностей русской национальной психологии и народной морали, главные из которых, по Достоевскому, суть «всечеловеческая любовь», «всемирная отзывчивость», «всемирное боление за всех».

Умиление взаимной любовью братьев во

Христе, покорностью народа — это слабое, реакционное, преходящее в Достоевском. Мы знаем, как «богоизбранный», совестливый, «христо- и царелюбивый» мужичок русский сказал свое слово миру через каких-то сорок лет после фантастических призывов писателя к созданию «всенародной и вселенской Церкви, осуществленной на земле». Сказал совсем по-другому!

...Что же видит Достоевский в будущем? Как устроен мир, как живут люди? Подобно А. Франсу, он воодушевлен греческим идеалом гармонии — идеалом содружества счастливых и невинных людей, «детей солнца», как он называет их в «Сне смешного человека». Дети, постигшие некие высшие тайны бытия, главная из которых — любовь ко всему живому, способность понять другого, простить ему, помочь и поддержать его. В высшей степени характерно, что в царстве «детей солнца» полностью отсутствуют какие-либо приметы индустриальной цивилизации. Здесь отразилась цельная, решительная неприязнь Достоевского к буржуазному прогрессу, к «мертвому дому», иссушающей душу погоне за наживой. «Не в промышленности, а в нравственном перерождении — сила»,— утверждал писатель.

В «Дневнике писателя» есть одна удивительная картинка из будущего. Живут в ней Шекспир, Кант, Кеплер, а за ними прибирают, их обихаживают вполне обыкновенные люди. Словно бы и не изменилось ничего. Но только на первый взгляд. Один из служащих говорит Шекспиру такие слова: «Именно сознавшись в том, что ты, Шекспир, выше меня своим гением, и придя к тебе служить, я именно этим сознанием моим и доказал, что по нравственному достоинству человеческому я не ниже тебя нисколько и, как человек, тебе равен»

Писатель, как мы видим, точно нащупывает нерв новых социальных связей в обществе будущего — отношений взаимоуважения, взаимопомощи и равноправия между людьми, отношений, основанных на достоинстве личности, на неприятии унижения, зависти — этой, по Марксу, обратной стороне превосходства.

Как завещание потомкам, исполненное страстной надежды и высокой гуманности, доносятся до новых поколений вещие, призывные и обязывающие слова Достоевского: «Люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей».

Он мечтал о человеческом братстве. И был прав во всемирно-историческом смысле — ведь только торжество братства народов, ставшего законом истинного мироустройства, может навсегда спасти человечество от угрозы бездуховности, вырождения, самоуничтожения.

Гений, чутко слышавший клокотанье страстей человеческих, и громы сражений добра со злом, и зов будущего,— он духовно сродни Бетховену.

«По силе изобразительности его талант равен, может быть, только Шекспиру» (М. Горький).

С нами его призыв: «Работайте для будущего!»

Высший нравственно-эстетический суд над российской косностью, пошлостью, отсталостью, над огромно-зловещей «палатой № 6» царской реакции вершил на рубеже веков великий знаток человеческой души, светлый мечтатель АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ (1860—1904 гг.).

Он, как и Лев Толстой (с которым был дружен искренне и крепко), не считал себя социалистом. Он не обуздывал свой удивительный талант пристрастием к какой-либо из модных тогда социальных теорий. Просто он верил в народ, верил в свою Россию, верил в Человека, в его, как он любил говорить, «абсолютную свободу».

Верил — и потому горько смеялся над ним, порабощенным гадкими социальными и духовными обстоятельствами, подлостью, бескрылостью тогдашней российской действительности...

Смеялся — а сердце разрывалось от боли, жалости, негодования; а сердце жаждало обновления, неутомимо искало того, «что жизненно, что вечно».

Ромен Роллан называл подобное состояние души «интуитивным социализмом», Ленин — «социализмом чувства». У Чехова, необычайно чуткого к новизне, год от года нарастало радостное предощущение кануна иной, разумной и справедливой жизни для родного народа.

«Я с детства уверовал в прогресс»,— говорил Антон Павлович. Он впитывал в себя лучшие традиции предшествующей

русской культуры; он не сомневался, что человек может разогнуться, выпрямиться, расправить крылья. Но ему надо помочь — смехом и ободряющим вдохновенным словом (Чехов вполне разделяет платформу прогрессивной литературы своего века: слово есть дело). Помочь — выколачиванием из людей рабьей психологии угодничества и самоунижения, унылого и тупого покорства. Иными словами, надо помочь человеку поднять глаза к звездам, стать Человеком!

Раб — внутри нас, доказывает Чехов. Но не сами люди виноваты в этом. Точнее, не только и не столько сами. Писатель беспощадно клеймит виновников забитости, обездоленности народа, поднимается в своей разоблачительной работе до высочайших социально-эстетических обобщений и прозрений.

«У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате № 6»,— признавался молодой Ленин после прочтения великолепного чеховского рассказа. Писатель выносил приговор существующему страшному строю; и в то же время он не отчаивался, он словно бы физически предчувствовал иные, прекрасные времена. «Готовится здоровая сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку»,— утверждает Чехов в «Трех сестрах». Взгляд его в будущее обретает лирико-символическую насыщенность: «небо в алмазах», «цветущий сад», «здоровая буря». Молодая, новая Россия восклицала устами Пети Трофимова из «Вишневого сада»: «Здравствуй, новая жизнь!»

Писатель буквально вплотную подступает к новому мировоззрению, в основании которого должны лежать труд, творчество, красота, благо народа. Жажда обновления становилась жаждой нового знания о судьбах Родины и человечества. По словам К. С. Станиславского, Чехов «один из первых почувствовал неизбежность революции». Его по праву называли «Человеком будущего».

В конце своей трагически короткой жизни Чехов пишет «Невесту» — последний рассказ, как-то по-особому светло озаренный верой в скорое преображение России.

Героиня рассказа не просто осознает пошлость, серость окружающей жизни, но и начинает действительно новую жизнь. «Невеста» уходит в город, уходит навстречу борьбе, навстречу неизвестному, которое манит, увлекает ее. Пророчески звучат слова Нади в финале рассказа: «О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым, свободным! А такая жизнь рано или поздно настанет!»

...Двуглавый орел, лениво взмахивая огромными крылами, все парил над Россией. «Доколе коршуну кружить?» — с болью вопрошала передовая Россия, передовая литература, которую Генрих Манн справедливо называл «русской революцией до революции».

Ждать оставалось совсем недолго.

«ВЗОЙДЕТ ЛИ, НАКОНЕЦ, ПРЕКРАСНАЯ ЗАРЯ!»

Перед тем как всемирная социальная Мечта попадет в XX век, на баррикады Красной Пресни, на палубу легендарной «Авроры» и в анфилады Зимнего, присмотримся последний раз к ее гордой и скорбной походке на перепутьях пореформенной царской России. Поднятая великими литературными пророками в горние выси, она в то же время ни на миг не покидала и курную избу мужика, и каморку разночинца, и кабинеты «адвокатов простонародья».

На историческом скрещении идеалов народной Правды и крестьянской Революции, озаренном именами и трудами Герцена, Добролюбова, Чернышевского, мы увидим еще один дерзкий и трагический рывок в царство свободы. Это блестящая плеяда революционеров 70-х годов, вышедших на открытый бой с царизмом за народ, за будущее.

«*Вера в особый уклад, в общинный строй русской жизни;* отсюда — *вера в возможность крестьянской социалистической революции* — вот что одушевляло их, поднимало десятки и сотни людей на геройскую борьбу с правительством» (В. И. Ленин).

Букварь и аспирин, револьвер и бомба — различными были виды оружия, поразному виделись пути к Идеалу, но одним желанием пылали их сердца: освободить

народ, свергнуть иго самодержавия, страстной проповедью пробудить к великому делу инстинктивное социалистическое начало, веками дремлющее в темном русском мужике. Интеллигенция решила искупить зло цивилизации, угнетения, бесправия, собственной образованности — ценою смычки с народом, ценою борьбы и даже смерти во имя народа. Изумленному миру предстало явление уникальное, чисто русское — революционное народничество с его «хождением в народ», с его отчаянными террористическими актами, с каторгой и виселицами...

Что несли они в деревню, эти неистовые, бесстрашные пропагандисты? Чем пытались разжечь сырую, неподатливую, хмуро молчащую, забитую мужицкую массу?

Тут явно не годились мудреные писания западных, да и своих, русских, социалистов. Надлежало перевести их идеи и суждения на язык, понятный и доступный народу,— язык преданий, сказок, легенд, в которых, никогда не угасая, чистым родничком струилась мечта о Правде, о ее торжестве над Кривдой.

Революционеры - народники решили одеть учение социализма в «народную сермягу», снова выдвинув наидоступнейший, как им казалось, лозунг «шестидесятников»: земля и воля. Этот лозунг стал стержнем революционных агиток, поэм-былин, песен, сказок. Произведения этого, как правило, нелегального художественного творчества насыщены хлесткой, меткой, образной народной речью.

Народнические прокламации, стихи, сказки — какой это интереснейший пласт отечественной словесности! Как много еще предстоит изучить и осмыслить, чтобы установить его внутренние связи с литературными вершинами той эпохи!

Сочинителями литературных произведений, своего рода «гимнов пробуждения» народа, были прежде всего сами революционеры, участники схватки с самодержавием: Петр Лавров и Герман Лопатин, легендарные Вера Фигнер и Николай Морозов. Они впрямую продолжали рылеевско-некрасовскую линию в поэзии, насыщенную гражданским пафосом веры в обновление жизни, в непрерывность эстафеты борьбы. Лавровская «Русская Марсельеза» — «Отречемся от старого мира...», песня Г. Мачтета «Замучен тяжелой неволей» стали потом любимыми песнями большевиков, Владимира Ильича Ленина.

Одним из крупнейших писателей «блестящей плеяды» революционных народников был СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ СТЕПНЯК-КРАВЧИНСКИЙ (1851—1895 гг.).

В судьбе его, как в капле, отразились и обаяние, и сила, и слабость народнической идеологии. Писатель и публицист сам начал с «хождения в народ», был арестован, бежал за границу, сражался там за свободу итальянцев и едва не был за это казнен. Потом бесстрашный революционер вернулся в Россию и среди бела дня в самом центре Петербурга убил ножом жестокого шефа царских жандармов Мезенцева.

И снова — заграничная жизнь, снова борьба против царя, но теперь уже вольным русским словом. Степняк-Кравчинский славит красоту подвига революционеров — «восторженных друзей человечества», как он их называет; он создает (в романе «Андрей Кожухов», в книге очерков «Подпольная Россия») яркие образы борцов и мечтателей, вдохновившие не одно поколение русской молодежи в последующие десятилетия.

Но особенно интересная сторона литературного творчества писателя — его пропагандистские сказки 70-х годов: «Мудрица Наумовна», «О Правде и Кривде», «Сказка о копейке». Последняя в отрывках приведена в хрестоматийном разделе главы. Она представляет собой своеобразную антологию народнических мечтаний о будущем России. Здесь и прямое следование изначальному народному идеалу Земли, Воли и Правды — и перекроенные, «адаптированные» под мужика утопические прожекты социального переустройства. Мужицкий сон в «Сказке о копейке» — это широкая, яркая картина народной жизни без царя и господ, без попов и купцов. Сказочная птица Могол переносит мужика в беспечальную страну, где миром правит свободный труд на свободной земле, а «владеют ей все сообща, как в большой семье, где живут без раздела».

Рефреном звучат в сказке слова: «...потому что они любят друг друга» — прямо-таки толстовский рефрен! Здесь, в этом пункте, сближались взгляды великого писателя и народников: проповедью любви и братства хотелось им предотвратить кровопролития и разрушения. Но мужик Степ-

няка-Кравчинского — сеченый, крученый, верченый, мученый — все же не из непротивленцев, хотя и терпелив сверх всякой меры. Да ведь до поры: как только ему открывается истина справедливости (пусть сначала в чудесном сне), он становится борцом. И его уже не страшат будущие великие потрясения, когда «реки потекут кровавой водой»; он видит, как «уже занимается заря, и скоро разгонит кромешную тьму зла и неправды, что покрывает землю, солнце любви».

Примечательно, что Степняк-Кравчинский, хорошо знавший и высоко ценивший труды К. Маркса, исповедовал идеал не уравнительного, а «богатого» — и достатком, и духовными занятиями, и земными радостями — социализма. А какие люди вырастут под солнцем новой жизни! «Нет между ними,— мечтает писатель,— тупых и бессмысленных лиц, потому что нет ни одного, кто не был бы развитее теперешних ученых... Будущий порядок — это дивный храм, какого не видало ни одно человеческое око».

Они верили — и боролись; но что могли десятки, даже сотни чистейших, бесстрашных, одержимых светлой идеей — против огромного «мертвого дома» царской реакции?! И гудела глухим похоронным звоном кандальных цепей печально знаменитая Владимирка. А народ, горячо любимый мужик безмолвствовал...

Тогда загремели выстрелы и бомбовые взрывы отчаянных смельчаков «Народной воли». Цель была — одним ударом «совершить не политическую только, но и социальную революцию» (В. И. Ленин). Совершить любой ценой! Поднести горящий факел цареубийства к пороховому погребу народного гнева — во что бы то ни стало!

И вот 1 марта 1881 года бомба одного из террористов-народовольцев, Игнатия Гриневицкого, брошена в императора Александра II. И что же? Кое-кому казалось, что теперь вспыхнет наконец революция. Сердца трепетали от нетерпения: «Теперь-то начнется, обязательно начнется!»

Не началось. Не могло начаться просто актом воли, энергией героизма одиночек. Это был не тот путь. Однако нас восторгает безумство храбрых, потрясает величие духа, величие веры в будущее. Безумство, под которым извечно струится праведная кровь горячих сердец,— исторически мудрое безумство.

«Они способствовали — прямо или косвенно — последующему революционному воспитанию русского народа». Так сказал о народовольцах В. И. Ленин.

Софья Перовская, из дворян, 27 лет;
Андрей Желябов, крестьянин, 30 лет;
Николай Кибальчич, сын священника, 27 лет;
Тимофей Михайлов, крестьянин, 21 год —

таков очередной мартиролог лучших сынов и дочерей России. Который по счету после пяти виселиц на кронверке Петропавловки в 1826 году?! И сколько бы сделали они для России — светлые головы, государственные умы, чистые сердца... Это и от их огня зажглись высокие звезды духовной стойкости в бесстрашных большевиках, нашедших тот путь. Нет, «эти жертвы пали не напрасно»! (В. И. Ленин).

Точный удар бомбы Гриневицкого как бы подвел последнюю черту под революционным народничеством. Еще будут греметь отчаянные выстрелы одиночек, но они не разобьют камней народного мечтания. И взошли на эшафот новые смельчаки; среди них — горькое горе наше, светлый рыцарь чести и мечты молодой Александр Ульянов...

Однако террор, пусть на какое-то время, дал силу не тем, кто стрелял, а в кого стреляли. Такова железная логика истории. Сгустились черные тучи реакции. «Победоносцев над Россией простер совиные крыла...» (А. Блок). К реакции льнули, льстили, приспосабливались расплодившиеся, словно поганки после гнилого дождя, буржуазные либералы, краснобаи, лизоблюды «применительно к подлости...». Как ненавидел (но боролся с ними совсем иным путем), как гвоздил их, умеющих «годить», предпочитающих по-маниловски воспарить, возмечтать в праздности, МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (1826 — 1889 гг.) — гениальный русский сатирик.

Враг подлости и бесчестья, враг лицемерной мечтательности, он посвятил жизнь разрушению всего того, что мешало увидеть Россию могучей, свободной и просвещенной.

Благодаря Михаилу Евграфовичу Россия смеясь расставалась со своим прошлым, хоть оно, это прошлое, и казалось незыблемо стоящим бюрократическим Вавилоном.

Идея социальной справедливости, по его собственным словам, однажды озарив его существование, уже не оставляла его. На всю жизнь — сложную, трудную, горькую — сохранил он воспринятую в молодости от Сен-Симона веру, что золотой век не позади, а впереди нас. С этим жил, во имя этого боролся. Когда кругом сажали, вешали, тащили в кутузку, «умиротворяли», скручивая руки к лопаткам, он бил своей сатирой по всем этажам и пристройкам самодержавия. Бил беспощадно, потому что любил Россию до боли сердечной.

Боролся он и с утопическими иллюзиями, отвергая одну за другой попытку «немедленного введения» социализма, в том числе и крестьянского «общинного социализма», и казарменной (это его слово!) уравниловки.

Случалось, правда, что он и перегибал иной раз в этой своей критике; под одну гребенку шли у него и фурьеристские химеры, и смелые предвидения Н. Г. Чернышевского. Но главным всегда было другое: Щедрин свято берег в душе «неумирающие общие положения» социализма. Ему принадлежат и такие глубокие слова: «Как ни восставайте против так называемых утопий — без них истинно плодотворная умственная жизнь все-таки невозможна...»

Каждый из великих писателей по-своему служил России. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин служил о т р и ц а н и е м. Отрицанием эксплуатации, гнета социального и духовного. Отрицанием патриархальщины, слезливого умиления терпеливым русским мужичком. Отрицанием покорности и глупости — во имя Разума и прогресса, во имя будущего.

Огромной исторической прозорливостью, радостным предчувствием скорых революционных потрясений проникнуты слова великого сатирика о том, что «...идет какая-то знаменательная внутренняя работа, что народились новые подземные ключи, которые кипят и клокочут с очевидной решимостью пробиться наружу». То сливались в могучий поток родниковые ключи народной Революции!

Великая русская литература в конце XIX века живет ожиданием «благородных юных дней», продолжает необходимейшую работу «срывания всех и всяческих масок» и тем самым готовит наступление нового — пролетарского — исторического периода российского революционного движения.

В преддверии социал-демократического взгляда на судьбы России и ее народа остановился один из предшественников новой литературы, глубоко оригинальный писатель-реалист, искренний «народный заступник» ГЛЕБ ИВАНОВИЧ УСПЕНСКИЙ (1843—1902 гг.).

Полною чашей испил он сладость и горечь народнических иллюзий и утопий о «мужицком рае». Сам участвовал в хождении в народ, глубже (и раньше) многих постиг неизбежность наступления царства «господина Купона» (т. е. буржуазного строя). Ярким публицистическим талантом своим Успенский страстно вел борьбу «на два фронта»: против феодально-патриархальной замшелости и против буржуазности, разлагающей души людские.

Он не сумел увидеть выхода, прорыва в новый мир в объединении крестьянства вокруг рабочего люда. Не он один не сумел тогда... Но жила в нем до последнего часа, пока не погас могучий разум, великая вера в преображение человека — преображение под воздействием к р а с о т ы, искусства, сокровенного слова Правды. Успенский здесь сродни Гоголю и Достоевскому. В то же время он по-некрасовски силен своим демократизмом и а к т и в н ы м гуманизмом, который сам писатель образно называл «ангелом пробужденного сознания».

Достаточно ли одного горячего с о ч у в с т в и я угнетенному народу? — спрашивал Успенский. И отвечал всеми своими трудами: нет, недостаточно. С л у ж е н и е народу, а не умиление им — вот путь истинного демократа. Служение в том числе и разоблачением нравов «Растеряевой улицы» мещанства, пошлости, духовной мертвечины.

Так приходит он к своей противоречивой утопии: раскрыть, раскрепостить в человеке поэзию труда и творчества, но раскрыть не революционным д е л о м, а проповедническим с л о в о м... Идеал гармонически развитой Личности, вырабо-

танный Успенским, чрезвычайно близок нашему, марксистско-ленинскому идеалу. Однако не обойти молчанием бессилие этого идеала, сопряженного лишь с вечной красотой искусства и «вечной поэзией земледельческого труда»...

В 1885 году Глеб Иванович пишет очерк «Выпрямила» (отрывки из него приведены здесь в хрестоматийном разделе). «Каменное чудо» Венеры Милосской, подчеркивает автор, таит в себе предвестье будущего совершенства жизни и человека, к которому мир придет сквозь отчаянную борьбу и упорные искания. «Выпрямление» Человека происходит, по Г. Успенскому, не в созерцании скрытой или явной красоты, а именно в активном ее постижении, в героической борьбе — в том числе и с самим собой, своими слабостями, своей гадкой социально-духовной «наследственностью». Красота не просто ласкает, дает отдохновение, забвение, усладу, уносит в призрачный мир иллюзий; она пробуждает в человеке Человека, она мобилизует на труд, борьбу и подвиг, она возвышает. Сопоставление очерка Г. Успенского с горьковским «Человеком» (он также публикуется в хрестоматийном разделе) убеждает в необычайной близости социально-эстетических позиций последнего крестьянского и первого пролетарского писателей.

Г. И. Успенский так и не открыл для себя реальных путей пересотворения жизни по законам красоты. Он уносился мечтою «в какое-то бесконечно светлое будущее», в «бесконечные перспективы человеческого совершенствования», так и не узнав, как возможны, как близки это будущее и эти перспективы на нашей теплой земле...

Образованный класс российского дворянства выдвинул из своей среды в течение XIX века славную, талантливую когорту мыслителей, борцов за демократию, гениальных художников слова;

движущей силой революционно-демократического движения, носителями идей «крестьянского социализма», самоотверженными борцами за их осуществление были русские разночинцы.

К концу столетия духовно-творческий потенциал дворянства и разночинской интеллигенции объективно иссыхает, приходит к своему историческому пределу. Из недр «переворотившейся» русской действительности поднимаются новые живые социальные силы, которые в 1877 году устами рядового пролетария Петра Алексеева произнесли свой пророческий приговор самодержавию, бесправию, кровопийству:

«Поднимется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!»

Первым певцом и пророком расправляющего плечи российского пролетариата, поднявшим во мраке самодержавной реакции ослепительный, словно горящее сердце Данко, «призыв гордый к свободе, к свету», стал Буревестник Революции АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ ГОРЬКИЙ (1868—1936 гг.).

На рубеже веков взмыл над Россией яростный и светлый, исполненный гнева и веры клич.

«Пусть сильнее грянет буря!»

Поднявшийся снизу, с самого глубокого «дна» русской жизни, он не нуждался в хождении в народ. Сызмальства началось для него «хождение по мукам» — своим собственным и своего народа, и сызмальства озаряли его путь сокровища мудрости, великодушия и героизма, жизнелюбия и достоинства народной души. Он не был «человеком со стороны»; он изнутри открыл — и принес в мир зла, в мир борьбы со злом — неистребимую, полную решимости одолеть и победить, народную Мечту. В нем, в его романтически возвышенном и реалистически глубоком Слове, она сплавилась воедино с талантом и революционным Действием.

Он был всего на два года старше Владимира Ульянова.

Борьба — вот слово, наиболее точно выражающее сущность его души и его таланта, смысл всей жизни великого писателя. Борьба — за человека; борьба — против рабства труда и мысли, против бездуховности и бесчеловечности буржуазного мира. Таким он начинался; таким был всю свою сложную и яркую жизнь.

Революционный пафос ранних произведений Максима Горького могуч, неукротим; но он носит еще преимущественно аллегорические (как у Чехова «небо в алмазах»), иносказательные, пророческие формы. Искра великой правды века вспыхнет

в нем чуть позже — после встречи жаркой мечты писателя с точной и суровой социальной истиной марксизма, в дружбе и совместной работе с большевиками, с Лениным.

А сначала — крылатый романтизм; безудержный, во многом фантастический порыв к свободе. «Нужны подвиги, подвиги! — восклицал молодой Горький.— Пусть отвращение к настоящему будет беспокойной, острой болью и жажда будущего — страстным мучением». В его прекрасных, возвышенных легендах отражалась как в зеркале растущая мощь нового трудящегося класса, разум и мечта пролетариата.

«Макар Чудра», «Девушка и Смерть», «Старуха Изергиль» — какой это был всплеск духовной энергии, гуманистической, созидающей веры в свободного Человека! Нельзя забывать, что сердце Данко, героизм любящей Девушки вспыхнули яркой молнией среди тусклых болотных огоньков «малых дел» трусливого либерализма, надсоновских всхлипов и стенаний: «Нас томит безверье, нас гнетет тоска...» И — в противовес этому — пламенные слова: «Нету больше страха пред Судьбой. И ни бога, ни людей не надо!» Победа любви над смертью была и победой истинно человеческих начал над косностью и бессмыслицей житейской обыкновенности, над Смертью как символом извечной беспомощности человека перед злым ликом судьбы. Любовь победила Смерть! Это был м а н и ф е с т революционной Мечты и революционного искусства.

Предшественником Буревестника (1901 г.) взмывает в предгрозовое небо Революции гордый, бесстрашный Сокол (1899 г.). Он в отличие от Девушки погибает в бою с врагами, но остается жить, «смертию смерть поправ»,— жить в песне смелых и сильных духом. Будет время, утверждает Горький, обращаясь к Соколу, «и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!».

Так до Максима Горького не писал никто. И не мог писать. В пышущих жаром строках молодого пролетарского пророка выплавлялось чистое золото принципиально новой символики подлинно народной — социалистической Революции.

Зрелый Горький произнесет великие слова: «Нет героики более величественной, чем героика труда и творчества». Он пришел к этой героике закономерно и последовательно по ступеням героической Мечты о распрямленном, раскованном Человеке.

А реалист Горький (он изначально был неотделим в нем от романтика) беспощадно срывал маски с мещанства, пошлости и подлости, безвольной «расейской тоски» и холопства, по-щедрински смело и безоглядно отрицал мораль, психологию, иллюзии старого мира. И вот уже распростерлись над пробуждающейся Россией не «совиные крыла» самодержавного мракобесия, а несущие победу красные знамена бессмертного Буревестника, зовущего к революционному преобразованию жизни.

В самый канун революции 1905 года Горький создает великую поэму «Человек» — торжествующий гимн Разуму и Творчеству. Перечитайте поэму, и вы с новой силой, с новой тревогой ощутите, как высоко предназначение Человека на земле, как важно именно сегодня свято хранить верность этому предназначению, глубинному смыслу пребывания нас в мире. Разум — против безумия; мысль — против безмыслия; гуманность — против жестокого насилия: таков непреходящий завет пролетарского писателя потомкам.

...Эпоха вызвала к жизни огромный, жизнетворящий талант Горького.

Должен был, не мог не появиться в великом народе, воспрянувшем ото сна рабских веков, и Человек, могущий возглавить очистительную бурю — Революцию трудящихся масс.

Эпоха, человечество, Россия ждали ЛЕНИНА.

...Когда Володе Ульянову было всего лишь тринадцать лет, самые первые марксистские прививки на неокрепшее еще пролетарское древо России осуществил ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ПЛЕХАНОВ (1856—1918 гг.), пионер марксизма в нашей стране.

Двадцатилетним юношей Плеханов с головой окунулся в революционную борьбу. Со ступеней Казанского собора в Петербурге он, тогда правоверный народник, произносит пламенную речь перед участни-

ками первой политической рабочей демонстрации (1876 год). Там же, за спиною пылкого оратора, впервые в истории России развернул и поднял красное знамя юный пролетарий Яков Потапов.

Потом были: неудачное хождение в народ, работа в подполье, крах народнических иллюзий, долгая-долгая эмиграция... Но главное, что было потом,— это создание социал-демократической группы «Освобождение труда», перевод на русский язык «Коммунистического манифеста» Маркса и Энгельса, напряженнейшая и плодотворная работа по пропаганде и распространению научного социализма в России.

Казалось, сама история избрала эту незаурядную личность на роль вождя российского пролетариата и его грядущей революции. Однако вышло иначе. Отягощенный многочисленными идейно-политическими ошибками, Плеханов закончил жизнь, не поняв и не приняв Великого Октября...

Трагедия? Да. И много тому было причин: прогрессирующая болезнь «вождизма», неуживчивый, трудный характер, претензии на абсолютное знание путей исторического развития, стадий движения к «полной готовности» условий для перехода России и мира к социализму... Всего не перечесть!

Но одно, думается, следует подчеркнуть особо: Плеханов, в сущности, не был мечтателем. Вера в «железную поступь» истории (было в этом нечто рассудочно-холодное) остужала душу, отрывала Антея мысли от матушки-земли, от народа. Не прошла даром и многолетняя эмиграция...

Судьба Плеханова, одного из лучших сынов России, и ярким взлетом своим, и горестным завершением подтверждает непреложность истины: дело Революции — дело молодое, дерзкое, крылатое. А крылатость его невозможна без всепоглощающей бескорыстной мечты о счастье для людей — счастье, которое не даруется слепой игрой объективных экономических законов, а добывается в яростной и беззаветной борьбе вместе с народом.

ИСТОЧНИКИ

ФРАГМЕНТЫ

СТИХИ





В. И. ЛЕНИН

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Отрывки

* * *

...Роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией. А чтобы хоть сколько-нибудь конкретно представить себе, что это означает, пусть читатель вспомнит о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский и блестящая плеяда революционеров 70-х годов; пусть подумает о том всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература; пусть... да довольно и этого!

* * *

«Надо мечтать!» Написал я эти слова и испугался. Мне представилось, что я сижу на «объединительном съезде», против меня сидят редакторы и сотрудники «Рабочего Дела». И вот встает товарищ Мартынов и грозно обращается ко мне: «А позвольте вас спросить, имеет ли еще автономная редакция право мечтать без предварительного опроса комитетов партии?» А за ним встает товарищ Кричевский и (философски углубляя товарища Мартынова, который уже давно углубил товарища Плеханова) еще более грозно продолжает: «Я иду дальше. Я спрашиваю, имеет ли вообще право мечтать марксист, если он не забывает, что по Марксу человечество всегда ставит себе осуществимые задачи и что тактика есть процесс роста задач, растущих вместе с партией?»

От одной мысли об этих грозных вопросах у меня мороз подирает по коже, и я думаю только — куда бы мне спрятаться. Попробую спрятаться за Писарева.

«Разлад разладу рознь,— писал по поводу вопроса о разладе между мечтой и действительностью Писарев.— Моя мечта может обгонять естественный ход событий или же она может хватать совершенно в сторону, туда, куда никакой естественный ход событий никогда не может прийти. В первом случае мечта не приносит никакого вреда; она может даже поддерживать и усиливать энергию трудящегося человека... В подобных мечтах нет ничего такого, что извращало или парализовало бы рабочую силу. Даже совсем напротив. Если бы человек был совершенно лишен способности мечтать таким образом, если бы он не мог изредка забегать вперед и созерцать воображением своим в цельной и законченной картине то самое творение, которое только что начинает складываться под его руками,— тогда я решительно не могу представить, какая побудительная причина заставляла бы человека предпринимать и доводить до конца обширные и утомительные работы в области искусства, науки и практической жизни... Разлад между мечтой и действительностью не приносит никакого вреда, если только мечтающая личность серьезно верит в свою мечту, внимательно вглядываясь в жизнь, сравнивает свои наблюдения с своими воздушными замками и вообще добросовестно работает над осуществлением своей фантазии. Когда есть какое-нибудь соприкосновение между мечтой и жизнью, тогда все обстоит благополучно».

Вот такого-то рода мечтаний, к несчастью, слишком мало в нашем движении...

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 6.

ПАМЯТИ ГЕРЦЕНА

Отрывки

* * *

Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.

Буря, это — движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян.

* * *

...Герцен принадлежал к поколению дворянских, помещичьих революционеров первой половины прошлого века. Дворяне дали России Биронов и Аракчеевых, бесчисленное количество «пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, серальников», да прекраснодушных Маниловых. «И между ними,— писал Герцен,— развились люди 14 декабря, фаланга героев, выкормленных, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя... Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия».

К числу таких детей принадлежал Герцен. Восстание декабристов разбудило и «очистило» его. В крепостной России 40-х годов XIX века он сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени. Он усвоил диалектику Гегеля. Он понял, что она представляет из себя «алгебру революции». Он пошел дальше Гегеля, к материализму, вслед за Фейербахом. Первое из «Писем об изучении природы» — «Эмпирия и идеализм»,— написанное в 1844 году, показывает нам мыслителя, который, даже теперь, головой выше бездны современных естествоиспытателей-эмпириков и тьмы тем нынешних философов, идеалистов и полуидеалистов. Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом.

Эта «остановка» и вызвала духовный крах Герцена после поражения революции 1848 года. Герцен покинул уже Россию и наблюдал эту революцию непосредственно. Он был тогда демократом, революционером, социалистом. Но его «социализм» принадлежал к числу тех бесчисленных в эпоху 48-го года форм и разновидностей буржуазного и мелкобуржуазного социализма, которые были окончательно убиты июньскими днями. В сущности, это был вовсе не социализм, а прекраснодушная фраза, доброе мечтание, в которое облекала свою *тогдашнюю* **революционность буржуазная демократия, а равно невысвободившийся из-под ее влияния пролетариат.**

Духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848 года был крахом *буржуазных иллюзий* **в социализме. Духовная драма Герцена была порождением и отражением той всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии** *уже* **умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата** *еще не* **созрела. Этого не поняли и не могли понять рыцари либерального российского языкоблудия, которые прикрывают теперь свою контрреволюционность цветистыми фразами о скептицизме Герцена. У этих рыцарей, которые предали русскую революцию 1905 года, которые забыли и думать о великом звании** *революционера,* **скептицизм есть форма перехода от демократии к либерализму,— к тому холуйскому, подлому, грязному и зверскому либерализму, который расстреливал рабочих в 48 году, который восстановлял разрушенные троны, который рукоплескал Наполеону III и который** *проклинал,* **не умея понять его классовой природы, Герцен.**

У Герцена скептицизм был формой перехода от иллюзий «надклассового» буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата. Доказательство: «Письма к старому товарищу», Бакунину, написанные за год до смерти Герцена, в 1869 году. Герцен рвет с анархистом Бакуниным. Правда, Герцен видит еще в этом разрыве только разногласие в тактике, а не пропасть между миросозерцанием уверенного

в победе своего класса пролетария и отчаявшегося в своем спасении мелкого буржуа. Правда, Герцен повторяет опять и здесь старые буржуазно-демократические фразы, будто социализм должен выступать с «проповедью, равно обращенной к работнику и хозяину, земледельцу и мещанину». Но все же таки, разрывая с Бакуниным, Герцен обратил свои взоры не к либерализму, а к ***Интернационалу,*** к тому Интернационалу, которым руководил Маркс,— к тому Интернационалу, который начал *«собирать полки»* пролетариата, объединять *«мир рабочий»,* «покидающий мир пользующихся без работы»!

* * *

Чествуя Герцена, пролетариат учится на его примере великому значению революционной теории; — учится понимать, что беззаветная преданность революции и обращение с революционной проповедью к народу не пропадает даже тогда, когда целые десятилетия отделяют посев от жатвы; — учится определению роли разных классов в русской и международной революции. Обогащенный этими уроками, пролетариат пробьет себе дорогу к свободному союзу с социалистическими рабочими всех стран, раздавив ту гадину, царскую монархию, против которой Герцен первый поднял великое знамя борьбы путем обращения к массам ***с вольным русским словом.***

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21.

ЧТО ТАКОЕ «ДРУЗЬЯ НАРОДА» И КАК ОНИ ВОЮЮТ ПРОТИВ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ?

Отрывок

«Мы не говорим миру,— писал Маркс еще в 1843 г., и он в точности выполнил эту программу,— мы не говорим миру: «перестань бороться; вся твоя борьба — пустяки», мы даем ему истинный лозунг борьбы. Мы только показываем миру, за что собственно он борется, а сознание — такая вещь, которую мир *должен* приобрести себе, хочет он этого или нет». Всякий знает, что, например, «Капитал» — это главное и основное сочинение, излагающее научный социализм — ограничивается самыми общими намеками насчет будущего, прослеживая только те, теперь уже имеющиеся налицо, элементы, из которых вырастает будущий строй. Всякий знает, что по части перспектив будущего неизмеримо больше давали прежние социалисты, которые со всеми подробностями разрисовывали будущее общество, желая увлечь человечество картиной таких порядков, когда люди обходятся без борьбы, когда их общественные отношения основываются не на эксплуатации, а на истинных началах прогресса, соответствующих условиям человеческой природы. Однако — несмотря на целую фалангу талантливейших людей, излагавших эти идеи, и убежденнейших социалистов,— их теории оставались в стороне от жизни, их программы — в стороне от народных политических движений, пока крупная машинная индустрия не вовлекла в водоворот политической жизни массы рабочего пролетариата и пока не был найден истинный лозунг его борьбы. Этот лозунг найден был Марксом,— «не утопистом, а строгим, местами даже сухим ученым», как отзывался о нем г. Михайловский в давнопрошедшие времена — 1872 г.,— найден совсем не посредством каких-нибудь перспектив, а посредством научного анализа современного буржуазного режима, посредством выяснения необходимости эксплуатации при наличности этого режима, посредством исследования законов его развития.

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1.

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ ВЕЛИКОРОССОВ

Отрывок

...Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы *ее* трудящиеся массы (т. е. $^{9}/_{10}$ ее населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великорусов, что *эта* среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика.

Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы». Откровенные и прикровенные рабы-великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать об этих словах. А, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения. Тогда ее не было. Теперь ее мало, но она уже есть. Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация *тоже* создала революционный класс, *тоже* доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм, а не только великие погромы, ряды виселиц, застенки, великие голодовки и великое раболепство перед попами, царями, помещиками и капиталистами.

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 26.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Отрывки

...Сопоставление имени великого художника с революцией, которой он явно не понял, от которой он явно отстранился, может показаться на первый взгляд странным и искусственным. Не называть же зеркалом того, что очевидно не отражает явления правильно? Но наша революция — явление чрезвычайно сложное; среди массы ее непосредственных совершителей и участников есть много социальных элементов, которые тоже явно не понимали происходящего, тоже отстранялись от настоящих исторических задач, поставленных перед ними ходом событий. И если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях.

* * *

...Противоречия в произведениях, взглядах, учениях, в школе Толстого — действительно кричащие. С одной стороны, гениальный художник, давший не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы. С другой стороны — помещик, юродствующий во Христе. С одной стороны, замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши,— с другой стороны, «толстовец», т. е. истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бия себя в грудь, говорит: «я скверный, я гадкий, но я занимаюсь нравственным самоусовершенствованием; я не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками». С одной стороны, беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управле-

ния, вскрытие всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс; с другой стороны,— юродивая проповедь «непротивления злу» насилием. С одной стороны, самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок; — с другой стороны, проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: религии, стремление поставить на место попов по казенной должности попов по нравственному убеждению, т. е. культивирование самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины. Поистине:

Ты и убогая, ты и обильная,
Ты и могучая, ты и бессильная
— Матушка Русь!

Что при таких противоречиях Толстой не мог абсолютно понять ни рабочего движения и его роли в борьбе за социализм, ни русской революции, это само собою очевидно. Но противоречия во взглядах и учениях Толстого не случайность, а выражение тех противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь последней трети XIX века. Патриархальная деревня, вчера только освободившаяся от крепостного права, отдана была буквально на поток и разграбление капиталу и фиску. Старые устои крестьянского хозяйства и крестьянской жизни, устои, действительно державшиеся в течение веков, пошли на слом с необыкновенной быстротой. И противоречия во взглядах Толстого надо оценивать не с точки зрения современного рабочего движения и современного социализма (такая оценка, разумеется, необходима, но она недостаточна), а с точки зрения того протеста против надвигающегося капитализма, разорения и обезземеления масс, который должен был быть порожден патриархальной русской деревней. Толстой смешон, как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества,— и поэтому совсем мизерны заграничные и русские «толстовцы», пожелавшие превратить в догму как раз самую слабую сторону его учения. Толстой велик, как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России. Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз особенности нашей революции, как крестьянской буржуазной революции. Противоречия во взглядах Толстого, с этой точки зрения,— действительное зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции.

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 17.

П. И. ПЕСТЕЛЬ



«РУССКАЯ ПРАВДА»

Отрывки из 3-й главы

ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫ ПЕРЕД ЗАКОНОМ

...Все люди в государстве имеют одинаковое право на все выгоды, государством доставляемые, и все имеют равные обязанности нести все тягости, нераздельные с государственным устроением. Из сего явствует, что все люди в государстве должны непременно быть перед законом совершенно равны и что всякое постановление, нарушающее сие равенство всех перед законом, есть нестерпимое зловластие, долженствующее непременно быть уничтоженным. Сверх того, нарушают сии различия добрую между гражданами связь, разделяя их на несколько отделений, имеющих совсем различные виды и выгоды, и следовательно, и образ мыслей... Сословия тем еще пагубнее, что они только одним пристрастием дышат, что некоторым членам народа выгоды дают, в коих другим отказывают без всякой причины и без всякой для государства пользы, что для пресыщения корысти нескольких людей жестокую оказывают несправедливость против наибольшей части народа и что противны цели государственного существования, состоящей не в пристрастии к малому числу, но в елико возможно большем благоденствии многочисленнейшего числа людей в государстве. А из всего вышесказанного следует, что учреждение сословий непременно должно быть уничтожено, что все люди в государстве должны составлять только одно сословие, могущее называться гражданским, и что все граждане в государстве должны иметь одни и те же права и быть перед законом все равны...

* * *

<...> Люди все рождены во благо: ибо они суть все творение всевышнего, и потому несправедливо называть благородным одно только сословие дворян. Вследствие сего должно быть уничтожено преимущество дворянства именоваться сословием благородным. Титла князь, герцог, граф, барон и т. п. происходят от тех времен, когда сии титла означали разные должности или степени владычества; но так как они ныне ни того, ни другого уже более не означают, то и суть они только пустые звуки, удовлетворяющие одному только надутому тщеславию и гордому самолюбию. А посему и не могут таковые титла существовать в государстве, коего устройство и образование основаны быть имеют на истинной справедливости, чистой нравственности, здравом смысле и рассудке. К тому же, если к сим титлам присоеди-

няются особые какие-нибудь преимущества, то они вредны и пагубны, ибо препятствуют необходимому и непременному равенству всех перед законом...

Из всего, до сих пор сказанного, явствует, что все пять родов преимуществ, коими дворянское сословие поныне пользовалось, должны непременно решительнейшим образом быть уничтожены. А так как дворянское достоинство не что иное, как итог сих пяти родов преимуществ, то и следует из сего, что и само звание дворянства должно быть уничтожено: члены одного поступают в общий состав российского гражданства на основании общих правил, ниже сего изложенных и долженствуют подобно всем прочим россиянам по волостям быть расписаны...

Сахаров А., Троцкий С. «Живые голоса истории». М., «Молодая гвардия», 1978.



Ф. ГЛИНКА



ЧТО-ТО ДЕЛАЕТСЯ В МИРЕ

Что-то делается в мире:
Где-то кто-то победил.
Может быть, вверху, в эфире,
Предреченный час пробил,
И борьба настала сил;
И сошлись две сильных рати,
И под знамем благодати
Та светлелася, как день,
И легла далеко тень
От *другой,* от рати *черной;*
И сразились меж собой...
И велик был чудный бой,
И решился беспримерный...

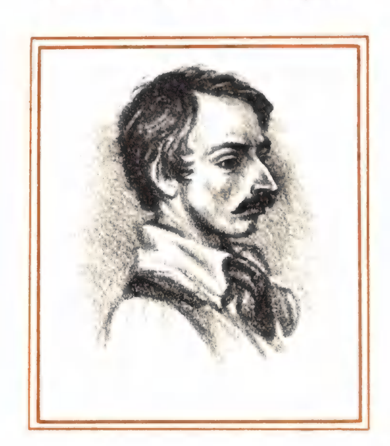
Что-то слышно под землею,
Что-то чудно на земле,
Свет откуда-то струею
Ищет места в нашей мгле.
И теснится... и находит,
И, сгоняя мрак, горит,
И порядок *новый* сходит,
И ветшает старый быт;
И скрипят везде закрепы
И пороков и грехов,
И покинули вертепы
Стаи филинов и сов
От лучей иглистых света.
Вот их черных крыльев шум!..
И летит на зов поэта
Рой прекрасных, светлых дум...

Отчего ж таким беспечным
Наш *старик развратный, мир,*
Все любуясь скоротечным,
Все ведет свой прежний пир?
Все, самим собой довольный,
Не глядит кругом себя,
И, безумец, быт застольный,
Быт разгульный полюбя,
Свой скелет окутал златом,

Обнялся, как друг, с развратом,
Пьет *настой своих грехов*
И беснуется в раздолье;
А не слышит, что в подполье
Рати роются кротов
Полунощною порою,
И под видимой корою
(А кора уж так тонка!)
Невидимо вскрылись бездны...
И огромная рука
Острым грифелем железным
Где-то пишет вдоль стены:
«Уж века изочтены!..»

После 1825 г.

В. КЮХЕЛЬБЕКЕР



ТЕНЬ РЫЛЕЕВА

Петру Александровичу Муханову

В ужасных тех стенах, где Иоанн,
В младенчестве лишенный багряниць.
Во мраке заточенья был заклан
Булатом ослепленного убийцы,—
Во тьме, на узничьем одре, лежал
Певец, поклонник пламенной свободы.
Отторжен, отлучен от всей природы,
Он в вольных думах счастия искал.
Но не придут обратно дни былые:
Прошла пора надежд и снов,
И вы, мечты, вы, призраки златые,—
Не позлатить железных вам оков!
Тогда (то не был сон) во мрак темницы
Небесное видение сошло —
Раздался звук торжественной цевницы;
Испуганный певец подъял чело
И зрит: на облаках несомый,
Явился образ, узнику знакомый.

«Несу товарищу привет
Из области, где нет тиранов,
Где вечен мир, где вечен свет,
Где нет ни бури, ни туманов.
Блажен и славен мой удел:
Свободу русскому народу
Могучим гласом я воспел,
Воспел и умер за свободу!
Счастливец, я запечатлел
Любовь к земле родимой кровью...
И ты, я знаю, пламенел
К отчизне чистою любовью.
Грядущее твоим очам
Разоблачу я в утешенье —
Поверь, не жертвовал ты снам:
Надеждам будет исполненье!»

Он рек — и бестелесною рукой
Раздвинул стены, растворил затворы,—
Воздвиг певец восторженные взоры —
И видит: на Руси святой
Свобода, счастье и покой!

1827

К. РЫЛЕЕВ



БЕСТУЖЕВУ

Хоть Пушкин суд мне строгий произнес
И слабый дар, как недруг тайный, взвесил,
Но от того, Бестужев, еще нос
Я недругам в угоду не повесил.

Моя душа до гроба сохранит
Высоких дум кипящую отвагу;
Мой друг! Недаром в юноше горит
Любовь к общественному благу!

В чью грудь порой теснится целый свет,
Кого с земли восторг души уносит,
На зло врагам тот завсегда поэт,
Тот славы требует, не просит.

Так и ко мне, храня со мной союз,
С улыбкою и с ласковым приветом,
Слетит порой толпа вертлявых муз,
И я вдруг делаюсь поэтом.

1825

НАЛИВАЙКО

Отрывок из поэмы

4

Забыв вражду великодушно,
Движенью тайному послушный,
Быть может, я еще могу
Дать руку личному врагу;
Но вековые оскорбленья
Тиранам родины прощать
И стыд обиды оставлять
Без справедливого отмщенья —
Не в силах я; один лишь раб
Так может быть и подл и слаб.
Могу ли равнодушно видеть
Порабощенных земляков?..
Нет, нет! Мой жребий: ненавидеть
Равно тиранов и рабов.
Еще от самой колыбели
К свободе страсть зажглась во мне;
Мне мать и сестры песни пели
О незабвенной старине.
Тогда, объятый низким страхом,
Никто не рабствовал пред ляхом;
Никто дней жалких не влачил
Под игом тяжким и бесславным:
Козак в союзе с ляхом был,
Как вольный с вольным, равный с равным.
Но все исчезло, как призрáк.
Уже давно узнал козак
В своих союзниках тиранов.
Жид, униат, литвин, поляк —
Как стаи кровожадных вранов,
Терзают беспощадно нас.
Давно закон в Варшаве дремлет,
Вотще народный слышен глас:
Ему никто, никто не внемлет.
К полякам ненависть с тех пор
Во мне кипит и кровь бунтует.

Угрюм, суров и дик мой взор,
Душа без вольности тоскует.
Одна мечта и ночь и день
Меня преследует, как тень;
Она мне не дает покоя
Ни в тишине степей родных,
Ни в таборе, ни в вихре боя,
Ни в час мольбы в церквах святых.
«Пора! — мне шепчет голос тайный: —
Пора губить врагов Украйны!»

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа,—
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной,—
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!

Ф. ВАДКОВСКИЙ



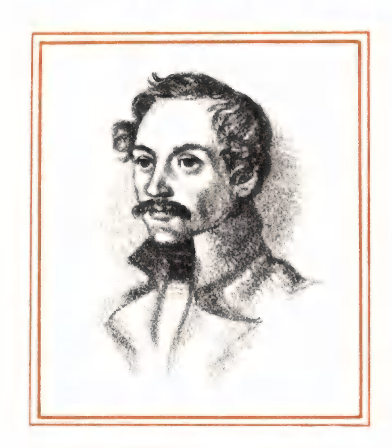
ЖЕЛАНИЯ*

...Помнишь ли ты нас, Русь святая, наша мать,
Иль тебе, родимая, не велят и вспоминать?..
...Вот за что хотели мы нашу кровь пролить:
Чтобы кровию той волюшку тебе купить,
Чтобы на Руси цепь народа разорвать,
Чтоб солдатушкам в службе век не вековать...
...Чтобы всякий мог смело мыслить и писать,
Правду-матушку на весь мир провозглашать;
Чтобы твой народ сам собою управлял,
Чтобы чрез избранных он законы поставлял,
Чтобы всяк берёг те законы пуще глаз,
Помня про себя: глас народа — божий глас!
...Чтобы не было ни вельможей, ни дворян,
Дармоедов тех, что живут на счет крестьян.
Вот чего тебе мы хотели добывать,
Вот за что твой царь нас велел заковать!
Вспомни ж ты нас: деток ты не забывай...
Хоть за их любовь иногда их вспоминай!

После 1828 года

* Печатается с сокращениями.

А. ОДОЕВСКИЙ



ОТВЕТ НА ПОСЛАНИЕ А. С. ПУШКИНА «В СИБИРЬ»

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли.
К мечам рванулись наши руки,
И — лишь оковы обрели.

Но будь покоен, бард: цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.

Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.

Мечи скуем мы из цепей
И пламя вновь зажжем свободы!
И с нею грянем на царей —
И радостно вздохнут народы!

1828—1829

**«Декабристы», антология в 2-х томах,
Л., «Художественная литература», 1975.**

К. Н. БАТЮШКОВ



МЕЧТА*

О, сладостна мечта, дщерь ночи молчаливой,
Сойди ко мне с небес в туманных облаках
Иль в милом образе супруги боязливой,
С слезой блестящею во пламенных очах!
  Ты, в душу нежную поэта
    Лучом проникнув света,
Горишь, как огнь зари, и красишь песнь его,
Любимца чистых сестр, любимца твоего,
  И горесть сладостна бывает:
    Он в горести мечтает.
То вдруг он пренесен во Сельмские леса,
  Где ветр шумит, ревет гроза,
Где тень Оскарова, одетая туманом,
По небу стелется над пенным океаном;
  То с чашей радости в руках
Он с бардом песнь поет — и месяц в облаках,
И Кромлы шумный лес безмолвствуя внимает,
И эхо вдалеке песнь звучну повторяет.
О, сладостна мечта, ты красишь зимний день,
Цветами и зиму печальную венчаешь,
  Зефиром по цветам летаешь
И между светлых льдин являешь миртов тень!

Богиня ты, мечта! Дары твои бесценны
  Самим невольникам в слезах.
  Цепями руки отягченны,
  Замки чугунны на дверях
Украшены мечтой... Какое утешенье
  Украсить заключенье,
Оковы променять на цепь веселых роз!..

* Первая редакция стихотворения.

Подругу ль потерял, источник вечных слез,
    Ступай ты в рощицу унылу,
    Сядь на плачевную могилу,
Задумайся, вздохни — и друг души твоей,
Одетый ризою прозрачной, как туманом,
    С прелестным взором, стройным станом,
    Как нимфа легкая полей,
    Прижмется с трепетом сердечным,
Прижмется ко груди пылающей твоей.
Стократ мы счастливы мечтаньем скоротечным!

Мечтанье есть душа поэтов и стихов.
    И едкость сильная веков
Не может прелестей сокрыть Анакреона,
Любовь еще горит во Сафиных мечтах.
    А ты, любимец Аполлона,
        Лежащий на цветах
В забвенье сладостном, меж нимф и нежных граций,
    Певец веселия, Гораций,
    Ты в песнях сладостно мечтал,
Мечтал среди пирше́ств и шумных и веселых
И смерть угрюмую цветами увенчал!
    Найдем ли в истинах мы голых
Печальных стоиков и твердых мудрецов
    Всю жизни бренной сладость?
    От них эфирна радость
Летит, как бабочка от терновы́х кустов.
Для них прохлады нет и в роскоши природы;
Им девы не поют, сплетяся в хороводы;
    Для них, как для слепцов,
Весна без прелестей и лето без цветов.
Увы, но с юностью исчезнут и мечтанья,
    Исчезнут граций лобызанья!
Как светлые лучи на темных облаках,
    Веселья на крылах
    Дни юности стремятся:
    Не долго на цветах
    В беспечности валяться.
    Весеннею порой
    Лишь бабочка летает,
    Амуров нежный рой
    Морщин не лобызает.
    Крылатые мечты
    Не сыплют там цветы,
Где тусклый опытность светильник зажигает.
Счастливая мечта, живи, живи со мной!
    Ни свет, ни славы блеск пустой
    Даров твоих мне не заменят.
Глупцы пусть дорого сует блистанье ценят,
Лобзая прах златой у мраморных крыльцов!
    Но счастию певцов
Удел есть скромна сень, мир, вольность и
                                        спокойство.
        Души поэтов свойство:
    Идя забвения тропой,

Блаженство находить мечтой.
Их сердцу малость драгоценна:
Как бабочка влюбленна
Летает с травки на цветок,
Считая морем ручеек,
Так хижину свою поэт дворцом считает
И счастлив!.. Он мечтает.

1802 или 1803

* * *

О, сладкая мечта! О, неба дар благой!
Средь дебрей каменных, средь ужасов природы,
Где плещут о скалы Ботнические воды,
В краях изгнанников... я счастлив был тобой.
Я счастлив был, когда в моем уединенье,
Над кущей рыбаря, в час полночи немой,
Раздастся ветров свист и вой
И в кровлю застучит и град, и дождь осенний.
Тогда на крылиях мечты
Летал я в поднебесной,
Или, забывшися на лоне красоты,
Я сон вкушал прелестный
И, счастлив наяву, был счастлив и в мечтах!

Волшебница моя! Дары твои бесценны
И старцу в лета охлажденны,
С котомкой нищему и узнику в цепях,
Заклепы страшные с замками на дверях,
Соломы жесткий пук, свет бледный пепелища,
Изглоданный сухарь, мышей тюремных пища,
Сосуды глиняны с водой —
Все, все украшено тобой...

...Ужели в истинах печальных
Угрюмых стоиков и скучных мудрецов,
Сидящих в платьях погребальных
Между обломков и гробов,
Найдем мы жизни нашей сладость? —
От них, я вижу, радость
Летит, как бабочка от терновых кустов;
Для них нет прелести и в прелестях природы.
Им девы не поют, сплетяся в хороводы:
Для них, как для слепцов,
Весна без радости и лето без цветов...
Увы! но с юностью исчезнут и мечтанья.
Исчезнут граций лобызанья,
Надежда изменит и рой крылатых снов.
Увы! там нет уже цветов,
Где тусклый опытность светильник зажигает
И время старости могилу открывает.

Но ты — пребудь верна, живи еще со мной!
Ни свет, ни славы блеск пустой,

Окончательная редакция. Печатается в сокращении.

Ничто даров твоих для сердца не заменит!
Пусть дорого глупец сует блистанье ценит,
Лобзая прах златой у мраморных палат,—
Но я и счастлив и богат,
Когда снискал себе свободу и спокойство,
А от сует ушел забвения тропой!
Пусть будет навсегда со мной
Завидное поэтов свойство:
Блаженство находить в убожестве Мечтой!
Их сердцу малость драгоценна:
Как пчелка, медом отягченна,
Летает с травки на цветок,
Считая морем ручеек,
Так хижину свою поэт дворцом считает
И счастлив — *он мечтает.*

1817

Батюшков К. Н. Стихотворения.
М., «Художественная литература», 1977.

Н. ЯЗЫКОВ



ПЛОВЕЦ

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно;
В роковом его просторе
Много бед погребено.

Смело, братья! Ветром полный
Парус мой направил я:
Полетит на скользки волны
Быстрокрылая ладья!

Облака бегут над морем,
Крепнет ветер, зыбь черней,
Будет буря: мы поспорим
И помужествуем с ней.

Смело, братья! Туча грянет,
Закипит громада вод,
Выше вал сердитый встанет,
Глубже бездна упадет!

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна:
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина...

Но туда выносят волны
Только сильного душой!..
Смело, братья, бурей полный
Прям и крепок парус мой.

1829

МЕЧТАНИЯ

Поэта пламенных созданий
Не бойся, дева; сила их
Не отучнит твоих желаний
И не понизит дум твоих.
Когда в воздушные соблазны
И безграничные мечты,
В тот мир, всегда разнообразный
И полный свежей красоты,
Тебя из тягостного мира
Телесных мыслей и забот
Его пророческая лира
На крыльях звуков унесет,
Ты беззаботно предавайся
Очарованью твоему,
Им сладострастно упивайся
И гордо радуйся ему:
В тот час, как ты вполне забылась
Сим творческим, высоким сном,
Ты в божество преобразилась,
Живешь небесным бытием!

1831

Языков Н. М. Стихотворения. Сказки. Поэмы. Драматические сцены. Письма. М.—Л., 1959.

Е. БАРАТЫНСКИЙ



ПОСЛЕДНЯЯ СМЕРТЬ

Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье;
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье.
Он в полноте понятья своего,
А между тем, как волны, на него,
Одни других мятежней, своенравней,
Видения бегут со всех сторон,
Как будто бы своей отчизны давней
Стихийному смятенью отдан он;
Но иногда, мечтой воспламененный,
Он видит свет, другим не откровенный.

Созданье ли болезненной мечты,
Иль дерзкого ума соображенье,
Во глубине полночной темноты

Представшее очам моим виденье?
Не ведаю; но предо мной тогда
Раскрылися грядущие года;
События вставали, развивались,
Волнуяся подобно облакам,
И полными эпохами являлись
От времени до времени очам,
И наконец я видел без покрова
Последнюю судьбу всего живого.

Сначала мир явил мне дивный сад;
Везде искусств, обилия приметы;
Близ веси весь и подле града град,
Везде дворцы, театры, водометы,

Везде народ, и хитрый свой закон
Стихии все признать заставил он.
Уж он морей мятежные пучины
На островах искусственных селил,
Уж рассекал небесные равнины
По прихоти им вымышленных крил;
Все на земле движением дышало,
Все на земле как будто ликовало.

Исчезнули бесплодные года,
Оратаи по воле призывали
Ветра, дожди, жары и холода,
И верною сторицей воздавали
Посевы им, и хищный зверь исчез
Во тьме лесов, и в высоте небес,
И в бездне вод, сраженный человеком,
И царствовал повсюду светлый мир.
Вот, мыслил я, прельщенный дивным веком,
Вот разума великолепный пир!
Врагам его и в стыд и поученье,
Вот до чего достигло просвещенье!
Прошли века. Яснеть очам моим
Видение другое начинало:
Что человек? что вновь открыто им?
Я гордо мнил, и что же мне предстало?
Наставшую эпоху я с трудом
Постигнуть мог смутившимся умом.
Глаза мои людей не узнавали;
Привыкшие к обилью дольных благ,
На все они спокойные взирали,
Что суеты рождало в их отцах,
Что мысли их, что страсти их, бывало,
Влечением всесильным увлекало.

Желания земные позабыв,
Чуждаяся их грубого влеченья,
Душевных снов, высоких снов призыв
Им заменил другие побужденья,
И в полное владение свое
Фантазия взяла их бытие.
И умственной природе уступила
Телесная природа между них:
Их в эмпирей* и в хаос уносила
Живая мысль на крылиях своих;
Но по земле с трудом они ступали,
И браки их бесплодны пребывали.

Прошли века, и тут моим очам
Открылася ужасная картина:
Ходила смерть по суше, по водам,
Свершалася живущего судьбина.
Где люди? где? Скрывалися в гробах!
Как древние столпы на рубежах,
Последние семейства истлевали;
В развалинах стояли города,
По пажитям заглохнувшим блуждали
Без пастырей безумные стада;
С людьми для них исчезло пропитанье;
Мне слышалось их гладное блеянье.

И тишина глубокая вослед
Торжественно повсюду воцарилась,
И в дикую порфиру древних лет
Державная природа облачилась.
Величествен и грустен был позор
Пустынных вод, лесов, долин и гор.
По-прежнему животворя природу,
На небосклон светило дня взошло,
Но на земле ничто его восходу
Произнести привета не могло.
Один туман над ней, синея, вился
И жертвою чистительной дымился.

1827

Е. А. Баратынский. Стихотворения. «Библиотека поэта» (малая серия). Л., «Советский писатель», 1958.

---

* Эмпирей *(греч.)* — местопребывание богов на небесах.

Н. В. ГОГОЛЬ



МЕРТВЫЕ ДУШИ

Отрывки

* * *

...И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «черт побери все!» — его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет,— только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню — кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход — и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух, летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства.

* * *

...Вид был очень хорош, но вид сверху вниз, с надстройки дома на отдаленья, был еще лучше. Равнодушно не мог выстоять на балконе никакой гость и посетитель. От изумленья у него захватывало в груди дух, и он только вскрикивал: «Господи, как здесь просторно!» Без конца, без пределов открывались пространства. За лугами, усеянными рощами и водяными мельницами, в несколько зеленых поясов зеленели леса; за лесами, сквозь воздух, уже начинавший становиться мглистым, желтели пески — и вновь леса, уже синевшие, как моря или туман, далеко разливавшийся; и вновь пески, еще бледней, но все желтевшие. На отдаленном небосклоне лежали гребнем меловые горы, блиставшие белизною даже и в ненастное время, как бы освещало их вечное солнце. По ослепительной белизне их, у подошв, местами мелькали как бы дымившиеся туманно-сизые пятна. Это были отдаленные деревни; но их уже не мог рассмотреть человеческий глаз. Только вспыхивавшая при солнечном освещении искра золотой церковной маковки давала знать, что это было людное большое селение. Все это облечено было в тишину невозмущаемую, которую не пробуждали даже чуть долетавшие до слуха отголоски воздушных певцов, пропадавшие в пространствах. Гость, стоявший на балконе, и после какого-нибудь двухчасового созерцания ничего другого не мог выговорить, как только: «Господи, как здесь просторно!»

* * *

...Вот уже и мостовая кончилась, и шлагбаум, и город назади, и ничего нет, и опять в дороге. И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим из постоялого двора с овсом в руке, пешеход в протертых лаптях, плетущийся за восемьсот верст, городишки, выстроенные живьем, с деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные и по ту сторону и по другую, помещичьи рыдваны, солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик с свинцовым горохом и подписью: такой-то артиллерийской батареи, зеленые, желтые и свежеразрытые черные полосы, мелькающие по степям, затянутая вдали песня, сосновые верхушки в тумане, пропадающий далече колокольный звон, вороны как мухи и горизонт без конца... Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства, города с многооконными высокими дворцами, вросшими в утесы, картинные дерева и плющи, вросшие в домы, в шуме и в вечной пыли водопадов; не опрокинется назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы; не блеснут сквозь наброшенные одна на другую темные арки, опутанные виноградными сучьями, плющами и несметными миллионами диких роз, не блеснут сквозь них вдали вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные ясные небеса. Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают, и стремятся в душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. И еще полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..

* * *

...В большом зале генерал-губернаторского дома собралось все чиновное сословие города, начиная от губернатора до титулярного советника: правители канцелярий и дел, советники, асессоры, Кислоедов, Красионосов, Самосвистов; не бравшие, бравшие, кривившие

душой, полукривившие и вовсе не кривившие — все не без волненья и беспокойства ожидали выхода генерал-губернатора. Князь вышел ни мрачный, ни ясный; взор его был тверд так же, как и шаг. Все чиновное собрание поклонилось, многие — в пояс. Ответив легким поклоном, князь начал:

— Уезжая в Петербург, я почел приличным повидаться с вами со всеми и даже объяснить вам отчасти причину. У нас завязалось дело очень соблазнительное. Я полагаю, что многие из предстоящих знают, о каком деле я говорю. Дело это повело за собою открытие и других, не менее бесчестных дел, в которых замешались даже, наконец, и такие люди, которых я доселе почитал честными. Известна мне даже и сокровенная цель спутать таким образом все, чтобы оказалась полная невозможность решить формальным порядком. Знаю даже, и кто главная пружина и чьим сокровенным...*, хотя он и очень искусно скрыл свое участие. Но дело в том, что я намерен это следить не формальным следованьем по бумагам, а военным быстрым судом, как в военное ⟨время⟩, и надеюсь, что государь мне даст это право, когда я изложу все это дело. В таком случае, когда нет возможности произвести дело гражданским образом, когда горят шкафы с ⟨бумагами⟩ и наконец излишеством лживых посторонних показаний и ложными доносами стараются затемнить и без того довольно темное дело,— я полагаю военный суд единственным средством и желаю знать мнение ваше.

Князь остановился, как ⟨бы⟩ ожидая ответа. Все стояло потупив глаза в землю. Многие были бледны...

⟨...⟩Князь был спокоен. Ни гнева, ни возмущенья душевного не выражало его лицо.

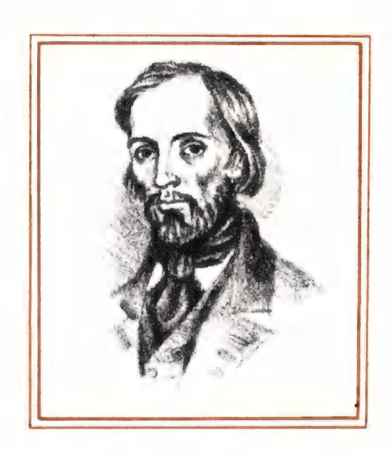
— Теперь тот самый, у которого в руках участь многих и которого никакие просьбы не в силах были умолить, тот самый бросается теперь к ногам вашим, вас всех просит. Все будет позабыто, изглажено, прощено; я буду сам ходатаем за всех, если исполните мою просьбу. Вот моя просьба. Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаньями нельзя искоренить неправды: она слишком уже глубоко вкоренилась. Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью даже и для таких людей, которые и не рождены быть бесчестными. Знаю, что уже почти невозможно многим идти противу всеобщего теченья. Но я теперь должен, как в решительную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякий гражданин несет все и жертвует всем,— я должен сделать клич хотя к тем, у которых еще есть в груди русское сердце и понятно сколько-нибудь слово «благородство». Что тут говорить о том, кто более из нас виноват. Я, может быть, больше всех виноват; я, может быть, слишком сурово вас принял вначале, может быть, излишней подозрительностью я оттолкнул из вас тех, которые искренно хотели мне быть полезными, хотя и я с своей стороны мог бы также сделать ⟨им упрек⟩ ⟨?⟩. Если они уже действительно любили справедливость и добро своей земли, не следовало бы им оскорбиться на надменность моего обращения, следовало бы им подавить в себе собственное честолюбие и пожертвовать своею личностью. Не может быть, чтобы я не заметил их самоотверженья и высокой любви к добру и не принял бы наконец от них полезных и умных советов. Все-таки скорей подчиненному следует применяться к нраву начальника, чем начальнику к нраву подчиненного. Это законней по крайней мере и легче, потому что у подчиненных один начальник, а у начальника сотни подчиненных. Но оставим теперь в стороне, кто кого больше виноват. Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих; что уже мимо законного управленья образовалось другое правленье, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия, все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как ⟨ни⟩ ограничивай он в действиях дурных чиновников приставленьем в надзиратели других чиновников. Все будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстанья народов, вооружался против ⟨врагов?⟩, так должен восстать против неправды.

* В рукописи не дописано.

Как русский, как связанный с вами единокровным родством, одной и тою же кровью, а теперь обращаюсь <к> вам. Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятье какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется, и мы едва...*

Гоголь Н. В. Собр. соч. М., «Художественная литература», 1978.

В. Г. БЕЛИНСКИЙ



Из статьи
«О НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ»

Мы взяли бы на себя слишком смелый и тяжелый труд, если б захотели объяснить удовлетворительно смысл великого мифа о «Прометее», и потому довольно будет намекнуть на него. Прометей и Зевес — это божество, разделившееся на самого себя, это сознание, распавшееся на две стороны, которые, по закону диалектического развития, враждебно стали одна к другой. Зевес — это непосредственная полнота сознания; Прометей — это сила рассуждающая, дух, не признающий никаких авторитетов, кроме разума и справедливости. Зевес восстал на отца своего, Крона, с громами и молниями; Прометей восстал на Зевеса с мыслию и словом. Прометей вправе был сказать своему могучему противнику: «Ты сердишься, Юпитер: следовательно, ты не прав!» И потому Зевес мог его уничтожить, но не устрашить и не преклонить. Горделивое, полное сознания своего достоинства и своей правоты самоотвержение Прометея было оправданием его пророчества о конце власти Зевеса: Зевес не прав, и потому должен будет уступить свое владычество другой, более справедливой власти. Что же значит коршун, терзавший беспрестанно сраставшиеся внутренности похитителя небесного огня? — На это у Эсхила лучший ответ дает сам Прометей: «Я в мыслях пожираю сердце мое!» Это грустная дума, как червь, грызущая сердце и подтачивающая корни жизни; это муки распадения. Зевес не прав, но он еще существует, и власть его еще сильна: он еще мстит своему противнику. Зачем же он силен, если он не прав? Затем, что Прометею суждено только начать великое дело, а не кончить его; он только очистительная жертва общего дела, а не торжествующий победитель; он дал дви-

---

* На этом рукопись обрывается.

жение сознанию, которое без него коснело бы в недеятельности, но он еще не видел результата сознания; он начал борьбу, но не ему суждена полная победа. Что же такое огонь, похищенный Прометеем с неба и сообщенный им людям? — Это мысль, сознание, пробудившее людей от мертвого сна животной непосредственности. Прометей дал знать людям, что в истине и знании и они — боги, что громы и молнии еще не доказательство правоты, а только доказательства неправой власти. Пробуждено сознание в людях,— и падение Зевеса уже неизбежно; рано или поздно, но алтари его сокрушатся, и колени смертных преклонятся пред богом правды и истины, любви и милости... Глубоко знаменательный миф, необъятный, как вселенная, вечный, как разум!..

Из рецензии на книгу Ф. Лоренца «РУКОВОДСТВО К ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ»

* * *

...Историческое созерцание проникло всю современную действительность — даже самый быт наш. Чувство общественности теперь везде сильнее, чем когда-либо прежде было. Каждый живее чувствует себя в обществе и общество в себе, и каждый по крайней мере претендует служить обществу, служа себе самому. Вражда между сословиями исчезает, и они примиряются в признании взаимной необходимости и взаимной важности для общества. Зависть уступает место соревнованию. Общественные предприятия возбуждают общий интерес, как дело, лично до каждого касающееся. Какая-нибудь железная дорога утверждается на основании опытов прошедшего, на предвидении результатов в будущем. Для обществ как будто исчезло различие между прошедшим, настоящим и будущим: общества равно живут теперь во всех трех этих отношениях времени,— и настоящее для них есть результат прошедшего, на основании которого должно осуществиться и их будущее. Прогресс и движение сделались теперь словами ежедневными. Новизна никого не пугает; предела усовершенствованиям никто не видит. Каждое общество теперь, в каждую минуту своего существования, представляется в нескольких поколениях, которые суть живые летописи прошедшего, свидетельство настоящего и пророчество будущего: это ступени исторического движения общества, ступени, едва ли отделенные друг от друга какими-нибудь пятилетиями!.. Так скоро все движется теперь...

* * *

(2)...Человечество движется не прямою линиею и не зигзагами, а спиральным кругом, так что высшая точка пережитой им истины в то же время есть уже и точка поворота его от этой истины,— правда, поворота не вверх, а вниз; но для того вниз, чтоб очертить новый, более обширный круг и стать в новой точке, выше прежней, и потом опять идти, понижаясь, кверху... Вот почему человечество никогда не стоит на одном месте, не отодвигается назад, делая таким образом бесполезным пройденный прежде путь: это только понятное движение назад, чтоб тем с большею силою ринуться вперед... Сперва свет знания и цивилизации блеснул на берегах Евфрата, Тигра и Нила, но, перешедши в Грецию, померк,— потом Греция же возвратила его, и уже не в том виде, в каком получила, но в большем и лучшем; македонский герой разлил его до берегов Гангеса, утвердил в Сирии, Египте и Малой Азии... Погиб мир древний с его цивилизациею и просвещением, с его искусством и правом; и что же? — варварские тевтонские племена, разрушившие Западную Римскую империю, с лихвою возвращают теперь земле Гомера и Платона взятое ими от нее, а смешавшиеся с римлянами вандалы и готы не вечно же будут дремать в позорном бездействии... Движение и развитие человечества основано на простом законе смертности отдельных лиц: народится поколение, образуется в известную форму, приобретет себе или просто привычкою усвоит себе известный круг мыслей, известные убеждения и понятия, в кото-

рых и умирает, с которыми ему так же трудно расставаться, как с жизнью. Но вот следующее за ним поколение уже рознится от него: с жадностию принимает оно всякое нововведение, всякую новую мысль; старое поколение обыкновенно упрекает новое в вольнодумстве и разврате, а новое обыкновенно исподтишка смеется над старым, не слушая его, до тех пор, пока наконец не состареется само и не будет играть такой же роли в отношении к сменившему его поколению; — между тем то, что вначале казалось вольнодумством и развратом, впоследствии признается и добрым, и истинным, и полезным...

* * *

(3)...Без исторического созерцания, без понятия о прогрессе человечества, без веры в разумный промысл*, вечно торжествующий над произволом и случайностию,— нет истинного и живого знания в наше время. Будьте вы ориенталистом **, изучите всю восточную мудрость, блистайте фактическими познаниями в естественных науках, удивляйте свет огромною начитанностию и фейерверочным остроумием; издевайтесь, в угождение толпе, над всяким так называемым априорным знанием и прославляйте немой, мертвый эмпиризм — вы все-таки не будете от этого ученым человеком, не сделаетесь óрганом века, но удивите одну лишь чернь и заставите мудрых пожалеть о столь блестящих и так дурно употребленных способностях, если вы не понимаете, что современное состояние человечества есть необходимый результат разумного развития и что от его настоящего состояния можно делать посылки к его будущему состоянию, что свет победит тьму, разум победит предрассудки, свободное сознание сделает людей братьями по духу — и будет новая земля и новое небо...

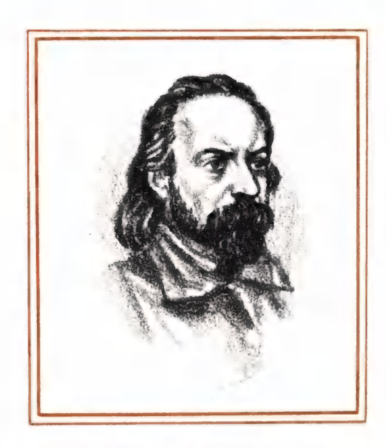
Белинский В. Г. Собр. соч. М., «Художественная литература», 1979.

---

* Советские исследователи, отмечая сближение «и даже отождествление понятий «прогресс» и «разумный промысл», указывают, что, поскольку русские социалисты «принимают концепцию разумности истории, они не в силах последовательно развести сливавшиеся у Гегеля понятия «закон», «разум» и «бог»...» (Володин А. И. Гегель и русская социалистическая мысль XIX века).

** Под «ориенталистом», прославлявшим «немой, мертвый эмпиризм», подразумевался О. И. Сенковский, который был не только издателем и журналистом, но также профессором кафедры восточных языков Санкт-Петербургского университета.

А. И. ГЕРЦЕН



С ТОГО БЕРЕГА

Отрывок

Все наше образование, наше литературное и научное развитие, наша любовь изящного, наши занятия предполагают среду, постоянно расчищаемую *другими,* приготовляемую *другими*; надобен *чей-то* труд для того, чтоб нам доставить досуг, необходимый для нашего психического развития, тот досуг, ту деятельную праздность, которая способствует мыслителю сосредоточиваться, поэту мечтать, эпикурейцу наслаждаться, которая способствует пышному, капризному, поэтическому, богатому развитию наших аристократических индивидуальностей.

Кто не знает, какую свежесть духу придает беззаботное довольство; бедность, вырабатывающаяся до Жильбера,— исключение, бедность страшно искажает душу человека — не меньше богатства. Забота об одних материальных нуждах подавляет способности. А разве довольство может быть доступно всем при современной гражданской форме? Наша цивилизация — цивилизация меньшинства, она только возможна при большинстве чернорабочих. Я не моралист и не сентиментальный человек; мне кажется, если меньшинству было действительно хорошо и привольно, если большинство молчало, то эта форма жизни в прошедшем оправдана. Я не жалею о двадцати поколениях немцев, потраченных на то, чтоб сделать возможным Гёте, и радуюсь, что псковский оброк дал возможность воспитать Пушкина. Природа безжалостна; точно как известное дерево, она мать и мачеха вместе; она ничего не имеет против того, что две трети ее произведений идут на питание одной трети, лишь бы они развивались. Когда не могут все хорошо жить, пусть живут несколько, пусть живет один — на счет других, лишь бы кому-нибудь было хорошо и широко. Только с этой точки зрения и можно понять аристократию. Аристократия — вообще более или менее образованная антропофагия; каннибал, который ест своего невольника, помещик, который берет страшный процент с земли, фабрикант, который богатеет на счет своего работника, составляют только видоизменения одного и того же людоедства. Я, впрочем, готов защищать и самую грубую антропофагию; если один человек себя рассматривает как блюдо, а другой хочет его съесть — пусть ест; они стоят того — один, чтоб быть людоедом, другой, чтоб быть кушанием.

Пока развитое меньшинство, поглощая жизнь поколений, едва догадывалось, отчего ему так ловко жить; пока большинство, работая день и ночь, не совсем догадывалось, что вся выгода работы — для других, и те и другие считали это естественным порядком, мир антропофагии мог держаться. Люди часто принимают предрассудок, привычку за истину,—

и тогда она их не теснит; но когда они однажды поняли, что их истина — вздор, дело кончено, тогда только силою можно заставить делать то, что человек считает нелепым. Учредите постные дни без веры? Ни под каким видом; человеку сделается так же невыносимо есть постное, как верующему есть скоромное.

Работник не хочет больше работать для другого — вот вам и конец антропофагии, вот предел аристократии. Все дело остановилось теперь за тем, что работники не сосчитали своих сил, что крестьяне отстали в образовании; когда они протянут друг другу руку,— тогда вы распроститесь с вашим досугом, с вашей роскошью, с вашей цивилизацией, тогда окончится поглощение большинства на вырабатывание светлой и роскошной жизни меньшинству. В идее теперь уже кончена эксплуатация человека человеком. Кончена потому, что никто не считает это отношение справедливым!

Как же этот мир устоит против социального переворота? во имя чего будет он себя отстаивать? — религия его ослабла, монархический принцип потерял авторитет; он поддерживается страхом и насилием; демократический принцип — рак, снедающий его изнутри.

Духота, тягость, усталь, отвращение от жизни — распространяются вместе с судорожными попытками куда-нибудь выйти. Всем на свете стало душно жить — это великий признак.

Где эта тихая, созерцательная, кабинетная жизнь в сфере знания и искусств, в которой жили германцы; где этот вихрь веселья, остроты, либерализма, нарядов, песен, в котором кружился Париж? Все это — прошедшее, воспоминание. Последнее усилие спасти старый мир обновлением из его собственных начал не удалось.

Все мельчает и вянет на истощенной почве — нету талантов, нету творчества, нету силы мысли,— нету силы воли: мир этот пережил эпоху своей славы, время Шиллера и Гёте прошло так же, как время Рафаэля и Буонарроти, как время Вольтера и Руссо, как время Мирабо и Дантона; блестящая эпоха индустрии проходит, она пережита так, как блестящая эпоха аристократии; все нищают, не обогащая никого; кредиту нет; все перебиваются с дня на день, образ жизни делается менее и менее изящным, грациозным, все жмутся, все боятся, все живут как лавочники, нравы мелкой буржуазии сделались общими; никто не берет оседлости; все на время, наемно, шатко. Это то тяжелое время, которое давило людей в третьем столетии, когда самые пороки Древнего Рима утратились, когда императоры стали вялы, легионы мирны. Тоска мучила людей энергических и беспокойных до того, что они толпами бежали куда-нибудь в фиваидские степи, кидая на площадь мешки золота и расставаясь навек и с родиной и с прежними богами.— Это время настает для нас, тоска наша растет!

Кайтесь, господа, кайтесь! Суд миру вашему пришел. Не спасти вам его ни осадным положением, ни республикой, ни казнями, ни благотворениями*, ни даже разделением полей. Может быть, судьба его не была бы так печальна, если б его не защищали с таким усердием и упорством, с такой безнадежной ограниченностью. Никакое перемирие не поможет теперь во Франции; враждебные партии не могут ни объясниться, ни понять друг друга, у них разные логики, два разума. Когда вопросы становятся так, нет выхода — кроме борьбы, один из двух должен остаться на месте — монархия или социализм.

Подумайте, у кого больше шансов? Я предлагаю пари за социализм.

РУССКОЕ КРЕПОСТНИЧЕСТВО

Отрывок

Мне всякий раз становится не по себе, когда я говорю о народе. В наш демократический век нет ни одного слова, смысл которого был бы так извращен и так мало понятен. Идеи, которые связываются с этим словом, по большей части неопределенны, исполнены риторики,

---

* По-видимому, Герцен имеет в виду постановление Учредительного собрания об ассигновании 3 миллионов франков для выдачи пособий нуждающимся жителям Парижа, утвержденное 5 июля 1848 года, и постановление об открытии кредита в 3 миллиона франков для субсидий рабочим ассоциациям.

поверхностны. То народ поднимают до небес, то топчут его в грязь. К несчастью, ни благородное негодование, ни восторженная декламация не в состоянии выразить верно и точно понятие, обозначаемое словом «народ»; народ — это мощная гранитная основа, скрепленная цементом вековых традиций, это обширный первый этаж, над которым надстроен шаткий балаган современного политического устройства.

На вопрос, чего ждет русский народ, я отвечаю: начала социальной революции в Европе,— ждет бессознательно, в силу самого своего положения, инстинктом. Благодаря социалистическому движению в вопросе об освобождении крестьян сделан уже огромный шаг вперед. Правительство, дворяне, народ — никто больше не верит в возможность освобождения общины, т. е. крестьянина, без земли. Если придерживаться точки зрения безусловного и неотъемлемого права собственности, задача эта неразрешима. Освобождение крепостных на тех основаниях, на каких провел его Александр в балтийских губерниях, явилось бы одной из тех ошибок, которые — мы утверждаем это без колебаний — подрывают существование нации. Вопрос, ныне такой простой, безнадежно бы осложнился.

В результате появились бы двадцать миллионов пролетариев в стране, которая настолько плохо управляется, что свободные крестьяне и мещане не находят защиты от притеснений самовластной полиции, где, одним словом, не существует личной неприкосновенности. Помещики объединились бы, и правительство поддержало бы их союз! Общинное начало — великая основа славянской жизни — было бы поражено насмерть, община была бы уничтожена. Мы были бы свидетелями разрушения единственного достояния, которое сохранилось у русского крестьянина,— основы, краеугольного камня, без которого Россия пришла бы в полный упадок и без которого чудовищное самодержавие, простирающееся от Торнео до Амура, перестало бы существовать.

Я знаю, что есть люди, столь рационалистически мыслящие, что они готовы променять определенный и надежный залог на возможности, еще находящиеся в зачатке. Они радовались бы образованию пролетариата, так как видели бы в нем источник революционного развития; но разве достаточно быть пролетарием, для того чтобы сделаться революционером?

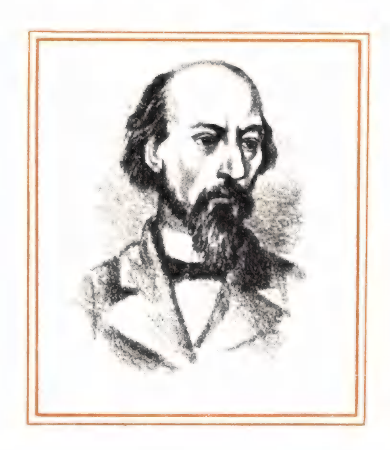
РОССИЯ

Отрывок

Мне кажется, что в русской жизни есть нечто более высокое, чем община, и более сильное, чем власть; это «нечто» трудно выразить словами, и еще труднее указать на него пальцами. Я говорю о той внутренней, не вполне сознающей себя силе, которая так чудодейственно поддерживала русский народ под игом монгольских орд и немецкой бюрократии, под восточным кнутом татарина и под западной розгой капрала; я говорю о той внутренней силе, при помощи которой русский крестьянин сохранил, несмотря на унизительную дисциплину рабства, открытое и красивое лицо и живой ум и который, на императорский приказ образоваться, ответил через сто лет громадным явлением Пушкина; я говорю, наконец, о той силе, о той вере в себя, которая волнует нашу грудь. Эта сила, независимо от всех внешних событий и вопреки им, сохранила русский народ и поддержала его несокрушимую веру в себя. Для какой цели?.. Это-то нам и покажет время.

А. И. Герцен. «О социализме». М., «Наука», 1974.

Н. А. НЕКРАСОВ



ДЕДУШКА

Отрывок

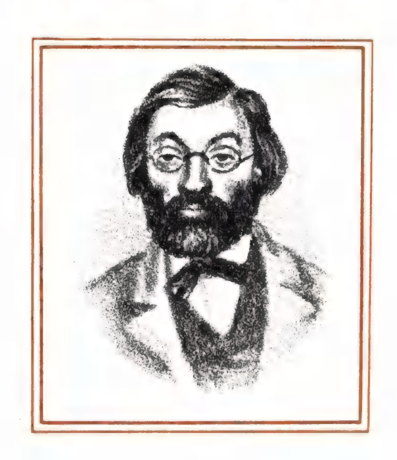
...Чудо я, Саша, видал:
Горсточку русских сослали
В страшную глушь за раскол,
Волю да землю им дали;
Год незаметно прошел —
Едут туда комиссары,
Глядь — уж деревня стоит,
Риги, сараи, амбары!
В кузнице молот стучит,
Мельницу выстроят скоро.
Уж запаслись мужики
Зверем из темного бора,
Рыбой из вольной реки.
Вновь через год побывали,
Новое чудо нашли:
Жители хлеб собирали
С прежде бесплодной земли.
Дома одни лишь ребята
Да здоровенные псы,
Гуси кричат, поросята
Тычут в корыто носы...
Так постепенно в полвека
Вырос огромный посад —
Воля и труд человека
Дивные дивы творят!
Все принялось, раздобрело!
Сколько там, Саша, свиней,
Перед селением бело
На полверсты от гусей;
Как там возделаны нивы,
Как там обильны стада!
Высокорослы, красивы
Жители, бодры всегда,
Видно — ведется копейка!
Бабу там холит мужик:
В праздник на ней душегрейка —
Из соболей воротник!

Дети до возраста в неге,
Конь — хоть сейчас на завод,
В кованой, прочной телеге
Сотню пудов увезет...
Сыты там кони-то, сыты,
Каждый там сыто живет,
Тесом там избы-то крыты,
Ну, уж зато и народ!
Взросшие в нравах суровых,
Сами творят они суд,
Рекрутов ставят здоровых,
Трезво и честно живут,
Подати платят до срока,
Только ты им не мешай.
«Где ж та деревня?» — Далеко,
Имя ей: Тарбагатай...

1870 г.

Н. А. Некрасов. Собр. соч. М., «Художественная литература», 1965.

М. Л. МИХАЙЛОВ



* * *

Смело, друзья! Не теряйте
Бодрость в неравном бою,
Родину-мать защищайте,
Честь и свободу свою!
Пусть нас по тюрьмам сажают,
Пусть нас пытают огнем,
Пусть в рудники посылают,
Пусть мы все казни пройдем!
Если погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых,—
Дело, друзья, отзовется
На поколеньях живых.

Стонет и тяжко вздыхает
Бедный забитый народ;
Руки он к нам простирает,
Нас он на помощь зовет.
Час обновленья настанет —
Воли добьется народ,
Добрым нас словом помянет,
К нам на могилу придет.

Если погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых,—
Дело, друзья, отзовется
На поколеньях живых.

1861

ПЯТЕРО

Над вашими телами надругавшись,
В безвестную могилу их зарыли,
И над могилой выровняли землю,
Чтоб не было ни знака, ни отметы,
Где тлеют ваши кости без гробов,—
Чтоб самый след прекрасной жизни вашей
Изгладился, чтоб ваши имена
На смену вам идущим поколеньям
С могильного креста не говорили,
Как вы любили правду и свободу,
Как из-за них боролись и страдали,
Как шли на смерть с лицом спокойно-ясным
И с упованьем, что пора придет —
И вами смело начатое дело
Великою победой завершится.

Пора та близко. Пусть могила ваша
Незнаема, пусть царственная зависть
Старается стереть повсюду память
О вашем деле, ваших именах,—
В глуби живых сердец она живет!
И с каждым днем таких сердец все больше,
Самоотверженных, могучих, смелых
И любящих.
Близ места вашей казни
Есть пышный храм. Там гордыми рядами
Стоят великолепные гробницы,
Блестя резьбой и золотом. Над ними
Курится ладан, теплятся лампады,
И каждый день священство в черных ризах
Поет заупокойные обедни.

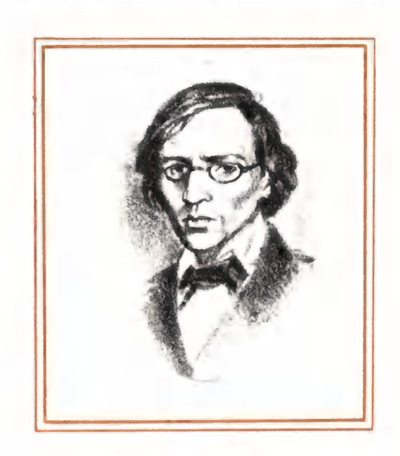
Гробницы эти прочны; имена
Их мертвецов угодливой рукою
Глубоко в камень врезаны. Напрасно!
От одного дыхания свободы
Потухнет ладан и елей в лампадах,
Наемный клир навеки онемеет,
И прахом распадется твердый мрамор,
Последняя их память на земле.

Пора близка. Уже на головах,
Обремененных ложью и коварством
И преступленьем, шевелится волос
Под первым дуновеньем близкой бури,
И слышатся, как дальний рокот грома,
Врагам народа ваши имена,
Рылеев, Пестель, Муравьев-Апостол,
Бестужев и Каховский! Буря грянет.
Под этой бурей дело ваших внуков
Вам памятник создаст несокрушимый.
Не золото стирающихся букв
Предаст святые ваши имена
Далекому потомству — песнь народа
Свободного; а песнь не умирает!
Не хрупкие гробницы сохранят
Святую вашу память, а сердца
Грядущих просветленных поколений,—
И в тех сердцах народная любовь
Из рода в род вам будет неизменно
Гореть неугасимою лампадой.

1861—1862 (?)

М. Л. Михайлов. Стихотворения. «Библиотека поэта» (малая серия). Л., 1957.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ



ЧТО ДЕЛАТЬ?

Отрывки

* * *

...Здание, громадное, громадное здание, каких теперь лишь по нескольку в самых больших столицах,— или нет, теперь ни одного такого! Оно стоит среди нив и лугов, садов и рощ. Нивы — это наши хлеба, только не такие, как у нас, а густые, густые, изобильные, изобильные. Неужели это пшеница? Кто ж видел такие колосья? Кто ж видел такие зерна? Только в оранжерее можно бы теперь вырастить такие колосья с такими зернами. Поля — это наши поля; но такие цветы теперь только в цветниках у нас. Сады, лимонные и апельсинные деревья, персики и абрикосы,— как же они растут на открытом воздухе? О, да это колонны вокруг них, это они открыты на лето: да, это оранжереи, раскрывающиеся на лето.

Рощи — это наши рощи: дуб и липа, клен и вяз,— да, рощи те же, как теперь; за ними очень заботливый уход, нет в них ни одного больного дерева, но рощи те же, только они и остались те же, как теперь. Но это здание — что ж это, какой оно архитектуры? Теперь нет такой; нет, уж есть один намек на нее — дворец, который стоит на Сайденгамском холме: чугун и стекло, чугун и стекло — только. Нет, не только: это лишь оболочка здания; это его наружные стены; а там, внутри, уж настоящий дом, громаднейший дом: он покрыт этим чугунно-хрустальным зданием, как футляром; оно образует вокруг него широкие галереи по всем этажам. Какая легкая архитектура этого внутреннего дома, какие маленькие простенки между окнами,— а окна огромные, широкие, во всю вышину этажей! Его каменные стены — будто ряд пилястров, составляющих раму для окон, которые выходят на галерею. Но какие это полы и потолки? Из чего эти двери и рамы окон? Что это такое? серебро? платина? Да и мебель почти вся такая же,— мебель из дерева тут лишь каприз, она только для разнообразия, но из чего ж вся остальная мебель, потолки и полы? «Попробуй подвинуть это кресло»,— говорит старшая царица. Эта металлическая мебель легче нашей ореховой. Но что ж это за металл? Ах, знаю теперь, Саша показывал мне такую дощечку, она была легка, как стекло, и теперь уж есть такие серьги, брошки, да, Саша говорил, что рано или поздно алюминий заменит собою дерево, может быть и камень. Но как же все это богато! Везде алюминий и алюминий, и все промежутки окон одеты огромными зеркалами. И какие ковры на полу! Вот в этом зале половина пола открыта, тут и видно, что он из алюминия. «Ты видишь, тут он матовый, чтобы не был слишком скользок,— тут играют дети, а вместе с ними и большие; вот и в том зале пол тоже без ковров,— для танцев». И повсюду южные деревья и цветы; весь дом — громадный зимний сад.

Но кто же живет в этом доме, который великолепнее дворцов? «Здесь живет много, очень много; иди, мы увидим их». Они идут на балкон, выступающий из верхнего этажа галереи. Как же Вера Павловна не заметила прежде? «По этим нивам рассеяны группы людей; везде мужчины и женщины, старики, молодые и дети вместе. Но больше молодых; стариков мало, старух еще меньше, детей больше, чем стариков, но все-таки не очень много. Больше половины детей осталось дома заниматься хозяйством: они делают почти все по хозяйству, они очень любят это; с ними несколько старух. А стариков и старух очень мало потому, что здесь очень поздно становятся ими, здесь здоровая и спокойная жизнь; она сохраняет свежесть». Группы, работающие на нивах, почти все поют; но какой работою они заняты? Ах, это они убирают хлеб. Как быстро идет у них работа! Но еще бы не идти ей быстро, и еще бы не петь им! Почти все делают за них машины — жнут, и вяжут снопы, и отвозят их,— люди почти только ходят, ездят, управляют машинами. И как они удобно устроили себя; день зноен, но им, конечно, ничего: над тою частью нивы, где они работают, раскинут огромный полог; как подвигается работа, подвигается и он,— как они устроили себе прохладу! Еще бы им не быстро и не весело работать, еще бы им не петь!

* * *

Они входят в дом. Опять такой же громаднейший, великолепный зал. Вечер в полном своем просторе и веселье, прошло уж три часа после заката солнца: самая пора веселья. Как ярко освещен зал, чем же? — нигде не видно ни канделябров, ни люстр; ах, вот что! — в куполе зала большая площадка из матового стекла, через нее льется свет, конечно, такой он и должен быть, совершенно, как солнечный, белый, яркий и мягкий,— ну да, это электрическое освещение. В зале около тысячи человек народа, но в ней могло бы свободно быть втрое больше. «И бывает, когда приезжают гости,— говорит светлая красавица,— бывает и больше».— «Так что ж это? разве не бал? Это разве простой будничный вечер?» — «Конечно».— «А по-нынешнему, это был бы придворный бал, так роскошна одежда женщин, да, другие времена, это видно и по покрою платья. Есть несколько дам и в нашем платье, но видно, что они оделись так для разнообразия, для шутки; да, они дурачатся, шутят над своим костюмом; на других другие, самые разнообразные костюмы, разных восточных и южных покроев, все они грациознее нашего; но преобладает костюм, похожий на тот, какой носили гречанки в изящнейшее время Афин,— очень легкий и свободный, и на мужчинах тоже ши-

рокое, длинное платье без талии, что-то вроде мантий, иматиев; видно, что это обыкновенный домашний костюм их; как это платье скромно и прекрасно! Как мягко и изящно обрисовывает оно формы, как возвышает оно грациозность движений! И какой оркестр, более ста артистов и артисток, но особенно какой хор!» — «Да, у вас в целой Европе не было десяти таких голосов, каких ты в одном этом зале найдешь целую сотню, и в каждом другом столько же: образ жизни не тот, очень здоровый и вместе изящный, потому и грудь лучше, и голос лучше»,— говорит светлая царица. Но люди в оркестре и в хоре беспрестанно меняются: одни уходят, другие становятся на их место,— они уходят танцевать, они приходят из танцующих.

У них вечер, будничный, обыкновенный вечер, они каждый вечер так веселятся и танцуют; но когда же я видела такую энергию веселья? но как и не иметь их веселью энергии, неизвестной нам? — Они поутру наработались. Кто не наработался вдоволь, тот не приготовил нерв, чтобы чувствовать полноту веселья. И теперь веселье простых людей, когда им удается веселиться, более радостно, живо и свежо, чем наше; но у наших простых людей скудны средства для веселья, а здесь средства богаче, нежели у нас; и веселье наших простых людей смущается воспоминанием неудобств и лишений, бед и страданий, смущается предчувствием того же впереди,— это мимолетный час забытья нужды и горя — а разве нужда и горе могут быть забыты вполне? разве песок пустыни не заносит? разве миазмы болота не заражают и небольшого клочка хорошей земли с хорошим воздухом, лежащего между пустынею и болотом? А здесь нет ни воспоминаний, ни опасений нужды или горя; здесь только воспоминания вольного труда в охоту, довольства, добра и наслаждения, здесь и ожидания только все того же впереди. Какое же сравнение! И опять: у наших рабочих людей нервы только крепки, потому способны выдерживать много веселья, но они у них грубы, не восприимчивы. А здесь: нервы и крепки, как у наших рабочих людей, и развиты, впечатлительны, как у нас; приготовленность к веселью, здоровая, сильная жажда его, какой нет у нас, какая дается только могучим здоровьем и физическим трудом, в этих людях соединяется со всею тонкостью ощущений, какая есть в нас; они имеют все наше нравственное развитие вместе с физическим развитием крепких наших рабочих людей: понятно, что их веселье, что их наслаждение, их страсть — все живее и сильнее, шире и сладостнее, чем у нас. Счастливые люди!

Нет, теперь еще не знают, что такое настоящее веселье, потому что еще нет такой жизни, какая нужна для него, и нет таких людей. Только такие люди могут вполне веселиться и знать весь восторг наслажденья! Как они цветут здоровьем и силою, как стройны и грациозны они, как энергичны и выразительны их черты! Все они — счастливые красавцы и красавицы, ведущие вольную жизнь труда и наслаждения,— счастливцы, счастливцы!

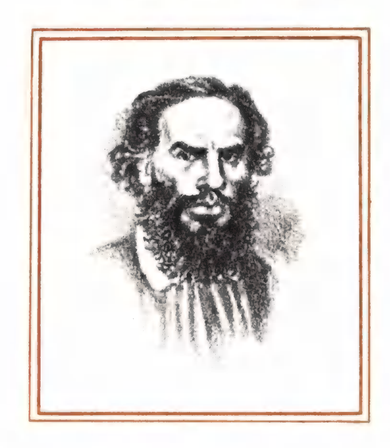
* * *

«То, что мы показали тебе, нескоро будет в полном своем развитии, какое видела теперь ты. Сменится много поколений прежде, чем вполне осуществится то, что ты предощущаешь. Нет, не много поколений: моя работа идет теперь быстро, все быстрее с каждым годом, но все-таки ты еще не войдешь в это полное царство моей сестры; по крайней мере ты видела его, ты знаешь будущее. Оно светло, оно прекрасно. Говори же всем: вот что в будущем, будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести; настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы успеете перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее все, что можете перенести».

1863 г.

Н. Г. Чернышевский. Избранное. М., «Художественная литература», 1976.

Л. Н. ТОЛСТОЙ



ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОЙ ПАЛОЧКЕ

Отрывок

...Он-то (старший брат Николенька.— *Ред.*), когда нам с братьями было — мне 5, Митеньке 6, Сереже 7 лет, объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни болезней, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться и все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями. (Вероятно, это были Моравские братья, о которых он слышал или читал, но на нашем языке это были муравейные братья.) И я помню, что слово «муравейные» особенно нравилось, напоминая муравьев в кочке. Мы даже устроили игру в муравейные братья, которая состояла в том, что садились под стулья, загораживали их ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу. Я, помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру.

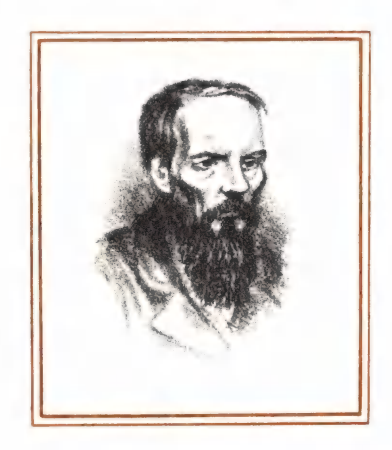
Муравейное братство было открыто нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил в память Николеньки закопать меня...

Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу, только не под двумя креслами, завешенными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает.

1903 г.

Л. Н. Толстой. Собр. соч., М., «Художественная литература», 1964.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ



СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА

Отрывки

...Я вдруг, совсем как бы для меня незаметно, стал на этой другой земле в ярком свете солнечного, прелестного, как рай, дня. Я стоял, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле греческий архипелаг, или где-нибудь на прибрежье материка, прилегающего к этому архипелагу. О, все было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым, наконец, торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало их с любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом, и как бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И, наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца,— о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял все, все! Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем. Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они увели меня к себе, и всякому из них хотелось успокоить меня. О, они не расспрашивали меня ни о чем, но как бы все уже знали, так мне казалось, и им хотелось согнать поскорее страдание с лица моего.

* * *

...Видите ли что, опять-таки: ну, пусть это был только сон! Но ощущение любви этих невинных и прекрасных людей осталось во мне навеки, и я чувствую, что их любовь изливается на меня и теперь оттуда. Я видел их сам, их познал и убедился, я любил их, я страдал за

них потом. О, я тотчас же понял, даже тогда, что во многом не пойму их вовсе; мне, как современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу, казалось неразрешимым то, например, что они, зная столь много, не имеют нашей науки. Но я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле, и что стремления их были тоже совсем иные. Они не желали ничего и были спокойны, они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и высшее, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которою они смотрели на них: точно они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и убежден, что те понимали их. Так смотрели они и на всю природу — на животных, которые жили с ними мирно, не нападали на них и любили их, побежденные их же любовью. Они указывали мне на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего я не мог понять, но я убежден, что они как бы чем-то соприкасались с небесными звездами, не мыслию только, а каким-то живым путем. О, эти люди и не добивались, чтоб я понимал их, они любили меня и без того, но зато я знал, что они никогда не поймут меня, а потому почти и не говорил им о нашей земле. Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами. Они не страдали за меня, когда я, в слезах, порою целовал их ноги, радостно зная в сердце своем, какою силой любви они мне ответят. Порою я спрашивал себя в удивлении: как могли они, все время, не оскорбить такого, как я, и ни разу не возбудить в таком, как я, чувства ревности и зависти? Много раз я спрашивал себя, как я мог, хвастун и лжец, не говорить им о моих познаниях, о которых, конечно, они не имели понятия, не желать удивить их ими, или хотя бы только из любви к ним? Они были резвы и веселы, как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они пели свои прекрасные песни, они питались легкою пищею, плодами своих деревьев, медом лесов своих и молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка. У них была любовь и рождались дети, но никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям, как новым участникам в их блаженстве. Между ними не было ссор и не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью. У них почти совсем не было болезней, хотя и была смерть; но старики умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видал, а была лишь умножившаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. Подумать можно было, что они соприкасались еще с умершими своими даже и после их смерти и что земное единение между ними не прерывалось смертию. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого мгновения с радостию, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего, о которых они сообщали друг другу. По вечерам, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры. В этих песнях они передавали все ощущения, которые доставил им отходящий день, славили его и прощались с ним. Они славили природу, землю, море, леса. Они любили слагать песни друг о друге и хвалили друг друга, как дети; это были самые простые песни, но они выливались из сердца и проницали сердца. Да и не в песнях одних, а казалось, и всю жизнь свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая. Иных же их песен, торжественных и восторженных, я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог

проникнуть во все их значение. Оно оставалось как бы недоступно моему уму, зато сердце мое как бы проникалось им безотчетно и все более и более. Я часто говорил им, что я все это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывались мне еще на нашей земле зовущею тоскою, доходившею подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть на земле нашей на заходящее солнце без слез... Что в ненависти моей к людям нашей земли заключалась всегда тоска: зачем я не могу ненавидеть их, не любя их, зачем не могу не прощать их, а в любви моей к ним тоска: зачем не могу любить их, не ненавидя их? Они слушали меня, и я видел, что они не могли представить себе то, что я говорю, но я не жалел, что им говорил о том: я знал, что они понимают всю силу тоски моей о тех, кого я покинул. Да, когда они глядели на меня своим милым, проникнутым любовью взглядом, когда я чувствовал, что при них и мое сердце становилось столь же невинным и правдивым, как и их сердца, то и я не жалел, что не понимаю их. От ощущения полноты жизни мне захватывало дух, и я молча молился на них.

О, все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что и во сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне моем я видел или прочувствовал лишь одно ощущение, порожденное моим же сердцем в бреду, а подробности уже сам сочинил, проснувшись. И когда я открыл им, что, может быть, в самом деле так было — боже, какой смех они подняли мне в глаза и какое я им доставил веселье! О да, конечно, я был побежден лишь одним ощущением того сна, и оно только одно уцелело в до крови раненном сердце моем; но зато действительные образы и формы сна моего, то есть те, которые я в самом деле видел в самый час моего сновидения, были восполнены до такой гармонии, были до того обаятельны и прекрасны, и до того были истинны, что, проснувшись, я, конечно, не в силах был воплотить их в слабые слова наши, так что они должны были как бы стушеваться в уме моем, а стало быть, и действительно, может быть, я сам, бессознательно, принужден был сочинить потом подробности и, уж конечно, исказив их, особенно при таком страстном желании моем поскорее и хоть сколько-нибудь их передать. Но зато как же мне не верить, что все это было? Было, может быть, в тысячу раз лучше, светлее и радостнее, чем я рассказываю? Пусть это сон, но все это не могло не быть.

* * *

Было уже утро, то есть еще не рассвело, но было около шестого часу. Я очнулся в тех же креслах, свечка моя догорела вся, у капитана спали, и кругом была редкая в нашей квартире тишина. Первым делом я вскочил в чрезвычайном удивлении; никогда со мной не случалось ничего подобного, даже до пустяков и мелочей: никогда еще не засыпал я, например, так в моих креслах. Тут вдруг, пока я стоял и приходил в себя,— вдруг мелькнул передо мной мой револьвер, готовый, заряженный,— но я в один миг оттолкнул его от себя! О, теперь жизни и жизни! Я поднял руки и воззвал к вечной истине; не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. Да, жизнь и — проповедь! О проповеди я порешил в ту же минуту и уж, конечно, на всю жизнь! Я иду проповедовать, я хочу проповедовать,— что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу!

И вот с тех пор я и проповедую! Кроме того — люблю всех, которые надо мной смеются, больше всех остальных. Почему это так — не знаю и не могу объяснить, но пусть так и будет. Они говорят, что я уж и теперь сбиваюсь, то есть коль уж и теперь сбился так, что ж дальше-то будет? Правда истинная: я сбиваюсь и, может быть, дальше пойдет еще хуже. И, уж конечно, собьюсь несколько раз, пока отыщу, как проповедовать, то есть какими словами и какими делами, потому что это очень трудно исполнить. Я ведь и теперь все это как день вижу, но послушайте: кто же не сбивается! А между тем ведь все идут к одному и тому же, по крайней мере все стремятся к одному и тому же, от мудреца до последнего разбойника, только разными дорогами. Старая это истина, но вот что тут новое: я и сбиться-то очень не могу. Потому что я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются. Но как мне не веровать: я видел истину,— не то что изобрел умом, я видел, видел, и

живой образ ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в такой восполненной целости, что не могу поверить, чтоб ее не могло быть у людей. Итак, как же я собьюсь? Уклонюсь, конечно, даже несколько раз, и буду говорить даже, может быть, чужими словами, но ненадолго: живой образ того, что я видел, будет всегда со мной и всегда меня поправит и направит. О, я бодр, я свеж, я иду, иду, и хотя бы на тысячу лет. Знаете, я хотел даже скрыть вначале, что я развратил их всех, но это была ошибка — вот уже первая ошибка! Но истина шепнула мне, что я лгу, и охранила меня и направила. Но как устроить рай — я не знаю, потому что не умею передать словами. После сна моего потерял слова. По крайней мере все главные слова, самые нужные. Но пусть: я пойду и все буду говорить, неустанно, потому что я все-таки видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел. Но вот этого насмешники и не понимают: «Сон, дескать, видел, бред, галлюцинацию». Эх! Неужто это премудро? А они так гордятся! Сон? что такое сон? А наша-то жизнь не сон? Больше скажу: пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уже это-то я понимаю!) — ну, а все-таки буду проповедовать. А между тем это просто; в один бы день, в один бы час — все бы сразу устроилось! Главное — люби других как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь, как устроиться. А между тем ведь это только — старая истина, которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась же! «Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья — выше счастья» — вот с чем бороться надо! И буду. Если только все захотят, то сейчас все устроится.

А ту маленькую девочку я отыскал... И пойду! И пойду!

1877 г.

ПОДРОСТОК

СОН О ЗОЛОТОМ ВЕКЕ

Отрывок из романа

Мне приснился совершенно неожиданный для меня сон, потому что я никогда не видал таких. В Дрездене, в галерее, есть картина Клода Лоррена, по каталогу — «Асис и Галатея»; я же называл ее всегда «Золотым веком», сам не знаю почему. Я уж и прежде ее видел, а теперь, дня три назад, еще раз мимоездом заметил. Эта-то картина мне и приснилась, но не как картина, а как будто какая-то быль. Я, впрочем, не знаю, что́ мне именно снилось; точно так, как и в картине — уголок греческого архипелага, причем и время как бы перешло за три тысячи лет назад; голубые, ласковые волны, острова и скалы, цветущее прибрежье, волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце — словами не передашь. Тут запомнило свою колыбель европейское человечество, и мысль о том как бы наполнила и мою душу родною любовью. Здесь был земной рай человечества: боги сходили с небес и роднились с людьми... О, тут жили прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливые и невинные; луга и рощи наполнялись их песнями и веселыми криками; великий избыток непочатых сил уходил в любовь и в простодушную радость. Солнце обливало их теплом и светом, радуясь на своих прекрасных детей... Чудный сон, высокое заблуждение человечества! Золотой век — мечта самая невероятная из всех, какие были, но за которую люди отдавали всю жизнь свою и все свои силы, для которой умирали и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть! И все это ощущение я как будто прожил в этом сне; скалы и море, и косые лучи заходящего солнца — все это я как будто еще видел, когда проснулся и раскрыл глаза, буквально омоченные слезами. Помню, что я был рад. Ощущение счастья, мне еще неизвестного, прошло сквозь сердце мое, даже до боли; это была всечеловеческая любовь.

* * *

...У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире — тип всемирного боления за всех. Это — тип русский, но так как

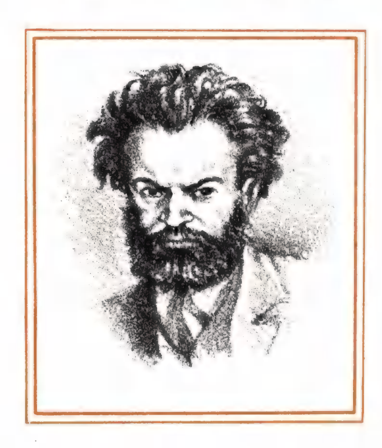
он взят в высшем культурном слое народа русского, то, стало быть, я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России. Нас, может быть, всего только тысяча человек — может, более, может, менее,— но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Скажут — мало, вознегодуют, что на тысячу человек истрачено столько веков и столько миллионов народу. По-моему, немало...

* * *

— Я представляю себе, мой милый,— начал он с задумчивою улыбкою, — что бой уже кончился и борьба улеглась. После проклятий, комьев грязи и свистков настало затишье, и люди остались одни, как желали: великая прежняя идея оставила их; великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их, отходил, как то величавое зовущее солнце в картине Клода Лоррена, но это был уже как бы последний день человечества. И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, и разом почувствовали великое сиротство. Милый мой мальчик, я никогда не мог вообразить себе людей неблагодарными и оглупевшими. Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют все друг для друга. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее; и весь великий избыток прежней любви к тому, который и был бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею любовью. Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу новыми глазами, взглядом любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это — все, что у них остается. Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем все свое и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле — ему как отец и мать. «Пусть — завтра последний день мой, думал бы каждый, смотря на заходящее солнце; но все равно я умру, но останутся все они, а после них дети их» — и эта мысль, что они останутся, все так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече. О, они торопились бы любить, чтоб затушить великую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга; каждый трепетал бы за жизнь и за счастие каждого...

Ф. М. Достоевский. Собр. соч. М., ГИХЛ, 1958.

С. М. СТЕПНЯК-КРАВЧИНСКИЙ



СКАЗКА О КОПЕЙКЕ

Отрывки

* * *

Привольное, братцы, житье было на Руси, когда не было на ней ни господ, ни попов, ни купцов толстопузых.

Да только не долго так было, сказывают старики, потому увидел черт, что одолевает его мужик: нет на земле ни обмана, ни воровства, ни грабительства, потому всем привольно живется,— и стал черт думать крепкую думу: как бы ему испортить род человеческий. Семь лет думал черт, не ел, не пил, не спал... и выдумал — попа. Потом еще семь лет думал, и выдумал — барина. Потом еще семь лет думал и выдумал — купца.

Обрадовался черт и загоготал так, что все листья попадали с деревьев.

Вот выдумал черт попа, барина и купца и напустил их на мужика.

А мужик нет чтобы догадаться да свернуть им шею; пока не расплодились,— взял одел, накормил, напоил и посадил себе на шею!

Вот с того-то времени и не стало мужику житья на белом свете: зарезали его попы, баре да купцы.

И зарезали они его не ножом, не саблей острою, а медной копейкой; встает солнце, мужик думает: где бы мне добыть копейку? Заходит солнце, мужик думает: где бы мне добыть копейку?

Вот и взмолился мужик матери своей сырой земле:

— Матушка сырая земля, скажи ты мне, родимая, где бы мне добыть копейку?

И отвечает ему земля глухим голосом:

— Во мне твое богатство!

Послушался мужик. Взял он заступ и начал копать. Вот копает он день, копает другой, копает третий. Выкопал он яму глубокую-преглубокую, а копейки все нет. Вот кончилась черная земля, и пошел песок. От поту у него перепрела уж рубашка, а копейки все нет. Вот кончился песок, и пошло болото. Мужик все копает и копает, а воду вычерпывает лаптем. Долго он копал, долго он вычерпывал. Наконец докопался до дна, дальше пошла глина. От работы уж весь заступ истерся, а копейки все нет! Принялся мужик копать руками. Уж он копал, копал, копал, копал! Наконец докопался до дна. Видит: пошел камень — дальше копать нельзя!

Припал мужик к груди матери своей, чтобы спросить ее, за что она так горько посмея-

лась над ним. Только глядь: под комком глины лежит медная копейка! От сырости она вся позеленела, закорявела и стала такою же шершавою, как сама земля.

Схватил ее мужик, поцеловал, завернул в онучу и спрятал за пазуху.

Вот вылез он на свет божий и пошел домой со своей копейкой.

Идет мужик, и здоровается с ним березка кудрявая.

— Мужик, мужик,— спрашивает березка,— отчего у тебя одежа на невод похожа?

— Копейку добывал,— отвечает мужик.

— Трудно же достается тебе копейка,— сказала березка и покачала своей кудрявой головкой.

Идет мужик дальше, и здоровается с ним птичка лесная.

— Мужик, мужик,— спрашивает птичка,— отчего ты весь в мозолях, как в дубовой коре?

— Копейку добывал,— отвечает мужик.

Засвистала птичка и улетела в самое небо, говоря про себя: «Не хотела бы я быть мужиком!»

Идет мужик дальше, и здоровается с ним рыбка речная.

— Мужик, мужик,— спрашивает рыбка,— отчего ты высох, как щепка?

— Копейку добывал,— отвечает мужик.

Ничего не сказала рыбка, только хвостиком плеснула, и опустилась она на самое дно, подальше от света белого, чтобы и ее, не ровен час, не забрали в мужики.

* * *

И ушел мужик в дремучий лес. До самого вечера он все шел и зашел в такие дебри, где и духу человеческого никогда не слышно было.

Сел мужик на кочку, осмотрелся, разул левую ногу и вынул из-под онучи свою копейку, ту самую, за которую столько муки претерпел.

Посмотрел на нее мужик и сказал:

— Много му́ки принял я за то, что приманку черным воронам носил тебя за пазухой. Знаю, что без тебя мне будет и хуже того, да пусть мне лучше глаза выколют, а не доставайся ты, трудовая мужицкая копейка, моим ворогам на усладу.

Сказал это мужик, вырыл яму и закопал свою копейку.

Потом лег он на могилу своей копейки и стал думать горькую думу:

«Без копейки жить — хоть в гроб ложись, а с копейкой жить — хоть в реке топись!»

Вот вздохнул мужик тяжело, тяжело, пал на землю и говорит:

— Мать сыра земля, научи ты меня, неразумного, как мне жить, чтобы не терпеть мне одного горя лютого, чтобы и в моей жизни были красные дни!

И заснул мужик.

* * *

Спит мужик и видит, к нему что-то катится. Смотрит — это его родная копейка.

— Ты как это смела из гроба вылезти! — закричал на нее мужик.

А копейка отвечает ему человеческим голосом:

— Я пришла тебя утешить. Иди за мной, и ты увидишь то, чего желаешь.

Сказала это копейка и покатилась вперед. А мужик пошел за ней следом.

Долго катилась она. Катилась она по полям, по долинам, топям да по лесам, наконец вскатилась на высокую гору, закружилась, завертелась и хлопнулась набок под крутой скалой.

Вдруг скала расступилась, и из нее вышел высокий старик с седой как снег бородой и большим деревянным крестом на груди.

— Радуйся,— сказал старец мужику.

Сказал это старец и ударил своим жезлом в скалу.

Скала опять расступилась, и из нее вылетела огромная птица.

— Это птица-могол,— сказал старец.— Садись на нее, и я покажу тебе самую бедную область земли обетованной.

Мужик сел, а старец навязал ему на глаза повязку и сказал:

— Не снимай, пока я не скажу, не то у тебя голова закружится и ты упадешь.

Вот чувствует мужик, что они поднимаются. И понеслись они вихрем по воздуху. Мужик крепко схватился за птицу, чтобы его не сорвало ветром. Долго летели они. Наконец старик приостановил полет птицы и снял повязку с глаз мужика.

Глянул мужик, видит: несутся они высоко над землей, птица головой облака задевает.— Перепугался мужик и весь задрожал.

— Не бойся,— говорит ему старец.— Мы уже прилетели и сейчас спустимся ближе к земле, чтобы тебе все видно было.

Успокоился мужик и стал смотреть, что у него под ногами.

* * *

...Видит: под ногами у него стелется, как золотое море, огромное хлебное поле, а на поле, словно в муравейнике, кишмя кишат люди; видно, хлеб убирают. Только все здесь не так, как у них. И хлеб такой, каких мужик отродясь не видывал, да и люди точно не те: нигде не видно ни приказчика, ни надсмотрщика, а все работают, словно боятся, что хлеб вот-вот вырвется у них из рук и унесет его ветром за тридевять земель. А что всего чуднее: ни на одном лице не видно ни досады, ни недовольства, а, напротив того, все веселы да довольны, точно хороводы водят, а не страду страдать пришли.

— С чего это они такие веселые да довольные? — спрашивает мужик старика.— Али помещик заплатил им втридорога?!

— Нет, не с того,— отвечает старец.— Земля-то эта не помещичья, а ихняя, и хлеб ихний, и все ихнее! Да и помещиков в этой стране нет совсем, потому что здесь земля вся никому не принадлежит, а общества разные ею пользуются, кому сколько надобно. Общество не может ни купить, ни продать, ни в аренду сдать своей земли. Потому коли общество перестало работать само на земле, так ее вольно взять под себя всякое другое общество, коли ему она надобна.

* * *

Ничего не сказал мужик, только стал присматриваться к людям, что копошились на поле. Чем больше присматривался мужик, тем больше он дивился: работники точно перегоняли друг друга. Ну да это бы еще ничего, а что всего чуднее, так это то, что когда один поотстанет, так другие бросают свои полосы на время и наперерыв бегут помогать ему.

— Да с чего это они на чужие-то полосы лезут? — спрашивает мужик.

— А с того,— отвечает старец,— что полосы-то это не чужие, а общие: а владеют ей все сообща, как в большой семье, где живут без раздела. Работают, значит, тоже сообща.

— Вишь ты,— удивляется мужик.— Да зачем же это? Ведь лучше бы поделить на семейства и дать каждому свою долю, а потом, когда народятся дети, чтоб переделы были. Чтобы было, значит, так, как теперь у нас на Руси делается.

— И это хорошо,— говорит старец,— разумеется, коли вся земля мужицкая да нет на ней ни оброков, ни податей; да только так еще лучше, потому десять человек артельно сделают больше, чем тридцать поодиночке. Ведь тяжелый камень пудов в тридцать десять человек поднимут легко, а поодиночке не поднимет и сотня и тысяча. Точно так же и в трудностях хозяйственных: чего одному, двум либо трем хозяевам вовек не сделать, то целому обществу сельскому нипочем.

— Ведь это так-то так. Да только как же это у них ссор не бывает? Ведь один-то сработает больше, а другой меньше?

— А оттого не бывает,— говорит старец,— что они любят друг друга, как братья, и сильному и умелому нет больше радости, как помочь слабому да неумелому. А если ты не понимаешь, как это могли люди устроить промеж себя такую любовь, так я тебе скажу, что из-за выгоды нечего завидовать, коли люди неравно сработают.

* * *

Взмахнул старец пучком павлиньих перьев в золотой ручке. Птица широко взмахнула крыльями и снова понеслась вперед.

— Тошно тебе жить от помещиков, попов да начальства всякого,— говорит старец мужику.— А от купцов да мироедов и того тошней.

Содрал с тебя поп поросенка, а купец уже тут как тут: один содрал улей меду, а другой так и портки с тебя снял.

Заставил тебя барин плотину чинить, а купец уже тут как тут: сруби и ему избу.

Поп сдерет блин — купец каравай.

Барин сдерет сноп — купец копну.

Баре, попы да начальство — чертова скотина, которая все пить просит; сколько ее ни пой — ей все мало. Взялся мужик по простоте своей поить эту скотину. И все таскает ей воду из колодца. Да только-то далеко от чана, откуда пьет скотина-то. Вот черту и жалко стало своей скотины, далеко ей ходить на водопой. И наделал черт корыт, и льет мужик воду из колодца в корыта, а уж по корытам течет она в чан. Вот скотине-то теперь и хвостом болтнуть не приходится; уткнула она свою поганую морду в чан и все пьет да пьет. Только мужику теперь хоть в гроб ложись, потому — корыта-то все дырявые. Мается мужик не намается, таскает воду не натаскает.

Скотина — это баре, начальство всякое; колодец с водой — это труд мужицкий, а дырявые корыта — это купцы да мироеды. Не будет счастья рабочему да честному человеку на земле, пока останутся на ней баре, купцы да начальство! Ты видел, как живут люди без бар. Теперь смотри, как живут они без купцов.

Приостановил старец полет птицы, и мужик стал смотреть, куда он ему указывал.

Видит, перед ним большая площадь, точно рынок, а лавок нет. Народу кишмя кишит, и у всякого что-нибудь в руках.

Присмотрелся мужик и видит — у одного мешок хлеба, у другого кусок холста, у третьего пара сапог, у четвертого кучка гвоздей. Только никто ни у кого ничего словно не покупает, а только посмотрит, что-то спросит и отойдет?!

— Что за притча,— спрашивает мужик,— на кой леший они тут толкутся зря?

— Нет, не зря толкутся они, а за делом. Каждая артель раз в месяц посылает от себя человека и дает ему свой товар для образца и наказывает ему, что забрать от других артелей. Вот они сходятся и уговариваются, а на другой день всяк получает, что ему требуется,— взамен за товар свой, значит.

— Понимаю,— говорит мужик,— значит, купцов у них точно нет. Да только скажи ты мне, артели небось ведь друг дружке тоже норовят товар втридорога продать да подчас подсунуть какой-нибудь дряни.

— Если б тебя услышали люди, что на площади, то, наверно, сказали бы, что ты сумасшедший. У них не только не надувают и не обманывают друг друга, а никому этого и в голову не приходит. Потому все они любят друг друга. Да и понимают они, что только совсем бессмысленный человек может делать это.

* * *

Опять взмахнул старец павлиньими перьями, опять понеслись они над землею. Но скоро старец остановил полет птицы и сказал:

Двумя цепями скован ты, мужик русский,— одна-то цепь тяжелая железная, другая золотая! Золотая тонкая, да только будет крепче железной. Ты видел, как разорвали эти люди цепь золотую. Теперь я покажу тебе, как живут они без тяжелой железной цепи. Много крови своей и чужой пролили они, пока порвали наконец эту железную цепь.

И старик указал мужику на большой красивый дом.

Вдруг крыша и потолок дома стали как бы стеклянные, так что можно было видеть все, что делалось внутри его.

Видит мужик, посреди огромной комнаты стоит большой круглый стол, покрытый красной бархатной скатертью с золотыми кисточками. Вокруг стола сидят люди и о чем-то разговаривают, а вокруг народ сидит и слушает.

Диву дался мужик: «Что бы это было? — думает он,— трактир не трактир, театр не театр!»

Вот поднялся самый старый из тех, что сидели за круглым столом, и что-то сказал всем.

Все в один голос закричали:

— Любо, любо!

Тогда народ расступился, и из толпы вышел и подошел к старику человек средних лет с умным лицом, одетый, как все.

Старик поклонился ему и дал какую-то бумагу.

— А! теперь понимаю,— говорит мужик,— это старики волостного старшину выбрали либо кого еще постарше.

— Нет,— отвечает ему старец,— потому что здесь нет ни старшин, ни губернаторов, никакого начальства, нет даже и царя у них. Все у них миром делается.

— Как так? — удивился мужик.— Кого же они выбирают?

— А вот кого; нужно им было чугунку построить. Вот и прислали к ним от соседнего общества того старика, что за столом сидел. Собрал он народ и предложил им, что так и так, мол, нужно бы чугунку нам построить. Народ согласился и сейчас же выбрал тех, что со стариком за круглым столом сидели. Вот они и обсудили дело как следует. Потом выбрали они того самого человека, что к старику подходил, потому он уж мастер своего дела и при постройке всяких дорог, мостов, плотин очень искусным оказался,— и все оставались им довольны. Коли другое какое дело решить нужно: насчет школ, примерно, либо торговли, то народ выбирает уже других людей, потому не может один человек знать, и как дороги строить, и как торговлю вести, и как в школах обучать. Всякое свое решение они объявляют народу, и коли он не доволен, так выбирает новых.

— Хорошо же тут! — воскликнул мужик.

— Твоя правда,— говорит старец.— Но я показал тебе только начало того счастья, до которого достигнет человек. Того же, что будет, когда настанет на земле царство братской любви, справедливости и правды, не может видеть ни одно человеческое око, пока будет промеж людей обман, грабеж да всякая неправда!

Старик замолчал немного и потом опять начал говорить:

— Все вы будете жить так, но время еще не пришло, хотя скоро настанет оно. Смотри, вон там уже занимается заря и скоро разгонит кромешную тьму зла и неправды, что покрывает землю, солнце любви. И не будет тогда ни плача, ни скорби, ни страданий, ни нищеты на земле. Тучи застилают грядущее солнце — великую грозу предвещают они. С тех пор как стоит земля, не было такой грозы. Злой и неправый затрепещет, реки потекут кровавой водой! Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение! Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчете! Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете!

С. М. Степняк-Кравчинский. Сочинения в 2-х томах. М., ГИХЛ, 1958.

Г. И. УСПЕНСКИЙ



ВЫПРЯМИЛА

Отрывки

* * *

...Я стоял перед ней, смотрел на нее и непрестанно спрашивал самого себя: «Что такое со мной случилось?» Я спрашивал себя об этом с первого момента, как только увидел статую, потому что с этого же момента я почувствовал, что со мною случилась большая радость... До сих пор я был похож (я так ощутил вдруг) вот на эту скомканную в руке перчатку. Похожа ли она видом на руку человеческую? Нет, это просто какой-то кожаный комок. Но вот я дунул в нее, и она стала похожа на человеческую руку. Что-то, чего я понять не мог, дунуло в глубину моего скомканного, искалеченного, измученного существа и выпрямило меня, мурашками оживающего тела пробежало там, где уже, казалось, не было чувствительности, заставило всего «хрустнуть» именно так, когда человек растет, заставило так же бодро проснуться, не ощущая даже признаков недавнего сна, и наполнило расширившуюся грудь, весь выросший организм свежестью и светом.

Я в оба глаза глядел на эту каменную загадку, допытываясь, отчего это так вышло? Что это такое? Где и в чем тайна этого твердого, покойного, радостного состояния всего моего существа, неведомо как влившегося в меня? И решительно не мог ответить себе ни на один вопрос; я чувствовал, что нет на человеческом языке такого слова, которое могло бы определить животворящую тайну этого каменного существа. Но я ни минуты не сомневался в том, что сторож, толкователь луврских чудес, говорит сущую правду, утверждая, что вот на этом узеньком диванчике, обитом красным бархатом, приходил сидеть Гейне, что здесь он сидел по целым часам и плакал: это непременно должно было быть...

* * *

...И как бы вы тщательно ни разбирали этого великого создания с точки зрения «женской прелести», вы на каждом шагу будете убеждаться, что творец этого художественного произведения имел какую-то другую, высшую цель.

Да, он потому (так стало казаться мне) и закрыл свое создание до чресл, чтобы не дать зрителю права проявить привычные шаблонные мысли, ограниченные пределами шаблонных представлений о женской красоте.

Ему нужно было и людям своего времени, и всем векам, и всем народам вековечно и нерушимо запечатлеть в сердцах и умах огромную красоту человеческого существа, ознакомить человека — мужчину, женщину, ребенка, старика — с ощущением счастья быть человеком, показать всем нам и обрадовать нас видимой для всех нас возможностью быть прекрасными — вот какая огромная цель владела его душой и руководила рукой.

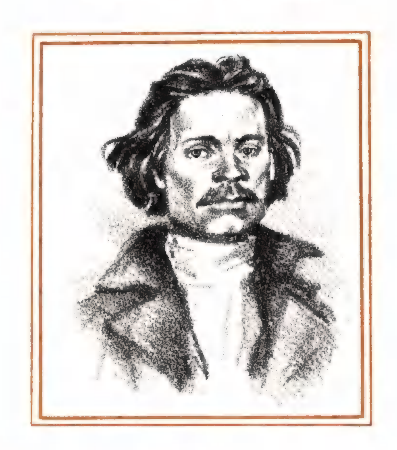
Он брал то, что для него было нужно, и в мужской красоте и в женской, не думая о поле, а пожалуй, даже и о возрасте, и ловя во всем этом только человеческое; из этого многообразного материала он создавал то истинное в человеке, что составляет смысл всей его работы, то, чего сейчас, сию минуту нет ни в ком, ни в чем и нигде, но что есть в то же время в каждом человеческом существе, в настоящее время похожем на скомканную перчатку, а не на распрямленную.

И мысль о том, когда, как, каким образом человеческое существо будет распрямлено до тех пределов, которые сулит каменная загадка, не разрешая вопроса, тем не менее рисует в вашем воображении бесконечные перспективы человеческого совершенствования, человеческой будущности и зарождает в сердце живую скорбь о несовершенстве теперешнего человека.

Художник создал вам образчик такого человеческого существа, которое вы, считающий себя человеком и живя в теперешнем человеческом обществе, решительно не можете себе представить способным принять малейшее участие в том порядке жизни, до которого вы дожили. Ваше воображение отказывается представить себе это человеческое существо в каком бы то ни было из теперешних человеческих положений, не нарушая его красоты. Но так как нарушить эту красоту, скомкать ее, искалечить ее в теперешний человеческий тип — дело немыслимое, невозможное, то мысль ваша, печалясь о бесконечной «юдоли» настоящего, не может не уноситься мечтою в какое-то бесконечно светлое будущее. И желание выпрямить, высвободить искалеченного теперешнего человека для этого светлого будущего, даже и очертаний уже определенных не имеющего, радостно возникает в душе...

Г. И. Успенский. Собр. соч. М., ГИХЛ, 1957.

М. ГОРЬКИЙ



ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей,— стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут,— им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон,— гордый, черный демон бури,— и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!

В гневе грома,— чуткий демон,— он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца,— нет, не скроют!

Ветер воет... Гром грохочет...

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.

— Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:

— Пусть сильнее грянет буря!..

1901

ЧЕЛОВЕК

I

В часы усталости духа,— когда память оживляет тени прошлого и от них на сердце веет холодом,— когда мысль, как бесстрастное солнце осени, освещает грозный хаос настоящего и зловеще кружится над хаосом дня, бессильная подняться выше, лететь вперед,— в тяжелые часы усталости духа я вызываю пред собой величественный образ Человека.

Человек! Точно солнце рождается в груди моей, и в ярком свете его медленно шествует — вперед! и — выше! трагически прекрасный Человек!

Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, а в них — лучи бесстрашной Мысли, той величавой силы, которая в моменты утомленья — творит богов, в эпохи бодрости — их низвергает.

Затерянный среди пустынь вселенной, один на маленьком куске земли, несущемся с неуловимой быстротою куда-то в глубь безмерного пространства, терзаемый мучительным вопросом — «зачем он существует?» — он мужественно движется — вперед! — и выше! — по пути к победам над всеми тайнами земли и неба.

Идет он, орошая кровью сердца свой трудный, одинокий, гордый путь, и создает из этой жгучей крови — поэзии нетленные цветы; тоскливый крик души своей мятежной он в музыку искусно претворяет, из опыта — науки создает и, каждым шагом украшая жизнь, как солнце землю щедрыми лучами,— он движется все — выше! и — вперед! звездою путеводной для земли...

Вооруженный только силой Мысли, которая то молнии подобна, то холодно спокойна, точно меч,— идет свободный, гордый Человек далеко впереди людей и выше жизни, один — среди загадок бытия, один — среди толпы своих ошибок... и все они ложатся тяжким гнетом на сердце гордое его, и ранят сердце, и терзают мозг, и, возбуждая в нем горячий стыд за них, зовут его — их уничтожить.

Идет! В груди его ревут инстинкты; противно ноет голос самолюбья, как наглый нищий, требуя подачки; привязанностей цепкие волокна опутывают сердце, точно плющ, питаются его горячей кровью и громко требуют уступок силе их... все чувства овладеть желают им; все жаждет власти над его душою.

А тучи разных мелочей житейских подобны грязи на его дороге и гнусным жабам на его пути.

И как планеты окружают солнце,— так Человека тесно окружают созданья его творческого духа: его — всегда голодная — Любовь; вдали, за ним, прихрамывает Дружба; пред ним идет усталая Надежда; вот Ненависть, охваченная Гневом, звенит оковами терпенья на руках, а Вера смотрит темными очами в его мятежное лицо и ждет его в свои спокойные объятья...

Он знает всех в своей печальной свите — уродливы, несовершенны, слабы созданья его творческого духа!

Одетые в лохмотья старых истин, отравленные ядом предрассудков, они враждебно идут сзади Мысли, не поспевая за ее полетом, как ворон за орлом не поспевает, и с нею спор о первенстве ведут, и редко с ней сливаются они в одно могучее и творческое пламя.

И тут же — вечный спутник Человека, немая и таинственная Смерть, всегда готовая поцеловать его в пылающее жаждой жизни сердце.

Он знает всех в своей бессмертной свите, и, наконец, еще одно он знает — Безумие...

Крылатое, могучее, как вихрь, оно следит за ним враждебным взором и окрыляет Мысль своею силой, стремясь вовлечь ее в свой дикий танец...

И только Мысль — подруга Человека, и только с ней всегда он неразлучен, и только пламя Мысли освещает пред ним препятствия его пути, загадки жизни, сумрак тайн природы и темный хаос в сердце у него.

Свободная подруга Человека, Мысль всюду смотрит зорким, острым глазом и беспощадно освещает все:

— Любви коварные и пошлые уловки, ее желанье овладеть любимым, стремленье унижать и унижаться и — Чувственности грязный лик за ней;

— пугливое бессилие Надежды и Ложь за ней,— сестру ее родную, нарядную, раскрашенную Ложь, готовую всегда и всех утешить и — обмануть своим красивым словом.

Мысль освещает в дряблом сердце Дружбы ее расчетливую осторожность, ее жестокое, пустое любопытство, и зависти гнилые пятна, и клеветы зародыши на них.

Мысль видит черной Ненависти силу и знает: если снять с нее оковы, тогда она все на земле разрушит и даже справедливости побеги не пощадит!

Мысль освещает в неподвижной Вере и злую жажду безграничной власти, стремящейся поработить все чувства, и спрятанные когти изуверства, бессилие ее тяжелых крылий, и — слепоту пустых ее очей.

Она в борьбу вступает и со Смертью: ей, из животного создавшей Человека, ей, сотворившей множества богов, системы философские, науки — ключи к загадкам мира,— свободной и бессмертной Мысли,— противна и враждебна эта сила, бесплодная и часто глупо злая.

Смерть для нее ветошнице подобна,— ветошнице, что ходит по задворкам и собирает в грязный свой мешок отжившее, гнилое, ненужные отбросы, но порою — ворует нагло здоровое и крепкое.

Пропитанная запахом гниенья, окутанная ужаса покровом, бесстрастная, безличная, немая, суровою и черною загадкой всегда стоит пред Человеком Смерть, а Мысль ее ревниво изучает — творящая и яркая, как солнце, исполненная дерзости безумной и гордого сознания бессмертья...

Так шествует мятежный Человек сквозь жуткий мрак загадок бытия — вперед! и — выше! все — вперед! и — выше!

II

Вот он устал, шатается и стонет; испуганное сердце ищет Веры и громко просит нежных ласк Любви.

И Слабостью рожденные три птицы — Уныние, Отчаянье, Тоска,— три черные, уродливые птицы — зловеще реют над его душою и все поют ему угрюмо песнь о том, что он — ничтожная букашка, что ограничено его сознанье, бессильна Мысль, смешна святая Гордость, и — что бы он ни делал,— он умрет!

Дрожит его истерзанное сердце под эту песнь и лживую, и злую; сомнений иглы колют мозг его, и на глазах блестит слеза обиды...

И если Гордость в нем не возмутится, страх Смерти властно гонит Человека в темницу Веры, Любовь, победно улыбаясь, влечет его в свои объятья, скрывая в громких обещаньях счастья печальное бессилье быть свободной и жадный деспотизм инстинкта...

В союзе с Ложью, робкая Надежда поет ему о радостях покоя, поет о тихом счастье примиренья и мягкими, красивыми словами баюкает дремотствующий дух, толкая его в тину сладкой Лени и в лапы Скуки, дочери ее.

И, по внушенью близоруких чувств, он торопливо насыщает мозг и сердце приятным ядом той циничной Лжи, которая открыто учит, что Человеку нет пути иного, как путь на скотный двор спокойного довольства самим собою.

Но Мысль горда, и Человек ей дорог,— она вступает в злую битву с Ложью, и поле битвы — сердце Человека.

Как враг, она преследует его; как червь, неутомимо точит мозг; как засуха, опустошает грудь; и, как палач, пытает Человека, безжалостно сжимая его сердце бодрящим холодом тоски по правде, суровой мудрой правде жизни, которая хоть медленно растет, но ясно видима сквозь сумрак заблуждений, как некий огненный цветок, рожденный Мыслью.

Но если Человек отравлен ядом Лжи неизлечимо и грустно верит, что на земле нет счастья выше полноты желудка и души, нет наслаждений выше сытости, покоя и мелких жизненных удобств, тогда в плену ликующего чувства печально опускает крылья Мысль и — дремлет, оставляя Человека во власти его сердца.

И, облаку заразному подобна, гнилая Пошлость, подлой Скуки дочь, со всех сторон ползет на Человека, окутывая едкой серой пылью и мозг его, и сердце, и глаза.

И Человек теряет сам себя, перерожденный слабостью своею в животное без Гордости и Мысли...

Но если возмущенье вспыхнет в нем, оно разбудит Мысль, и — вновь идет он дальше, один сквозь терния своих ошибок, один средь жгучих искр своих сомнений, один среди развалин старых истин!

Величественный, гордый и свободный, он мужественно смотрит в очи Правде и говорит сомнениям своим:

— Вы лжете, говоря, что я бессилен, что ограничено сознание мое! Оно — растет! Я это знаю, вижу, я чувствую — оно во мне растет! Я постигаю рост сознанья моего моих страданий силой, и — знаю — если б не росло оно, я не страдал бы более, чем прежде...

— Но с каждым шагом я все большего хочу, все больше чувствую, все больше, глубже вижу, и этот быстрый рост моих желаний — могучий рост сознанья моего! Теперь оно во мне подобно искре — ну что ж? Ведь искры — это матери пожаров! Я — в будущем — пожар во тьме вселенной! И призван я, чтоб осветить весь мир, расплавить тьму его загадок тайных, найти гармонию между собой и миром, в себе самом гармонию создать и, озарив весь мрачный хаос жизни на этой исстрадавшейся земле, покрытой, как накожною болезнью, корой несчастий, скорби, горя, злобы,— всю злую грязь с нее смести в могилу прошлого!

— Я призван для того,— чтобы распутать узлы всех заблуждений и ошибок, связавшие запуганных людей в кровавый и противный ком животных, взаимно пожирающих друг друга!

— Я создан Мыслию затем, чтоб опрокинуть, разрушить, растоптать все старое, все тесное и грязное, все злое,— и новое создать на выкованных Мыслью незыблемых устоях свободы, красоты и — уваженья к людям!

— Непримиримый враг позорной нищеты людских желаний, хочу, чтоб каждый из людей был Человеком!

— Бессмысленна, постыдна и противна вся эта жизнь, в которой непосильный и рабский труд одних бесследно весь уходит на то, чтобы другие пресыщались и хлебом и дарами духа!

— Да будут прокляты все предрассудки, предубежденья и привычки, опутавшие мозг и жизнь людей, подобно липкой паутине. Они мешают жить, насилуя людей,— я их разрушу!

— Мое оружье — Мысль, а твердая уверенность в свободе Мысли, в ее бессмертии и вечном росте творчества ее — неисчерпаемый источник моей силы!

— Мысль для меня есть вечный и единственно не ложный маяк во мраке жизни, огонь во тьме ее позорных заблуждений; я вижу, что все ярче он горит, все глубже освещает бездны тайн, и я иду в лучах бессмертной Мысли, вослед за ней, все — выше! и — вперед!

— Для Мысли нет твердынь несокрушимых, и нет святынь незыблемых ни на земле, ни в небе! Все создается ею, и это ей дает святое, неотъемлемое право разрушить все, что может помешать свободе ее роста.

— Спокойно сознаю, что предрассудки — обломки старых истин, а тучи заблуждений, что ныне кружатся над жизнью, все созданы из пепла старых правд, сожженных пламенем все той же Мысли, что некогда их сотворила.

— И сознаю, что побеждают не те, которые берут плоды победы, а только те, что остаются на поле битвы...

— Смысл жизни — вижу в творчестве, а творчество самодовлеет и безгранично!

— Иду, чтобы сгореть как можно ярче и глубже осветить тьму жизни. И гибель для меня — моя награда.

— Иных наград не нужно для меня, я вижу: власть — постыдна и скучна, богатство — тяжело и глупо, а слава — предрассудок, возникший из неумения людей ценить самих себя и рабской их привычки унижаться.

— Сомнения! Вы — только искры Мысли, не более. Сама себя собою испытуя, она родит вас от избытка сил и кормит вас — своей же силой!

— Настанет день — в груди моей сольются в одно великое и творческое пламя мир чувства моего с моей бессмертной Мыслью, и этим пламенем я выжгу из души все темное, жестокое и злое, и буду я подобен тем богам, что Мысль моя творила и творит!

— Все в Человеке — все для Человека!

Вот снова, величавый и свободный, подняв высоко гордую главу, он медленно, но твердыми шагами идет по праху старых предрассудков, один в седом тумане заблуждений, за ним — пыль прошлого тяжелой тучей, а впереди — стоит толпа загадок, бесстрастно ожидающих его.

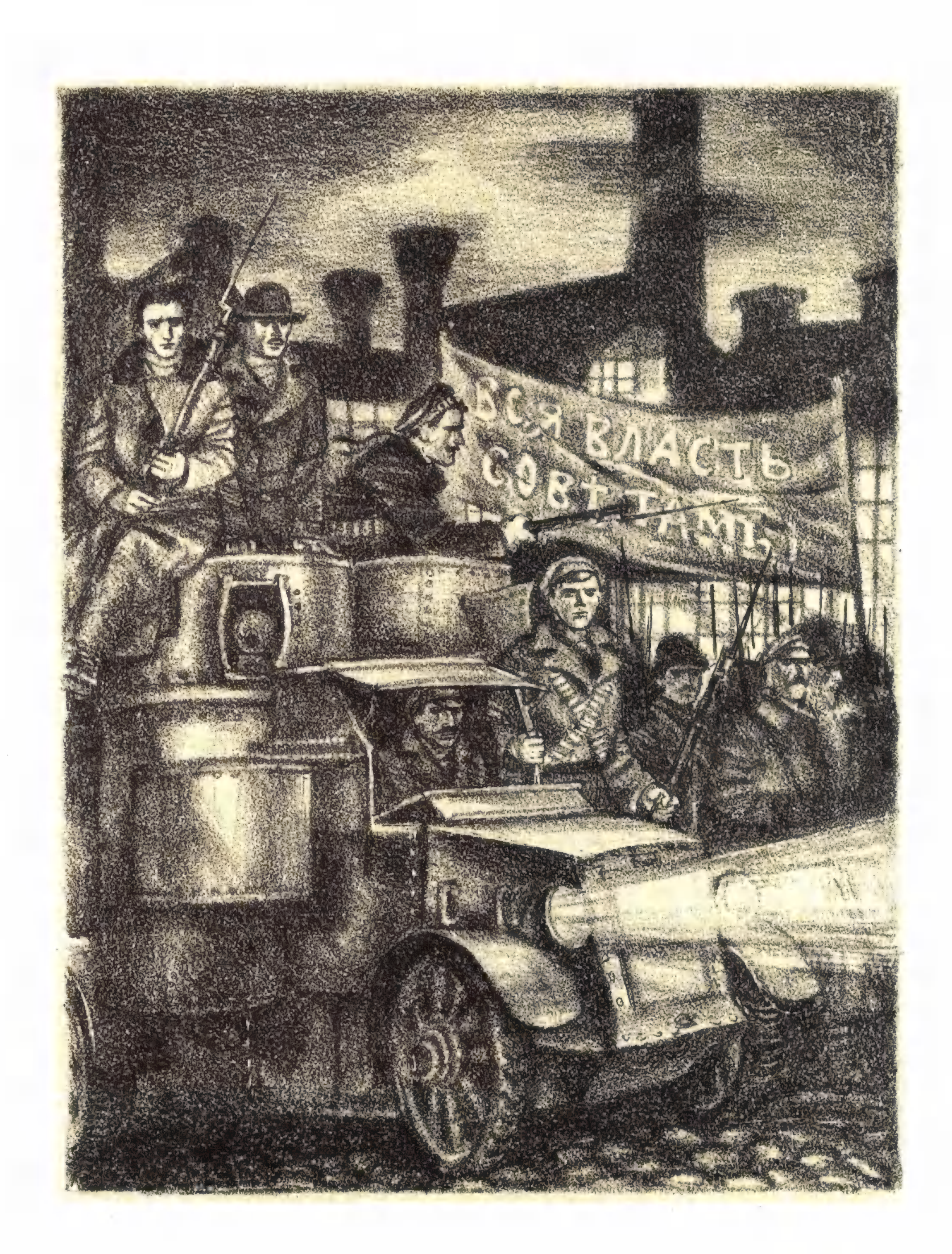
Они бесчисленны, как звезды в бездне неба, и Человеку нет конца пути!

Так шествует мятежный Человек — вперед! и — выше! все — вперед! и — выше!

1904

А. М. Горький. Собр. соч., М., 1949, т. 3.




ВСЯ ВЛАСТЬ
СОВѢТАМЪ

ЭПИЛОГ

„Да здравствует революция, радостная и скорая!"



Россия — страна, где сбывается и невозможное.

А. ФРАНС

История вела отсчет времени, остававшегося старому миру, уже не на века или десятилетия — лишь на годы.

Над огромной, развернувшейся на полсвета, многострадальной Россией занималась заря Революции.

В хриплом сипенье фабричных гудков, в скрежете металла, в угрюмом шарканье тысяч и тысяч ног у закоптелых заводских проходных уже слышались будущие сокрушительные громы очистительной бури. «Буря — это движение самих масс» (В. И. Ленин).

Однако мускулистой руке рабочего люда позарез нужна была умная, бесстрашная голова. Предстояло прочно сомкнуть воедино рабочий гнев, решимость, солидарность с научным социализмом Маркса и Энгельса. Чем скорее произойдет историческая смычка — тем скорее и победоноснее грянет буря!

«Гений прост и понятен, как истина,— утвержал Н. Г. Чернышевский,— ведь естественно человеку видеть вещи в их истинном виде».

Видеть не только вещи, то есть реальность настоящего, но и сокрытое временем будущее, дано было Человеку, простому, как Истина. Простому, как Правда. Именно в Ленине, в его могучем разуме, в его необъятной доброй душе, в его непреклонном характере волею истории, муками бессчетных поколений тружеников совпали, благодатно слились в торжествующей гармонии Истина, Мечта и необъятное, созидающее новый мир революционное Дело.

Неподкупен, бескорыстен
И с сознаньем правоты
Непокорной силой истин
Над неправдой грянешь ты!

Эти вещие строки неизвестного поэта пела над колыбелью своего младшего сына Мария Александровна Ульянова. Мальчик вырос — и на века, навсегда, до скончания жизненного круга Земли стал ее красным знаменем, ее совестью, ее честью и надеждой.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН...

Юный Володя зачитывался сказками Пушкина и Гоголя, лихо скакал на ершовском «Коньке-Горбунке», весело распевал «Песню бобыля» И. Никитина: «Бобыль гол как сокол, поет — веселится!»

Подолгу глядел он — острым, суровым прищуром — на мрачные стены тюрьмы, что вросла в землю там, за Волгой, на Старом Венце. Не тогда ли родилось в нем кипящее ненавистью и жаром борьбы: «тюрьма народов»?!

Волга-матушка, труженица и кормилица, качала его на своих ласковых волнах. Не на картине Репина — вживе, въяви видал он кряжистых, угрюмоватых с виду, двужильных мужиков-бурлаков,

слышал их протяжно-могучую, потаенно-грозную песнь: «Эй, дубинушка, ухнем!» Играл с крестьянскими ребятишками в бабки — весело, азартно, как потом, уже взрослым, в городки. И коней водил в ночное; был у него свой, сладкой тайной и страхом детским пахнущий, «Бежин луг». Все впитывало в себя горячее, чистое сердце сына России — и вечную красоту родной природы, и горькие горести людские...

С детских лет выросло и утвердилось в Ленине великое, драгоценное чувство доверия к жизни, неиссякаемого жизнелюбия; здесь — глубинные корни истинно ленинской мечты о грядущем, его гениальных прозрений, предвидений и открытий.

Как и Маркс, он нашел себя, свое высшее призвание в том, чтобы «трудиться для человечества». Этому без колебаний была отдана вся жизнь. До секунды. До последнего удара сердца. «Одна, но пламенная страсть» служения народу определила монолитную цельность его натуры.

Он шел к этой всепоглощающей, радостной страсти сперва неуверенными ребячьими шажками, потом — поступью великана. И на всем сложном, тернистом, великом пути в бессмертие сопутствовали ему накопленные гениальными предшественниками мудрость, доброта, высокое человеколюбие. Он встал на плечи гигантов; а «подсадили» его на эти могучие плечи ласковые руки матери, отца, старшего брата, верных друзей.

«Коротка и до последних мгновений нам известна жизнь Ульянова»,— сказал В. Маяковский. Известно, сколь ярко и непосредственно отразилась в ленинской судьбе благотворная роль хорошего семейного воспитания. Сызмальства — в светлом царстве прекрасных книг и высокой музыки; сызмальства — в чистой атмосфере подлинной интеллигентности, исключающей, отторгающей всяческую пошлость и фальшь, приспособленчество и безделье.

Наконец, сызмальства — рядом, повседневно, словно светоч — благородные примеры честного служения народу. Примеры отца и матери. Счастлив человек, когда у него такие родители. Счастливо и всегда будет благодарно им человечество!

Володя Ульянов был счастлив еще и оттого, что у него был замечательный старший брат. К нему, к любимому Саше, тянулась, словно цветок к солнцу, восторженная детская душа. На одних и тех же жарких духовных «углях»: Чернышевский, Писарев, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Гейне — вскипала их революционность.

Яркая и чистая лампада таланта — и прежде всего таланта души старшего брата — помогала разгореться пламени ленинского гения. Великий Бутлеров верил в «химическую звезду» старшего Ульянова, другие прочили его в профессора зоологии. Несокрушимая убежденность Александра даже его палачу, меднолобому Александру III, показалась «трогательной».

Гибель брата, трагедия его, словно молния в ночи, озарила Владимира Ульянова знанием — и того, что произошло, и того, что делать.

Хрестоматийно-известному: «Не таким путем надо идти» предшествовали горестные и гордые слова: «Он не мог поступить иначе». Какая глубина в постижении величия подвига народовольцев! Какая истинно ленинская (в восемнадцать-то лет всего!) мощь в прозрении исторической истинности их трагических заблуждений!

Иной путь — это путь к Марксу, к пролетариату, к Революции.

Владимиру Ильичу глубоко в душу запали слова брата, произнесенные перед казнью: «Среди русского народа всегда найдется десяток людей, которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело». Только не десяток, а десятки, сотни, тысячи и тысячи «настолько преданных» героев сплотил Ленин под красными знаменами своих идей — идей научного социализма.

Декабрь 1887 года — время рождения революционера-трибуна. Во главе первой студенческой демонстрации в Казанском университете — лучший учащийся, пылкий, неудержимый Владимир Ульянов!

Уже в шестнадцать лет он предпринимает первую попытку перевести Марксов «Капитал». А уже через два года, в Кокушкине, в «ссыльном университете», произошла взрослая великая встреча с «библией рабочего класса». Рубикон был перейден!

В начале 90-х годов молодой юрист Владимир Ульянов в Самаре. Он смело и умело отстаивает интересы своих подзащитных — крестьян, рабочих, голытьбы. Поистине народный заступник бесстрашно разоблачает несправедливость «шемякина суда» власть и деньги имущих. Здесь в эти годы он узнает думы и беды народные, бестрепетно заглядывает в бездну горя и зреющего гнева. Здесь же он впервые возглавил один из подпольных марксистских кружков. Спираль революции начала раскручиваться в сторону ленинской Правды.

И все время — работа, работа, работа! Юридическая практика — и глубокое изучение русской истории: В. Ключевский, С. Соловьев, Б. Чичерин. Рядом, для отдыха, вдохновения и раздумий — томики Бальзака, Шекспира, Толстого, статьи Г. Успенского. Переведен на русский язык великий «Манифест» Маркса и Энгельса. Готовится знатная драчка с либеральными народниками (Н. К. Михайловский, отменный полемист, озабоченно заметил о нем в 1892 году: «Личность незаурядная, и народничеству с ним не раз придется встретиться». Не ошибся!).

Такими были семимильные шаги гения. Час за часом, день за днем.

...«Стена, да гнилая, ткни — и развалится»,— ответил юный Ильич полицейскому приставу во время своего первого ареста. Уже тогда он знал твердо: развалится, ежели «ткнуть» не растопыренной пятерней, а железным кулаком — молотом пролетарской организации. У Ленина последовательно вызревает план создания общерусской политической рабочей партии. И первый шаг на этом пути — «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» (1895 год), знаменующий начало нового, пролетарского этапа битвы за свободу в России. Этапа, завершившегося победоносной социалистической революцией.

Юность Ленина... Сколько бы ни минуло лет в жизни каждого из нас, сколько бы ни сменилось поколений, она всегда будет, словно магнит, притягивать к себе лучшие людские чувства, волновать стремительностью созревания вождя революции, звать к благородному подвижничеству во имя великой идеи, ради любезного Отечества. Думается, прав Н. И. Подвойский, сказавший так: «Владимир Ильич рано познал, что только человек, способный совершенно не интересоваться личными делами, способный отдаваться безраздельно, всецело, до полного самозабвения революционной службе, службе для других...— только такой человек способен на самую искреннюю, преданную, на самую героическую службу человечеству».

Юность Ленина, вся его последующая жизнь дают исчерпывающий ответ, почему именно он, реалист до мозга костей, смог подарить человечеству гениальную философскую формулу сопряжения мечты и действия:

«От живого созерцания — к абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь познания истины».

Живое созерцание — это прежде всего доверие к жизни, бесстрашное и открытое приятие мира со всеми его болями и несовершенствами, со всею его непреходящей красой, историей и будущностью. Созерцание не холодно-отрешенное, не бесстрастное «добру и злу внимая равнодушно» — нет! Деятельное созерцание предполагает горячее чувство, активное отношение ко всему сущему — но чувство, поверенное затем безошибочной, трезвой «алгеброй» разума, железной логикой абстрактного мышления.

Однако самое главное, альфа и омега познания, борьбы, преобразования — это общественная практика! Только она окончательно определяет жизнеспособность и эмоций, и рациональных выводов, и жарких мечтаний. Практика как деяние, творчество, слиянность миллионов воль, сплоченных великой целью. Практика — это сокрушение старого, отжившего, косного во всех сферах бытия и познания; это — Революция.

«Триада» В. И. Ленина непременно и органично включает в себя человеческую Мечту как необходимый момент истины истории и революции. «Без мечты человек превращается в животное. Мечты двигают прогресс,— утверждал Ленин.—...Осуществленная мечта — социализм — откроет новые грандиозные перспективы для самых смелых мечтаний».

Революция есть осуществление Мечты; так мыслил, так жил, так боролся Ленин. Так создавал он свое самое могучее и бессмертное детище — Коммунистическую партию. «Истерики нам не нужны»,— подчеркивал он; нет ничего вреднее и опаснее головных схем и утешительных утопий; но — НАДО МЕЧТАТЬ!

Вот почему можно и должно утверждать, что Владимир Ильич действительно был «кремлевским мечтателем» — но только в самом благородном и высоком, недоступном обывательскому рассудку смысле. И только поэтому он видел то, что временем сокрыто. Только поэтому и сегодня, и завтра, и всегда «по всей вселенной ширится шествие мыслей, слов и дел Ильича» (В. В. Маяковский).

Наступил грозный, кровавый и светлый XX век.

Скоро, совсем скоро!..

Луиза Мишель, героиня Парижской коммуны, замышлявшая убить «обезьяну» Тьера, незадолго до смерти (она умерла 10 января 1905 года) пророчествовала Великую Революцию в России.

«В стране Горького и Кропоткина произойдут грандиозные события. Я чувствую, как поднимается, растет революция, которая сметет царя, и всех великих князей, и славянскую бюрократию, и разрушит этот огромный «мертвый дом». Всего удивительней будет то, что в Москве, Петербурге, Кронштадте, Севастополе солдаты будут заодно с народом».

Все так и было: за «Потемкиным» и «Очаковым» плыла в Революцию ее утренняя звезда — «Аврора». В один громящий кулак сплачивалась партия большевиков — «миллионов плечи, друг к другу прижатые туго». С подлинно поэтическим пафосом и блеском Владимир Ильич восклицал: «Огненные языки революционной стихии вспыхивают все сильнее и сильнее над всем прогнившим мировым старым строем».

Скоро, скоро грянет буря!

А сейчас, читатель, давайте снова и снова вслушаемся в музыку Революции, которая набатом гудит в бессмертной торжествующей песне ее первого, лучшего и талантливейшего поэта. Раздумья об Октябре, о последних пружинистых шагах коммунистической Мечты к новому миру неотделимы от его мажорных ритмов, философско-исторических ярких метафор, от его слов-лучей.

Слово о Ленине и Октябре — ВЛАДИМИРУ МАЯКОВСКОМУ, певцу атакующего класса.

Стихи Маяковского помогают прямо-таки физически ощутить стремительный полет тех неповторимых дней: день — за год; быстрее, быстрее, еще быстрее — навстречу желанному мигу, когда «аврорьих башен сталь» ударит по старому миру и повергнет его к ногам народа — властелина судьбы.

Неодолим народ; трижды неодолим, когда с ним — Ленин!

...И снова
ветер
свежий, крепкий
валы
революции
поднял в пене.
Литейный
залили
блузы и кепки.
«Ленин с нами!
Да здравствует Ленин!»
— Товарищи! —
и над головами
первых сотен
вперед
ведущую
руку выставил.
— Сбросим
эсдечества
обветшавшие лохмотья.
Долой
власть
соглашателей и капиталистов!
Мы —
голос
воли низа,
рабочего низа
всего света.
Да здравствует
партия,
строящая коммунизм,
да здравствует
восстание
за власть Советов!

Уже не призраком, миражем, опьяняющим несбыточным видением,— огромной реальностью вставала Коммуна-Мечта в солдатских обмотках, в комиссарской тужурке.

— ...И оттуда,
на дни
оглядываясь эти,
голову
Ленина
взвидишь сперва.
Это
от рабства
десяти тысячелетий
к векам
коммуны
сияющий перевал.

Пройдут
года
сегодняшних тягот,
летом коммуны
согреет лета,
и счастье
сластью
огромных ягод
дозреет
на красных
октябрьских цветах.
И тогда
у читающих
ленинские веления,
пожелтевших
декретов
перебирая листки,
выступят
слезы,
выведенные из употребления,
и кровь
волнением
ударит в виски.
— ...а утром:
— Всем!
Всем!
Всем это —
фронтам,
кровью пьяным,
рабам
всякого рода,

в рабство
богатым отданным —
Власть Советам!
Земля крестьянам!
Мир народам!
Хлеб голодным!

«РАБОЧАЯ И КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ КОТОРОЙ ВСЕ ВРЕМЯ ГОВОРИЛИ БОЛЬШЕВИКИ, СОВЕРШИЛАСЬ».

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

...Наступила Новая Эра в истории человечества.
ЭРА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ВЕЛИКОЙ МЕЧТЫ!

В. И. ЛЕНИН



«ЗАДАЧИ СОЮЗОВ МОЛОДЕЖИ»

Отрывки

...Задача состоит в том, чтобы учиться.

Понятно, что это лишь «одно слово». Оно не дает еще ответа на главные и самые существенные вопросы,— чему учиться и как учиться! А здесь все дело в том, что вместе с преобразованием старого капиталистического общества учение, воспитание и образование новых поколений, которые будут создавать коммунистическое общество, не могут быть старыми. Учение, воспитание и образование молодежи должно исходить из того материала, который оставлен нам старым обществом. Мы можем строить коммунизм только из той суммы знаний, организаций и учреждений, при том запасе человеческих сил и средств, которые остались нам от старого общества. Только преобразуя коренным образом дело учения, организацию и воспитание молодежи, мы сможем достигнуть того, чтобы результатом усилий молодого поколения было бы создание общества, не похожего на старое, т. е. коммунистического общества. Поэтому нам нужно подробно остановиться на вопросе о том, чему мы должны учить и как должна учиться молодежь, если она действительно хочет оправдать звание коммунистической молодежи, и как подготовить ее к тому, чтобы она сумела достроить и довершить то, что мы начали.

Я должен сказать, что первым, казалось бы, и самым естественным ответом является то, что союз молодежи и вся молодежь вообще, которая хочет перейти к коммунизму, должна учиться коммунизму.

Но этот ответ: «учиться коммунизму» является слишком общим. Что же нам нужно для того, чтобы научиться коммунизму? Что нам нужно выделить из суммы общих знаний, чтобы приобрести знание коммунизма? Тут нам угрожает целый ряд опасностей, которые сплошь и рядом проявляют себя, как только задача учиться коммунизму ставится неправильно или когда она понимается слишком однобоко.

Естественно, что на первый взгляд приходят в голову мысли о том, что учиться коммунизму — это значит усвоить ту сумму знаний, которая изложена в коммунистических учебниках, брошюрах и трудах. Но такое определение изучения коммунизма было бы слишком грубо и недостаточно. Если бы только изучение коммунизма заключалось в усвоении того, что изложено в коммунистических трудах, книжках и брошюрах, то тогда слишком легко мы могли бы получить коммунистических начетчиков или хвастунов, а это сплошь и рядом приносило бы нам вред и ущерб, так как эти люди, научившись и начитавшись того, что изложено в коммунистических книгах и брошюрах, оказались бы не умеющими соеди-

нить все эти знания и не сумели бы действовать так, как того действительно коммунизм требует.

Одно из самых больших зол и бедствий, которые остались нам от старого капиталистического общества, это полный разрыв книги с практикой жизни, ибо мы имели книги, где все было расписано в самом лучшем виде, и эти книги, в большинстве случаев, являлись самой отвратительной лицемерной ложью, которая лживо рисовала нам капиталистическое общество.

Поэтому простое книжное усвоение того, что говорится в книгах о коммунизме, было бы в высшей степени неправильным. Теперь в наших речах и статьях нет простого повторения того, что говорилось раньше о коммунизме, так как наши речи и статьи связаны с повседневной и всесторонней работой. Без работы, без борьбы книжное знание коммунизма из коммунистических брошюр и произведений ровно ничего не стоит, так как оно продолжало бы старый разрыв между теорией и практикой, тот старый разрыв, который составлял самую отвратительную черту старого буржуазного общества.

Еще более опасным было бы, если бы мы начали усваивать только коммунистические лозунги. Если бы мы вовремя эту опасность не поняли и если бы мы всю нашу работу не направили на то, чтобы эту опасность устранить, тогда наличие полумиллиона или миллиона людей, молодых юношей и девушек, которые после такого обучения коммунизму будут называть себя коммунистами, принесло бы только великий ущерб для дела коммунизма.

* * *

...Вы читали и слышали о том, как коммунистическая теория, коммунистическая наука, главным образом созданная Марксом, как это учение марксизма перестало быть произведением одного, хотя и гениального социалиста XIX века, как это учение стало учением миллионов и десятков миллионов пролетариев во всем мире, применяющих это учение в своей борьбе против капитализма. И если бы вы выдвинули такой вопрос: почему учение Маркса могло овладеть миллионами и десятками миллионов сердец самого революционного класса — вы сможете получить один ответ: это произошло потому, что Маркс опирался на прочный фундамент человеческих знаний, завоеванных при капитализме; изучивши законы развития человеческого общества, Маркс понял неизбежность развития капитализма, ведущего к коммунизму, и, главное, он доказал это только на основании самого точного, самого детального, самого глубокого изучения этого капиталистического общества, при помощи полного усвоения всего того, что дала прежняя наука. Все то, что было создано человеческим обществом, он переработал критически, ни одного пункта не оставив без внимания. Все то, что человеческою мыслью было создано, он переработал, подверг критике, проверив на рабочем движении, и сделал те выводы, которых ограниченные буржуазными рамками или связанные буржуазными предрассудками люди сделать не могли.

Это надо иметь в виду, когда мы, например, ведем разговоры о пролетарской культуре. Без ясного понимания того, что только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру — без такого понимания нам этой задачи не разрешить.

* * *

Мы хотим Россию из страны нищей и убогой превратить в страну богатую. И нужно, чтобы Коммунистический союз молодежи свое образование, свое учение и свое воспитание соединил с трудом рабочих и крестьян, чтобы он не запирался в свои школы и не ограничивался лишь чтением коммунистических книг и брошюр. Только в труде вместе с рабочими и крестьянами можно стать настоящими коммунистами. И надо, чтобы все увидели, что всякий, входящий в Союз молодежи, является грамотным, а вместе с тем умеет и трудиться.

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41.

* * *

«...ДВАДЦАТЫЙ ВЕК ПРИНЕС С СОБОЙ БОЛЬШЕ ПЕРЕМЕН, ЧЕМ ЛЮБОЕ ПРЕДШЕСТВОВАВШЕЕ ЕМУ СТОЛЕТИЕ. И НИ ОДНА СТРАНА НЕ ВНЕСЛА В ЭТИ ПЕРЕМЕНЫ БОЛЕЕ ВЕСОМОГО ВКЛАДА, ЧЕМ СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК — РОДИНА ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ, ПЕРВАЯ СТРАНА ПОБЕДИВШЕГО СОЦИАЛИЗМА. ВОТ УЖЕ СЕДЬМОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ОСЕНЯЕТ ЕЕ НЕПОБЕДИМОЕ ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ!

НЕТ ТАКОЙ СТРАНЫ ИЛИ ГРУППЫ СТРАН, ТАКОГО ИДЕЙНОГО ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ, КОТОРОЕ НЕ ИСПЫТАЛО БЫ НА СЕБЕ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ МЕРЕ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛИЗМА. ТАКОВА РЕАЛЬНОСТЬ КОНЦА ДВАДЦАТОГО ВЕКА.

НЕЛЕГКО РОЖДАЕТСЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ. ТРУДЕН, ИНОГДА МУЧИТЕЛЕН ПУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА. НО ТЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНЕЕ, ТЕМ РЕЛЬЕФНЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, ТЕМ ВЕЛИЧЕСТВЕННЕЕ ПОДВИГИ ЕГО СТРОИТЕЛЕЙ И ЗАЩИТНИКОВ.

НАШЕЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, НАМ, СОВЕТСКИМ КОММУНИСТАМ, ВЫПАЛА ЗАВИДНАЯ РОЛЬ — НАХОДИТЬСЯ У ИСТОКОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЖИЗНИ. НА НАШУ ДОЛЮ ВЫПАЛА ПОЧЕТНАЯ МИССИЯ ЗАЩИЩАТЬ, ОТСТАИВАТЬ МИР.

ВЕЛИЧЕСТВЕННА НАША ЦЕЛЬ — КОММУНИЗМ. И КАЖДЫЙ ТРУДОВОЙ УСПЕХ, КАЖДЫЙ ГОД ГЕРОИЧЕСКИХ СВЕРШЕНИЙ, КАЖДАЯ ПЯТИЛЕТКА ПРИБЛИЖАЮТ НАС К ЭТОЙ ЦЕЛИ. С ЭТОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПАРТИЯ ОЦЕНИВАЕТ И ПРЕДСТОЯЩЕЕ ПЯТИЛЕТИЕ. ДЕЛ ПРЕДСТОИТ МНОГО. ЗАДАЧИ НАДО РЕШИТЬ БОЛЬШИЕ, СЛОЖНЫЕ. НО МЫ РЕШИМ ИХ И РЕШИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

ДА, СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ С УВЕРЕННОСТЬЮ СМОТРЯТ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ. НО ИХ ОПТИМИЗМ — НЕ САМОУВЕРЕННОСТЬ БАЛОВНЕЙ СУДЬБЫ. НАШ НАРОД ЗНАЕТ: ВСЕ, ЧТО ОН ИМЕЕТ, СОЗДАНО ЕГО СОБСТВЕННЫМ ТРУДОМ, ЗАЩИЩЕНО ЕГО СОБСТВЕННОЙ КРОВЬЮ. И МЫ ОПТИМИСТЫ ПОТОМУ, ЧТО ВЕРИМ В СИЛУ ТРУДА. ПОТОМУ, ЧТО ВЕРИМ В СВОЮ СТРАНУ, В СВОЙ НАРОД. МЫ ОПТИМИСТЫ ПОТОМУ, ЧТО ВЕРИМ В СВОЮ ПАРТИЮ, ЗНАЕМ — ПУТЬ, КОТОРЫЙ ОНА УКАЗЫВАЕТ,— ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЙ ПУТЬ!»

ЭТИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ, ПОДЛИННО ЛЕНИНСКОЙ ГЛУБИНЫ И РАЗМАХА СЛОВА БЫЛИ ПРОИЗНЕСЕНЫ С ВЫСОКОЙ ТРИБУНЫ XXVI СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. В НИХ — БЕССМЕРТИЕ ВЕЛИКОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МЕЧТЫ И БЕССМЕРТИЕ ЛЕНИНСКОГО ДЕЛА. В НИХ — ВЫСОКАЯ ПРАВДА ВРЕМЕНИ; В НИХ — НЕОДОЛИМОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА К КОММУНИЗМУ.

В НИХ — ЕДИНСТВЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ЯДЕРНОМУ БЕЗУМИЮ, РАСПАДУ, ВЫРОЖДЕНИЮ, ГИБЕЛИ.

МЕЧТА — ЖИВА!

РЕВОЛЮЦИЯ — ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Гусев Г. М.

Г96 Странствия великой мечты.— М.: Мол. гвардия, 1982.— 432 с., ил.

В пер.: 2 р. 60 к. 150 000 экз.

Иллюстрированное издание, раскрывающее историю возникновения и развития идей о совершенном общественном строе и гармонически развитом человеке. На основе публицистических и художественных произведений мировой литературы, политических статей, памфлетов автор раскрывает социальные, духовные, нравственные и эстетические предпосылки коммунизма. Книга поможет широким кругам молодежи глубже понять нерасторжимую связь различных этапов социального и духовного пути человечества.

Г $\frac{4701000000-140}{078(02)-82}$ 242—82

ББК 66.017
1МИ

ИБ № 3280

Геннадий Михайлович Гусев
СТРАНСТВИЯ ВЕЛИКОЙ МЕЧТЫ

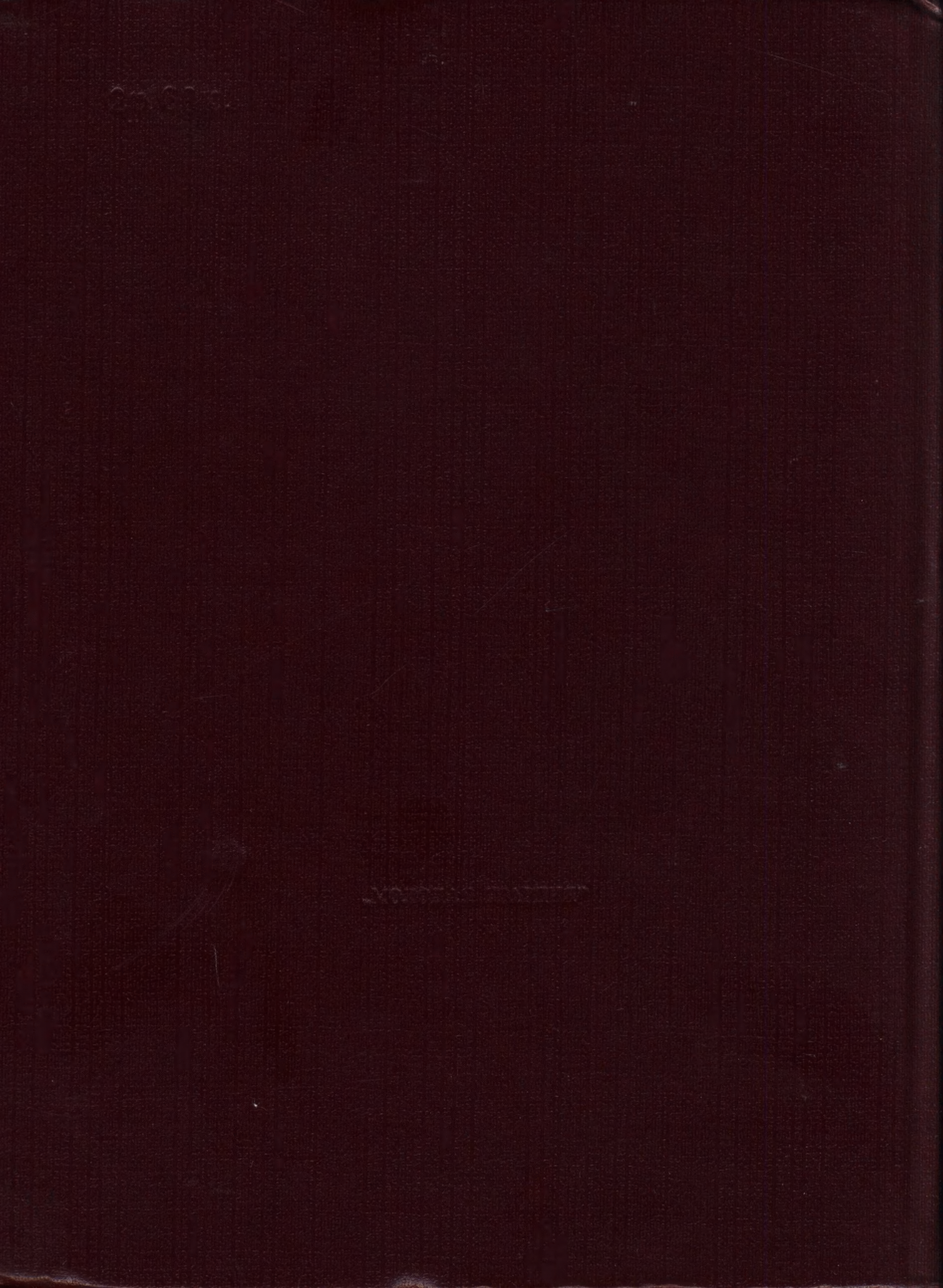
Редакторы *А. Алексеева, М. Катаева*
Художественный редактор *К. Фадин*
Технические редакторы *Н. Носова, Р. Сиголаева*

Сдано в набор 31.08.81. Подписано в печать 22.04.82. А03283. Формат $70\times90^1/_{16}$. Бумага офсетная № 1. Гарнитуры: «Журнальная рубленая», «Литературная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,59. Учетно-изд. л. 35,1. Тираж 150 000 экз. (100 001—150 000 экз.). Цена 2 р. 60 к. Заказ 924.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.







ГЕННАДИЙ ГУСЕВ

Странствия великой мечты